Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Двадцать иллюстраций
Елены Петровны
Самокиш-Судковской

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Федор Михайлович Достоевский
(1821–1881)

Федор Михайлович ДОСТОЕВСКИЙ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Иллюстрации
Е. П. Самокиш-Судковской

творческое объединение
Алькор

Совместный проект издательства СЗКЭО
и переплетной компании
ООО «Творческое объединение „Алькор“»

Санкт-Петербург
СЗКЭО

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)1
Д70

Первые 100 пронумерованных экземпляров
от общего тиража данного издания переплетены мастерами
ручного переплета ООО «Творческое объединение „Алькор“»

Классический европейский переплет выполнен
из натуральной кожи особой выделки растительного дубления.
Инкрустация кожаной вставкой с полноцветной печатью.
Тиснение блинтовое, золотой и цветной фольгой.
6 бинтов на корешке ручной обработки.
Использовано шелковое ляссе, золоченый каптал из натуральной кожи,
форзац и нахзац выполнены из дизайнерской бумаги Malmero
с тиснением орнамента золотой фольгой. Обработка блока
с трех сторон методом механического торшонирования
с нанесением золотой матовой полиграфической фольги горячим способом.
Оформление обложки пронумерованных экземпляров
разработано в ООО «Творческое объединение „Алькор“»

Д70 **Достоевский Ф. М.** Повести и рассказы. — Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2023. — 672 с., ил.
Сборник включает семь повестей всемирно известного русского классика Ф. М. Достоевского: «Двойник», «Господин Прохарчин», «Ползунков», «Чужая жена и муж под кроватью», «Маленький герой», «Крокодил», «Село Степанчиково и его обитатели». В конце издания приводится статья о жизни и творчестве Елены Петровны Самокиш-Судовской, чьи рисунки украшают данную книгу, а также ее иллюстрации к другим произведениям Достоевского, которые в этот сборник не входят.

ISBN 978-5-9603-0866-3 (7БЦ)
ISBN 978-5-9603-0867-0 (Кожаный переплет)
© СЗКЭО, 2023

ДВОЙНИК

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОЭМА

ГЛАВА I

Было без малого восемь часов утра, когда титулярный советник Яков Петрович Голядкин очнулся после долгого сна, зевнул, потянулся и открыл наконец совершенно глаза свои. Минуты с две, впрочем, лежал он неподвижно на своей постели, как человек не вполне еще уверенный, проснулся ли он или всё еще спит, наяву ли и в действительности ли всё, что около него теперь совершается, или – продолжение его беспорядочных сонных грез. Вскоре, однако ж, чувства господина Голядкина стали яснее и отчетливее принимать свои привычные, обыденные впечатления. Знакомо глянули на него зеленовато-грязноватые, закоптелые, пыльные стены его маленькой комнатки, его комод красного дерева, стулья под красное дерево, стол, окрашенный красною краскою, клеенчатый турецкий диван

красноватого цвета с зелененькими цветочками и, наконец, вчера впопыхах снятое платье и брошенное комком на диване. Наконец, серый осенний день, мутный и грязный, так сердито и с такой кислой гримасою заглянул к нему сквозь тусклое окно в комнату, что господин Голядкин никаким уже образом не мог более сомневаться, что он находится не в тридесятом царстве каком-нибудь, а в городе Петербурге, в столице, в Шестилавочной улице, в четвертом этаже одного весьма большого, капитального дома, в собственной квартире своей. Сделав такое важное открытие, господин Голядкин судорожно закрыл глаза, как бы сожалея о недавнем сне и желая его воротить на минутку. Но через минуту он одним скачком выпрыгнул из постели, вероятно попав наконец в ту идею, около которой вертелись до сих пор рассеянные, не приведенные в надлежащий порядок мысли его. Выпрыгнув из постели, он тотчас же подбежал к небольшому кругленькому зеркальцу, стоящему на комоде. Хотя отразившаяся в зеркале заспанная, подслеповатая и довольно оплешивевшая фигура была именно такого незначительного свойства, что с первого взгляда не останавливала на себе решительно ничьего исключительного внимания, но, по-видимому, обладатель ее остался совершенно доволен всем тем, что увидел в зеркале. «Вот бы штука была, – сказал господин Голядкин вполголоса, – вот бы штука была, если б я сегодня манкировал в чем-нибудь, если б вышло, например, что-нибудь не так, – прыщик там какой-нибудь вскочил посторонний или произошла бы другая какая-нибудь неприятность; впрочем, покамест недурно; покамест всё идет хорошо». Очень обрадовавшись тому, что всё идет хорошо, господин Голядкин поставил зеркало на прежнее место, а сам, несмотря на то что был босиком и сохранял на себе тот костюм, в котором имел обыкновение отходить ко сну, подбежал к окошку и с большим участием начал что-то отыскивать глазами на дворе дома, на который выходили окна квартиры его. По-видимому, и то, что он отыскал на дворе, совершенно его удовлетворило; лицо его просияло самодовольной улыбкою. Потом, – заглянув, впрочем, сначала за перегородку в каморку Петрушки, своего камердинера, и уверившись, что в ней нет Петрушки, – на цыпочках подошел к столу, отпер в нем один ящик, пошарил в самом заднем уголку этого ящика, вынул наконец из-под старых пожелтевших бумаг и кой-какой дряни зеленый истертый бумажник, открыл его осторожно – и бережно и с наслажде-

нием заглянул в самый дальный, потаенный карман его. Вероятно, пачка зелененьких, сереньких, синеньких, красненьких и разных пестреньких бумажек тоже весьма приветливо и одобрительно глянула на господина Голядкина: с просиявшим лицом положил он перед собою на стол раскрытый бумажник и крепко потер руки в знак величайшего удовольствия. Наконец, он вынул ее, свою утешительную пачку государственных ассигнаций, и, в сотый раз впрочем, считая со вчерашнего дня, начал пересчитывать их, тщательно перетирая каждый листок между большим и указательным пальцами. «Семьсот пятьдесят рублей ассигнациями! – окончил он наконец полушепотом. – Семьсот пятьдесят рублей... знатная сумма! Это приятная сумма, – продолжал он дрожащим, немного расслабленным от удовольствия голосом, сжимая пачку в руках и улыбаясь значительно, – это весьма приятная сумма! Хоть кому приятная сумма! Желал бы я видеть теперь человека, для которого эта сумма была бы ничтожною суммою? Такая сумма может далеко повести человека...»

«Однако что же это такое? – подумал господин Голядкин, – да где же Петрушка?» Всё еще сохраняя тот же костюм, заглянул он другой раз за перегородку. Петрушки опять не нашлось за перегородкой, а сердился, горячился и выходил из себя лишь один поставленный там на полу самовар, беспрерывно угрожая сбежать, и что-то с жаром, быстро болтал на своем мудреном языке, картавя и шепелявя господину Голядкину, – вероятно, то, что, дескать, возьмите же меня, добрые люди, ведь я совершенно поспел и готов.

«Черти бы взяли! – подумал господин Голядкин. – Эта ленивая бестия может, наконец, вывести человека из последних границ; где он шатается?» В справедливом негодовании вошел он в переднюю, состоявшую из маленького коридора, в конце которого находилась дверь в сени, крошечку приотворил эту дверь и увидел своего служителя, окруженного порядочной кучкой всякого лакейского, домашнего и случайного сброда. Петрушка что-то рассказывал, прочие слушали. По-видимому, ни тема разговора, ни самый разговор не понравились господину Голядкину. Он немедленно кликнул Петрушку и возвратился в комнату совсем недовольный, даже расстроенный. «Эта бестия ни за грош готова продать человека, а тем более барина, – подумал он про себя, – и продал, непременно продал, пари готов держать, что ни за копейку продал».

– Ну, что?..
– Ливрею принесли, сударь.
– Надень и пошел сюда.

Надев ливрею, Петрушка, глупо улыбаясь, вошел в комнату барина. Костюмирован он был странно донельзя. На нем была зеленая, сильно подержанная лакейская ливрея, с золотыми обсыпавшимися галунами и, но-видимому, шитая на человека ростом на целый аршин выше Петрушки. В руках он держал шляпу, тоже с галунами и с зелеными перьями, а при бедре имел лакейский меч в кожаных ножнах.

Наконец, для полноты картины Петрушка, следуя любимому своему обыкновению ходить всегда в неглиже, по-домашнему, был и теперь босиком. Господин Голядкин осмотрел Петрушку кругом и, по-видимому, остался доволен. Ливрея, очевидно, была взята напрокат для какого-то торжественного случая. Заметно было еще, что во время осмотра Петрушка глядел с каким-то странным ожиданием на барина и с необыкновенным любопытством следил за всяким движением его, что крайне смущало господина Голядкина.

– Ну, а карета?
– И карета приехала.
– На весь день?
– На весь день. Двадцать пять, ассигнацией.
– И сапоги принесли?
– И сапоги принесли.
– Болван! не можешь сказать принесли-с. Давай их сюда.

Изъявив свое удовольствие, что сапоги пришлись хорошо, господин Голядкин спросил чаю, умываться и бриться. Обрился он весьма тщательно и таким же образом вымылся, хлебнул чаю наскоро и приступил к своему главному, окончательному облачению: надел панталоны почти совершенно новые; потом манишку с бронзовыми пуговками, жилетку с весьма яркими и приятными цветочками; на шею повязал пестрый шелковый галстух и, наконец, натянул вицмундир, тоже новехонький и тщательно вычищенный. Одеваясь, он несколько раз с любовью взглядывал на свои сапоги, поминутно приподымал то ту, то другую ногу, любовался фасоном и что-то всё шептал себе под нос, изредка подмигивая своей думке выразительною гримаскою. Впрочем, в это утро

Надев ливрею, Петрушка, глупо улыбаясь, вошел в комнату барина.

господин Голядкин был крайне рассеян, потому что почти не заметил улыбочек и гримас на свой счет помогавшего ему одеваться Петрушки. Наконец, справив всё, что следовало, совершенно одевшись, господин Голядкин положил в карман свой бумажник, полюбовался окончательно на Петрушку, надевшего сапоги и бывшего таким образом тоже в совершенной готовности, и, заметив, что всё уже сделано и ждать уже более нечего, торопливо, суетливо, с маленьким трепетанием сердца сбежал с своей лестницы. Голубая извозчичья карета, с какими-то гербами, с громом подкатилась к крыльцу. Петрушка, перемигиваясь с извозчиком и с кое-какими зеваками, усадил своего барина в карету; непривычным голосом и едва сдерживая дурацкий смех, крикнул: «Пошел!», вскочил на запятки, и всё это, с шумом и громом, звеня и треща, покатилось на Невский проспект. Только что голубой экипаж успел выехать за ворота, как господин Голядкин судорожно потер себе руки и залился тихим, неслышным смехом, как человек веселого характера, которому удалось сыграть славную штуку и которой штуке он сам рад-радехонек. Впрочем, тотчас же после припадка веселости смех сменился каким-то странным озабоченным выражением в лице господина Голядкина. Несмотря на то что время было сырое и пасмурное, он опустил оба окна кареты и заботливо начал высматривать направо и налево прохожих, тотчас принимая приличный и степенный вид, как только замечал, что на него кто-нибудь смотрит. На повороте с Литейной на Невский проспект он вздрогнул от одного самого неприятного ощущения и, сморщась, как бедняга, которому наступили нечаянно на мозоль, торопливо, даже со страхом прижался в самый темный уголок своего экипажа. Дело в том, что он встретил двух сослуживцев своих, двух молодых чиновников того ведомства, в котором сам состоял на службе. Чиновники же, как показалось господину Голядкину, были тоже, с своей стороны, в крайнем недоумении, встретив таким образом своего сотоварища; даже один из них указал пальцем на господина Голядкина. Господину Голядкину показалось даже, что другой кликнул его громко по имени, что, разумеется, было весьма неприлично на улице. Герой наш притаился и не отозвался. «Что за мальчишки! – начал он рассуждать сам с собою. – Ну что же такого тут странного? Человек в экипаже; человеку нужно быть в экипаже, вот он и взял экипаж. Просто дрянь! Я их знаю, – просто мальчишки,

которых еще нужно посечь! Им бы только в орлянку при жалованье да где-нибудь потаскаться, вот это их дело. Сказал бы им всем кое-что, да уж только...» Господин Голядкин не докончил и обмер. Бойкая пара казанских лошадок, весьма знакомая господину Голядкину, запряженных в щегольские дрожки, быстро обгоняла с правой стороны его экипаж. Господин, сидевший на дрожках, нечаянно увидев лицо господина Голядкина, довольно неосторожно высунувшего свою голову из окошка кареты, тоже, по-видимому, крайне был изумлен такой неожиданной встречей и, нагнувшись сколько мог, с величайшим любопытством и участием стал заглядывать в тот угол кареты, куда герой наш поспешил было спрятаться. Господин на дрожках был Андрей Филиппович, начальник отделения в том служебном месте, в котором числился и господин Голядкин в качестве помощника своего столоначальника. Господин Голядкин, видя, что Андрей Филиппович узнал его совершенно, что глядит во все глаза и что спрятаться никак невозможно, покраснел до ушей. «Поклониться иль нет? Отозваться иль нет? Признаться иль нет? – думал в неописанной тоске наш герой, – или прикинуться, что не я, а что кто-то другой, разительно схожий со мною, и смотреть как ни в чем не бывало? Именно не я, не я, да и только! – говорил господин Голядкин, снимая шляпу пред Андреем Филипповичем и не сводя с него глаз. – Я, я ничего, – шептал он через силу, – я совсем ничего, это вовсе не я, Андрей Филиппович, это вовсе не я, не я, да и только». Скоро, однако ж, дрожки обогнали карету, и магнетизм начальнических взоров прекратился. Однако он всё еще краснел, улыбался, что-то бормотал про себя... «Дурак я был, что не отозвался, – подумал он наконец, – следовало бы просто на смелую ногу и с откровенностью, не лишенною благородства: дескать, так и так, Андрей Филиппович, тоже приглашен на обед, да и только!» Потом, вдруг вспомнив, что срезался, герой наш вспыхнул как огонь, нахмурил брови и бросил страшный вызывающий взгляд в передний угол кареты, взгляд, так и назначенный с тем, чтоб испепелить разом в прах всех врагов его. Наконец, вдруг, по вдохновению какому-то, дернул он за сну рок, привязанный к локтю извозчика-кучера, остановил карету и приказал повернуть назад, на Литейную. Дело в том, что господину Голядкину немедленно понадобилось, для собственного же спокойствия вероятно, сказать что-то самое интересное доктору его, Крестьяну Ивановичу. И хотя с Кре-

стьяном Ивановичем был он знаком с весьма недавнего времени, именно посетил его всего один раз на прошлой неделе, вследствие кой-каких надобностей, но ведь доктор, как говорят, что духовник, – скрываться было бы глупо, а знать пациента – его же обязанность. «Так ли, впрочем, будет всё это, – продолжал наш герой, выходя из кареты у подъезда одного пятиэтажного дома на Литейной, возле которого приказал остановить свой экипаж, – так ли будет всё это? Прилично ли будет? Кстати ли будет? Впрочем, ведь что же, – продолжал он, подымаясь на лестницу, переводя дух и сдерживая биение сердца, имевшего у него привычку биться на всех чужих лестницах, – что же? ведь я про свое, и предосудительного здесь ничего не имеется... Скрываться было бы глупо. Я вот таким-то образом и сделаю вид, что я ничего, а что так, мимоездом... Он, и увидит, что так тому и следует быть».

Так рассуждая, господин Голядкин поднялся до второго этажа и остановился перед квартирою пятого нумера, на дверях которого помещена была красивая медная дощечка с надписью:

Крестьян Иванович Рутеншпиц,
доктор медицины и хирургии.

Остановившись, герой наш поспешил придать своей физиономии приличный, развязный, не без некоторой любезности вид и приготовился дернуть за снурок колокольчика. Приготовившись дернуть за снурок колокольчика, он немедленно и довольно кстати рассудил, что не лучше ли завтра и что теперь покамест надобности большой не имеется. Но так как господин Голядкин услышал вдруг на лестнице чьи-то шаги, то немедленно переменил новое решение свое и уже так, заодно, впрочем с самым решительным видом, позвонил у дверей Крестьяна Ивановича.

ГЛАВА II

Доктор медицины и хирургии, Крестьян Иванович Рутеншпиц, весьма здоровый, хотя уже и пожилой человек, одаренный густыми седеющими бровями и бакенбардами, выразительным, сверкающим взглядом, которым одним, по-видимому, прогонял все болезни, и, наконец, значительным орденом, сидел в это утро у себя в кабинете, в покойных кре-

слах своих, пил кофе, принесенный ему собственноручно его докторшей, курил сигару и прописывал от времени до времени рецепты своим пациентам. Прописав последний пузырек одному старичку, страдавшему геморроем, и выпроводив страждущего старичка в боковые двери, Крестьян Иванович уселся в ожидании следующего посещения. Вошел господин Голядкин.

По-видимому, Крестьян Иванович нисколько не ожидал, да и не желал видеть пред собою господина Голядкина, потому что он вдруг на мгновение смутился и невольно выразил на лице своем какую-то странную, даже, можно сказать, недовольную мину. Так как, с своей стороны, господин Голядкин почти всегда как-то некстати опадал и терялся в те мгновения, в которые случалось ему абордировать[1] кого-нибудь ради собственных делишек своих, то и теперь, не приготовив первой фразы, бывшей для него в таких случаях настоящим камнем преткновения, сконфузился препорядочно, что-то пробормотал, – впрочем, кажется, извинение, – и, не зная, что далее делать, взял стул и сел. Но, вспомнив, что уселся без приглашения, тотчас же почувствовал свое неприличие и поспешил поправить ошибку свою в незнании света и хорошего тона, немедленно встав с занятого им без приглашения места. Потом, опомнившись и смутно заметив, что сделал две глупости разом, решился, нимало не медля, на третью, то есть попробовал было принести оправдание, пробормотал кое-что, улыбаясь, покраснел, сконфузился, выразительно замолчал и наконец сел окончательно и уже не вставал более, а так только, на всякий случай, обеспечил себя тем же самым вызывающим взглядом, который имел необычайную силу мысленно испепелять и разгромлять в прах всех врагов господина Голядкина. Сверх того, этот взгляд вполне выражал независимость господина Голядкина, то есть говорил ясно, что господин Голядкин совсем ничего, что он сам по себе, как и все, и что его изба во всяком случае с краю. Крестьян Иванович кашлянул, крякнул, по-видимому в знак одобрения и согласия своего на всё это, и устремил инспекторский, вопросительный взгляд на господина Голядкина.

– Я, Крестьян Иванович, – начал господин Голядкин с улыбкою, – пришел вас беспокоить вторично и теперь вторично осмеливаюсь про-

[1] Абордировать (*фр.* aborder) – подступать вплотную.

сить вашего снисхождения… – Господин Голядкин очевидно затруднялся в словах.

– Гм… да! – проговорил Крестьян Иванович, выпустив изо рта струю дыма и кладя сигару на стол, – но вам нужно предписаний держаться; я ведь вам объяснял, что пользование ваше должно состоять в изменении привычек… Ну, развлечения; ну, там, друзей и знакомых должно посещать, а вместе с тем и бутылки врагом не бывать; равномерно держаться веселой компании.

Господин Голядкин, всё еще улыбаясь, поспешил заметить, что ему кажется, что он, как и все, что он у себя, что развлечения у него, как и у всех… что он, конечно, может ездить в театр, ибо тоже, как и все, средства имеет, что днем он в должности, а вечером у себя, что он совсем ничего; даже заметил тут же мимоходом, что он, сколько ему кажется, не хуже других, что он живет дома, у себя на квартире, и что, наконец, у него есть Петрушка. Тут господин Голядкин запнулся.

– Гм, нет, такой порядок не то, и я вас совсем не то хотел спрашивать. Я вообще знать интересуюсь, что вы большой ли любитель веселой компании, пользуетесь ли весело временем… Ну, там, меланхолический или веселый образ жизни теперь продолжаете?

– Я, Крестьян Иванович…

– Гм… я говорю, – перебил доктор, – что вам нужно коренное преобразование всей вашей жизни иметь и в некотором смысле переломить свой характер. (Крестьян Иванович сильно ударил на слово «переломить» и остановился на минуту с весьма значительным видом.) Не чуждаться жизни веселой; спектакли и клуб посещать и во всяком случае бутылки врагом не бывать. Дома сидеть не годится… вам дома сидеть никак невозможно.

– Я, Крестьян Иванович, люблю тишину, – проговорил господин Голядкин, бросая значительный взгляд на Крестьяна Ивановича и, очевидно, ища слов для удачнейшего выражения мысли своей, – в квартире только я да Петрушка… я хочу сказать: мой человек, Крестьян Иванович. Я хочу сказать, Крестьян Иванович, что я иду своей дорогой, особой дорогой, Крестьян Иванович. Я себе особо и, сколько мне кажется, ни от кого не завишу. Я, Крестьян Иванович, тоже гулять выхожу.

– Как?.. Да! Ну, нынче гулять не составляет никакой приятности; климат весьма нехороший.

– Да-с, Крестьян Иванович. Я, Крестьян Иванович, хоть и смирный человек, как я уже вам, кажется, имел честь объяснить, но дорога моя отдельно идет, Крестьян Иванович. Путь жизни широк... Я хочу... я хочу, Крестьян Иванович, сказать этим... Извините меня, Крестьян Иванович, я не мастер красно говорить.

– Гм... вы говорите...

– Я говорю, чтоб вы меня извинили, Крестьян Иванович, в том, что я, сколько мне кажется, не мастер красно говорить, – сказал господин Голядкин полуобиженным тоном, немного сбиваясь и путаясь. – В этом отношении я, Крестьян Иванович, не так, как другие, – прибавил он с какою-то особенною улыбкою, – и много говорить не умею; придавать слогу красоту не учился. Зато я, Крестьян Иванович, действую; зато я действую, Крестьян Иванович!

– Гм... Как же это... вы действуете? – отозвался Крестьян Иванович. Затем, на минутку, последовало молчание. Доктор как-то странно и недоверчиво взглянул на господина Голядкина. Господин Голядкин тоже в свою очередь довольно недоверчиво покосился на доктора.

– Я, Крестьян Иванович, – стал продолжать господин Голядкин всё в прежнем тоне, немного раздраженный и озадаченный крайним упорством Крестьяна Ивановича, – я, Крестьян Иванович, люблю спокойствие, а не светский шум. Там у них, я говорю, в большом свете, Крестьян Иванович, нужно уметь паркеты лощить сапогами... (тут господин Голядкин немного пришаркнул по полу ножкой), там это спрашивают-с, и каламбур тоже спрашивают... комплимент раздушенный нужно уметь составлять-с... вот что там спрашивают. А я этому не учился, Крестьян Иванович, – хитростям этим всем я не учился; некогда было. Я человек простой, незатейливый, и блеска наружного нет во мне. В этом, Крестьян Иванович, я полагаю оружие; я кладу его, говоря в этом смысле. – Всё это господин Голядкин проговорил, разумеется, с таким видом, который ясно давал знать, что герой наш вовсе не жалеет о том, что кладет в этом смысле оружие и что он хитростям не учился, но что даже совершенно напротив. Крестьян Иванович, слушая его, смотрел вниз с весьма неприятной гри-

масой в лице и как будто заранее что-то предчувствовал. За тирадою господина Голядкина последовало довольно долгое и значительное молчание.

– Вы, кажется, немного отвлеклись от предмета, – сказал наконец Крестьян Иванович вполголоса, – я, признаюсь вам, не мог вас совершенно понять.

– Я не мастер красно говорить, Крестьян Иванович; я уже вам имел честь доложить, Крестьян Иванович, что я не мастер красно говорить, – сказал господин Голядкин, на этот раз резким и решительным тоном.

– Гм...

– Крестьян Иванович! – начал опять господин Голядкин тихим, но многозначащим голосом, отчасти в торжественном роде и останавливаясь на каждом пункте. – Крестьян Иванович! вошедши сюда, я начал извинениями. Теперь повторяю прежнее и опять прошу вашего снисхождения на время. Мне, Крестьян Иванович, от вас скрывать нечего. Человек я маленький, сами вы знаете; но, к счастию моему, не жалею о том, что я маленький человек. Даже напротив, Крестьян Иванович; и, чтоб всё сказать, я даже горжусь тем, что не большой человек, а маленький. Не интригант – и этим тоже горжусь. Действую не втихомолку, а открыто, без хитростей, и хотя бы мог вредить в свою очередь, и очень бы мог, и даже знаю, над кем и как это сделать, Крестьян Иванович, но не хочу замарать себя и в этом смысле умываю руки. В этом смысле, говорю, я их умываю, Крестьян Иванович! – Господин Голядкин на мгновение выразительно замолчал; говорил он с кротким одушевлением.

– Иду я, Крестьян Иванович, – стал продолжать наш герой, – прямо, открыто и без окольных путей, потому что их презираю и предоставляю это другим. Не стараюсь унизить тех, которые, может быть, нас с вами почище... то есть я хочу сказать нас с ними, Крестьян Иванович, я не хотел сказать с вами. Полуслов не люблю; мизерных двуличностей не жалую; клеветою и сплетней гнушаюсь. Маску надеваю лишь в маскарад, а не хожу с нею перед людьми каждодневно. Спрошу я вас только, Крестьян Иванович, как бы стали вы мстить врагу своему, злейшему врагу своему, – тому, кого бы вы считали таким? – заключил господин Голядкин, бросив вызывающий взгляд на Крестьяна Ивановича.

Хотя господин Голядкин проговорил всё это донельзя отчетливо, ясно, с уверенностью, взвешивая слова и рассчитывая на вернейший эффект,

но между тем с беспокойством, с большим беспокойством, с крайним беспокойством смотрел теперь на Крестьяна Ивановича. Теперь он обратился весь в зрение и робко, с досадным, тоскливым нетерпением ожидал ответа Крестьяна Ивановича. Но, к изумлению и к совершенному поражению господина Голядкина, Крестьян Иванович что-то пробормотал себе под нос; потом придвинул кресла к столу и довольно сухо, но, впрочем, учтиво объявил ему что-то вроде того, что ему время дорого, что он как-то не совсем понимает; что, впрочем, он, чем может, готов служить, по силам, но что всё дальнейшее и до него не касающееся он оставляет. Тут он взял перо, придвинул бумагу, выкроил из нее докторской формы лоскутик и объявил, что тотчас пропишет что следует.

– Нет-с, не следует, Крестьян Иванович! нет-с, это вовсе не следует! – проговорил господин Голядкин, привстав с места и хватая Крестьяна Ивановича за правую руку, – этого, Крестьян Иванович, здесь вовсе не надобно...

А между тем, покамест говорил это всё господин Голядкин, в нем произошла какая-то странная перемена. Серые глаза его как-то странно блеснули, губы его задрожали, все мускулы, все черты лица его заходили, задвигались. Сам он весь дрожал. Последовав первому движению своему и остановив руку Крестьяна Ивановича, господин Голядкин стоял теперь неподвижно, как будто сам не доверяя себе и ожидая вдохновения для дальнейших поступков.

Тогда произошла довольно странная сцена.

Немного озадаченный, Крестьян Иванович на мгновение будто прирос к своему креслу и, потерявшись, смотрел во все глаза господину Голядкину, который таким же образом смотрел на него. Наконец Крестьян Иванович встал, придерживаясь немного за лацкан вицмундира господина Голядкина. Несколько секунд стояли они таким образом оба, неподвижно и не сводя глаз друг с друга. Тогда, впрочем необыкновенно странным образом, разрешилось и второе движение господина Голядкина. Губы его затряслись, подбородок запрыгал, и герой наш заплакал совсем неожиданно. Всхлипывая, кивая головой и ударяя себя в грудь правой рукою, а левой схватив тоже за лацкан домашней одежды Крестьяна Ивановича, хотел было он говорить и в чем-то немедленно объясниться, но не мог и слова сказать. Наконец Крестьян Иванович опомнился от своего изумления.

– Полноте, успокойтесь, садитесь! – проговорил он наконец, стараясь посадить господина Голядкина в кресла.

– У меня есть враги, Крестьян Иванович, у меня есть враги; у меня есть злые враги, которые меня погубить поклялись... – отвечал господин Голядкин боязливо и шепотом.

– Полноте, полноте; что враги! не нужно врагов поминать! это совершенно не нужно. Садитесь, садитесь, – продолжал Крестьян Иванович, усаживая господина Голядкина окончательно в кресла.

Господин Голядкин уселся наконец, не сводя глаз с Крестьяна Ивановича. Крестьян Иванович с крайне недовольным видом стал шагать из угла в угол своего кабинета. Последовало долгое молчание.

– Я вам благодарен, Крестьян Иванович, весьма благодарен и весьма чувствую всё, что вы для меня теперь сделали. По гроб не забуду я ласки вашей, Крестьян Иванович, – сказал наконец господин Голядкин, с обиженным видом вставая со стула.

– Полноте, полноте! я вам говорю, полноте! – отвечал довольно строго Крестьян Иванович на выходку господина Голядкина, еще раз усаживая его на место.

– Ну, что у вас? Расскажите мне, что у вас есть там теперь неприятного, – продолжал Крестьян Иванович, – и о каких врагах говорите вы? Что у вас есть там такое?

– Нет, Крестьян Иванович, мы лучше это оставим теперь, – отвечал господин Голядкин, опустив глаза в землю, – лучше отложим всё это в сторону, до времени... до другого времени, Крестьян Иванович, до более удобного времени, когда всё обнаружится, и маска спадет с некоторых лиц, и кое-что обнажится. А теперь, покамест, разумеется, после того, что с нами случилось... вы согласитесь сами, Крестьян Иванович... Позвольте пожелать вам доброго утра, Крестьян Иванович, – сказал господин Голядкин, в этот раз решительно и серьезно вставая с места и хватаясь за шляпу.

– А, ну... как хотите... гм... (Последовало минутное молчание.) Я, с моей стороны, вы знаете, что могу... и искренно вам добра желаю.

– Понимаю вас, Крестьян Иванович, понимаю; я вас совершенно понимаю теперь... Во всяком случае, извините меня, что я вас обеспокоил, Крестьян Иванович.

– Гм... Нет, я вам не то хотел говорить. Впрочем, как угодно. Медикаменты по-прежнему продолжайте...

– Буду продолжать медикаменты, как вы говорите, Крестьян Иванович, буду продолжать и в той же аптеке брать буду... Нынче и аптекарем быть, Крестьян Иванович, уже важное дело...

– Как? в каком смысле вы хотите сказать?

– В весьма обыкновенном смысле, Крестьян Иванович. Я хочу сказать, что нынче так свет пошел...

– Гм...

– И что всякий мальчишка, не только аптекарский, перед порядочным человеком нос задирает теперь.

– Гм. Как же вы это понимаете?

– Я говорю, Крестьян Иванович, про известного человека... про общего нам знакомого, Крестьян Иванович, например хоть про Владимира Семеновича...

– А!..

– Да, Крестьян Иванович; и я знаю некоторых людей, Крестьян Иванович, которые не слишком-то держатся общего мнения, чтоб иногда правду сказать.

– А!.. Как же это?

– Да уж так-с; это, впрочем, постороннее дело; умеют этак иногда поднести коку с соком.

– Что? что поднести?

– Коку с соком, Крестьян Иванович; это пословица русская. Умеют иногда кстати поздравить кого-нибудь, например; есть такие люди, Крестьян Иванович.

– Поздравить?

– Да-с, поздравить, Крестьян Иванович, как сделал на днях один из моих коротких знакомых...

– Один из ваших коротких знакомых... а! как же это? – сказал Крестьян Иванович, внимательно взглянув на господина Голядкина.

– Да-с, один из моих близких знакомых поздравил с чином, с получением асессорского чина, другого весьма близкого тоже знакомого, и вдобавок приятеля, как говорится, сладчайшего друга. Этак к слову пришлось. «Чувствительно, дескать, говорит, рад случаю принести вам, Владимир

Семенович, мое поздравление, искреннее мое поздравление в получении чина. И тем более рад, что нынче, как всему свету известно, вывелись бабушки, которые ворожат». Тут господин Голядкин плутовски кивнул головой и, прищурясь, посмотрел на Крестьяна Ивановича...

– Гм. Так это сказал...

– Сказал, Крестьян Иванович, сказал, да тут же и взглянул на Андрея Филипповича, на дядю-то нашего нещечка, Владимира Семеновича. Да что мне, Крестьян Иванович, что он асессором сделан? Мне-то что тут? Да жениться хочет, когда еще молоко, с позволения сказать, на губах не обсохло. Так-таки и сказал. Дескать, говорю, Владимир Семенович! Я теперь всё сказал; позвольте же мне удалиться.

– Гм...

– Да, Крестьян Иванович, позвольте же мне теперь, говорю, удалиться. Да тут, чтоб уж разом двух воробьев одним камнем убить, – как срезал молодца-то на бабушках, – и обращаюсь к Кларе Олсуфьевне (дело-то было третьего дня у Олсуфья Ивановича), – а она только что романс пропела чувствительный, – говорю, дескать, «чувствительно пропеть вы романсы изволили, да только слушают-то вас не от чистого сердца». И намекаю тем ясно, понимаете, Крестьян Иванович, намекаю тем ясно, что ищут-то теперь не в ней, а подальше...

– А! ну что же он?..

– Лимон съел, Крестьян Иванович, как по пословице говорится.

– Гм...

– Да-с, Крестьян Иванович. Тоже и старику самому говорю, – дескать, Олсуфий Иванович, говорю, я знаю, чем обязан я вам, ценю вполне благодеяния ваши, которыми почти с детских лет моих вы осыпали меня. Но откройте глаза, Олсуфий Иванович, говорю. Посмотрите. Я сам дело начистоту и открыто веду, Олсуфий Иванович.

– А, вот как!

– Да, Крестьян Иванович. Оно вот как...

– Что ж он?

– Да что он, Крестьян Иванович! мямлит; и того, и сего, и я тебя знаю, и что его превосходительство благодетельный человек – и пошел, и размазался... Да ведь что ж? от старости, как говорится, покачнулся порядком.

– А! так вот как теперь!

– Да, Крестьян Иванович. И все-то мы так, чего! старикашка! в гроб смотрит, дышит на ладан, как говорится, а сплетню бабью заплетут какую-нибудь, так он уж тут слушает; без него невозможно...

– Сплетню, вы говорите?

– Да, Крестьян Иванович, заплели они сплетню. Замешал свою руку сюда и наш медведь и племянник его, наше нещечко; связались они с старухами, разумеется, и состряпали дело. Как бы вы думали? Что они выдумали, чтоб убить человека?..

– Чтоб убить человека?

– Да, Крестьян Иванович, чтоб убить человека, нравственно убить человека. Распустили они... я всё про моего близкого знакомого говорю...

Крестьян Иванович кивнул головою.

– Распустили они насчет его слух... Признаюсь вам, мне даже совестно говорить, Крестьян Иванович...

– Гм...

– Распустили они слух, что он уже дал подписку жениться, что он уже жених с другой стороны... И как бы вы думали, Крестьян Иванович, на ком?

– Право?

– На кухмистерше, на одной неблагопристойной немке, у которой обеды берет; вместо заплаты долгов руку ей предлагает.

– Это они говорят?

– Верите ли, Крестьян Иванович? Немка, подлая, гадкая, бесстыдная немка, Каролина Ивановна, если известно вам...

– Я, признаюсь, с моей стороны...

– Понимаю вас, Крестьян Иванович, понимаю и с своей стороны это чувствую...

– Скажите мне, пожалуйста, где вы живете теперь?

– Где я живу теперь, Крестьян Иванович?

– Да... я хочу... вы прежде, кажется, жили...

– Жил, Крестьян Иванович, жил, жил и прежде. Как же не жить! – отвечал господин Голядкин, сопровождая слова свои маленьким смехом и немного смутив ответом своим Крестьяна Ивановича.

– Нет, вы не так это приняли; я хотел с своей стороны...

– Я тоже хотел, Крестьян Иванович, с своей стороны, я тоже хотел, – смеясь, продолжал господин Голядкин. – Однако ж я, Крестьян Иванович, у вас засиделся совсем. Вы, надеюсь, позволите мне теперь... пожелать вам доброго утра...

– Гм...

– Да, Крестьян Иванович, я вас понимаю; я вас теперь вполне понимаю, – сказал наш герой, немного рисуясь перед Крестьяном Ивановичем... – Итак, позвольте вам пожелать доброго утра...

Тут герой наш шаркнул ножкой и вышел из комнаты, оставив в крайнем изумлении Крестьяна Ивановича. Сходя с докторской лестницы, он улыбался и радостно потирал себе руки. На крыльце, дохнув свежим воздухом и почувствовав себя на свободе, он даже действительно готов был признать себя счастливейшим смертным и потом прямо отправиться в департамент, – как вдруг у подъезда загремела его карета; он взглянул и всё вспомнил. Петрушка отворял уже дверцы. Какое-то странное и крайне неприятное ощущение охватило всего господина Голядкина. Он как будто бы покраснел на мгновение. Что-то кольнуло его. Он уже стал было заносить свою ногу на подножку кареты, как вдруг обернулся и посмотрел на окна Крестьяна Ивановича. Так и есть! Крестьян Иванович стоял у окна, поглаживал правой рукой свои бакенбарды и довольно любопытно смотрел на героя нашего.

«Этот доктор глуп, – подумал господин Голядкин, забиваясь в карету, – крайне глуп. Он, может быть, и хорошо своих больных лечит, а все-таки... глуп, как бревно». Господин Голядкин уселся, Петрушка крикнул: «Пошел!» – и карета покатилась опять на Невский проспект.

ГЛАВА III

Всё это утро прошло в страшных хлопотах у господина Голядкина. Попав на Невский проспект, герой наш приказал остановиться у Гостиного двора. Выпрыгнув из своего экипажа, побежал он под аркаду, в сопровождении Петрушки, и пошел прямо в лавку серебряных и золотых изделий. Заметно было уже по одному виду господина Голядкина, что у него хлопот полон рот и дела страшная куча. Сторговав полный обеденный и чайный сервиз с лишком на тысячу пятьсот рублей ассигна-

циями и выторговав себе в эту же сумму затейливой формы сигарочницу и полный серебряный прибор для бритья бороды, приценившись наконец еще к кое-каким в своем роде полезным и приятным вещицам, господин Голядкин кончил тем, что обещал завтра же зайти непременно или даже сегодня прислать за сторгованным, взял нумер лавки и, выслушав внимательно купца, хлопотавшего о задаточке, обещал в свое время и задаточек. После чего он поспешно распростился с недоумевавшим купцом и пошел вдоль по линии, преследуемый целой стаей сидельцев, поминутно оглядываясь назад на Петрушку и тщательно отыскивая какую-то новую лавку. Мимоходом забежал он в меняльную лавочку и разменял всю свою крупную бумагу на мелкую, и хотя потерял на промене, но зато все-таки разменял, и бумажник его значительно потолстел, что, но-видимому, доставило ему крайнее удовольствие. Наконец остановился он в магазине разных дамских материй. Наторговав опять на знатную сумму, господин Голядкин и здесь обещал купцу зайти непременно, взял нумер лавки и, на вопрос о задаточке, опять повторил, что будет в свое время и задаточек. Потом посетил и еще несколько лавок; во всех торговал, приценялся к разным вещицам, спорил иногда долго с купцами, уходил из лавки и раза по три возвращался, – одним словом, оказывал необыкновенную деятельность. Из Гостиного двора герой наш отправился в один известный мебельный магазин, где сторговал мебели на шесть комнат, полюбовался одним модным и весьма затейливым дамским туалетом в последнем вкусе и, уверив купца, что пришлет за всем непременно, вышел из магазина, по своему обычаю, с обещанием задаточка, потом заехал еще кое-куда и поторговал кое-что. Одним словом, не было, но-видимому, конца его хлопотам. Наконец всё это, кажется, сильно стало надоедать самому господину Голядкину. Даже и Бог знает по какому случаю стали его терзать ни с того ни с сего угрызения совести. Ни за что бы не согласился он теперь встретиться, например, с Андреем Филипповичем или хоть с Крестьяном Ивановичем. Наконец городские часы пробили три пополудни. Когда господин Голядкин сел окончательно в карету, из всех приобретений, сделанных им в это утро, оказалась в действительности лишь одна пара перчаток и стклянка духов в полтора рубля ассигнациями. Так как для господина Голядкина было еще довольно рано, то он и приказал своему кучеру остановиться возле одного известного ресторана на Нев-

ском проспекте, о котором доселе он знал лишь понаслышке, вышел из кареты и побежал закусить, отдохнуть и выждать известное время.

Закусив так, как закусывает человек, у которого в перспективе богатый званый обед, то есть перехватив кое-что, чтобы, как говорится, червячка заморить, и выпив одну рюмочку водки, господин Голядкин уселся в креслах и, скромно осмотревшись кругом, мирно пристроился к одной тощей национальной газетке. Прочтя строчки две, он встал, посмотрелся в зеркало, оправился и огладился; потом подошел к окну и поглядел, тут ли его карета... потом опять сел на место и взял газету. Заметно было, что герой наш был в крайнем волнении. Взглянув на часы и видя, что еще только четверть четвертого, следовательно, еще остается порядочно ждать, а вместе с тем и рассудив, что так сидеть неприлично, господин Голядкин приказал подать себе шоколаду, к которому, впрочем, в настоящее время большой охоты не чувствовал. Выпив шоколад и заметив, что время немного подвинулось, вышел он расплатиться. Вдруг кто-то ударил его по плечу.

Он обернулся и увидел пред собою двух своих сослуживцев-товарищей, тех самых, с которыми встретился утром на Литейной, – ребят еще весьма молодых и по летам и по чину. Герой наш был с ними ни то ни се, ни в дружбе, ни в открытой вражде. Разумеется, соблюдалось приличие с обеих сторон; дальнейшего же сближения не было, да и быть не могло. Встреча в настоящее время была крайне неприятна господину Голядкину. Он немного поморщился и на минутку смешался.

– Яков Петрович, Яков Петрович! – защебетали оба регистратора, – вы здесь? по какому...

– А! это вы, господа! – перебил поспешно господин Голядкин, немного сконфузясь и скандализируясь изумлением чиновников и вместе с тем короткостию их обращения, но, впрочем, делая развязного и молодца поневоле. – Дезертировали, господа, хе-хе-хе!.. – Тут даже, чтоб не уронить себя и снизойти до канцелярского юношества, с которым всегда был в должных границах, он попробовал было потрепать одного юношу по плечу; но популярность в этом случае не удалась господину Голядкину, и, вместо прилично-короткого жеста, вышло что-то совершенно другое.

– Ну, а что, медведь наш сидит?..

– Кто это, Яков Петрович?

– Ну, медведь-то, будто не знаете, кого медведем зовут?.. – Господин Голядкин засмеялся и отвернулся к приказчику взять с него сдачу. – Я говорю про Андрея Филипповича, господа, – продолжал он, кончив с приказчиком и на этот раз с весьма серьезным видом обратившись к чиновникам. Оба регистратора значительно перемигнулись друг с другом.

– Сидит еще и вас спрашивал, Яков Петрович, – отвечал один из них.

– Сидит, а! В таком случае пусть его сидит, господа. И меня спрашивал, а?

– Спрашивал, Яков Петрович; да что это с вами, раздушены, распомажены, франтом таким?..

– Так, господа, это так! Полноте... – отвечал господин Голядкин, смотря в сторону и напряженно улыбнувшись. Видя, что господин Голядкин улыбается, чиновники расхохотались. Господин Голядкин немного надулся.

– Я вам скажу, господа, по-дружески, – сказал, немного помолчав, наш герой, как будто (так уж и быть) решившись открыть что-то чиновникам, – вы, господа, все меня знаете, но до сих пор знали только с одной стороны. Пенять в этом случае не на кого, и отчасти, сознаюсь, я был сам виноват.

Господин Голядкин сжал губы и значительно взглянул на чиновников. Чиновники снова перемигнулись.

– До сих пор, господа, вы меня не знали. Объясняться теперь и здесь будет не совсем-то кстати. Скажу вам только кое-что мимоходом и вскользь. Есть люди, господа, которые не любят окольных путей и маскируются только для маскарада. Есть люди, которые не видят прямого человеческого назначения в ловком уменье лощить паркет сапогами. Есть и такие люди, господа, которые не будут говорить, что счастливы и живут вполне, когда, например, на них хорошо сидят панталоны. Есть, наконец, люди, которые не любят скакать и вертеться по-пустому, заигрывать и подлизываться, а главное, господа, совать туда свой нос, где его вовсе не спрашивают... Я, господа, сказал почти всё; позвольте ж мне теперь удалиться...

Господин Голядкин остановился. Так как господа регистраторы были теперь удовлетворены вполне, то вдруг оба крайне неучтиво покатились со смеха. Господин Голядкин вспыхнул.

– Смейтесь, господа, смейтесь покамест! Поживете – увидите, – сказал он с чувством оскорбленного достоинства, взяв свою шляпу и ретируясь к дверям.

– Но скажу более, господа, – прибавил он, обращаясь в последний раз к господам регистраторам, – скажу более – оба вы здесь со мной глаз на глаз. Вот, господа, мои правила: не удастся – креплюсь, удастся – держусь и во всяком случае никого не подкапываю. Не интригант – и этим горжусь. В дипломаты бы я не годился. Говорят еще, господа, что птица сама летит на охотника. Правда, и готов согласиться: но кто здесь охотник, кто птица? Это еще вопрос, господа!

Господин Голядкин красноречиво умолк и с самой значительной миной, то есть подняв брови и сжав губы донельзя, раскланялся с господами чиновниками и потом вышел, оставя их в крайнем изумлении.

– Куда прикажете? – спросил довольно сурово Петрушка, которому уже наскучило, вероятно, таскаться по холоду. – Куда прикажете? – спросил он господина Голядкина, встречая его страшный, всеуничтожающий взгляд, которым герой наш уже два раза обеспечивал себя в это утро и к которому прибегнул теперь в третий раз, сходя с лестницы.

– К Измайловскому мосту.

– К Измайловскому мосту! Пошел!

«Обед у них начнется не раньше как в пятом или даже в пять часов, – думал господин Голядкин, – не рано ль теперь? Впрочем, ведь я могу и пораньше; да к тому же и семейный обед. Я этак могу сан-фасон, как между порядочными людьми говорится. Отчего же бы мне нельзя сан-фасон? Медведь наш тоже говорил, что будет всё сан-фасон[1], а потому и я тоже...» Так думал господин Голядкин; а между тем волнение его всё более и более увеличивалось. Заметно было, что он готовился к чему-то весьма хлопотливому, чтоб не сказать более, шептал про себя, жестикулировал правой рукой, беспрерывно поглядывал в окна кареты, так что, смотря теперь на господина Голядкина, право бы никто не сказал, что он сбирается хорошо пообедать, запросто, да еще в своем семейном кругу, – сан-фасон, как между порядочными людьми говорится. Наконец у самого Измайловского моста господин Голядкин указал на один дом; карета с громом вкатилась в ворота и оста-

[1] Сан-фасон (*фр.* sans façon) – без церемоний.

новилась у подъезда правого фаса. Заметив одну женскую фигуру в окне второго этажа, господин Голядкин послал ей рукой поцелуй. Впрочем, он не знал сам, что делает, потому что решительно был ни жив ни мертв в эту минуту. Из кареты он вышел бледный, растерянный; взошел на крыльцо, снял свою шляпу, машинально оправился и, чувствуя, впрочем, маленькую дрожь в коленках, пустился по лестнице.

– Олсуфий Иванович? – спросил он отворившего ему человека.

– Дома-с, то есть нет-с, их нет дома-с.

– Как? что ты, мой милый? Я – я на обед, братец. Ведь ты меня знаешь?

– Как не знать-с! Принимать вас не велено-с.

– Ты... ты, братец... ты, верно, ошибаешься, братец. Это я. Я, братец, приглашен; я на обед, – проговорил господин Голядкин, сбрасывая шинель и показывая очевидное намерение отправиться в комнаты.

– Позвольте-с, нельзя-с. Не велено принимать-с, вам отказывать велено. Вот как!

Господин Голядкин побледнел. В это самое время дверь из внутренних комнат отворилась и вошел Герасимыч, старый камердинер Олсуфия Ивановича.

– Вот они, Емельян Герасимович, войти хотят, а я...

– А вы дурак, Алексеич. Ступайте в комнаты, а сюда пришлите подлеца Семеныча. Нельзя-с, – сказал он учтиво, но решительно обращаясь к господину Голядкину. – Никак невозможно-с. Просят извинить-с; не могут принять-с.

– Они так и сказали, что не могут принять? – нерешительно спросил господин Голядкин. – Вы извините, Герасимыч. Отчего же никак невозможно?

– Никак невозможно-с. Я докладывал-с; сказали: проси извинить. Не могут, дескать, принять-с.

– Отчего же? как же это? как...

– Позвольте, позвольте!..

– Однако как же это так? Так нельзя! Доложите... Как же это так? я на обед...

– Позвольте, позвольте!..

– А, ну, впрочем, это дело другое – извинить просят; однако ж позвольте, Герасимыч, как же это, Герасимыч?

– Позвольте, позвольте! – возразил Герасимыч, весьма решительно отстраняя рукой господина Голядкина и давая широкую дорогу двум господам, которые в это самое мгновение входили в прихожую. Входившие господа были: Андрей Филиппович и племянник его, Владимир Семенович. Оба они с недоумением посмотрели на господина Голядкина. Андрей Филиппович хотел было что-то заговорить, но господин Голядкин уже решился; он уже выходил из прихожей Олсуфия Ивановича, опустив глаза, покраснев, улыбаясь, с совершенно потерянной физиономией.

– Я зайду после, Герасимыч; я объяснюсь; я надеюсь, что всё это не замедлит своевременно объясниться, – проговорил он на пороге и отчасти на лестнице...

– Яков Петрович, Яков Петрович!.. – послышался голос последовавшего за господином Голядкиным Андрея Филипповича.

Господин Голядкин находился тогда уже на первой забежной площадке. Он быстро оборотился к Андрею Филипповичу.

– Что вам угодно, Андрей Филиппович? – сказал он довольно решительным тоном.

– Что это с вами, Яков Петрович? Каким образом?..

– Ничего-с, Андрей Филиппович. Я здесь сам по себе. Это моя частная жизнь, Андрей Филиппович.

– Что такое-с?

– Я говорю, Андрей Филиппович, что это моя частная жизнь и что здесь, сколько мне кажется, ничего нельзя найти предосудительного касательно официальных отношений моих.

– Как! касательно официальных... Что с вами, сударь, такое?

– Ничего, Андрей Филиппович, совершенно ничего; дерзкая девчонка, больше ничего...

– Что!.. что?! – Андрей Филиппович потерялся от изумления. Господин Голядкин, который доселе, разговаривая с низу лестницы с Андреем Филипповичем, смотрел так, что, казалось, готов был ему прыгнуть прямо в глаза, – видя, что начальник отделения немного смешался, сделал, почти неведомо себе, шаг вперед. Андрей Филиппович подался назад. Господин Голядкин переступил еще и еще ступеньку. Андрей Филиппович беспокойно осмотрелся кругом. Господин Голядкин вдруг быстро под-

нялся на лестницу. Еще быстрее прыгнул Андрей Филиппович в комнату и захлопнул дверь за собою. Господин Голядкин остался один. В глазах у него потемнело. Он сбился совсем и стоял теперь в каком-то бестолковом раздумье, как будто припоминая о каком-то тоже крайне бестолковом обстоятельстве, весьма недавно случившемся. «Эх, эх!» – прошептал он, улыбаясь с натуги. Между тем на лестнице, внизу, послышались голоса и шаги, вероятно новых гостей, приглашенных Олсуфьем Ивановичем. Господин Голядкин отчасти опомнился, поскорее поднял повыше свой енотовый воротник, прикрылся им по возможности – и стал, ковыляя, семеня, торопясь и спотыкаясь, сходить с лестницы. Чувствовал он в себе какое-то ослабление и онемение. Смущение его было в такой сильной степени, что, вышед на крыльцо, он не подождал и кареты, а сам пошел прямо через грязный двор до своего экипажа. Подойдя к своему экипажу и приготовляясь в нем поместиться, господин Голядкин мысленно обнаружил желание провалиться сквозь землю или спрятаться хоть в мышиную щелочку вместе с каретой. Ему казалось, что всё, что ни есть в доме Олсуфия Ивановича, вот так и смотрит теперь на него из всех окон. Он знал, что непременно тут же на месте умрет, если обернется назад.

– Что ты смеешься, болван? – сказал он скороговоркой Петрушке, который приготовился было его подсадить в карету.

– Да что мне смеяться-то? я ничего; куда теперь ехать?

– Ступай домой, поезжай...

– Пошел домой! – крикнул Петрушка, взмостясь на запятки.

«Экое горло воронье!» – подумал господин Голядкин. Между тем карета уже довольно далеко отъехала за Измайловский мост. Вдруг герой наш из всей силы дернул снурок и закричал своему кучеру немедленно воротиться назад. Кучер поворотил лошадей и через две минуты въехал опять во двор к Олсуфию Ивановичу. «Не нужно, дурак, не нужно; назад!» – прокричал господин Голядкин, – и кучер словно ожидал такого приказания: не возражая ни на что, не останавливаясь у подъезда и объехав кругом весь двор, выехал снова на улицу.

Домой господин Голядкин не поехал, а, миновав Семеновский мост, приказал поворотить в один переулок и остановиться возле трактира довольно скромной наружности. Вышед из кареты, герой наш распла-

тился с извозчиком и таким образом избавился наконец от своего экипажа, Петрушке приказал идти домой и ждать его возвращения, сам же вошел в трактир, взял особенный нумер и приказал подать себе пообедать. Чувствовал он себя весьма дурно, а голову свою в полнейшем разброде и в хаосе. Долго ходил он в волнении по комнате; наконец сел на стул, подпер себе лоб руками и начал всеми силами стараться обсудить и разрешить кое-что относительно настоящего своего положения...

ГЛАВА IV

День, торжественный день рождения Клары Олсуфьевны, единородной дочери статского советника Берендеева, в оно время благодетеля господина Голядкина, – день, ознаменовавшийся блистательным, великолепным званым обедом, таким обедом, какого давно не видали в стенах чиновничьих квартир у Измайловского моста и около, – обедом, который походил более на какой-то пир вальтасаровский, чем на обед, – который отзывался чем-то вавилонским в отношении блеска, роскоши и приличия, с шампанским-клико, с устрицами и плодами Елисеева и Милютиных лавок, со всякими упитанными тельцами и чиновною табелью о рангах, – этот торжественный день, ознаменовавшийся таким торжественным обедом, заключился блистательным балом, семейным, маленьким, родственным балом, но все-таки блистательным в отношении вкуса, образованности и приличия. Конечно, я совершенно согласен, такие балы бывают, но редко. Такие балы, более похожие на семейные радости, чем на балы, могут лишь даваться в таких домах, как например дом статского советника Берендеева. Скажу более: я даже сомневаюсь, чтоб у всех статских советников могли даваться такие балы. О, если бы я был поэт! – разумеется, по крайней мере такой, как Гомер или Пушкин; с меньшим талантом соваться нельзя – я бы непременно изобразил вам яркими красками и широкою кистью, о читатели! весь этот высокоторжественный день. Нет, я бы начал свою поэму обедом, я особенно бы налег на то поразительное и вместе с тем торжественное мгновение, когда поднялась первая заздравная чаша в честь царицы праздника. Я изобразил бы вам, во-первых, этих гостей, погруженных в благоговейное молчание и ожидание, более похожее на демосфеновское красноречие, чем на молчание.

Я изобразил бы вам потом Андрея Филипповича, как старшего из гостей, имеющего даже некоторое право на первенство, украшенного сединами и приличными седине орденами, вставшего с места и поднявшего над головою заздравный бокал с искрометным вином, – вином, нарочно привозимым из одного отдаленного королевства, чтоб запивать им подобные мгновения, – вином, более похожим на божественный нектар, чем на вино. Я изобразил бы вам гостей и счастливых родителей царицы праздника, поднявших тоже свои бокалы вслед за Андреем Филипповичем и устремивших на него полные ожидания очи. Я изобразил бы вам, как этот часто поминаемый Андрей Филиппович, уронив сначала слезу в бокал, проговорил поздравление и пожелание, провозгласил тост и выпил за здравие... Но, сознаюсь, вполне сознаюсь, не мог бы я изобразить всего торжества – той минуты, когда сама царица праздника, Клара Олсуфьевна, краснея, как вешняя роза, румянцем блаженства и стыдливости, от полноты чувств упала в объятия нежной матери, как прослезилась нежная мать и как зарыдал при сем случае сам отец, маститый старец и статский советник Олсуфий Иванович, лишившийся употребления ног на долговременной службе и вознагражденный судьбою за таковое усердие капитальцем, домком, деревеньками и красавицей дочерью, – зарыдал как ребенок и провозгласил сквозь слезы, что его превосходительство благодетельный человек. Я бы не мог, да, именно не мог бы изобразить вам и неукоснительно последовавшего за сей минутой всеобщего увлечения сердец, – увлечения, ясно выразившегося даже поведением одного юного регистратора (который в это мгновение походил более на статского советника, чем на регистратора), тоже прослезившегося, внимая Андрею Филипповичу. В свою очередь Андрей Филиппович в это торжественное мгновение вовсе не походил на коллежского советника и начальника отделения в одном департаменте, – нет, он казался чем-то другим... я не знаю только, чем именно, но не коллежским советником. Он был выше! Наконец... о! для чего я не обладаю тайною слога высокого, сильного, слога торжественного, для изображения всех этих прекрасных и назидательных моментов человеческой жизни, как будто нарочно устроенных для доказательства, как иногда торжествует добродетель над неблагонамеренностью, вольнодумством, пороком и завистью! Я ничего не скажу, но молча – что будет лучше всякого красноречия – укажу вам на этого

счастливого юношу, вступающего в свою двадцать шестую весну, – на Владимира Семеновича, племянника Андрея Филипповича, который встал в свою очередь с места, который провозглашает в свою очередь тост и на которого устремлены слезящиеся очи родителей царицы праздника, гордые очи Андрея Филипповича, стыдливые очи самой царицы праздника, восторженные очи гостей и даже прилично завистливые очи некоторых молодых сослуживцев этого блестящего юноши. Я не скажу ничего, хотя не могу не заметить, что всё в этом юноше, – который более похож на старца, чем на юношу, говоря в выгодном для него отношении, – всё, начиная с цветущих ланит до самого асессорского, на нем лежавшего чина, всё это в сию торжественную минуту только что не проговаривало, что, дескать, до такой-то высокой степени может благонравие довести человека! Я не буду описывать, как, наконец, Антон Антонович Сеточкин, столоначальник одного департамента, сослуживец Андрея Филипповича и некогда Олсуфия Ивановича, вместе с тем старинный друг дома и крестный отец Клары Олсуфьевны, – старичок, как лунь седенький, в свою очередь предлагая тост, пропел петухом и проговорил веселые вирши; как он таким приличным забвением приличия, если можно так выразиться, рассмешил до слез целое общество и как сама Клара Олсуфьевна за таковую веселость и любезность поцеловала его, по приказанию родителей. Скажу только, что, наконец, гости, которые после такого обеда, естественно, должны были чувствовать себя друг другу родными и братьями, встали из-за стола; как потом старички и люди солидные, после не долгого времени, употребленного на дружеский разговор и даже на кое-какие, разумеется, весьма приличные и любезные откровенности, чинно прошли в другую комнату и, не теряя золотого времени, разделившись на партии, с чувством собственного достоинства сели за столы, обтянутые зеленым сукном; как дамы, усевшись в гостиной, стали вдруг все необыкновенно любезны и начали разговаривать о разных материях; как, наконец, сам высокоуважаемый хозяин дома, лишившийся употребления ног на службе верою и правдою и награжденный за это всем, чем выше упомянуто было, стал расхаживать на костылях между гостями своими, поддерживаемый Владимиром Семеновичем и Кларой Олсуфьевной, и как, вдруг сделавшись тоже необыкновенно любезным, решился импровизировать маленький скромный бал, несмотря на издержки; как

для сей цели командирован был один расторопный юноша (тот самый, который за обедом более похож был на статского советника, чем на юношу) за музыкантами; как потом прибыли музыканты в числе целых одиннадцати штук и как, наконец, ровно в половине девятого раздались призывные звуки французской кадрили и прочих различных танцев... Нечего уже и говорить, что перо мое слабо, вяло и тупо для приличного изображения бала, импровизированного необыкновенною любезностью седовласого хозяина. Да и как, спрошу я, как могу я, скромный повествователь весьма, впрочем, любопытных в своем роде приключений господина Голядкина, – как могу я изобразить эту необыкновенную и благопристойную смесь красоты, блеска, приличия, веселости, любезной солидности и солидной любезности, резвости, радости, все эти игры и смехи всех этих чиновных дам, более похожих на фей, чем на дам, – говоря в выгодном для них отношении, – с их лилейно-розовыми плечами и личиками, с их воздушными станами, с их резво-игривыми, гомеопатическими, говоря высоким слогом, ножками? Как изображу я вам, наконец, этих блестящих чиновных кавалеров, веселых и солидных, юношей и степенных, радостных и прилично-туманных, курящих в антрактах между танцами в маленькой отдаленной зеленой комнате трубку и не курящих в антрактах трубки, – кавалеров, имевших на себе, от первого до последнего, приличный чин и фамилию, – кавалеров, глубоко проникнутых чувством изящного и чувством собственного достоинства, – кавалеров, говорящих большею частию на французском языке с дамами, а если на русском, то выражениями самого высокого тона, комплиментами и глубокими фразами, – кавалеров, разве только в трубочной позволявших себе некоторые любезные отступления от языка высшего тона, некоторые фразы дружеской и любезной короткости, вроде таких, например: «что, дескать, ты, такой-сякой, Петька, славно польку откалывал», или: «что, дескать, ты, такой-сякой, Вася, пришпандорил-таки свою дамочку, как хотел». На всё это, как уже выше имел я честь объяснить вам, о читатели! недостает пера моего, и потому я молчу. Обратимся лучше к господину Голядкину, единственному, истинному герою весьма правдивой повести нашей.

Дело в том, что он находится теперь в весьма странном, чтоб не сказать более, положении. Он, господа, тоже здесь, то есть не на бале, но почти что

на бале; он, господа, ничего; он хотя и сам по себе, но в эту минуту стоит на дороге не совсем-то прямой; стоит он теперь – даже странно сказать – стоит он теперь в сенях, на черной лестнице квартиры Олсуфья Ивановича. Но это ничего, что он тут стоит; он так себе. Он, господа, стоит в уголку, забившись в местечко хоть не потеплее, но зато потемнее, закрывшись отчасти огромным шкафом и старыми ширмами, между всяким дрязгом, хламом и рухлядью, скрываясь до времени и покамест только наблюдая за ходом общего дела в качестве постороннего зрителя. Он, господа, только наблюдает теперь; он, господа, тоже ведь может войти… почему же не войти? Стоит только шагнуть, и войдет, и весьма ловко войдет. Сейчас только, – выстаивая, впрочем, уже третий час на холоде, между шкафом и ширмами, между всяким хламом, дрязгом и рухлядью, – цитировал он, в собственное оправдание свое, одну фразу блаженной памяти французского министра Виллеля, что «всё, дескать, придет своим чередом, если выждать есть сметка». Фразу эту вычитал господин Голядкин когда-то из совершенно посторонней, впрочем, книжки, но теперь весьма кстати привел ее себе на память. Фраза, во-первых, очень хорошо шла к настоящему его положению, а во-вторых, чего же не придет в голову человеку, выжидающему счастливой развязки обстоятельств своих почти битые три часа в сенях, в темноте и на холоде? Цитировав, как уже сказано было, весьма кстати фразу бывшего французского министра Виллеля, господин Голядкин тут же, неизвестно почему, припомнил и о бывшем турецком визире Марцимирисе, равно как и о прекрасной маркграфине Луизе, историю которых читал он тоже когда-то в книжке. Потом пришло ему на память, что иезуиты поставили даже правилом своим считать все средства годящимися, лишь бы цель могла быть достигнута. Обнадежив себя немного подобным историческим пунктом, господин Голядкин сказал сам себе, что, дескать, что иезуиты? Иезуиты все до одного были величайшие дураки, что он сам их всех заткнет за пояс, что вот только бы хоть на минуту опустела буфетная (та комната, которой дверь выходила прямо в сени, на черную лестницу, и где господин Голядкин находился теперь), так он, несмотря на всех иезуитов, возьмет – да прямо и пройдет, сначала из буфетной в чайную, потом в ту комнату, где теперь в карты играют, а там прямо в залу, где теперь польку танцуют. И пройдет, непременно пройдет, ни на что не смотря пройдет, проскользнет – да и только,

и никто не заметит; а там уж он сам знает, что ему делать. Вот в таком-то положении, господа, находим мы теперь героя совершенно правдивой истории нашей, хотя, впрочем, трудно объяснить, что именно делалось с ним в настоящее время. Дело-то в том, что он до сеней и до лестницы добраться умел, по той причине, что, дескать, почему ж не добраться, что все добираются; но далее проникнуть не смел, явно этого сделать не смел... не потому, чтоб чего-нибудь не смел, а так, потому что сам не хотел, потому что ему лучше хотелось быть втихомолочку. Вот он, господа, и выжидает теперь тихомолочки, и выжидает ее ровно два часа с половиною. Отчего ж и не выждать? И сам Виллель выжидал. «Да что тут Виллель! – думал господин Голядкин, – какой тут Виллель? А вот как бы мне теперь того... взять да и проникнуть?.. Эх ты, фигурант ты этакой! – сказал господин Голядкин, ущипнув себя окоченевшею рукою за окоченевшую щеку, – дурашка ты этакой, Голядка ты этакой, – фамилия твоя такова!..» Впрочем, это ласкательство собственной особе своей в настоящую минуту было лишь так себе, мимоходом, без всякой видимой цели. Вот было он сунулся и подался вперед; минута настала; буфетная опустела, и в ней нет никого; господин Голядкин видел всё это в окошко; в два шага очутился он у двери и уже стал отворять ее. «Идти или нет? Ну, идти или нет? Пойду... отчего ж не пойти? Смелому дорога везде!» Обнадежив себя таким образом, герой наш вдруг и совсем неожиданно ретировался за ширмы. «Нет, – думал он, – а ну как войдет кто-нибудь? Так и есть, вошли; чего ж я зевал, когда народу не было? Этак бы взять да и проникнуть!.. Нет, уж что проникнуть, когда характер у человека такой! Эка ведь тенденция подлая! Струсил, как курица. С трусить-то наше дело, вот оно что! Нагадить-то всегда наше дело: об этом вы нас и не спрашивайте. Вот и стой здесь, как чурбан, да и только! Дома бы чаю теперь выпить чашечку... Оно бы и приятно этак было выпить бы чашечку. Позже прийти, так Петрушка будет, пожалуй, ворчать. Не пойти ли домой? Черти бы взяли всё это! Иду, да и только!» Разрешив таким образом свое положение, господин Голядкин быстро подался вперед, словно пружину какую кто тронул в нем; с двух шагов очутился в буфетной, сбросил шинель, снял свою шляпу, поспешно сунул это всё в угол, оправился и огладился; потом... потом двинулся в чайную, из чайной юркнул еще в другую комнату, скользнул почти незаметно между вошедшими в азарт игроками;

потом... потом... тут господин Голядкин позабыл всё, что вокруг него делается, и прямо, как снег на голову, явился в танцевальную залу.

Как нарочно в это время не танцевали. Дамы гуляли по зале живописными группами. Мужчины сбивались в кружки или шныряли по комнате, ангажируя дам. Господин Голядкин не замечал этого ничего. Видел он только Клару Олсуфьевну; возле нее Андрея Филипповича, потом Владимира Семеновича, да еще двух или трех офицеров, да еще двух или трех молодых людей, тоже весьма интересных, подающих или уже осуществивших, как можно было по первому взгляду судить, кое-какие надежды... Видел он и еще кой-кого. Или нет; он уже никого не видал, ни на кого не глядел... а двигаемый тою же самой пружиной, посредством которой вскочил на чужой бал непрошенный, подался вперед, потом и еще вперед, и еще вперед; наткнулся мимоходом на какого-то советника, отдавил ему ногу; кстати уже наступил на платье одной почтенной старушки и немного порвал его, толкнул человека с подносом, толкнул и еще кой-кого и, не заметив всего этого или, лучше сказать, заметив, но уж так, заодно, не глядя ни на кого, пробираясь всё далее и далее вперед, вдруг очутился перед самой Кларой Олсуфьевной. Без всякого сомнения, глазком не мигнув, он с величайшим бы удовольствием провалился в эту минуту сквозь землю; но что сделано было, того не воротишь... ведь уж никак не воротишь. Что же было делать? Не удастся – держись, а удастся – крепись. Господин Голядкин, уж разумеется, был не интригант и лощить паркет сапогами не мастер... Так уж случилось. К тому же и иезуиты как-то тут подметались... Но не до них, впрочем, было господину Голядкину! Всё, что ходило, шумело, говорило, смеялось, вдруг, как бы по мановению какому, затихло и мало-помалу столпилось около господина Голядкина. Господин Голядкин, впрочем, как бы ничего не слыхал, ничего не видал, он не мог смотреть... он ни за что не мог смотреть; он опустил глаза в землю да так и стоял себе, дав себе, впрочем мимоходом, честное слово каким-нибудь образом застрелиться в эту же ночь. Дав себе такое честное слово, господин Голядкин мысленно сказал себе: «Была не была!» – и, к собственному своему величайшему изумлению, совсем неожиданно начал вдруг говорить.

Начал господин Голядкин поздравлениями и приличными пожеланиями. Поздравления прошли хорошо, а на пожеланиях герой наш

запнулся. Чувствовал он, что если запнется, то всё сразу к черту пойдет. Так и вышло – запнулся и завяз... завяз и покраснел; покраснел и потерялся; потерялся и поднял глаза; поднял глаза и обвел их кругом; обвел их кругом и – и обмер... Всё стояло, всё молчало, всё выжидало; немного подальше зашептало; немного поближе захохотало. Господин Голядкин бросил покорный, потерянный взор на Андрея Филипповича. Андрей Филиппович ответил господину Голядкину таким взглядом, что если б герой наш не был уже убит вполне, совершенно, то был бы непременно убит в другой раз, – если б это было только возможно. Молчание длилось.

– Это более относится к домашним обстоятельствам и к частной жизни моей, Андрей Филиппович, – едва слышным голосом проговорил полумертвый господин Голядкин, – это не официальное приключение, Андрей Филиппович...

– Стыдитесь, сударь, стыдитесь! – проговорил Андрей Филиппович полушепотом, с невыразимою миной негодования, – проговорил, взял за руку Клару Олсуфьевну и отвернулся от господина Голядкина.

– Нечего мне стыдиться, Андрей Филиппович, – отвечал господин Голядкин также полушепотом, обводя свои несчастные взоры кругом, потерявшись и стараясь по сему случаю отыскать в недоумевающей толпе средины и социального своего положения.

– Ну, и ничего, ну, и ничего, господа! ну, что ж такое? ну, и со всяким может случиться, – шептал господин Голядкин, сдвигаясь понемногу с места и стараясь выбраться из окружавшей его толпы. Ему дали дорогу. Герой наш кое-как прошел между двумя рядами любопытных и недоумевающих наблюдателей. Рок увлекал его. Господин Голядкин сам это чувствовал, что рок-то его увлекал. Конечно, он бы дорого дал за возможность находиться теперь, без нарушения приличий, на прежней стоянке своей в сенях, возле черной лестницы; но так как это было решительно невозможно, то он и начал стараться улизнуть куда-нибудь в уголок да так и стоять себе там – скромно, прилично, особо, никого не затрогивая, не обращая на себя исключительного внимания, но вместе с тем снискав благорасположение гостей и хозяина. Впрочем, господин Голядкин чувствовал, что его как будто бы подмывает что-то, как будто он колеблется, падает. Наконец он добрался до одного уголка и стал в нем как посторонний, довольно равнодушный наблюдатель, опершись руками на

спинки двух стульев, захватив их таким образом в свое полное обладание и стараясь по возможности взглянуть бодрым взглядом на сгруппировавшихся около него гостей Олсуфья Ивановича. Ближе всех стоял к нему какой-то офицер, высокий и красивый малый, пред которым господин Голядкин почувствовал себя настоящей букашкой.

– Эти два стула, поручик, назначены: один для Клары Олсуфьевны, а другой для танцующей здесь же княжны Чевчехановой; я их, поручик, теперь для них берегу, – задыхаясь проговорил господин Голядкин, обращая умоляющий взор на господина поручика. Поручик молча и с убийственной улыбкой отворотился. Осекшись в одном месте, герой наш попробовал было попытать счастье где-нибудь с другой стороны и обратился прямо к одному важному советнику с значительным крестом на шее. Но советник обмерил его таким холодным взглядом, что господин Голядкин ясно почувствовал, что его вдруг окатили целым ушатом холодной воды. Господин Голядкин затих. Он решился лучше смолчать, не заговаривать, показать, что он так себе, что он тоже так, как и все, и что положение его, сколько ему кажется по крайней мере, тоже приличное. С этою целью он приковал свой взгляд к обшлагам своего вицмундира, потом поднял глаза и остановил их на одном весьма почтенной наружности господине. «На этом господине парик, – подумал господин Голядкин, – а если снять этот парик, так будет голая голова, точь-в-точь как ладонь моя голая». Сделав такое важное открытие, господин Голядкин вспомнил и о арабских эмирах, у которых, если снять с головы зеленую чалму, которую они носят в знак родства своего с пророком Мухаммедом, то останется тоже голая, безволосая голова. Потом, и, вероятно, по особенному столкновению идей относительно турков в голове своей, господин Голядкин дошел и до туфлей турецких и тут же кстати вспомнил, что Андрей Филиппович носит сапоги, похожие больше на туфли, чем на сапоги. Заметно было, что господин Голядкин отчасти освоился с своим положением. «Вот если б эта люстра, – мелькнуло в голове господина Голядкина, – вот если б эта люстра сорвалась теперь с места и упала на общество, то я бы тотчас бросился спасать Клару Олсуфьевну. Спасши ее, сказал бы ей: „Не беспокойтесь, сударыня; это ничего-с, а спаситель ваш я». Потом...» Тут господин Голядкин повернул глаза в сторону, отыскивая Клару Олсуфьевну, и увидел Герасимыча, ста-

рого камердинера Олсуфия Ивановича. Герасимыч с самым заботливым, с самым официально-торжественным видом пробирался прямо к нему. Господин Голядкин вздрогнул и поморщился от какого-то безотчетного и вместе с тем самого неприятного ощущения. Машинально осмотрелся кругом: ему пришло было на мысль как-нибудь, этак под рукой, бочком, втихомолку улизнуть от греха, этак взять – да и стушеваться, то есть сделать так, как будто бы он ни в одном глазу, как будто бы вовсе не в нем было и дело. Однако, прежде чем наш герой успел решиться на что-нибудь, Герасимыч уже стоял перед ним.

– Видите ли, Герасимыч, – сказал наш герой, с улыбочкой обращаясь к Герасимычу, – вы возьмите да и прикажите, – вот видите, свечка там в канделябре, Герасимыч, – она сейчас упадет: так вы, знаете ли, прикажите поправить ее; она, право, сейчас упадет, Герасимыч...

– Свечка-с? нет-с, свечка прямо стоит-с; а вот вас кто-то там спрашивает-с.

– Кто же это там меня спрашивает, Герасимыч?

– А уж, право, не знаю-с, кто именно-с. Человек от каких-то-с. Здесь, дескать, находится Яков Петрович Голядкин? Так вызовите, говорит, его по весьма нужному и спешному делу... вот как-с.

– Нет, Герасимыч, вы ошибаетесь; в этом вы, Герасимыч, ошибаетесь.

– Сумнительно-с...

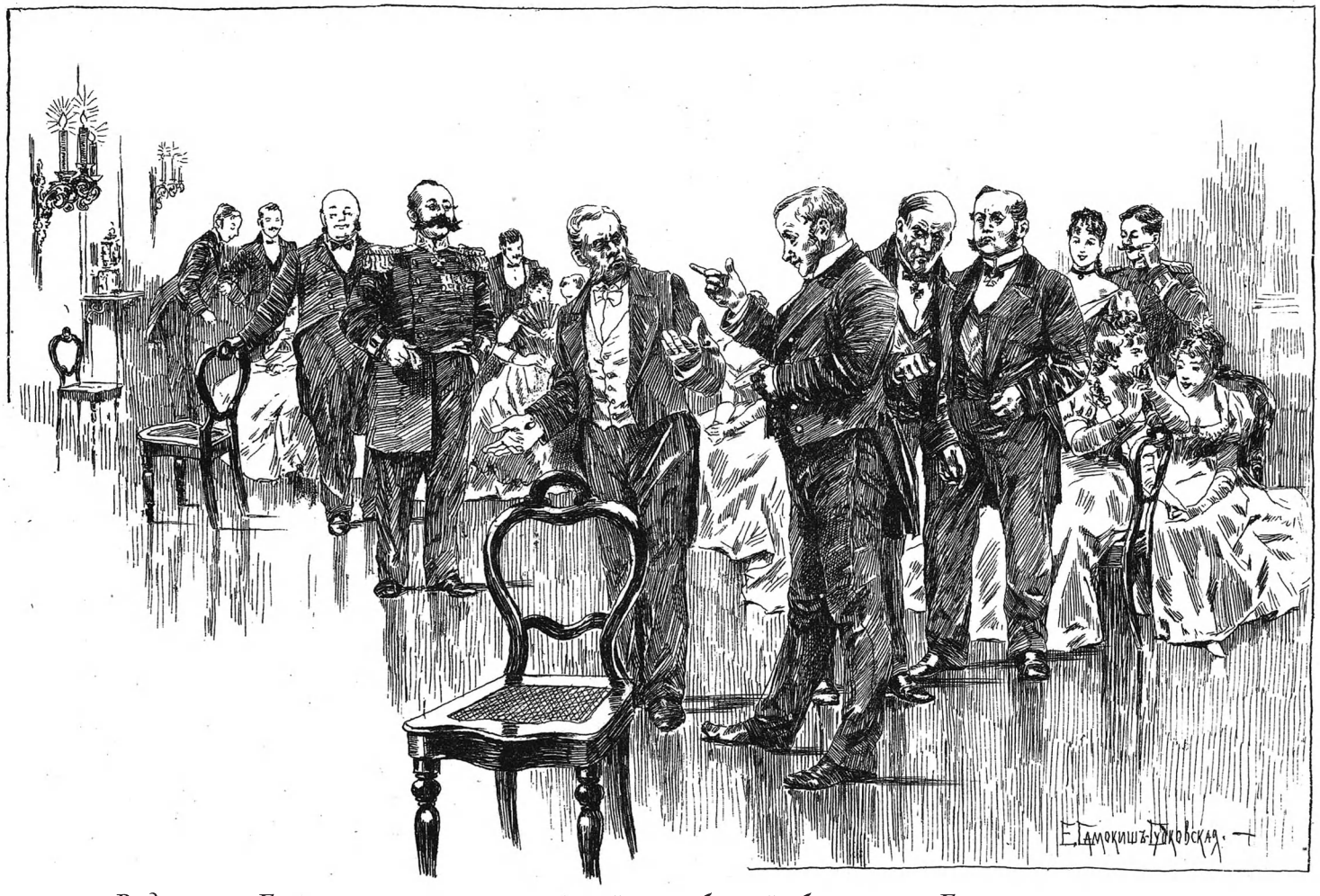
– Нет, Герасимыч, не сумнительно; тут, Герасимыч, ничего нет сумнительного. Никто меня не спрашивает, Герасимыч, меня некому спрашивать, а я здесь у себя, то есть на своем месте, Герасимыч.

Господин Голядкин перевел дух и осмотрелся кругом. Так и есть! Всё, что ни было в зале, все так и устремились на него взором и слухом в каком-то торжественном ожидании. Мужчины толпились поближе и прислушивались. Подальше тревожно перешептывались дамы. Сам хозяин явился в весьма недальнем расстоянии от господина Голядкина, и хотя по виду его нельзя было заметить, что он тоже в свою очередь принимает прямое и непосредственное участие в обстоятельствах господина Голядкина, потому что всё это делалось на деликатную ногу, но тем не менее всё это дало ясно почувствовать герою повести нашей, что минута для него настала решительная. Господин Голядкин ясно видел, что настало время удара смелого, время посрамления врагов его. Господин

Голядкин был в волнении. Господин Голядкин почувствовал какое-то вдохновение и дрожащим, торжественным голосом начал снова, обращаясь к ожидавшему Герасимычу:

– Нет, мой друг, меня никто не зовет. Ты ошибаешься. Скажу более, ты ошибался и утром сегодня, уверяя меня... осмеливаясь уверять меня, говорю я (господин Голядкин возвысил голос), что Олсуфий Иванович, благодетель мой с незапамятных лет, заменивший мне в некотором смысле отца, закажет для меня дверь свою в минуту семейной и торжественнейшей радости для его сердца родительского. (Господин Голядкин самодовольно, но с глубоким чувством осмотрелся кругом. На ресницах его навернулись слезы.) Повторяю, мой друг, – заключил наш герой, – ты ошибался, ты жестоко, непростительно ошибался...

Минута была торжественная. Господин Голядкин чувствовал, что эффект был вернейший. Господин Голядкин стоял, скромно потупив глаза и ожидая объятий Олсуфия Ивановича. В гостях заметно было волнение и недоумение; даже сам непоколебимый и ужасный Герасимыч заикнулся на слове «сумнительно-с»... как вдруг беспощадный оркестр ни с того ни с сего грянул польку. Всё пропало, всё на ветер пошло. Господин Голядкин вздрогнул, Герасимыч отшатнулся назад, всё, что ни было в зале, заволновалось, как море, и Владимир Семенович уже несся в первой паре с Кларой Олсуфьевной, а красивый поручик с княжной Чевчехановой. Зрители с любопытством и восторгом теснились взглянуть на танцующих польку – танец интересный, новый, модный, круживший всем головы. Господин Голядкин был на время забыт. Но вдруг всё заволновалось, замешалось, засуетилось; музыка умолкла... случилось странное происшествие. Утомленная танцем, Клара Олсуфьевна, едва переводя дух от усталости, с пылающими щеками и глубоко волнующеюся грудью упала наконец в изнеможении сил в кресла. Все сердца устремились к прелестной очаровательнице, все спешили наперерыв приветствовать ее и благодарить за оказанное удовольствие, – вдруг перед нею очутился господин Голядкин. Господин Голядкин был бледен, крайне расстроен; казалось, он тоже был в каком-то изнеможении, он едва двигался. Он отчего-то улыбался, он просительно протягивал руку. Клара Олсуфьевна в изумлении не успела отдернуть руки своей и машинально встала на приглашение господина Голядкина. Господин Голядкин покачнулся вперед, сперва один раз, потом



– Видите ли, Герасимыч, – сказал наш герой, с улыбочкой обращаясь к Герасимычу, – вы возьмите, да и прикажите, – вот видите, свечка там в канделябре, Герасимыч, – она сейчас упадет: так вы, знаете ли, прикажите поправить ее; она, право, сейчас упадет, Герасимыч...

другой, потом поднял ножку, потом как-то пришаркнул, потом как-то притопнул, потом споткнулся... он тоже хотел танцевать с Кларой Олсуфьевной. Клара Олсуфьевна вскрикнула; все бросились освобождать ее руку из руки господина Голядкина, и разом герой наш был оттеснен толпою едва ли не на десять шагов расстояния. Вокруг него сгруппировался тоже кружок. Послышался визг и крик двух старух, которых господин Голядкин едва не опрокинул в ретираде. Смятение было ужасное; всё спрашивало, всё кричало, всё рассуждало. Оркестр умолк. Герой наш вертелся в кружке своем и машинально, отчасти улыбаясь, что-то бормотал про себя, что, «дескать, отчего ж и нет и что, дескать, полька, сколько ему по крайней мере кажется, танец новый и весьма интересный, созданный для утешения дам... но что если так дело пошло, то он, пожалуй, готов согласиться». Но согласия господина Голядкина, кажется, никто и не спрашивал. Герой наш почувствовал, что вдруг чья-то рука упала на его руку, что другая рука немного оперлась на спину его, что его с какою-то особенною заботливостью направляют в какую-то сторону. Наконец он заметил, что идет прямо к дверям. Господин Голядкин хотел было что-то сказать, что-то сделать... Но нет, он уже ничего не хотел. Он только машинально отсмеивался. Наконец он почувствовал, что на него надевают шинель, что ему нахлобучили на глаза шляпу; что наконец – он почувствовал себя в сенях, в темноте и на холоде, наконец и на лестнице. Наконец он споткнулся, ему казалось, что он падает в бездну; он хотел было вскрикнуть – и вдруг очутился на дворе. Свежий воздух пахнул на него, он на минутку приостановился; в самое это мгновение до него долетели звуки вновь грянувшего оркестра. Господин Голядкин вдруг вспомнил всё; казалось, все опавшие силы его возвратились к нему опять. Он сорвался с места, на котором доселе стоял, как прикованный, и стремглав бросился вон, куда-нибудь, на воздух, на волю, куда глаза глядят...

ГЛАВА V

На всех петербургских башнях, показывающих и бьющих часы, пробило ровно полночь, когда господин Голядкин, вне себя, выбежал на набережную Фонтанки, близ самого Измайловского моста, спасаясь от врагов, от преследований, от града щелчков, на него занесенных, от крика

встревоженных старух, от оханья и аханья женщин и от убийственных взглядов Андрея Филипповича. Господин Голядкин был убит, – убит вполне, в полном смысле слова, и если сохранил в настоящую минуту способность бежать, то единственно по какому-то чуду, по чуду, которому он сам, наконец, верить отказывался. Ночь была ужасная, ноябрьская, – мокрая, туманная, дождливая, снежливая, чреватая флюсами, насморками, лихорадками, жабами, горячками всех возможных родов и сортов – одним словом, всеми дарами петербургского ноября. Ветер выл в опустелых улицах, вздымая выше колец черную воду Фонтанки и задорно потрогивая тощие фонари набережной, которые в свою очередь вторили его завываниям тоненьким, пронзительным скрипом, что составляло бесконечный, пискливый, дребезжащий концерт, весьма знакомый каждому петербургскому жителю. Шел дождь и снег разом. Прорываемые ветром струи дождевой воды прыскали чуть-чуть не горизонтально, словно из пожарной трубы, и кололи и секли лицо несчастного господина Голядкина, как тысячи булавок и шпилек. Среди ночного безмолвия, прерываемого лишь отдаленным гулом карет, воем ветра и скрипом фонарей, уныло слышались хлест и журчание воды, стекавшей со всех крыш, крылечек, желобов и карнизов на гранитный помост тротуара. Ни души не было ни вблизи, ни вдали, да казалось, что и быть не могло в такую пору и в такую погоду. Итак, один только господин Голядкин, один с своим отчаянием, трусил в это время по тротуару Фонтанки своим обыкновенным мелким и частым шажком, спеша добежать как можно скорее в свою Шестилавочную улицу, в свой четвертый этаж, к себе на квартиру.

Хотя снег, дождь и всё то, чему даже имени не бывает, когда разыграется вьюга и хмара под петербургским ноябрьским небом, разом, вдруг атаковали и без того убитого несчастиями господина Голядкина, не давая ему ни малейшей пощады и отдыха, пронимая его до костей, залепляя глаза, продувая со всех сторон, сбивая с пути и с последнего толка, хоть всё это разом опрокинулось на господина Голядкина, как бы нарочно сообщась и согласясь со всеми врагами его отработать ему денек, вечерок и ночку на славу, – несмотря на всё это, господин Голядкин остался почти нечувствителен к этому последнему доказательству гонения судьбы: так сильно потрясло и поразило его всё происшедшее с ним несколько минут назад у господина статского советника Берендеева! Если б теперь посто-

ронний, неинтересованный какой-нибудь наблюдатель взглянул бы так себе, сбоку, на тоскливую побежку господина Голядкина, то и тот бы разом проникнулся всем страшным ужасом его бедствий и непременно сказал бы, что господин Голядкин глядит теперь так, как будто сам от себя куда-то спрятаться хочет, как будто сам от себя убежать куда-нибудь хочет. Да! оно было действительно так. Скажем более: господин Голядкин не только желал теперь убежать от себя самого, но даже совсем уничтожиться, не быть, в прах обратиться. В настоящие минуты он не внимал ничему окружающему, не понимал ничего, что вокруг него делается, и смотрел так, как будто бы для него не существовало на самом деле ни неприятностей ненастной ночи, ни долгого пути, ни дождя, ни снега, ни ветра, ни всей крутой непогоды. Калоша, отставшая от сапога с правой ноги господина Голядкина, тут же и осталась в грязи и снегу, на тротуаре Фонтанки, а господин Голядкин и не подумал воротиться за нею и не приметил пропажи ее. Он был так озадачен, что несколько раз, вдруг, несмотря ни на что окружающее, проникнутый вполне идеей своего недавнего страшного падения, останавливался неподвижно, как столб, посреди тротуара; в это мгновение он умирал, исчезал; потом вдруг срывался как бешеный с места и бежал, бежал без оглядки, как будто спасаясь от чьей-то погони, от какого-то еще более ужасного бедствия... Действительно, положение было ужасное!.. Наконец, в истощении сил, господин Голядкин остановился, оперся на перила набережной в положении человека, у которого вдруг, совсем неожиданно, потекла носом кровь, и пристально стал смотреть на мутную, черную воду Фонтанки. Неизвестно, сколько именно времени проведено было им в этом занятии. Известно только, что в это мгновение господин Голядкин дошел до такого отчаяния, так был истерзан, так был измучен, до того изнемог и опал и без того уже слабыми остатками духа, что позабыл обо всем: и об Измайловском мосте, и о Шестилавочной улице, и о настоящем своем... Что ж в самом деле? ведь ему было всё равно: дело сделано, кончено, решение скреплено и подписано; что ж ему?.. Вдруг... вдруг он вздрогнул всем телом и невольно отскочил шага на два в сторону. С неизъяснимым беспокойством начал он озираться кругом; но никого не было, ничего не случилось особенного, – а между тем... между тем ему показалось, что кто-то сейчас, сию минуту, стоял здесь, около него, рядом с ним, тоже облокотясь на перила

набережной, и – чудное дело! – даже что-то сказал ему, что-то скоро сказал, отрывисто, не совсем понятно, но о чем-то весьма к нему близком, до него относящемся. «Что ж, это мне почудилось, что ли? – сказал господин Голядкин, еще раз озираясь кругом. – Да я-то где же стою?.. Эх, эх!» – заключил он, покачав головою, а между тем с беспокойным, тоскливым чувством, даже со страхом стал вглядываться в мутную, влажную даль, напрягая всеми силами зрение и всеми силами стараясь пронзить близоруким взором своим мокрую средину, перед ним расстилавшуюся. Однако ж ничего не было нового, ничего особенного не бросилось в глаза господину Голядкину. Казалось, всё было в порядке, как следует, то есть снег валил еще сильнее, крупнее и гуще; на расстоянии двадцати шагов не было видно ни зги; фонари скрипели еще пронзительнее прежнего, и ветер, казалось, еще плачевнее, еще жалостнее затягивал тоскливую песню свою, словно неотвязчивый нищий, вымаливающий медный грош на свое пропитание. «Эх, эх! да что ж это со мною такое?» – повторил опять господин Голядкин, пускаясь снова в дорогу и всё слегка озираясь кругом. А между тем какое-то новое ощущение отозвалось во всем существе господина Голядкина: тоска не тоска, страх не страх... лихорадочный трепет пробежал по жилам его. Минута была невыносимо неприятная! «Ну, ничего, – проговорил он, чтоб себя ободрить, – ну, ничего; может быть, это и совсем ничего и чести ничьей не марает. Может быть, оно так и надобно было, – продолжал он, сам не понимая, что говорит, – может быть, всё это в свое время устроится к лучшему, и претендовать будет не на что, и всех оправдает». Таким образом говоря и словами себя облегчая, господин Голядкин отряхнулся немного, стряхнул с себя снежные хлопья, навалившиеся густою корою ему на шляпу, на воротник, на шинель, на галстух, на сапоги и на всё, – но странного чувства, странной темной тоски своей всё еще не мог оттолкнуть от себя, сбросить с себя. Где-то далеко раздался пушечный выстрел. «Эка погодка, – подумал герой наш, – чу! не будет ли наводнения? видно, вода поднялась слишком сильно». Только что сказал или подумал это господин Голядкин, как увидел впереди себя идущего ему навстречу прохожего, тоже, вероятно, как и он, по какому-нибудь случаю запоздалого. Дело бы, кажется, пустое, случайное; но неизвестно почему господин Голядкин смутился и даже струсил, потерялся немного. Не то чтоб он

боялся недоброго человека, а так, может быть... «Да и кто его знает, этого запоздалого, – промелькнуло в голове господина Голядкина, – может быть, и он то же самое, может быть, он-то тут и самое главное дело, и недаром идет, а с целью идет, дорогу мою переходит и меня задевает». Может быть, впрочем, господин Голядкин и не подумал именно этого, а так только ощутил мгновенно что-то подобное и весьма неприятное. Думать-то и ощущать, впрочем, некогда было; прохожий уже был в двух шагах. Господин Голядкин тотчас, по всегдашнему обыкновению своему, поспешил принять вид совершенно особенный, вид, ясно выражавший, что он, Голядкин, сам по себе, что он ничего, что дорога для всех довольно широкая и что ведь он, Голядкин, сам никого не затрогивает. Вдруг он остановился, как вкопанный, как будто молнией пораженный, и быстро потом обернулся назад, вслед прохожему, едва только его минувшему, – обернулся с таким видом, как будто что его дернуло сзади, как будто ветер повернул его флюгер. Прохожий быстро исчезал в снежной метелице. Он тоже шел торопливо, тоже, как и господин Голядкин, был одет и укутан с головы до ног и так же, как и он, дробил и семенил по тротуару Фонтанки частым, мелким шажком, немного с притрусочкой. «Что, что это?» – шептал господин Голядкин, недоверчиво улыбаясь, – однако ж дрогнул всем телом. Морозом подернуло у него по спине. Между тем прохожий исчез совершенно, не стало уже слышно и шагов его, а господин Голядкин всё еще стоял и глядел ему вслед. Однако ж наконец он мало-помалу опомнился. «Да что ж это такое, – подумал он с досадою, – что ж это я, с ума, что ли, в самом деле, сошел?» – обернулся и пошел своею дорогою, ускоряя и частя более и более шаги и стараясь уж лучше вовсе ни о чем не думать. Даже и глаза наконец закрыл с сею целью. Вдруг, сквозь завывания ветра и шум непогоды, до слуха его долетел опять шум чьих-то весьма недалеких шагов. Он вздрогнул и открыл глаза. Перед ним опять, шагах в двадцати от него, чернелся какой-то быстро приближавшийся к нему человечек. Человечек этот спешил, частил, торопился; расстояние быстро уменьшалось. Господин Голядкин уже мог даже совсем разглядеть своего нового запоздалого товарища, – разглядел и вскрикнул от изумления и ужаса; ноги его подкосились. Это был тот самый знакомый ему пешеход, которого он, минут с десять назад, пропустил мимо себя и который вдруг, совсем неожиданно, теперь опять перед ним появился.

Но не одно это чудо поразило господина Голядкина, – а поражен господин Голядкин был так, что остановился, вскрикнул, хотел было что-то сказать – и пустился догонять незнакомца, даже закричал ему что-то, вероятно желая остановить его поскорее. Незнакомец остановился действительно, так – шагах в десяти от господина Голядкина, и так, что свет близ стоявшего фонаря совершенно падал на всю фигуру его, – остановился, обернулся к господину Голядкину и с нетерпеливо-озабоченным видом ждал, что он скажет. «Извините, я, может, и ошибся», – дрожащим голосом проговорил наш герой. Незнакомец молча и с досадою повернулся и быстро пошел своею дорогою, как будто спеша нагнать потерянные две секунды с господином Голядкиным. Что же касается до господина Голядкина, то у него задрожали все жилки, колени его подогнулись, ослабли, и он со стоном присел на тротуарную тумбочку. Впрочем, действительно, было от чего прийти в такое смущение. Дело в том, что незнакомец этот показался ему теперь как-то знакомым. Это бы еще всё ничего. Но он узнал, почти совсем узнал теперь этого человека. Он его часто видывал, этого человека, когда-то видывал, даже недавно весьма; где же бы это? уж не вчера ли? Впрочем, и опять не в том было главное дело, что господин Голядкин его видывал часто; да и особенного-то в этом человеке почти не было ничего, – особенного внимания решительно ничьего не возбуждал с первого взгляда этот человек. Так, человек был, как и все, порядочный, разумеется, как и все люди порядочные, и, может быть, имел там кое-какие и даже довольно значительные достоинства, – одним словом: был сам по себе человек. Господин Голядкин не питал даже ни ненависти, ни вражды, ни даже никакой самой легкой неприязни к этому человеку, даже напротив, казалось бы, – а между тем (и в этом-то вот обстоятельстве была главная сила), а между тем ни за какие сокровища мира не желал бы встретиться с ним и особенно встретиться так, как теперь, например. Скажем более: господин Голядкин знал вполне этого человека; он даже знал, как зовут его, как фамилия этого человека; а между тем ни за что, и опять-таки ни за какие сокровища в мире, не захотел бы назвать его, согласиться признать, что вот, дескать, его так-то зовут, что он так-то по батюшке и так по фамилии. Много ли, мало ли продолжалось недоразумение господина Голядкина, долго ли именно он сидел на тротуарном столбу, – не могу сказать, но только, наконец,

маленько очнувшись, он вдруг пустился бежать без оглядки, что силы в нем было; дух его занимался; он споткнулся два раза, чуть не упал – и при этом обстоятельстве осиротел другой сапог господина Голядкина, тоже покинутый своею калошею. Наконец, господин Голядкин сбавил шагу немножко, чтоб дух перевести, торопливо осмотрелся кругом и увидел, что уже перебежал, не замечая того, весь свой путь по Фонтанке, перешел Аничков мост, миновал часть Невского и теперь стоит на повороте в Литейную. Господин Голядкин поворотил в Литейную. Положение его в это мгновение походило на положение человека, стоящего над страшной стремниной, когда земля под ним обрывается, уж покачнулась, уж двинулась, в последний раз колышется, падает, увлекает его в бездну, а между тем у несчастного нет ни силы, ни твердости духа отскочить назад, отвесть свои глаза от зияющей пропасти; бездна тянет его, и он прыгает наконец в нее сам, сам ускоряя минуту своей же погибели. Господин Голядкин знал, чувствовал и был совершенно уверен, что с ним непременно совершится дорогой еще что-то недоброе, что разразится над ним еще какая-нибудь неприятность, что, например, он встретит опять своего незнакомца; но – странное дело, он даже желал этой встречи, считал ее неизбежною и просил только, чтоб поскорее всё это кончилось, чтоб положение-то его разрешилось хоть как-нибудь, но только б скорее. А между тем он всё бежал да бежал, и словно двигаемый какою-то постороннею силою, ибо во всем существе своем чувствовал какое-то ослабление и онемение; думать ни о чем он не мог, хотя идеи его цеплялись за всё, как терновник. Какая-то затерянная собачонка, вся мокрая и издрогшая, увязалась за господином Голядкиным и тоже бежала около него бочком, торопливо, поджав хвост и уши, по временам робко и понятливо на него поглядывая. Какая-то далекая, давно уж забытая идея, – воспоминание о каком-то давно случившемся обстоятельстве, – пришла теперь ему в голову, стучала, словно молоточком, в его голове, досаждала ему, не отвязывалась прочь от него. «Эх, эта скверная собачонка!» – шептал господин Голядкин, сам не понимая себя. Наконец он увидел своего незнакомца на повороте в Итальянскую улицу. Только теперь незнакомец уже шел не навстречу ему, а в ту же самую сторону, как и он, и тоже бежал, несколько шагов впереди. Наконец вошли в Шестилавочную. У господина Голядкина дух захватило. Незнакомец остановился

прямо перед тем домом, в котором квартировал господин Голядкин. Послышался звон колокольчика и почти в то же время скрип железной задвижки. Калитка отворилась, незнакомец нагнулся, мелькнул и исчез. Почти в то же самое мгновение поспел и господин Голядкин и, как стрелка, влетел под ворота. Не слушая заворчавшего дворника, запыхавшись, вбежал он на двор и тотчас же увидал своего интересного спутника, на минуту потерянного. Незнакомец мелькнул при входе на ту лестницу, которая вела в квартиру господина Голядкина. Господин Голядкин бросился вслед за ним. Лестница была темная, сырая и грязная. На всех поворотах нагромождена была бездна всякого жилецкого хлама, так что чужой, не бывалый человек, попавши на эту лестницу в темное время, принуждаем был по ней с полчаса путешествовать, рискуя сломать себе ноги и проклиная вместе с лестницей и знакомых своих, неудобно так поселившихся. Но спутник господина Голядкина был словно знакомый, словно домашний; взбегал легко, без затруднений и с совершенным знанием местности. Господин Голядкин почти совсем нагонял его; даже раза два или три подол шинели незнакомца ударил его по носу. Сердце в нем замирало. Таинственный человек остановился прямо против дверей квартиры господина Голядкина, стукнул, и (что, впрочем, удивило бы в другое время господина Голядкина) Петрушка, словно ждал и спать не ложился, тотчас отворил дверь и пошел за вошедшим человеком со свечою в руках. Вне себя вбежал в жилище свое герой нашей повести; не снимая шинели и шляпы, прошел он коридорчик и, словно громом пораженный, остановился на пороге своей комнаты. Все предчувствия господина Голядкина сбылись совершенно. Всё, чего опасался он и что предугадывал, совершилось теперь наяву. Дыхание его порвалось, голова закружилась. Незнакомец сидел перед ним, тоже в шинели и в шляпе, на его же постели, слегка улыбаясь, и, прищурясь немного, дружески кивал ему головою. Господин Голядкин хотел закричать, но не мог, – протестовать каким-нибудь образом, но сил не хватило. Волосы встали на голове его дыбом, и он присел без чувств на месте от ужаса. Да и было от чего, впрочем. Господин Голядкин совершенно узнал своего ночного приятеля. Ночной приятель его был не кто иной, как он сам, – сам господин Голядкин, другой господин Голядкин, но совершенно такой же, как и он сам, – одним словом, что называется, двойник его во всех отношениях

ГЛАВА VI

На другой день, ровно в восемь часов, господин Голядкин очнулся на своей постели. Тотчас же все необыкновенные вещи вчерашнего дня и вся невероятная, дикая ночь, с ее почти невозможными приключениями, разом, вдруг, во всей ужасающей полноте, явились его воображению и памяти. Такая ожесточенная адская злоба врагов его и особенно последнее доказательство этой злобы оледенили сердце господина Голядкина. Но и вместе с тем всё это было так странно, непонятно, дико, казалось так невозможным, что действительно трудно было веру дать всему этому делу; господин Голядкин даже сам готов был признать всё это несбыточным бредом, мгновенным расстройством воображения, отемнением ума, если б, к счастию своему, не знал по горькому житейскому опыту, до чего иногда злоба может довести человека, – до чего может иногда дойти ожесточенность врага, мстящего за честь и амбицию. К тому же разбитые члены господина Голядкина, чадная голова, изломанная поясница и злокачественный насморк сильно свидетельствовали и отстаивали всю вероятность вчерашней ночной прогулки, а частию и всего прочего, приключившегося во время этой прогулки. Да и, наконец, господин Голядкин уже давным-давно знал, что у них там что-то приготовляется, что у них там есть кто-то другой. Но – что же? Хорошенько раздумав, господин Голядкин решился смолчать, покориться и не протестовать по этому делу до времени. «Так, может быть, только попугать меня вздумали, а как увидят, что я ничего, не протестую и совершенно смиряюсь, с смирением переношу, так и отступятся, сами отступятся, да еще первые отступятся».

Так вот такие-то мысли были в голове господина Голядкина, когда он, потягиваясь в постели своей и расправляя разбитые члены, ждал этот раз обычного появления Петрушки в своей комнате. Ждал он уже с четверть часа; слышал, как ленивец Петрушка возится за перегородкой с самоваром, а между тем никак не решался позвать его. Скажем более: господин Голядкин даже немного боялся теперь очной ставки с Петрушкою. «Ведь Бог знает, – думал он, – ведь Бог знает, как теперь смотрит на всё это дело этот мошенник. Он там молчит-молчит, а сам себе на уме». Наконец дверь заскрипела и явился Петрушка с подносом

в руках. Господин Голядкин робко на него покосился, с нетерпением ожидая, что будет, ожидая, не скажет ли он наконец чего-нибудь насчет известного обстоятельства. Но Петрушка ничего не сказал, а напротив, был как-то молчаливее, суровее и сердитее обыкновенного, косился на всё исподлобья; вообще видно было, что он чем-то крайне недоволен; даже ни разу не взглянул на своего барина, что, мимоходом сказать, немного кольнуло господина Голядкина; поставил на стол всё, что принес с собой, повернулся и ушел молча за свою перегородку. «Знает, знает, всё знает, бездельник!» – ворчал господин Голядкин, принимаясь за чай. Однако ж герой наш ровно ничего не расспросил у своего человека, хотя Петрушка несколько раз потом входил в его комнату за разными надобностями. В самом тревожном положении духа был господин Голядкин. Жутко было еще идти в департамент. Сильное предчувствие было, что вот именно там-то что-нибудь да не так. «Ведь вот пойдешь, – думал он, – да как наткнешься на что-нибудь? Не лучше ли теперь потерпеть? Не лучше ли теперь подождать? Они там – пускай себе как хотят; а я бы сегодня здесь подождал, собрался бы с силами, оправился бы, размыслил получше обо всем этом деле, да потом улучил бы минутку, да всем им как снег на голову, а сам ни в одном глазу». Раздумывая таким образом, господин Голядкин выкуривал трубку за трубкой; время летело; было уже почти половина десятого. «Ведь вот уже половина десятого, – думал господин Голядкин, – и являться-то поздно. Да к тому же я болен, разумеется болен, непременно болен; кто же скажет, что нет? Что мне! А пришлют свидетельствовать, а пусть придет экзекутор; да и что же мне в самом деле? У меня вот спина болит, кашель, насморк; да и наконец, и нельзя мне идти, никак нельзя по этой погоде; я могу заболеть, а потом и умереть, пожалуй; нынче особенно смертность такая...» Такими резонами господин Голядкин успокоил наконец вполне свою совесть и заранее оправдался сам перед собою в нагоняе, ожидаемом от Андрея Филипповича за нерадение по службе. Вообще во всех подобных обстоятельствах крайне любил наш герой оправдывать себя в собственных глазах своих разными неотразимыми резонами и успокоивать таким образом вполне свою совесть. Итак, успокоив теперь вполне свою совесть, взялся он за трубку, набил ее и, только что начал порядочно раскуривать, – быстро вскочил с дивана, трубку отбросил, живо умылся, обрился, пригладился,

натянул на себя вицмундир и всё прочее, захватил кое-какие бумаги и полетел в департамент.

Вошел господин Голядкин в свое отделение робко, с трепещущим ожиданием чего-то весьма нехорошего, – ожиданием хотя бессознательным, темным, но вместе с тем и неприятным; робко присел он на свое всегдашнее место возле столоначальника, Антона Антоновича Сеточкина. Ни на что не глядя, не развлекаясь ничем, вникнул он в содержание лежавших перед ним бумаг. Решился он и дал себе слово как можно сторониться от всего вызывающего, от всего могущего сильно его компрометировать, как-то: от нескромных вопросов, от чьих-нибудь шуточек и неприличных намеков насчет всех обстоятельств вчерашнего вечера; решился даже отстраниться от обычных учтивостей с сослуживцами, то есть вопросов о здоровье и прочее. Но очевидно тоже, что так оставаться было нельзя, невозможно. Беспокойство и неведение о чем-нибудь, близко его задевающем, всегда его мучило более, нежели самое задевающее. И вот почему, несмотря на данное себе слово не входить ни во что, что бы ни делалось, и сторониться от всего, что бы ни было, господин Голядкин изредка, украдкой, тихонько-тихонько приподымал голову и исподтишка поглядывал на стороны, направо, налево, заглядывал в физиономии своих сослуживцев и по ним уже старался заключить, нет ли чего нового и особенного, до него относящегося и от него с какими-нибудь неблаговидными целями скрываемого. Предполагал он непременную связь всего своего вчерашнего обстоятельства со всем теперь его окружающим. Наконец, в тоске своей, он начал желать, чтоб хоть Бог знает как, да только разрешилось бы всё поскорее; хоть и бедой какой-нибудь – нужды нет! Как тут судьба поймала господина Голядкина: не успел он пожелать, как сомнения его вдруг разрешились, но зато самым странным и самым неожиданным образом.

Дверь из другой комнаты вдруг скрипнула тихо и робко, как бы рекомендуя тем, что входящее лицо весьма незначительно, и чья-то фигура, впрочем весьма знакомая господину Голядкину, застенчиво явилась перед самым тем столом, за которым помещался герой наш. Герой наш не подымал головы, – нет, он наглядел эту фигуру лишь вскользь, самым маленьким взглядом, но уже всё узнал, понял всё, до малейших подробностей. Он сгорел от стыда и уткнул в бумагу свою победную голову, совер-

шенно с тою же самою целью, с которою страус, преследуемый охотником, прячет свою в горячий песок. Новоприбывший поклонился Андрею Филипповичу, и вслед затем послышался голос форменно-ласковый, такой, каким говорят начальники во всех служебных местах с новопоступившими подчиненными. «Сядьте вот здесь, – проговорил Андрей Филиппович, указывая новичку на стол Антона Антоновича, – вот здесь, напротив господина Голядкина, а делом мы вас тотчас займем». Андрей Филиппович заключил тем, что сделал новоприбывшему скорый прилично-увещательный жест, а потом немедленно углубился в сущность разных бумаг, которых перед ним была целая куча.

Господин Голядкин поднял наконец глаза, и если не упал в обморок, то единственно оттого, что уже сперва всё дело предчувствовал, что уже сперва был обо всем предуведомлен, угадав пришельца в душе. Первым движением господина Голядкина было быстро осмотреться кругом, – нет ли там какого шушуканья, не отливается ли на этот счет какая-нибудь острота канцелярская, не искривилось ли чье лицо удивлением, не упал ли, наконец, кто-нибудь под стол от испуга. Но, к величайшему удивлению господина Голядкина, ни в ком не обнаружилось ничего подобного. Поведение господ товарищей и сослуживцев господина Голядкина поразило его. Оно казалось вне здравого смысла. Господин Голядкин даже испугался такого необыкновенного молчания. Существенность за себя говорила; дело было странное, безобразное, дикое. Было от чего шевельнуться. Всё это, разумеется, только мелькнуло в голове господина Голядкина. Сам же он горел на мелком огне. Да и было от чего, впрочем. Тот, кто сидел теперь напротив господина Голядкина, был – ужас господина Голядкина, был – стыд господина Голядкина, был – вчерашний кошмар господина Голядкина, одним словом, был сам господин Голядкин, – не тот господин Голядкин, который сидел теперь на стуле с разинутым ртом и с застывшим пером в руке; не тот, который служил в качестве помощника своего столоначальника; не тот, который любит стушеваться и зарыться в толпе; не тот, наконец, чья походка ясно выговаривает: «Не троньте меня, и я вас трогать не буду», или: «Не троньте меня, ведь я вас не затрогиваю», – нет, это был другой господин Голядкин, совершенно другой, но вместе с тем и совершенно похожий на первого, – такого же роста, такого же склада, так же одетый, с такой же лысиной, – одним словом, ничего, решительно

ничего не было забыто для совершенного сходства, так что если б взять да поставить их рядом, то никто, решительно никто не взял бы на себя определить, который именно настоящий Голядкин, а который поддельный, кто старенький и кто новенький, кто оригинал и кто копия.

Герой наш, если возможно сравнение, был теперь в положении человека, над которым забавлялся проказник какой-нибудь, для шутки наводя на него исподтишка зажигательное стекло. «Что ж это, сон или нет, – думал он, – настоящее или продолжение вчерашнего? Да как же? по какому же праву всё это делается? кто разрешил такого чиновника, кто дал право на это? Сплю ли я, грежу ли я?» Господин Голядкин попробовал ущипнуть самого себя, даже попробовал вознамериться ущипнуть другого кого-нибудь... Нет, не сон, да и только. Господин Голядкин почувствовал, что пот с него градом льется, что сбывается с ним небывалое и доселе невиданное, и по тому самому, к довершению несчастия, неприличное, ибо господин Голядкин понимал и ощущал всю невыгоду быть в таком пасквильном деле первым примером. Он даже стал наконец сомневаться в собственном существовании своем, и хотя заранее был ко всему приготовлен и сам желал, чтоб хоть каким-нибудь образом разрешились его сомнения, но самая-то сущность обстоятельства уж конечно стоила неожиданности. Тоска его давила и мучила. Порой он совершенно лишался и смысла и памяти. Очнувшись после такого мгновения, он замечал, что машинально и бессознательно водит пером по бумаге. Не доверяя себе, он начинал поверять всё написанное – и не понимал ничего. Наконец другой господин Голядкин, сидевший до сих пор чинно и смирно, встал и исчез в дверях другого отделения за каким-то делом. Господин Голядкин оглянулся кругом, – ничего, всё тихо; слышен лишь скрип перьев, шум переворачиваемых листов и говор в уголках поотдаленнее от седалища Андрея Филипповича. Господин Голядкин взглянул на Антона Антоновича, и так как, по всей вероятности, физиономия нашего героя вполне отзывалась его настоящим и гармонировала со всем смыслом дела, следовательно, в некотором отношении была весьма замечательна, то добрый Антон Антонович, отложив перо в сторону, с каким-то необыкновенным участием осведомился о здоровье господина Голядкина.

– Я, Антон Антонович, слава Богу, – заикаясь, проговорил господин Голядкин. – Я, Антон Антонович, совершенно здоров; я, Антон Анто-

нович, теперь ничего, – прибавил он нерешительно, не совсем еще доверяя часто поминаемому им Антону Антоновичу.

– А! А мне показалось, что вы нездоровы; впрочем, немудрено, чего доброго! Нынче же особенно всё такие поветрия. Знаете ли...

– Да, Антон Антонович, я знаю, что существуют такие поветрия... Я, Антон Антонович, не оттого, – продолжал господин Голядкин, пристально вглядываясь в Антона Антоновича, – я, видите ли, Антон Антонович, даже не знаю, как вам, то есть, я хочу сказать, с которой стороны за это дело приняться, Антон Антонович...

– Что-с? Я вас... знаете ли... я, признаюсь вам, не так-то хорошо понимаю; вы... знаете, вы объяснитесь подробнее, в каком отношении вы здесь затрудняетесь, – сказал Антон Антонович, сам затрудняясь немножко, видя, что у господина Голядкина даже слезы на глазах выступили.

– Я, право... здесь, Антон Антонович... тут – чиновник, Антон Антонович...

– Ну-с! Всё еще не понимаю.

– Я хочу сказать, Антон Антонович, что здесь есть новопоступивший чиновник.

– Да-с, есть-с; однофамилец ваш.

– Как? – вскрикнул господин Голядкин.

– Я говорю: ваш однофамилец; тоже Голядкин. Не братец ли ваш?

– Нет-с, Антон Антонович, я...

– Гм! скажите, пожалуйста, а мне показалось, что, должно быть, близкий ваш родственник. Знаете ли, есть такое, фамильное в некотором роде, сходство.

Господин Голядкин остолбенел от изумления, и на время у него язык отнялся. Так легко трактовать такую безобразную, невиданную вещь, вещь действительно редкую в своем роде, вещь, которая поразила бы даже самого неинтересованного наблюдателя, говорить о фамильном сходстве тогда, когда тут видно, как в зеркале!

– Я, знаете ли, что посоветую вам, Яков Петрович, – продолжал Антон Антонович. – Вы сходите-ка к доктору да посоветуйтесь с ним. Знаете ли, вы как-то выглядите совсем нездорово. У вас глаза особенно... знаете, особенное какое-то выражение есть.

– Нет-с, Антон Антонович, я, конечно, чувствую... то есть я хочу всё спросить, как же этот чиновник?

– Ну-с?

– То есть вы не замечали ли, Антон Антонович, чего-нибудь в нем особенного... слишком чего-нибудь выразительного?

– То есть?

– То есть я хочу сказать, Антон Антонович, поразительного сходства такого с кем-нибудь, например, то есть со мной, например. Вы вот сейчас, Антон Антонович, сказали про фамильное сходство, замечание вскользь сделали... Знаете ли, этак иногда близнецы бывают, то есть совершенно как две капли воды, так что и отличить нельзя? Ну, вот, я про это-с.

– Да-с, – сказал Антон Антонович, немного подумав и как будто в первый раз пораженный таким обстоятельством, – да-с! справедливо-с. Сходство в самом деле разительное, и вы безошибочно рассудили, так что и действительно можно принять одного за другого, – продолжал он, более и более открывая глаза. – И знаете ли, Яков Петрович, это даже чудесное сходство, фантастическое, как иногда говорится, то есть совершенно, как вы... Вы заметили ли, Яков Петрович? Я даже сам хотел просить у вас объяснения, да, признаюсь, не обратил должного внимания сначала. Чудо, действительно чудо! А знаете ли, Яков Петрович, вы ведь не здешний родом, я говорю?

– Нет-с.

– Он также ведь не из здешних. Может быть, из одних с вами мест. Ваша матушка, смею спросить, где большею частию проживала?

– Вы сказали... вы сказали, Антон Антонович, что он не из здешних?

– Да-с, не из здешних мест. Айв самом деле, как же это чудно, – продолжал словоохотливый Антон Антонович, которому поболтать о чем-нибудь было истинным праздником, – действительно способно завлечь любопытство; и ведь как часто мимо пройдешь, заденешь, толкнешь его, а не заметишь. Впрочем, вы не смущайтесь. Это бывает. Это, знаете ли, – вот я вам расскажу, – то же самое случилось с моей тетушкой с матерней стороны; она тоже перед смертию себя вдвойне видела...

– Нет-с, я, – извините, что прерываю вас, Антон Антонович, – я, Антон Антонович, хотел бы узнать, как же этот чиновник, то есть на каком он здесь основании?

– А на место Семена Ивановича покойника, на вакантное место; вакансия открылась, так вот и заместили. Ведь вот, право, сердечный этот Семен-то Иванович покойник троих детей, говорят, оставил – мал мала меньше. Вдова падала к ногам его превосходительства. Говорят, впрочем, она таит: у ней есть деньжонки, да она их таит...

– Нет-с, я, Антон Антонович, я вот всё о том обстоятельстве.

– То есть? Ну, да! да что же вы-то так интересуетесь этим? Говорю вам: вы не смущайтесь. Это всё временное отчасти. Что ж? ведь вы сторона; это уж так сам Господь Бог устроил, это уж Его воля была, и роптать на это грешно. На этом Его премудрость видна. А вы же тут, Яков Петрович, сколько я понимаю, не виноваты нисколько. Мало ли чудес есть на свете! Мать-природа щедра; а с вас за это ответа не спросят, отвечать за это не будете. Ведь вот, для примера, кстати сказать, слыхали, надеюсь, как их, как бишь их там, да, сиамские близнецы, срослись себе спинами, так и живут, и едят, и спят вместе; деньги, говорят, большие берут.

– Позвольте, Антон Антонович...

– Понимаю вас, понимаю! Да! ну да, что ж? – ничего! Я говорю, по крайнему моему разумению, что смущаться тут нечего. Что ж? он чиновник как чиновник; кажется, что деловой человек. Говорит, что Голядкин, не из здешних мест, говорит, титулярный советник. Лично с его превосходительством объяснялся.

– А ну, как же-с?

– Ничего-с; говорят, что достаточно объяснился, резоны представил; говорит, что вот, дескать, так и так, ваше превосходительство, и что нет состояния, а желаю служить и особенно под вашим лестным начальством... ну, и там всё, что следует, знаете ли, ловко всё выразил. Умный человек, должно быть. Ну, разумеется, явился с рекомендацией; без нее ведь нельзя...

– Ну-с, от кого же-с... то есть я хочу сказать, кто тут именно в это срамное дело руку свою замешал?

– Да-с. Хорошая, говорят, рекомендация; его превосходительство, говорят, посмеялись с Андреем Филипповичем.

– Посмеялись с Андреем Филипповичем?

– Да-с; только так улыбнулись и сказали, что хорошо, и пожалуй, и что они с их стороны не прочь, только бы верно служил...

– Ну-с, дальше-с. Вы меня оживляете отчасти, Антон Антонович; умоляю вас – дальше-с.

– Позвольте, я опять что-то вас... Ну-с, да-с; ну, и ничего-с; обстоятельство немудреное; вы, я вам говорю, не смущайтесь, и сумнительного в этом нечего находить...

– Нет-с. Я, то есть, хочу спросить вас, Антон Антонович, что, его превосходительство ничего больше не прибавили... насчет меня, например?

– То есть как же-с! Да-с! Ну, нет, ничего; можете быть совершенно спокойны. Знаете, оно, конечно, разумеется, обстоятельство довольно разительное и сначала... да вот я, например, сначала я и не заметил почти. Не знаю, право, отчего не заметил до тех пор, покамест вы не напомнили. Но, впрочем, можете быть совершенно спокойны. Ничего особенного, ровно ничего не сказали, – прибавил добренький Антон Антонович, вставая со стула.

– Так вот-с я, Антон Антонович...

– Ах, вы меня извините-с. Я и так о пустяках проболтал, а вот дело есть важное, спешное. Нужно вот справиться.

– Антон Антонович! – раздался учтиво-призывный голос Андрея Филипповича, – его превосходительство спрашивал.

– Сейчас, сейчас, Андрей Филиппович, сейчас иду-с. – И Антон Антонович, взяв в руки кучку бумаг, полетел сначала к Андрею Филипповичу, а потом в кабинет его превосходительства.

«Так как же это? – думал про себя господин Голядкин, – так вот у нас игра какова! Так вот у нас какой ветерок теперь подувает... Это недурно; это, стало быть, наиприятнейший оборот дела приняли, – говорил про себя герой наш, потирая руки и не слыша под собою стула от радости. – Так дело-то наше обыкновенное дело. Так всё пустячками кончается, ничем разрешается. В самом деле, никто ничего, и не пикнут, разбойники, сидят и делами занимаются; славно, славно! я доброго человека люблю, любил и всегда готов уважать... Впрочем, ведь оно и того, как подумать, этот Антон-от Антонович... доверяться-то страшно: сед чересчур и от старости покачнулся порядком. Самое, впрочем, славное и громадное дело то, что его превосходительство ничего не сказали и так пропустили: оно хорошо! одобряю! Только Андрей-то Филиппович чего ж тут с своими смешками мешается? Ему-то тут что? Старая петля! всегда на пути моем,

всегда черной кошкой норовит перебежать человеку дорогу, всегда-то поперек да в пику человеку; человеку-то в пику да поперек...»

Господин Голядкин опять оглянулся кругом и опять оживился надеждой. Чувствовал он, впрочем, что его все-таки смущает одна отдаленная мысль, какая-то недобрая мысль. Ему даже пришло было в голову самому как-нибудь подбиться к чиновникам, забежать вперед зайцем, даже (там как-нибудь при выходе из должности или подойдя как будто бы за делами), между разговором, и намекнуть – что вот, дескать, господа, так и так, вот такое-то сходство разительное, обстоятельство странное, комедия пасквильная – то есть подтрунить самому над всем этим да и сондировать таким образом глубину опасности. «А то ведь в тихом-то омуте черти водятся!» – мысленно заключил наш герой. Впрочем, господин Голядкин это только подумал; зато одумался вовремя. Понял он, что это значит махнуть далеко. «Натура-то твоя такова! – сказал он про себя, щелкнув себя легонько по лбу рукою, – сейчас заиграешь, обрадовался! душа ты правдивая! Нет, уж лучше мы с тобой потерпим, Яков Петрович, подождем да потерпим!» Тем не менее, и как мы уже упомянули, господин Голядкин возродился полной надеждой, точно из мертвых воскрес. «Ничего, – думал он, – словно пятьсот пудов с груди сорвалось! Ведь вот обстоятельство! А ларчик-то просто ведь открывался. Крылов-то и прав, Крылов-то и прав... дока, петля этот Крылов и баснописец великий! А что до того, так пусть его служит, пусть его служит себе на здоровье, лишь бы никому не мешал и никого не затрогивал; пусть его служит, – согласен и аппробую![1]»

А между тем часы проходили, летели, и незаметно стукнуло четыре часа. Присутствие закрылось; Андрей Филиппович взялся за шляпу, и, как водится, все последовали его примеру. Господин Голядкин помедлил немножко, нужное время, и вышел нарочно позже всех, самым последним, когда уже все разбрелись по разным дорогам. Вышед на улицу, он почувствовал себя точно в раю, так, что даже ощутил желание хоть и крюку дать, а пройтись по Невскому. «Ведь вот судьба! – говорил наш герой, – неожиданный переворот всего дела. И погодка-то разгулялась, и морозец, и саночки. А мороз-то годится русскому человеку, славно уживается

[1] Аппробую (*фр.* approbation) – одобряю.

с морозом русский человек! Я люблю русского человека. И снежочек и первая пороша, как сказал бы охотник; вот бы тут зайца по первой пороше! Эхма! да ну, ничего!»

Так-то выражался восторг господина Голядкина, а между тем что-то всё еще щекотало у него в голове, тоска не тоска – а порой так сердце насасывало, что господин Голядкин не знал, чем утешить себя. «Впрочем, подождем-ка мы дня и тогда будем радоваться. А впрочем, ведь что же такое? Ну, рассудим, посмотрим. Ну, давай рассуждать, молодой друг мой, ну, давай рассуждать. Ну, такой же, как и ты, человек, во-первых, совершенно такой же. Ну, да что ж тут такого? Коли такой человек, так мне и плакать? Мне-то что? Я в стороне; свищу себе, да и только! На то пошел, да и только! Пусть его служит! Ну, чудо и странность, там говорят, что сиамские близнецы... Ну, да зачем их, сиамских-то? положим, они близнецы, но ведь и великие люди подчас чудаками смотрели. Даже из истории известно, что знаменитый Суворов пел петухом... Ну, да он там это всё из политики; и великие полководцы... да, впрочем, что ж полководцы? А вот я сам по себе, да и только, и знать никого не хочу, и в невинности моей врага презираю. Не интригант, и этим горжусь. Чист, прямодушен, опрятен, приятен, незлобив...»

Вдруг господин Голядкин умолк, осекся и как лист задрожал, даже закрыл глаза на мгновение. Надеясь, впрочем, что предмет его страха просто иллюзия, открыл он наконец глаза и робко покосился направо. Нет, не иллюзия!.. Рядом с ним семенил утренний знакомец его, улыбался, заглядывал ему в лицо и, казалось, ждал случая начать разговор. Разговор, впрочем, не начинался. Оба они прошли шагов пятьдесят таким образом. Всё старание господина Голядкина было как можно плотнее закутаться, зарыться в шинель и нахлобучить на глаза шляпу до последней возможности. К довершению обиды даже и шинель и шляпа его приятеля были точно такие же, как будто сейчас с плеча господина Голядкина.

– Милостивый государь, – произнес наконец наш герой, стараясь говорить почти шепотом и не глядя на своего приятеля, – мы, кажется, идем по разным дорогам... Я даже уверен в этом, – сказал он, помолчав немножко. – Наконец, я уверен, что вы меня поняли совершенно, – довольно строго прибавил он в заключение.

– Я бы желал, – проговорил наконец приятель господина Голядкина, – я бы желал... вы, вероятно, великодушно извините меня... я не знаю, к кому обратиться здесь... мои обстоятельства, – я надеюсь, что вы извините мне мою дерзость, – мне даже показалось, что вы, движимые состраданием, принимали во мне сегодня утром участие. С своей стороны, я с первого взгляда почувствовал к вам влечение, я... – Тут господин Голядкин мысленно пожелал своему новому сослуживцу провалиться сквозь землю. – Если бы я смел надеяться, что вы, Яков Петрович, меня снисходительно изволите выслушать...

– Мы – мы здесь – мы... лучше пойдемте ко мне, – отвечал господин Голядкин, – мы теперь перейдем на ту сторону Невского, там нам будет удобнее с вами, а потом переулочком... мы лучше возьмем переулочком.

– Хорошо-с. Пожалуй, возьмем переулочком-с, – робко сказал смиренный спутник господина Голядкина, как будто намекая тоном ответа, что где ему разбирать и что, в его положении, он и переулочком готов удовольствоваться. Что же касается до господина Голядкина, то он совершенно не понимал, что с ним делалось. Он не верил себе. Он еще не опомнился от своего изумления.

ГЛАВА VII

Опомнился он немного на лестнице, при входе в квартиру свою. «Ах я баран-голова! – ругнул он себя мысленно, – ну, куда ж я веду его? Сам я голову в петлю кладу. Что же подумает Петрушка, увидя нас вместе? Что этот мерзавец теперь подумать осмелится? а он подозрителен...» Но уже поздно было раскаиваться; господин Голядкин постучался, дверь отворилась, и Петрушка начал снимать шинели с гостя и барина. Господин Голядкин посмотрел вскользь, так только бросил мельком взгляд на Петрушку, стараясь проникнуть в его физиономию и разгадать его мысли. Но, к величайшему своему удивлению, увидел он, что служитель его и не думает удивляться и даже, напротив, словно ждал чего-то подобного. Конечно, он и теперь смотрел волком, косил на сторону и как будто кого-то съесть собирался. «Уж не околдовал ли их кто всех сегодня, – думал герой наш, – бес какой-нибудь обежал! Непременно что-нибудь особенное должно быть во всем народе сегодня. Черт возьми, экая мука какая!» Вот

всё-то таким образом думая и раздумывая, господин Голядкин ввел гостя к себе в комнату и пригласил покорно садиться. Гость был в крайнем, по-видимому, замешательстве, очень робел, покорно следил за всеми движениями своего хозяина, ловил его взгляды и по ним, казалось, старался угадать его мысли. Что-то униженное, забитое и запуганное выражалось во всех жестах его, так что он, если позволят сравнение, довольно походил в эту минуту на того человека, который, за неимением своего платья, оделся в чужое: рукава лезут наверх, талия почти на затылке, а он то поминутно оправляет на себе короткий жилетишко, то виляет бочком и сторонится, то норовит куда-нибудь спрятаться, то заглядывает всем в глаза и прислушивается, не говорят ли чего люди о его обстоятельствах, не смеются ли над ним, не стыдятся ли его, – и краснеет человек, и теряется человек, и страдает амбиция... Господин Голядкин поставил свою шляпу на окно; от неосторожного движения шляпа его слетела на пол. Гость тотчас же бросился ее поднимать, счистил всю пыль, бережно поставил на прежнее место, а свою на полу, возле стула, на краюшке которого смиренно сам поместился. Это маленькое обстоятельство открыло отчасти глаза господину Голядкину; понял он, что нужда в нем великая, и потому не стал более затрудняться, как начать с своим гостем, предоставив это всё, как и следовало, ему самому. Гость же, с своей стороны, тоже не начинал ничего, робел ли, стыдился ли немножко, или из учтивости ждал начина хозяйского, – неизвестно, разобрать было трудно. В это время вошел Петрушка, остановился в дверях и уставился глазами в сторону, совершенно противоположную той, в которой помещались и гость и барин его.

– Обеда две порции прикажете брать? – проговорил он небрежно и сиповатым голосом.

– Я, я не знаю... вы – да, возьми, брат, две порции.

Петрушка ушел. Господин Голядкин взглянул на своего гостя. Гость его покраснел до ушей. Господин Голядкин был добрый человек и потому, по доброте души своей, тотчас же составил теорию: «Бедный человек, – думал он, – да и на месте-то всего один день; в свое время пострадал, вероятно; может быть, только и добра-то, что приличное платьишко, а самому и пообедать-то нечем. Эк его, какой он забитый! Ну, ничего; это отчасти и лучше...»

– Извините меня, что я, – начал господин Голядкин, – впрочем, позвольте узнать, как мне звать вас?

– Я... я... Яков Петровичем, – почти прошептал гость его, словно совестясь и стыдясь, словно прощения прося в том, что и его зовут тоже Яковом Петровичем.

– Яков Петрович! – повторил наш герой, не в силах будучи скрыть своего смущения.

– Да-с, точно так-с... Тезка вам-с, – отвечал смиренный гость господина Голядкина, осмеливаясь улыбнуться и сказать что-нибудь пошутливее. Но тут же и оселся назад, приняв вид самый серьезный и немного, впрочем, смущенный, замечая, что хозяину его теперь не до шуточек.

– Вы... позвольте же вас спросить, по какому случаю имею я честь...

– Зная ваше великодушие и добродетели ваши, – быстро, но робким голосом прервал его гость, немного приподымаясь со стула, – осмелился я обратиться к вам и просить вашего... знакомства и покровительства... – заключил его гость, очевидно затрудняясь в своих выражениях и выбирая слова не слишком льстивые и унизительные, чтоб не скомпрометировать себя в отношении амбиции, но и не слишком смелые, отзывающиеся неприличным равенством. Вообще можно сказать, что гость господина Голядкина вел себя как благородный нищий в заштопанном фраке и с благородным паспортом в кармане, не напрактиковавшийся еще как следует протягивать руку.

– Вы смущаете меня, – отвечал господин Голядкин, оглядывая себя, свои стены и гостя, – чем же я мог бы... я, то есть, хочу сказать, в каком именно отношении могу я вам услужить в чем-нибудь?

– Я, Яков Петрович, почувствовал к вам влечение с первого взгляда и, простите меня великодушно, на вас понадеялся, – осмелился понадеяться, Яков Петрович. Я... я человек здесь затерянный, Яков Петрович, бедный, пострадал весьма много, Яков Петрович, и здесь еще внове. Узнав, что вы, при обыкновенных, врожденных вам качествах вашей прекрасной души, однофамилец мой...

Господин Голядкин поморщился.

– Однофамилец мой и родом из одних со мною мест, решился я обратиться к вам и изложить вам затруднительное мое положение.

– Хорошо-с, хорошо-с; право, я не знаю, что вам сказать, – отвечал смущенным голосом господин Голядкин, – вот, после обеда, мы потолкуем...

Гость поклонился; обед принесли. Петрушка собрал на стол, и гость вместе с хозяином принялись насыщать себя. Обед продолжался недолго; оба они торопились – хозяин потому, что был не в обыкновенной тарелке своей, да к тому же и совестился, что обед был дурной, – совестился же отчасти оттого, что хотелось гостя хорошо покормить, а частию оттого, что хотелось показать, что он не как нищий живет. С своей стороны, гость был в крайнем смущении и крайне конфузился. Взяв один раз хлеба и съев свой ломоть, он уже боялся протягивать руку к другому ломтю, совестился брать кусочки получше и поминутно уверял, что он вовсе не голоден, что обед был прекрасный и что он, с своей стороны, совершенно доволен и по гроб будет чувствовать. Когда еда кончилась, господин Голядкин закурил свою трубочку, предложил другую, заведенную для приятеля, гостю, – оба уселись друг против друга, и гость начал рассказывать свои приключения.

Рассказ господина Голядкина-младшего продолжался часа три или четыре. История приключений его была, впрочем, составлена из самых пустейших, из самых мизернейших, если можно сказать, обстоятельств. Дело шло о службе где-то в палате в губернии, о прокурорах и председателях, о кое-каких канцелярских интригах, о развратe души одного из повытчиков, о ревизоре, о внезапной перемене начальства, о том, как господин Голядкин-второй пострадал совершенно безвинно; о престарелой тетушке его, Пелагее Семеновне; о том, как он, по разным интригам врагов своих, места лишился и пешком пришел в Петербург; о том, как он маялся и горе мыкал здесь, в Петербурге, как бесплодно долгое время места искал, прожился, исхарчился, жил чуть не на улице, ел черствый хлеб и запивал его слезами своими, спал на голом полу и, наконец, как кто-то из добрых людей взялся хлопотать о нем, рекомендовал и великодушно к новому месту пристроил. Гость господина Голядкина плакал, рассказывая, и утирал слезы синим клетчатым платком, весьма походившим на клеенку. Заключил же он тем, что открылся вполне господину Голядкину и признался, что ему не только нечем покамест жить и прилично устроиться, но и обмундироваться-то как следует не на что; что вот, включил

он, даже на сапожишки не мог сколотиться и что вицмундир взят им у кого-то на подержание на малое время.

Господин Голядкин был в умилении, был истинно тронут. Впрочем, и даже несмотря на то, что история его гостя была самая пустая история, все слова этой истории ложились на сердце его, словно манна небесная. Дело в том, что господин Голядкин забывал последние сомнения свои, разрешил свое сердце на свободу и радость и, наконец, мысленно сам себя пожаловал в дураки. Всё было так натурально! И было от чего сокрушаться, бить такую тревогу! Ну, есть, действительно есть одно щекотливое обстоятельство, – да ведь оно не беда: оно не может замарать человека, амбицию его запятнать и карьеру его загубить, когда не виноват человек, когда сама природа сюда замешалась. К тому же гость просил покровительства, гость плакал, гость судьбу обвинял, казался таким незатейливым, без злобы и хитростей, жалким, ничтожным и, кажется, сам теперь совестился, хотя, может быть, и в другом отношении, странным сходством лица своего с хозяйским лицом. Вел он себя донельзя благонадежно, так и смотрел угодить своему хозяину и смотрел так, как смотрит человек, который терзается угрызениями совести и чувствует, что виноват перед другим человеком. Заходила ли, например, речь о каком-нибудь сомнительном пункте, гость тотчас же соглашался с мнением господина Голядкина. Если же как-нибудь, по ошибке, заходил мнением своим в контру господину Голядкину и потом замечал, что сбился с дороги, то тотчас же поправлял свою речь, объяснялся и давал немедленно знать, что он всё разумеет точно таким же образом, как хозяин его, мыслит так же, как он, и смотрит на всё совершенно такими же глазами, как и он. Одним словом, гость употреблял всевозможные усилия «найти» в господине Голядкине, так что господин Голядкин решил наконец, что гость его должен быть весьма любезный человек во всех отношениях. Между прочим, подали чай; час был девятый. Господин Голядкин чувствовал себя в прекрасном расположении духа, развеселился, разыгрался, расходился понемножку и пустился наконец в самый живой и занимательный разговор с своим гостем. Господин Голядкин, под веселую руку, любил иногда рассказать что-нибудь интересное. Так и теперь: рассказал гостю много о столице, об увеселениях и красотах ее, о театре, о клубах, о картине Брюллова; о том, как два англичанина приехали нарочно из Англии в Петербург,

чтоб посмотреть на решетку Летнего сада, и тотчас уехали; о службе, об Олсуфье Ивановиче и об Андрее Филипповиче; о том, что Россия с часу на час идет к совершенству и что «тут

Словесные науки днесь цветут»;

об анекдотце, прочитанном недавно в «Северной пчеле», и что в Индии есть змея удав необыкновенной силы; наконец, о бароне Брамбеусе и т. д. и т. д. Словом, господин Голядкин вполне был доволен, во-первых, потому, что был совершенно спокоен; во-вторых, что не только не боялся врагов своих, но даже готов был теперь всех их вызвать на самый решительный бой; в-третьих, что сам своею особою оказывал покровительство и, наконец, делал доброе дело. Сознавался он, впрочем, в душе своей, что еще не совсем счастлив в эту минуту, что сидит в нем еще один червячок, самый маленький впрочем, и точит даже и теперь его сердце. Мучило крайне его воспоминание о вчерашнем вечере у Олсуфья Ивановича. Много бы дал он теперь, если б не было кой-чего из того, что было вчера. «Впрочем, ведь оно ничего!» – заключил наконец наш герой и решился твердо в душе вести себя вперед хорошо и не впадать в подобные промахи. Так как господин Голядкин теперь расходился вполне и стал вдруг почти совершенно счастлив, то вздумалось ему даже и пожуировать жизнию. Принесен был Петрушкою ром, и составился пунш. Гость и хозяин осушили по стакану и по два. Гость оказался еще любезнее прежнего и с своей стороны показал не одно доказательство прямодушия и счастливого характера своего, сильно входил в удовольствие господина Голядкина, казалось, радовался только одною его радостью и смотрел на него как на истинного и единственного своего благодетеля. Взяв перо и листочек бумажки, он попросил господина Голядкина не смотреть на то, что он будет писать, и потом, когда кончил, сам показал хозяину своему всё написанное. Оказалось, что это было четверостишие, написанное довольно чувствительно, впрочем прекрасным слогом и почерком, и, как видно, сочинение самого любезного гостя. Стишки были следующие:

Если ты меня забудешь,
Не забуду я тебя;
В жизни может всё случиться,
Не забудь и ты меня!

Со слезами на глазах обнял своего гостя господин Голядкин и, расчувствовавшись наконец вполне, сам посвятил своего гостя в некоторые секреты и тайны свои, причем речь сильно напиралась на Андрея Филипповича и на Клару Олсуфьевну. «Ну, да ведь мы с тобой, Яков Петрович, сойдемся, – говорил наш герой своему гостю, – мы с тобой, Яков Петрович, будем жить, как рыба с водой, как братья родные; мы, дружище, будем хитрить, заодно хитрить будем; с своей стороны будем интригу вести в пику им... в пику-то им интригу вести. А им-то ты никому не вверяйся. Ведь я тебя знаю, Яков Петрович, и характер твой понимаю; ведь ты как раз всё расскажешь, душа ты правдивая! Ты, брат, сторонись от них всех». Гость вполне соглашался, благодарил господина Голядкина и тоже наконец прослезился. «Ты, знаешь ли, Яша, – продолжал господин Голядкин дрожащим, расслабленным голосом, – ты, Яша, поселись у меня на время, или навсегда поселись. Мы сойдемся. Что, брат, тебе, а? А ты не смущайся и не ропщи на то, что вот между нами такое странное теперь обстоятельство: роптать, брат, грешно; это природа! А мать-природа щедра, вот что, брат Яша! Любя тебя, братски любя тебя, говорю. А мы с тобой, Яша, будем хитрить и с своей стороны подкопы вести и носы им утрем». Пунш наконец дошел до третьих и четвертых стаканов на брата, и тогда господин Голядкин стал испытывать два ощущения: одно то, что необыкновенно счастлив, а другое – что уже не может стоять на ногах. Гость, разумеется, был приглашен ночевать. Кровать была кое-как составлена из двух рядов стульев. Господин Голядкин-младший объявил, что под дружеским кровом мягко спать и на голом полу, что, с своей стороны, он заснет, где придется, с покорностью и признательностью; что теперь он в раю и что, наконец, он много перенес на своем веку несчастий и горя, на всё посмотрел, всего перетерпел, и – кто знает будущность? – может быть, еще перетерпит. Господин Голядкин-старший протестовал против этого и начал доказывать, что нужно возложить всю надежду на Бога. Гость вполне соглашался и говорил, что, разумеется, никто таков, как Бог. Тут господин Голядкин-старший заметил, что турки правы в некотором отношении, призывая даже во сне имя Божие. Потом, не соглашаясь, впрочем, с иными учеными в иных клеветах, взводимых на турецкого пророка Мухаммеда, и признавая его в своем роде великим политиком, господин Голядкин перешел к весьма интересному описанию алжир-

ской цирюльни, о которой читал в какой-то книжке, в «Смеси». Гость и хозяин много смеялись над простодушием турков; впрочем, не могли не отдать должной дани удивления их фанатизму, возбуждаемому опиумом... Гость стал наконец раздеваться, а господин Голядкин вышел за перегородку, настаю по доброте души, что, может быть, дескать, у него и рубашки-то порядочной нет, так чтоб не сконфузить и без того уже пострадавшего человека, а настаю для того, чтоб увериться по возможности в Петрушке, испытать его, развеселить, если можно, и приласкать человека, чтоб уж все были счастливы и чтоб не оставалось на столе просыпанной соли. Нужно заметить, что Петрушка всё еще немного смущал господина Голядкина.

– Ты, Петр, ложись теперь спать, – кротко сказал господин Голядкин, входя в отделение своего служителя, – ты теперь ложись спать, а завтра в восемь часов ты меня и разбуди. Понимаешь, Петруша?

Господин Голядкин говорил необыкновенно мягко и ласково. Но Петрушка молчал. Он в это время возился около своей кровати и даже не обернулся к своему барину, что бы должен был сделать, впрочем, из одного к нему уважения.

– Ты, Петр, меня слышал? – продолжал господин Голядкин. – Ты вот теперь ложись спать, а завтра, Петруша, ты и разбуди меня в восемь часов; понимаешь?

– Да уж помню, уж что тут! – проворчал себе под нос Петрушка.

– Ну то-то, Петруша; я это только так говорю, чтоб и ты был спокоен и счастлив. Вот мы теперь все счастливы, так чтоб и ты был спокоен и счастлив. А теперь спокойной ночи желаю тебе. Усни, Петруша, усни; мы все трудиться должны... Ты, брат, знаешь, не думай чего-нибудь...

Господин Голядкин начал было, да и остановился. «Не слишком ли будет, – подумал он, – не далеко ли я замахнул? Так-то всегда; всегда-то я пересыплю». Герой наш вышел от Петрушки весьма недовольный собою. К тому же грубостью и неподатливостью Петрушки он немного обиделся. «С шельмецом заигрывают, шельмецу барин честь делает, а он не чувствует, – подумал господин Голядкин. – Впрочем, такая уж тенденция подлая у всего этого рода!» Отчасти покачиваясь, воротился он в комнату и, видя, что гость его улегся совсем, присел на минутку к нему на постель. «А ведь признайся, Яша, – начал он шепотом и курнякая

головой, – ведь ты, подлец, предо мной виноват? ведь ты, тезка, знаешь, того...» – продолжал он, довольно фамильярно заигрывая с своим гостем. Наконец, распростившись с ним дружески, господин Голядкин отправился спать. Гость между тем захрапел. Господин Голядкин в свою очередь начал ложиться в постель, а между тем, посмеиваясь, шептал про себя: «Ведь ты пьян сегодня, голубчик мой, Яков Петрович, подлец ты такой, Голядка ты этакой, – фамилия твоя такова!! Ну, чему ты обрадовался? Ведь завтра расплачешься, нюня ты этакая: что мне делать с тобой!» Тут довольно странное ощущение отозвалось во всем существе господина Голядкина, что-то похожее на сомнение или раскаяние. «Расходился ж я, – думал он, – ведь вот теперь шумит в голове и я пьян; и не удержался, дурачина ты этакая! и вздору с три короба намолол да еще хитрить, подлец, собирался. Конечно, прощение и забвение обид есть первейшая добродетель, но всё ж оно плохо! вот оно как!» Тут господин Голядкин привстал, взял свечу и на цыпочках еще раз пошел взглянуть на спящего своего гостя. Долго стоял он над ним в глубоком раздумье. «Картина неприятная! пасквиль, чистейший пасквиль, да и дело с концом!»

Наконец господин Голядкин улегся совсем. В голове у него шумело, трещало, звонило. Он стал забываться – забываться... силился было о чем-то думать, вспомнить что-то такое весьма интересное, разрешить что-то такое весьма важное, какое-то щекотливое дело, – но не мог. Сон налетел на его победную голову, и он заснул так, как обыкновенно спят люди, с непривычки употребившие вдруг пять стаканов пунша на какой-нибудь дружеской вечеринке.

ГЛАВА VIII

Как обыкновенно, на другой день господин Голядкин проснулся в восемь часов; проснувшись же, тотчас припомнил все происшествия вчерашнего вечера, – припомнил и поморщился. «Эк я разыгрался вчера каким дураком!» – подумал он, приподымаясь с постели и взглянув на постель своего гостя. Но каково же было его удивление, когда не только гостя, но даже и постели, на которой спал гость, не было в комнате! «Что ж это такое? – чуть не вскрикнул господин Голядкин, – что ж бы это было такое? Что же означает теперь это новое обстоятельство?» Пока-

мест господин Голядкин, недоумевая, с раскрытым ртом смотрел на опустелое место, скрипнула дверь, и Петрушка вошел с чайным подносом. «Где же, где же?» – проговорил чуть слышным голосом наш герой, указывая пальцем на вчерашнее место, отведенное гостю. Петрушка сначала не отвечал ничего, даже не посмотрел на своего барина, а поворотил свои глаза в угол направо, так что господин Голядкин сам принужден был взглянуть в угол направо. Впрочем, после некоторого молчания Петрушка сиповатым и грубым голосом ответил – «что барина дома нет».

– Дурак ты; да ведь я твой барин, Петрушка, – проговорил господин Голядкин прерывистым голосом и во все глаза смотря на своего служителя.

Петрушка ничего не отвечал, но посмотрел так на господина Голядкина, что тот покраснел до ушей, – посмотрел с какою-то оскорбительною укоризною, похожею на чистую брань. Господин Голядкин и руки опустил, как говорится. Наконец Петрушка объявил, что другой уж часа с полтора как ушел и не хотел дожидаться. Конечно, ответ был вероятен и правдоподобен; видно было, что Петрушка не лгал, что оскорбительный взгляд его и слово другой, употребленное им, были лишь следствием всего известного гнусного обстоятельства, но все-таки он понимал, хоть и смутно, что тут что-нибудь да не так и что судьба готовит ему еще какой-то гостинец, не совсем-то приятный. «Хорошо, мы посмотрим, – думал он про себя, – мы увидим, мы своевременно раскусим всё это... Ах ты, Господи Боже мой! – простонал он в заключение уже совсем другим голосом, – и зачем я это приглашал его, на какой конец я всё это делал? ведь истинно сам голову сую в петлю их воровскую, сам эту петлю свиваю. Ах ты голова, голова! ведь и утерпеть-то не можешь ты, чтоб не провраться, как мальчишка какой-нибудь, канцелярист какой-нибудь, как бесчиновная дрянь какая-нибудь, тряпка, ветошка гнилая какая-нибудь, сплетник ты этакой, баба ты этакая!.. Святые вы мои! И стишки, шельмец, написал и в любви ко мне изъяснился! Как бы этак, того... Как бы ему, шельмецу, приличнее на дверь указать, коли воротится? Разумеется, много есть разных оборотов и способов. Так и так, дескать, при моем ограниченном жалованье... Или там припугнуть его как-нибудь, что, дескать, взяв в соображение вот то-то и то-то, принужден изъясниться... дескать, нужно в половине платить за квартиру и стол и деньги вперед отдавать. Гм! нет, черт возьми, нет! Это меня

замарает. Оно не совсем деликатно! Разве как-нибудь там вот этак бы сделать: взять бы да и надоумить Петрушку, чтоб Петрушка ему насолил как-нибудь, неглижировал бы с ним как-нибудь, сгрубил ему, да и выжить его таким образом? Стравить бы их этак вместе... Нет, черт возьми, нет! Это опасно, да и опять, если с этакой точки зренья смотреть – ну, да, вовсе нехорошо! Совсем нехорошо! А ну, если он не придет? и это плохо будет? проврался я ему вчера вечером!.. Эх, плохо, плохо! Эх, дело-то наше как плоховато! Ах я голова, голова окаянная! взубрить-то ты чего следует не можешь себе, резону-то вгвоздить туда не можешь себе! Ну, как он придет и откажется? А дай-то Господи, если б пришел! весьма был бы рад я, если б пришел он; много бы дал я, если б пришел...» Так рассуждал господин Голядкин, глотая свой чай и беспрестанно поглядывая на стенные часы. «Без четверти девять теперь; ведь вот уж пора идти. А что-то будет такое; что-то тут будет? Желал бы я знать, что здесь именно особенного такого скрывается, – этак цель, направление и разные там закавыки. Хорошо бы узнать, на что именно метят все эти народы и каков-то будет их первый шаг...» Господин Голядкин не мог долее вытерпеть, бросил недокуренную трубку, оделся и пустился на службу, желая накрыть, если можно, опасность и во всем удостовериться своим личным присутствием. А опасность была: это уж он сам знал, что опасность была. «А вот мы ее... и раскусим, – говорил господин Голядкин, снимая шинель и калоши в передней, – вот мы и проникнем сейчас во все эти дела». Решившись таким образом действовать, герой наш оправился, принял вид приличный и форменный и только что хотел было проникнуть в соседнюю комнату, как вдруг, в самых дверях, столкнулся с ним вчерашний знакомец, друг и приятель его. Господин Голядкин-младший, кажется, не замечал господина Голядкина-старшего, хотя и сошелся с ним почти носом к носу. Господин Голядкин-младший был, кажется, занят, куда-то спешил, запыхался; вид имел такой официальный, такой деловой, что, казалось, всякий мог прямо прочесть на лице его – «командирован по особому поручению...»

– Ах, это вы, Яков Петрович! – сказал наш герой, хватая своего вчерашнего гостя за руку.

– После, после, извините меня, расскажете после, – закричал господин Голядкин-младший, порываясь вперед...

– Однако позвольте; вы, кажется, хотели, Яков Петрович, того-с...

– Что-с? Объясните скорее-с. – Тут вчерашний гость господина Голядкина остановился как бы через силу и нехотя и подставил ухо свое прямо к носу господина Голядкина.

– Я вам скажу, Яков Петрович, что я удивляюсь приему... приему, какого вовсе, по-видимому, не мог бы я ожидать.

– На всё есть известная форма-с. Явитесь к секретарю его превосходительства и потом отнеситесь, как следует, к господину правителю канцелярии. Просьба есть?..

– Вы, я не знаю, Яков Петрович! вы меня просто изумляете, Яков Петрович! вы, верно, не узнаете меня или шутите, по врожденной веселости характера вашего.

– А, это вы! – сказал господин Голядкин-младший, как будто только что сейчас разглядев господина Голядкина-старшего, – так это вы? Ну, что ж, хорошо ли вы почивали? – Тут господин Голядкин-младший, улыбнувшись немного, официально и форменно улыбнувшись, хотя вовсе не так, как бы следовало (потому что ведь во всяком случае он одолжен же был благодарностью господину Голядкину-старшему), – и так улыбнувшись официально и форменно, прибавил, что он с своей стороны весьма рад, что господин Голядкин хорошо почивал; потом наклонился немного, посеменил немного на месте, поглядел направо, налево, потом опустил глаза в землю, нацелился в боковую дверь и, прошептав скороговоркой, что он по особому поручению, юркнул в соседнюю комнату. Только его и видели.

– Вот-те и штука!.. – прошептал наш герой, остолбенев на мгновение, – вот-те и штука! Так вот такое-то здесь обстоятельство!.. – Тут господин Голядкин почувствовал, что у него отчего-то заходили мурашки по телу. – Впрочем, – продолжал он про себя, пробираясь в свое отделение, – впрочем, ведь я уже давно говорил о таком обстоятельстве; я уже давно предчувствовал, что он по особому поручению, – именно вот вчера говорил, что непременно по чьему-нибудь особому поручению употреблен человек...

– Окончили вы, Яков Петрович, вчерашнюю вашу бумагу? – спросил Антон Антонович Сеточкин усевшегося подле него господина Голядкина. – У вас здесь она?

– Здесь, – прошептал господин Голядкин, смотря на своего столоначальника отчасти с потерявшимся видом.

– То-то-с. Я к тому говорю, что Андрей Филиппович уже два раза спрашивал. Того и гляди, что его превосходительство потребует...

– Нет-с, она кончена-с...

– Ну-с, хорошо-с.

– Я, Антон Антонович, всегда, кажется, исполнял свою должность как следует и радею о порученных мне начальством делах-с, занимаюсь ими рачительно.

– Да-с. Ну-с, что же вы хотите этим сказать-с?

– Я ничего-с, Антон Антонович. Я только, Антон Антонович, хочу объяснить, что я... то есть я хотел выразить, что иногда неблагонамеренность и зависть не щадят никакого лица, ища своей повседневной отвратительной пищи-с...

– Извините, я вас не совсем-то понимаю. То есть на какое лицо вы теперь намекаете?

– То есть я хотел только сказать, Антон Антонович, что я иду прямым путем, а окольным путем ходить презираю, что я не интригант и что сим, если позволено только будет мне выразиться, могу весьма справедливо гордиться...

– Да-с. Это всё так-с, и, по крайнему моему разумению, отдаю полную справедливость рассуждению вашему; но позвольте же и мне вам, Яков Петрович, заметить, что личности в хорошем обществе не совсем позволительны-с; что за глаза я, например, готов снести, – потому что за глаза и кого ж не бранят! – но в глаза, воля ваша, и я, сударь мой, например, себе дерзостей говорить не позволю. Я, сударь мой, поседел на государственной службе и дерзостей на старости лет говорить себе не позволю-с...

– Нет-с, я, Антон Антонович-с, вы, видите ли, Антон Антонович, вы, кажется, Антон Антонович, меня не совсем-то уразумели-с. А я, помилуйте, Антон Антонович, я с своей стороны могу только за честь поставить-с...

– Да уж и нас тоже прошу извинить-с. Учены мы но-старинному-с. А по-вашему, по-новому, учиться нам поздно. На службе отечеству разумения доселе нам, кажется, доставало. У меня, сударь мой, как вы сами знаете, есть знак за двадцатилетнюю беспорочную службу-с...

– Я чувствую, Антон Антонович, я с моей стороны совершенно всё это чувствую-с. Но я не про то-с, я про маску говорил, Антон Антонович-с...

– Про маску-с?

– То есть вы опять... я опасаюсь, что вы и тут примете в другую сторону смысл, то есть смысл речей моих, как вы сами говорите, Антон Антонович. Я только тем развиваю, то есть пропускаю идею, Антон Антонович, что люди, носящие маску, стали не редки-с и что теперь трудно под маской узнать человека-с...

– Ну-с, знаете ли-с, оно не совсем-то и трудно-с. Иногда и довольно легко-с, иногда и искать недалеко нужно ходить-с.

– Нет-с, знаете ли-с, я, Антон Антонович, говорю-с, про себя говорю, что я, например, маску надеваю, лишь когда нужда в ней бывает, то есть единственно для карнавала и веселых собраний, говоря в прямом смысле, но что не маскируюсь перед людьми каждодневно, говоря в другом, более скрытном смысле-с. Вот что я хотел сказать, Антон Антонович-с.

– Ну, да мы покамест оставим всё это; да мне же и некогда-с, – сказал Антон Антонович, привстав с своего места и собирая кой-какие бумаги для доклада его превосходительству. – Дело же ваше, как я полагаю, не замедлит своевременно объясниться. Сами же увидите вы, на кого вам пенять и кого обвинять, а затем прошу вас покорнейше уволить меня от дальнейших частных и вредящих службе объяснений и толков-с...

– Нет-с, я, Антон Антонович, – начал побледневший немного господин Голядкин вслед удаляющемуся Антону Антоновичу, – я, Антон Антонович, того-с, и не думал-с. «Что же это такое? – продолжал уже про себя наш герой, оставшись один. – Что же это за ветры такие здесь подувают и что означает этот новый крючок?» В то самое время, как потерянный и полуубитый герой наш готовился было разрешить этот новый вопрос, в соседней комнате послышался шум, обнаружилось какое-то деловое движение, дверь отворилась, и Андрей Филиппович, только что перед тем отлучившийся по делам в кабинет его превосходительства, запыхавшись, появился в дверях и крикнул господина Голядкина. Зная в чем дело и не желая заставить ждать Андрея Филипповича, господин Голядкин вскочил с своего места и, как следует, немедленно засуетился на чем свет стоит, обготовляя и обхоливая окончательно требу-

емую тетрадку, да и сам приготовляясь отправиться, вслед за тетрадкой и Андреем Филипповичем, в кабинет его превосходительства. Вдруг, и почти из-под руки Андрея Филипповича, стоявшего в то время в самых дверях, юркнул в комнату господин Голядкин-младший, суетясь, запыхавшись, загонявшись на службе, с важным решительно-форменным видом, и прямо подкатился к господину Голядкину-старшему, менее всего ожидавшему подобного нападения...

– Бумаги, Яков Петрович, бумаги... его превосходительство изволили спрашивать, готовы ль у вас? – защебетал вполголоса и скороговоркой приятель господина Голядкина-старшего. – Андрей Филиппович вас ожидает...

– Знаю и без вас, что ожидают, – проговорил господин Голядкин-старший тоже скороговоркой и шепотом.

– Нет, я, Яков Петрович, не то; я, Яков Петрович, совсем не то; я сочувствую, Яков Петрович, и подвигнут душевным участием.

– От которого нижайше прошу вас избавить меня. Позвольте, позвольте-с...

– Вы, разумеется, их обернете оберточкой, Яков Петрович, а третью-то страничку вы заложите закладкой, позвольте, Яков Петрович...

– Да позвольте же вы, наконец...

– Но ведь здесь чернильное пятнышко, Яков Петрович, вы заметили ль чернильное пятнышко?..

Тут Андрей Филиппович второй раз кликнул господина Голядкина.

– Сейчас, Андрей Филиппович; я вот только немножко, вот здесь... Милостивый государь, понимаете ли вы русский язык?

– Лучше всего будет ножичком снять, Яков Петрович, вы лучше на меня положитесь: вы лучше не трогайте сами, Яков Петрович, а на меня положитесь, – я же отчасти тут ножичком...

Андрей Филиппович третий раз кликнул господина Голядкина.

– Да, помилуйте, где же тут пятнышко? Ведь, кажется, вовсе нету здесь пятнышка?

– И огромное пятнышко, вот оно! вот, позвольте, я здесь его видел; вот, позвольте... вы только позвольте мне, Яков Петрович, я отчасти здесь ножичком, я из участия, Яков Петрович, и ножичком от чистого сердца... вот так, вот и дело с концом...

Тут, и совсем неожиданно, господин Голядкин-младший, вдруг ни с того ни с сего, осилив господина Голядкина-старшего в мгновенной борьбе, между ними возникшей, и во всяком случае совершенно против воли его, овладел требуемой начальством бумагой и, вместо того чтоб поскоблить ее ножичком от чистого сердца, как вероломно уверял он господина Голядкина-старшего, – быстро свернул ее, сунул под мышку, в два скачка очутился возле Андрея Филипповича, не заметившего ни одной из проделок его, и полетел с ним в директорский кабинет. Господин Голядкин-старший остался как бы прикованным к месту, держа в руках ножичек и как будто приготовляясь что-то скоблить им...

Герой наш еще не совсем понимал свое новое обстоятельство. Он еще не опомнился. Он почувствовал удар, но думал, что это что-нибудь так. В страшной, неописанной тоске сорвался он наконец с места и бросился прямо в директорский кабинет, моля, впрочем, небо дорогою, чтоб это устроилось всё как-нибудь к лучшему и было бы так, ничего... В последней комнате перед директорским кабинетом сбежался он, прямо нос с носом, с Андреем Филипповичем и с однофамильцем своим. Оба они уже возвращались: господин Голядкин посторонился. Андрей Филиппович говорил улыбаясь и весело. Однофамилец господина Голядкина-старшего тоже улыбался, юлил, семенил в почтительном расстоянии от Андрея Филипповича и что-то с восхищенным видом нашептывал ему на ушко, на что Андрей Филиппович самым благосклонным образом кивал головою. Разом понял герой наш всё положение дел. Дело в том, что работа его (как он после узнал) почти превзошла ожидания его превосходительства и поспела действительно к сроку и вовремя. Его превосходительство были крайне довольны. Говорили даже, что его превосходительство сказали спасибо господину Голядкину-младшему, крепкое спасибо; сказали, что вспомнят при случае и никак не забудут... Разумеется, что первым делом господина Голядкина было протестовать, протестовать всеми силами, до последней возможности. Почти не помня себя и бледный как смерть, бросился он к Андрею Филипповичу. Но Андрей Филиппович, услышав, что дело господина Голядкина было частное дело, отказался слушать, решительно замечая, что у него нет ни минуты свободной и для собственных надобностей.

Сухость тона и резкость отказа поразили господина Голядкина. «А вот лучше я как-нибудь с другой стороны... вот я лучше к Антону Антоновичу». К несчастию господина Голядкина, и Антона Антоновича не оказалось в наличности: он тоже где-то был чем-то занят. «А ведь не без намерения просил уволить себя от объяснений и толков! – подумал герой наш. – Вот куда метил – старая петля! В таком случае я просто дерзну умолять его превосходительство».

Всё еще бледный и чувствуя в совершенном разброде всю свою голову, крепко недоумевая, на что именно нужно решиться, присел господин Голядкин на стул. «Гораздо было бы лучше, если б всё это было лишь так только, – беспрерывно думал он про себя. – Действительно, подобное темное дело было даже невероятно совсем. Это, во-первых, и вздор, а во-вторых, и случиться не может. Это, вероятно, как-нибудь там померещилось, или вышло что-нибудь другое, а не то, что действительно было; или, верно, это я сам ходил... и себя как-нибудь там принял совсем за другого... одним словом, это совершенно невозможное дело».

Только что господин Голядкин решил, что это совсем невозможное дело, как вдруг в комнату влетел господин Голядкин-младший с бумагами в обеих руках и под мышкой. Сказав мимоходом какие-то нужные два слова Андрею Филипповичу, перемолвив и еще кое с кем, полюбезничав кое с кем, пофамильярничав кое с кем, господин Голядкин-младший, по-видимому не имевший лишнего времени на бесполезную трату, собирался уже, кажется, выйти из комнаты, но, к счастию господина Голядкина-старшего, остановился в самых дверях и заговорил мимоходом с двумя или тремя случившимися тут же молодыми чиновниками. Господин Голядкин-старший бросился прямо к нему. Только что увидел господин Голядкин-младший маневр господина Голядкина-старшего, тотчас же начал с большим беспокойством осматриваться, куда бы ему поскорей улизнуть. Но герой наш уже держался за рукава своего вчерашнего гостя. Чиновники, окружавшие двух титулярных советников, расступились и с любопытством ожидали, что будет. Старый титулярный советник понимал хорошо, что доброе мнение теперь не на его стороне, понимал хорошо, что под него интригуют: тем более нужно было теперь поддержать себя. Минута была решительная.

– Ну-с? – проговорил господин Голядкин-младший, довольно дерзко смотря на господина Голядкина-старшего.

Господин Голядкин-старший едва дышал.

– Я не знаю, милостивый государь, – начал он, – каким образом вам теперь объяснить странность вашего поведения со мною.

– Ну-с. Продолжайте-с. – Тут господин Голядкин-младший оглянулся кругом и мигнул глазом окружавшим их чиновникам, как бы давая знать, что вот именно сейчас и начнется комедия.

– Дерзость и бесстыдство ваших приемов, милостивый государь мой, со мною в настоящем случае еще более вас обличают... чем все слова мои. Не надейтесь на вашу игру: она плоховата...

– Ну, Яков Петрович, теперь скажите-ка мне, каково-то вы почивали? – отвечал Голядкин-младший, прямо смотря в глаза господину Голядкину-старшему.

– Вы, милостивый государь, забываетесь, – сказал совершенно потерявшийся титулярный советник, едва слыша пол под собою, – я надеюсь, что вы перемените тон...

– Душка мой!! – проговорил господин Голядкин-младший, скорчив довольно неблагопристойную гримасу господину Голядкину-старшему, и вдруг, совсем неожиданно, под видом ласкательства, ухватил его двумя пальцами за довольно пухлую правую щеку. Герой наш вспыхнул как огонь... Только что приятель господина Голядкина-старшего приметил, что противник его, трясясь всеми членами, немой от исступления, красный как рак и наконец доведенный до последних границ, может даже решиться на формальное нападение, то немедленно, и самым бесстыдным образом, предупредил его в свою очередь. Потрепав его еще раза два по щеке, пощекотав его еще раза два, поиграв с ним, неподвижным и обезумевшим от бешенства, еще несколько секунд таким образом, к немалой утехе окружающей их молодежи, господин Голядкин-младший с возмущающим душу бесстыдством щелкнул окончательно господина Голядкина-старшего по крутому брюшку и с самой ядовитой и далеко намекающей улыбкой проговорил ему: «Шалишь, братец, Яков Петрович; шалишь! хитрить мы будем с тобой, Яков Петрович, хитрить». Потом, и прежде чем герой наш успел мало-мальски прийти в себя от последней атаки, господин Голядкин-младший вдруг (предварительно отпустив только

улыбочку окружавшим их зрителям) принял на себя вид самый занятой, самый деловой, самый форменный, опустил глаза в землю, съежился, сжался и, быстро проговорив «по особому поручению», лягнул своей коротенькой ножкой и шмыгнул в соседнюю комнату. Герой наш не верил глазам и всё еще был не в состоянии опомниться...

Наконец он опомнился. Сознав в один миг, что погиб, уничтожился в некотором смысле, что замарал себя и запачкал свою репутацию, что осмеян и оплеван в присутствии посторонних лиц, что предательски поруган тем, кого еще вчера считал первейшим и надежнейшим другом своим, что срезался, наконец, на чем свет стоит, – господин Голядкин бросился в погоню за своим неприятелем. В настоящее мгновение он уже и думать не хотел о свидетелях своего поругания, «Это всё в стачке друг с другом, – говорил он сам про себя, – один за другого стоит и один другого на меня натравляет». Однако ж, сделав десять шагов, герой наш ясно увидел, что все преследования остались пустыми и тщетными, и потому воротился. «Не уйдешь, – думал он, – попадешь под сюркуп[1] своевременно, отольются волку овечьи слезы». С яростным хладнокровием и с самою энергическою решимостью дошел господин Голядкин до стула и уселся на нем. «Не уйдешь!» – сказал он опять. Теперь дело шло не о пассивной обороне какой-нибудь: пахнуло решительным, наступательным, и кто видел господина Голядкина в ту минуту, как он, краснея и едва сдерживая волнение свое, кольнул пером в чернильницу и с какой яростью принялся строчить на бумаге, тот мог уже заранее решить, что дело так не пройдет и простым, каким-нибудь бабьим образом не может окончиться. В глубине души своей сложил он одно решение и в глубине сердца своего поклялся исполнить его. По правде-то, он еще не совсем хорошо знал, как ему поступить, то есть, лучше сказать, вовсе не знал; но всё равно, ничего! «А самозванством и бесстыдством, милостивый государь, в наш век не берут. Самозванство и бесстыдство, милостивый мой государь, не к добру приводит, а до петли доводит. Гришка Отрепьев только один, сударь вы мой, взял самозванством, обманув слепой народ, да и то ненадолго». Несмотря на это последнее обстоятельство, господин Голядкин положил ждать до тех пор, покамест маска спадет с некоторых

[1] Сюркуп (*фр.* surcouper) – перекрытие (в карточной игре).

лиц и кое-что обнажится. Для сего нужно было, во-первых, чтоб кончились как можно скорее часы присутствия, а до тех пор герой наш положил не предпринимать ничего. Потом же, когда кончатся часы присутствия, он примет меру одну. Тогда же он знает, как ему поступить, приняв эту меру, как расположить весь план своих действий, чтоб сокрушить рог гордыни и раздавить змею, грызущую прах в презрении бессилия. Позволить же затереть себя, как ветошку, об которую грязные сапоги обтирают, господин Голядкин не мог. Согласиться на это не мог он, и особенно в настоящем случае. Не будь последнего посрамления, герой наш, может быть, и решился бы скрепить свое сердце, может быть, он и решился бы смолчать, покориться и не протестовать слишком упорно; так, поспорил бы, попретендовал бы немножко, доказал бы, что он в своем праве, потом бы уступил немножко, потом, может быть, и еще немножко бы уступил, потом согласился бы совсем, потом, и особенно тогда, когда противная сторона признала бы торжественно, что он в своем праве, потом, может быть, и помирился бы даже, даже умилился бы немножко, даже, – кто бы мог знать, – может быть, возродилась бы новая дружба, крепкая, жаркая дружба, еще более широкая, чем вчерашняя дружба, так что эта дружба совершенно могла бы затмить, наконец, неприятность довольно неблагопристойного сходства двух лиц, так, что оба титулярные советника были бы крайне как рады и прожили бы, наконец, до ста лет, и т. д. Скажем всё, наконец: господин Голядкин даже начинал немного раскаиваться, что вступился за себя и за право свое и тут же получил за то неприятность. «Покорись он, – думал господин Голядкин, – скажи, что пошутил, – простил бы ему, даже более простил бы ему, только бы в этом громко признался. Но, как ветошку, себя затирать я не дам. И не таким людям не давал я себя затирать, тем более не позволю покуситься на это человеку развращенному. Я не ветошка; я, сударь мой, не ветошка!» Одним словом, герой наш решился. «Сами вы, сударь вы мой, виноваты!» Решился же он протестовать, и протестовать всеми силами до последней возможности. Такой уж был человек! Позволить обидеть себя он никак не мог согласиться, а тем более дозволить себя затереть, как ветошку, и, наконец, дозволить это совсем развращенному человеку. Не спорим, впрочем, не спорим. Может быть, если б кто захотел, если б уж кому, например, вот так непременно захотелось обратить в ветошку господина Голядкина,

то и обратил бы, обратил бы без сопротивления и безнаказанно (господин Голядкин сам в иной раз это чувствовал), и вышла бы ветошка, а не Голядкин, – так, подлая, грязная бы вышла ветошка, но ветошка-то эта была бы не простая, ветошка эта была бы с амбицией, ветошка-то эта была бы с одушевлением и чувствами, хотя бы и с безответной амбицией и с безответными чувствами и далеко в грязных складках этой ветошки скрытыми, но все-таки с чувствами...

Часы длились невероятно долго; наконец пробило четыре. Спустя немного все встали и вслед за начальником двинулись к себе, по домам. Господин Голядкин вмешался в толпу; глаз его не дремал и не упускал кого нужно из виду. Наконец наш герой увидал, что приятель его подбежал к канцелярским сторожам, раздававшим шинели, и, по подлому обыкновению своему, юлит около них в ожидании своей. Минута была решительная. Кое-как протеснился господин Голядкин сквозь толпу и, не желая отставать, тоже захлопотал о шинели. Но шинель подалась сперва приятелю и другу господина Голядкина, затем что и здесь успел он по-своему подбиться, приласкаться, нашептать и наподличать.

Накинув шинель, господин Голядкин-младший, иронически взглянув на господина Голядкина-старшего, действуя таким образом открыто и дерзко ему в пику, потом, с свойственною ему наглостью, осмотрелся кругом, посеменил окончательно, – вероятно чтоб оставить выгодное по себе впечатление, – около чиновников, сказал словцо одному, пошептался о чем-то с другим, почтительно полизался с третьим, адресовал улыбку четвертому, дал руку пятому и весело юркнул вниз по лестнице. Господин Голядкин-старший за ним и, к неописанному своему удовольствию, таки нагнал его на последней ступеньке и схватил за воротник его шинели. Казалось, что господин Голядкин-младший немного оторопел и посмотрел кругом с потерянным видом.

– Как понимать мне вас? – прошептал он наконец слабым голосом господину Голядкину.

– Милостивый государь, если вы только благородный человек, то надеюсь, что вспомните про вчерашние дружеские наши сношения, – проговорил наш герой.

– А, да. Ну, что ж? хорошо ли вы почивали-с?

Бешенство отняло на минуту язык у господина Голядкина-старшего.

– Я-то почивал хорошо-с... Но позвольте же и вам сказать, милостивый мой государь, что игра ваша крайне запутана...

– Кто это говорит? Это враги мои говорят, – отвечал отрывисто тот, кто называл себя господином Голядкиным, и вместе с словом этим неожиданно освободился из слабых рук настоящего господина Голядкина. Освободившись, он бросился с лестницы, оглянулся кругом, увидев извозчика, подбежал к нему, сел на дрожки и в одно мгновение скрылся из глаз господина Голядкина-старшего. Отчаянный и покинутый всеми титулярный советник оглянулся кругом, но не было другого извозчика. Попробовал было он бежать, да ноги подламывались. С опрокинутой физиономией, с разинутым ртом, уничтожившись, съежившись, в бессилии прислонился он к фонарному столбу и остался несколько минут таким образом посреди тротуара. Казалось, что всё погибло для господина Голядкина...

ГЛАВА IX

Всё, по-видимому, и даже природа сама, вооружилось против господина Голядкина; но он еще был на ногах и не побежден; он это чувствовал, что не побежден. Он готов был бороться. Он с таким чувством и с такою энергией потер себе руки, когда очнулся после первого изумления, что уже по одному виду господина Голядкина заключить можно было, что он не уступит. Впрочем, опасность была на носу, была очевидна; господин Голядкин и это чувствовал; да как за нее взяться, за эту опасность-то? вот вопрос. Даже на мгновение мелькнула мысль в голове господина Голядкина, «что, дескать, не оставить ли всё это так, не отступиться ли запросто? Ну, что ж? ну, и ничего. Я буду особо, как будто не я, – думал господин Голядкин, – пропускаю всё мимо; не я, да и только; он тоже особо, авось и отступится; поюлит, шельмец, поюлит, повертится, да и отступится. Вот оно как! Я смирением возьму. Да и где же опасность? ну, какая опасность? Желал бы я, чтоб кто-нибудь указал мне в этом деле опасность? Плёвое дело! обыкновенное дело!..» Здесь господин Голядкин осекся. Слова у него на языке замерли; он даже ругнул себя за эту мысль; даже тут же и уличил себя в низости, в трусости за эту мысль; однако дело его все-таки не двинулось с места. Чувствовал он, что решиться на что-нибудь в настоящую минуту было для него сущею необходимостью;

даже чувствовал, что много бы дал тому, кто сказал бы ему, на что именно нужно решиться. Ну, да ведь как угадать? Впрочем, и некогда было угадывать. На всякий случай, чтоб времени не терять, нанял он извозчика и полетел домой. «Что? каково-то ты теперь себя чувствуешь? – подумал он сам в себе. – Каково-то вы себя теперь изволите чувствовать, Яков Петрович? Что-то ты сделаешь? что-то сделаешь ты теперь, подлец ты такой, шельмец ты такой! Довел себя до последнего, да и плачешь теперь, да и хнычешь теперь!» Так поддразнивал себя господин Голядкин, подпрыгивая на тряском экипаже своего ваньки. Поддразнивать себя и растравлять таким образом свои раны в настоящую минуту было каким-то глубоким наслаждением для господина Голядкина, даже чуть ли не сладострастием. «Ну, если б там теперь, – думал он, – волшебник какой бы пришел, или официальным образом как-нибудь этак пришлось, да сказали бы: дай, Голядкин, палец с правой руки – и квиты с тобой; не будет другого Голядкина, и ты будешь счастлив, только пальца не будет, – так отдал бы палец, непременно бы отдал, не поморщась бы отдал. Черти бы взяли всё это! – вскрикнул, наконец, отчаянный титулярный советник, – ну, зачем всё это? ну, надобно было всему этому быть; вот непременно этому, вот именно этому, как будто нельзя было другому чему! И всё было хорошо сначала, все были довольны и счастливы; так вот нет же, надобно было! Впрочем, ведь словами ничего не возьмешь. Нужно действовать».

Итак, почти решившись на что-то, господин Голядкин, войдя в свою квартиру, нимало не медля схватился за трубку и, насасывая ее из всех сил, раскидывая клочья дыма направо и налево, начал в чрезвычайном волнении бегать взад и вперед по комнате. Между тем Петрушка стал сбирать на стол. Наконец господин Голядкин решился совсем, вдруг бросил трубку, накинул на себя шинель, сказал, что дома обедать не будет, и выбежал вон из квартиры. На лестнице нагнал его, запыхавшись, Петрушка, держа в руках забытую им шляпу. Господин Голядкин взял шляпу, хотел было мимоходом маленько оправдаться в глазах Петрушки, чтоб не подумал чего Петрушка особенного, – что вот, дескать, такое-то обстоятельство, что вот шляпу позабыл и т. д., – но так как Петрушка и глядеть не хотел и тотчас ушел, то и господин Голядкин, без дальнейших объяснений, надел свою шляпу, сбежал с лестницы и, приговаривая, что всё, может быть, к лучшему будет и что дело устроится как-нибудь, хотя

чувствовал, между прочим, даже у себя в пятках озноб, вышел на улицу, нанял извозчика и полетел к Андрею Филипповичу. «Впрочем, не лучше ли завтра? – думал господин Голядкин, хватаясь за снурок колокольчика у дверей квартиры Андрея Филипповича, – да и что же я скажу особенного? Особенного-то здесь нет ничего. Дело-то такое мизерное, да оно, наконец, и действительно мизерное, плёвое, то есть почти плёвое дело... ведь вот оно, как это всё, обстоятельство-то...» Вдруг господин Голядкин дернул за колокольчик; колокольчик зазвенел, изнутри послышались чьи-то шаги... Тут господин Голядкин даже проклял себя, отчасти за свою поспешность и дерзость. Недавние неприятности, о которых господин Голядкин едва не позабыл за делами, и контра с Андреем Филипповичем тут же пришли ему на память. Но уже бежать было поздно: дверь отворилась. К счастию господина Голядкина, отвечали ему, что Андрей Филиппович и домой не приезжал из должности, и не обедает дома. «Знаю, где он обедает: он у Измайловского моста обедает», – подумал герой наш и страх как обрадовался. На вопрос слуги, как об вас доложить, сказал, что, дескать, я, мой друг, хорошо, что, дескать, я, мой друг, после, и даже с некоторою бодростью сбежал вниз по лестнице. Выйдя на улицу, он решился отпустить экипаж и расплатился с извозчиком. Когда же извозчик попросил о прибавке, – дескать, ждал, сударь, долго и рысачка для вашей милости не жалел, – то дал и прибавочки пятачок, и даже с большою охотою; сам же пешком пошел.

«Дело-то оно, правда, такое, – думал господин Голядкин, – что ведь так оставить нельзя; однако ж, если так рассудить, этак здраво рассудить, так из чего же по-настоящему здесь хлопотать? Ну, нет, однако ж, я буду всё про то говорить, из чего же мне хлопотать? из чего мне маяться, биться, мучиться, себя убивать? Во-первых, дело сделано, и его не воротишь... ведь не воротишь! Рассудим так: является человек, – является человек с достаточной рекомендацией, дескать, способный чиновник, хорошего поведения, только беден и потерпел разные неприятности, – передряги там этакие, – ну, да ведь бедность не порок; стало быть, я в стороне. Ну, в самом деле, что ж за вздор такой? Ну, пришелся, устроился, самой природой устроился так человек, что две капли воды похож на другого человека, что совершенная копия с другого человека: так уж его за это и не принимать в департамент?! Коли уж судьба,

коли одна судьба, коли одна слепая фортуна тут виновата, – так уж его и затереть, как ветошку, так уж и служить ему не давать... да где же тут после этого справедливость будет? Человек же он бедный, затерянный, запуганный; тут сердце болит, тут сострадание его призреть велит! Да! нечего сказать, хороши бы были начальники, если б так рассуждали, как я, забубённая голова! Эка ведь башка у меня! На десятерых подчас глупости хватит! Нет, нет! и сделали хорошо, и спасибо им, что призрели бедного горемыку... Ну, да, положим, например, что мы близнецы, что вот уж мы так уродились, что братья-близнецы, да и только, – вот оно как! Ну, что же такое? Ну, и ничего! Можно всех чиновников приучить... а посторонний кто, войдя в наше ведомство, уж верно не нашел бы ничего неприличного и оскорбительного в таком обстоятельстве. Оно даже тут есть кое-что умилительное; что вот, дескать, мысль-то какая: что, дескать, промысл Божий создал двух совершенно подобных, а начальство благодетельное, видя промысл Божий, приютило двух близнецов. Оно, конечно, – продолжал господин Голядкин, переводя дух и немного понизив голос, – оно, конечно... оно, конечно, лучше бы было, кабы не было ничего этого, умилительного, и близнецов никаких тоже бы не было... Черт бы побрал всё это! И на что это нужно было? И что за надобность тут была такая особенная и никакого отлагательства не терпящая?! Господи Бог мой! Эк ведь черти заварили кашу какую! Вот ведь, однако ж, у него и характер такой, нрава он такого игривого, скверного, – подлец он такой, вертлявый такой, лизун, лизоблюд, Голядкин он этакой! Пожалуй, еще дурно себя поведет да фамилию мою замарает, мерзавец. Вот теперь и смотри за ним и ухаживай! Эк ведь наказание какое! Впрочем, что ж? ну, и нужды нет! Ну, он подлец, – ну, пусть он подлец, а другой зато честный. Ну, вот он подлец будет, а я буду честный, – и скажут, что вот этот Голядкин подлец, на него не смотрите и его с другим не мешайте; а этот вот честный, добродетельный, кроткий, незлобивый, весьма надежный по службе и к повышению чином достойный; вот оно как! Ну, хорошо... а как того... А как они там того... да и перемешают! От него ведь всё станется! Ах ты, Господи Боже мой!.. И подменит человека, подменит, подлец такой, – как ветошку человека подменит и не рассудит, что человек не ветошка. Ах ты, Господи Боже мой! Эко несчастие какое!..»

Вот таким-то образом рассуждая и сетуя, бежал господин Голядкин, не разбирая дороги и сам почти не зная куда. Очнулся он на Невском проспекте, и то по тому только случаю, что столкнулся с каким-то прохожим так ловко и плотно, что только искры посыпались. Господин Голядкин, не поднимая головы, пробормотал извинение, и только тогда, когда прохожий, проворчав что-то не слишком лестное, отошел уже на расстояние значительное, поднял нос кверху и осмотрелся, где он и как. Осмотревшись и заметив, что находится именно возле того ресторана, в котором отдыхал, приготовляясь к званому обеду у Олсуфия Ивановича, герой наш почувствовал вдруг щипки и щелчки по желудку, вспомнил, что не обедал, званого же обеда не предстояло нигде, и потому, дорогого своего времени не теряя, вбежал он вверх по лестнице в ресторан перехватить что-нибудь поскорее и как можно торопясь не замешкать. И хотя в ресторане было всё дорогонько, но это маленькое обстоятельство не остановило на этот раз господина Голядкина; да и останавливаться-то теперь на подобных безделицах некогда было. В ярко освещенной комнате, у прилавка, на котором лежала разнообразная груда всего того, что потребляется на закуску людьми порядочными, стояла довольно густая толпа посетителей. Конторщик едва успевал наливать, отпускать, сдавать и принимать деньги. Господин Голядкин подождал своей очереди и, выждав, скромно протянул свою руку к пирожку-расстегайчику. Отойдя в уголок, оборотясь спиною к присутствующим и закусив с аппетитом, он воротился к конторщику, поставил на стол блюдечко, зная цену, вынул десять копеек серебром и положил на прилавок монетку, ловя взгляды конторщика, чтоб указать ему: «что вот, дескать, монетка лежит; один расстегайчик» и т. д.

– С вас рубль десять копеек, – процедил сквозь зубы конторщик.

Господин Голядкин порядочно изумился.

– Вы мне говорите?.. Я... я, кажется, взял один пирожок.

– Одиннадцать взяли, – с уверенностью возразил конторщик.

– Вы... сколько мне кажется... вы, кажется, ошибаетесь... Я, право, кажется, взял один пирожок.

– Я считал; вы взяли одиннадцать штук. Когда взяли, так нужно платить; у нас даром ничего не дают.

Господин Голядкин был ошеломлен. «Что ж это, колдовство, что ль, какое надо мной совершается?» – подумал он. Между тем конторщик

ожидал решения господина Голядкина; господина Голядкина обступили; господин Голядкин уже полез было в карман, чтоб вынуть рубль серебром, чтоб расплатиться немедленно, чтоб от греха-то подальше быть. «Ну, одиннадцать так одиннадцать, – думал он, краснея как рак, – ну, что же такого тут, что съедено одиннадцать пирожков? ну, голоден человек, так и съел одиннадцать пирожков; ну, и пусть ест себе на здоровье; ну, и дивиться тут нечему и смеяться тут нечему...» Вдруг как будто что-то кольнуло господина Голядкина; он поднял глаза и – разом понял загадку, понял все колдовство; разом разрешились все затруднения... В дверях в соседнюю комнату, почти прямо за спиною конторщика и лицом к господину Голядкину, в дверях, которые, между прочим, герой наш принимал доселе за зеркало, стоял один человечек, – стоял он, стоял сам господин Голядкин, – не старый господин Голядкин, не герой нашей повести, а другой господин Голядкин, новый господин Голядкин. Другой господин Голядкин находился, по-видимому, в превосходном расположении духа. Он улыбался господину Голядкину первому, кивал ему головою, подмигивал глазками, семенил немного ногами и глядел так, что чуть что, – так он и стушуется, так он и в соседнюю комнату, а там, пожалуй, задним ходом, да и того... и все преследования останутся тщетными. В руках его был последний кусок десятого расстегая, который он, в глазах же господина Голядкина, отправил в свой рот, чмокнув от удовольствия. «Подменил, подлец! – подумал господин Голядкин, вспыхнув как огонь от стыда, – не постыдился публичности! Видят ли его? Кажется, не замечает никто...» Господин Голядкин бросил рубль серебром так, как будто бы об него все пальцы обжег, и, не замечая значительно-наглой улыбки конторщика, улыбки торжества и спокойного могущества, выдрался из толпы и бросился вон без оглядки. «Спасибо за то, что хоть не компрометировал окончательно человека! – подумал старший господин Голядкин. – Спасибо разбойнику, и ему и судьбе, что еще хорошо всё уладилось. Нагрубил лишь конторщик. Да что ж, ведь он был в своем праве! Рубль десять следовало, так и был в своем праве. Дескать, без денег у нас никому не дают! Хоть бы был поучтивей, бездельник!..»

Всё это говорил господин Голядкин, сходя с лестницы на крыльцо. Однако же на последней ступеньке он остановился как вкопанный и вдруг

покраснел так, что даже слезы выступили у него на глазах от припадка страдания амбиции. Простояв с полминуты столбом, он вдруг решительно топнул ногою, в один прыжок соскочил с крыльца на улицу и без оглядки, задыхаясь, не слыша усталости, пустился к себе домой, в Шестилавочную улицу. Дома, не сняв даже с себя верхнего платья, вопреки привычке своей быть у себя по-домашнему, не взяв даже предварительно трубки, уселся он немедленно на диване, придвинул чернильницу, взял перо, достал лист почтовой бумаги и принялся строчить дрожащею от внутреннего волнения рукой следующее послание:

«Милостивый государь мой,
Яков Петрович!

Никак бы не взял я пера, если бы обстоятельства мои и вы сами, милостивый государь мой, меня к тому не принудили. Верьте, что необходимость одна понудила меня вступить с вами в подобное объяснение, и потому прежде всего прошу считать эту меру мою не как умышленным намерением к вашему, милостивый государь мой, оскорблению, но как необходимым следствием связующих нас теперь обстоятельств».

«Кажется, хорошо, прилично, вежливо, хотя не без силы и твердости?.. Обижаться ему тут, кажется, нечем. К тому же я в своем праве», – подумал господин Голядкин, перечитывая написанное.

«Неожиданное и странное появление ваше, милостивый государь мой, в бурную ночь, после грубого и неприличного со мною поступка врагов моих, коих имя умалчиваю из презрения к ним, было зародышем всех недоразумений, в настоящее время между нами существующих. Упорное же ваше, милостивый государь, желание стоять на своем и насильственно войти в круг моего бытия и всех отношений моих в практической жизни выступает даже за пределы, требуемые одною лишь вежливостью и простым общежитием. Я думаю, нечего упоминать здесь о похищении вами, милостивый государь мой, бумаги моей и собственного моего честного имени, для приобретения ласки начальства, – ласки, не заслуженной вами. Нечего упоминать здесь и об умышленных и обидных уклонениях ваших от необходимых по сему случаю объяснений. Наконец, чтобы всё сказать, не упоминаю здесь и о последнем странном, можно сказать, непонятном поступке вашем со мною в кофейном доме. Далек от того,

чтоб сетовать о бесполезной для меня утрате рубля серебром; но не могу не выказать всего негодования моего при воспоминании о явном посягательстве вашем, милостивый государь, в ущерб моей чести и вдобавок в присутствии нескольких персон, хотя не знакомых мне, но вместе с тем весьма хорошего тона...»

«Не далеко ли я захожу? – подумал господин Голядкин. – Не много ли будет; не слишком ли это обидчиво, – этот намек на хороший тон, например?.. Ну, да ничего! Нужно показать ему твердость характера. Впрочем, ему можно, для смягчения, этак польстить и подмаслить в конце. А вот мы посмотрим».

«Но не стал бы я, милостивый государь мой, утомлять вас письмом моим, если бы не был твердо уверен, что благородство сердечных чувств и открытый, прямодушный характер ваш укажут вам самому средства поправить все упущения и восстановить всё по-прежнему.

В полной надежде я смею оставаться уверенным, что вы не примете письма моего в обидную для вас сторону, а вместе с тем и не откажетесь объясниться нарочито по этому случаю письменно, через посредство моего человека.

В ожидании, честь имею пребыть,
милостивый государь,
покорнейшим вашим слугою

Я. Голядкиным».

«Ну, вот и всё хорошо. Дело сделано; дошло и до письменного. Но кто ж виноват? Он сам виноват: сам доводит человека до необходимости требовать письменных документов. А я в своем праве...»

Перечитав последний раз письмо, господин Голядкин сложил его, запечатал и позвал Петрушку. Петрушка явился, по обыкновению своему, с заспанными глазами и на что-то крайне сердитый.

– Ты, братец, вот, возьмешь это письмо... понимаешь?

Петрушка молчал.

– Возьмешь его и отнесешь в департамент; там отыщешь дежурного, губернского секретаря Вахрамеева. Вахрамеев сегодня дежурный. Понимаешь ты это?

– Понимаю.

– Понимаю! Не можешь сказать: понимаю-с. Спросишь чиновника Вахрамеева и скажешь ему, что, дескать, вот так и так, дескать, барин приказал вам кланяться и покорнейше попросить вас справиться в адресной нашего ведомства книге – где, дескать, живет титулярный советник Голядкин?

Петрушка промолчал и, как показалось господину Голядкину, улыбнулся.

– Ну, так вот ты, Петр, спросишь у них адрес и узнаешь, где, дескать, живет новопоступивший чиновник Голядкин?

– Слушаю.

– Спросишь адрес и отнесешь по этому адресу это письмо; понимаешь?

– Понимаю.

– Если там... вот куда ты письмо отнесешь, – тот господин, кому письмо это дашь, Голядкин-то... Чего смеешься, болван?

– Да чего мне смеяться-то? Что мне! Я ничего-с. Нечего нашему брату смеяться...

– Ну, так вот... если тот господин будет спрашивать, дескать, как же твой барин, как же он там; что, дескать, он того... ну, там, что-нибудь будет выспрашивать, – так ты молчи и отвечай, дескать, барин мой ничего, а просят, дескать, ответа от вас своеручного. Понимаешь?

– Понимаю-с.

– Ну, так вот, дескать, барин мой, дескать, говори, ничего, дескать, и здоров, и в гости, дескать, сейчас собирается; а от вас, дескать, они ответа просят письменного. Понимаешь?

– Понимаю.

– Ну, ступай.

«Ведь вот еще с этим болваном работа! смеется себе, да и кончено. Чему ж он смеется? Дожил я до беды, дожил я вот таким-то образом до беды! Впрочем, может быть, оно обратится всё к лучшему... Этот мошенник, верно, часа два будет таскаться теперь, пропадет еще где-нибудь. Послать нельзя никуда. Эка беда ведь какая!., эка ведь беда одолела какая!,.»

Чувствуя таким образом вполне беду свою, герой наш решился на пассивную двухчасовую роль в ожидании Петрушки. С час времени ходил он по комнате, курил, потом бросил трубку и сел за какую-то книжку,

потом прилег на диван, потом опять взялся за трубку, потом опять начал бегать по комнате. Хотел было он рассуждать, но рассуждать не мог решительно ни о чем. Наконец агония пассивного состояния его возросла до последнего градуса, и господин Голядкин решился принять одну меру. «Петрушка придет еще через час, – думал он, – можно ключ отдать дворнику, а сам я покамест и того... исследую дело, по своей части исследую дело». Не теряя времени и спеша исследовать дело, господин Голядкин взял свою шляпу, вышел из комнаты, запер квартиру, зашел к дворнику, вручил ему ключ вместе с гривенником, – господин Голядкин стал как-то необыкновенно щедр, – и пустился, куда ему следовало. Господин Голядкин пустился пешком, сперва к Измайловскому мосту. В ходьбе прошло с полчаса. Дойдя до цели своего путешествия, он вошел прямо во двор своего знакомого дома и взглянул на окна квартиры статского советника Берендеева. Кроме трех завешенных красными гардинами окон, остальные все были темны. «У Олсуфья Ивановича сегодня, верно, нет гостей, – подумал господин Голядкин, – они, верно, все одни теперь дома сидят». Постояв несколько времени на дворе, герой наш хотел было уже на что-то решиться. Но решению не суждено было состояться, по-видимому. Господин Голядкин отдумал, махнул рукой и воротился на улицу. «Нет, не сюда мне нужно было идти. Что же я буду здесь делать?.. А вот я лучше теперь того... и собственнолично исследую дело». Приняв такое решение, господин Голядкин пустился в свой департамент. Путь был не близок, вдобавок была страшная грязь и мокрый снег валил самыми густыми хлопьями. Но для героя нашего в настоящее время затруднений, кажется, не было. Измок-то он измок, правда, да и загрязнился немало, «да уж так, заодно, зато цель достигнута». И действительно, господин Голядкин уже подходил к своей цели. Темная масса огромного казенного строения уже зачернела вдали перед ним. «Стой! – подумал он, – куда ж я иду и что я буду здесь делать? Положим, узнаю, где он живет; а между тем Петрушка уже, верно, вернулся и ответ мне принес. Время-то я мое дорогое только даром теряю, время-то я мое только так потерял. Ну, ничего; еще всё это можно исправить. Однако, и в самом деле, не зайти ль к Вахрамееву? Ну, да нет! я уж после... Эк! выходить-то было вовсе не нужно. Да нет, уж характер такой! Сноровка такая, что нужда ли, нет ли, вечно норовлю как-нибудь вперед забежать. Гм... который-то час?

уж верно, есть девять. Петрушка может прийти и не найдет меня дома. Сделал я чистую глупость, что вышел... Эх, право, комиссия!»

Искренно сознавшись таким образом, что сделал чистую глупость, герой наш побежал обратно к себе в Шестилавочную. Добежал он усталый, измученный. Еще от дворника узнал он, что Петрушка и не думал являться. «Ну, так! уж я предчувствовал это, – подумал герой наш, – а между тем уже девять часов. Эк ведь негодяй он какой! Уж вечно где-нибудь пьянствует! Господи Бог мой! экой ведь денек выдался на долю мою горемычную!» Таким-то образом размышляя и сетуя, господин Голядкин отпер квартиру свою, достал огня, разделся совсем, выкурил трубку и, истощенный, усталый, разбитый, голодный, прилег на диван в ожидании Петрушки. Свеча нагорала тускло, свет трепетал на стенах... Господин Голядкин глядел-глядел, думал-думал, да и заснул наконец как убитый.

Проснулся он уже поздно. Свеча совсем почти догорела, дымилась и готова была тотчас совершенно потухнуть. Господин Голядкин вскочил, встрепенулся и вспомнил всё, решительно всё. За перегородкой раздавался густой храп Петрушки. Господин Голядкин бросился к окну – нигде ни огонька. Отворил форточку – тихо; город словно вымер, спит. Стало быть, часа два или три; так и есть: часы за перегородкой понатужились и пробили два. Господин Голядкин бросился за перегородку.

Кое-как, впрочем после долгих усилий, растолкал он Петрушку и успел посадить его на постель. В это время свечка совершенно потухла. Минут с десять прошло, покамест господин Голядкин успел найти другую свечу и зажечь ее. В это время Петрушка успел заснуть сызнова. «Мерзавец ты этакой, негодяй ты такой! – проговорил господин Голядкин, снова его расталкивая, – встанешь ли ты, проснешься ли ты?» После получасовых усилий господин Голядкин успел, однако же, расшевелить совершенно своего служителя и вытащить его из-за перегородки. Тут только увидел герой наш, что Петрушка был, как говорится, мертвецки пьян и едва на ногах держался.

– Бездельник ты этакой! – закричал господин Голядкин. – Разбойник ты этакой! голову ты срезал с меня! Господи, куда же это он письмо-то сбыл с рук? Ахти, Создатель мой, ну, как оно... И зачем я его написал? и нужно было мне его написать! Расскакался, дуралей, я с амбицией!

Туда же полез за амбицией! Вот тебе и амбиция, подлец ты этакой, вот и амбиция!.. Ну, ты! куда же ты письмо-то дел, разбойник ты этакой? Кому же ты отдал его?..

– Никому я не отдавал никакого письма; и не было у меня никакого письма... вот как!

Господин Голядкин ломал руки с отчаяния.

– Слушай ты, Петр... ты послушай, ты слушай меня...

– Слушаю...

– Ты куда ходил? – отвечай...

– Куда ходил... к добрым людям ходил! что мне!

– Ах ты, Господи Боже мой! Куда сначала ходил? был в департаменте?.. Ты послушай, Петр; ты, может быть, пьян?

– Я пьян? Вот хоть сейчас с места не сойти, мак – мак – мако – вой – вот...

– Нет, нет, это ничего, что ты пьян... Я только так спросил; это хорошо, что ты пьян; я ничего, Петруша, я ничего... Ты, может быть, только так позабыл, а всё помнишь. Ну-ка, вспомни-ка, был ты у Вахрамеева, чиновника, – был или нет?

– И не был, и чиновника такого не бывало. Вот хоть сейчас...

– Нет, нет, Петр! Нет, Петруша, ведь я ничего. Ведь ты видишь, что я ничего... Ну, что ж такое! Ну, на дворе холодно, сыро, ну, выпил человек маленько, ну, и ничего... Я не сержусь. Я сам, брат, выпил сегодня... Ты признайся, вспомни-ка, брат: был ты у чиновника Вахрамеева?

– Ну, как теперь, вот этак пошло, так право слово – вот был же, вот хоть сейчас...

– Ну, хорошо, Петруша, хорошо, что был. Ты видишь, я не сержусь... Ну, ну, – продолжал наш герой, еще более задабривая своего служителя, трепля его по плечу и улыбаясь ему, – ну, клюкнул, мерзавец, маленько... на гривенник, что ли, клюкнул? плут ты этакой! Ну, и ничего; ну, ты видишь, что я не сержусь... я не сержусь, братец, я не сержусь...

– Нет, я не плут, как хотите-с... К добрым людям только зашел, а не плут, и плутом никогда не бывал...

– Да нет же, нет, Петруша! ты послушай, Петр: ведь я ничего, ведь я тебя не ругаю, что плутом называю. Ведь это я в утешение тебе говорю, в благородном смысле про это говорю. Ведь это значит, Петруша, поль-

стить иному человеку, как сказать ему, что он петля этакая, продувной малой, что он малой не промах и никому надуть себя не позволит. Это любит иной человек... Ну, ну, ничего! ну, скажи же ты мне, Петруша, теперь, без утайки, откровенно, как другу... ну, был ты у чиновника Вахрамеева и адрес он дал тебе?

– И адрес дал, тоже и адрес дал. Хороший чиновник! И барин твой, говорит, хороший человек, очень хороший, говорит, человек; я, дескать, скажи, говорит, кланяйся, говорит, своему барину, благодари и скажи, что я, дескать, люблю, вот, дескать, как уважаю твоего барина! за то, что, говорит, ты, барин твой, говорит, Петруша, хороший человек, говорит, и ты, говорит, тоже хороший человек, Петруша, – вот...

– Ах ты, Господи Боже мой! А адрес-то, адрес-то, Иуда ты этакой? – Последние слова господин Голядкин проговорил почти шепотом.

– И адрес... и адрес дал.

– Дал? Ну, где же живет он, Голядкин, чиновник Голядкин, титулярный советник?

– А Голядкин будет тебе, говорит, в Шестилавочной улице. Вот как пойдешь, говорит, в Шестилавочную, так направо, на лестницу, в четвертый этаж. Вот тут тебе, говорит, и будет Голядкин...

– Мошенник ты этакой! – закричал наконец вышедший из терпения герой наш, – разбойник ты этакой! да это ведь я; ведь это ты про меня говоришь. А то другой есть Голядкин; я про другого говорю, мошенник ты этакой!

– Ну, как хотите! что мне! Вы как хотите – вот!..

– А письмо-то, письмо...

– Какое письмо? и не было никакого письма, и не видал я никакого письма.

– Да куда же ты дел его – шельмец ты такой!?..

– Отдал его, отдал письмо. Кланяйся, говорит, благодари; хороший твой, говорит, барин. Кланяйся, говорит, твоему барину...

– Да кто же это сказал? Это Голядкин сказал?

Петрушка помолчал немного и усмехнулся во весь рот, глядя прямо в глаза своему барину.

– Слушай, ты, разбойник ты этакой! – начал господин Голядкин, задыхаясь, теряясь от бешенства, – что ты сделал со мной! Говори ты мне,

что ты сделал со мной! Срезал ты меня, злодей ты такой! Голову с плеч моих снял, Иуда ты этакой!

– Ну, теперь как хотите! что мне! – сказал решительным тоном Петрушка, ретируясь за перегородку.

– Пошел сюда, пошел сюда, разбойник ты этакой!..

– И не пойду я к вам теперь, совсем не пойду. Что мне! Я к добрым людям пойду... А добрые люди живут по честности, добрые люди без фальши живут и по двое никогда не бывают...

У господина Голядкина и руки и ноги оледенели, и дух занялся...

– Да-с, – продолжал Петрушка, – их по двое никогда не бывает, Бога и честных людей не обижают...

– Ты бездельник, ты пьян! Ты спи теперь, разбойник ты этакой! А вот завтра и будет тебе, – едва слышным голосом проговорил господин Голядкин. Что же касается до Петрушки, то он пробормотал еще что-то; потом слышно было, как он налег на кровать, так что кровать затрещала, протяжно зевнул, потянулся и наконец захрапел сном невинности, как говорится. Ни жив ни мертв был господин Голядкин. Поведение Петрушки, намеки его весьма странные, хотя и отдаленные, на которые сердиться, следственно, нечего было, тем более что пьяный человек говорил, и, наконец, весь злокачественный оборот, принимаемый делом, – всё это потрясло до основания Голядкина. «И дернуло меня его распекать среди ночи, – говорил наш герой, дрожа всем телом от какого-то болезненного ощущения. – И подсунуло меня с пьяным человеком связаться! Какого толку ждать от пьяного человека! что ни слово, то врет. На что это, впрочем, он намекал, разбойник он этакой? Господи Боже мой! И зачем я все эти письма писал, я-то, душегубец; я-то, самоубийца я этакой! Нельзя помолчать! Надо было провраться! Ведь уж чего! Погибаешь, ветошке подобишься, так ведь нет же, туда же с амбицией, дескать, честь моя страждет, дескать, честь тебе свою нужно спасать! Самоубийца я этакой!»

Так говорил господин Голядкин, сидя на диване своем и не смея пошевелиться от страха. Вдруг глаза его остановились на одном предмете, в высочайшей степени возбудившем его внимание. В страхе – не иллюзия ли, не обман ли воображения предмет, возбудивший внимание его, – протянул он к нему руку, с надеждою, с робостию, с любопытством неопи-

санным... Нет, не обман! не иллюзия! Письмо, точно письмо, непременно письмо, и к нему адресованное... Господин Голядкин взял письмо со стола. Сердце в нем страшно билось. «Это, верно, тот мошенник принес, – подумал он, – и тут положил, а потом и забыл; верно, так всё случилось; это, верно, именно так всё случилось...» Письмо было от чиновника Вахрамеева, молодого сослуживца и некогда приятеля господина Голядкина, «Впрочем, я всё это заранее предчувствовал, – подумал герой наш, – и всё то, что в письме теперь будет, также предчувствовал...» Письмо было следующее:

«Милостивый государь,
Яков Петрович!

Человек ваш пьян, и путного от него не дождешься; по сей причине предпочитаю отвечать письменно. Спешу вам объявить, что поручение, вами на меня возлагаемое и состоящее в передаче известной вам особе через мои руки письма, согласен исполнить во всей верности и точности. Квартирует же сия особа, весьма вам известная и теперь заменившая мне друга, коей имя при сем умалчиваю (затем что не хочу напрасно чернить репутацию совершенно невинного человека), вместе с нами, в квартире Каролины Ивановны, в том самом нумере, где прежде еще, в бытность вашу у нас, квартировал заезжий из Тамбова пехотный офицер. Впрочем, особу сию можете найти везде между честных и искренних сердцем людей, чего об иных сказать невозможно. Связи мои с вами намерен я с сего числа прекратить; в дружественном же тоне и в прежнем согласном виде товарищества нашего нам оставаться нельзя, и потому прошу вас, милостивый государь мой, немедленно по получении сего откровенного письма моего, выслать следуемые мне два целковых за бритвы иностранной работы, проданные мною, если запомнить изволите, семь месяцев тому назад, в долг, еще во время жительства вашего с нами у Каролины Ивановны, которую я от всей души моей уважаю. Действую же я таким образом потому, что вы, по рассказам умных людей, потеряли амбицию и репутацию и стали опасны для нравственности невинных и незараженных людей, ибо некоторые особы живут не по правде и, сверх того, слова их – фальшь и благонамеренный вид подозрителен. Вступиться же за обиду Каролины Ивановны, которая всегда была благонравного поведения, а во-вторых, честная женщина и вдобавок девица, хотя не молодых лет,

но зато хорошей иностранной фамилии, – людей способных можно найти всегда и везде, о чем просили меня некоторые особы упомянуть в сем письме моем мимоходом и говоря от своего лица. Во всяком же случае вы всё узнаете своевременно, если теперь не узнали, несмотря на то что ославили себя, по рассказам умных людей, во всех концах столицы и, следовательно, уже во многих местах могли получить надлежащие о себе, милостивый государь, сведения. В заключение письма моего объявляю вам, милостивый мой государь, что известная вам особа, коей имя не упоминаю здесь по известным благородным причинам, весьма уважаема людьми благомыслящими; сверх того, характера веселого и приятного, успевает как на службе, так и между всеми здравомыслящими людьми, верна своему слову и дружбе и не обижает заочно тех, с кем в глаза находится в приятельских отношениях.

Во всяком случае пребываю
покорным слугою вашим

Н. Вахрамеевым.

P. S. Вы вашего человека сгоните: он пьяница и приносит вам, по всей вероятности, много хлопот, а возьмите Евстафия, служившего прежде у нас и находящегося на сей раз без места. Теперешний же служитель ваш не только пьяница, но, сверх того, вор, ибо еще на прошлой неделе продал фунт сахару, в виде кусков, Каролине Ивановне за уменьшенную цену, что, по моему мнению, не мог он иначе сделать, как обворовав вас хитростным образом, но-малому и в разные сроки. Пишу вам сие, желая добра, несмотря на то что некоторые особы умеют только обижать и обманывать всех людей, преимущественно же честных и обладающих добрым характером; сверх того, заочно поносят их и представляют их в обратном смысле, единственно из зависти и потому, что сами себя не могут назвать таковыми.

В.»

Прочтя письмо Вахрамеева, герой наш долго еще оставался в неподвижном положении на диване своем. Какой-то новый свет пробивался сквозь весь неясный и загадочный туман, уже два дня окружавший его. Герой наш отчасти начинал понимать... Попробовал было он встать с дивана и пройтись раз и другой по комнате, чтоб освежить себя, собрать кое-как разбитые мысли, устремить их на известный предмет и потом,

поправив себя немного, зрело обдумать свое положение. Но только что хотел было он привстать, как тут же, в немощи и бессилии, упал опять на прежнее место. «Оно, конечно, я это всё заранее предчувствовал; однако же как же он пишет и каков прямой смысл этих слов? Смысл-то я, положим, и знаю; но куда это поведет? Сказал бы прямо: вот, дескать, так-то и так-то, требуется то-то и то-то, я бы и исполнил. Турнюра-то, оборот-то, принимаемый делом, такой неприятный выходит! Ах, как бы поскорее добраться до завтра и поскорее добраться до дела! теперь же я знаю, что делать. Дескать, так и так, скажу, на резоны согласен, чести моей не продам, а того... пожалуй; впрочем, он-то, особа-то эта известная, лицо-то неблагоприятное как же сюда подметалось? и зачем именно подметалось сюда? Ах, как бы до завтра скорей! Ославят они меня до тех пор, интригуют они, в пику работают! Главное – времени не нужно терять, а теперь, например, хоть письмо написать и только пропустить, что, дескать, то-то и то-то и вот на то-то и то-то согласен. А завтра чем свет отослать, и самому пораньше того... и с другой стороны им в контру пойти, и предупредить их, голубчиков... Ославят они меня, да и только!»

Господин Голядкин подвинул бумагу, взял перо и написал следующее послание в ответ на письмо губернского секретаря Вахрамеева:

«Милостивый государь,
Нестор Игнатьевич!

С прискорбным сердцу моему удивлением прочел я оскорбительное для меня письмо ваше, ибо ясно вижу, что под именем некоторых неблагопристойных особ и иных с ложною благонамеренностью людей разумеете вы меня. С истинною горестию вижу, как скоро, успешно и какие далекие корни пустила клевета, в ущерб моему благоденствию, моей чести и доброму моему имени. И тем более прискорбно и оскорбительно это, что даже честные люди, с истинно благородным образом мыслей и, главное, одаренные прямым и открытым характером, отступают от интересов благородных людей и прилепляются лучшими качествами сердца своего к зловредной тле, – к несчастию в наше тяжелое и безнравственное время расплодившейся сильно и крайне неблагонамеренно. В заключение скажу, что вами означенный долг мой, два рубля серебром, почту святою обязанностию возвратить вам во всей его целости.

Что же касается до ваших, милостивый государь мой, намеков насчет известной особы женского пола, насчет намерений, расчетов и разных замыслов этой особы, то скажу вам, милостивый государь мой, что я смутно и неясно понял все эти намеки. Позвольте мне, милостивый государь мой, благородный образ мыслей моих и честное имя мое сохранить незапятнанными. Во всяком же случае готов снизойти до объяснения лично, предпочитая верность личного письменному, и, сверх того, готов войти в разные миролюбивые, обоюдные разумеется, соглашения. На сей конец прошу вас, милостивый мой государь, передать сей особе готовность мою для соглашения личного и, сверх того, просить ее назначить время и место свидания. Горько мне было читать, милостивый государь мой, намеки на то, что будто бы вас оскорбил, изменил нашей первобытной дружбе и отзывался о вас с дурной стороны. Приписываю всё сие недоразумению, гнусной клевете, зависти и недоброжелательству тех, коих справедливо могу наименовать ожесточеннейшими врагами моими. Но они, вероятно, не знают, что невинность сильна уже своею невинностью, что бесстыдство, наглость и возмущающая душу фамильярность иных особ, рано ли, поздно ли, заслужит себе всеобщее клеймо презрения и что эти особы погибнут не иначе как от собственной неблагопристойности и развращенности сердца. В заключение прошу вас, милостивый государь мой, передать сим особам, что странная претензия их и неблагородное фантастическое желание вытеснять других из пределов, занимаемых сими другими своим бытием в этом мире, и занять их место, заслуживают изумления, презрения, сожаления и, сверх того, сумасшедшего дома; что, сверх того, такие отношения запрещены строго законами, что, по моему мнению, совершенно справедливо, ибо всякий должен быть доволен своим собственным местом. Всему есть пределы, и если это шутка, то шутка неблагопристойная, скажу более: совершенно безнравственная, ибо смею уверить вас, милостивый государь мой, что идеи мои, выше распространенные насчет своих мест, чисто нравственные.

Во всяком случае честь имею пребыть
вашим покорным слугою

Я. Голядкин».

ГЛАВА X

Вообще можно сказать, что происшествия вчерашнего дня до основания потрясли господина Голядкина. Почивал наш герой весьма нехорошо, то есть никак не мог даже на пять минут заснуть совершенно: словно проказник какой-нибудь насыпал ему резаной щетины в постель. Всю ночь провел он в каком-то полусне, полу бдении, переворачиваясь со стороны на сторону, с боку на бок, охая, кряхтя, на минутку засыпая, через минутку опять просыпаясь, и всё это сопровождалось какой-то странной тоской, неясными воспоминаниями, безобразными видениями, – одним словом, всем, что только можно найти неприятного... То появлялась перед ним, в каком-то странном, загадочном полусвете, фигура Андрея Филипповича, – сухая фигура, сердитая фигура, с сухим, жестким взглядом и с черство-учтивой побранкой... И только что господин Голядкин начинал было подходить к Андрею Филипповичу, чтоб перед ним каким-нибудь образом, так или этак, оправдаться и доказать ему, что он вовсе не таков, как его враги расписали, что он вот такой-то да сякой-то и даже обладает, сверх обыкновенных, врожденных качеств своих, вот тем-то и тем-то; но как тут и являлось известное своим неблагопристойным направлением лицо и каким-нибудь самым возмущающим душу средством сразу разрушало все предначинания господина Голядкина, тут же, почти на глазах же господина Голядкина, очерняло досконально его репутацию, втаптывало в грязь его амбицию и потом немедленно занимало место его на службе и в обществе. То чесалась голова господина Голядкина от какого-нибудь щелчка, недавно благоприобретенного и уничиженно принятого, полученного или в общежитии, или как-нибудь там, по обязанности, на который щелчок протестовать было трудно... И между тем как господин Голядкин начинал было ломать себе голову над тем, что почему вот именно трудно протестовать хоть бы на такой-то щелчок, – между тем эта же мысль о щелчке незаметно переливалась в какую-нибудь другую форму, – в форму какой-нибудь известной маленькой или довольно значительной подлости, виденной, слышанной или самим недавно исполненной, – и часто исполненной-то даже и не на подлом основании, даже и не из подлого побуждения какого-нибудь, а так, – иногда, например, по случаю, – из

деликатности, другой раз из ради совершенной своей беззащитности, ну и, наконец, потому... потому, одним словом, уж это господин Голядкин знал хорошо почему! Тут господин Голядкин краснел сквозь сон и, подавляя краску свою, бормотал про себя, что, дескать, здесь, например, можно бы показать твердость характера, значительную бы можно было показать в этом случае твердость характера... а потом и заключал, что, «дескать, что же твердость характера!.. дескать, зачем ее теперь поминать!..» Но всего более бесило и раздражало господина Голядкина то, что как тут, и непременно в такую минуту, звали ль, не звали ль его, являлось известное безобразием и пасквильностью своего направления лицо и тоже, несмотря на то что уже, кажется, дело было известное, – тоже туда же бормотало с неблагопристойной улыбочкой, что, «дескать, что уж тут твердость характера! какая, дескать, у нас с тобой, Яков Петрович, будет твердость характера!..» То грезилось господину Голядкину, что находится он в одной прекрасной компании, известной своим остроумием и благородным тоном всех лиц, ее составляющих; что господин Голядкин в свою очередь отличился в отношении любезности и остроумия, что все его полюбили, даже некоторые из врагов его, бывших тут же, его полюбили, что очень приятно было господину Голядкину; что все ему отдали первенство и что, наконец, сам господин Голядкин с приятностью подслушал, как хозяин тут же, отведя в сторону кой-кого из гостей, похвалил господина Голядкина... и вдруг, ни с того ни с сего, опять явилось известное своею неблагонамеренностью и зверскими побуждениями лицо, в виде господина Голядкина-младшего, и тут же, сразу, в один миг, одним появлением своим Голядкин-младший разрушал всё торжество и всю славу господина Голядкина-старшего, затмил собою Голядкина-старшего, втоптал в грязь Голядкина-старшего и, наконец, ясно доказал, что Голядкин-старший и вместе с тем настоящий – вовсе не настоящий, а поддельный, а что он настоящий, что, наконец, Голядкин-старший вовсе не то, чем он кажется, а такой-то и сякой-то, и, следовательно, не должен и не имеет права принадлежать к обществу людей благонамеренных и хорошего тона. И всё это до того быстро сделалось, что господин Голядкин-старший и рта раскрыть не успел, как уже все и душою и телом предались безобразному и поддельному господину Голядкину и с глубочайшим през-

рением отвергли его, настоящего и невинного господина Голядкина. Не оставалось лица, которого мнение не переделал бы в один миг безобразный господин Голядкин по-своему. Не оставалось лица, даже самого незначительного из целой компании, к которому бы не подлизался бесполезный и фальшивый господин Голядкин по-своему, самым сладчайшим манером, к которому бы не подбился по-своему, перед которым бы он не покурил, по своему обыкновению, чем-нибудь самым приятным и сладким, так что обкуриваемое лицо только нюхало и чихало до слез в знак высочайшего удовольствия. И, главное, всё это делалось мигом: быстрота хода подозрительного и бесполезного господина Голядкина была удивительная! Чуть успеет, например, полизаться с одним, заслужить благорасположение его, – и глазком не мигнешь, как уж он у другого. Полижется-полижется с другим втихомолочку, сорвет улыбочку благоволения, лягнет своей коротенькой, кругленькой, довольно, впрочем, дубоватенькой ножкой, – и вот уж и с третьим, и куртизанит уж третьего, с ним тоже лижется по-приятельски; рта раскрыть не успеваешь, в изумление не успеешь прийти, – а уж он у четвертого, и с четвертым уже на тех же кондициях, – ужас: колдовство, да и только! И все рады ему, и все любят его, и все превозносят его, и все провозглашают хором, что любезность и сатирическое ума его направление не в пример лучше любезности и сатирического направления настоящего господина Голядкина, и стыдят этим настоящего и невинного господина Голядкина, и отвергают правдолюбивого господина Голядкина, и уже гонят в толчки благонамеренного господина Голядкина, и уже сыплют щелчки в известного любовию к ближнему настоящего господина Голядкина!.. В тоске, в ужасе, в бешенстве выбежал многострадальный господин Голядкин на улицу и стал нанимать извозчика, чтоб прямо лететь к его превосходительству, а если не так, то уж по крайней мере к Андрею Филипповичу, но – ужас! извозчики никак не соглашались везти господина Голядкина: «дескать, барин, нельзя везти двух совершенно подобных; дескать, ваше благородие, хороший человек норовит жить по честности, а не как-нибудь, и вдвойне никогда не бывает». В исступлении стыда оглядывался кругом совершенно честный господин Голядкин и действительно уверялся, сам, своими глазами, что извозчики и стакнувшийся с ними Петрушка все

в своем праве; ибо развращенный господин Голядкин находился действительно тут же, возле него, не в дальнем от него расстоянии, и, следуя подлым обычаям нравов своих, и тут, и в этом критическом случае, непременно готовился сделать что-то весьма неприличное и нисколько не обличавшее особенного благородства характера, получаемого обыкновенно при воспитании, – благородства, которым так величался при всяком удобном случае отвратительный господин Голядкин второй. Не помня себя, в стыде и в отчаянии, бросился погибший и совершенно справедливый господин Голядкин куда глаза глядят, на волю судьбы, куда бы ни вынесло; но с каждым шагом его, с каждым ударом ноги в гранит тротуара, выскакивало, как будто из-под земли, по такому же точно, совершенно подобному и отвратительному развращенностию сердца господину Голядкину. И все эти совершенно подобные пускались тотчас же по появлении своем бежать один за другим и длинною цепью, как вереница гусей, тянулись и ковыляли за господином Голядкиным-старшим, так что некуда было убежать от совершенно подобных, – так что дух захватывало всячески достойному сожаления господину Голядкину от ужаса, – так что народилась наконец страшная бездна совершенно подобных, – так что вся столица запрудилась наконец совершенно подобными, и полицейский служитель, видя таковое нарушение приличия, принужден был взять этих всех совершенно подобных за шиворот и посадить в случившуюся у него под боком будку... Цепенея и леденея от ужаса, просыпался герой наш и, цепенея и леденея от ужаса, чувствовал, что и наяву едва ли веселее проводится время... Тяжело, мучительно было... Тоска подходила такая, как будто кто сердце выедал из груди...

Наконец господин Голядкин не мог долее вытерпеть. «Не будет же этого!» – закричал он, с решимостью приподымаясь с постели, и вслед за этим восклицанием совершенно очнулся.

День, по-видимому, уже давно начался. В комнате было как-то не по-обыкновенному светло; солнечные лучи густо процеживались сквозь заиндевевшие от мороза стекла и обильно рассыпались по комнате, что немало удивило господина Голядкина; ибо разве только в полдень заглядывало к нему солнце своим чередом; прежде же таких исключений в течении небесного светила, сколько по крайней мере господин Голядкин

сам мог припомнить, почти никогда не бывало. Только что успел подивиться на это герой наш, как зажужжали за перегородкой стенные часы и таким образом совершенно приготовились бить. «А, вот!» – подумал господин Голядкин и с тоскливым ожиданием приготовился слушать... Но, к совершенному и окончательному поражению господина Голядкина, часы его понатужились и ударили всего один раз. «Это что за история?» – вскричал наш герой, выскакивая совсем из постели. Так, как был, не веря ушам своим, бросился он за перегородку. На часах был действительно час. Господин Голядкин взглянул на кровать Петрушки; но в комнате даже не пахло Петрушкой: постель его, но-видимому, давно уже была прибрана и оставлена; сапогов его тоже нигде не было, – несомненный признак, что Петрушки действительно не было дома. Господин Голядкин бросился к дверям: двери заперты. «Да где же Петрушка?» – продолжал он шепотом, весь в страшном волнении и чувствуя довольно значительную дрожь во всех членах... Вдруг одна мысль пронеслась в голове его... Господин Голядкин бросился к столу своему, оглядел его, обшарил кругом, – так и есть: вчерашнего письма его к Вахрамееву не было... Петрушки за перегородкой тоже совсем не было; на стенных часах был час, а во вчерашнем письме Вахрамеева были введены какие-то новые пункты, весьма, впрочем, с первого взгляда неясные пункты, но теперь совершенно объяснившиеся. Наконец, и Петрушка – очевидно подкупленный Петрушка! Да, да, это так!

«Так это там-то главный узел завязывался! – вскричал господин Голядкин, ударив себя по лбу и всё более и более открывая глаза, – так это в гнезде этой скаредной немки кроется теперь вся главная нечистая сила! Так это, стало быть, она только стратегическую диверсию делала, указывая мне на Измайловский мост, – глаза отводила, смущала меня (негодная ведьма!) и вот таким-то образом подкопы вела!!! Да, это так! Если только с этой стороны на дело взглянуть, то всё это и будет вот именно так! и появление мерзавца тоже теперь вполне объясняется: это всё одно к одному. Они его давно уж держали, приготовляли и на черный день припасали. Ведь вот оно как теперь, как оказалось-то всё! Как разрешилось-то всё! А ну, ничего! Еще не потеряно время!..» Тут господин Голядкин с ужасом вспомнил, что уже второй час пополудни. «Что, если они теперь и успели... – Стон вырвался у него из груди... – Да нет же,

врут, не успели, – посмотрим...» Кое-как он оделся, схватил бумагу, перо и настрочил следующее послание:

«Милостивый государь мой, Яков Петрович!

Либо вы, либо я, а вместе нам невозможно! И потому объявляю вам, что странное, смешное и, вместе, невозможное желание ваше казаться моим близнецом и выдавать себя за такового послужит не к чему иному, как к совершенному вашему бесчестию и поражению. И потому прошу вас, ради собственной же выгоды вашей, посторониться и дать путь людям истинно благородным и с целями благонамеренными. В противном же случае готов решиться даже на самые крайние меры. Кладу перо и ожидаю... Впрочем, пребываю готовым на услуги и – на пистолеты.

Я. Голядкин».

Энергически потер себе руки герой наш, когда кончил записку. Затем, натянув шинель и надев шляпу, отпер другим, запасным ключом квартиру и пустился в департамент. До департамента он дошел, но войти не решился; действительно, было уже слишком поздно; половину третьего показывали часы господина Голядкина. Вдруг одно, но-видимому, весьма маловажное обстоятельство разрешило некоторые сомнения господина Голядкина: из-за угла департаментского здания вдруг показалась запыхавшаяся и раскрасневшаяся фигурка и украдкой, крысиной походкой шмыгнула на крыльцо и потом тотчас же в сени. Это был писарь Остафьев, человек весьма знакомый господину Голядкину, человек отчасти нужный и за гривенник готовый на всё. Зная нежную струну Остафьева и смекнув, что он, после отлучки за самонужнейшей надобностью, вероятно, стал еще более прежнего падок на гривенники, герой наш решился их не жалеть и тотчас же шмыгнул на крыльцо, а потом и в сени вслед за Остафьевым, кликнул его и с таинственным видом пригласил в сторонку, в укромный уголок, за огромную железную печку. Заведя его туда, герой наш начал расспрашивать.

– Ну, что, мой друг, как этак там, того... ты меня понимаешь?..

– Слушаю, ваше благородие, здравия желаю вашему благородию.

– Хорошо, мой друг, хорошо; а я тебя поблагодарю, милый друг. Ну, вот видишь, как же, мой друг?

– Что изволите спрашивать-с? – Тут Остафьев попридержал немного рукою свой нечаянно раскрывшийся рот.

– Я, вот видишь ли, мой друг, я того... а ты не думай чего-нибудь... Ну что, Андрей Филиппович здесь?..

– Здесь-с.

– И чиновники здесь?

– И чиновники тоже-с, как следует-с.

– И его превосходительство тоже?

– И его превосходительство тоже-с. – Тут писарь еще другой раз попридержал свой опять раскрывшийся рот и как-то любопытно и странно посмотрел на господина Голядкина. Герою нашему по крайней мере так показалось.

– И ничего особенного такого нету, мой друг?

– Нет-с; никак нет-с.

– Этак обо мне, милый друг, нет ли чего-нибудь там, этак чего-нибудь только... а? только так, мой друг, понимаешь?

– Нет-с, еще ничего не слышно покамест. – Тут писарь опять попридержал свой рот и опять как-то странно взглянул на господина Голядкина. Дело в том, что герой наш старался теперь проникнуть в физиономию Остафьева, прочесть на ней кое-что, не таится ли чего-нибудь. И действительно, как будто что-то такое таилось; дело в том, что Остафьев становился всё как-то грубее и суше и не с таким уже участием, как с начала разговора, входил теперь в интересы господина Голядкина. «Он отчасти в своем праве, – подумал господин Голядкин, – ведь что ж я ему? Он, может быть, уже и получил с другой стороны, а потому и отлучился по самонужнейшей-то. А вот я ему и того...» Господин Голядкин понял, что время гривенников наступило.

– Вот тебе, милый друг...

– Чувствительно благодарен вашему благородию.

– Еще более дам.

– Слушаю, ваше благородие.

– Теперь, сейчас еще более дам и, когда дело кончится, еще столько же дам. Понимаешь?

Писарь молчал, стоял в струнку и неподвижно смотрел на господина Голядкина.

– Ну, теперь говори: про меня ничего не слышно?..

– Кажется, что еще, покамест... того-с... ничего нет покамест-с. – Остафьев отвечал с расстановкой, тоже, как и господин Голядкин, наблюдая немного таинственный вид, подергивая немного бровями, смотря в землю, стараясь попасть в надлежащий тон и, одним словом, всеми силами стараясь наработать обещанное, потому что данное он уже считал за собою и окончательно приобретенным.

– И неизвестно ничего?

– Покамест еще нет-с.

– А послушай... того... оно, может быть, будет известно?

– Потом, разумеется, может быть, будет известно-с.

«Плохо!» – подумал герой наш. – Послушай, вот тебе еще, милый мой.

– Чувствительно благодарен вашему благородию.

– Вахрамеев был вчера здесь?..

– Были-с.

– А другого кого-нибудь не было ли?.. Припомни-ка, братец?

Писарь порылся с минутку в своих воспоминаниях и надлежащего ничего не припомнил.

– Нет-с, никого другого не было-с.

– Гм! – Последовало молчание.

– Послушай, братец, вот тебе еще; говори всё, всю подноготную.

– Слушаю-с. – Остафьев стоял теперь точно шелковый: того надобно было господину Голядкину.

– Объясни мне, братец, теперь, на какой он ноге?

– Ничего-с, хорошо-с, – отвечал писарь, во все глаза смотря на господина Голядкина.

– То есть как хорошо?

– То есть так-с. – Тут Остафьев значительно подернул бровями. Впрочем, он решительно становился в тупик и не знал, что ему еще говорить. «Плохо!» – подумал господин Голядкин.

– Нет ли у них дальнейшего чего-нибудь с Вахрамеевым-то?

– Да и всё, как и прежде-с.

– Подумай-ка.

– Есть, говорят-с.

– А ну, что же такое?

Остафьев попридержал рукою свой рот.

– Письма оттудова нет ли ко мне?

– А сегодня сторож Михеев ходил к Вахрамееву на квартиру, туда-с, к немке ихней-с, так вот я пойду и спрошу, если надобно.

– Сделай одолжение, братец, ради Создателя!.. Я только так... Ты, брат, не думай чего-нибудь, а я только так. Да расспроси, братец, разузнай, не приготовляется ли что-нибудь там на мой счет. Он-то как действует? вот мне что нужно; вот это ты и узнай, милый друг, а я тебя потом и поблагодарю, милый друг...

– Слушаю-с, ваше благородие, а на вашем месте Иван Семеныч сели сегодня-с.

– Иван Семеныч? А! да! неужели?

– Андрей Филиппович указали им сесть-с...

– Неужели? по какому же случаю? Разузнай это, братец, ради Создателя, разузнай это, братец; разузнай это всё – а я тебя поблагодарю, милый мой; вот что мне нужно... А ты не думай чего-нибудь, братец...

– Слушаю-с, слушаю-с, тотчас сойду сюда-с. Да вы, ваше благородие, разве не войдете сегодня?

– Нет, мой друг; я только так, я ведь так только, я посмотреть только пришел, милый друг, а потом я тебя и поблагодарю, милый мой.

– Слушаю-с. – Писарь быстро и усердно побежал вверх по лестнице, а господин Голядкин остался один.

«Плохо, – подумал он. – Эх, плохо, плохо! Эх, дельце-то наше... как теперь плоховато! Что бы это значило всё? что именно значили некоторые намеки этого пьяницы, например, и чья это штука? А! я теперь знаю, чья это штука. Это вот какая штука. Они, верно, узнали, да и посадили... Впрочем, что ж, – посадили? это Андрей Филиппович его посадил, Ивана-то Семеновича; да, впрочем, зачем же он его посадил и с какою именно целью посадил? Вероятно, узнали... Это Вахрамеев работает, то есть не Вахрамеев, он глуп, как простое осиновое бревно, Вахрамеев-то; а это они все за него работают, да и шельмеца-то за тем же самым сюда натравили; а немка нажаловалась, одноглазая! Я всегда подозревал, что вся эта интрига неспроста и что во всей этой бабьей, старушьей сплетне непременно есть что-нибудь; то же самое я и Крестьяну Ивановичу

говорил, что, дескать, поклялись зарезать, в нравственном смысле говоря, человека да и ухватились за Каролину Ивановну. Нет, тут мастера работают видно! Тут, сударь мой, работает мастерская рука, а не Вахрамеев. Уже сказано, что глуп Вахрамеев, а это... я знаю теперь, кто здесь за них всех работает: это шельмец работает, самозванец работает! На этом одном он и лепится, что доказывает отчасти и успехи его в высшем обществе. А действительно, желательно бы знать было, на какой он ноге теперь... что-то он там у них? Только зачем же они там взяли Ивана-то Семеновича? на какой им черт было нужно Ивана Семеновича? точно нельзя уж было достать другого кого. Впрочем, кого ни посади, всё было бы то же самое; а что я только знаю, так это то, что он, Иван-то Семенович, был мне давно подозрителен, я про него давно замечал: старикашка такой скверный, гадкий такой, – говорят, на проценты дает и жидовские проценты берет. А ведь это всё медведь мастерит. Во всё это обстоятельство медведь замешался. Началось-то оно таким образом. У Измайловского моста оно началось; вот оно как началось...» Тут господин Голядкин сморщился, словно лимон разгрыз, вероятно припомнив что-нибудь весьма неприятное. «Ну, да ничего, впрочем! – подумал он. – А вот только я всё про свое. Что же это Остафьев нейдет? Вероятно, засел или был остановлен там как-нибудь. Это ведь и хорошо отчасти, что я так интригую и с своей стороны подкопы веду. Остафьеву только гривенник нужно дать, так он и того... и на моей стороне. Только вот дело в чем: точно ли он на моей стороне; может быть, они его тоже с своей стороны... и, с своей стороны согласясь с ним, интригу ведут. Ведь разбойником смотрит, мошенник, чистым разбойником! Таится, шельмец! „Нет, ничего, говорит, и чувствительно, дескать, вам, ваше благородие, говорит, благодарен». Разбойник ты этакой!»

Послышался шум... господин Голядкин съежился и прыгнул за печку. Кто-то сошел с лестницы и вышел на улицу. «Кто бы это так отправлялся теперь?» – подумал про себя наш герой. Через минутку послышались опять чьи-то шаги... Тут господин Голядкин не вытерпел и высунул из-за своего бруствера маленький-маленький кончик носу, – высунул и тотчас же осекся назад, словно кто ему булавкой нос уколол. На этот раз проходил известно кто, то есть шельмец, интригант и развратник, – проходил по обыкновению своим подленьким частым шажком, присе-

менивая и выкидывая ножками так, как будто бы собирался кого-то лягнуть. «Подлец!» – проговорил про себя наш герой. Впрочем, господин Голядкин не мог не заметить, что у подлеца под мышкой был огромный зеленый портфель, принадлежавший его превосходительству. «Он это опять по особому», – подумал господин Голядкин, покраснев и съежившись еще более прежнего от досады. Только что господин Голядкин-младший промелькнул мимо господина Голядкина-старшего, совсем не заметив его, как послышались в третий раз чьи-то шаги, и на этот раз господин Голядкин догадался, что шаги были писарские. Действительно, какая-то примазанная писарская фигурка заглянула к нему за печку; фигурка, впрочем, была не Остафьева, а другого писаря, Писаренки по прозванию. Это изумило господина Голядкина. «Зачем же это он других в секрет замешал? – подумал герой наш. – Экие варвары! святого у них ничего не имеется!»

– Ну, что, мой друг? – проговорил он, обращаясь к Писаренке, – ты, мой друг, от кого?..

– Вот-с, по вашему дельцу-с. Ни от кого известий покамест нет никаких-с. А если будут, уведомим-с.

– А Остафьев?..

– Да ему, ваше благородие, никак нельзя-с. Его превосходительство уже два раза проходили по отделению, да и мне теперь некогда.

– Спасибо, милый мой, спасибо тебе... Только ты мне скажи...

– Ей-Богу же, некогда-с... Поминутно нас спрашивают-с... А вот вы извольте здесь еще постоять-с, так если будет что-нибудь относительно вашего дельца-с, так мы вас уведомим-с...

– Нет, ты, мой друг, ты скажи...

– Позвольте-с; мне некогда-с, – говорил Писаренко, порываясь от ухватившего его за полу господина Голядкина, – право, нельзя-с. Вы извольте здесь еще постоять-с, так мы и уведомим.

– Сейчас, сейчас, друг мой! сейчас, милый друг! Вот что теперь: вот письмо, мой друг; а я тебя поблагодарю, милый мой.

– Слушаюсь-с.

– Постарайся отдать, милый мой, господину Голядкину.

– Голядкину?

– Да, мой друг, господину Голядкину.

– Хорошо-с; вот как уберусь, так снесу-с. А вы здесь стойте покамест. Здесь никто не увидит...

– Нет, я, мой друг, ты не думай... я ведь здесь стою не для того, чтоб кто-нибудь не видел меня. А я, мой друг, теперь буду не здесь... буду вот здесь в переулочке. Кофейная есть здесь одна; так я там буду ждать, а ты, если случится что, и уведомляй меня обо всем, понимаешь?

– Хорошо-с. Пустите только; я понимаю...

– А я тебя поблагодарю, милый мой! – кричал господин Голядкин вслед освободившемуся наконец Писаренке... «Шельмец, кажется, грубее стал после, – подумал герой наш, украдкой выходя из-за печки. – Тут еще есть крючок. Это ясно... Сначала был и того, и сего... Впрочем, он и действительно торопился; может быть, дела там много. И его превосходительство два раза ходили по отделению... По какому бы это случаю было?.. Ух! да ну, ничего! оно, впрочем, и ничего, может быть, а вот мы теперь и посмотрим...»

Тут господин Голядкин отворил было дверь и хотел уже выйти на улицу, как вдруг, в это самое мгновение, у крыльца загремела карета его превосходительства. Не успел господин Голядкин опомниться, как отворились изнутри дверцы кареты и сидевший в ней господин выпрыгнул на крыльцо. Приехавший был не кто иной, как тот же господин Голядкин-младший, минут десять тому назад отлучившийся. Господин Голядкин-старший вспомнил, что квартира директора была в двух шагах. «Это он по особому», – подумал наш герой про себя. Между тем господин Голядкин-младший, захватив из кареты толстый зеленый портфёль и еще какие-то бумаги, приказав наконец что-то кучеру, отворил дверь, почти толкнув ею господина Голядкина-старшего, и, нарочно не заметив его и, следовательно, действуя таким образом ему в пику, пустился скоробежкой вверх по департаментской лестнице. «Плохо! – подумал господин Голядкин, – эх, дельце-то наше чего прихватило теперь! Ишь его, Господи Бог мой!» С полминутки еще простоял наш герой неподвижно; наконец он решился. Долго не думая, чувствуя, впрочем, сильное трепетание сердца и дрожь во всех членах, побежал он вслед за приятелем своим вверх по лестнице. «А! была не была; что же мне-то такое? я сторона в этом деле», – думал он, снимая шляпу, шинель и калоши в передней.

Когда господин Голядкин вошел в свое отделение, были уже полные сумерки. Ни Андрея Филипповича, ни Антона Антоновича не было в комнате. Оба они находились в директорском кабинете с докладами; директор же, как по слухам известно было, в свою очередь спешил к его высокопревосходительству. Вследствие таковых обстоятельств, да еще потому, что и сумерки сюда подметались и кончалось время присутствия, некоторые из чиновников, преимущественно же молодежь, в ту самую минуту, когда вошел наш герой, занимались некоторого рода бездействием, сходились, разговаривали, толковали, смеялись, и даже кое-кто из самых юнейших, то есть из самых бесчиновных чиновников, втихомолочку и под общий шумок составили орлянку в углу, у окошка. Зная приличие и чувствуя в настоящее время какую-то особенную надобность приобресть и «найти», господин Голядкин немедленно подошел кой к кому, с кем ладил получше, чтоб пожелать доброго дня и т. д. Но как-то странно ответили сослуживцы на приветствие господина Голядкина. Неприятно был он поражен какою-то всеобщею холодностью, сухостью, даже, можно сказать, какою-то строгостью приема. Руки ему не дал никто. Иные просто сказали «здравствуйте» и прочь отошли; другие лишь головою кивнули, кое-кто просто отвернулся и показал, что ничего не заметил; наконец, некоторые, – и что было всего обиднее господину Голядкину, некоторые из самой бесчиновной молодежи, ребята, которые, как справедливо выразился о них господин Голядкин, умеют лишь в орлянку поиграть при случае да где-нибудь потаскаться, – мало-помалу окружили господина Голядкина, сгруппировались около него и почти заперли ему выход. Все они смотрели на него с каким-то оскорбительным любопытством.

Знак был дурной. Господин Голядкин чувствовал это и благоразумно приготовился с своей стороны ничего не заметить. Вдруг одно совершенно неожиданное обстоятельство совсем, как говорится, доконало и уничтожило господина Голядкина.

В кучке молодых окружавших его сослуживцев вдруг, и, словно нарочно, в самую тоскливую минуту для господина Голядкина, появился господин Голядкин-младший, веселый но-всегдашнему, с улыбочкой по-всегдашнему, вертлявый тоже но-всегдашнему, одним словом: шалун, прыгун, лизун, хохотун, легок на язычок и на ножку, как и всегда, как прежде, точно так, как и вчера, например, в одну весьма непри-

ятную минутку для господина Голядкина-старшего. Осклабившись, вертясь, семеня, с улыбочкой, которая так и говорила всем «доброго вечера», втерся он в кучку чиновников, тому пожал руку, этого по плечу потрепал, третьего обнял слегка, четвертому объяснил, по какому именно случаю был его превосходительством употреблен, куда ездил, что сделал, что с собою привез; пятого, и, вероятно, своего лучшего друга, чмокнул в самые губки, – одним словом, всё происходило точь-в-точь как во сне господина Голядкина-старшего. Напрыгавшись досыта, покончив со всяким по-своему, обделав их всех в свою пользу, нужно ль, не нужно ли было, нализавшись всласть с ними со всеми, господин Голядкин-младший вдруг, и, вероятно, ошибкой, еще не успев заметить до сих пор своего старейшего друга, протянул руку и господину Голядкину-старшему. Вероятно, тоже ошибкой, хотя, впрочем, и успев совершенно заметить неблагородного господина Голядкина-младшего, тотчас же жадно схватил наш герой простертую ему так неожиданно руку и пожал ее самым крепким, самым дружеским образом, пожал ее с каким-то странным, совсем неожиданным внутренним движением, с каким-то слезящимся чувством. Был ли обманут герой наш первым движением неблагопристойного врага своего, или так, не нашелся, или почувствовал и сознал в глубине души своей всю степень своей беззащитности, – трудно сказать. Факт тот, что господин Голядкин-старший, в здравом виде, по собственной воле своей и при свидетелях, торжественно пожал руку того, кого называл смертельным врагом своим. Но каково же было изумление, исступление и бешенство, каков же был ужас и стыд господина Голядкина-старшего, когда неприятель и смертельный враг его, неблагородный господин Голядкин-младший, заметив ошибку свою, тут же, в собственных же глазах преследуемого, невинного и вероломно обманутого им человека, без всякого стыда, без чувств, без сострадания и совести, вдруг с нестерпимым нахальством и с грубостию вырвал свою руку из руки господина Голядкина-старшего; мало того, – стряхнул свою руку, как будто замарал ее через то в чем-то совсем нехорошем; мало того, – плюнул на сторону, сопровождая всё это самым оскорбительным жестом; мало того, – вынул платок свой и тут же, самым бесчиннейшим образом, вытер им все пальцы свои, побывавшие на минутку в руке господина Голядкина-старшего. Действуя

таким образом, господин Голядкин-младший, по подленькому обыкновению своему, нарочно осматривался кругом, делал так, чтоб все видели его поведение, заглядывал всем в глаза и очевидно старался о внушении всем всего самого неблагоприятного относительно господина Голядкина. Казалось, что поведение отвратительного господина Голядкина-младшего возбудило всеобщее негодование окружавших чиновников; даже ветреная молодежь показала свое неудовольствие. Кругом поднялся ропот и говор. Всеобщее движение не могло миновать ушей господина Голядкина-старшего; но вдруг кстати подоспевшая шуточка, накипевшая, между прочим, в устах господина Голядкина-младшего, разбила, уничтожила последние надежды героя нашего и наклонила баланс опять в пользу смертельного и бесполезного врага его.

– Это наш русский Фоблаз, господа; позвольте вам рекомендовать молодого Фоблаза, – запищал господин Голядкин-младший, с свойственною ему наглостью семеня и вьюня меж чиновниками и указывая им на оцепеневшего и вместе с тем исступленного настоящего господина Голядкина. «Поцелуемся, душка!» – продолжал он с нестерпимою фамильярностию, подвигаясь к предательски оскорбленному им человеку. Шуточка бесполезного господина Голядкина-младшего, кажется, нашла отголосок, где следовало, тем более что в ней заключался коварный намек на одно обстоятельство, по-видимому уже гласное и известное всем. Герой наш тяжко почувствовал руку врагов на плечах своих. Впрочем, он уже решился. С пылающим взором, с бледным лицом, с неподвижной улыбкой выбрался он кое-как из толпы и неровными, учащенными шагами направил свой путь прямо к кабинету его превосходительства. В предпоследней комнате встретился с ним только что выходивший от его превосходительства Андрей Филиппович, и хотя тут же в комнате было порядочно всяких других, совершенно посторонних в настоящую минуту для господина Голядкина лиц, но герой наш и внимания не хотел обратить на подобное обстоятельство. Прямо, решительно, смело, почти сам себе удивляясь и внутренно себя за смелость похваливая, абордировал он, не теряя времени, Андрея Филипповича, порядочно изумленного таким нечаянным нападением.

– А!., что вы... что вам угодно? – спросил начальник отделения, не слушая запнувшегося на чем-то господина Голядкина.

– Андрей Филиппович, я... могу ли я, Андрей Филиппович, иметь теперь, тотчас же и глаз на глаз, разговор с его превосходительством? – речисто и отчетливо проговорил наш герой, устремив самый решительный взгляд на Андрея Филипповича.

– Что-с? конечно нет-с. – Андрей Филиппович с ног до головы обмерил взглядом своим господина Голядкина.

– Я, Андрей Филиппович, всё это к тому говорю, что удивляюсь, как никто здесь не обличит самозванца и подлеца.

– Что-о-с?

– Подлеца, Андрей Филиппович.

– О ком же это угодно таким образом относиться?

– Об известном лице, Андрей Филиппович. Я, Андрей Филиппович, на известное лицо намекаю; я в своем праве... Я думаю, Андрей Филиппович, что начальство должно было бы поощрять подобные движения, – прибавил господин Голядкин, очевидно не помня себя, – Андрей Филиппович... вы, вероятно, сами видите, Андрей Филиппович, что это благородное движение и всяческую мою благонамеренность означает, – принять начальника за отца, Андрей Филиппович, принимаю, дескать, благодетельное начальство за отца и слепо вверяю судьбу свою. Так и так, дескать... вот как... – Тут голос господина Голядкина задрожал, лицо его раскраснелось, и две слезы набежали на обеих ресницах его.

Андрей Филиппович, слушая господина Голядкина, до того удивился, что как-то невольно отшатнулся шага на два назад. Потом с беспокойством осмотрелся кругом... Трудно сказать, чем бы кончилось дело... Но вдруг дверь из кабинета его превосходительства отворилась, и он сам вышел, в сопровождении некоторых чиновников. За ним потянулись все, кто ни был в комнате. Его превосходительство подозвал Андрея Филипповича и пошел с ним рядом, заведя разговор о каких-то делах. Когда все тронулись и пошли вон из комнаты, опомнился и господин Голядкин. Присмирев, приютился он под крылышко Антона Антоновича Сеточкина, который сзади всех ковылял в свою очередь и, как показалось господину Голядкину, с самым строгим и озабоченным видом. «Проврался я и тут, нагадил и тут, – подумал он про себя, – да ну, ничего».

– Надеюсь, что по крайней мере вы, Антон Антонович, согласитесь прослушать меня и вникнуть в мои обстоятельства, – проговорил он

тихо и еще немного дрожащим от волнения голосом. – Отверженный всеми, обращаюсь я к вам. Недоумеваю до сих пор, что значили слова Андрея Филипповича, Антон Антонович. Объясните мне их, если можно...

– Своевременно всё объяснится-с, – строго и с расстановкою отвечал Антон Антонович и, как показалось господину Голядкину, с таким видом, который ясно давал знать, что Антон Антонович вовсе не желает продолжать разговора. – Узнаете в скором времени всё-с. Сегодня же форменно обо всем известитесь.

– Что же такое форменно, Антон Антонович? почему же так именно форменно-с? – робко спросил наш герой.

– Не нам с вами рассуждать, Яков Петрович, как начальство решает.

– Почему же начальство, Антон Антонович, – проговорил господин Голядкин, оробев еще более, – почему же начальство? Я не вижу причины, почему же тут нужно беспокоить начальство, Антон Антонович... Вы, может быть, что-нибудь относительно вчерашнего хотите сказать, Антон Антонович?

– Да нет-с, не вчерашнее-с; тут кое-что другое хромает-с у вас.

– Что же хромает, Антон Антонович? мне кажется, Антон Антонович, что у меня ничего не хромает.

– А хитрить-то с кем собирались? – резко пересек Антон Антонович совершенно оторопевшего господина Голядкина. Господин Голядкин вздрогнул и побледнел как платок.

– Конечно, Антон Антонович, – проговорил он едва слышным голосом, – если внимать голосу клеветы и слушать врагов наших, не приняв оправдания с другой стороны, то, конечно... конечно, Антон Антонович, тогда можно и пострадать, Антон Антонович, безвинно и ни за что пострадать.

– То-то-с; а неблагопристойный поступок ваш во вред репутации благородной девицы того добродетельного, почтенного и известного семейства, которое вам благодетельствовало?

– Какой же это поступок, Антон Антонович?

– То-то-с. А относительно другой девицы, хотя бедной, но зато честного иностранного происхождения, похвального поступка своего тоже не знаете-с?

– Позвольте, Антон Антонович... благоволите, Антон Антонович, выслушать...

– А вероломный поступок ваш и клевета на другое лицо – обвинение другого лица в том, в чем сами грешка прихватили? а? это как называется?

– Я, Антон Антонович, не выгонял его, – проговорил, затрепетав, наш герой, – и Петрушку, то есть человека моего, подобному ничему не учил-с... Он ел мой хлеб, Антон Антонович; он пользовался гостеприимством моим, – прибавил выразительно и с глубоким чувством герой наш, так что подбородок его запрыгал немножко и слезы готовы были опять навернуться.

– Это вы, Яков Петрович, только так говорите, что он хлеб-то ваш ел, – отвечал, осклабляясь, Антон Антонович, и в голосе его было слышно лукавство, так что по сердцу скребнуло у господина Голядкина.

– Позвольте еще вас, Антон Антонович, нижайше спросить: известны ли обо всем этом деле его превосходительство?

– Как же-с! Впрочем, вы теперь пустите меня-с. Мне с вами тут некогда... Сегодня же обо всем узнаете, что вам следует знать-с.

– Позвольте, ради Бога, еще на минутку, Антон Антонович...

– После расскажете-с...

– Нет-с, Антон Антонович; я-с, видите-с, прислушайте только, Антон Антонович... Я совсем не вольнодумство, Антон Антонович, я бегу вольнодумства; я совершенно готов с своей стороны и даже пропускал ту идею...

– Хорошо-с, хорошо-с. Я уж слышал-с...

– Нет-с, этого вы не слыхали, Антон Антонович. Это другое, Антон Антонович, это хорошо, право хорошо, и приятно слышать... Я пропускал, как выше объяснил, ту идею, Антон Антонович, что вот промысл Божий создал двух совершенно подобных, а благодетельное начальство, видя промысл Божий, приютили двух близнецов-с. Это хорошо, Антон Антонович. Вы видите, что это очень хорошо, Антон Антонович, и что я далек вольнодумства. Принимаю благодетельное начальство за отца. Так и так, дескать, благодетельное начальство, а вы того... дескать... молодому человеку нужно служить... Поддержите меня, Антон Антонович, заступитесь за меня, Антон Антонович... Я ничего-с... Антон Антонович, ради Бога, еще одно словечко... Антон Антонович...

Но уже Антон Антонович был далеко от господина Голядкина... Герой же наш не знал, где стоял, что слышал, что делал, что с ним сделалось и что еще будут делать с ним, – так смутило его и потрясло всё им слышанное и всё с ним случившееся.

Умоляющим взором отыскивал он в толпе чиновников Антона Антоновича, чтоб еще более оправдаться в глазах его и сказать ему что-нибудь крайне благонамеренное и весьма благородное и приятное относительно себя самого... Впрочем, мало-помалу, новый свет начинал пробиваться сквозь смущение господина Голядкина, новый, ужасный свет, озаривший перед ним вдруг, разом, целую перспективу совершенно неведомых доселе и даже нисколько не подозреваемых обстоятельств... В эту минуту кто-то толкнул совершенно сбившегося героя нашего под бок. Он оглянулся. Перед ним стоял Писаренко.

– Письмо-с, ваше благородие.

– А!., ты уже сходил, милый мой?

– Нет, это еще утром в десять часов сюда принесли-с. Сергей Михеев, сторож, принес-с с квартиры губернского секретаря Вахрамеева.

– Хорошо, мой друг, хорошо, а я тебя поблагодарю, милый мой.

Сказав это, господин Голядкин спрятал письмо в боковой карман своего вицмундира и застегнул его на все пуговицы; потом осмотрелся кругом и, к удивлению своему, заметил, что уже находится в сенях департаментских, в кучке чиновников, столпившихся к выходу, ибо кончилось присутствие. Господин Голядкин не только не замечал до сих пор этого последнего обстоятельства, но даже не заметил и не помнил того, каким образом он вдруг очутился в шинели, в калошах и держал свою шляпу в руках. Все чиновники стояли неподвижно и в почтительном ожидании. Дело в том, что его превосходительство остановился в низу лестницы, в ожидании своего почему-то замешкавшегося экипажа, и вел весьма интересный разговор с двумя советниками и с Андреем Филипповичем. Немного поодаль от двух советников и Андрея Филипповича стоял Антон Антонович Сеточкин и кое-кто из других чиновников, которые весьма улыбались, видя, что его превосходительство изволит шутить и смеяться. Столпившиеся на верху лестницы чиновники тоже улыбались и ждали, покамест его превосходительство опять засмеются. Не улыбался лишь только один Федосеич, толстопузый швейцар, державшийся у ручки

дверей, вытянувшийся в струнку и с нетерпением ожидавший порции своего обыденного удовольствия, состоявшего в том, чтоб разом, одним взмахом руки, широко откинуть одну половинку дверей и потом, согнувшись в дугу, почтительно пропустить мимо себя его превосходительство. Но всех более, по-видимому, был рад и чувствовал удовольствие недостойный и неблагородный враг господина Голядкина. Он в это мгновение даже позабыл всех чиновников, даже оставил вьюнить и семенить между ними, по своему подленькому обыкновению, даже позабыл, пользуясь случаем, подлизаться к кому-нибудь в это мгновение. Он обратился весь в слух и зрение, как-то странно съежился, вероятно чтоб удобнее слушать, не спуская глаз с его превосходительства, и изредка только подергивало его руки, ноги и голову какими-то едва заметными судорогами, обличавшими все внутренние, сокровенные движения души его.

«Ишь его разбирает! – подумал герой наш, – фаворитом смотрит, мошенник! Желал бы я знать, чем он именно берет в обществе высокого тона? Ни ума, ни характера, ни образования, ни чувства; везет шельмецу! Господи Боже! ведь как это скоро может пойти человек, как подумаешь, и „найти» во всех людях! И пойдет человек, клятву даю, что пойдет далеко, шельмец, доберется, – везет шельмецу! Желал бы я еще узнать, что именно такое он всем им нашептывает? Какие тайны у него со всем этим народом заводятся и про какие секреты они говорят? Господи Боже! Как бы мне этак, того... и с ними бы тоже немножко... дескать, так и так, попросить его разве... дескать, так и так, а я больше не буду; дескать, я виноват, а молодому человеку, ваше превосходительство, нужно служить в наше время; обстоятельством же темным моим я отнюдь не смущаюсь, – вот оно как! протестовать там каким-нибудь образом тоже не буду, и всё с терпением и смирением снесу, – вот как! Вот разве так поступить?.. Да, впрочем, его не проймешь, шельмеца, никаким словом не пробьешь; резону-то ему в гвоздить нельзя в забубённую голову... А впрочем, попробуем. Случится, что в добрый час попаду, так вот и попробовать...»

В беспокойстве своем, в тоске и смущении, чувствуя, что так оставаться нельзя, что наступает минута решительная, что нужно же с кем-нибудь объясниться, герой наш стал было понемножку подвигаться к тому месту, где стоял недостойный и загадочный приятель его; но в самое это время

у подъезда загремел давно ожидаемый экипаж его превосходительства. Федосеич рванул дверь и, согнувшись в три дуги, пропустил его превосходительство мимо себя. Все ожидавшие разом хлынули к выходу и оттеснили на мгновение господина Голядкина-старшего от господина Голядкина-младшего. «Не уйдешь!» – говорил наш герой, прорываясь сквозь толпу и не спуская глаз с кого следовало. Наконец толпа раздалась. Герой наш почувствовал себя на свободе и ринулся в погоню за своим неприятелем.

ГЛАВА XI

Дух занимался в груди господина Голядкина; словно на крыльях летел он вслед за своим быстро удалявшимся неприятелем. Чувствовал он в себе присутствие страшной энергии. Впрочем, несмотря на присутствие страшной энергии, господин Голядкин мог смело надеяться, что в настоящую минуту даже простой комар, если бы только он мог в такое время жить в Петербурге, весьма бы удобно перешиб его крылом своим. Чувствовал он еще, что опал и ослаб совершенно, что несет его какою-то совершенно особенною и постороннею силою, что он вовсе не сам идет, что, напротив, его ноги подкашиваются и служить отказываются. Впрочем, это всё могло бы устроиться к лучшему. «К лучшему – не к лучшему, – думал господин Голядкин, почти задыхаясь от скорого бега, – но что дело проиграно, так в том теперь и сомнения малейшего нет; что пропал я совсем, так уж это известно, определено, решено и подписано». Несмотря на всё это, герой наш словно из мертвых воскрес, словно баталию выдержал, словно победу схватил, когда пришлось ему уцепиться за шинель своего неприятеля, уже заносившего одну ногу на дрожки куда-то только что сговоренного им ваньки. «Милостивый государь! милостивый государь! – закричал он наконец настигнутому им неблагородному господину Голядкину-младшему. – Милостивый государь, я надеюсь, что вы...»

– Нет, вы уж, пожалуйста, ничего не надейтесь, – уклончиво отвечал бесчувственный неприятель господина Голядкина, стоя одною ногою на одной ступеньке дрожек, а другою изо всех сил порываясь попасть на другую сторону экипажа, тщетно махая ею по воздуху, стараясь сохра-

нить экилибр и вместе с тем стараясь всеми силами отцепить шинель свою от господина Голядкина-старшего, за которую тот, с своей стороны, уцепился всеми данными ему природою средствами.

– Яков Петрович! только десять минут...

– Извините, мне некогда-с.

– Согласитесь сами, Яков Петрович... пожалуйста, Яков Петрович... ради Бога, Яков Петрович... так и так – объясниться... на смелую ногу... Секундочку, Яков Петрович!..

– Голубчик мой, некогда, – отвечал с неучтивою фамильярностью, но под видом душевной доброты, ложно благородный неприятель господина Голядкина, – в другое время, поверьте, от полноты души и от чистого сердца; но теперь – вот, право ж, нельзя.

«Подлец!» – подумал герой наш.

– Яков Петрович! – закричал он тоскливо, – я вашим врагом никогда не бывал. Злые же люди несправедливо меня описали... С своей стороны я готов... Яков Петрович, угодно, мы с вами, Яков Петрович, вот тотчас зайдем?.. И там, от чистого сердца, как справедливо сказали вы тотчас, и языком прямым, благородным... вот в эту кофейную: тогда всё само собой объяснится, – вот как, Яков Петрович! Тогда непременно всё само собой объяснится...

– В кофейную? хорошо-с. Я не прочь, зайдем в кофейную, с одним только условием, радость моя, с единым условием, – что там всё само собой объяснится. Дескать, так и так, душка, – проговорил господин Голядкин-младший, слезая с дрожек и бесстыдно потрепав героя нашего по плечу, – дружище ты этакой; для тебя, Яков Петрович, я готов переулочком (как справедливо в оно время вы, Яков Петрович, заметить изволили). Ведь вот плут, право, что захочет, то и делает с человеком! – продолжал ложный друг господина Голядкина, с легкой улыбочкой вертясь и увиваясь около него.

Отдаленная от больших улиц кофейная, куда вошли оба господина Голядкина, была в эту минуту совершенно пуста. Довольно толстая немка появилась у прилавка, едва только заслышался звон колокольчика. Господин Голядкин и недостойный неприятель его прошли во вторую комнату, где одутловатый и остриженный под гребенку мальчишка возился с вязанкою щепок около печки, силясь возобновить в ней пога-

савший огонь. По требованию господина Голядкина-младшего подан был шоколад.

– А пресдобная бабенка, – проговорил господин Голядкин-младший, плутовски мигнув господину Голядкину-старшему.

Герой наш покраснел и смолчал.

– А, да, позабыл, извините. Знаю ваш вкус. Мы, сударь, лакомы до тоненьких немочек; мы, дескать, душа ты правдивая, Яков Петрович, лакомы с тобою до тоненьких, хотя, впрочем, и не лишенных еще приятности немочек; квартиры у них нанимаем, их нравственность соблазняем, за бир-суп да мильх-суп наше сердце им посвящаем да разные подписки даем, – вот что мы делаем, Фоблаз ты такой, предатель ты этакой!

Всё это проговорил господин Голядкин-младший, делая таким образом совершенно бесполезный, хотя, впрочем, и злодейски хитрый намек на известную особу женского пола, увиваясь около господина Голядкина, улыбаясь ему под видом любезности, ложно показывая таким образом радушие к нему и радость при встрече с ним. Замечая же, что господин Голядкин-старший вовсе не так глуп и вовсе не до того лишен образованности и манер хорошего тона, чтоб сразу поверить ему, неблагородный человек решился переменить свою тактику и повести дела на открытую ногу. Тут же, проговорив свою гнусность, фальшивый господин Голядкин заключил тем, что с возмущающим душу бесстыдством и фамильярностью потрепал солидного господина Голядкина по плечу и, не удовольствовавшись этим, пустился заигрывать с ним совершенно неприличным в обществе хорошего тона образом, именно вознамерился повторить свою прежнюю гнусность, то есть, несмотря на сопротивление и легкие крики возмущенного господина Голядкина-старшего, ущипнуть его за щеку. При виде такого разврата герой наш вскипел и смолчал... до времени, впрочем.

– Это речь врагов моих, – ответил он наконец, благоразумно сдерживая себя, трепещущим голосом. В то же самое время герой наш с беспокойством оглянулся на дверь. Дело в том, что господин Голядкин-младший был, по-видимому, в превосходном расположении духа и в готовности пуститься на разные шуточки, непозволительные в общественном месте и, вообще говоря, не допускаемые законами света, и преимущественно в обществе высокого тона.

– А, ну, в таком случае, как хотите, – серьезно возразил господин Голядкин-младший на мысль господина Голядкина-старшего, поставив свою опустелую чашку, выпитую им с неприличною жадностью, на стол. – Ну-с, мне с вами долго нечего, впрочем... Ну-с, каково-то вы теперь поживаете, Яков Петрович?

– Одно только могу сказать я вам, Яков Петрович, – хладнокровно и с достоинством отвечал наш герой, – врагом вашим я никогда не бывал.

– Гм... ну, а Петрушка? как бишь! Петрушка ведь, кажется? – ну, да! что, каков? хорошо? по-прежнему?

– И он тоже по-прежнему, Яков Петрович, – отвечал немного изумленный господин Голядкин-старший. – Я не знаю, Яков Петрович... с моей стороны... с благородной, с откровенной стороны, Яков Петрович, согласитесь сами, Яков Петрович...

– Да-с. Но вы сами знаете, Яков Петрович, – отвечал тихим и выразительным голосом господин Голядкин-младший, фальшиво изображая собою таким образом грустного, полного раскаяния и сожаления достойного человека, – сами вы знаете, время наше тяжелое... Я на вас пошлюсь, Яков Петрович; человек вы умный и справедливо рассудите, – включил господин Голядкин-младший, подло льстя господину Голядкину-старшему. – Жизнь не игрушка, сами вы знаете, Яков Петрович, – многозначительно заключил господин Голядкин-младший, прикидываясь таким образом умным и ученым человеком, который может рассуждать о высоких предметах.

– С своей стороны, Яков Петрович, – с одушевлением отвечал наш герой, – с своей стороны, презирая окольным путем и говоря смело и откровенно, говоря языком прямым, благородным и поставив всё дело на благородную доску, скажу вам, могу открыто и благородно утверждать, Яков Петрович, что я чист совершенно и что, сами вы знаете, Яков Петрович, обоюдное заблуждение, – всё может быть, – суд света, мнение раболепной толпы... Я говорю откровенно, Яков Петрович, всё может быть. Еще скажу, Яков Петрович, если так судить, если с благородной и высокой точки зрения на дело смотреть, то смело скажу, без ложного стыда скажу, Яков Петрович, мне даже приятно будет открыть, что я заблуждался, мне даже приятно будет сознаться в том. Сами вы знаете, вы человек умный, а сверх того благородный. Без стыда, без лож-

ного стыда готов в этом сознаться... – с достоинством и благородством заключил наш герой.

– Рок, судьба! Яков Петрович... но оставим всё это, – со вздохом проговорил господин Голядкин-младший. – Употребим лучше краткие минуты нашей встречи на более полезный и приятный разговор, как следует между двумя сослуживцами... Право, мне как-то не удавалось с вами двух слов сказать во всё это время... В этом не я виноват, Яков Петрович...

– И не я, – с жаром перебил наш герой, – и не я! Сердце мое говорит мне, Яков Петрович, что не я виноват во всем этом. Будем обвинять судьбу во всем этом, Яков Петрович, – прибавил господин Голядкин-старший совершенно примирительным тоном. Голос его начинал мало-помалу слабеть и дрожать.

– Ну, что? как вообще ваше здоровье? – произнес заблудшийся сладким голосом.

– Немного покашливаю, – отвечал еще слаще герой наш.

– Берегитесь. Теперь всё такие поветрия, немудрено схватить жабу, и я, признаюсь вам, начинаю уже кутаться во фланель.

– Действительно, Яков Петрович, немудрено схватить жабу-с... Яков Петрович! – произнес после кроткого молчания герой наш. – Яков Петрович! я вижу, что я заблуждался... Я с умилением вспоминаю о тех счастливых минутах, которые удалось нам провести вместе под бедным, но, смею сказать, радушным кровом моим...

– В письме вашем вы, впрочем, не то написали, – отчасти с укоризною проговорил совершенно справедливый (впрочем, единственно только в этом отношении совершенно справедливый) господин Голядкин-младший.

– Яков Петрович! я заблуждался... Ясно вижу теперь, что заблуждался и в этом несчастном письме моем. Яков Петрович, мне совестно смотреть на вас, Яков Петрович, вы не поверите... Дайте мне это письмо, чтоб разорвать его, в ваших же глазах, Яков Петрович, или если уж этого никак невозможно, то умоляю вас читать его наоборот, – совсем наоборот, то есть нарочно с намерением дружеским, давая обратный смысл всем словам письма моего. Я заблуждался. Простите меня, Яков Петрович, я совсем... я горестно заблуждался, Яков Петрович.

– Вы говорите? – довольно рассеянно и равнодушно спросил вероломный друг господина Голядкина-старшего.

– Я говорю, что я совсем заблуждался, Яков Петрович, и что с моей стороны я совершенно без ложного стыда...

– А, ну, хорошо! Это очень хорошо, что вы заблуждались, – грубо отвечал господин Голядкин-младший.

– У меня, Яков Петрович, даже идея была, – прибавил благородным образом откровенный герой наш, совершенно не замечая ужасного вероломства своего ложного друга, – у меня даже идея была, что, дескать, вот, создались два совершенно подобные...

– А! это ваша идея!..

Тут известный своею бесполезностью господин Голядкин-младший встал и схватился за шляпу. Всё еще не замечая обмана, встал и господин Голядкин-старший, простодушно и благородно и улыбаясь своему лжеприятелю, стараясь, в невинности своей, его приласкать, ободрить и завязать с ним таким образом новую дружбу...

– Прощайте, ваше превосходительство! – вскрикнул вдруг господин Голядкин-младший. Герой наш вздрогнул, заметив в лице врага своего что-то даже вакхическое, – и, единственно чтоб только отвязаться, сунул в простертую ему руку безнравственного два пальца своей руки; но тут... тут бесстыдство господина Голядкина-младшего превзошло все ступени. Схватив два пальца руки господина Голядкина-старшего и сначала пожав их, недостойный тут же, в глазах же господина Голядкина, решился повторить свою утреннюю бесстыдную шутку. Мера человеческого терпения была истощена...

Он уже прятал платок, которым обтер свои пальцы, в карман, когда господин Голядкин-старший опомнился и ринулся вслед за ним в соседнюю комнату, куда, по скверной привычке своей, тотчас же поспешил улизнуть непримиримый враг его. Как будто ни в одном глазу, он стоял себе у прилавка, ел пирожки и преспокойно, как добродетельный человек, любезничал с немкой-кондитершей. «При дамах нельзя», – подумал герой наш и подошел тоже к прилавку, не помня себя от волнения.

– А ведь действительно бабенка-то недурна! Как вы думаете? – снова начал свои неприличные выходки господин Голядкин-младший, вероятно рассчитывая на бесконечное терпение господина Голядкина. Толстая же

немка, с своей стороны, смотрела на обоих своих посетителей оловянно-бессмысленными глазами, очевидно не понимая русского языка и приветливо улыбаясь. Герой наш вспыхнул как огонь от слов не знающего стыда господина Голядкина-младшего и, не в силах владеть собою, бросился наконец на него с очевидным намерением растерзать его и повершить с ним таким образом окончательно; но господин Голядкин-младший, по подлому обыкновению своему, уже был далеко: он дал тягу, он уже был на крыльце. Само собой разумеется, что после первого мгновенного столбняка, естественно нашедшего на господина Голядкина-старшего, он опомнился и бросился со всех ног за обидчиком, который уже садился на поджидавшего его и, очевидно, во всем согласившегося с ним ваньку. Но в это самое мгновенье толстая немка, видя бегство двух посетителей, взвизгнула и позвонила что было силы в свой колокольчик. Герой наш почти на лету обернулся назад, бросил ей деньги за себя и за незаплатившего бесстыдного человека, не требуя сдачи, и, несмотря на то что промешкал, все-таки успел, хотя и опять на лету только, подхватить своего неприятеля. Уцепившись за крыло дрожек всеми данными ему природою средствами, герой наш несся некоторое время по улице, карабкаясь на экипаж, отстаиваемый из всех сил господином Голядкиным-младшим. Извозчик между тем и кнутом, и вожжой, и ногой, и словами понукал свою разбитую клячу, которая совсем неожиданно понеслась вскачь, закусив удила и лягаясь, но скверной привычке своей, задними ногами на каждом третьем шагу. Наконец наш герой успел-таки взмоститься на дрожки, лицом к своему неприятелю, спиной упираясь в извозчика, коленками в коленки бесстыдного, а правой рукой своей всеми средствами вцепившись в весьма скверный меховой воротник шинели развратного и ожесточеннейшего своего неприятеля...

Враги неслись и некоторое время молчали. Герой наш едва переводил дух; дорога была прескверная, и он подскакивал на каждом шагу с опасностию сломить себе шею. Сверх того, ожесточенный неприятель его всё еще не соглашался признать себя побежденным и старался спихнуть в грязь своего противника. К довершению всех неприятностей погода была ужаснейшая. Снег валил хлопьями и всячески старался, с своей стороны, каким-нибудь образом залезть под распахнувшуюся шинель настоящего господина Голядкина. Кругом было мутно и не видно ни зги.

Трудно было отличить, куда и по каким улицам несутся они... Господину Голядкину показалось, что сбывается с ним что-то знакомое. Одно мгновение он старался припомнить, не предчувствовал ли он чего-нибудь вчера... во сне например... Наконец тоска его доросла до последней степени своей агонии. Налегши на беспощадного противника своего, он начал было кричать. Но крик его замирал у него на губах... Была минута, когда господин Голядкин всё позабыл и решил, что всё это совсем ничего, и что это так только, как-нибудь, необъяснимым образом делается, и протестовать по этому случаю было бы лишним и совершенно потерянным делом... Но вдруг, и почти в то самое мгновение, как герой наш заключал это всё, какой-то неосторожный толчок переменил весь смысл дела. Господин Голядкин, как куль муки, свалился с дрожек и покатился куда-то, совершенно справедливо сознаваясь в минуту падения, что действительно и весьма некстати погорячился. Вскочив наконец, он увидел, что куда-то приехали; дрожки стояли среди чьего-то двора, и герой наш с первого взгляда заметил, что это двор того самого дома, в котором квартирует Олсуфий Иванович. В то же самое мгновение заметил он, что приятель его пробирается уже на крыльцо и, вероятно, к Олсуфью Ивановичу. В неописанной тоске своей бросился было он догонять своего неприятеля, но, к счастию своему, благоразумно одумался вовремя. Не забыв расплатиться с извозчиком, бросился господин Голядкин на улицу и побежал что есть мочи куда глаза глядят. Снег валил по-прежнему хлопьями, по-прежнему было мутно, мокро и темно. Герой наш не шел, а летел, опрокидывая всех на дороге, – мужиков, и баб, и детей, и сам в свою очередь отскакивая от баб, мужиков и детей. Кругом и вслед ему слышался пугливый говор, визг, крик... Но господин Голядкин, казалось, был без памяти и внимания ни на что не хотел обратить... Опомнился он, впрочем, уже у Семеновского моста, да и то по тому только случаю, что успел как-то неловко задеть и опрокинуть двух баб с их каким-то походным товаром, а вместе с тем и сам повалиться. «Это ничего, – подумал господин Голядкин, – всё это еще весьма может устроиться к лучшему», – и тут же полез в свой карман, желая отделаться рублем серебра за просыпанные пряники, яблоки, горох и разные разности. Вдруг новым светом озарило господина Голядкина; в кармане ощупал он письмо, переданное ему поутру писарем. Вспомнив, между прочим, что есть у него недалеко знакомый трактир, забежал он

в трактир, не медля ни минуты пристроился к столику, освещенному сальною свечкою, и, не обращая ни на что внимания, не слушая полового, явившегося за приказаниями, сломал печать и начал читать нижеследующее, окончательно его поразившее:

«Благородный, за меня страдающий
и навеки милый сердцу моему человек!

Я страдаю, я погибаю, – спаси меня! Клеветник, интригант и известный бесполезностью своего направления человек опутал меня сетями своими, и я погибла! Я пала! Но он мне противен, а ты!.. Нас разлучали, мои письма к тебе перехватывали – и всё это сделал безнравственный, воспользовавшись одним своим лучшим качеством, – сходством с тобою. Во всяком же случае можно быть дурным собою, но пленять умом, сильным чувством и приятными манерами... Я погибаю! Меня отдают насильно, и всего более интригует здесь родитель, благодетель мой и статский советник Олсуфий Иванович, вероятно желая занять мое место и мои отношения в обществе высокого тона... Но я решилась и протестую всеми данными мне природою средствами. Жди меня с каретой своей сегодня, ровно в девять часов, у окон квартиры Олсуфия Ивановича. У нас опять бал и будет красивый поручик. Я выйду, и мы полетим. К тому же есть и другие служебные места, где еще можно приносить пользу отечеству. Во всяком случае вспомни, мой друг, что невинность сильна уже своею невинностью. Прощай. Жди с каретой у подъезда. Брошусь под защиту объятий твоих ровно в два часа пополуночи.

Твоя до гроба

Клара Олсуфьевна».

Прочтя письмо, герой наш остался на несколько минут как бы пораженный. В страшной тоске, в страшном волнении, бледный как платок, с письмом в руках, прошелся он несколько раз по комнате; к довершению бедствия своего положения, герой наш не заметил, что был в настоящую минуту предметом исключительного внимания всех находившихся в комнате. Вероятно, беспорядок костюма его, несдерживаемое волнение, ходьба или, лучше сказать, беготня, жестикуляция обеими руками, может быть, несколько загадочных слов, сказанных на ветер и в забывчивости, –

вероятно, всё это весьма плохо зарекомендовало господина Голядкина в мнении всех посетителей; и даже сам половой начинал поглядывать на него подозрительно. Очнувшись, герой наш заметил, что стоит посреди комнаты и почти неприличным, невежливым образом смотрит на одного весьма почтенной наружности старичка, который, пообедав и помолясь перед образом Богу, уселся опять и, с своей стороны, тоже не сводил глаз с господина Голядкина. Смутно оглянулся кругом наш герой и заметил, что все, решительно все смотрят на него с видом самым зловещим и подозрительным. Вдруг один отставной военный, с красным воротником, громко потребовал «Полицейские ведомости». Господин Голядкин вздрогнул и покраснел: как-то нечаянно опустил он глаза в землю и увидел, что был в таком неприличном костюме, в котором и у себя дома ему быть нельзя, не только в общественном месте. Сапоги, панталоны и весь левый бок его были совершенно в грязи, штрипка на правой ноге оторвана, а фрак даже разорван во многих местах. В неистощимой тоске своей подошел наш герой к столу, за которым читал, и увидел, что к нему подходит трактирным служитель с каким-то странным и дерзко-настоятельным выражением в лице. Потерявшись и опав совершенно, герой наш начал рассматривать стол, за которым стоял теперь. На столе стояли неубранные тарелки после чьего-то обеда, лежала замаранная салфетка и валялись только что бывшие в употреблении нож, вилка и ложка. «Кто ж это обедал? – подумал герой наш. – Неужели я? А всё может быть! Пообедал, да так и не заметил себе; как же мне быть?» Подняв глаза, господин Голядкин увидел опять подле себя полового, который собирался ему что-то сказать.

– Сколько с меня, братец? – спросил наш герой трепещущим голосом.

Громкий смех раздался кругом господина Голядкина; сам половой усмехнулся. Господин Голядкин понял, что и на этом срезался и сделал какую-то страшную глупость. Поняв всё это, он до того сконфузился, что принужден был полезть в карман за платком своим, вероятно чтобы что-нибудь сделать и так не стоять; но, к неописанному своему и всех окружавших его изумлению, вынул вместо платка стклянку с каким-то лекарством, дня четыре тому назад прописанным Крестьяном Ивановичем. «Медикаменты в той же аптеке», – пронеслось в голове господина Голядкина... Вдруг он вздрогнул и чуть не вскрикнул от ужаса. Новый свет

проливался... Темная, красновато-отвратительная жидкость зловещим отсветом блеснула в глаза господину Голядкину... Пузырек выпал у него из рук и тут же разбился. Герой наш вскрикнул и отскочил шага на два назад от пролившейся жидкости... он дрожал всеми членами, и пот пробивался у него на висках и на лбу. «Стало быть, жизнь в опасности!» Между тем в комнате произошло движение, смятение; все окружали господина Голядкина, все говорили господину Голядкину, некоторые даже хватали господина Голядкина. Но герой наш был нем и недвижим, не видя ничего, не слыша ничего, не чувствуя ничего... Наконец, как будто с места сорвавшись, бросился он вон из трактира, растолкал всех и каждого из стремившихся удержать его, почти без чувств упал на первые попавшиеся ему извозчичьи дрожки и полетел на квартиру.

В сенях квартиры своей встретил он Михеева, сторожа департаментского, с казенным пакетом в руках. «Знаю, друг мой, всё знаю, – отвечал слабым, тоскливым голосом изнуренный герой наш, – это официальное...» В пакете действительно было предписание господину Голядкину, за подписью Андрея Филипповича, сдать находившиеся у него на руках дела Ивану Семеновичу. Взяв пакет и дав сторожу гривенник, господин Голядкин пришел в квартиру свою и увидел, что Петрушка готовит и собирает в одну кучу весь свой дрязг и хлам, все свои вещи, очевидно намереваясь оставить господина Голядкина и переехать от него к переманившей его Каролине Ивановне, чтоб заменить ей Евстафия.

ГЛАВА XII

Петрушка вошел, покачиваясь, держась как-то странно-небрежно и с какой-то холопски-торжественной миной в лице. Видно было, что он что-то задумал, чувствовал себя вполне в своем праве и смотрел совершенно посторонним человеком, то есть чьим-то другим служителем, но только никак не прежним служителем господина Голядкина.

– Ну, вот видишь, мой милый, – начал, задыхаясь, герой наш, – который теперь час, милый мой?

Петрушка молча отправился за перегородку, потом воротился и довольно независимым тоном объявил, что уж скоро половина восьмого.

– Ну, хорошо, мой милый, хорошо. Ну, видишь, мой милый… позволь тебе сказать, милый мой, что между нами, кажется, теперь кончено всё.

Петрушка молчал.

– Ну, теперь, как уж всё между нами кончилось, скажи ты мне теперь откровенно, как другу скажи, где ты был, братец?

– Где был? Между добрых людей-с.

– Знаю, мой друг, знаю. Я тобою был постоянно доволен, мой милый, и аттестат тебе дам… Ну, что же ты у них теперь?

– Что же, сударь! сами изволите знать-с. Известно-с, добрый человек худому тебя не научит.

– Знаю, мой милый, знаю. Нынче добрые люди редки, мой друг; цени их, мой друг. Ну, как же они?

– Известно-с, как-с… Только я у вас, сударь, больше служить теперь не могу-с; сами изволите знать-с.

– Знаю, милый мой, знаю; твою ревность и усердие знаю; я видел всё это, друг мой, я замечал. Я, мой друг, тебя уважаю. Я доброго и честного человека, будь он и лакей, уважаю.

– Что ж, известно-с! Наш брат, конечно, сами изволите знать-с, где лучше. Уж так оно-с. Что мне! Известно, сударь, что уж без доброго человека нельзя-с.

– Ну, хорошо, братец, хорошо; я это чувствую… Ну, вот твои деньги и вот твой аттестат. Теперь поцелуемся, братец, простимся с тобою…

– Ну, теперь, милый мой, я у тебя попрошу одной услуги, последней услуги, – сказал господин Голядкин торжественным тоном. – Видишь ли, милый мой, всякое бывает. Горе, друг мой, кроется и в позлащенных палатах, и от него никуда не уйдешь. Ты знаешь, мой друг, я, кажется, с тобою всегда ласков был…

Петрушка молчал.

– Я, кажется, с тобой всегда ласков был, милый мой… Ну, сколько у нас теперь белья, милый мой?

– Да всё налицо-с. Рубашек холстинковых шесть-с; карпеток три пары; четыре манишки-с; фуфайка фланелевая; из нижнего платья две штуки-с. Сами знаете, всё-с. Я, сударь, вашего ничего-с… Я, сударь, барское добро берегу-с. Я вами, сударь, того-с… известно-с… а греха какого за мной – никогда, сударь; уж это сами знаете, сударь…

– Верю, друг мой, верю. Я не про то, мой друг, не про то; видишь ли, вот что, мой друг...

– Известно, сударь-с; уж это мы знаем-с. Я вот когда еще у генерала Столбнякова служил-с, так отпускали меня, уезжали сами в Саратов... вотчина там у них...

– Нет, мой друг, не про то; я ничего... ты не думай чего, милый друг мой...

– Известно-с. Что уж нашего брата-с, сами изволите знать-с, долго ли поклепать человека-с. А мною были довольны везде-с. Были министры, генералы, сенаторы, графы-с. Бывал у всех-с, у князя Свинчаткина-с, у Переборкина, полковника-с, у Недобарова, генерала, тоже ходили-с, в вотчину ездили к нашим-с. Известно-с...

– Да, мой друг, да; хорошо, мой друг, хорошо. Вот и я теперь, мой друг, уезжаю... Путь всякому разный лежит, милый мой, и неизвестно, на какую дорогу каждый человек попасть может. Ну, мой друг, дай же ты мне одеться теперь; да, ты вицмундир мой тоже положишь... брюки другие, простыни, одеяла, подушки...

– В узел прикажете всё завязать-с?

– Да, мой друг, да; пожалуй, и в узел... Кто знает, что может с нами случиться. Ну, теперь, милый мой, сходишь и приищешь карету...

– Карету-с?..

– Да, мой друг, карету, просторнее и на известное время. А ты, мой друг, не думай чего-нибудь...

– А далеко уезжать хотите-с?

– Не знаю, мой друг, этого тоже не знаю. Перину тоже, я думаю, туда же положить нужно будет. Как ты сам думаешь, друг мой? я на тебя полагаюсь, мой милый...

– Нешто сейчас изволите уезжать-с?

– Да, мой друг, да! Обстоятельство вышло такое... вот оно как, милый мой, вот оно как...

– Известно, сударь; вот у нас в полку с поручиком то же самое было-с; там у помещика-с... увезли-с...

– Увез?.. Как! милый мой, ты...

– Да-с, увезли-с и в другой усадьбе венчались. Всё было заране готово-с. Погоня была-с; князь тут только-с вступились, покойник-с, – ну, и уладили дело-с...

– Венчались, да... ты как же, мой милый? ты-то каким же образом, милый мой, знаешь?

– Да уж известно-с, что-с! Слухом земля, сударь, полнится. Знаем, сударь, мы всё-с... конечно, с кем же греха не бывало. Только я вам скажу теперь, сударь, позвольте мне попросту, сударь, по-холопски сказать; уж коль теперь на то пошло, так уж я вам скажу, сударь: есть у вас враг, – суперника вы, сударь, имеете, сильный суперник, вот-с...

– Знаю, мой друг, знаю; сам ты, милый мой, знаешь... Ну, так вот я на тебя полагаюсь. Как же нам теперь делать, мой друг? как ты мне посоветуешь?

– А вот, сударь, если вы так теперь, таким, примерно сказать, манером пошли, сударь, так вот вам понадобится там что покупать-с, – ну, там простыни, подушки, перину-другую-с, двуспальную-с, одеяло хорошее-с, – так вот здесь у соседки-с, внизу-с: мещанка, сударь, она; лисий салоп есть хороший; так можно его посмотреть и купить, можно сейчас сходить посмотреть-с. Оно же вам надобно, сударь, теперь-с; хороший салоп-с, атласом крытый-с, на лисьем меху-с...

– Ну, хорошо, мой друг, хорошо; я согласен, мой друг, я на тебя полагаюсь, вполне полагаюсь; пожалуй, хоть и салоп, милый мой... Только поскорей, поскорей! ради Бога, поскорей! Я и салон куплю, только, пожалуйста, поскорей! Скоро восемь часов, скорей, ради Бога, мой друг! поторопись, поскорее, мой друг!..

Петрушка бросил недовязанный узел белья, подушек, одеяла, простынь и всякого дрязгу, что стал было вместе сбирать и увязывать, и стремглав бросился вон из комнаты. Господин Голядкин между тем схватился еще раз за письмо – но читать его он не мог. Схватив в обе руки свою победную голову, он в изумлении прислонился к стене. Думать ни о чем он не мог, делать что-нибудь тоже не мог; он и сам не знал, что с ним делается. Наконец, видя, что время проходит, а ни Петрушки, ни салопа еще не являлось, господин Голядкин решился пойти сам. Растворив дверь в сени, он услышал внизу шум, говор, спор и толки... Несколько соседок болтали, кричали, судили, рядили о чем-то, – уж это господин Голядкин знал, о чем именно. Слышался голос Петрушки; потом послышались чьи-то шаги. «Боже ты мой! Они сюда весь свет созовут!» – простонал господин Голядкин, ломая руки в отчаянии и бросаясь назад в свою

комнату. Прибежав в свою комнату, он упал, почти не помня себя, на диван, лицом в подушку. С минутку полежав таким образом, он вскочил и, не дожидаясь Петрушки, надел свои калоши, шляпу, шинель, захватил свой бумажник и побежал стремглав с лестницы. «Ничего не нужно, ничего, милый мой! я сам, я всё сам. Тебя покамест не нужно, а между тем дело, может быть, и уладится к лучшему», – пробормотал господин Голядкин Петрушке, встретив его на лестнице; потом выбежал на двор и вон из дому; сердце его замирало; он еще не решался... Как ему быть, что ему делать, как ему в настоящем и критическом случае поступить...

– Ведь вот: как поступить, Господи Бог мой? И нужно же было быть всему этому! – вскричал он наконец в отчаянии, куда глаза глядят, наудачу ковыляя по улице, – нужно же было быть всему этому! Ведь вот не будь этого, вот именно этого, так всё бы уладилось; разом, одним ударом, одним ловким, энергическим, твердым ударом уладилось бы. Палец даю на отсечение, что уладилось бы! И даже знаю, каким именно образом уладилось бы. Оно бы вот как всё сделалось: я бы тут и того – дескать, так и так, а мне, сударь мой, с позволения сказать, ни туда ни сюда; дескать, дела так не делаются; дескать, сударь вы мой, милостивый мой государь, дела так не делаются и самозванством у нас не возьмешь; самозванец, сударь вы мой, человек того – бесполезный и пользы отечеству не приносящий. Понимаете ли вы это? Дескать, понимаете ли вы это, милостивый мой государь?! Вот бы как оно и того... Да нет, впрочем, что же... оно вовсе ведь не того, совсем не того... Я-то что вру, дурак дураком! я-то, самоубийца я этакой! Оно, дескать, самоубийца ты этакой, совсем не того... Вот, однако, развращенный ты человек, вот оно как теперь делается!.. Ну, куда я денусь теперь? ну, что я, например, буду делать теперь над собой? ну, куда я гожусь теперь? ну, куда ты, примером сказать, годишься теперь, Голядкин ты этакой, недостойный ты этакой! Ну, что теперь? карету брать нужно; возьми, дескать, да подай ей карету сюда; дескать, ножки замочим, если кареты не будет... И вот, кто бы подумать мог? Ай да барышня, ай сударыня вы моя! ай да благонравного поведения девица! ай да хваленая наша. Отличились, сударыня, нечего сказать, отличились!.. А это всё происходит от безнравственности воспитания; а я, как теперь порассмотрел да пораскусил это всё, так и вижу, что это не от иного чего происходит, как от безнравственности. Чем бы смолоду ее того... да и розгой подчас,

а они ее конфектами, а они ее сластями разными пичкают, и сам старикашка нюнит над ней: дескать, ты такая моя да сякая моя, ты хорошая, дескать, за графа отдам тебя!.. А вот она и вышла у них и показала нам теперь свои карты; дескать, вот у нас игра какова! чем бы дома держать ее смолоду, а они ее в пансион, к мадам француженке, к эмигрантке Фальбала там какой-нибудь; а она там добру всякому учится у эмигрантки-то Фальбала, – вот оно и выходит таким-то всё образом. Дескать, подите, порадуйтесь! Дескать, будьте в карете вот в таком-то часу перед окнами и романс чувствительный по-испански пропойте; жду вас, и знаю, что любите, и убежим с вами вместе, и будем жить в хижине. Да, наконец, оно и нельзя; оно, сударыня вы моя, – если на то уж пошло, – так оно и нельзя, так оно и законами запрещено честную и невинную девицу из родительского дома увозить без согласия родителей! Да, наконец, и зачем, почему и какая тут надобность? Ну, вышла бы там себе за кого следует, за кого судьбой предназначено, так и дело с концом. А я человек служащий; а я место мое могу потерять из-за этого; я, сударыня вы моя, под суд могу попасть из-за этого! вот оно что! коль не знали. Это немка работает. Это от нее, ведьмы, всё происходит, все сыры-боры от нее загораются. Потому что оклеветали человека, потому что выдумали на него сплетню бабью, небылицу в лицах, по совету Андрея Филипповича, оттого и происходит. Иначе почему же Петрушке тут вмешиваться? ему-то тут что? шельмецу-то какая тут надобность? Нет, я не могу, сударыня, никак не могу, ни за что не могу... А вы меня, сударыня, на этот раз уж как-нибудь там извините. Это от вас, сударыня, всё происходит, это не от немки всё происходит, вовсе не от ведьмы, а чисто от вас, потому что ведьма добрая женщина, потому что ведьма не виновата ни в чем, а вы, сударыня вы моя, виноваты, – вот оно как! Вы, сударыня, вы меня в напраслину вводите... Тут человек пропадает, тут сам от себя человек исчезает и самого себя не может сдержать, – какая тут свадьба! И как это кончится всё? и как это теперь устроится? Дорого бы я дал, чтоб узнать это всё!..

Так рассуждал в отчаянии своем наш герой. Очнувшись вдруг, заметил он, что где-то стоит на Литейной. Погода была ужасная: была оттепель, валил снег, шел дождь, – ну точь-в-точь как в то незабвенное время, когда, в страшный полночный час, начались все несчастия господина Голядкина. «Какой тут вояж! – думал господин Голядкин, смотря на погоду, –

тут всеобщая смерть... Господи Бог мой! ну где мне, например, здесь карету сыскать? Вон там на углу, кажется, что-то чернеется. Посмотрим, исследуем... Господи Бог мой! – продолжал наш герой, направив слабые и шаткие шаги свои в ту сторону, где увидел что-то похожее на карету. – Нет, я вот как сделаю: отправлюсь, паду к ногам, если можно, униженно буду испрашивать. Дескать, так и так; в ваши руки судьбу свою предаю, в руки начальства; дескать, ваше превосходительство, защитите и облагодетельствуйте человека; так и так, дескать, вот то-то и то-то, противозаконный поступок; не погубите, принимаю вас за отца, не оставьте... амбицию, честь, имя и фамилию спасите... и от злодея, развращенного человека, спасите... Он другой человек, ваше превосходительство, а я тоже другой человек; он особо, и я тоже сам по себе; право, сам по себе, ваше превосходительство, право, сам по себе; дескать, вот оно как. Дескать, походить на него не могу; перемените, благоволите, велите переменить – и безбожный, самовольный подмен уничтожить... не в пример другим, ваше превосходительство. Принимаю вас за отца; начальство, конечно, благодетельное и попечительное начальство подобные движения должно поощрять... Тут есть даже несколько рыцарского. Дескать, принимаю вас, благодетельное начальство, за отца и вверяю судьбу свою и прекословить не буду, вверяюсь и сам отстраняюсь от дел... дескать, вот оно как!»

– Ну, что, мой милый, извозчик?

– Извозчик...

– Карету, брат, на вечер...

– А далеко ли ехать изволите-с?

– На вечер, на вечер; куда б ни пришлось, милый мой, куда б ни пришлось.

– Нешто за город ехать изволите?

– Да, мой друг, может, и за город. Я еще сам наверно не знаю, мой друг, не могу тебе наверно сказать, милый мой. Оно, видишь ли, милый мой, может быть, всё и уладится к лучшему. Известно, мой друг...

– Да, уж известно, сударь, конечно; дай Бог всякому.

– Да, мой друг, да; благодарю тебя, милый мой; ну, что же ты возьмешь, милый мой?..

– Сейчас изволите ехать-с?

– Да, сейчас, то есть нет, подождешь в одном месте... так, немножко, недолго подождешь, милый мой...

– Да если уж на всё время берете-с, так уж меньше шести целковых, по погоде, нельзя-с...

– Ну, хорошо, мой друг, хорошо; а я тебя поблагодарю, милый мой. Ну, так вот ты меня и повезешь теперь, милый мой.

– Садитесь; позвольте, вот я здесь оправлю маленько; извольте садиться теперь. Куда ехать прикажете?

– К Измайловскому мосту, мой друг.

Извозчик-кучер взгромоздился на козла и тронул было пару тощих кляч, которых насилу оторвал от корыта с сеном, к Измайловскому мосту. Но вдруг господин Голядкин дернул сну рок, остановил карету и попросил умоляющим голосом поворотить назад, не к Измайловскому мосту, а в одну другую улицу. Кучер поворотил в другую улицу, и чрез десять минут новоприобретенный экипаж господина Голядкина остановился перед домом, в котором квартировал его превосходительство. Господин Голядкин вышел из кареты, попросил своего кучера убедительно подождать и сам взбежал с замирающим сердцем вверх, во второй этаж, дернул за снурок, дверь отворилась, и наш герой очутился в передней его превосходительства.

– Его превосходительство дома изволят быть? – спросил господин Голядкин, адресуясь таким образом к отворившему ему человеку.

– А вам чего-с? – спросил лакей, оглядывая с ног до головы господина Голядкина.

– А я, мой друг, того... Голядкин, чиновник, титулярный советник Голядкин. Дескать, так и так, объясниться...

– Обождите; нельзя-с...

– Друг мой, я не могу обождать: мое дело важное, не терпящее отлагательства дело...

– Да вы от кого? Вы с бумагами?..

– Нет, я, мой друг, сам по себе... Доложи, мой друг, дескать, так и так, объясниться. А я тебя поблагодарю, милый мой...

– Нельзя-с. Не велено принимать; у них гости-с. Пожалуйте утром в десять часов-с...

– Доложите же, милый мой; мне нельзя, невозможно мне ждать... Вы, милый мой, за это ответите...

– Да ступай, доложи; что тебе: сапогов жаль, что ли? – проговорил другой лакей, развалившийся на залавке и до сих пор не сказавший ни слова.

– Сапогов топтать! Не велел принимать, знаешь? Ихняя череда по утрам.

– Доложи. Язык, что ли, отвалится?

– Да я-то доложу: язык не отвалится. Не велел: сказано – не велел. Войдите в комнату-то.

Господин Голядкин вошел в первую комнату; на столе стояли часы. Он взглянул: половина девятого. Сердце у него заныло в груди. Он было уже хотел воротиться; но в эту самую минуту долговязый лакей, став на пороге следующей комнаты, громко провозгласил фамилью господина Голядкина. «Эко ведь горло! – подумал в неописанной тоске наш герой... – Ну, сказал бы ты: того... дескать, так и так, покорнейше и смиренно пришел объясниться, – того... благоволите принять... А теперь вот и дело испорчено, вот и всё мое дело на ветер пошло; впрочем... да, ну – ничего...» Рассуждать, впрочем, нечего было. Лакей воротился, сказал «пожалуйте» и ввел господина Голядкина в кабинет.

Когда наш герой вошел, то почувствовал, что как будто ослеп, ибо решительно ничего не видал. Мелькнули, впрочем, две-три фигуры в глазах: «Ну, да это гости», – мелькнуло у господина Голядкина в голове. Наконец наш герой стал ясно отличать звезду на черном фраке его превосходительства, потом, сохраняя постепенность, перешел и к черному фраку, наконец получил способность полного созерцания...

– Что-с? – проговорил знакомый голос над господином Голядкиным.

– Титулярный советник Голядкин, ваше превосходительство.

– Ну?

– Пришел объясниться...

– Как?.. Что?..

– Да уж так. Дескать, так и так, пришел объясниться, ваше превосходительство -с...

– Да вы... да кто вы такой?..

– Го-го-господин Голядкин, ваше превосходительство, титулярный советник.

– Ну, так чего же вам нужно?

– Дескать, так и так, принимаю его за отца; сам отстраняюсь от дел, и от врага защитите, – вот как!

– Что такое?..

– Известно...

– Что известно?

Господин Голядкин молчал; подбородок его начинало понемногу подергивать...

– Ну?

– Я думал, рыцарское, ваше превосходительство... Что здесь, дескать, рыцарское, и начальника за отца принимаю... дескать, так и так, защитите, еле... слезно м...молю, и что такие дви...движения долж...но по... по...поощрять...

Его превосходительство отвернулся. Герой наш несколько мгновений не мог ничего разглядеть своими глазами. Грудь его теснило. Дух занимался. Он не знал, где стоял... Было как-то стыдно и грустно ему. Бог знает, что было после... Очнувшись, герой наш заметил, что его превосходительство говорит с своими гостями и как будто резко и сильно рассуждает с ними о чем-то. Одного из гостей господин Голядкин тотчас узнал. Это был Андрей Филиппович; другого же нет; впрочем, лицо было как будто тоже знакомое, – высокая, плотная фигура, лет пожилых, одаренная весьма густыми бровями и бакенбардами и выразительным, резким взглядом. На шее незнакомца был орден, а во рту сигарка. Незнакомец курил и, не вынимая сигары изо рта, значительно кивал головою, взглядывая по временам на господина Голядкина. Господину Голядкину стало как-то неловко; он отвел свои глаза в сторону и тут же увидел еще одного весьма странного гостя. В дверях, которые герой наш принимал доселе за зеркало, как некогда тоже случилось с ним, появился он, – известно кто, весьма короткий знакомый и друг господина Голядкина. Господин Голядкин-младший действительно находился до сих пор в другой маленькой комнатке и что-то спешно писал; теперь, видно, понадобилось – и он явился, с бумагами под мышкой, подошел к его превосходительству и весьма ловко, в ожидании исключительного к своей особе

внимания, успел втереться в разговор и совет, заняв свое место немного по-за спиной Андрея Филипповича и отчасти маскируясь незнакомцем, курящим сигарку. По-видимому, господин Голядкин-младший принимал крайнее участие в разговоре, который подслушивал теперь благородным образом, кивал головою, семенил ножками, улыбался, поминутно взглядывал на его превосходительство, как будто бы умолял взором, чтоб и ему тоже позволили ввернуть свои полсловечка. «Подлец!» – подумал господин Голядкин и невольно ступил шаг вперед. В это время генерал оборотился и сам довольно нерешительно подошел к господину Голядкину.

– Ну, хорошо, хорошо; ступайте с Богом. Я порассмотрю ваше дело, а вас велю проводить... – Тут генерал взглянул на незнакомца с густыми бакенбардами. Тот, в знак согласия, кивнул головою.

Господин Голядкин чувствовал и понимал ясно, что его принимают за что-то другое, а вовсе не так, как бы следовало. «Так или этак, а объясниться ведь нужно, – подумал он, – так и так, дескать, ваше превосходительство». Тут в недоумении своем опустил он глаза в землю и, к крайнему своему изумлению, увидел на сапогах его превосходительства значительное белое пятно. «Неужели лопнули?» – подумал господин Голядкин. Вскоре, однако ж, господин Голядкин открыл, что сапоги его превосходительства вовсе не лопнули, а только сильно отсвечивали, – феномен, совершенно объяснившийся тем, что сапоги были лакированные и сильно блестели. «Это называется блик, – подумал герой наш, – особенно же сохраняется это название в мастерских художников; в других же местах этот отсвет называется светлым ребром». Тут господин Голядкин поднял глаза и увидел, что пора говорить, потому что дело весьма могло повернуться к худому концу... Герой наш ступил шаг вперед.

– Дескать, так и так, ваше превосходительство, – сказал он, – а самозванством в наш век не возьмешь.

Генерал ничего не отвечал, а сильно позвонил за снурок колокольчика. Герой наш еще ступил шаг вперед.

– Он подлый и развращенный человек, ваше превосходительство, – сказал наш герой, не помня себя, замирая от страха и при всем том смело и решительно указывая на недостойного близнеца своего, семенившего в это мгновение около его превосходительства, – так и так, дескать, а я на известное лицо намекаю.

Последовало всеобщее движение за словами господина Голядкина. Андрей Филиппович и незнакомая фигура закивали своими головами; его превосходительство дергал в нетерпении из всех сил за снурок колокольчика, дозываясь людей. Тут господин Голядкин-младший выступил вперед в свою очередь.

– Ваше превосходительство, – сказал он, – униженно прошу позволения вашего говорить. – В голосе господина Голядкина-младшего было что-то крайне решительное; всё в нем показывало, что он чувствует себя совершенно в праве своем.

– Позвольте спросить вас, – начал он снова, предупреждая усердием своим ответ его превосходительства и обращаясь в этот раз к господину Голядкину, – позвольте спросить вас, в чьем присутствии вы так объясняетесь? перед кем вы стоите, в чьем кабинете находитесь?.. – Господин Голядкин-младший был весь в необыкновенном волнении, весь красный и пылающий от негодования и гнева; даже слезы в его глазах показались.

– Господа Бассаврюковы! – проревел во всё горло лакей, появившись в дверях кабинета. «Хорошая дворянская фамилия, выходцы из Малороссии», – подумал господин Голядкин и тут же почувствовал, что кто-то весьма дружеским образом налег ему одною рукою на спину; потом и другая рука налегла ему на спину; подлый близнец господина Голядкина юлил впереди, показывая дорогу, и герой наш ясно увидел, что его, кажется, направляют к большим дверям кабинета. «Точь-в-точь как у Олсуфия Ивановича», – подумал он и очутился в передней. Оглянувшись, он увидел подле себя двух лакеев его превосходительства и одного близнеца.

– Шинель, шинель, шинель, шинель друга моего! шинель моего лучшего друга! – защебетал развратный человек, вырывая из рук одного человека шинель и набрасывая ее, для подлой и неблагоприятной насмешки, прямо на голову господину Голядкину.

Выбиваясь из-под шинели своей, господин Голядкин-старший ясно услышал смех двух лакеев. Но, не слушая ничего и не внимая ничему постороннему, он уж выходил из передней и очутился на освещенной лестнице. Господин Голядкин-младший – за ним.

– Прощайте, ваше превосходительство! – закричал он вслед господину Голядкину-старшему.

– Подлец! – проговорил вне себя наш герой.

– Ну, и подлец...

– Развратный человек!

– Ну, и развратный человек... – отвечал таким образом достойному господину Голядкину недостойный неприятель его и, по свойственной ему подлости, глядел с высоты лестницы, прямо и не смигнув глазом, в глаза господину Голядкину, как будто прося его продолжать. Герой наш плюнул от негодования и выбежал на крыльцо; он был так убит, что совершенно не помнил, кто и как посадил его в карету. Очнувшись, увидел он, что его везут по Фонтанке. «Стало быть, к Измайловскому мосту? – подумал господин Голядкин... Тут господину Голядкину захотелось еще о чем-то подумать, но нельзя было; а было что-то такое ужасное, чего и объяснить невозможно... – Ну, ничего!» – заключил наш герой и поехал к Измайловскому мосту.

ГЛАВА XIII

...Казалось, что погода хотела перемениться к лучшему. Действительно, мокрый снег, валивший доселе целыми тучами, начал мало-помалу редеть, редеть и наконец почти совсем перестал. Стало видно небо, и на нем там и сям заискрились звездочки. Было только мокро, грязно, сыро и удушливо, особенно для господина Голядкина, который и без того уже едва дух переводил. Вымокшая и отяжелевшая шинель его пронимала все его члены какою-то неприятно теплою сыростью и тяжестью своею подламывала и без того уже сильно ослабевшие ноги его. Какая-то лихорадочная дрожь гуляла острыми и едкими мурашками по всему его телу; изнеможение точило из него холодный болезненный пот, так что господин Голядкин позабыл уже при сем удобном случае повторить с свойственною ему твердостью и решимостью свою любимую фразу, что оно и всё-то авось, может быть, как-нибудь, наверное непременно, возьмет да и уладится к лучшему. «Впрочем, это всё еще ничего покамест», – прибавил крепкий и не унывающий духом герой наш, отирая с лица своего капли холодной воды, струившейся по всем направлениям с полей круглой и до того взмокшей шляпы его, что уже вода не держалась на ней. Прибавив, что это всё еще ничего, герой наш попробовал было присесть

на довольно толстый деревянный обрубок, валявшийся возле кучи дров на дворе Олсуфья Ивановича. Конечно, об испанских серенадах и о шелковых лестницах нечего уже было думать; но об укромном уголке, хотя и не совсем теплом, но зато уютном и скрытном, нужно же было подумать. Сильно соблазнял его, мимоходом сказать, тот самый уголок в сенях квартиры Олсуфья Ивановича, где прежде еще, почти в начале сей правдивой истории, выстоял свои два часа наш герой, между шкафом и старыми ширмами, между всяким домашним и ненужным дрязгом, хламом и рухлядью. Дело в том, что и теперь господин Голядкин стоял и выжидал уже целые два часа на дворе Олсуфья Ивановича. Но относительно укромного и уютного прежнего уголка существовали теперь некоторые неудобства, прежде не существовавшие. Первое неудобство – то, что, вероятно, это место теперь замечено и приняты насчет его некоторые предохранительные меры со времени истории на последнем бале у Олсуфья Ивановича; а во-вторых, должно же было ждать условного знака от Клары Олсуфьевны, потому что непременно должен же был существовать какой-нибудь этакой знак условный. Так всегда делалось, и, «дескать, не нами началось, не нами и кончится». Господин Голядкин тут же кстати мимоходом припомнил какой-то роман, уже давно им прочитанный, где героиня подала условный знак Альфреду совершенно в подобном же обстоятельстве, привязав к окну розовую ленточку. Но розовая ленточка теперь, ночью, и при санкт-петербургском климате, известном своею сыростью и ненадежностию, в дело идти не могла и, одним словом, была совсем невозможна. «Нет, тут не до шелковых лестниц, – подумал герой наш, – а я лучше здесь так себе, укромно и втихомолочку... я лучше вот, например, здесь стану», – и выбрал местечко на дворе, против самых окон, около кучи складенных дров. Конечно, на дворе ходило много посторонних людей, форейторов, кучеров; к тому же стучали колеса и фыркали лошади и т. д.; но все-таки место было удобное: заметят ли, не заметят ли, а теперь по крайней мере выгода та, что дело происходит некоторым образом в тени и господина Голядкина не видит никто; сам же он мог видеть решительно всё. Окна были сильно освещены; был какой-то торжественный съезд у Олсуфья Ивановича. Музыки, впрочем, еще не было слышно. «Стало быть, это не бал, а так, по какому-нибудь другому случаю съехались, – думал, отчасти замирая, герой наш. – Да сегодня ли, впрочем? – про-

неслось в его голове. – Не ошибка ли в числе? Может быть, всё может быть... Оно вот это как может быть всё... Оно еще, может быть, вчера было письмо-то написано, а ко мне не дошло, и потому не дошло, что Петрушка сюда замешался, шельмец он такой! Или завтра написано, то есть, что я... что завтра нужно было всё сделать, то есть с каретой-то ждать...» Тут герой наш похолодел окончательно и полез в свой карман за письмом, чтоб справиться. Но письма, к удивлению его, не оказалось в кармане. «Как же это? – прошептал полумертвый господин Голядкин, – где же это я оставил его? Стало быть, я его потерял? – этого еще недоставало! – простонал он наконец в заключение. – Ну, если оно в недобрые руки теперь попадет? (Да, может, попало уже!) Господи! что из этого воспоследует! Будет такое, что уж... Ах ты, судьба ты моя ненавистная!» Тут господин Голядкин как лист задрожал при мысли, что, может быть, неблагопристойный близнец его, набрасывая ему шинель на голову, имел именно целью похитить письмо, о котором как-нибудь там пронюхал от врагов господина Голядкина. «К тому же он перехватывает, – подумал герой наш, – доказательством же... да что доказательством!..» После первого припадка и столбняка ужаса кровь бросилась в голову господина Голядкина. Со стоном и скрежеща зубами схватил он себя за горячую голову, опустился на свой обрубок и начал думать о чем-то... Но мысли как-то ни о чем не вязались в его голове. Мелькали какие-то лица, припоминались то неясно, то резко какие-то давно забытые происшествия, лезли в голову какие-то мотивы каких-то глупых песен... Тоска, тоска была неестественная! «Боже мой! Боже мой! – подумал, несколько очнувшись, герой наш, подавляя глухое рыдание в груди, – подай мне твердость духа в неистощимой глубине моих бедствий! Что пропал я, исчез совершенно – в этом уж нет никакого сомнения, и это всё в порядке вещей, ибо и быть не может никаким другим образом. Во-первых, я места лишился, непременно лишился, никак не мог не лишиться... Ну, да положим, оно и уладится как-нибудь там. Деньжонок же моих, положим, и достанет на первый раз; там – квартиренку другую какую-нибудь, мебелишки какой-нибудь нужно же... Петрушки же, во-первых, не будет со мной. Я могу и без шельмеца... этак от жильцов; ну, хорошо! И входишь и уходишь, когда мне угодно, да и Петрушка не будет ворчать, что поздно приходишь, – вот оно как; вот почему от жильцов хорошо... Ну, да положим, это всё хорошо;

только как же я всё не про то говорю, вовсе не про то говорю?» Тут мысль о настоящем положении опять озарила память господина Голядкина. Он оглянулся кругом. «Ах ты, Господи Бог мой! Господи Бог мой! да о чем же это я теперь говорю?» – подумал он, растерявшись совсем и хватая себя за свою горячую голову...

– Нешто скоро, сударь, изволите ехать? – произнес голос над господином Голядкиным. Господин Голядкин вздрогнул; но перед ним стоял его извозчик, тоже весь до нитки измокший и продрогший, от нетерпения и от нечего делать вздумавший заглянуть к господину Голядкину за дрова.

– Я, мой друг, ничего... я, мой друг, скоро, очень скоро, а ты подожди...

Извозчик ушел, ворча себе под нос. «Об чем же он это ворчит? – думал сквозь слезы господин Голядкин. – Ведь я его нанял же на вечер, ведь я того... в своем праве теперь... вот оно как! на вечер нанял, так и дело с концом. Хоть и так простоишь, всё равно. Всё в моей воле. Волен ехать и волен не ехать. И что вот здесь за дровами стою, так и это совсем ничего... и не смеешь ничего говорить; дескать, барину хочется за дровами стоять, вот он и стоит за дровами... и чести ничьей не марает, – вот оно как! Вот оно как, сударыня вы моя, если только это вам хочется знать. А в хижине, сударыня вы моя, дескать, так и так, в наш век никто не живет. Оно вот что! А без благонравия в наш промышленный век, сударыня вы моя, не возьмешь, чему сами теперь служите пагубным примером... Дескать, повытчиком нужно служить и в хижине жить, на морском берегу. Во-первых, сударыня вы моя, на морских берегах нет повытчиков, а во-вторых, и достать его нам с вами нельзя, повытчика-то. Ибо, положим, примерно сказать, вот я просьбу подаю, являюсь – дескать, так и так, в повытчики, дескать, того... и от врага защитите... а вам скажут, сударыня, дескать, того... повытчиков много и что вы здесь не у эмигрантки Фальбала, где вы благонравию учились, чему сами служите пагубным примером. Благонравие же, сударыня, значит дома сидеть, отца уважать и не думать о женишках прежде времени. Женишки же, сударыня, в свое время найдутся, – вот оно как! Конечно, разным талантам бесспорно нужно уметь, как-то: на фортепьянах иногда поиграть, по-французски говорить, истории, географии, закону Божию и арифметике, – вот оно как! – а больше не нужно. К тому же и кухня; непременно в область ведения всякой благонравной девицы должна входить кухня! А то что тут?

во-первых, красавица вы моя, милостивая моя государыня, вас не пустят, а пустят за вами погоню, и потом под сюркуп, в монастырь. Тогда что, сударыня вы моя? тогда мне-то что делать прикажете? прикажете мне, сударыня вы моя, следуя некоторым глупым романам, на ближний холм приходить и таять в слезах, смотря на хладные стены вашего заключения, и наконец умереть, следуя привычке некоторых скверных немецких поэтов и романистов, так ли, сударыня? Да, во-первых, позвольте сказать вам по-дружески, что дела так не делаются, а во-вторых, и вас, да и родителей-то ваших посек бы препорядочно за то, что французские-то книжки вам давали читать; ибо французские книжки добру не научат. Там яд... яд тлетворный, сударыня вы моя! Или вы думаете, позвольте спросить вас, или вы думаете, что, дескать, так и так, убежим безнаказанно, да и того... дескать, хижинку вам на берегу моря; да и ворковать начнем и об чувствах разных рассуждать, да так и всю жизнь проведем, в довольстве и счастии; да потом заведется птенец, так мы и того... дескать, так и так, родитель наш и статский советник, Олсуфий Иванович, вот, дескать, птенец завелся, так вы по сему удобному случаю снимите проклятие да благословите чету? Нет, сударыня, и опять-таки дела так не делаются, и первое дело то, что воркования не будет, не извольте надеяться. Нынче муж, сударыня вы моя, господин, и добрая, благовоспитанная жена должна во всем угождать ему. А нежностей, сударыня, нынче не любят, в наш промышленный век; дескать, прошли времена Жан-Жака Руссо. Муж, например, нынче приходит голодный из должности, – дескать, душенька, нет ли чего закусить, водочки выпить, селедочки съесть? так у вас, сударыня, должны быть сейчас наготове и водочка, и селедочка. Муж закусит себе с аппетитом, да на вас и не взглянет, а скажет: поди-тка, дескать, на кухню, котеночек, да присмотри за обедом, да разве-разве в неделю разок поцелует, да и то равнодушно... Вот оно как но-нашему-то, сударыня вы моя! да и то, дескать, равнодушно!.. Вот оно как будет, если так рассуждать, если уж на то пошло, что таким-то вот образом начать на дело смотреть... Да и я-то тут что? меня-то, сударыня, в ваши капризы зачем подмешали? „Дескать, благодетельный, за меня страждущий и всячески милый сердцу моему человек и так далее». Да, во-первых, я, сударыня вы моя, я для вас не гожусь, сами знаете, комплиментам не мастер, дамские там разные раздушенные пустячки говорить не люблю, селадонов

не жалую, да и фигурою, признаться, не взял. Ложного-то хвастовства и стыда вы в нас не найдете, а признаемся вам теперь во всей искренности. Дескать, вот оно как, обладаем лишь прямым и открытым характером да здравым рассудком; интригами не занимаемся. Не интригант, дескать, и этим горжусь, – вот оно как!.. Хожу без маски между добрых людей и, чтоб всё вам сказать...»

Вдруг господин Голядкин вздрогнул. Рыжая и взмокшая окончательно борода его кучера опять глянула к нему за дрова...

– Я сейчас, мой друг; я, мой друг, знаешь, тотчас; я, мой друг, тотчас же, – отвечал господин Голядкин трепещущим и изнывающим голосом.

Кучер почесал в затылке, потом погладил свою бороду, потом шагнул шаг вперед... остановился и недоверчиво взглянул на господина Голядкина.

– Я сейчас, мой друг; я, видишь... мой друг... я немножко, я, видишь, мой друг, только секундочку здесь... видишь, мой друг...

– Нешто совсем не поедете? – сказал наконец кучер, решительно и окончательно приступая к господину Голядкину...

– Нет, мой друг, я сейчас. Я, видишь, мой друг, дожидаюсь...

– Так-с...

– Я, видишь, мой друг... ты из какой деревни, мой милый?

– Мы господские...

– И добрых господ?..

– Нешто...

– Да, мой друг; ты постой здесь, мой друг. Ты, видишь, мой друг, ты давно в Петербурге?

– Да уж год езжу...

– И хорошо тебе, друг мой?

– Нешто.

– Да, мой друг, да. Благодари Провидение, мой друг. Ты, мой друг, доброго человека ищи. Нынче добрые люди стали редки, мой милый; он обмоет, накормит и напоит тебя, милый мой, добрый-то человек... А иногда ты видишь, что и через золото слезы льются, мой друг... видишь плачевный пример; вот оно как, милый мой...

Извозчику как будто стало жалко господина Голядкина.

– Да извольте, я подожду-с. Нешто долго ждать будете-с?

– Нет, мой друг, нет; я уж, знаешь, того... я уж не буду ждать, милый мой. Как ты думаешь, друг мой? Я на тебя полагаюсь. Я уж не буду здесь ждать...

– Нешто совсем не поедете?

– Нет, мой друг; нет, а я тебя поблагодарю, милый мой... вот оно как. Тебе сколько следует, милый мой?

– Да уж за что рядились, сударь, то и пожалуете. Ждал, сударь, долго; уж вы человека не обидите, сударь.

– Ну, вот тебе, милый мой, вот тебе. – Тут господин Голядкин отдал все шесть рублей серебром извозчику и, серьезно решившись не терять более времени, то есть уйти подобру-поздорову, тем более что уже окончательно решено было дело и извозчик отпущен был и, следовательно, ждать более нечего, пустился со двора, вышел за ворота, поворотил налево и без оглядки, задыхаясь и радуясь, пустился бежать. «Оно, может быть, и всё устроится к лучшему, – думал он, – а я вот таким-то образом беды избежал». Действительно, как-то вдруг стало необыкновенно легко в душе господина Голядкина. «Ах, кабы устроилось к лучшему! – подумал герой наш, сам, впрочем, мало себе на слово веря. – Вот я и того... – думал он. – Нет, я лучше вот как, и с другой стороны... Или лучше вот этак мне сделать?..» Таким-то образом сомневаясь и ища ключа и разрешения сомнений своих, герой наш добежал до Семеновского моста, а добежав до Семеновского моста, благоразумно и окончательно положил воротиться. «Оно и лучше, – подумал он. – Я лучше с другой стороны, то есть вот как. Я буду так – наблюдателем посторонним буду, да и дело с концом; дескать, я наблюдатель, лицо постороннее – и только, а там, что ни случись, – не я виноват. Вот оно как! Вот оно таким-то образом и будет теперь».

Положив воротиться, герой наш действительно воротился, тем более что, по счастливой мысли своей, ставил себя теперь лицом совсем посторонним. «Оно же и лучше: и не отвечаешь ни за что, да и увидишь, что следовало... вот оно как!» То есть расчет был вернейший, да и дело с концом. Успокоившись, забрался он опять под мирную сень своей успокоительной и охранительной кучи дров и внимательно стал смотреть на окна. В этот раз смотреть и дожидаться пришлось ему недолго. Вдруг, во всех окнах

разом, обнаружилось какое-то странное движение, замелькали фигуры, открылись занавесы, целые группы людей толпились в окнах Олсуфия Ивановича, все искали и выглядывали чего-то на дворе. Обеспеченный своею кучею дров, герой наш тоже в свою очередь с любопытством стал следить за всеобщим движением и с участием вытягивать направо и налево свою голову, сколько по крайней мере позволяла ему короткая тень от дровяной кучи, его прикрывавшая. Вдруг он оторопел, вздрогнул и едва не присел на месте от ужаса. Ему показалось, – одним словом, он догадался вполне, – что искали-то не что-нибудь и не кого-нибудь: искали просто его, господина Голядкина. Все смотрят в его сторону, все указывают в его сторону. Бежать было невозможно: увидят... Оторопевший господин Голядкин прижался как можно плотнее к дровам и тут только заметил, что предательская тень изменяла, что прикрывала она не всего его. С величайшим удовольствием согласился бы наш герой пролезть теперь в какую-нибудь мышиную щелочку между дровами, да там и сидеть себе смирно, если б только это было возможно. Но было решительно невозможно. В агонии своей он стал наконец решительно и прямо смотреть на все окна разом; оно же и лучше... И вдруг сгорел со стыда окончательно. Его совершенно заметили, все разом заметили, все манят его руками, все кивают ему головами, все зовут его; вот щелкнуло и отворилось несколько форточек; несколько голосов разом что-то начали кричать ему... «Удивляюсь, как этих девчонок не секут еще с детства», – бормотал про себя наш герой, совсем потерявшись. Вдруг с крыльца сбежал он (известно кто), в одном вицмундире, без шляпы, запыхавшись, юля, семеня и подпрыгивая, вероломно изъявляя ужаснейшую радость о том, что увидел наконец господина Голядкина.

– Яков Петрович, – защебетал известный своей бесполезностью человек, – Яков Петрович, вы здесь? Вы простудитесь. Здесь холодно, Яков Петрович. Пожалуйте в комнату.

– Яков Петрович! Нет-с, я ничего, Яков Петрович, – покорным голосом пробормотал наш герой.

– Нет-с, нельзя, Яков Петрович; просят, покорнейше просят, ждут нас. «Осчастливьте, дескать, и приведите сюда Якова Петровича». Вот как-с.

– Нет, Яков Петрович; я, видите ли, я бы лучше сделал... Мне бы лучше домой пойти, Яков Петрович... – говорил наш герой, горя на мелком огне и замерзая от стыда и ужаса, всё в одно время.

– Ни -ни-ни-ни! – защебетал отвратительный человек. – Ни-нини, ни за что! Идем! – сказал он решительно и потащил к крыльцу господина Голядкина-старшего. Господин Голядкин-старший хотел было вовсе не идти; но так как смотрели все и сопротивляться и упираться было бы глупо, то герой наш пошел, – впрочем, нельзя сказать, чтоб пошел, потому что решительно сам не знал, что с ним делается. Да уж так ничего, заодно!

Прежде нежели герой наш успел кое-как оправиться и опомниться, очутился он в зале. Он был бледен, растрепан, растерзан; мутными глазами окинул он всю толпу, – ужас! Зала, все комнаты – всё, всё было полным-полнехонько. Людей было бездна, дам целая оранжерея; всё это теснилось около господина Голядкина, всё это стремилось к господину Голядкину, всё это выносило на плечах своих господина Голядкина, весьма ясно заметившего, что его упирают в какую-то сторону. «Ведь не к дверям», – пронеслось в голове господина Голядкина. Действительно, упирали его не к дверям, а прямо к покойным креслам Олсуфия Ивановича. Возле кресел с одной стороны стояла Клара Олсуфьевна, бледная, томная, грустная, впрочем пышно убранная. Особенно бросились в глаза господину Голядкину маленькие беленькие цветочки в ее черных волосах, что составляло превосходный эффект. С другой стороны кресел держался Владимир Семенович, в черном фраке, с новым своим орденом в петличке. Господина Голядкина вели под руки, и, как сказано было выше, прямо на Олсуфия Ивановича, – с одной стороны господин Голядкин-младший, принявший на себя вид чрезвычайно благопристойный и благонамеренный, чему наш герой донельзя обрадовался, с другой же стороны руководил его Андрей Филиппович с самой торжественной миной в лице. «Что бы это?» – подумал господин Голядкин. Когда же он увидал, что ведут его к Олсуфию Ивановичу, то его вдруг как будто молнией озарило. Мысль о перехваченном письме мелькнула в голове его... В неистощимой агонии предстал наш герой перед кресла Олсуфия Ивановича. «Как мне теперь? – подумал он про себя. – Разумеется, этак всё на смелую ногу, то есть с откровенностью, не лишенною

благородства; дескать, так и так и так далее». Но чего боялся, но-видимому, герой наш, то и не случилось. Олсуфий Иванович принял, кажется, весьма хорошо господина Голядкина и, хотя не протянул ему руки своей, но по крайней мере, смотря на него, покачал своею седовласою и внушающею всякое уважение головою, – покачал с каким-то торжественно-печальным, но вместе с тем благосклонным видом. Так по крайней мере показалось господину Голядкину. Ему показалось даже, что слеза блеснула в тусклых взорах Олсуфия Ивановича; он поднял глаза и увидел, что и на ресницах Клары Олсуфьевны, тут же стоявшей, тоже как будто блеснула слезинка, – что и в глазах Владимира Семеновича тоже как будто бы было что-то подобное, – что, наконец, ненарушимое и спокойное достоинство Андрея Филипповича тоже стоило общего слезящегося участия, – что, наконец, юноша, когда-то весьма походивший на важного советника, уже горько рыдал, пользуясь настоящей минутой... Или это всё, может быть, только так показалось господину Голядкину, потому что он сам весьма прослезился и ясно слышал, как текли его горячие слезы по его холодным щекам... Голосом, полным рыданий, примиренный с людьми и судьбою и крайне любя в настоящее мгновение не только Олсуфия Ивановича, не только всех гостей, взятых вместе, но даже и зловредного близнеца своего, который теперь, по-видимому, вовсе был не зловредным и даже не близнецом господину Голядкину, но совершенно посторонним и крайне любезным самим по себе человеком, обратился было наш герой к Олсуфию Ивановичу с трогательным излиянием души своей; но от полноты всего, в нем накопившегося, не мог ровно ничего объяснить, а только весьма красноречивым жестом молча указал на свое сердце... Наконец Андрей Филиппович, вероятно желая пощадить чувствительность седовласого старца, отвел господина Голядкина немного в сторону и оставил его, впрочем, кажется, в совершенно независимом положении. Улыбаясь, что-то бормоча себе под нос, немного недоумевая, но во всяком случае почти совершенно примиренный с людьми и судьбою, начал пробираться герой наш куда-то сквозь густую массу гостей. Все ему давали дорогу, все смотрели на него с каким-то странным любопытством и с каким-то необъяснимым, загадочным участием. Герой наш прошел в другую комнату – то же внимание везде; он глухо слышал, как целая толпа теснилась по следам его, как замечали его каждый шаг, как втихо-

молку все между собою толковали о чем-то весьма занимательном, качали головами, говорили, судили, рядили и шептались. Господину Голядкину весьма бы хотелось узнать, о чем они все так судят, и рядят, и шепчутся. Оглянувшись, герой наш заметил подле себя господина Голядкина-младшего. Почувствовав необходимость схватить его руку и отвести его в сторону, господин Голядкин убедительнейше попросил другого Якова Петровича содействовать ему при всех будущих начинаниях и не оставлять его в критическом случае. Господин Голядкин-младший важно кивнул головою и крепко сжал руку господина Голядкина-старшего. Сердце затрепетало от избытка чувств в груди героя нашего. Впрочем, он задыхался, он чувствовал, что его так теснит, теснит; что все эти глаза, на него обращенные, как-то гнетут и давят его... Господин Голядкин увидал мимоходом того советника, который носил парик на голове. Советник глядел на него строгим, испытующим взглядом, вовсе не смягченным от всеобщего участия... Герой наш решился было идти к нему прямо, чтоб улыбнуться ему и немедленно с ним объясниться; но дело как-то не удалось. На одно мгновение господин Голядкин почти забылся совсем, потерял и память, и чувства... Очнувшись, заметил он, что вертится в широком кругу его обступивших гостей. Вдруг из другой комнаты крикнули господина Голядкина; крик разом пронесся по всей толпе. Всё заволновалось, всё зашумело, все ринулись к дверям первой залы; героя нашего почти вынесли на руках, причем твердосердый советник в парике очутился бок о бок с господином Голядкиным. Наконец он взял его за руку и посадил возле себя, напротив седалища Олсуфия Ивановича, в довольно значительном, впрочем, от него расстоянии. Все, кто ни были в комнатах, все уселись в нескольких рядах кругом господина Голядкина и Олсуфия Ивановича. Всё затихло и присмирело, все наблюдали торжественное молчание, все взглядывали на Олсуфия Ивановича, очевидно ожидая чего-то не совсем обыкновенного. Господин Голядкин заметил, что возле кресел Олсуфия Ивановича, и тоже прямо против советника, поместился другой господин Голядкин с Андреем Филипповичем. Молчание длилось; чего-то действительно ожидали. «Точь-в-точь как в семье какой-нибудь, при отъезде кого-нибудь в дальний путь; стоит только встать да помолиться теперь», – подумал герой наш. Вдруг обнаружилось необыкновенное движение и прервало все размышления господина Голядкина. Случилось

что-то давно ожидаемое. «Едет, едет!» – пронеслось по толпе. «Кто это едет?» – пронеслось в голове господина Голядкина, и он вздрогнул от какого-то странного ощущения. «Пора!» – сказал советник, внимательно посмотрев на Андрея Филипповича. Андрей Филиппович, с своей стороны, взглянул на Олсуфия Ивановича. Важно и торжественно кивнул головой Олсуфий Иванович. «Встанем», – проговорил советник, подымая господина Голядкина. Все встали. Тогда советник взял за руку господина Голядкина-старшего, а Андрей Филиппович господина Голядкина-младшего, и оба торжественно свели двух совершенно подобных среди обставшей их кругом и устремившейся в ожидании толпы. Герой наш с недоумением осмотрелся кругом, но его тотчас остановили и указали ему на господина Голядкина-младшего, который протянул ему руку. «Это мирить нас хотят», – подумал герой наш и с умилением протянул свою руку господину Голядкину-младшему; потом, потом протянул к нему свою голову. То же сделал и другой господин Голядкин... Тут господину Голядкину-старшему показалось, что вероломный друг его улыбается, что бегло и плутовски мигнул всей окружавшей их толпе, что есть что-то зловещее в лице неблагопристойного господина Голядкина-младшего, что даже он отпустил гримасу какую-то в минуту иудина своего поцелуя... В голове зазвонило у господина Голядкина, в глазах потемнело; ему показалось, что бездна, целая вереница совершенно подобных Голядкиных с шумом вламываются во все двери комнаты; но было поздно... Звонкий предательский поцелуй раздался, и...

Тут случилось совсем неожиданное обстоятельство... Двери в залу растворились с шумом, и на пороге показался человек, которого один вид оледенил господина Голядкина. Ноги его приросли к земле. Крик замер в его стесненной груди. Впрочем, господин Голядкин знал всё заранее и давно уже предчувствовал что-то подобное. Незнакомец важно и торжественно приближался к господину Голядкину... Господин Голядкин эту фигуру очень хорошо знал. Он ее видел, очень часто видал, еще сегодня видел... Незнакомец был высокий, плотный человек, в черном фраке, с значительным крестом на шее и одаренный густыми, весьма черными бакенбардами; недоставало только сигарки во рту для дальнейшего сходства... Зато взгляд незнакомца, как уже сказано было, оледенил ужасом господина Голядкина. С важной и торжественной миной подошел страшный

человек к плачевному герою повести нашей... Герой наш протянул ему руку; незнакомец взял его руку и потащил за собою... С потерянным, с убитым лицом оглянулся кругом наш герой...

– Это, это Крестьян Иванович Рутеншпиц, доктор медицины и хирургии, ваш давнишний знакомец, Яков Петрович! – защебетал чей-то противный голос под самым ухом господина Голядкина. Он оглянулся: то был отвратительный подлыми качествами души своей близнец господина Голядкина. Неблагопристойная, зловещая радость сияла в лице его; с восторгом он тер свои руки, с восторгом повертывал кругом свою голову, с восторгом семенил кругом всех и каждого; казалось, готов был тут же начать танцевать от восторга; наконец он прыгнул вперед, выхватил свечку у одного из слуг и пошел вперед, освещая дорогу господину Голядкину и Крестьяну Ивановичу. Господин Голядкин слышал ясно, как всё, что ни было в зале, ринулось вслед за ним, как все теснились, давили друг друга и все вместе, в голос, начинали повторять за господином Голядкиным: «что это ничего; что не бойтесь, Яков Петрович, что это ведь старинный друг и знакомец ваш, Крестьян Иванович Рутеншпиц...» Наконец вышли на парадную, ярко освещенную лестницу; на лестнице была тоже куча народа; с шумом растворились двери на крыльцо, и господин Голядкин очутился на крыльце вместе с Крестьяном Ивановичем. У подъезда стояла карета, запряженная четверней лошадей, которые фыркали от нетерпения. Злорадственный господин Голядкин-младший в три прыжка сбежал с лестницы и сам отворил карету. Крестьян Иванович увещательным жестом попросил садиться господина Голядкина. Впрочем, увещательного жеста было вовсе не нужно; было довольно народу подсаживать... Замирая от ужаса, оглянулся господин Голядкин назад: вся ярко освещенная лестница была унизана народом; любопытные глаза глядели на него отвсюду; сам Олсуфий Иванович пред се дал на самой верхней площадке лестницы, в своих покойных креслах, и внимательно, с сильным участием, смотрел на всё совершавшееся. Все ждали. Ропот нетерпения пробежал по толпе, когда господин Голядкин оглянулся назад.

– Я надеюсь, что здесь нет ничего... ничего предосудительного... или могущего возбудить строгость... и внимание всех касательно официальных отношений моих? – проговорил, потерявшись, герой наш. Говор и шум

поднялся кругом; все отрицательно закивали головами своими. Слезы брызнули из глаз господина Голядкина.

– В таком случае, я готов... я вверяюсь вполне... и вручаю судьбу мою Крестьяну Ивановичу...

Только что проговорил господин Голядкин, что он вручает вполне свою судьбу Крестьяну Ивановичу, как страшный, оглушительный, радостный крик вырвался у всех окружавших его и самым зловещим откликом прокатился по всей ожидавшей толпе. Тут Крестьян Иванович с одной стороны, а с другой – Андрей Филиппович взяли под руки господина Голядкина и стали сажать в карету; двойник же, по подленькому обыкновению своему, подсаживал сзади. Несчастный господин Голядкин-старший бросил свой последний взгляд на всех и на всё и, дрожа, как котенок, которого окатили холодной водой, – если позволят сравнение, – влез в карету; за ним тотчас же сел и Крестьян Иванович. Карета захлопнулась; послышался удар кнута по лошадям, лошади рванули экипаж с места... всё ринулось вслед за господином Голядкиным. Пронзительные, неистовые крики всех врагов его покатились ему вслед в виде напутствия. Некоторое время еще мелькали кое-какие лица кругом кареты, уносившей господина Голядкина; но мало-помалу стали отставать-отставать и наконец исчезли совсем. Долее всех оставался неблагопристойный близнец господина Голядкина. Заложа руки в боковые карманы своих зеленых форменных брюк, бежал он с довольным видом, подпрыгивая то с одной, то с другой стороны экипажа; иногда же, схватившись за рамку окна и повиснув на ней, просовывал в окно свою голову и, в знак прощания, посылал господину Голядкину поцелуйчики; но и он стал уставать, всё реже и реже появлялся и наконец исчез совершенно. Глухо занывало сердце в груди господина Голядкина; кровь горячим ключом била ему в голову; ему было душно, ему хотелось расстегнуться, обнажить свою грудь, обсыпать ее снегом и облить холодной водой. Он впал наконец в забытье... Когда же очнулся, то увидел, что лошади несут его по какой-то ему незнакомой дороге. Направо и налево чернелись леса; было глухо и пусто. Вдруг он обмер: два огненные глаза смотрели на него в темноте, и зловещею, адскою радостию блестели эти два глаза. Это не Крестьян Иванович! Кто это? Или это он? Он! Это Крестьян

Иванович, но только не прежний, это другой Крестьян Иванович! Это ужасный Крестьян Иванович!..

– Крестьян Иванович, я... я, кажется, ничего, Крестьян Иванович, – начал было робко и трепеща наш герой, желая хоть сколько-нибудь покорностию и смирением умилосердить ужасного Крестьяна Ивановича.

– Ви получаит казенный квартир, с дровами, с лихт[1] и с прислугой, чего ви недостоин, – строго и ужасно, как приговор, прозвучал ответ Крестьяна Ивановича.

Герой наш вскрикнул и схватил себя за голову. Увы! он это давно уже предчувствовал!

[1] Лихт (*нем.* Licht) – освещение.

ГОСПОДИН ПРОХАРЧИН

РАССКАЗ

В квартире Устиньи Федоровны, в уголке самом темном и скромном, помещался Семен Иванович Прохарчин, человек уже пожилой, благомыслящий и непьющий. Так как господин Прохарчин, при мелком чине своем, получал жалованья в совершенную меру своих служебных способностей, то Устинья Федоровна никаким образом не могла иметь с него более пяти рублей за квартиру помесячно. Говорили иные, что у ней был тут свой особый расчет; но как бы там ни было, а господин Прохарчин, словно в отместку всем своим злоязычникам, попал даже в ее фавориты, разумея это достоинство в значении благородном и честном. Нужно заметить, что Устинья Федоровна, весьма почтенная и дородная женщина, имевшая особенную наклонность к скоромной пище и кофею и через силу перемогавшая посты, держала у себя несколько штук таких постояльцев, которые платили даже и вдвое дороже Семена Ивановича, но, не быв смирными и будучи, напротив того, все до единого «злыми над смешинками» над ее бабьим делом и сиротскою беззащитностью, сильно проигрывали в добром ее мнении, так что не плати они только денег за свои помещения, так она не только жить пустить, но и видеть-то не захо-

тела бы их у себя на квартире. В фавориты же Семен Иванович попал с того самого времени, как свезли на Волково увлеченного пристрастием к крепким напиткам отставного, или, может быть, гораздо лучше будет сказать, одного исключенного человека. Увлеченный и исключенный хотя и ходил с подбитым, по словам его, за храбрость глазом и имел одну ногу, там как-то тоже из-за храбрости сломанную, – но тем не менее умел снискать и воспользоваться всем тем благорасположением, к которому только способна была Устинья Федоровна, и, вероятно, долго бы прожил еще в качестве самого верного ее приспешника и приживальщика, если б не опился наконец самым глубоким, плачевнейшим образом. Случилось же это всё еще на Песках, когда Устинья Федоровна держала всего только трех постояльцев, из которых, при переезде на новую квартиру, где образовалось заведение на более обширную ногу и пригласилось около десятка новых жильцов, уцелел всего только один господин Прохарчин.

Сам ли господин Прохарчин имел свои неотъемлемые недостатки, товарищи ль его обладали таковыми же каждый, – но дела с обеих сторон пошли с самого начала как будто неладно. Заметим здесь, что все до единого из новых жильцов Устиньи Федоровны жили между собою словно братья родные; некоторые из них вместе служили; все вообще поочередно каждое первое число проигрывали друг другу свои жалованья в банчишку, в преферанс и на биксе; любили под веселый час все вместе гурьбой насладиться, как говорилось у них, шипучими мгновениями жизни; любили иногда тоже поговорить о высоком, и хотя в последнем случае дело редко обходилось без спора, но так как предрассудки были из всей этой компании изгнаны, то взаимное согласие в таких случаях не нарушалось нисколько. Из жильцов особенно замечательны были: Марк Иванович, умный и начитанный человек; потом еще Оплеваниев-жилец; потом еще Преполовенко-жилец, тоже скромный и хороший человек; потом еще был один Зиновий Прокофьевич, имевший непременною целью попасть в высшее общество; наконец, писарь Океанов, в свое время едва не отбивший пальму первенства и фаворитства у Семена Ивановича; потом еще другой писарь Судьбин; Кантарев-разночинец; были еще и другие. Но всем этим людям Семен Иванович был как будто не товарищ. Зла ему, конечно, никто не желал, тем более что все еще в самом начале умели отдать Прохарчину справедливость и решили, словами Марка Ива-

новича, что он, Прохарчин, человек хороший и смирный, хотя и не светский, верен, не льстец, имеет, конечно, свои недостатки, но если пострадает когда, то не от чего иного, как от недостатка собственного своего воображения. Мало того: хотя лишенный таким образом собственного своего воображения, господин Прохарчин фигурою своей и манерами не мог, например, никого поразить с особенно выгодной для себя точки зрения (к чему любят придраться насмешники), но и фигура сошла ему с рук, как будто ни в чем не бывала; причем Марк Иванович, будучи умным человеком, принял формально защиту Семена Ивановича и объявил довольно удачно и в прекрасном, цветистом слоге, что Прохарчин человек пожилой и солидный и уже давным-давно оставил за собой свою пору элегий. Итак, если Семен Иванович не умел уживаться с людьми, то единственно потому, что был сам во всем виноват.

Первое, на что обратили внимание, было, без сомнения, скопидомство и скаредность Семена Ивановича. Это тотчас заметили и приняли в счет, ибо Семен Иванович никак, ни за что и никому не мог одолжить своего чайника на подержание, хотя бы то было на самое малое время; и тем более был несправедлив в этом деле, что сам почти совсем не пил чаю, а пил, когда была надобность, какой-то довольно приятный настой из полевых цветов и некоторых целебного свойства трав, всегда в значительном количестве у него запасенный. Впрочем, он и ел тоже совсем не таким образом, как обыкновенно едят всякие другие жильцы. Никогда, например, он не позволял себе съесть всего обеда, предлагаемого каждодневно Устиньей Федоровной его товарищам. Обед стоил полтину; Семен Иванович употреблял только двадцать пять копеек медью и никогда не восходил выше, и потому брал по порциям или одни щи с пирогом, или одну говядину; чаще же всего не ел ни щей, ни говядины, а съедал в меру ситного с луком, с творогом, с огурцом рассольным или с другими приправами, что было несравненно дешевле, и только тогда, когда уже невмочь становилось, обращался опять к своей половине обеда...

Здесь биограф сознается, что он ни за что бы не решился говорить о таких нестоящих, низких и даже щекотливых, скажем более, даже обидных для иного любителя благородного слога подробностях, если б во всех этих подробностях не заключалась одна особенность, одна господствующая черта в характере героя сей повести; ибо господин Прохарчин

далеко не был так скуден, как сам иногда уверял, чтоб даже харчей не иметь постоянных и сытных, но делал противное, не боясь стыда и людских пересудов, собственно для удовлетворения своих странных прихотей, из скопидомства и излишней осторожности, что, впрочем, гораздо яснее будет видно впоследствии. Но мы остережемся наскучить читателю описанием всех прихотей Семена Ивановича и не только пропускаем, например, любопытное и очень смешное для читателя описание всех нарядов его, но даже, если б только не показание самой Устиньи Федоровны, навряд ли упомянули бы мы и о том, что Семен Иванович во всю жизнь свою никак не мог решиться отдать свое белье в стирку или решался, но так редко, что в промежутках можно было совершенно забыть о присутствии белья на Семене Ивановиче. В показании же хозяйкином значилось, что «Семен-от Иванович, млад-голубчик, согрей его душеньку, гноил у ней угол два десятка лет, стыда не имея, ибо не только всё время земного жития своего постоянно и с упорством чуждался носков, платков и других подобных предметов, но даже сама Устинья Федоровна собственными глазами видела, с помощию ветхости ширм, что ему, голубчику, нечем было подчас своего белого тельца прикрыть». Такие толки пошли уже по кончине Семена Ивановича. Но при жизни своей (и здесь-то был один из главнейших пунктов раздора) он никаким образом не мог потерпеть, несмотря даже на самые приятные отношения товарищества, чтоб кто-нибудь, не спросясь, совал свой любопытный нос к нему в угол, хотя бы то было даже и с помощию ветхости ширм. Человек был совсем несговорчивый, молчаливый и на праздную речь неподатливый. Советников не любил никаких, выскочек тоже не жаловал и всегда, бывало, тут же на месте укорит насмешника или советника-выскочку, пристыдит его, и дело с концом. «Ты мальчишка, ты свистун, а не советник, вот как; знай, сударь, свой карман да лучше сосчитай, мальчишка, много ли ниток на твои онучки пошло, вот как!» Семен Иванович был простой человек и всем решительно говорил *ты*. Тоже никак не мог он стерпеть, когда кто-нибудь, зная всегдашний норов его, начнет, бывало, из одного баловства приставать и расспрашивать, что у него лежит в сундучке... У Семена Ивановича был один сундучок. Сундук этот стоял у него под кроватью и оберегаем был как зеница ока; и хотя все знали, что в нем, кроме старых тряпиц, двух или трех пар изъянившихся сапогов и вообще всякого слу-

чившегося хламу и дрязгу, ровно не было ничего, но господин Прохарчин ценил это движимое свое весьма высоко, и даже слышали раз, как он, не довольствуясь своим старым, но довольно крепким замком, поговаривал завести другой, какой-то особенный, немецкой работы, с разными затеями и с потайною пружиною. Когда же один раз Зиновий Прокофьевич, увлеченный своим молодоумием, обнаружил весьма неприличную и грубую мысль, что Семен Иванович, вероятно, таит и откладывает в свой сундук, чтоб оставить потомкам, то все, кто тут ни были около, принуждены были в столбняк стать от необыкновенных последствий выходки Зиновия Прокофьевича. Во-первых, господин Прохарчин на такую обнаженную и грубую мысль даже выражений приличных не мог сразу найти. Долгое время из уст его сыпались слова без всякого смысла, и наконец только разобрали, что Семен Иванович, во-первых, корит Зиновия Прокофьича одним его давнопрошедшим скаредным делом; потом распознали, будто Семен Иванович предсказывает, что Зиновий Прокофьич ни за что не попадет в высшее общество, а что вот портной, которому он должен за платье, его прибьет, непременно прибьет за то, что долго мальчишка не платит, и что, «наконец, ты, мальчишка, – прибавил Семен Иванович, – вишь, там хочешь в гусарские юнкера перейти, так вот не перейдешь, гриб съешь, а что вот тебя, мальчишку, как начальство узнает про всё, возьмут да в писаря отдадут; вот, мол, как, слышь ты, мальчишка!» Потом Семен Иванович успокоился, но, полежав часов пять, к величайшему и всеобщему изумлению, как будто надумался и вдруг опять, сначала один, а потом обращаясь к Зиновию Прокофьичу, начал его вновь укорять и стыдить. Но тем дело опять не кончилось, и повечеру, когда Марк Иванович и Преполовенко-жилец затеяли чай, пригласив к себе в товарищи писаря Океанова, Семен Иванович слез с постели своей, нарочно подсел к ним, дав свои двадцать или пятнадцать копеек, и под видом того, что захотел вдруг пить чаю, начал весьма пространно входить в материю и изъяснять, что бедный человек всего только бедный человек, а более ничего, а что, бедному человеку, ему копить не из чего. Тут господин Прохарчин даже признался, единственно потому, что вот теперь оно к слову пришлось, что он, бедный человек, еще третьего дня у него, дерзкого человека, занять хотел денег рубль, а что теперь не займет, чтоб не хвалился, мальчишка, что вот, мол, как, а жалованье у меня-де

такое, что и корму не купишь; и что, наконец, он, бедный человек, вот такой, как вы его видите, сам каждый месяц своей золовке по пяти рублей в Тверь отсылает, и что не отсылай он в Тверь золовке по пяти рублей в месяц, так умерла бы золовка, а если б умерла бы золовка-нахлебница, то Семен Иванович давно бы себе новую одёжу состроил... И так долго и пространно говорил Семен Иванович о бедном человеке, о рублях и золовке, и повторял одно и то же для сильнейшего внушения слушателям, что наконец сбился совсем, замолчал и только три дня спустя, когда уже никто и не думал его задирать и все об нем позабыли, прибавил в заключение что-то вроде того, что когда Зиновий Прокофьич вступит в гусары, так отрубят ему, дерзкому человеку, ногу в войне и наденут ему вместо ноги деревяшку, и придет Зиновий Прокофьич и скажет: «Дай, добрый человек Семен Иванович, хлебца!» – так не даст Семен Иванович хлебца и не посмотрит на буйного человека Зиновия Прокофьевича, и что вот, дескать, как, мол; поди-ка ты с ним!

Всё это, как и следовало тому быть, показалось весьма любопытным и вместе с тем страх как забавным. Долго не думая, все хозяйкины жильцы соединились для дальнейших исследований и, собственно из одного любопытства, решились наступить на Семена Ивановича гурьбою и окончательно. И так как господин Прохарчин в свое последнее время, то есть с самых тех пор, как стал жить в компании, тоже чрезвычайно как полюбил обо всем узнавать, расспрашивать и любопытствовать, что, вероятно, делал для каких-то собственных тайных причин, то сношения обеих враждебных сторон начинались без всяких предварительных приготовлений и без тщетных усилий, но как будто случаем и сами собою. Для начатия сношений у Семена Ивановича был всегда в запасе свой особый, довольно хитрый, а весьма, впрочем, замысловатый маневр, частию уже известный читателю: слезет, бывало, с постели своей около того времени, как надо пить чай, и, если увидит, что собрались другие где-нибудь в кучку для составления напитка, подойдет к ним как скромный, умный и ласковый человек, даст свои законные двадцать копеек и объявит, что желает участвовать. Тут молодежь перемигивалась и, таким образом согласясь меж собой на Семена Ивановича, начинала разговор сначала приличный и чинный. Потом какой-нибудь повострее пускался, как будто ни в чем не бывал, рассказывать про разные новости, и чаще всего о мате-

риях лживых и совершенно неправдоподобных. То, например, что будто бы слышал кто-то сегодня, как его превосходительство сказали самому Демиду Васильевичу, что, по их мнению, женатые чиновники «выйдут» посолиднее неженатых и к повышению чином удобнее, ибо смирные и в браке значительно более приобретают способностей, и что потому он, то есть рассказчик, чтоб удобнее отличиться и приобрести, стремится как можно скорее сочетаться браком с какой-нибудь Февроньей Прокофьевной. То, например, что будто бы неоднократно замечено про разных иных из их братьи, что лишены они всякой светскости и хороших, приятных манер, а следовательно, и не могут нравиться в обществе дамам, и что потому, для искоренения сего злоупотребления, последует немедленно вычет у получающих жалованье и на складочную сумму устроится такой зал, где будут учить танцевать, приобретать все признаки благородства и хорошее обращение, вежливость, почтение к старшим, сильный характер, доброе, признательное сердце и разные приятные манеры. То, наконец, говорили, что будто бы выходит такое, что некоторые чиновники, начиная с самых древнейших, должны для того, чтоб немедленно сделаться образованными, какой-то экзамен по всем предметам держать и что таким образом, прибавлял рассказчик, многое выйдет на чистую воду и некоторым господам придется положить свои карты на стол, – одним словом, рассказывались тысяча таких или тому подобных пренелепейших толков. Для вида все тотчас верили, принимали участие, расспрашивали, на себя смекали, а некоторые, приняв грустный вид, начинали покачивать головами и советов повсюду искать, как будто в том смысле, что, дескать, что же им будет делать, если их постигнет? Само собой разумеется, что и тот человек, который был бы гораздо менее добродушен и смирен, чем господин Прохарчин, смешался и запутался бы от такого всеобщего толка. Кроме того, по всем признакам можно совершенно безошибочно заключить, что Семен Иванович был чрезвычайно туп и туг на всякую новую, для его разума непривычную мысль и что, получив, например, какую-нибудь новость, всегда принужден был сначала ее как будто переваривать и пережевывать, толку искать, сбиваться и путаться и наконец разве одолевать ее, но и тут каким-то совершенно особенным, ему только одному свойственным образом… Открылись, таким образом, в Семене Ивановиче вдруг разные любопытные и доселе не подозрева-

емые свойства... Пошли пересуды и говор, и всё это как было и с прибавлениями дошло наконец своим путем в канцелярию. Способствовало эффекту и то, что господин Прохарчин вдруг, ни с того ни с сего, быв с незапамятных времен почти всё в одном и том же лице, переменил физиономию: лицо стал иметь беспокойное, взгляды пугливые, робкие и немного подозрительные; стал чутко ходить, вздрагивать и прислушиваться и, к довершению всех новых качеств своих, страх как полюбил отыскивать истину. Любовь к истине довел он наконец до того, что рискнул раза два справиться о вероятности ежедневно десятками получаемых им новостей даже у самого Демида Васильевича, и если мы здесь умалчиваем о последствиях этой выходки Семена Ивановича, то не от чего иного, как от сердечного сострадания к его репутации. Таким образом, нашли, что он мизантроп и пренебрегает приличиями общества. Нашли потом, что много в нем фантастического, и тут тоже совсем не ошиблись, ибо неоднократно замечено было, что Семен Иванович иногда совсем забывается и, сидя на месте с разинутым ртом и с поднятым в воздух пером, как будто застывший или окаменевший, походит более на тень разумного существа, чем на то же разумное существо. Случалось нередко, что какой-нибудь невинно зазевавшийся господин, вдруг встречая его беглый, мутный и чего-то ищущий взгляд, приходил в трепет, робел и немедленно ставил на нужной бумаге или жида, или какое-нибудь совершенно ненужное слово. Неблагопристойность поведения Семена Ивановича смущала и оскорбляла истинно благородных людей... Наконец никто уже более не стал сомневаться в фантастическом направлении головы Семена Ивановича, когда, в одно прекрасное утро, пронесся по всей канцелярии слух, что господин Прохарчин испугал даже самого Демида Васильевича, ибо, встретив его в коридоре, был так чуден и странен, что принудил его отступить... Проступок Семена Ивановича дошел наконец и до него самого. Услышав о нем, он немедленно встал, бережно прошел между столами и стульями, достиг передней, собственноручно снял шинель, надел, вышел – и исчез на неопределенное время. Оробел ли он, влекло ль его что другое – не знаем, но ни дома, ни в канцелярии на время его не нашлось...

Мы не будем объяснять судьбы Семена Ивановича прямо фантастическим его направлением; но, однако ж, не можем не заметить читателю, что

герой наш – человек несветский, совсем смирный и жил до того самого времени, как попал в компанию, в глухом, непроницаемом уединении, отличался тихостию и даже как будто таинственностью; ибо всё время последнего житья своего на Песках лежал на кровати за ширмами, молчал и сношений не держал никаких. Оба старые его сожителя жили совершенно так же, как он: оба были тоже как будто таинственны и тоже пятнадцать лет пролежали за ширмами. В патриархальном затишье тянулись один за другим счастливые, дремотные дни и часы, и так как всё вокруг тоже шло своим добрым чередом и порядком, то ни Семен Иванович, ни Устинья Федоровна уж и не помнили даже хорошенько, когда их и судьба-то свела. «А не то десять лет, не то уж пятнадцать, не то уж и все те же двадцать пять, – говорила она подчас своим новым жильцам, – как он, голубчик, у меня основался, согрей его душеньку», И потому весьма естественно, что пренеприятно был изумлен непривычный к компании герой нашей повести, когда, ровно год тому назад, очутился он, солидный и скромный, вдруг посреди шумливой и беспокойной ватаги целого десятка молодых ребят, своих новых сожителей и товарищей.

Исчезновение Семена Ивановича наделало немалой суматохи в углах. Одно то, что он был фаворит; во-вторых же, паспорт его, бывший под сохранением хозяйки, оказался на ту пору ненароком затерянным. Устинья Федоровна взвыла, – к чему прибегала во всех критических случаях; ровно два дня корила, поносила жильцов; причитала, что загоняли у ней жильца, как цыпленка, и что сгубили его «всё те же злые над смешинки», а на третий выгнала всех искать и добыть беглеца во что бы ни стало, живого иль мертвого. Повечеру пришел первый писарь Судьбин и объявил, что след отыскался, что видел он беглеца на Толкучем и по другим местам, ходил за ним, близко стоял, но говорить не посмел, а был неподалеку от него и на пожаре, когда загорелся дом в Кривом переулке. Полчаса спустя явились Океанов и Кантарев-разночинец, подтвердили Судьбина слово в слово: тоже недалеко стояли, близко, всего только в десяти шагах от него ходили, но говорить опять не посмели, а заметили оба, что ходил Семен Иванович с попрошайкой-пьянчужкой. Собрались наконец и остальные жильцы и, внимательно выслушав, решили, что Прохарчин должен быть теперь недалеко и не замедлит прийти; но что они и прежде все знали, что ходит он с попрошайкой-пьянчужкой. Попрошайка-пьянчужка был

человек совсем скверный, буйный и льстивый, и по всему было видно, что он как-нибудь там обольстил Семена Ивановича. Явился он ровно за неделю до исчезновения Семена Ивановича, вместе с Ремневым-товарищем, приживал малое время в углах, рассказал, что страдает за правду, что прежде служил по уездам, что наехал на них ревизор, что пошатнули как-то за правду его и компанию, что явился он в Петербург и пал в ножки к Порфирию Григорьевичу, что поместили его, по ходатайству, в одну канцелярию, но что, по жесточайшему гонению судьбы, упразднили его и отсюда, затем что уничтожилась сама канцелярия, получив изменение; а в преобразовавшийся новый штат чиновников его не приняли, сколько по прямой неспособности к служебному делу, столько и по причине способности к одному другому, совершенно постороннему делу, – вместе же со всем этим за любовь к правде и, наконец, по козням врагов. Кончив историю, в продолжение которой господин Зимовейкин неоднократно лобызал своего сурового и небритого друга Ремнева, он поочередно поклонился всем бывшим в комнате в ножки, не забыв и Авдотью-работницу, назвал их всех благодетелями и объяснил, что он человек недостойный, назойливый, подлый, буйный и глупый, а чтоб не взыскали добрые люди на его горемычной доле и простоте. Испросив покровительства, господин Зимовейкин оказался весельчаком, стал очень рад, целовал у Устиньи Федоровны ручки, несмотря на скромные уверения ее, что рука у ней подлая, не дворянская, а к вечеру обещал всему обществу показать свой талант в одном замечательном характерном танце. Но назавтра же дело его окончилось плачевной развязкой. Иль оттого, что характерный танец оказался уж слишком характерным, иль оттого, что он Устинью Федоровну, по словам ее, как-то «опозорил и опростоволосил, а ей к тому же сам Ярослав Ильич знаком, и если б захотела она, то давно бы сама была обер-офицерской женой», – только Зимовейкину пришлось уплывать восвояси. Он ушел, опять воротился, был опять с бесчестием изгнан, втерся потом во внимание и милость Семена Ивановича, лишил его мимоходом новых ретуз и наконец явился теперь опять в качестве обольстителя Семена Ивановича.

Лишь только хозяйка узнала, что Семен Иванович был жив и здоров и что паспорта искать теперь нечего, то немедленно оставила горевать и пошла успокоиться. Тем временем кое-кто из жильцов решились сде-

лать торжественный прием беглецу: испортили задвижку и отодвинули ширмы от кровати пропавшего, немножко поизмяли постель, взяли известный сундук, поместили его на кровати в ногах, а на кровать положили золовку, то есть куклу, форму, сделанную из старого хозяйкина платка, чепца и салопа, но только совершенно наподобие золовки, так что можно было совсем обмануться. Кончив работу, стали ждать, с тем чтоб, по прибытии Семена Ивановича, объявить ему, что пришла из уезда золовка и поместилась у него за ширмами, бедная. Но ждали-ждали, ждали-ждали... Уже в ожидании Марк Иванович прометал и проставил полмесячное жалованье Преполовенке и Кантареву-жильцам; уже весь нос покраснел и вспух у Океанова за игрой в носки и в три листика; уже Авдотья-работница почти совсем выспалась и два раза собиралась вставать, дрова таскать, печку топить, и весь до нитки промок Зиновий Прокофьевич, поминутно выбегая во двор наведываться о Семене Ивановиче; но не явилось еще никого – ни Семена Ивановича, ни попрошайки-пьянчужки. Наконец все спать полегли, оставив на всякий случай золовку за ширмами; и только в четыре часа раздался стук у ворот, но зато такой сильный, что совершенно вознаградил ожидавших за все тяжкие труды, ими понесенные. Это был он, он самый, Семен Иванович, господин Прохарчин, но только в таком положении, что все ахнули и никому и в мысль не пришло о золовке. Пропавший явился без памяти. Его ввели или, лучше сказать, внес его на плечах весь измокший и издрогший, оборванный ночной ванька-извозчик. На вопрос хозяйки, где же он так, горемычный, наклюкался, ванька отвечал: «Да не пьян, и маковой не было; это уж тебя заверяю, а, верно, так, омрак нашел, или столбняком, как там ни есть, прихватило, или, може, кондрашка[1] пришиб». Стали рассматривать, для удобства прислонив виноватого к печке, и увидели, что действительно хмелю тут не было, да и кондрашка не трогал, а был другой какой ни есть грех, затем что Семен Иванович и языком не ворочал, а как будто судорогой его какой дергало, и только хлопал глазами, в недоумении установляясь то на того, то на другого ночным образом костюмированного зрителя. Стали потом спрашивать ваньку, отколева взял? «Да от каких-то, – отвечал он, – из Коломны, шут их знает, господа не господа,

[1] Удар (*Прим. автора.*).

а гулявшие, веселые господа; так-таки вот такого и сдали; подрались они, что ли, или судорогой какой его передернуло, Бог знает какого тут было; а господа веселые, хорошие!» Взяли Семена Ивановича, приподняли на пару-другую дюжих плеч и снесли на кровать. Когда же Семен Иванович, помещаясь на постель, ощупал собою золовку и упер ноги в свой заветный сундук, то вскрикнул благим матом, уселся почти на корячки и, весь дрожа и трепеща, загреб и заместил сколько мог руками и телом пространства на своей кровати, тогда как, трепещущим, но странно-решительным взором окидывая присутствующих, казалось, изъяснял, что скорее умрет, чем уступит кому-нибудь хоть сотую капельку из бедной своей благостыни...

Семен Иванович пролежал дня два или три, плотно обставленный ширмами и отделенный таким образом от всего Божьего света и всех напрасных его треволнений. Как следует, назавтра же все о нем позабыли; время летело меж тем своим чередом, часы сменялись часами, день другим. Полусон, полубред налегли на отяжелевшую, горячую голову больного; но он лежал смирно, не стонал и не жаловался; напротив, притих, молчал и крепился, приплюснув себя к постели своей, словно как заяц припадает от страха к земле, заслышав охоту. Порой наставала в квартире долгая, тоскливая тишина, – знак, что все жильцы удалялись по должности, и просыпавшийся Семен Иванович мог сколько угодно развлекать тоску свою, прислушиваясь к близкому шороху в кухне, где хлопотала хозяйка, или к мерному отшлепыванию стоптанных башмаков Авдотьи-работницы по всем комнатам, когда она, охая и кряхтя, прибирала, притирала и приглаживала во всех углах для порядка. Целые часы проходили таким образом, дремотные, ленивые, сонливые, скучные, словно вода, стекавшая звучно и мерно в кухне с залавка в лохань. Наконец приходили жильцы, поочередно или кучками, и Семен Иванович очень удобно мог слышать, как они бранили погоду, хотели есть, как шумели, курили, бранились, дружились, играли в карты и стучали чашками, собираясь пить чай. Семен Иванович машинально делал усилие привстать и присоединиться законным образом для составления напитка, но тут же впадал в усыпление и грезил, что уже давно сидит за чайным столом, участвует и беседует и что Зиновий Прокофьевич успел уже, пользуясь случаем, вклеить в разговор какой-то проект о золовках и о нравственном отношении к ним различных хороших людей. Тут Семен Иванович поспешил было оправ-

даться и возразить, но разом слетевшая со всех языков могуче-форменная фраза «неоднократно замечено» окончательно осекла все его возражения, и Семен Иванович ничего не мог придумать лучшего, как начать снова грезить о том, что сегодня первое число и что он получает целковики в своей канцелярии. Развернув бумажку на лестнице, он быстро оглянулся кругом и поспешил как можно скорее отделить целую половину из законного возмездия, им полученного, и припрятать эту половину в сапог, потом, тут же на лестнице и вовсе не обращая внимания на то, что действует на своей постели, во сне, решил, пришед домой, немедленно воздать что следует за харчи и постой хозяйке своей, потом накупить кой-чего необходимого и показать кому следует, как будто без намерения и нечаянно, что подвергся вычету, что остается ему и всего ничего и что вот и золовке-то послать теперь нечего, причем погоревать тут же о золовке, много говорить о ней завтра и послезавтра, и дней через десять еще повторить мимоходом об ее нищете, чтоб не забыли товарищи. Решив таким образом, он увидел, что и Андрей Ефимович, тот самый маленький, вечно молчаливый лысый человечек, который помещался в канцелярии за целые три комнаты от места сиденья Семена Ивановича и в двадцать лет не сказал с ним ни слова, стоит тут же на лестнице, тоже считает свои рубли серебром и, тряхнув головою, говорит ему: «Денежки-с!» – «Их не будет, и каши не будет-с, – сурово прибавляет он, сходя с лестницы, и уже на крыльце заключает, – а у меня, сударь, семеро-с». Тут лысый человечек, тоже, вероятно, нисколько не замечая, что действует как призрак, а вовсе не наяву и в действительности, показал ровно аршин с вершком от полу и, махнув рукой в нисходящей линии, пробормотал, что старший ходит в гимназию; затем, с негодованием взглянув на Семена Ивановича, как будто бы именно господин Прохарчин виноват был в том, что у него целых семеро, нахлобучил на глаза свою шляпёнку, тряхнул шинелью, поворотил налево и скрылся. Семен Иванович весьма испугался, и хотя был совершенно уверен в невинности своей насчет неприятного стечения числа семерых под одну кровлю, но на деле как будто бы именно так выходило, что виноват не кто другой, как Семен Иванович. Испугавшись, он принялся бежать, ибо показалось ему, что лысый господин воротился, догоняет его и хочет, обшарив, отнять всё возмездие, опираясь на свое неотъемлемое число семерых и решительно отрицая

всякое возможное отношение каких бы то ни было золовок к Семену Ивановичу. Господин Прохарчин бежал, бежал, задыхался... рядом с ним бежало тоже чрезвычайно много людей, и все они побрякивали своими возмездиями в задних карманах своих кургузых фрачишек; наконец весь народ побежал, загремели пожарные трубы, и целые волны народа вынесли его почти на плечах на тот самый пожар, на котором он присутствовал в последний раз вместе с попрошайкой-пьянчужкой. Пьянчужка, – иначе господин Зимовейкин, – находился уже там, встретил Семена Ивановича, страшно захлопотал, взял его за руку и повел в самую густую толпу. Так же как и тогда наяву, кругом них гремела и гудела необозримая толпа народа, запрудив меж двумя мостами всю набережную Фонтанки, все окрестные улицы и переулки; так же как и тогда, вынесло Семена Ивановича вместе с пьянчужкой за какой-то забор, где притиснули их, как в клещах, на огромном дровяном дворе, полном зрителями, собравшимися с улиц, с Толкучего рынка и из всех окрестных домов, трактиров и кабаков. Семен Иванович видел всё так же и по-тогдашнему чувствовал; в вихре горячки и бреда начали мелькать перед ним разные странные лица. Он припомнил из них кой-кого. Один был тот самый, чрезвычайно внушавший всем господин, в сажень ростом и с аршинными усищами, помещавшийся во время пожара за спиной Семена Ивановича и задававший сзади ему поощрения, когда наш герой, с своей стороны, почувствовав нечто вроде восторга, затопал ножонками, как будто желая таким образом аплодировать молодецкой пожарной работе, которую совершенно видел с своего возвышения. Другой – тот самый дюжий парень, от которого герой наш приобрел тумака в виде подсадки на другой забор, когда было совсем расположился лезть через него, может быть, кого-то спасать. Мелькнула перед ним и фигура того старика с геморроидальным лицом, в ветхом, чем-то подпоясанном ватном халатишке, отлучившегося было еще до пожара в лавочку за сухарями и табаком своему жильцу и пробивавшегося теперь, с молочником и с четверкой в руках, сквозь толпу, до дома, где горели у него жена, дочка и тридцать с полтиною денег в углу под периной. Но всего внятнее явилась ему та бедная, грешная баба, о которой он уже не раз грезил во время болезни своей, – представилась так, как была тогда – в лаптишках, с костылем, с плетеной котомкой за спиною и в рубище. Она кричала громче пожарных и народа, разма-

хивая костылем и руками, о том, что выгнали ее откуда-то дети родные и что пропали при сем случае тоже два пятака. Дети и пятаки, пятаки и дети вертелись на ее языке в непонятной, глубокой бессмыслице, от которой все отступились после тщетных усилий понять; но баба не унималась, всё кричала, выла, размахивала руками, не обращая, казалось, никакого внимания ни на пожар, на который занесло ее народом с улицы, ни на весь люд-людской, около нее бывший, ни на чужое несчастие, ни даже на головешки и искры, которые уже начали было пудрить весь около стоявший народ. Наконец господин Прохарчин почувствовал, что на него начинает нападать ужас; ибо видел ясно, что всё это как будто неспроста теперь делается и что даром ему не пройдет. И действительно, тут же недалеко от него взмостился на дрова какой-то мужик, в разорванном, ничем не подпоясанном армяке, с опаленными волосами и бородой, и начал подымать весь Божий народ на Семена Ивановича. Толпа густела-густела, мужик кричал, и, цепенея от ужаса, господин Прохарчин вдруг припомнил, что мужик – тот самый извозчик, которого он ровно пять лет назад надул бесчеловечнейшим образом, скользнув от него до расплаты в сквозные ворота и подбирая под себя на бегу свои пятки так, как будто бы бежал босиком по раскаленной плите. Отчаянный господин Прохарчин хотел говорить, кричать, но голос его замирал. Он чувствовал, как вся разъяренная толпа обвивает его подобно пестрому змею, давит, душит. Он сделал невероятное усилие и – проснулся. Тут он увидел, что горит, что горит весь его угол, горят его ширмы, вся квартира горит, вместе с Устиньей Федоровной и со всеми ее постояльцами, что горит его кровать, подушка, одеяло, сундук и, наконец, его драгоценный тюфяк. Семен Иванович вскочил, вцепился в тюфяк и побежал, волоча его за собою. Но в хозяйкиной комнате, куда было забежал наш герой так, как был, без приличия, босой и в рубашке, его перехватили, скрутили и победно снесли обратно за ширмы, которые, между прочим, совсем не горели, а горела скорее голова Семена Ивановича, – и уложили в постель. Подобно тому укладывает в свой походный ящик оборванный, небритый и суровый артист-шарманщик своего пульчинеля[1], набуянившего, переколотившего всех, продавшего душу черту и наконец оканчи-

[1] Пульчинель (*итал.* pulcinella) – полишинель, паяц, клоун.

вающего существование свое до нового представления в одном сундуке вместе с тем же чертом, с арапами, с Петрушкой, с мамзель Катериной и счастливым любовником ее, капитаном-исправником.

Немедленно все обступили Семена Ивановича, старый и малый, поместившись рядком вокруг его кровати и устремив на больного полные ожидания лица. Между тем он очнулся, но, от совести ль, или иного чего, начал вдруг изо всех сил натягивать на себя одеяло, желая, вероятно, укрыться под ним от внимания сочувствователей. Наконец Марк Иванович первый прервал молчание и, как умный человек, начал весьма ласково говорить, что Семену Ивановичу нужно совсем успокоиться, что болеть скверно и стыдно, что так делают только дети маленькие, что нужно выздоравливать, а потом и служить. Окончил Марк Иванович шуточкой, сказав, что больным не означен еще вполне оклад жалованья, и так как он твердо знает, что и чины идут тоже весьма небольшие, то, по его разумению по крайней мере, такое звание или состояние не приносит больших, существенных выгод. Одним словом, видно было, что все принимали действительное участие в судьбе Семена Ивановича и весьма сердобольничали. Но он с непонятною грубостью продолжал лежать на кровати, молчать и упорно всё более и более натягивать на себя одеяло. Марк Иванович, однако, не признал себя побежденным и, скрепив сердце, сказал опять что-то очень сладенькое Семену Ивановичу, зная, что так и должно поступать с больным человеком; но Семен Иванович не хотел и почувствовать; напротив, промычал что-то сквозь зубы с самым недоверчивым видом и вдруг начал совершенно неприязненным образом косить исподлобья направо и налево глазами, казалось, желая взглядом своим обратить в прах всех сочувствователей. Тут уж нечего было останавливаться: Марк Иванович не вытерпел и, видя, что человек просто дал себе слово упорствовать, оскорбясь и рассердившись совсем, объявил напрямки и уже без сладких околичностей, что пора вставать, что лежать на двух боках нечего, что кричать днем и ночью о пожарах, золовках, пьянчужках, замках, сундуках и черт знает об чем еще – глупо, неприлично и оскорбительно для человека, ибо если Семен Иванович спать не желает, так чтобы другим не мешал и чтоб он, наконец, это всё изволил намотать себе на ус. Речь произвела свое действие, ибо Семен Иванович, немедленно обернувшись к оратору,

с твердостью объявил, хотя еще слабым и хриплым голосом, что «ты, мальчишка, молчи! празднословный ты человек, сквернослов ты! слышь, каблук! князь ты, а? понимаешь штуку?» Услышав такое, Марк Иванович вспылил, но, заметив, что действует с больным человеком, великодушно перестал обижаться, а, напротив, попробовал его пристыдить, но осекся и тут; ибо Семен Иванович сразу заметил, что шутить с собой не позволит, даром что Марк Иванович стихи сочинил. Последовало двухминутное молчание; наконец, опомнившись от своего изумления, Марк Иванович прямо, ясно, весьма красноречиво, хотя не без твердости, объявил, что Семен Иванович должен знать, что он меж благородных людей и что, «милостивый государь, должны понимать, как поступают с благородным лицом». Марк Иванович умел при случае красноречиво сказать и любил внушить своим слушателям. С своей стороны, Семен Иванович говорил и поступал, вероятно от долгой привычки молчать, более в отрывистом роде, и кроме того, когда, например, случалось ему вести долгую фразу, то, по мере углубления в нее, каждое слово, казалось, рождало еще по другому слову, другое слово, тотчас при рождении, по третьему, третье по четвертому и т. д., так что набивался полон рот, начиналась перхота, и набивные слова принимались наконец вылетать в самом живописном беспорядке. Вот почему Семен Иванович, будучи умным человеком, говорил иногда страшный вздор. «Врешь ты, – отвечал он теперь, – детина, гулявый ты парень! а вот как наденешь суму, – побираться пойдешь; ты ж вольнодумец, ты ж потаскун; вот оно тебе, стихотворец!»

– Да вы это всё еще бредите, что ли, Семен Иванович?

– А, слышь, – отвечал Семен Иванович, – бредит дурак, пьянчужка бредит, пес бредит, а мудрый благоразумному служит. Ты, слышь, дела ты не знаешь, потаскливый ты человек, ученый ты, книга ты писаная! А вот возьмешь, сгоришь, так не заметишь, как голова отгорит, вот, слышал историю?!

– Да... то есть как же... то есть как же вы это говорите, Семен Иванович, что голова отгорит?..

Марк Иванович и не докончил, ибо все увидели ясно, что Семен Иванович еще не отрезвился и бредит; но хозяйка не вытерпела и тут же заметила, что дом в Кривом переулке опомнясь от лысой девки сгорел; что

лысая девка там такая была; она свечку зажгла и чулан запалила; а у ней не случится, и что в углах будет цело.

– Да ведь, Семен Иванович! – закричал вне себя Зиновий Прокофьевич, перебивая хозяйку. – Семен Иванович, такой вы, сякой, прошедший вы, простой человек, шутки тут, что ли, с вами шутят теперь про вашу золовку или экзамены с танцами? так оно, что ли? Этак вы думаете?

– Ну, слышь ты теперь, – отвечал наш герой, приподымаясь с постели, собрав последние силы и вконец озлясь на сочувствователей, – шут кто? Ты шут, пес шут, шутовской человек, а шутки делать по твоему, сударь, приказу не буду; слышь, мальчишка, не твой, сударь, слуга!

Тут Семен Иванович хотел еще что-то сказать, но в бессилии упал на постель. Сочувствователи остались в недоумении, все разинули рты, ибо смекнули теперь, во что Семен Иванович ногой ступил, и не знали с чего начать; вдруг дверь в кухне скрипнула, отворилась и пьянчужка-приятель, – иначе господин Зимовейкин, – робко просунул голову, осторожно обнюхивая, по своему обычаю, местность. Его точно ждали; все разом замахали ему, чтоб шел поскорее, и Зимовейкин, чрезвычайно обрадовавшись, не снимая шинели, поспешно и в полной готовности протолкался к постели Семена Ивановича.

Видно было, что Зимовейкин провел всю ночь в бдении и в каких-то важных трудах. Правая сторона его лица была чем-то заклеена; опухшие веки были влажны от гноившихся глаз; фрак и всё платье было изорвано, причем вся левая сторона одеяния была как будто опрыскана чем-то крайне дурным, может быть грязью из какой-нибудь лужи. Под мышкой у него была чья-то скрипка, которую он куда-то нес продавать. По-видимому, не ошиблись, призвав его на помощь, ибо тотчас, узнав, в чем вся сила, обратился он к накуролесившему Семену Ивановичу и с видом такого человека, который имеет превосходство и, сверх того, знает штуку, сказал: «Что ты, Сенька? вставай! что ты, Сенька, Прохарчин-мудрец, благоразумию послужи! Не то стащу, если куражиться будешь; не куражься!» Такая краткая, но сильная речь удивила присутствующих; еще более все удивились, когда заметили, что Семен Иванович, услышав всё это и увидав перед собою такое лицо, до того оторопел и пришел в смущение и робость, что едва-едва и только сквозь зубы, шепотом, решился пробормотать необходимое возражение. «Ты, несчастный, ступай, –

сказал он, – ты, несчастный, вор ты! слышь, понимаешь? туз ты, князь, тузовый ты человек!»

– Нет, брат, – протяжно отвечал Зимовейкин, сохраняя всё присутствие духа, – нехорошо, ты, брат-мудрец, Прохарчин, прохарчинский ты человек! – продолжал Зимовейкин, немного пародируя Семена Ивановича и с удовольствием озираясь кругом. – Ты не куражься! Смирись, Сеня, смирись, не то донесу, всё, братец ты мой, расскажу, понимаешь?

Кажется, Семен Иванович всё разобрал, ибо вздрогнул, когда выслушал заключение речи, и вдруг начал быстро и с совершенно потерянным видом озираться кругом. Довольный эффектом, господин Зимовейкин хотел продолжать, но Марк Иванович тотчас же предупредил его рвение и, выждав время, пока Семен Иванович притих, присмирел и почти совсем успокоился, начал долго и благоразумно внушать беспокойному, что «питать подобные мысли, как у него теперь в голове, во-первых, бесполезно, во-вторых, не только бесполезно, но даже и вредно; наконец, не столько вредно, сколько даже совсем безнравственно; и причина тому та, что Семен Иванович всех в соблазн вводит и дурной пример подает». От такой речи все ожидали благоразумного следствия. К тому же Семен Иванович был теперь совсем тих и возражал умеренно. Начался скромный спор. Адресовались к нему братски, осведомляясь, чего он так заробел? Семен Иванович ответил, но иносказательно. Ему возразили; Семен Иванович возразил. Возразили еще по разу с обеих сторон, а потом уж вмешались все, и старый и малый, ибо речь началась вдруг о таком дивном и странном предмете, что решительно не знали, как это всё выразить. Спор наконец дошел до нетерпения, нетерпение до криков, крики даже до слез, и Марк Иванович отошел наконец с пеной бешенства у рта, объявив, что не знал до сих пор такого гвоздя-человека. Оплеваниев плюнул, Океанов перепугался, Зиновий Прокофьевич прослезился, а Устинья Федоровна завыла совсем, причитая, что «уходит жилец и рехнулся, что умрет он, млад, без паспорта, не скажется, а она сирота, и что ее затаскают». Одним словом, все наконец увидели ясно, что посев был хорош, что всё, что ни вздумалось сеять, сторицею взошло, что почва была благодатная и что Семену Ивановичу удалось отработать в их компании свою голову на славу и на самый безвозвратный манер. Все замолчали, ибо если видели,

что Семен Иванович от всего заробел, то на этот раз заробели и сами сочувствователи...

– Как! – закричал Марк Иванович, – да чего ж вы боитесь-то? чего ж вы ряхнулись-то? Кто об вас думает, сударь вы мой? Имеете ли право бояться-то? Кто вы? что вы? Нуль, сударь, блин круглый, вот что! Что вы стучите-то? Бабу на улице придавило, так и вас переедет? пьяница какой-нибудь карман не сберег, так и вам фалды отрежут? Дом сгорел, так и у вас голова отгорит, а? Так, что ли, сударь? Так ли, батюшка? так ли?

– Ты, ты, ты глуп! – бормотал Семен Иванович. – Нос отъедят, сам с хлебом съешь, не заметишь...

– Каблук, пусть каблук, – кричал Марк Иванович, не вслушавшись, – каблуковый я человек, пожалуй. Да ведь мне не экзамен держать, не жениться, не танцам учиться; подо мной, сударь, место не сломится. Что, батюшка? Так вам и места широкого нет? Пол там под вами провалится, что ли?

– А что? тебя, что ли, спросят? Закроют, и нет.

– Нет. Что закроют?! Что там еще у вас, а?

– А вот пьянчужку ссадили...

– Ссадили; да ведь то же пьянчужка, а вы да я человек!

– Ну, человек. А она стоит, да и нет...

– Нет! Да кто она-то?

– Да она, канцелярия... кан-це-ля-рия!!!

– Да, блаженный вы человек! да ведь она нужна, канцелярия-то...

– Она нужна, слышь ты; и сегодня нужна, завтра нужна, а вот послезавтра как-нибудь там и не нужна. Вот, слышал историю...

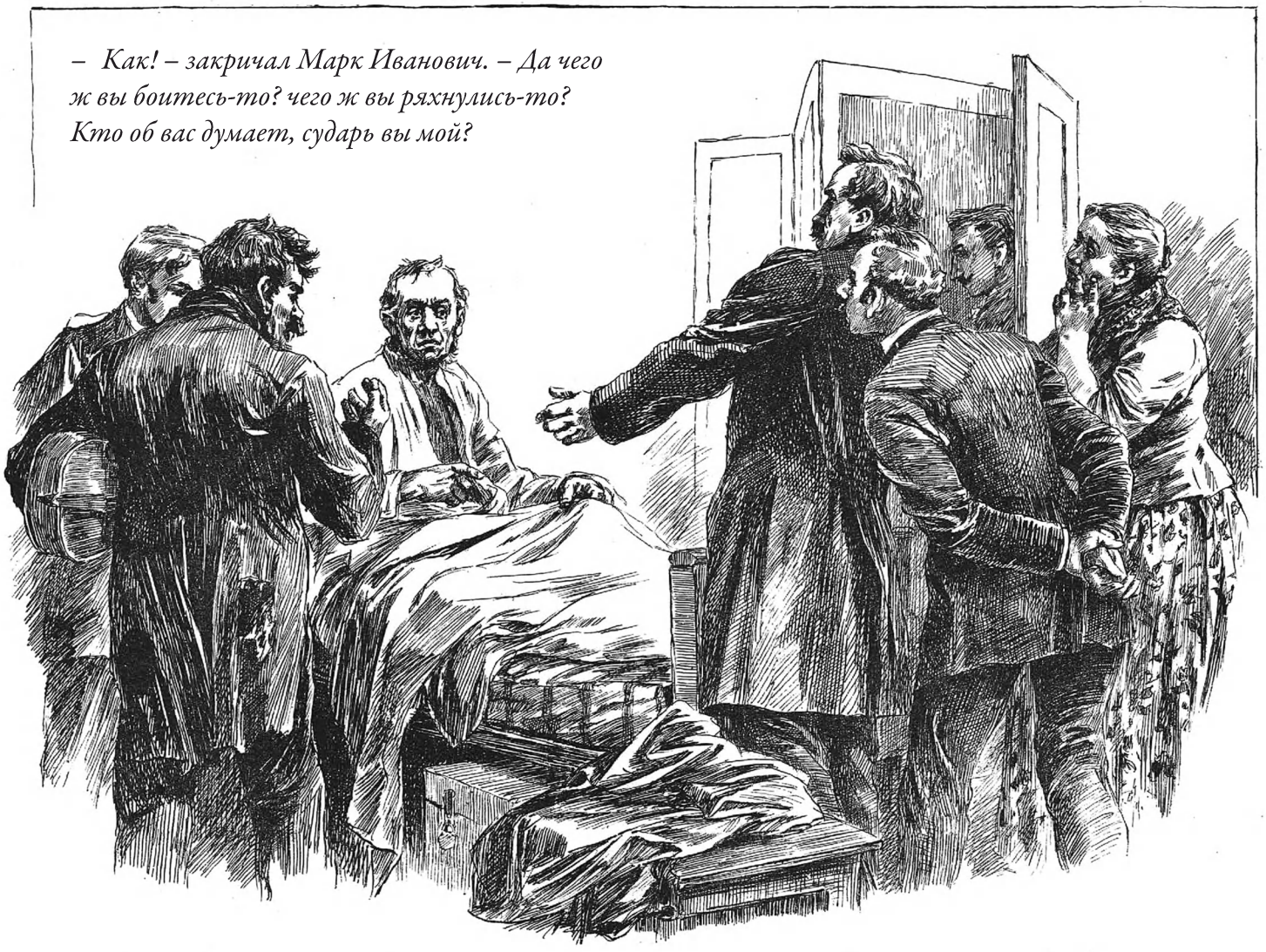
– Да ведь вам жалованье ж дадут годовое! Фома, Фома вы такой, неверный вы человек! по старшинству в ином месте уважат...

– Жалованье? А я вот проел жалованье, воры придут, деньги возьмут; а у меня золовка, слышь ты? золовка! гвоздырь ты...

– Золовка! человек вы...

– Человек; а я человек, а ты, начитанный, глуп; слышь, гвоздырь, гвоздыревый ты человек, вот что! А я не по шуткам твоим говорю; а оно место такое есть, что возьмет да и уничтожается место. И Демид, слышь ты, Демид Васильевич говорит, что уничтожается место...

– Ах вы, Демид, Демид! греховодник, да ведь...



– Как! – закричал Марк Иванович. – Да чего ж вы боитесь-то? чего ж вы ряхнулись-то? Кто об вас думает, сударь вы мой?

– Да, хлоп, да и баста, и будешь без места; поди ты с ним, вот...

– Да вы, наконец, просто врете или ряхнулись совсем! Вы нам просто скажите; уж что? признайтесь, коль грех такой есть! стыдиться-то нечего! ряхнулся, батюшка, а?

– Ряхнулся! с ума сошел! – раздалось кругом, и все ломали руки с отчаяния, а Марка Ивановича уже обхватила в обе руки хозяйка, затем чтоб он не растерзал как-нибудь Семена Ивановича.

– Язычник ты, языческая ты душа, мудрец ты! – умолял Зимовейкин. – Сеня, необидчивый ты человек, миловидный, любезный! ты прост, ты добродетельный... слышал? Это от добродетели твоей происходит; а буйный и глупый-то я, побирушка-то я; а вот же добрый человек меня не оставил небось; честь, вишь, делают; вот им и хозяйке спасибо; видишь ты, вот и поклон земной правлю, вот оно, вот; долг, долг исправляю, хозяюшка! – Тут действительно Зимовейкин и даже с каким-то педантским достоинством исполнил кругом свой поклон до земли. После того Семен Иванович хотел было опять продолжать говорить, но в этот раз ему уже не дали; все вступились, стали его умолять, заверять, утешать и достигли того, что Семен Иванович даже устыдился совсем и наконец слабым голосом попросил объясниться.

– Да вот; оно хорошо, – сказал он, – миловидный я, смирный, слышь, и добродетелен, предан и верен; кровь, знаешь, каплю последнюю, слышь ты, мальчишка, туз... пусть оно стоит, место-то; да я ведь бедный; а вот как возьмут его, слышь ты, тузовый, – молчи теперь, понимай, – возьмут, да и того... оно, брат, стоит, а потом и не стоит... понимаешь? а я, брат, и с сумочкой, слышь ты?

– Сенька! – завопил в исступлении Зимовейкин, покрывая в этот раз голосом весь поднявшийся шум. – Вольнодумец ты! Сейчас донесу! Что ты? кто ты? буян, что ли, бараний ты лоб? Буйному, глупому, слышь ты, без абшида[1] с места укажут; ты кто?!

– Да вот оно и того...

– Что того?!

– Да вот, поди ты с ним!..

– Что поди ты с ним?

---

[1] Абшид (*нем.* Abschied) – увольнение.

– Да вот он вольный, я вольный; а как лежишь-лежишь, и того...

– Чего?

– Ан и вольнодумец...

– Воль-но-ду-мец! Сенька, ты вольнодумец!!

– Стой! – закричал господин Прохарчин, махнув рукою и прерывая начавшийся крик. – Я не того... Ты пойми, ты пойми только, баран ты: я смирный, сегодня смирный, завтра смирный, а потом и несмирный, сгрубил; пряжку тебе, и пошел вольнодумец!..

– Да что ж вы? – прогремел наконец Марк Иванович, вскочив со стула, на котором было сел отдохнуть, и подбежав к кровати весь в волнении, в исступлении, весь дрожа от досады и бешенства, – что ж вы? баран вы! ни кола, ни двора. Что вы, один, что ли, на свете? для вас свет, что ли, сделан? Наполеон вы, что ли, какой? что вы? кто вы? Наполеон вы, а? Наполеон или нет?! Говорите же, сударь, Наполеон или нет?..

Но господин Прохарчин уже и не отвечал на этот вопрос. Не то чтоб устыдился, что он Наполеон, или струсил взять на себя такую ответственность, – нет, он уж и не мог более ни спорить, ни дела говорить... Последовал болезненный кризис. Дробные слезы хлынули вдруг из его блистающих лихорадочным огнем серых глаз. Костлявыми, исхудалыми от болезни руками закрыл он свою горячую голову, приподнялся на кровати и, всхлипывая, стал говорить, что он совсем бедный, что он такой несчастный, простой человек, что он глупый и темный, чтоб простили ему добрые люди, сберегли, защитили, накормили б, напоили его, в беде не оставили, и Бог знает что еще причитал Семен Иванович. Причитая же, он с диким страхом глядел кругом, как будто ожидая, что вот-вот сейчас потолок упадет или пол провалится. Всем стало жалко, глядя на бедного, и у всех умягчились сердца. Хозяйка, рыдая, как баба, и причитая про свое сиротство, сама уложила больного в постель. Марк Иванович, видя бесполезность трогать Наполеонову память, тоже немедленно впал в добродушие и начал тоже оказывать помощь. Другие, чтоб что-нибудь в свою очередь сделать, предложили малинный настой, говоря, что он немедленно и от всего помогает и что будет очень приятен больному; но Зимовейкин тотчас же всех опровергнул, включив, что в таком деле нет лучше доброго приема какой-нибудь ромашки забористой. Что же касается до Зиновия Прокофьевича, то, имея доброе сердце, он рыдал и зали-

вался слезами, раскаиваясь, что пугал Семена Ивановича разными небылицами, и, вникнув в последние слова больного, что он совсем бедный и чтоб его накормили, пустился созидать подписку, ограничиваясь ею покамест в углах. Все охали и ахали, всем было и жалко и горько, и все меж тем дивились, что вот как же это таким образом мог совсем заробеть человек? И из чего ж заробел? Добро бы был при месте большом, женой обладал, детей поразвел; добро б его там под суд какой ни есть притянули; а то ведь и человек совсем дрянь, с одним сундуком и с немецким замком, лежал с лишком двадцать лет за ширмами, молчал, свету и горя не знал, скопидомничал, и вдруг вздумалось теперь человеку, с пошлого, праздного слова какого-нибудь, совсем перевернуть себе голову, совсем забояться о том, что на свете вдруг стало жить тяжело... А и не рассудил человек, что и всем тяжело! «Прими он вот только это в расчет, – говорил потом Океанов, – что вот всем тяжело, так сберег бы человек свою голову, перестал бы куролесить и потянул бы свое кое-как куда следует». Целый день только и толку было, что о Семене Ивановиче. Приходили к нему, справлялись о нем, утешали его; но к вечеру ему стало не до утешений. Открылся у бедного бред, жар; впал он в беспамятство, так что чуть было уж не хотели пуститься за доктором; жильцы все согласились и дали себе взаимное слово охранять и упокоивать Семена Ивановича поочередно всю ночь, и что случится, то всех будить разом. С этою целью, чтоб не заснуть, засели в картишки, приставив к больному пьянчужку-приятеля, который квартировал весь день в углах, у постели больного, и попросился заночевать. Так как игра велась на мелок и не представляла совсем интереса, то скоро соскучились. Игру бросили, потом о чем-то заспорили, потом начали шуметь и стучать, наконец разошлись по углам, долго еще в сердцах перекликались и переговаривались, и так как вдруг все стали сердиты, то уж не захотели дежурить и заснули. Скоро в углах стало тихо, как в пустом погребе, тем более что был холод ужаснейший. Из последних заснувших был Океанов, «и не то, – как говорил он потом, – во сне, не то было оно наяву, но привиделось мне, что близ меня, этак перед самым утренним часом, разговаривали два человека». Океанов рассказывал, что он узнал Зимовейкина и что Зимовейкин стал возле него будить старого друга Ремнева, что они долго шепотом говорили; потом Зимовейкин вышел, и слышно было, как он пытался отпереть в кухне дверь ключом.

Ключ же, уверяла потом хозяйка, лежал у нее под подушками и пропал в эту ночь. Наконец, показывал Океанов, слышалось ему, как будто оба они пошли к больному за ширмы и засветили там свечку. Более, говорит, ничего не знаю, глаза завело; а проснулся потом вместе со всеми, когда все, кто ни были в углах, разом повскочили с постелей, затем что за ширмами раздался такой крик, что встрепенулся бы мертвый, – и тут многим показалось, что вдруг там же свечка потухла. Поднялась суматоха; у всех сердце упало; бросились как ни попало на крик, но в это время за ширмами поднялась возня, крик, брань и драка. Вздули огонь и увидели, что дерутся друг с другом Зимовейкин и Ремнев, что оба друг друга корят и ругают, а как осветили их, то один закричал: «Не я, а разбойник!», а другой, именно Зимовейкин, закричал: «Не трожь, неповинен; сейчас присягну!» На обоих образа не было человеческого; но в первую минуту не до них было дело: больного не оказалось на прежнем месте за ширмами. Тотчас же разлучили бойцов, оттащили их и увидели, что господин Прохарчин лежит под кроватью, должно быть в совершенном беспамятстве, стащив на себя и одеяло и подушку, так что на кровати оставался один только голый, ветхий и масляный тюфяк (простыни же на нем никогда не бывало). Вытащили Семена Ивановича, протянули его на тюфяк, но сразу заметили, что много хлопотать было нечего, что капут совершенный; руки его костенеют, а сам еле держится. Стали над ним: он всё еще помаленьку дрожал и трепетал всем телом, что-то силился сделать руками, языком не шевелил, но моргал глазами совершенно подобным образом, как, говорят, моргает вся еще теплая, залитая кровью и живущая голова, только что отскочившая от палачова топора.

Наконец всё стало тише и тише; замерли и предсмертный трепет и судороги; господин Прохарчин протянул ноги и отправился по своим добрым делам и грехам. Испугался ли Семен Иванович чего, сон ли ему приснился такой, как потом Ремнев уверял, или был другой какой грех – неизвестно; дело только в том, что хотя бы теперь сам экзекутор явился в квартире и лично за вольнодумство, буянство и пьянство объявил бы абшид Семену Ивановичу, если б даже теперь в другую дверь вошла какая ни есть попрошайка-салопница, под титулом золовки Семена Ивановича, если б даже Семен Иванович тотчас получил двести рублей награждения или дом, наконец, загорелся и начала гореть голова на Семене Ивано-

виче, он, может быть, и пальцем не удостоил бы пошевелить теперь при подобных известиях. Покамест сошел первый столбняк, покамест присутствующие обрели дар слова и бросились в суматоху, предположения, сомнения и крики, покамест Устинья Федоровна тащила из-под кровати сундук, обшаривала впопыхах под подушкой, под тюфяком и даже в сапогах Семена Ивановича, покамест принимали в допрос Ремнева с Зимовейкиным, жилец Океанов, бывший доселе самый недальний, смиреннейший и тихий жилец, вдруг обрел всё присутствие духа, попал на свой дар и талант, схватил шапку и под шумок ускользнул из квартиры. И когда все ужасы безначалия достигли своего последнего периода в взволнованных и доселе смиренных углах, дверь отворилась и внезапно, как снег на голову, появились сперва один господин благородной наружности с строгим, но недовольным лицом, за ним Ярослав Ильич, за Ярославом Ильичом его причет и все кто следует и сзади всех – смущенный господин Океанов. Господин строгой, но благородной наружности подошел прямо к Семену Ивановичу, пощупал его, сделал гримасу, вскинул плечами и объявил весьма известное, именно, что покойник уже умер, прибавив только от себя, что то же со сна случилось на днях с одним весьма почтенным и большим господином, который тоже взял да и умер. Тут господин с благородной, но недовольной осанкой отошел от кровати, сказал, что напрасно его беспокоили, и вышел. Тотчас же заместил его Ярослав Ильич (причем Ремнева и Зимовейкина сдали кому следует на руки), расспросил кой-кого, ловко овладел сундуком, который хозяйка уже пыталась вскрывать, поставил сапоги на прежнее место, заметив, что они все в дырьях и совсем не годятся, потребовал назад подушку, подозвал Океанова, спросил ключ от сундука, который нашелся в кармане пьянчужки-приятеля, и торжественно, при ком следует, вскрыл добро Семена Ивановича. Всё было налицо: две тряпки, одна пара носков, полуплаток, старая шляпа, несколько пуговиц, старые подошвы и сапожные голенища, – одним словом, шильце, мыльце, белое белильце, то есть дрянь, ветошь, сор, мелюзга, от которой пахло залавком; хорош был один только немецкий замок. Позвали Океанова, сурово переговорили с ним; но Океанов был готов под присягу идти. Потребовали подушку, осмотрели ее: она была только грязна, но во всех других отношениях совершенно походила на подушку. Принялись за тюфяк, хотели было его приподнять,

остановились было немножко подумать, но вдруг, совсем неожиданно, что-то тяжелое, звонкое хлопнулось об пол. Нагнулись, обшарили и увидели сверток бумажный, а в свертке с десяток целковиков. «Эге-ге-ге!» – сказал Ярослав Ильич, показывая в тюфяке одно худое место, из которого торчали волосья и хлопья. Осмотрели худое место и уверились, что оно сейчас только сделано ножом, а было в пол-аршина длиною; засунули руку в изъян и вытащили, вероятно, впопыхах брошенный там хозяйский кухонный нож, которым взрезан был тюфяк. Не успел Ярослав Ильич вытащить нож из изъянного места и опять сказать «эге-ге!» – как тотчас же выпал другой сверток, а за ним поодиначке выкатились два полтинника, один четвертак, потом какая-то мелочь и один старинный здоровенный пятак. Всё это тотчас же переловили руками. Тут увидели, что недурно бы было вспороть совсем тюфяк ножницами. Потребовали ножницы...

Между тем нагоревший сальный огарок освещал чрезвычайно любопытную для наблюдателя сцену. Около десятка жильцов группировалось у кровати в самых живописных костюмах, все неприглаженные, небритые, немытые, заспанные, так, как были, отходя на грядущий сон. Иные были совершенно бледны, у других на лбу пот показывался, иных дрожь пронимала, других жар. Хозяйка, совсем оглупевшая, тихо стояла, сложив руки и ожидая милостей Ярослава Ильича. Сверху, с печки, с испуганным любопытством глядели головы Авдотьи-работницы и хозяйкиной кошки-фаворитки; кругом были разбросаны изорванные и разбитые ширмы; раскрытый сундук показывал свою неблагородную внутренность; валялись одеяло и подушка, покрытые хлопьями из тюфяка, и, наконец, на деревянном трехногом столе заблистала постепенно возраставшая куча серебра и всяких монет. Один только Семен Иванович сохранил вполне свое хладнокровие, смирно лежал на кровати и, казалось, совсем не предчувствовал своего разорения. Когда же принесены были ножницы и помощник Ярослава Ильича, желая подслужиться, немного нетерпеливо тряхнул тюфяк, чтоб удобнее высвободить его из-под спины обладателя, то Семен Иванович, зная учтивость, сначала уступил немножко места, скатившись на бочок, спиною к искателям; потом, при втором толчке, поместился ничком, наконец еще уступил, и так как недоставало последней боковой доски в кровати, то вдруг совсем не-

ожиданно бултыхнулся вниз головою, оставив на вид только две костлявые, худые, синие ноги, торчавшие кверху, как два сучка обгоревшего дерева. Так как господин Прохарчин уже второй раз в это утро наведывался под свою кровать, то немедленно возбудил подозрение, и кое-кто из жильцов, под предводительством Зиновия Прокофьевича, полезли туда же с намерением посмотреть, не скрыто ли и там кой-чего. Но искатели только напрасно перестукались лбами, и так как Ярослав Ильич тут же прикрикнул на них и велел немедленно освободить Семена Ивановича из скверного места, то двое из благоразумнейших взяли каждый в обе руки по ноге, вытащили неожиданного капиталиста на свет Божий и положили его поперек кровати. Между тем волосья и хлопья летели кругом, серебряная куча росла – и Боже! чего, чего не было тут... Благородные целковики, солидные, крепкие полуторарублевики, хорошенькая монета полтинник, плебеи четвертачки, двугривеннички, даже малообещающая, старушечья мелюзга, гривенники и пятаки серебром, – всё в особых бумажках, в самом методическом и солидном порядке. Были и редкости: два какие-то жетона, один наполеондор, одна неизвестно какая, но только очень редкая монетка... Некоторые из рублевиков относились тоже к глубокой древности; истертые и изрубленные елизаветинские, немецкие крестовики, петровские монеты, екатерининские; были, например, теперь весьма редкие монетки, старые пятиалтыннички, проколотые для ношения в ушах, все совершенно истертые, но с законным количеством точек; даже медь была, но вся уже зеленая, ржавая... Нашли одну красную бумажку – но более не было. Наконец, когда кончилась вся анатомия и, неоднократно встряхнув тюфячий чехол, нашли, что ничего не гремит, сложили все деньги на стол и принялись считать. С первого взгляда можно было даже совсем обмануться и смекнуть прямо на миллион – такая была огромная куча! Но миллиона не было, хотя и вышла, впрочем, сумма чрезвычайно значительная, – ровно две тысячи четыреста девяносто семь рублей с полтиною, так что если б осуществилась вчера подписка у Зиновия Прокофьевича, то, может быть, было бы всего ровно две тысячи пятьсот рублей ассигнациями. Денежки забрали, к сундуку покойного приложили печать, хозяйкины жалобы выслушали и указали ей, когда и куда следует представить свидетельство насчет должишка покойного. С кого следовало взяли подписку; заикнулись было

тут о золовке; но, уверившись, что золовка была в некотором смысле миф, то есть произведение недостаточности воображения Семена Ивановича, в чем, по справкам, не раз упрекали покойного, – то тут же идею оставили как бесполезную, вредную и в ущерб доброго имени его, господина Прохарчина, относящуюся; тем дело и кончилось. Когда же первый страх поопал, когда схватились за ум и узнали, что́ был такое покойник, то присмирели, притихну ли все и стали как-то с недоверчивостью друг на друга поглядывать. Некоторые приняли чрезвычайно близко к сердцу поступок Семена Ивановича и даже как будто обиделись... Такой капитал! Этак натаскал человек! Марк Иванович, не теряя присутствия духа, пустился было объяснять, почему так вдруг заробелось Семену Ивановичу; но его уж не слушали. Зиновий Прокофьевич что-то был очень задумчив, Океанов подпил немножко, остальные как-то прижались, а маленький человечек Кантарев, отличавшийся воробьиным носом, к вечеру съехал с квартиры, весьма тщательно заклеив и завязав все свои сундучки, узелки и холодно объясняя любопытствующим, что время тяжелое, а что приходится здесь не по карману платить. Хозяйка же без умолку выла, и причитая и кляня Семена Ивановича за то, что он обидел ее сиротство. Осведомились у Марка Ивановича, зачем же это покойник свои деньги в ломбард не носил?

– Прост, матушка, был; воображения на то не хватило, – отвечал Марк Иванович.

– Ну да и вы просты, матушка, – включал Океанов, – двадцать лет крепился у вас человек, с одного щелчка покачнулся, а у вас щи варились, некогда было!.. Э-эх, матушка!..

– Ох уж ты мне, млад-млад! – продолжала хозяйка, – да что ломбард! принеси-ка он мне свою горсточку да скажи мне: возьми, млад-Устиньюшка, вот тебе благостыня, а держи ты младого меня на своих харчах, поколе мать сыра земля меня носит, – то, вот тебе образ, кормила б его, поила б его, ходила б за ним. Ах, греховодник, обманщик такой! Обманул, надул сироту!..

Приблизились снова к постели Семена Ивановича. Теперь он лежал как следует, в лучшем, хотя, впрочем, и единственном своем одеянии, запрятав окостенелый подбородок за галстух, который навязан был немножко неловко, обмытый, приглаженный и не совсем лишь выбритый,

затем что бритвы в углах не нашлось: единственная, принадлежавшая Зиновию Прокофьевичу, иззубрилась еще прошлого года и выгодно была продана на Толкучем; другие ж ходили в цирюльню. Беспорядок всё еще не успели прибрать. Разбитые ширмы лежали по-прежнему и, обнажая уединение Семена Ивановича, словно были эмблемы того, что смерть срывает завесу со всех наших тайн, интриг, проволочек. Начинка из тюфяка, тоже не прибранная, густыми кучами лежала кругом. Весь этот внезапно остывший угол можно было бы весьма удобно сравнить поэту с разоренным гнездом «домовитой» ласточки: всё разбито и истерзано бурею, убиты птенчики с матерью, и развеяна кругом их теплая постелька из пуха, перушек, хлопок... Впрочем, Семен Иванович смотрел скорее как старый самолюбец и вор-воробей. Он теперь притихнул, казалось, совсем притаился, как будто и не он виноват, как будто не он пускался на штуки, чтоб надуть и провести всех добрых людей, без стыда и без совести, неприличнейшим образом. Он теперь уж не слушал рыданий и плача осиротевшей и разобиженной хозяйки своей. Напротив, как опытный, тертый капиталист, который и в гробу не желал бы потерять минуты в бездействии, казалось, весь был предан каким-то спекулятивным расчетам. В лице его появилась какая-то глубокая дума, а губы были стиснуты с таким значительным видом, которого никак нельзя было бы подозревать при жизни принадлежностью Семена Ивановича. Он как будто бы поумнел. Правый глазок его был как-то плутовски прищурен; казалось, Семен Иванович хотел что-то сказать, что-то сообщить весьма нужное, объясниться, да и не теряя времени, а поскорее, затем, что дела навязались, а некогда было... И как будто бы слышалось: «Что, дескать, ты? перестань, слышь ты, баба ты глупая! не хнычь! ты, мать, проспись, слышь ты! Я, дескать, умер; теперь уж не нужно; что, заправду! Хорошо лежать-то... Я, то есть, слышь, и не про то говорю; ты, баба, туз, тузовая ты, понимай; оно вот умер теперь; а ну как этак того, то есть оно, пожалуй, и не может так быть, а ну как этак того, и не умер – слышь ты, встану, так что-то будет, а?»

ПОЛЗУНКОВ

Я начал всматриваться в этого человека. Даже в наружности его было что-то такое особенное, что невольно заставляло вдруг, как бы вы рассеяны ни были, пристально приковаться к нему взглядом и тотчас же разразиться самым неумолкаемым смехом. Так и случилось со мною. Нужно заметить, что глазки этого маленького господина были так подвижны – или, наконец, что он сам, весь, до того поддавался магнетизму всякого взгляда, на него устремленного, что почти инстинктом угадывал, что его наблюдают, тотчас же оборачивался к своему наблюдателю и с беспокойством анализировал взгляд его. От вечной подвижности, поворотливости он решительно походил на жируэтку. Странное дело! Он как будто боялся насмешки, тогда как почти добывал тем хлеб, что был всесветным шутом и с покорностию подставлял свою голову под все щелчки, в нравственном смысле и даже в физическом, смотря по тому, в какой находился компании. Добровольные шуты даже не жалки. Но я тотчас заметил, что это странное создание, этот смешной человечек вовсе не был шутом из профессии. В нем оставалось еще кое-что благородного. Его беспокойство, его вечная болезненная боязнь за себя уже свидетельствовали в пользу его. Мне казалось, что всё его желание услужить происходило скорее от доброго сердца, чем от материяльных выгод. Он с удовольствием позволял засмеяться над собой во всё горло и неприличнейшим образом, в глаза, но в то же время – и я даю клятву в том – его сердце ныло и обливалось

кровью от мысли, что его слушатели так неблагородно-жестокосерды, что способны смеяться не факту, а над ним, над всем существом его, над сердцем, головой, над наружностию, над всею его плотью и кровью. Я уверен, что он чувствовал в эту минуту всю глупость своего положения; но протест тотчас же умирал в груди его, хотя непременно каждый раз зарождался великодушнейшим образом. Я уверен, что всё это происходило не иначе, как от доброго сердца, а вовсе не от материяльной невыгоды быть прогнанным в толчки и не занять у кого-нибудь денег: этот господин вечно занимал деньги, то есть просил в этой форме милостыню, когда, погримасничав и достаточно насмешив на свой счет, чувствовал, что имеет некоторым образом право занять. Но, Боже мой! какой это был заем! и с каким видом он делал этот заем! Я предположить не мог, чтоб на таком маленьком пространстве, как сморщенное, угловатое лицо этого человечка, могло уместиться в одно и то же время столько разнородных гримас, столько странных, разнохарактерных ощущений, столько самых убийственных впечатлений. Чего-чего тут не было! И стыд-то, и ложная наглость, и досада с внезапной краской в лице, и гнев, и робость за неудачу, и просьба о прощении, что смел утруждать, и сознание собственного достоинства, и полнейшее сознание собственного ничтожества – всё это, как молнии, проходило по лицу его. Целых шесть лет пробивался он таким образом на Божием свете и до сих пор не составил себе фигуры в интересную минуту займа! Само собою разумеется, что очерстветь и заподличаться вконец он не мог никогда. Сердце его было слишком подвижно, горячо! Я даже скажу более: по моему мнению, это был честнейший и благороднейший человек в свете, но с маленькою слабостию: сделать подлость по первому приказанию, добродушно и бескорыстно, лишь бы угодить ближнему. Одним словом, это был, что называется, человек-тряпка вполне. Всего смешнее было то, что он был одет почти так же, как все, не хуже, не лучше, чисто, даже с некоторою изысканностию и с поползновением на солидность и собственное достоинство. Это равенство наружное и неравенство внутреннее, его беспокойство за себя и в то же время беспрерывное самоумаление – всё это составляло разительнейший контраст и достойно было смеху и жалости. Если б он был уверен сердцем своим (что, несмотря на опыт, поминутно случалось с ним), что все его слушатели были добрейшие в мире люди, которые смеются только факту

смешному, а не над его обреченною личностию, то он с удовольствием снял бы фрак свой, надел его как-нибудь наизнанку и пошел бы в этом наряде, другим в угоду, а себе в наслаждение, по улицам, лишь бы рассмешить своих покровителей и доставить им всем удовольствие. Но до равенства он не мог достигнуть никогда и ничем. Еще черта: чудак был самолюбив и порывами, если только не предстояло опасности, даже великодушен. Нужно было видеть и слышать, как он умел отделать, иногда не щадя себя, следовательно с риском, почти с геройством, кого-нибудь из своих *покровителей,* уже донельзя его разбесившего. Но это было минутами... Одним словом, он был мученик в полном смысле слова, но самый бесполезнейший и, следовательно, самый комический мученик.

Между гостями поднялся общий спор. Вдруг я увидел, что чудак мой вскакивает на стул и кричит что есть мочи, желая, чтоб ему одному дали исключительно слово.

– Слушайте, – шепнул мне хозяин. – Он рассказывает иногда прелюбопытные вещи... Интересует он вас?

Я кивнул головою и втеснился в толпу.

Действительно, вид порядочно одетого господина, вскочившего па стул и кричавшего всем голосом, возбудил общее внимание. Многие, кто не знали чудака, переглядывались с недоумением, другие хохотали во всё горло.

– Я знаю Федосея Николаича! Я лучше всех должен знать Федосея Николаича! – кричал чудак с своего возвышения. – Господа, позвольте рассказать. Я хорошо расскажу про Федосея Николаича! Я знаю одну историю – чудо!..

– Расскажите, Осип Михайлыч, расскажите.

– Рассказывай!!

– Слушайте же...

– Слушайте, слушайте!!!

– Начинаю; но, господа, это история особенная...

– Хорошо, хорошо!

– Это история комическая.

– Очень хорошо, превосходно, прекрасно, – к делу!

– Это эпизод из собственной жизни вашего нижайшего...

– Ну зачем же вы трудились объявлять, что она комическая!

– И даже немного трагическая!

– А???!

– Словом, та история, которая вам всем доставляет счастие слушать меня теперь, господа, – та история, вследствие которой я попал в такую *интересную* для меня компанию.

– Без каламбуров!

– Та история...

– Словом, та история, – уж доканчивайте поскорее аполог, – та история, которая чего-нибудь стоит, – примолвил сиплым голосом один белокурый молодой господин с усами, запустив руку в карман своего сюртука и как будто нечаянно вытащив оттуда кошелек вместо платка.

– Та история, мои сударики, после которой я бы желал видеть многих из вас на моем месте. И наконец, та история, вследствие которой я не женился!

– Женился!., жена!.. Ползунков хотел жениться!!

– Признаюсь, я бы желал теперь видеть m-me Ползункову!

– Позвольте поинтересоваться, как звали прошедшую m-me Ползункову, – пищал один юноша, пробираясь к рассказчику.

– Итак, первая глава, господа:

То было ровно шесть лет тому, весной, 31 марта, – заметьте число, господа, – накануне...

– Первого апреля! – закричал юноша в завитках.

– Вы необыкновенно угадливы-с. Был вечер. Над уездным городом N. сгущались сумерки, хотела выплыть луна... ну, и всё там как следует. Вот-с, в самые поздние сумерки, втихомолочку, и я выплыл из своей квартирёнки, – простившись с моей замкнутой покойницей бабушкой. Извините, господа, что я употребляю такое модное выражение, слышанное мной в последний раз у Николай Николаича. Но бабушка моя была вполне *замкнутая:* она была слепа, нема, глуха, глупа, – всё что угодно!.. Признаюсь, я был в трепете, я собирался на великое дело; сердчишко во мне билось, как у котенка, когда его хватает чья-нибудь костлявая лапа за шиворот.

– Позвольте, m-r Ползунков!

– Чего требуете?

– Рассказывайте проще; пожалуйста, не слишком старайтесь!

– Слушаю-с, – проговорил немного смутившийся Осип Михайлыч. – Я вошел в домик Федосея Николаича (благоприобретенный-с). Федосей Николаич, как известно, не то чтобы сослуживец, но целый начальник. Обо мне доложили и тотчас же ввели в кабинет. Как теперь вижу: совсем, совсем почти темная комната, а свечей не подают. Смотрю, входит Федосей Николаич. Так мы и остаемся с ним в темноте...

– Что ж бы такое произошло между вами? – спросил один офицер.

– А как вы полагаете-с? – спросил Ползунков, немедленно обращаясь, с судорожно шевельнувшимся лицом, к юноше в завитках.

– Итак, господа, тут произошло одно странное обстоятельство. То есть странного тут не было ничего, а было, что называется, дело житейское, – я просто-запросто вынул из кармана сверток бумаг, а он из своего сверток бумажек, только государственными...

– Ассигнациями?

– Ассигнациями-с, и мы поменялись.

– Бьюсь об заклад, что тут пахло взятками, – проговорил один солидно одетый и выстриженный молодой господин.

– Взятками-с! – подхватил Ползунков. – Эх!

Пусть я буду либералом,

Каких много видел я!

если вы тоже, как вам попадется служить в губернии, не погреете рук... на родном очаге... Зане[1], сказал один литератор:

И дым отечества нам сладок и приятен!

Мать, мать, господа, родная, родина-то наша, мы птенцы, так мы ее и сосем!..

Поднялся общий смех.

– А только, поверите ли, господа, я никогда не брал взяток, – сказал Ползунков, недоверчиво оглядывая всё собрание.

Гомерический, неумолкаемый смех всем залпом своим накрыл слова Ползункова.

– Право так, господа...

Но тут он остановился, продолжая оглядывать всех с каким-то странным выражением лица. Может быть, – кто знает, – может быть,

[1] Так как, потому что, ибо (*книжн. устар.*).

в эту минуту ему вспало на ум, что он почестнее многих из всей этой честной компании... Только серьезное выражение лица его не исчезало до самого окончания всеобщей веселости.

– Итак, – начал Ползунков, когда все поумолкли, – хотя я никогда не брал взяток, но в этот раз грешен: положил в карман взятку... с взяточника... То есть были кое-какие бумажки в руках моих, которые если б я захотел послать кой-кому, так худо бы пришлось Федосею Николаичу.

– Так, стало быть, он их выкупил?

– Выкупил-с.

– Много дал?

– Дал столько, за сколько иной в наше время продал бы совесть свою, всю, со всеми варьяциями-с... если бы только что-нибудь дали-с. Только меня варом обдало, когда я положил в карман денежки. Право, я не знаю, как это со мной всегда делается, господа, – но вот, ни жив ни мертв, губами шевелю, ноги трясутся; ну, виноват, виноват, совсем виноват, в пух засовестился, готов прощенья просить у Федосея Николаича...

– Ну, что ж он, простил?

– Да я не просил-с... я только так говорю, что так оно было тогда; у меня, то есть, сердце горячее. Вижу, смотрит мне прямо в глаза:

– Бога, говорит, вы не боитесь, Осип Михайлыч.

Ну, что делать! Я этак развел из приличия руки, голову на сторону: «Чем же, я говорю, Бога не боюсь, Федосей Николаич?..» Только уж так говорю, из приличия... сам сквозь землю провалиться готов.

– Быв так долго другом семейства нашего, быв, могу сказать, сыном, – и кто знает, что небо предполагало, Осип Михайлыч! И вдруг что же, донос, готовить донос, и вот теперь!.. Что после этого думать о людях, Осип Михайлыч?

Да ведь как, господа, как рацею читал! «Нет, говорит, вы мне скажите, что после этого думать о людях, Осип Михайлыч?» Что, думаю, думать! Знаете, и в горле заскребло, и голосенко дрожит, ну уж предчувствую свой скверный норов и схватился за шляпу...

– Куда ж вы, Осип Михайлыч? Неужели накануне такого дня... Неужели вы и теперь злопамятствуете; чем я против вас согрешил?..

– Федосей Николаич, говорю, Федосей Николаич!

– Бьюсь об заклад, что тут пахло взятками, – проговорил один солидно одетый и выстриженный молодой господин.

Ну, то есть растаял, господа, как мокрый сахар-медович, растаял. Куда! и пакет, что в кармане лежит с государственными, и тот словно тоже кричит: неблагодарный ты, разбойник, тать окаянный, – словно пять пудов в нем, так тянет... (А если б и взаправду в нем пять пудов было!..)

– Вижу, – говорит Федосей Николаич, – вижу ваше раскаяние... вы, знаете, завтра...

– Марии Египетския-с...

– Ну, не плачь, – говорит Федосей Николаич, – полно: согрешил и покаялся! пойдем! Может быть, удастся мне возвратить, говорит, вас опять на путь истинный... Может быть, скромные пенаты мои (именно, помню, пенаты, так и выразился, разбойник) согреют, говорит, опять ваше очерств... не скажу очерствелое, – заблудшее сердце...

Взял он меня, господа, за руку и повел к домочадцам. Мне спину морозом прохватывает; дрожу! думаю, с какими глазами предстану я... А нужно вам знать, господа... как бы сказать, здесь выходило одно щекотливое дельце!

– Уж не госпожа ли Ползункова?

– Марья Федосеевна-с, – только не суждено, знать, ей было быть такой госпожой, какой вы ее называете, не дождалась такой чести! Оно, видите, Федосей-то Николаич был и прав, говоря, что в доме-то я почти сыном считался. Оно и было так назад тому полгода, когда еще был жив один юнкер в отставке Михайло Максимыч Двигайлов по прозвищу. Только он волею Божию помре, а завещание-то совершить всё в долгий ящик откладывал; оно и вышло так, что ни в каком ящике его не отыскали потом...

– Ух!!!

– Ну ничего, нечего делать, господа, простите, обмолвился, – каламбурчик-то плох, да это бы еще ничего, что он плох, – штука-то была еще плоше, когда я остался, так сказать, с нулем в перспективе, потому что юнкер-то в отставке – хоть меня в дом к нему и не пускали (на большую ногу жил, затем что были руки длинны!), – а тоже, может быть не ошибкой, родным сыном считал.

– Ага!!

– Да-с, оно вот как-с! Ну, и стали мне носы показывать у Федосея Николаича. Я замечал-замечал, кренился -кренился, а тут вдруг, на беду мою (а может, и к счастью!), как снег на голову ремонтер наскакал на

наш городишко. Дело-то оно его, правда, подвижное, легкое, кавалерийское, – только так плотно утвердился у Федосея Николаича, – ну, словно мортира, засел! Я обиходцем да стороночкой, по подлому норову, «так и так, говорю, Федосей Николаич, за что ж обижать! Я в некотором роде уж сын... Отеческого-то, отеческого когда я дождусь...» Начал он мне, сударик ты мой, отвечать! ну, то есть начнет говорить, поэму наговорит целую, в двенадцати песнях в стихах, только слушаешь, облизываешься да руки разводишь от сладости, а толку нет ни на грош, то есть какого толку, не разберешь, не поймешь, стоишь дурак дураком, затуманит, словно вьюн вьется, вывертывается; ну, талант, просто талант, дар такой, что вчуже страх пробирает! Я кидаться пошел во все стороны: туды да сюды! уж и романсы таскаю, и конфет привожу, и каламбуры высиживаю, охи да вздохи, болит, говорю, мое сердце, от амура болит, да в слезы, да тайное объяснение! ведь глуп человек! ведь не проверил у дьячка, что мне тридцать лет... куды! хитрить выдумал! нет же! не пошло мое дело, смешки да насмешки кругом, – ну, и зло меня взяло, за горло совсем захватило, – я улизнул, да в дом ни ногой, думал-думал – да хвать донос! Ну, поподличал, друга выдать хотел, сознаюсь, материяльцу-то было много, и славный такой материял, капитальное дело! Тысячу пятьсот серебром принесло, когда я его вместе с доносом на государственные выменял!

– А! так вот она, взятка-то!

– Да, сударь, вот была взяточка-то-с; поплатился мне взяточник! (И ведь не грешно, ну, право же, нет!) Ну, вот-с теперь продолжать начну: притащил он меня, если запомнить изволите, в чайную ни жива ни мертва; встречают меня: все как будто обиженные, то есть не то что обиженные, – разогорченные так, что уж просто... Ну, убиты, убиты совсем, а между тем и важность такая приличная на лицах сияет, солидность во взорах, этак что-то отеческое, родственное такое... блудный сын воротился к нам, – вот куда пошло! За чай усадили, а чего, у меня у самого словно самовар в грудь засел, кипит во мне, а ноги леденеют: умалился, струсил! Марья Фоминишна, супруга его, советница надворная (а теперь коллежская), мне *ты* с первого слова начала говорить: «Что ты, батенька, так похудел», – говорит. «Да так, прихварываю, говорю, Марья Фоминишна...» Голосенко-то дрожит у меня! А она мне ни с того ни с сего, знать, выжидала свое ввернуть, ехидна такая: «Что, видно,

совесть, говорит, твоей душе не по мерке пришлась, Осип Михайлыч, отец родной! Хлеб-соль-то наша, говорит, родственная возопияла к тебе! Отлились, знать, тебе мои слезки кровавые!» Ей-Богу, так и сказала, пошла против совести; чего! то ли за ней, бой-баба! Только так сидела да чай разливала. А поди-ка, я думаю, на рынке, моя голубушка, всех баб перекричала бы. Вот какая была она, наша советница! А тут, на беду мою, Марья Федосеевна, дочка, выходит, со всеми своими невинностями, да бледненька немножко, глазки раскраснелись, будто от слез, – я как дурак и погиб тут на месте. А вышло потом, что по ремонтере она слезки роняла: тот утек восвояси, улепетнул подобру-поздорову, потому что, знаете, знать (оно пришлось теперь к слову сказать), пришло ему время уехать, срок вышел, оно не то чтобы и казенный был срок-то! а так... уж после родители дражайшие спохватились, узнали всю подноготную, да что делать, втихомолку зашили беду, – своего дому прибыло!.. Ну, нечего делать, как взглянул я на нее, пропал, просто пропал, накосился на шляпу, хотел схватить да улепетнуть поскорее; не тут-то было: утащили шляпу мою... Я уж, признаться, и без шляпы хотел – ну, думаю, – нет же, дверь на крючок насадили, смешки дружеские начались, подмигиванья да заигрыванья, сконфузился я, что-то соврал, об амуре понес; она, моя голубушка, за клавикорды села да гусара, который на саблю опирался, пропела на обиженный тон, – смерть моя! «Ну, – говорит Федосей Николаич, – всё забыто, приди, приди... в объятия!» Я как был, так тут же и припал к нему лицом на жилетку. «Благодетель мой, отец ты мой родной!» – говорю, да как зальюсь своими горючими! Господи, Бог мой, какое тут поднялось! Он плачет, баба его плачет, Машенька плачет... тут еще белобрысенькая одна была: и та плачет... куда – со всех углов ребятишки повыползли (благословил его домком Господь!), и те ревут... сколько слез, то есть умиление, радость такая, блудного обрели, словно на родину солдат воротился! Тут угощение подали, фанты пошли: ох, болит! что болит? – сердце; по ком? Она краснеет, голубушка! Мы с стариком пуншику выпили, – ну, уходили, усластили меня совершенно...

Воротился я к бабушке. У самого голова кругом ходит; всю дорогу шел да подсмеивался, дома два часа битых по каморке ходил, старуху разбудил, ей всё счастье поведал. «Да денег-то дал ли, разбойник?» – «Дал, бабушка, дал, дал, родная моя, дал, привалило к нам, отворяй

ворота!» – «Ну, теперь хоть женись, так в ту ж пору женись, – говорит мне старуха, – знать, молитвы мои услышаны!» Софрона разбудил. «Софрон, говорю, снимай сапоги». Софрон потащил с меня сапоги. «Ну, Софроша! Поздравь ты теперь меня, поцалуй! Женюсь, просто, братец, женюсь, напейся пьян завтра, гуляй душа, говорю: барин твой женится!» Смешки да игрушки на сердце!.. Уж засыпать было начал; нет, подняло меня опять на ноги, сижу да думаю; вдруг и мелькни у меня в голове: завтра-де 1-е апреля, день-то такой светлый, игривый, как бы так? – да и выдумал! Что ж, сударики! с постели встал, свечу зажег, в чем был за стол письменный сел, то есть уж расходился совсем, заигрался, – знаете, господа, когда человек разыграется! Всей головой, отцы мои, в грязь полез! То есть вот какой норов: они у тебя вот что возьмут, а ты им вот и это отдашь: дескать, нате и это возьмите! Они тебя по ланите, а ты им на радостях всю спину подставишь. Они тебя потом калачом, как собаку, манить начнут, а ты тут всем сердцем и всей душой облапишь их глупыми лапами – и ну лобызаться! Ведь вот хоть бы теперь, господа! Вы смеетесь да шепчетесь, я ведь вижу! После, как расскажу вам всю мою подноготную, меня же начнете на смех подымать, меня же начнете гонять, а я-то вам говорю, говорю, говорю! Ну, кто мне велел! Ну, кто меня гонит! Кто у меня за плечами стоит да шепчет: говори, говори да рассказывай! А ведь говорю же, рассказываю, вам в душу лезу, словно вы мне, примером, все братья родные, друзья закадышные... э-эх!..

Хохот, начинавший мало-помалу подыматься со всех сторон, покрыл наконец совершенно голос рассказчика, действительно пришедшего в какой-то восторг; он остановился, несколько минут перебегая глазами по собранию, и потом вдруг, словно увлеченный каким-то вихрем, махнул рукой, захохотал сам, как будто действительно находя смешным свое положение, и снова пустился рассказывать:

– Едва заснул я в ту ночь, господа; всю ночь строчил на бумаге; видите ли, штуку я выдумал! Эх, господа! припомнить только, так совестно станет! И добро бы уж ночью: ну, с пьяных глаз, заблудился, напутал вздору, наврал, – нет же! Утром проснулся ни свет ни заря, всего-то и спал часик-другой, и за то же! Оделся, умылся, завился, припомадился, фрак новый напялил и прямо на праздник к Федосею Николаичу, а бумагу в шляпе держу. Встречает меня сам, с отверстыми, и опять зовет на жилетку

родительскую! Я и приосанился, в голове еще вчерашнее бродит! На шаг отступил. «Нет, говорю, Федосей Николаич, а вот, коль угодно, сию бумажку прочтите», – да и подаю ее при рапорте; а в рапорте-то знаете что было? А было: по таким-то да по таким-то, такого-то Осипа Михайлыча уволить в отставку, да под просьбой-то весь чин подмахнул! Вот ведь что выдумал, Господи! и умнее-то ничего придумать не мог! Дескать, сегодня 1-е апреля, так я вот и сделаю вид, ради шуточки, что обида моя не прошла, что одумался за ночь, одумался да нахохлился, да пуще прежнего обиделся, да, дескать, вот же вам, родные мои благодетели, и ни вас, ни дочки вашей знать не хочу; денежки-то вчера положил в карман, обеспечен, так вот, дескать, вам рапорт об отставке. Не хочу служить под таким начальством, как Федосей Николаич! в другую службу хочу, а там, смотри, и донос подам. Этаким подлецом представился, напугать их выдумал! и выдумал чем напугать! А? хорошо, господа? То есть вот заласкалось к ним сердце со вчерашнего дня, так дай я за это шуточку семейную отпущу, подтруню над родительским сердечком Федосея Николаича...

Только взял он бумагу мою, развернул, и вижу, шевельнулась у него вся физиономия, «Что ж, Осип Михайлыч?» А я как дурак: «1-е апреля! с праздником вас, Федосей Николаич!» – то есть совсем как мальчишка, который за бабушкино кресло спрятался втихомолку, да потом уф! ей на ухо, во всё горло, – попугать вздумал! Да... да просто даже совестно рассказывать, господа! Да нет же! я не буду рассказывать!

– Да нет, что же дальше?

– Да нет, да нет, расскажите! Нет, уж рассказывайте! – поднялось со всех сторон.

– Поднялись, судари мои, толки да пересуды, охи да ахи! и проказник-то я, и забавник-то я, и перепугал-то я их, ну, такое сладчайшее, что самому стыдно стало, так что стоишь да со страхом и думаешь: как такого грешника такое место святое на себе держать может! «Ну, родной ты мой, – запищала советница, – напугал меня так, что о сю пору ноги трясутся, еле на месте держат! Выбежала я как полуумная к Маше: Машенька, говорю, что с нами будет! Смотри, каким *твой-то* оказывается! Да сама согрешила, родимый, уж ты прости меня, старуху, опростоволосилась! Ну, думаю: как пошел он от нас вчера, пришел домой поздно, начал думать, да, может, показалось ему, что нарочно мы вчера ходили за ним, завлечь

хотели, так и обмерла я! Полно, Машенька, полно мигать мне, Осип Михайлыч нам не чужой; я же твоя мать, дурного ничего не скажу! Слава Богу, не двадцать лет на свете живу: целых сорок пять!.,»

Ну, что, господа! Чуть я ей в ноги не чебурахнулся тут! Опять прослезились, опять лобызания пошли! Шуточки начались! Федосей Николаич тоже для 1-го апреля шуточку изволили выдумать! Говорит, дескать, жар-птица прилетела, с бриллиантовым клювом, а в клюве-то письмо принесла! Тоже надуть хотел, – смех-то пошел какой! умиление-то было какое! тьфу! даже срамно рассказывать.

Ну, что, мои милостивцы, теперь и вся недолга! Пожили мы день, другой, третий, неделю живем; я уж совсем жених! Чего! Кольца заказаны, день назначали, только оглашать не хотят до времени, ревизора ждут. Я-то жду не дождусь ревизора, счастье мое остановилось за ним! Спустить бы его скорей с плеч долой, думаю. А Федосей-то Николаич под шумок и на радостях все дела свалил на меня: счеты, рапорты писать, книги сверять, итоги подводить, – смотрю: беспорядок ужаснейший, всё в запустении, везде крючки да кавыки! ну, думаю, потружусь для тестюшки! А тот всё прихварывает, болезнь приключилась, день ото дня ему, видишь, хуже. А чего, я сам, как спичка, ночей не сплю, повалиться боюсь! Однако кончил-таки дело на славу! выручил к сроку! Вдруг шлют за мной гонца. «Поскорей, говорят, худо Федосею Николаичу!» Бегу сломя голову – что такое? Смотрю, сидит мой Федосей Николаич обвязанный, уксусу к голове примочил, морщится, кряхтит, охает: ох да ох! «Родной ты мой, милый ты мой, говорит, умру, говорит, на кого-то я вас оставлю, птенцы мои!» Жена с детьми приплелась, Машенька в слезы, – ну, я и сам зарюмил! «Ну, нету же, говорит, Бог будет милостив! Не взыщет же Он с вас за все мои прегрешения!» Тут он их всех отпустил, приказал за ними дверь запереть, остались мы с ним вдвоем, с глазу на глаз. «Просьба есть до тебя!» – «Какая-с?» – «Так и так, братец, и на смертном одре нет покоя, зануждался совсем!» – «Как так?» Меня тут и краска прошибла, язык отнялся. «Да так, братец, из своих пришлось в казну приплатиться; я, братец, для пользы общей ничего не жалею, жизни своей не жалею! Ты не думай чего! Грустно мне, что меня пред тобой клеветники очернили... Заблуждался ты, горе с тех пор мою голову убелило! Ревизор на носу, а у Матвеева в семи тысячах недочет, а отвечаю я... кто ж больше!

С меня, братец, взыщут: чего смотрел? А что с Матвеева взять! Уж и так довольно с него; что горемыку под обух подводить!» Святители, думаю, вот праведник! вот душа! А он: «Да, говорит, дочерних брать не хочу, из того, что ей пошло на приданое; это священная сумма! Есть свои, есть, правда, да в люди отданы, где их сейчас соберешь!» Я тут как был, так и бряк перед ним на колени. «Благодетель ты мой, кричу, оскорбил я тебя, разобидел, клеветники на тебя бумаги писали, не убей вконец, возьми назад свои денежки!» Смотрит он на меня, потекли у него из глаз слезы. «Этого я и ждал от тебя, мой сын, встань; тогда простил ради дочерних слез! теперь и мое сердце прощает тебя. Ты залечил, говорит, мои язвы! благословляю тебя во веки веков!» Ну, как благословил-то он меня, господа, я во все лопатки домой, достал сумму: «Вот, батюшка, всё только пятьдесят целковых извел!» – «Ну ничего, говорит, а теперь всякое лыко в строку; время спешное, напиши-ка рапорт, задним числом, что зануждался да вперед просишь жалованья 50 руб. Я так и покажу по начальству, что тебе вперед выдано...» Ну что ж, господа! как вы думаете? ведь я и рапорт написал!

– Ну что же, ну чем же, ну как это кончилось?

– Только что написал я рапорт, сударики вы мои, вот чем кончилось. Назавтра же, на другой же день, ранехонько поутру пакет за казенной печатью. Смотрю – и что ж обретаю? Отставка! Дескать, сдать дела, свести счеты, а самому идти на все стороны!..

– Как так?

– Да уж и я тут благим матом крикнул: как так! сударики! Чего, в ушах зазвенело! Я думал спроста, ан нет, ревизор в город въехал. Дрогнуло сердце мое! Ну, думаю, неспроста! да так, как был, к Федосею Николаичу: «Что?» – говорю. «А что ж?» – говорит. «Да вот же отставка!» – «Какая отставка?» – «А это?» – «Ну что ж, и отставка-с!» – «Да как же, разве я пожелал?» – «А как же, вы подали-с, 1-го апреля вы подали» (а бумагу-то я не взял назад!). – «Федосей Николаич! да вас ли слышат уши мои, вас ли видят очи мои!» – «Меня-с, а что-с?» – «Господи, Бог мой!» – «Жаль мне, сударь, жаль, очень жаль, что так рано службу оставить задумали! Молодому человеку нужно служить, а у вас, сударь, ветер начал бродить в голове. А насчет аттестата будьте покойны: я позабочусь. Вы же так хорошо себя всегда аттестуете-с!» – «Да ведь я ж тогда

шуточкой, Федосей Николаич, я ж не хотел, я так подал бумагу, для родительского вашего... вот!» – «Как-с вот! Какое, сударь, шуточкой! Да разве такими бумагами шутят-с? да вас за такие шуточки когда-нибудь в Сибирь упекут-с. Теперь прощайте, мне некогда-с, у нас ревизор-с, обязанности службы прежде всего; вам бить баклуши, а нам тут сидеть за делами-с. А уж я вас там как следует аттестую-с. Да еще-с, вот я дом у Матвеева сторговал, переедем на днях, так уж надеюсь, что не буду иметь удовольствия вас на новоселье у себя увидеть. Счастливый путь!» Я домой со всех ног: «Пропали мы, бабушка!» – взвыла она, сердечная; а тут, смотрим, бежит казачок от Федосея Николаича, с запиской и с клеткой, а в клетке скворец сидит; это я ей от избытка чувств скворца подарил говорящего; а в записке стоит: *1-е апреля,* а больше и нет ничего. Вот, господа, что, как вы думаете-с?!

– Ну, что же, что же дальше???

– Чего дальше! встретил я раз Федосея Николаича, хотел было ему в глаза подлеца сказать...

– Ну!

– Да как-то не выговорилось, господа!

ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ

(Происшествие необыкновенное)

I

– Сделайте одолжение, милостивый государь, позвольте вас спросить...

Прохожий вздрогнул и несколько в испуге взглянул на господина в енотах, приступившего к нему так без обиняков, в восьмом часу вечера, среди улицы. А уж известно, что если один петербургский господин вдруг заговорит на улице о чем-нибудь с другим, совершенно незнакомым ему господином, то другой господин непременно испугается.

Итак, прохожий вздрогнул и несколько испугался.

– Извините, что я вас потревожил, – говорил господин в енотах, – но я... я, право, не знаю... вы, вероятно, извините меня; вы видите, я в некотором расстройстве духа...

Тут только заметил молодой человек в бекеше, что господин в енотах был точно в расстройстве. Его сморщенное лицо было довольно бледненько, голос его дрожал, мысли, очевидно, сбивались, слова не лезли с языка, и видно было, что ему ужасного труда стоило согласить покор-

нейшую просьбу, может быть к своему низшему в отношении степени или сословия лицу, с нуждою непременно обратиться к кому-нибудь с просьбой. Да и, наконец, просьба эта во всяком случае была неприличная, несолидная, странная со стороны человека, имевшего такую солидную шубу, такой почтенный, превосходного темно-зеленого цвета фрак и такие многознаменательные украшения, упещрявшие этот фрак. Видно было, что всё это смущало самого господина в енотах, так что наконец, расстроенный духом, господин не выдержал, решился подавить свое волнение и прилично замять неприятную сцену, которую сам же вызвал.

– Извините меня, я не в себе; но вы, правда, меня не знаете... Извините, что обеспокоил вас; я раздумал.

Тут он приподнял из учтивости шляпу и побежал далее.

– Но позвольте, сделайте милость.

Маленький человек, однако, скрылся во мраке, оставив в остолбенелом состоянии господина в бекеше.

«Что за чудак!» – подумал господин в бекеше. Потом, как следует подивившись и вышед наконец из остолбенелого состояния, он вспомнил про свое и начал прохаживаться взад и вперед, пристально глядя на ворота одного бесконечноэтажного дома. Начинал падать туман, и молодой человек несколько обрадовался, ибо прогулка его при тумане была незаметнее, хотя, впрочем, только какой-нибудь безнадежно весь день простоявший извозчик мог заметить ее.

– Извините!

Прохожий опять вздрогнул: опять тот же господин в енотах стоял перед ним.

– Извините, что я опять... – заговорил он, – но вы, вы – верно, благородный человек! Не обращайте на меня внимания как на лицо, взятое в общественном смысле; я, впрочем, сбиваюсь; но вникните, по-человечески... перед вами, сударь, человек, нуждающийся в покорнейшей просьбе...

– Если могу... что вам угодно?

– Вы, может, подумали, что уж я у вас денег прошу! – сказал таинственный господин, кривя рот, истерически смеясь и бледнея.

– Помилуйте-с...

– Нет, я вижу, что я вам в тягость! Извините, я не могу переносить себя; считайте, что вы видите меня в расстроенном состоянии духа, почти в сумасшествии, и не заключите чего-нибудь...

– Но к делу, к делу! – отвечал молодой человек, ободрительно и нетерпеливо кивнув головой.

– А! Теперь вот как! Вы, такой молодой человек, мне напоминаете о деле, как будто я какой нерадивый мальчишка! Я решительно выжил из ума!.. Как я вам кажусь теперь в моем унижении, скажите откровенно?

Молодой человек сконфузился и смолчал.

– Позвольте вас спросить откровенно: не видали ль вы одной дамы? В этом вся просьба моя! – решительно проговорил наконец господин в енотовой шубе.

– Дамы?

– Да-с, одной дамы.

– Я видел... но их, признаюсь, так прошло много...

– Так точно-с, – отвечал таинственный человек с горькой улыбкой. – Я сбиваюсь, я не то хотел спросить, извините меня; я хотел сказать, не видали ль вы одной госпожи в лисьем салопе, в темном бархатном капоре с черной вуалью?

– Нет, такой не видал... нет, кажется, не заметил.

– А! в таком случае извините-с!

Молодой человек хотел что-то спросить, но господин в енотах опять исчез, опять оставив в остолбенелом состоянии своего терпеливого слушателя. «А, черт бы его взял!» – подумал молодой человек в бекеше, очевидно расстроенный.

Он с досадою закрылся бобром и опять стал прохаживаться, соблюдая предосторожности, мимо ворот бесконечноэтажного дома. Он злился.

«Что ж она не выходит? – думал он. – Скоро восемь часов!»

На башне пробило восемь часов.

– Ах! черт вас возьми, наконец!

– Извините-с!..

– Извините меня, что я вас так... Но вы так подкатились мне под ноги, что испугали совсем, – проговорил прохожий, морщась и извиняясь.

– Я опять к вам-с. Конечно, я вам должен казаться беспокойным и странным-с.

– Сделайте одолжение, без пустяков, объяснитесь скорее; я еще не знаю, в чем ваше желанье?..

– Вы торопитесь? Видите ли-с. Я вам всё расскажу откровенно, без лишних слов. Что ж делать! Обстоятельства связывают иногда людей совершенно разнородных характеров... Но, я вижу, вы нетерпеливы, молодой человек... Так вот-с... впрочем, я не знаю, как и говорить: я ищу даму-с (я уж решился всё говорить). Я именно должен знать, куда пошла эта дама? Кто она, – я думаю, вам не нужно знать ее имени, молодой человек.

– Ну-с, ну-с, дальше.

– Дальше! но ваш тон со мной! Извините, может быть, я вас оскорбил, назвав вас молодым человеком, но я не имел ничего... одним словом, если вам угодно оказать мне величайшую услугу, так вот-с, одна дама-с, то есть я хочу сказать порядочная женщина, из превосходного семейства, моих знакомых... мне поручено... я, видите ли, сам не имею семейства...

– Ну-с.

– Вникните в мое положение, молодой человек (ах, опять! извините-с; я всё называю вас молодым человеком). Каждая минута дорога... Представьте себе, эта дама... но не можете ли вы мне сказать, кто живет в этом доме?

– Да... тут много живут.

– Да, то есть вы совершенно справедливы, – отвечал господин в енотах, слегка засмеявшись для спасения приличий, – чувствую, я немного сбиваюсь... но к чему такой тон ваших слов? Вы видите, что я чистосердечно сознаюсь в том, что сбиваюсь, и если вы надменный человек, то уж вы достаточно видели мое унижение... Я говорю, одна дама, благородного поведения, то есть легкого содержания, – извините, я так сбиваюсь, точно про литературу какую говорю; вот – выдумали, что Поль де Кок[1] легкого содержания, а вся беда от Поль де Кока-то-с... вот!..

Молодой человек с сожалением посмотрел на господина в енотах, который, казалось, окончательно сбился, замолчал, глядел на него, бессмысленно улыбаясь, и дрожащею рукою, без всякой видимой причины, хватал его за лацкан бекеши.

---

[1] *Поль де Кок* – французский писатель XIX в., чье имя стало символом фривольной литературы.

– Вы спрашиваете, кто здесь живет? – спросил молодой человек, несколько отступая назад.

– Да, многие живут, вы сказали.

– Здесь... я знаю, что здесь Софья Остафьевна тоже живет, – проговорил молодой человек шепотом и даже с каким-то соболезнованием.

– Ну, вот видите, видите! вы что-нибудь знаете, молодой человек?

– Уверяю вас, нет, ничего не знаю... Я судил по расстроенному вашему виду.

– Я тотчас узнал от кухарки, что она сюда ходит; но вы не на то напали, то есть не к Софье Остафьевне... она с ней незнакома...

– Нет? ну, извините-с...

– Видно, что вам это всё неинтересно, молодой человек, – проговорил странный господин с горькой иронией.

– Послушайте, – сказал молодой человек заминаясь, – я в сущности не знаю причины вашего состояния, но вам, верно, изменили, вы скажите прямо?

Молодой человек одобрительно улыбнулся.

– Мы по крайней мере поймем друг друга, – прибавил он, и всё тело его великодушно обнаружило желание сделать легкий полупоклон.

– Вы убили меня! но – откровенно признаюсь вам – именно так... но с кем не случается!.. До глубины тронут вашим участием. Согласитесь, между молодыми людьми... Я хоть не молод, но, знаете, привычка, холостая жизнь, между холостёжью, известно...

– Ну, уж известно, известно! Но чем же я могу вам помочь?

– А вот-с; согласитесь, что посещать Софью Остафьевну... Впрочем, я еще не знаю наверно, куда пошла эта дама; я знаю только, что она в этом доме; но, видя вас прогуливающимся, – а я сам прогуливался по той стороне, – думаю... я вот, видите ли, жду эту даму... я знаю, что она тут, – мне бы хотелось встретить ее и объяснить, как неприлично и гнусно... одним словом, вы меня понимаете...

– Гм! Ну!

– Я и не для себя это делаю; вы не подумайте – это чужая жена! Муж там стоит, на Вознесенском мосту; он хочет поймать, но он не решается – он еще не верит, как и всякий муж... (тут господин в енотах хотел улыбнуться), я – друг его; согласитесь сами, я человек, пользующийся

некоторым уважением, – я не могу быть тем, за кого вы меня принимаете.

– Конечно-с; ну-с, ну-с!..

– Так вот, я всё ее ловлю; мне поручено-с (несчастный муж!); но я знаю, это хитрая молодая дама (вечно Поль де Кок под подушкой); я уверен, что она прошмыгнет как-нибудь незаметно... Мне, признаюсь, кухарка сказала, что она ходит сюда; я как сумасшедший бросился, только что известие получил; я хочу поймать; я давно подозревал и потому хотел просить вас, вы здесь ходите... вы – вы – я не знаю...

– Ну, да, наконец, что ж вам угодно?

– Да-с... Не имею чести знать вас; не смею любопытствовать, кто и как... Во всяком случае, позвольте познакомиться; приятный случай!..

Дрожащий господин жарко потряс руку молодого человека.

– Это бы я должен был сделать в самом начале, – прибавил он, – но я забыл всё приличие!

Говоря, господин в енотах не мог постоять на месте, с беспокойством оглядывался по сторонам, семенил ногами и поминутно, как погибающий, хватался рукою за молодого человека.

– Видите ли-с, – продолжал он, – я хотел обратиться к вам по-дружески... извините за вольность... хотел испросить у вас, чтоб вы ходили – по той стороне и со стороны переулка, где черный выход, этак *покоем,* описывая букву *П* то есть. Я тоже, с своей стороны, буду ходить с главного подъезда, так что мы не пропустим; а я всё боялся один пропустить; я не хочу пропустить. Вы, как увидите ее, то остановите и закричите мне... Но я сумасшедший! Только теперь вижу всю глупость и неприличие моего предложения!

– Нет, что ж! помилуйте!..

– Не извиняйте меня; я в расстройстве духа, я теряюсь, как никогда не терялся! Точно меня под суд отдали! Я даже признаюсь вам – я буду благороден и откровенен с вами, молодой человек: я даже вас принимал за любовника!

– То есть, попросту, вы хотите знать, что я здесь делаю?

– Благородный человек, милостивый государь, я далек от мысли, что вы *он;* я не замараю вас этою мыслию, но... но даете ли вы мне честное слово, что вы не любовник?..

– Ну, хорошо, извольте, честное слово, что любовник, но не вашей жены; иначе бы я не был на улице, а был бы теперь вместе с нею!

– Жены? кто вам сказал жены, молодой человек? Я холостой, я, то есть, сам любовник...

– Вы говорили, есть муж... на Вознесенском мосту...

– Конечно, конечно, я заговариваюсь; но есть другие узы! И согласитесь, молодой человек, некоторая легкость характеров, то есть...

– Ну, ну! Хорошо, хорошо!..

– То есть я вовсе не муж...

– Очень верю-с. Но откровенно говорю вам, что, разуверяя вас теперь, хочу сам себя успокоить и оттого собственно с вами и откровенен; вы меня расстроили и мешаете мне. Обещаю вам, что кликну вас. Но прошу вас покорнейше дать мне место и удалиться. Я сам тоже жду.

– Извольте, извольте-с, я удаляюсь, я уважаю страстное нетерпение вашего сердца. Я понимаю это, молодой человек. О, как я вас теперь понимаю!

– Хорошо, хорошо...

– До свидания!.. Впрочем, извините, молодой человек, я опять к вам... Я не знаю, как сказать... Дайте мне еще раз честное и благородное слово, что вы не любовник!

– Ах, Господи, Бог мой!

– Еще вопрос, последний: вы знаете фамилию мужа вашей... то есть той, которая составляет ваш предмет?

– Разумеется, знаю; не ваша фамилия, и кончено дело!

– А почему ж вы знаете мою фамилию?

– Да послушайте, ступайте; вы теряете время: она уйдет тысячу раз... Ну, что же вы? Ну, ваша в лисьем салопе и в капоре, а моя в клетчатом плаще и в голубой бархатной шляпке... Ну, что ж вам еще? чего ж больше?

– В голубой бархатной шляпке! У ней есть и клетчатый плащ и голубая шляпка, – закричал неотвязчивый человек, мигом возвратившись с дороги.

– Ах, черт возьми! Ну, да ведь это может случиться... Да, впрочем, что ж я! Моя же туда не ходит!

– А где она – ваша?

– Вам это хочется знать; что ж вам?

– Признаюсь, я всё про то...

– Фу, Бог мой! Да вы без стыда без всякого! Ну, у моей здесь знакомые, в третьем этаже, на улицу. Ну, что ж вам, по именам людей называть, что ли?

– Бог мой! И у меня есть знакомые в третьем этаже, и окна на улицу. Генерал...

– Генерал?!

– Генерал. Я вам, пожалуй, скажу, какой генерал: ну, генерал Половицын.

– Вот тебе на! Нет, это не те! (Ах, черт возьми! черт возьми!)

– Не те?

– Не те.

Оба молчали и в недоумении смотрели друг на друга.

– Ну, что ж вы так смотрите на меня? – вскрикнул молодой человек, с досадою отряхая с себя столбняк и раздумье.

Господин заметался.

– Я, я, признаюсь...

– Нет, уж позвольте, позвольте, теперь будемте говорить умнее. Общее дело. Объясните мне... Кто у вас там?..

– То есть знакомые?

– Да, знакомые...

– Вот видите, видите! Я по глазам вашим вижу, что я угадал!

– Черт возьми! да нет же, нет, черт возьми! слепы вы, что ли? ведь я перед вами стою, ведь я не с ней нахожусь; ну! ну же! Да, впрочем, мне всё равно; хоть говорите, хоть нет!

Молодой человек в бешенстве повернулся два раза на каблуке и махнул рукой.

– Да я ничего, помилуйте, как благородный человек, я вам всё расскажу: сначала жена сюда ходила одна; она им родня; я и не подозревал; вчера встречаю его превосходительство: говорит, что уж три недели как переехал отсюда на другую квартиру, а же... то есть не жена, а чужая жена (на Вознесенском мосту), эта дама говорила, что еще третьего дня была у них, то есть на этой квартире... А кухарка-то мне рассказала, что квартиру его превосходительства снял молодой человек Бобыницын...

– Ах, черт возьми, черт возьми!..

– Милостивый государь, я в страхе, я в ужасе!

– Э, черт возьми! да мне-то какое дело до того, что вы в страхе и в ужасе? Ах! вон-вон мелькнуло, вон...

– Где? где? вы только крикните: Иван Андреич, а я побегу...

– Хорошо, хорошо. Ах, черт возьми, черт возьми! Иван Андреич!!

– Здесь, – закричал воротившийся Иван Андреич, совсем задыхаясь. – Ну, что? что? где?

– Нет, я только так... я хотел знать, как зовут эту даму?

– Глаф...

– Глафира?

– Нет, не совсем Глафира... извините, я вам не могу сказать ее имя. – Говоря это, почтенный человек был бледен как платок.

– Да, конечно, не Глафира, я сам знаю, что не Глафира, и та не Глафира; а впрочем, с кем же она?

– Где?

– Там! Ах, черт возьми, черт возьми! (Молодой человек не мог устоять на месте от бешенства.)

– А, видите! почему же вы знали, что ее зовут Глафирой?

– Ну, черт возьми, наконец! еще с вами возня! Да ведь вы говорите – вашу не Глафирой зовут!..

– Милостивый государь, какой тон!

– А, черт, не до тону! Что она, жена, что ли, ваша?

– Нет, то есть я не женат... Но не стал бы я сулить почтенному человеку в несчастии, – человеку – не скажу достойному всякого уважения, но по крайней мере воспитанному человеку, – черта на каждом шагу. Вы всё говорите: черт возьми! черт возьми!

– Ну да, черт возьми! вот же вам, понимаете?

– Вы ослеплены гневом, и я молчу. Боже мой, кто это?

– Где?

Раздался шум и хохот; две смазливые девушки вышли с крыльца; оба бросились к ним.

– Ах какие! что вы?

– Куда вы суетесь?

– Не те!

– Что, не на тех напали! Извозчик!

– Куда вас, мамзель?

– К Покрову; садись, Аннушка, я довезу.

– Ну, а я с той стороны; пошел! Смотри же, шибче вези...

Извозчик уехал.

– Это откуда?

– Боже мой, Боже! Но не пойти ли туда?

– Куда?

– Да к Бобыницыну.

– Нет-с, нельзя...

– Отчего?

– Я бы, конечно, пошел; но тогда она скажет другое; она... обернется: я ее знаю! Она скажет, что нарочно пришла, чтоб меня поймать с кем-нибудь, да беду на меня же и свалит!

– И знать, что, может быть, там она! Да вы – я не знаю, почему же – ну, да вы подите к генералу-то...

– Да ведь он переехал!

– Всё равно, понимаете? она же ведь пошла; ну, и вы тоже – поняли? Сделайте так, что как будто не знаете, что генерал переехал, приходите как будто к нему за женой, ну и так далее.

– А потом?

– Ну, а потом накрывайте кого следует у Бобыницына; фу, ты, черт, какой бестолк...

– Ну, а вам-то что до того, что я накрываю? Видите, видите!..

– Что, что, батенька? что? опять за то же, что прежде? Ах, ты, Господи, Господи! Срамитесь вы, смешной человек, бестолковый вы человек!

– Ну, да зачем же вы так интересуетесь? вы хотите узнать...

– Что узнать? что? Ну, да, черт возьми, не до вас теперь! Я и один пойду; ступайте, подите прочь; стерегите, бегайте там, ну!

– Милостивый государь, вы почти забываетесь! – закричал господин в енотах в отчаянии.

– Ну, что ж? ну, что ж, что я забываюсь? – проговорил молодой человек, стиснув зубы и в бешенстве приступая к господину в енотах, – ну, что ж? перед кем забываюсь?! – загремел он, сжимая кулаки.

– Но, милостивый государь, позвольте...

– Ну, кто вы, перед кем забываюсь; как ваша фамилия?

– Я не знаю, как это, молодой человек; зачем же фамилию?.. Я не могу объявить... Я лучше с вами пойду. Пойдемте, я не отстану, я на всё готов... Но, поверьте, я заслуживаю более вежливых выражений! Не нужно нигде терять присутствия духа, и если вы чем расстроены, – я догадываюсь чем, – то по крайней мере забываться не нужно... Вы еще очень, очень молодой человек!..

– Да что мне, что вы старый? Эка невидаль! ступайте прочь; чего вы тут бегаете?..

– Почему ж я старый? какой же я старый? Конечно, по званию, но я не бегаю...

– Это и видно. Да убирайтесь же прочь...

– Нет, уж я с вами; вы мне не можете запретить; я тоже замешан; я с вами...

– Ну, так тише же, тише, молчать!..

Оба они взошли на крыльцо и поднялись на лестницу в третий этаж; было темнехонько.

– Стойте! Есть у вас спички?

– Спички? какие спички?

– Вы курите сигары?

– А, да! есть, есть; здесь они, здесь; вот, постойте... – Господин в енотах засуетился.

– Фу, какой бестолков... черт! кажется, эта дверь...

– Эта-эта-эта-эта-эта...

– Эта-эта-эта... что вы орете? тише!..

– Милостивый государь, я скрепя сердце... вы дерзкий человек, вот что!..

Вспыхнул огонь.

– Ну, так и есть, вот медная дощечка! вот Бобыницын; видите: Бобыницын?..

– Вижу, вижу!

– Ти... ше! Что, потухла?

– Потухла.

– Нужно постучаться!

– Да, нужно! – отозвался господин в енотах.

– Стучитесь!

– Нет, зачем же я? вы начните, вы постучите...

– Трус!

– Сами вы трус!

– Уб-бир-райтесь же!

– Я почти раскаиваюсь, что поверил вам тайну; вы...

– Я? Ну, что ж я?

– Вы воспользовались расстройством моим! вы видели, что я в расстроенном духе...

– А наплевать! мне смешно – вот и кончено!

– Зачем же вы здесь?

– А вы-то зачем?..

– Прекрасная нравственность! – заметил с негодованием господин в енотах...

– Ну, что вы про нравственность? вы-то чего?

– А вот и безнравственно!

– Что?!!

– Да, по-вашему, каждый обиженный муж есть колпак!

– Да вы разве муж? Ведь муж-то на Вознесенском мосту? Что ж вам-то? Чего вы пристали?

– А вот мне кажется, что вы-то и есть любовник!..

– Послушайте, если вы будете так продолжать, то я должен буду признаться, что вы-то и есть колпак! то есть знаете кто?

– То есть вы хотите сказать, что я муж! – сказал господин в енотах, как будто кипятком обваренный, отступая назад.

– Тсс! молчать! слышите...

– Это она.

– Нет!

– Фу, как темно!

Всё затихло; в квартире Бобыницына послышался шум.

– За что нам ссориться, милостивый государь? – прошептал господин в енотах.

– Да вы же, черт возьми, сами обиделись!

– Но вы меня вывели из последних границ.

– Молчите!

– Согласитесь, что вы еще очень молодой человек...

– Мо-л-чите же!

– Конечно, я согласен с вашей идеей, что муж в таком положении – колпак.

– Да замолчите ли вы? о!..

– Но к чему же такое озлобленное преследование несчастного мужа?..

– Это она!

Но шум в это время умолк.

– Она?

– Она! она! она! Да вы-то, вы-то из чего хлопочете! ведь не ваша беда!

– Милостивый государь, милостивый государь! – бормотал господин в енотах, бледнея и всхлипывая, – я, конечно, в расстройстве... вы достаточно видели мое унижение; но теперь ночь, конечно, но завтра... впрочем, мы, верно, не встретимся завтра, хотя я и не боюсь встретиться с вами, – и это, впрочем, не я, это мой приятель, который на Вознесенском мосту; право, он! Это его жена, это чужая жена! Несчастный человек! уверяю вас. Я с ним знаком хорошо; позвольте, я вам всё расскажу. Я с ним друг, как вы можете видеть, ибо не стал бы я так теперь из-за него сокрушаться, – сами видите; я же несколько раз ему говорил: зачем ты женишься, милый друг? звание есть у тебя, достаток есть у тебя, почтенный ты человек, что ж менять это всё на прихоть кокетства! Согласитесь! Нет, женюсь, говорит: семейное счастие... Вот и семейное счастие! Сначала сам мужей обманывал, а теперь и пьет чашу... вы извините меня, но это объяснение было вынуждено необходимостию!.. Он несчастный человек и пьет чашу – вот!.. – Тут господин в енотах так всхлипнул, как будто зарыдал не на шутку.

– А черт бы взял их всех! Мало ли дураков! Да вы кто такой?

Молодой человек скрежетал зубами от бешенства.

– Ну, уж после этого, согласитесь сами... я был с вами благороден и откровенен... этакой тон!

– Нет, позвольте, вы меня извините... как ваша фамилия?

– Нет, зачем же фамилия?

– А!!

– Мне нельзя сказать фамилию...

– Шабрина знаете? – быстро сказал молодой человек.

– Шабрин!!!

– Да, Шабрин! а!!! (Тут господин в бекеше несколько поддразнил господина в енотах.) Поняли дело?

– Нет-с, какой же Шабрин! – отвечал оторопевший господин в енотах, – совсем не Шабрин; он почтенный человек! Извиняю вашу невежливость мучениями ревности.

– Мошенник он, продажная душа, взяточник, плут, казну обворовал! Его скоро под суд отдадут!

– Извините, – говорил господин в енотах, бледнея, – вы его не знаете; совершенно, как я вижу, он вам неизвестен.

– Да, в лицо-то не знаю, а из других очень близких ему источников знаю.

– Милостивый государь, из каких источников? Я в расстройстве, вы видите...

– Дурак! ревнивец! за женой не усмотрит! Вот он какой, коль приятно вам знать!

– Извините, вы в ожесточенном заблуждении, молодой человек...

– Ах!

– Ах!

В квартире Бобыницына послышался шум. Стали отворять дверь. Послышались голоса.

– Ах, это не она, не она! Я узнаю ее голос; я теперь узнал всё, это не она! – сказал господин в енотах, побледнев как платок.

– Молчать!

Молодой человек прислонился к стене.

– Милостивый государь, я бегу: это не она, я очень рад.

– Ну, ну! ступайте, ступайте!

– А чего ж вы стоите?

– А вы-то чего?

Дверь отворилась, и господин в енотах, не выдержав, стремглав покатился с лестницы.

Мимо молодого человека прошли мужчина и женщина, и сердце его замерло... Послышался знакомый женский голос, и потом сиплый мужской, но совсем незнакомый.

– Ничего, я прикажу сани подать, – говорил сиплый голос.

– Ах! ну, ну, согласна; ну, прикажите...

– Они там, сейчас.

Дама осталась одна.

– Глафира! где твои клятвы? – вскричал молодой человек в бекеше, хватая за руку даму.

– Ай, кто это? Это вы, Творогов? Боже мой! что вы делаете?

– С кем вы здесь были?

– Но это мой муж, уйдите, уйдите, он сейчас выйдет оттуда... от Половицыных; уйдите, ради Бога, уйдите.

– Половицыны три недели как переехали! Я всё знаю!

– Ай! – Дама бросилась на крыльцо. Молодой человек догнал ее.

– Кто вам сказал? – спросила дама.

– Муж ваш, сударыня, Иван Андреич; он здесь, он перед вами, сударыня...

Иван Андреич действительно стоял у крыльца.

– Ай, это вы? – закричал господин в енотовой шубе.

– A! c'est vous?[1] – закричала Глафира Петровна, с неподдельною радостью бросаясь к нему, – Боже! что со мной было! Я была у Половицыных; можешь себе представить... ты знаешь, что они теперь у Измайловского моста; я говорила тебе, помнишь? Я взяла сани оттудова. Лошади взбесились, понесли, разбили сани, и я упала отсюда во ста шагах; кучера взяли; я была вне себя. К счастию, m-r[2] Творогов...

– Как?

M-r Творогов походил более на окаменелость, чем на m-r Творогова.

– M-r Творогов увидал меня здесь и взялся проводить; но теперь ты здесь, и я могу вам только изъявить мою жаркую благодарность, Иван Ильич...

Дама подала руку остолбенелому Ивану Ильичу и почти ущипнула, а не сжала ее.

– M-r Творогов! мой знакомый; на бале у Скорлуповых имели удовольствие видеться: я, кажется, говорила тебе? Неужели ты не помнишь, Коко?

– Ах, конечно, конечно! ах, помню! – заговорил господин в енотовой шубе, которого называли Коко. – Очень приятно, очень приятно.

---

[1] Это вы? (*фр.*)

[2] Сокр. от monsieur – господин (*фр.*).

И он жарко пожал руку г. Творогову.

– Это с кем? Что же это значит? Я жду... – раздался сиплый голос.

Перед группой стоял господин бесконечного роста; он вынул лорнет и внимательно посмотрел на господина в енотовой шубе.

– Ах, m-r Бобыницын! – защебетала дама. – Откудова? вот встреча! Представьте, меня тотчас разбили лошади... но вот мой муж! Jean![1] M-r Бобыницын, на бале у Карповых...

– Ах, очень, очень, очень приятно!.. Но я сейчас возьму карету, мой друг.

– Возьми, Jean, возьми: я вся в испуге; я дрожу; со мной даже дурно... Сегодня в маскараде, – шепнула она Творогову... – Прощайте, прощайте, господин Бобыницын! мы, верно, встретимся завтра на бале у Карповых...

– Нет, извините, я завтра не буду; я уж завтра того, коль теперь не так... – Г. Бобыницын проворчал что-то еще сквозь зубы, шаркнул сапожищем, сел в свои сани и уехал.

Подъехала карета; дама села в нее. Господин в енотовой шубе остановился; казалось, он не в силах был сделать движения и бессмысленно смотрел на господина в бекеше. Господин в бекеше улыбался довольно неостроумно.

– Я не знаю...

– Извините, очень рад быть знакомым, – отвечал молодой человек, кланяясь с любопытством и немного сробев.

– Очень, очень рад...

– У вас, кажется, свалилась калоша...

– У меня? Ах да! благодарю, благодарю; хочу всё завести резинные...

– В резинных нога как будто потеет-с, – сказал молодой человек, по-видимому с безграничным участием.

– Jean! да скоро ли ты?

– Именно потеет. Сейчас, сейчас, душенька, вот разговор интересный! Именно, как вы изволили заметить, потеет нога... Впрочем, извините, я...

– Помилуйте-с.

– Очень, очень, очень рад познакомиться...

---

[1] Жан (*фр.*).

Господин в енотах сел в карету; карета тронулась; молодой человек всё еще стоял на месте, в изумлении провожая ее глазами.

II

На другой же вечер шло какое-то представление в Итальянской опере. Иван Андреевич ворвался в залу как бомба. Еще никогда не замечали в нем такого furore[1], такой страсти к музыке. По крайней мере положительно знали, что Иван Андреевич чрезвычайно любил всхрапнуть часок-другой в Итальянской опере; даже отзывался несколько раз, что оно и приятно, и сладко; – «да и примадонна-то тебе, – говаривал он друзьям, – мяукает, словно беленькая кошечка, колыбельную песенку». Но он это уже давно что-то говаривал, еще в прошлый сезон; а теперь, увы! Иван Андреевич и дома не спит по ночам. Однако ж он все-таки ворвался как бомба в залу, набитую битком. Даже капельдинер взглянул на него как-то подозрительно и тут же накосился глазом на его боковой карман, в полной надежде увидеть ручку припрятанного на всякий случай кинжала. Нужно заметить, что в то время процветали две партии и каждая стояла за свою примадонну. Одни назывались ***зисты,* другие ***нисты.* Обе партии до того любили музыку, что капельдинеры наконец решительно стали опасаться какого-нибудь очень решительного проявления любви ко всему прекрасному и высокому, совмещавшемуся в двух примадоннах. Вот почему, смотря на такой юношеский порыв в залу театра даже седовласого старца, хотя, впрочем, не совсем седовласого, а так, около пятидесяти лет, плешивенького, и вообще человека с виду солидного свойства, капельдинер невольно вспомнил высокие слова Гамлета, датского принца:

Когда уж старость падает так страшно,
Что ж юность?
и т. д.

и, как было сказано выше, накосился на боковой карман фрака, в надежде увидеть кинжал. Но там был только один бумажник, и более ничего.

[1] Неистовство (*итал.*).

Влетев в театр, Иван Андреевич мигом облетел взглядом все ложи второго яруса, и – о ужас! сердце его замерло: она была здесь! она сидела в ложе! Тут был и генерал Половицын с супругою и свояченицею; тут был и адъютант генерала – чрезвычайно ловкий молодой человек; тут был еще один статский... Иван Андреевич напряг всё внимание, всю остроту зрения, но – о, ужас! статский человек предательски спрятался за адъютанта и остался во мраке неизвестности.

Она была здесь, а между тем сказала, что будет вовсе не здесь!

Вот эта-та двойственность, проявлявшаяся с некоторого времени на каждом шагу Глафиры Петровны, и убивала Ивана Андреевича. Вот этот-то статский юноша и поверг его наконец в совершенное отчаяние. Он опустился в кресла совсем пораженный. Отчего бы, кажется? Случай очень простой...

Нужно заметить, что кресла Ивана Андреевича приходились именно возле бенуара, и вдобавок предательская ложа второго яруса приходилась прямо над его креслами, так что он, к величайшей своей неприятности, решительно ничего не мог заметить, что делалось над его головою. Зато он злился и горячился, как самовар. Весь первый акт прошел для него незаметно, то есть он не слыхал ни одной ноты. Говорят, что музыка тем и хороша, что можно настроить музыкальные впечатления под лад всякого ощущения. Радующийся человек найдет в звуках радость, печальный – печаль; в ушах Ивана Андреевича завывала целая буря. К довершению досады, сзади, спереди, сбоку кричали такие страшные голоса, что у Ивана Андреевича разрывалось сердце. Наконец акт кончился. Но в ту минуту, как падал занавес, с нашим героем случилось такое приключение, которое никакое перо не опишет.

Случается, что иногда с верхних ярусов лож слетает афишка. Когда пьеса скучна и зрители зевают, для них это целое приключение. Особенно с участием смотрят они на полет этой чрезвычайно мягкой бумаги с самого верхнего яруса и находят приятность следить за ее путешествием зигзагами до самых кресел, где она непременно уляжется на чью-нибудь вовсе не приготовленную к этому случаю голову. Действительно, очень любопытно смотреть, как эта голова сконфузится (потому что она непременно сконфузится). Мне всегда тоже бывает страшно за дамские бинокли, которые лежат зачастую на бордюрах лож: мне всё так и кажется, что

они вот тотчас слетят на чью-нибудь не приготовленную к этому случаю голову. Но я вижу, что некстати сделал такое трагическое примечание, и потому отсылаю его к фельетонам тех газет, которые предохраняют от обманов, от недобросовестности, от тараканов, если они у вас есть в доме, рекомендуя известного г-на Принчипе, страшного врага и противника всех тараканов на свете, не только русских, но даже и иностранных, как-то прусаков и проч.

Но с Иваном Андреевичем случилось приключение, до сих пор еще нигде не описанное. К нему слетела на голову, – как уже сказано, довольно плешивую, – не афишка. Признаюсь, я даже совещусь сказать, что к нему слетело на голову, потому что действительно как-то совестно объявить, что на почтенную и обнаженную, то есть отчасти лишенную волос, голову ревнивого, раздраженного Ивана Андреевича слетел такой безнравственный предмет, как например любовная раздушенная записочка. По крайней мере бедный Иван Андреевич, совершенно не приготовленный к этому непредвиденному и безобразному случаю, вздрогнул так, как будто поймал на своей голове мышь или другого какого-нибудь дикого зверя.

Что записка была любовного содержания, в этом ошибаться было нельзя. Она была писана на раздушенной бумажке, совершенно так, как пишутся записки в романах, и сложена в предательски малую форму, так что ее можно было скрыть под дамской перчаткой. Упала же она, вероятно, по случаю, во время самой передачи: как-нибудь спрашивали, например, афишку, и уж записочка проворно была ввернута в эту афишку, уже передавалась в известные руки, но один миг, может быть, нечаянный толчок адъютанта, чрезвычайно ловко извинившегося в своей неловкости, – и записочка выскользнула из маленькой дрожавшей от смущения ручки, а статский юноша, уже протягивавший свою нетерпеливую руку, вдруг получает, вместо записки, одну афишку, с которой решительно не знает, что делать. Неприятный, странный случай! совершенная правда; но, согласитесь сами, Ивану Андреевичу было еще неприятнее.

– Prédestiné[1], – прошептал он, обливаясь холодным потом и сжимая записочку в руках, – prédestiné! Пуля найдет виноватого! – промелькнуло

[1] Предопределено (*фр.*).

в его голове, – нет, не то! Чем же я виноват? А вот там есть другая пословица: на бедного Макара и так далее.

Но мало ли что начнет перезванивать в голове, оглушенной таким внезапным происшествием! Иван Андреевич сидел на стуле окостенев, как говорится, ни жив ни мертв. Он уверен был, что его приключение замечено со всех сторон, несмотря на то что во всей зале, в это самое время, началась суматоха и вызов певицы. Он сидел так сконфузившись, так покраснев и не смея поднять глаз, как будто с ним случилась какая-нибудь неожиданная неприятность, какой-нибудь диссонанс в прекрасном многолюдном обществе. Наконец он решился поднять глаза.

– Приятно пели-с! – заметил он одному франту, сидевшему по левую его сторону.

Франт, который был в последней степени энтузиазма и хлопал руками, но преимущественно выезжал на ногах, бегло и рассеянно взглянул на Ивана Андреевича и тотчас же, сделав руками щиток над своим ртом, чтоб было слышнее, крикнул имя певицы. Иван Андреевич, который еще никогда не слыхал подобной глотки, был в восторге. «Ничего не заметил!» – подумал он и обратился назад. Но толстый господин, сидевший сзади его, теперь в свою очередь стал к нему задом и лорнировал ложи. «Тоже хорошо!» – подумал Иван Андреевич. Впереди, разумеется, ничего не видали. Он робко и с радостной надеждой покосился на бенуар, возле которого были его кресла, и вздрогнул от самого неприятного чувства. Там сидела прекрасная дама, которая, закрыв рот платком и упав на спинку кресел, хохотала как исступленная.

– Ох уж эти мне женщины! – прошептал Иван Андреевич и пустился по ногам зрителей к выходу.

Теперь я предлагаю решить самим читателям, я прошу их самих рассудить меня с Иваном Андреевичем. Неужели прав был он в эту минуту? Большой театр, как известно, заключает в себе четыре яруса лож и пятый ярус – галерею. Почему же непременно предположить, что записка упала именно из одной ложи, именно из этой самой, а не другой какой-нибудь, – например хоть из пятого яруса, где тоже бывают дамы? Но страсть исключительна, а ревность – самая исключительная страсть в мире.

Иван Андреевич бросился в фойе, стал у лампы, сломал печать и прочел:

«Сегодня, сейчас после спектакля, в Г – вой, на углу ***ского переулка, в доме К***, в третьем этаже, направо от лестницы. Вход с подъезда. Будь там, sans faute[1], ради Бога».

Рукú Иван Андреевич не узнал, но сомнения нет: назначалось свидание. «Поймать, изловить и пресечь зло в самом начале» – была первая идея Ивана Андреевича. Ему было пришло в голову изобличить теперь же, тут же на месте; но как это сделать? Иван Андреевич взбежал даже во второй ярус, но благоразумно воротился. Решительно, он не знал: куда бежать. От нечего делать он забежал с другой стороны и посмотрел чрез открытую дверь чужой ложи на противоположную сторону. Так, так! во всех пяти ярусах по вертикальному направлению сидели молодые дамы и молодые люди. Записка могла упасть из всех пяти ярусов разом, потому что Иван Андреевич подозревал решительно все ярусы в заговоре против него. Но его ничто не исправило, никакие видимости. Весь второй акт он бегал по всем коридорам и нигде не находил спокойствия духа. Он было сунулся в кассу театра, в надежде узнать от кассира имена особ, взявших ложи во всех четырех ярусах, но касса уже была заперта. Наконец раздались неистовые восклицания и аплодисменты. Представление кончилось. Начинались вызовы, и особенно гремели с самого верха два голоса – предводители обеих партий. Но не до них было дело Ивану Андреевичу. У него уже мелькнула мысль дальнейшего его поведения. Он надел бекешь и пустился в Г – вую, чтоб там застать, накрыть, изобличить и вообще поступить немного энергичнее, чем вчерашний день. Он скоро нашел дом и уже ступил на подъезд, как вдруг, словно под руками у него, прошмыгнула фигура франта в пальто, обогнала его и пустилась по лестнице в третий этаж. Ивану Андреевичу показалось, что это тот самый франт, хотя он не мог различить и тогда лицо этого франта. Сердце в нем замерло. Франт обогнал его уже двумя лестницами. Наконец он услышал, как отворилась дверь в третьем этаже, и отворилась без звонка, как будто ждали пришедшего. Молодой человек промелькнул в квартиру. Иван Андреевич достиг третьего этажа, когда не успели еще затворить эту дверь. Он хотел было постоять перед дверью, благоразумно пообдумать свой шаг, поробеть немного и потом уже решиться на что-нибудь очень

[1] Непременно (*фр.*).

решительное; но в эту самую минуту загремела карета у подъезда, с шумом отворились двери и чьи-то тяжелые шаги начали с кряхтом и кашлем свое восшествие в верхний этаж. Иван Андреевич не устоял, отворил дверь и очутился в квартире со всею торжественностью оскорбленного мужа. Навстречу к нему бросилась горничная, вся в волнении, потом явился человек; но остановить Ивана Андреевича не было никакой возможности. Как бомба влетел он в покои и, пройдя две темные комнаты, вдруг очутился в спальне перед молодой, прекрасной дамой, которая вся трепетала от страха и смотрела на него с решительным ужасом, как будто не понимая, что вокруг нее делается. В эту минуту послышались тяжелые шаги в соседней комнате, которые прямо шли в спальню: это были те самые шаги, которые всходили на лестницу.

– Боже! это мой муж! – вскрикнула дама, всплеснув руками и побледнев белее своего пеньюара.

Иван Андреевич почувствовал, что он не туда попал, что сделал глупую, детскую выходку, что не обдумал хорошо своего шага, что не поробел достаточно на лестнице. Но делать было нечего. Уже отворилась дверь, уже тяжелый муж, если только судить по его тяжелым шагам, входил в комнату... Не знаю, за кого принял себя Иван Андреевич в эту минуту! не знаю, что ему помешало прямо стать навстречу мужа, объявить, что попался впросак, сознаться, что бессознательно поступил неприличнейшим образом, попросить извинения и скрыться, – конечно, не с большою честью, конечно, не со славою, но по крайней мере уйти благородным, откровенным образом. Но нет, Иван Андреевич опять поступил как мальчик, как будто бы считал себя Дон-Жуаном или Ловеласом! Он сначала прикрылся занавесками у кровати, а потом, когда почувствовал себя в полном упадке духа, припал на землю и бессмысленно полез под кровать. Испуг подействовал на него сильнее благоразумия, и Иван Андреевич, сам оскорбленный муж, или по крайней мере считавший себя таким, не вынес встречи с другим мужем – может быть, боясь оскорбить его своим присутствием. Так или не так, но он очутился под кроватью, решительно не понимая, как это сделалось. Но, что всего было удивительнее, дама не оказала никакой оппозиции. Она не закричала, видя, как чрезвычайно странный пожилой господин ищет убежища в ее спальне. Решительно, она была так испугана, что, по всей вероятности, у нее отнялся язык.

Муж вошел, охая и кряхтя, поздоровался с женой нараспев, самым старческим образом, и свалился на кресла так, как будто только что принес бремя дров. Раздался глухой и продолжительный кашель. Иван Андреевич, превратившийся из разъяренного тигра в ягненка, оробев и присмирев, как мышонок перед котом, едва смел дышать от испуга, хотя и мог бы знать, по собственному опыту, что не все оскорбленные мужья кусаются. Но это не пришло ему в голову или от недостатка соображения, или от другого какого-нибудь припадка. Осторожно, тихонько, ощупью начал он оправляться под кроватью, чтоб как-нибудь улечься удобнее. Каково же было его изумление, когда он ощупал рукою предмет, который, к его величайшему изумлению, пошевелился и в свою очередь схватил его за руку! Под кроватью был другой человек...

– Кто это? – шепнул Иван Андреевич.

– Ну, так я вам и сказал сейчас, кто я такой! – прошептал странный незнакомец. – Лежите и молчите, коли попались впросак!

– Однако же...

– Молчать!

И посторонний человек (потому что под кроватью довольно было и одного), посторонний человек стиснул в своем кулаке руку Ивана Андреевича так, что тот едва не вскрикнул от боли.

– Милостивый государь...

– Тсс!

– Так не жмите же меня, или я закричу.

– Ну-ка, закричите! попробуйте!

Иван Андреевич покраснел от стыда. Незнакомец был суров и сердит. Может быть, это был человек, испытавший не раз гонения судьбы и не раз находившийся в стесненном положении; но Иван Андреевич был новичок и задыхался от тесноты. Кровь била ему в голову. Однако ж нечего было делать; нужно было лежать ничком. Иван Андреевич покорился и замолчал.

– Я, душенька, был, – начал муж, – я, душенька, был у Павла Иваныча. Сели мы играть в преферанс, да так, кхи-кхи-кхи! (он закашлялся) так... кхи! так спина... кхи! ну ее!.. кхи! кхи! кхи!

И старичок погрузился в свой кашель.

– Спина... – проговорил он наконец со слезами на глазах, – спина разболелась... геморрой проклятый! Ни стать, ни сесть... ни сесть! Акхи-кхи-кхи!..

И казалось, что вновь начавшемуся кашлю суждено было прожить гораздо долее, чем старичку, обладателю этого кашля. Старичок что-то ворчал языком в промежутках, но решительно ничего нельзя было разобрать.

– Милостивый государь, ради Бога, подвиньтесь! – прошептал несчастный Иван Андреевич.

– Куда прикажете? места нет.

– Однако же, согласитесь сами, мне невозможно таким образом. Я еще в первый раз нахожусь в таком скверном положении.

– А я в таком неприятном соседстве.

– Однако же, молодой человек...

– Молчать!

– Молчать? Однако вы поступаете чрезвычайно неучтиво, молодой человек... Если не ошибаюсь, вы еще очень молодой; я постарше вас.

– Молчать!

– Милостивый государь! вы забываетесь; вы не знаете, с кем говорите!

– С господином, который лежит под кроватью...

– Но меня привлек сюда сюрприз... ошибка, а вас, если не ошибаюсь, безнравственность.

– Вот в этом-то вы и ошибаетесь.

– Милостивый государь! я постарше вас, я вам говорю...

– Милостивый государь! знайте, что мы здесь на одной доске. Прошу вас, не хватайте меня за лицо!

– Милостивый государь! я ничего не разберу. Извините меня, но нет места.

– Зачем же вы такой толстый?

– Боже! я никогда не был в таком унизительном положении!

– Да, ниже лежать нельзя.

– Милостивый государь, милостивый государь! я не знаю, кто вы такой, я не понимаю, как это случилось; но я здесь по ошибке; я не то, что вы думаете...

– Я бы ровно ничего не думал об вас, если б вы не толкались. Да молчите же!

– Милостивый государь! если вы не подвинетесь, со мной будет удар. Вы будете отвечать за смерть мою. Уверяю вас... я почтенный человек, я отец семейства. Не могу же я быть в таком положении!..

– Сами же вы сунулись в такое положение. Ну, подвигайтесь же! вот вам место; больше нельзя!

– Благородный молодой человек! милостивый государь! я вижу, что я в вас ошибался, – сказал Иван Андреевич, в восторге благодарности за уступленное место и расправляя затекшие члены, – я понимаю стесненное положение ваше, но что же делать? вижу, что вы дурно обо мне думаете. Позвольте мне поднять в вашем мнении мою репутацию, позвольте мне сказать, кто я такой, я пришел сюда против себя, уверяю вас; я не за тем, за чем вы думаете... Я в ужаснейшем страхе.

– Да замолчите ли вы? понимаете ли, что, если услышат нас, будет худо? Тсс... Он говорит. – Действительно, кашель старика, по-видимому, начинал проходить.

– Так вот, душенька, – хрипел он на самый плачевный напев, – так вот, душенька, кхи!.. кхи! ах, несчастье! Федосей-то Иванович и говорит: вы бы, говорит, тысячелиственник пить попробовали; слышишь, душенька?

– Слышу, мой друг.

– Ну, так и говорит: вы бы, говорит, попробовали тысячелиственник пить. Я и говорю: я пиявки припускал. А он мне: нет, Александр Демьянович, тысячелиственник лучше: он открывает, я вам скажу... кхи! кхи! ох, Боже мой! Как же ты думаешь, душенька? кхи-кхи! ах, Создатель мой! кхи-кхи!.. Так лучше тысячелиственник, что ли?.. кхи-кхи-кхи! ах! кхи – и т. д.

– Я думаю, что попробовать этого средства не худо, – отвечала супруга.

– Да, не худо! У вас, говорит, пожалуй, чахотка, кхи-кхи! А я говорю: подагра да раздражение в желудке; кхи-кхи! А он мне: может быть, и чахотка. Как ты, кхи-кхи! как ты думаешь, душенька: чахотка?

– Ах, Боже мой, что это вы говорите такое?

– Да, чахотка! А ты бы, душенька, раздевалась теперь да спать ложилась, кхи! кхи! А у меня, кхи! сегодня насморк.

– Уф! – сделал Иван Андреевич, – ради Бога, подвиньтесь!

– Решительно, я вам удивляюсь, что с вами делается, ну, не можете вы спокойно лежать...

– Вы ожесточены против меня, молодой человек; хотите меня уязвить. Я это вижу. Вы, вероятно, любовник этой дамы?

– Молчать!

– Не буду молчать! не дам вам командовать! А, вы, верно, любовник? Если нас откроют, я ни в чем не виноват, я ничего не знаю.

– Если вы не замолчите, – сказал молодой человек, скрежеща зубами, – я скажу, что вы завлекли меня; я скажу, что вы мой дядя, который промотал свое состояние. Тогда по крайней мере не подумают, что я любовник этой дамы.

– Милостивый государь! вы издеваетесь надо мной. Вы истощаете терпение мое.

– Тсс! или я вас заставлю молчать! Вы несчастье мое! Ну, скажите, на что вы здесь? Без вас я бы пролежал как-нибудь до утра, а там бы и вышел.

– Но я здесь не могу же лежать до утра; я человек благоразумный; у меня, конечно, связи... Как вы думаете, неужели он будет здесь ночевать?

– Кто?

– Да этот старик...

– Разумеется, будет. Не все ж такие мужья, как вы. Ночуют и дома.

– Милостивый государь, милостивый государь! – закричал Иван Андреевич, похолодев от испуга. – Будьте уверены, что и я тоже дома, а теперь в первый раз; но, Боже мой, я вижу, что вы меня знаете. Кто вы такой, молодой человек? скажите мне тотчас же, умоляю вас, из бескорыстной дружбы, кто вы таков?

– Послушайте! я употреблю насилие...

– Но позвольте, позвольте вам рассказать, милостивый государь, позвольте вам объяснить всё это скверное дело...

– Никаких объяснений не слушаю, ничего знать не хочу. Молчите, или...

– Но я не могу же...

Под кроватью последовала легкая борьба, и Иван Андреевич умолк.

– Душенька! что-то здесь как будто коты шепчутся?

– Какие коты? Чего вы не выдумаете?

Очевидно, что супруга не знала, о чем разговаривать с своим мужем. Она была так поражена, что еще не могла опомниться. Теперь же она вздрогнула и подняла ушки.

– Какие коты?

– Коты, душенька. Я намедни прихожу, сидит Васька у меня в кабинете, шю-шю-шю! и шепчет. Я ему: что ты, Васенька? а он опять: шю-шю-шю! И так как будто всё шепчет. Я и думаю: ах, отцы мои! уж не о смерти ли он мне нашептывает?

– Какие глупости вы говорите сегодня! Стыдитесь, пожалуйста.

– Ну, ничего; не сердись, душенька; я вижу, тебе неприятно, что я умру, не сердись; я только так говорю. А ты бы, душенька, стала раздеваться и спать легла, а я бы здесь посидел, пока ты ложиться будешь.

– Ради Бога, полноте; после...

– Ну, не сердись, не сердись! Только, право, здесь как будто мыши.

– Ну вот, то коты, то мыши! Право, я не знаю, что с вами делается.

– Ну, я ничего, я ни... кхи! я ничего, кхи-кхи-кхи-кхи! ах, Боже ты мой! кхи!

– Слышите, вы так возитесь, что и он услыхал, – прошептал молодой человек.

– Но если б вы знали, что со мной делается. У меня носом кровь идет.

– Пусть идет, молчите; подождите, когда он уйдет.

– Молодой человек, но вникните в мое положение; ведь я не знаю, с кем я лежу.

– Да легче вам от этого будет, что ли? Ведь я не интересуюсь знать вашу фамилию. Ну, как ваша фамилия?

– Нет, зачем же фамилию... Я только интересуюсь объяснить, каким бессмысленным образом...

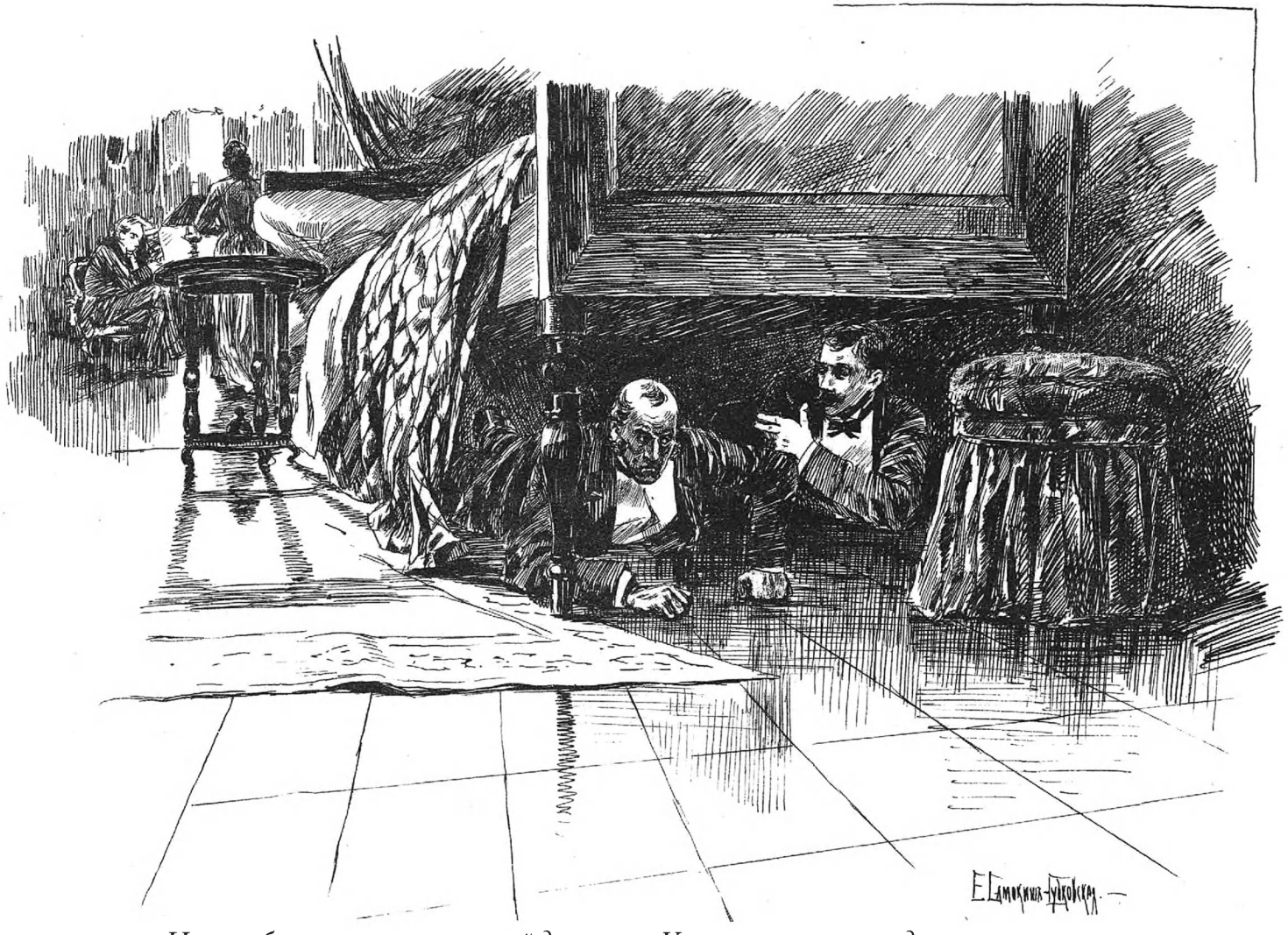
– Тсс... он опять говорит.

– Право, душенька, шепчутся.

– Да нет же; это у тебя вата в ушах дурно лежит.

– Ах, по поводу ваты. Знаешь ли, тут, наверху... кхи-кхи! наверху, кхи-кхи-кхи! – и т. д.

– Наверху! – прошептал молодой человек. – Ах, черт! А я думал, что это последний этаж; да разве это второй?



– *Но если б вы знали, что со мной делается. У меня носом кровь идет.*
– *Пусть идет, молчите; подождите, когда он уйдет.*

– Молодой человек, – прошептал, встрепенувшись, Иван Андреевич, – что вы говорите? ради Бога, почему это вас интересует? И я думал, что это последний этаж. Ради Бога, разве здесь еще этаж?..

Право, кто-то ворочается, – сказал старик, переставший наконец кашлять...

– Тсс! слышите! – прошептал молодой человек, сдавив обе руки Ивана Андреевича.

– Милостивый государь, вы держите мои руки в насилии. Пустите меня.

– Тсс...

Последовала легкая борьба, и потом опять наступило молчание.

– Так вот я и встречаю хорошенькую... – начал старик.

– Как, хорошенькую? – перебила жена.

– Да ведь вот... говорил прежде я, что встретил хорошенькую даму на лестнице, или я пропустил? У меня ведь память слаба. Это зверобой... кхи!

– Что?

– Зверобой пить надо: говорят, лучше будет... кхи-кхи-кхи! лучше будет!

– Это вы его перебили, – проговорил молодой человек, опять заскрежетав зубами.

– Ты говорил, что встретил сегодня хорошенькую какую-то? – спросила жена.

– А?

– Хорошенькую встретил?

– Кто такой?

– Да ты?

– Я-то? Когда? Да, бишь!..

– Наконец-то? экая мумия! Ну, – прошептал молодой человек, мысленно погоняя забывчивого старичка.

– Милостивый государь! я трепещу от ужаса. Боже мой! что я слышу? Это как вчера; решительно как вчера!..

– Тсс.

– Да, да, да! вспомнил: преплутовочка! Глазенки такие... в голубой шляпке...

– В голубой шляпке! Ай, ай!

– Это она! У ней есть голубая шляпка. Боже мой! – закричал Иван Андреич...

– Она? кто она? – прошептал молодой человек, стиснув руки Ивана Андреевича.

– Тсс! – сделал в свою очередь Иван Андреевич. – Он говорит.

– Ах, Боже мой! Боже мой!

– Ну, да, впрочем, у кого ж нет голубой шляпки... ну!

– И такая плутовка! – продолжал старик. – Она тут к каким-то знакомым приходит. Всё глазки делает. А к тем знакомым тоже ходят знакомые...

– Фу! как это скучно, – перебила дама, – помилуй, чем ты интересуешься?

– Ну, хорошо, ну, ну! не сердись! – возразил старичок нараспев. – Ну, я не буду говорить, коль ты не желаешь. Ты что-то не в духе сегодня...

– Да вы как же сюда попали? – заговорил молодой человек...

– А, видите, видите! вот вы теперь интересуетесь, а прежде не хотели и слушать!

– Ну, да ведь мне всё равно! не говорите, пожалуйста! Ах, черт возьми, какая история!

– Молодой человек, не сердитесь; я не знаю, что говорю; это я так; я только хотел сказать, что тут, верно, что-нибудь недаром, что вы принимаете участие... Но кто вы, молодой человек? Я вижу, вы незнакомец; но кто же вы, незнакомец? Боже, я не знаю, что говорю!

– Э! подите, пожалуйста! – прервал молодой человек, как будто что-то обдумывая.

– Но я вам всё расскажу, всё. Вы, может быть, думаете, что я не расскажу, что я зол на вас, нет! вот рука моя! Я только в упадке духа, больше ничего. Но, ради Бога, скажите мне всё сначала: как вы здесь сами? по какому случаю? Что же касается до меня, то я не сержусь, ей-Богу, не сержусь, вот вам рука моя. Здесь только пыльно; я немного запачкал ее; но это ничего для высокого чувства.

– Э, подите с вашей рукой! тут поворотиться негде, а он с рукой лезет!

– Но, милостивый государь! вы со мной обходитесь, как будто, с позволения сказать, со старой подошвой, – проговорил Иван Андреевич

в припадке самого кроткого отчаяния, голосом, в котором было слышно моленье. – Обходитесь со мной учтивее, хоть немножко учтивее, и я вам всё расскажу! Мы бы полюбили друг друга; я даже готов пригласить вас к себе на обед. А этак нам вместе лежать нельзя, откровенно скажу. Вы заблуждаетесь, молодой человек! Вы не знаете...

– Когда же это он ее встретил? – бормотал молодой человек, очевидно в крайнем волнении. – Она, может быть, теперь меня ждет... Я, решительно, выйду отсюда!

– Она? кто она? Боже мой! про кого вы говорите, молодой человек? Вы думаете, что там, наверху... Боже мой! Боже мой! За что я так наказан?

Иван Андреевич попробовал повернуться на спину в знак отчаянья.

– А вам на что знать, кто она? А, черт! Была не была, я вылезаю!..

– Милостивый государь! что вы? а я-то, я-то как буду? – прошептал Иван Андреевич, в припадке отчаяния уцепившись за фалды фрака своего соседа.

– А мне-то что? Ну, и оставайтесь одни. А не хотите, так я, пожалуй, скажу, что вы мой дядя, который промотал свое состояние, чтоб не подумал старик, что я любовник жены его.

– Но, молодой человек, это невозможно; это ненатурально, коли дядя. Никто не поверит вам. Этому вот такой маленький ребенок не поверит, – шептал в отчаянии Иван Андреевич.

– Ну, так не болтайте же, а лежите себе смирно, пластом! Пожалуй, ночуйте здесь, а завтра как-нибудь вылезете; вас никто не заметит; уж коли один вылез, так, верно, не подумают, что еще остался другой. Еще бы сидела целая дюжина! Впрочем, вы и один стоите дюжины. Подвигайтесь, или я выйду!

– Вы язвите меня, молодой человек... А что если я закашляюсь? Нужно всё предвидеть!

– Тсс!..

– Что это? как будто наверху я опять слышу возню, – проговорил старичок, который тем временем, кажется, успел задремать.

– Наверху?

– Слышите, молодой человек, наверху!

– Ну, слышу!

– Боже мой! молодой человек, я выйду.

– А я так не выйду! Мне всё равно! Уж если расстроилось, так всё равно! А знаете ли, что я подозреваю? Я подозреваю, что вы-то и есть какой-нибудь обманутый муж – вот что!..

– Боже, какой цинизм!.. Неужели вы это подозреваете? Но почему же именно муж... я не женат.

– Как не женат? Дудки!

– Я, может быть, сам любовник!

– Хорош любовник!

– Милостивый государь, милостивый государь! Ну, хорошо, я всё вам расскажу. Вонмите моему отчаянью. Это не я, я не женат. Я тоже холостой, как и вы. Это друг мой, товарищ детства... а я любовник... Говорит мне: «Я несчастный человек, я, говорит, пью чашу, я подозреваю жену свою», – «Но, говорю я ему благоразумно, за что же ты ее подозреваешь?..» Но вы не слушаете меня. Слушайте, слушайте! «Ревность смешна, говорю, ревность порок!,.» – «Нет, говорит, я несчастный человек! Я, того... чашу, то есть я подозреваю». – «Ты, говорю, мой друг, ты товарищ моего нежного детства. Мы вместе срывали цветы удовольствия, тонули на пуховиках наслаждения». Боже, я не знаю, что говорю. Вы всё смеетесь, молодой человек. Вы сделаете меня сумасшедшим.

– Да вы и теперь сумасшедший!..

– Так, так, я и предчувствовал, что вы это скажете... когда говорил про сумасшедшего. Смейтесь, смейтесь, молодой человек! Так же и я процветал в свое время, так же и я соблазнял. Ах! у меня сделается воспаление в мозгу!

– Что это, душенька, как будто у нас кто-то чихает? – пропел старичок. – Это ты, душка, чихнула?

– О, Боже мой! – проговорила супруга.

– Тсс! – раздалось под кроватью.

– Это наверху, верно, стучат, – заметила жена, испугавшись, потому что под кроватью действительно становилось шумно.

– Да, наверху! – проговорил муж. – Наверху! Говорил я тебе, что я франтика – кхи-кхи! франтика с усиками – кхи-кхи! ох, Бог мой, – спина!.. франтика сейчас встретил с усиками!

– С усиками! Боже мой, это, верно, вы, – прошептал Иван Андреевич.

– Создатель мой, какой человек! Да ведь я здесь, здесь вместе с вами лежу! Как же бы он меня встретил? Да не хватайте меня за лицо!

– Боже, со мной сейчас будет обморок.

В это время наверху действительно послышался шум.

– Что бы там было? – прошептал молодой человек.

– Милостивый государь! я в страхе, я в ужасе. Помогите мне.

– Тсс!

– Действительно, душка, шум; целый гвалт подымают. Да еще над твоей спальней. Не послать ли спросить.

– Ну, вот! чего ты не выдумаешь!

– Ну, я не буду; право, ты такая сегодня сердитая!..

– О, Боже мой! вы бы шли спать.

– Лиза! ты меня вовсе не любишь.

– Ах, люблю! Ради Бога, я так устала.

– Ну, ну! я уйду.

– Ах, нет, нет! не уходите, – закричала жена. – Или нет, идите, идите!

– Да что это ты в самом деле! То уходите, то не уходите! Кхи-кхи! А и вправду спать... кхи-кхи! У Панафидиных девочки... Кхи-кхи! девочки... кхи! куклу я у девочки видел нюренбергскую, кхи-кхи...

– Ну, вот куклы теперь!

– Кхи-кхи! хорошая кукла, кхи-кхи!

– Он прощается, – проговорил молодой человек, – он идет, и мы тотчас уходим. Слышите? радуйтесь же!

– О, дай-то Бог! дай-то Бог!

– Это вам урок...

– Молодой человек! за что же урок? Я это чувствую... Но вы еще молоды; вы не можете давать мне урока.

– А все-таки дам. Слушайте.

– Боже! я хочу чихнуть!..

– Тсс! Если вы только осмелитесь.

– Но что же мне делать? здесь так пахнет мышами; не могу же я; достаньте мне из моего кармана платок, ради Бога; я не могу шевельнуться... О, Боже, Боже! за что я так наказан?

– Вот вам платок! За что вы наказаны, я вам сейчас скажу. Вы ревнивы. Основываясь Бог знает на чем, вы бегаете как угорелый, врываетесь в чужое жилище, производите беспорядки...

– Молодой человек! я не производил беспорядков.

– Молчать!

– Молодой человек, вы не можете читать мне про нравственность: я нравственнее вас.

– Молчать!

– О, Боже мой! Боже мой!

– Производите беспорядки, пугаете молодую даму, робкую женщину, которая не знает, куда деваться от страха, и, может быть, будет больна; беспокоите почтенного старца, удрученного геморроем, которому прежде всего нужен покой, – а всё отчего? оттого, что вам вообразился какой-то вздор, с которым вы бегаете по всем закоулкам! Понимаете ли, понимаете ли, в каком вы скверном теперь положении? Чувствуете ли вы это?

– Милостивый государь, хорошо! Я чувствую, но вы не имеете права...

– Молчать! Какое тут право? Понимаете ли вы, что это может кончиться трагически? Понимаете ли, что старик, который любит жену, может с ума сойти, когда увидит, как вы будете вылезать из-под кровати? Но нет, вы неспособны сделать трагедии! Когда вы вылезете, я думаю, всяк, кто посмотрит на вас, захохочет. Я бы желал вас видеть при свечках; должно быть, вы очень смешны.

– А вы-то? вы тоже смешны в таком случае! Я тоже хочу посмотреть на вас.

– Где вам!

– На вас, верно, клеймо безнравственности, молодой человек!

– А! вы про нравственность! А почем вы знаете, зачем я здесь? Я здесь ошибкой; я ошибся этажом. И черт знает, почему меня впустили! Верно, она в самом деле ждала кого-нибудь (не вас, разумеется). Я спрятался под кровать, когда услышал вашу глупую походку, когда увидел, что испугалась дама. К тому же было темно. Да и что я вам за оправдание? Вы, сударь, смешной, ревнивый старик. Ведь я отчего не выхожу? Вы, может быть, думаете, что я боюсь выйти? Нет, сударь, я бы уж давно вышел, да только из сострадания к вам здесь сижу. Ну, на кого вы без меня здесь останетесь? Ведь вы будете как пень стоять перед ними, ведь вы не найдетесь...

– Нет, отчего же: как пень? Отчего же как этот предмет? Разве вы не могли с чем другим сравнить, молодой человек? Отчего же не найдусь? Нет, я найдусь. О, Боже мой, как лает эта собачонка!

– Тсс! Ах, и в самом деле... Это оттого, что вы всё болтаете. Видите, вы разбудили собачонку. Теперь нам беда.

Действительно, собачка хозяйки, которая всё время спала на подушке в углу, вдруг проснулась, обнюхала чужих и с лаем бросилась под кровать.

– О, Боже мой! какая глупая собачонка! – прошептал Иван Андреевич. – Она нас всех выдаст. Она всё выведет на чистую воду. Вот еще наказание!

– Ну да: вы так трусите, что это может случиться.

– Ами, Ами, сюда! – закричала хозяйка, – ici, ici[1].

Но собачка не слушалась и лезла прямо на Ивана Андреевича.

– Что это, душечка, Амишка всё лает? – проговорил старичок. – Там, верно, мыши, или кот Васька сидит. То-то я слышу, что всё чихает, всё чихает... А ведь у Васьки-то сегодня насморк.

– Лежите смирно! – прошептал молодой человек, – не ворочайтесь! Она, может быть, так и отстанет.

– Милостивый государь, милостивый государь! Пустите мои руки! Зачем вы их держите?

– Тсс! молчать!

– Но помилуйте, молодой человек: она меня за нос кусает! Вы хотите, чтоб я лишился носа.

Последовала борьба, и Иван Андреевич высвободил свои руки. Собачка заливалась от лая; вдруг она перестала лаять и завизжала.

– Ай! – закричала дама.

– Изверг! что вы делаете? – прошептал молодой человек. – Вы губите нас обоих! Зачем вы схватили ее? Боже мой, он ее душит! Не душите, пустите ее! Изверг! Но вы не знаете после этого сердца женщины! Она нас выдаст обоих, если вы задушите собачку.

Но Иван Андреевич уже ничего не слыхал. Ему удалось поймать собачку, и в припадке самохранения он сдавил ей горло. Собачонка взвизгнула и испустила дух.

– Мы пропали! – прошептал молодой человек.

---

[1] Сюда, сюда (*фр.*).

– Амишка! Амишка! – закричала дама. – Боже мой, что они делают с моим Амишкой? Амишка! Амишка! ici! О изверги! варвары! Боже, мне дурно!

– Что такое? что такое? – закричал старичок, вскочив с кресел. – Что с тобой, душа моя? Амишка здесь! Амишка, Амишка, Амишка! – кричал старичок, щелкая пальцами, причмокивая и вызывая Амишку из-под кровати. – Амишка! ici! ici! Не может быть, чтобы Васька там съел его. Нужно высечь Ваську, мой друг; его, плута, уже целый месяц не секли. Как ты думаешь? Я посоветуюсь завтра с Прасковьей Захарьевной. Но, Боже мой, друг мой, что с тобой? Ты побледнела, ох! ох! люди! люди!

И старичок забегал по комнате.

– Злодеи! изверги! – кричала дама, покатившись на кушетку.

– Кто? кто? кто такой? – кричал старик.

– Там есть люди, чужие!.. там, под кроватью! О, Боже мой! Амишка! Амишка! что они с тобой сделали?

– Ах, Боже мой, Господи! какие люди! Амишка... Нет, люди, люди, сюда! Кто там? кто там? – закричал старик, схватив свечку и нагнувшись под кровать, – кто такой? Люди, люди!..

Иван Андреевич лежал, ни жив ни мертв, подле бездыханного трупа Амишки. Но молодой человек ловил каждое движение старика. Вдруг старик зашел с другой стороны, к стене, и нагнулся. В один миг молодой человек вылез из-под кровати и пустился бежать, покамест муж искал своих гостей по ту сторону брачного ложа.

– Боже! – прошептала дама, вглядевшись в молодого человека. – Кто же вы такой? А я думала...

– Тот изверг остался, – прошептал молодой человек. – Он виновник Амишкиной смерти!

– Ай! – вскрикнула дама.

Но молодой человек уже исчез из комнаты.

– Ай! здесь кто-то есть. Здесь чей-то сапог! – закричал муж, поймав за ногу Ивана Андреевича.

– Убийца! убийца! – кричала дама. – О Ами! Ами!

– Вылезайте, вылезайте! – кричал старик, топая по ковру обеими ногами, – вылезайте; кто вы таковы? говорите, кто вы таковы. Боже! какой странный человек!

– Да это разбойники!..

– Ради Бога, ради Бога! – кричал Иван Андреевич, вылезая, – ради Бога, ваше превосходительство, не зовите людей! Ваше превосходительство, не зовите людей! это совершенно лишнее. Вы меня не можете вытолкать!.. Я не такой человек! Я сам по себе... Ваше превосходительство, это случилось по ошибке! Я вам сейчас объясню, ваше превосходительство, – продолжал Иван Андреевич, рыдая и всхлипывая. – Это всё жена, то есть не моя жена, а чужая жена, – я не женат, я так... Это мой друг и товарищ детства...

– Какой товарищ детства! – кричал старик, топая ногами. – Вы вор, пришли обокрасть... а не товарищ детства...

– Нет, не вор, ваше превосходительство; я действительно товарищ детства... я только нечаянно ошибся, попал с другого подъезда.

– Да, я вижу, сударь, вижу, из какого подъезда вы вылезли.

– Ваше превосходительство! Я не такой человек. Вы ошибаетесь. Я говорю, что вы в жестоком заблуждении, ваше превосходительство. Взгляните на меня, посмотрите, вы увидите по некоторым знакам и признакам, что я не могу быть вором. Ваше превосходительство! ваше превосходительство! – кричал Иван Андреевич, складывая руки и обращаясь к молодой даме. – Вы дама, поймите меня... Это я умертвил Амишку... Но я не виноват, я, ей-Богу, не виноват... Это всё жена виновата. Я несчастный человек, я пью чашу!

– Да, помилуйте, какое же мне дело, что вы выпили чашу; может быть, вы и не одну чашу выпили, – судя по вашему положению, оно и видно; но как же вы зашли сюда, милостивый государь? – кричал старик, весь дрожа от волнения, но действительно удостоверившись, по некоторым знакам и признакам, что Иван Андреевич не может быть вором. – Я вас спрашиваю: как вы зашли сюда? Вы, как разбойник...

– Не разбойник, ваше превосходительство. Я только с другого подъезда; право, не разбойник! Это всё оттого, что я ревнив. Я вам всё расскажу, ваше превосходительство, откровенно расскажу, как отцу родному, потому что вы в таких летах, что я могу принять вас за отца.

– Как в таких летах?

– Ваше превосходительство! Я, может быть, вас оскорбил? Действительно, такая молодая дама... и ваши лета... приятно видеть, ваше пре-

восходительство, действительно, приятно видеть такое супружество... в цвете лет... Но не зовите людей... ради Бога, не зовите людей... люди только будут смеяться... я их знаю... То есть я не хочу этим сказать, что я знаком с одними лакеями, – у меня тоже есть лакеи, ваше превосходительство, и всё смеются... ослы! ваше сиятельство... Я, кажется, не ошибаюсь, я говорю с князем...

– Нет, не с князем, я, милостивый государь, сам по себе... Пожалуйста, меня не задабривайте вашим сиятельством. Как вы попали сюда, милостивый государь? как вы попали?

– Ваше сиятельство, то есть ваше превосходительство... извините, я думал, что вы ваше сиятельство. Я осмотрелся... я обманулся – это случается. Вы так похожи на князя Короткоухова, которого я имел честь видеть у моего знакомого, господина Пузырева... Видите, я тоже знаком с князьями, тоже видел князя у моего знакомого: вы не можете меня принимать за того, за кого меня принимаете. Я не вор. Ваше превосходительство, не зовите людей; ну, позовете людей, что ж из этого выйдет?

– Но как вы сюда попали? – закричала дама. – Кто вы таковы?

– Да, кто вы таковы? – подхватил муж. – А я-то, душенька, думаю, что это Васька у нас под кроватью сидит и чихает. А это он. Ах ты, потаскун, потаскун!.. Кто вы такой? Говорите же!

И старичок снова затопал по ковру ногами.

– Я не могу говорить, ваше превосходительство. Я ожидаю, покамест вы кончите... Внимаю вашим остроумным шуткам. Что же касается до меня, то это смешная история, ваше превосходительство. Я вам всё расскажу. Это может всё и без того объясниться, то есть я хочу сказать: не зовите людей, ваше превосходительство! поступите со мной благородным образом... Это ничего, что я посидел под кроватью... я не потерял этим своей важности. Это история самая комическая, ваше превосходительство! – вскричал Иван Андреевич, с умоляющим видом обращаясь к супруге. – Особенно вы, ваше превосходительство, будете смеяться! Вы видите на сцене ревнивого мужа. Вы видите, я унижаюсь, я сам добровольно унижаюсь. Конечно, я умертвил Амишку, но... Боже мой, я не знаю, что говорю!

– Но как же, как вы зашли сюда?

– Пользуясь темнотою ночи, ваше превосходительство, пользуясь этою темнотою... Виноват! простите меня, ваше превосходительство!

Униженно прошу извинения! Я только оскорбленный муж, больше ничего! Не подумайте, ваше превосходительство, чтоб я был любовник: я не любовник! Ваша супруга очень добродетельна, если осмелюсь так выразиться. Она чиста и невинна!

– Что? что? что вы осмеливаетесь говорить? – закричал старик, снова затопав ногами. – С ума вы сошли, что ли? Как вы смеете говорить про жену мою?

– Этот злодей, убийца, который умертвил Амишку! – кричала супруга, заливаясь слезами. – И он еще смеет!

– Ваше превосходительство, ваше превосходительство! я только заврался, – кричал оторопевший Иван Андреевич, – я заврался, и больше ничего! Считайте, что я не в своем уме... Ради Бога, считайте, что я не в своем уме... Честью клянусь вам, что вы мне сделаете чрезвычайное одолжение. Я бы подал вам руку, но я не смею подать ее... Я был не один, я дядя... то есть я хочу сказать, что меня нельзя принять за любовника... Боже! я опять завираюсь... Не обижайтесь, ваше превосходительство, – кричал Иван Андреевич супруге. – Вы дама, вы понимаете, что такое любовь, – это тонкое чувство... Но что я? опять завираюсь! то есть я хочу сказать, что я старик, то есть пожилой человек, а не старик, – что я не могу быть вашим любовником, что любовник есть Ричардсон, то есть Ловелас... я заврался; но вы видите, ваше превосходительство, что я ученый человек и знаю литературу. Вы смеетесь, ваше превосходительство! Рад, рад, что *провокировал* смех ваш, ваше превосходительство. О, как я рад, что провокировал смех ваш!

– Боже мой! какой смешной человек! – кричала дама, надрываясь от хохота.

– Да, смешной, и какой запачканный, – заговорил старик, в радости, что засмеялась жена. – Душечка, он не может быть вором. Но как он зашел сюда?

– Действительно странно! действительно странно, ваше превосходительство, на роман похоже! Как? в глухую полночь, в столичном городе, человек под кроватью? Смешно, странно! Ринальдо Ринальдини, некоторым образом. Но это ничего, это всё ничего, ваше превосходительство. Я вам всё расскажу... А вам, ваше превосходительство, я новую болонку достану... удивительная болонка! Этакая шерсть длинная, ножки коро-

тенькие, двух шагов пройти не умеет: побежит, запутается в собственной шерсти и упадет. Сахаром только одним кормить. Я вам принесу, ваше превосходительство, я вам непременно ее принесу.

– Ха-ха-ха-ха-ха! – Дама металась из стороны в сторону на диване от смеха. – Боже мой, со мной сделается истерика! Ох, какой смешной!

– Да, да! ха-ха-ха! кхи-кхи-кхи! смешной, запачканный такой, кхи-кхи-кхи!

– Ваше превосходительство, ваше превосходительство, я теперь совершенно счастлив! Я бы предложил вам мою руку, но я не смею, ваше превосходительство, я чувствую, что я заблуждался, но теперь открываю глаза. Я верю, моя жена чиста и невинна! Я напрасно подозревал ее.

– Жена, его жена! – кричала дама, со слезами на глазах от хохота.

– Он женат! неужели? Вот бы я никак не подумал! – подхватил старик.

– Ваше превосходительство, жена – и она всему виновата, то есть это я виноват: я подозревал ее; я знал, что здесь устроено свидание, – здесь, наверху; я перехватил записку, ошибся этажом и пролежал под кроватью...

– Хе-хе-хе-хе!

– Ха-ха-ха-ха!

– Ха-ха-ха-ха! – захохотал наконец Иван Андреевич. – О, как я счастлив! о, как умилительно видеть, что мы все так согласны и счастливы! И жена моя совершенно невинна! я в том почти уверен. Ведь непременно так, ваше превосходительство?

– Ха-ха-ха, кхи-кхи! Знаешь, душечка, это кто? – заговорил наконец старик, освобождаясь от смеха.

– Кто? Ха-ха-ха! Кто?

– Это та хорошенькая, что глазки делает, с франтиком которая. Это она! Я бьюсь об заклад, что это жена его!

– Нет, ваше превосходительство, я уверен, что это не та; я совершенно уверен.

– Но, Боже мой! Вы теряете время, – закричала дама, перестав хохотать. – Бегите, ступайте наверх. Может быть, вы их застанете...

– В самом деле, ваше превосходительство, я полечу. Но я никого не застану, ваше превосходительство; это не она, я уверен заране. Она теперь дома! А это я! Я только ревнив, и более ничего... Как вы думаете, неужели я их застану там, ваше превосходительство?

– Ха-ха-ха!

– Хи-хи-хи! Кхи-кхи!

– Ступайте, ступайте! А когда пойдете назад, так придите рассказать, – кричала дама, – или нет: лучше завтра утром, да приведите и ее: я хочу познакомиться.

– Прощайте, ваше превосходительство, прощайте! Непременно приведу; очень рад познакомиться. Я счастлив и рад, что всё так неожиданно кончилось и развязалось к лучшему.

– И болонку! Не забудьте же: болонку прежде всего принесите!

– Принесу, ваше превосходительство, непременно принесу, – подхватил Иван Андреевич, снова вбежав в комнату, потому что уже было раскланялся и вышел. – Непременно принесу. Такая хорошенькая! точно ее кондитер из конфектов сделал. И такая: пойдет – в собственной шерсти запутается и упадет. Такая, право! Я еще жене говорю: «Что это, душечка, она всё падает?» «Да, миленькая такая!» – говорит. Из сахару, ваше превосходительство, ей-Богу, из сахару сделана! Прощайте, ваше превосходительство, очень, очень рад познакомиться, очень рад познакомиться!

Иван Андреевич откланялся и вышел.

– Эй, вы! Милостивый государь! Постойте, воротитесь опять! – закричал старичок вслед уходившему Ивану Андреевичу.

Иван Андреевич в третий раз вернулся.

– Я вот Васьки-кота всё не отыщу. Не встречались ли вы с ним, когда под кроватью сидели?

– Нет, не встречался, ваше превосходительство; впрочем, очень рад познакомиться. И почту за большую честь...

– У него теперь насморк, и всё чихает, всё чихает! Его надо высечь!

– Да, ваше превосходительство, конечно; исправительные наказания необходимы с домашними животными.

– Что?

– Я говорю, что исправительные наказания, ваше превосходительство, необходимы для водворения покорности в домашних животных.

– А!.. ну, с Богом, с Богом, я только об этом.

Вышед на улицу, Иван Андреевич стоял долгое время в таком положении, как будто ожидал, что с ним тотчас же будет удар. Он снял шляпу, отер холодный пот со лба, зажмурился, подумал о чем-то и пустился домой.

Каково же было его изумление, когда дома он узнал, что Глафира Петровна уже давно приехала из театра, уже давно как у ней разболелись зубы, как посылала за доктором, как посылала за пиявками и как она теперь лежит в постели и дожидается Ивана Андреевича.

Иван Андреевич ударил себя сначала по лбу, потом приказал подать себе умыться и почиститься и наконец решился идти в спальню жены.

– Где это вы проводите время? Посмотрите, на кого вы похожи. На вас лица нет! Где это вы пропадали? Помилуйте, сударь: жена умирает, а вас не сыщут по городу. Где вы были? Уж не опять ли меня ловили, хотели расстроить свидание, которое я не знаю кому назначила? Стыдно, сударь, какой вы муж! Скоро пальцами указывать будут!

– Душечка! – отвечал Иван Андреевич.

Но тут он почувствовал такое смущение, что принужден был полезть в карман за платком и прервать начатую речь, затем что недоставало ни слов, ни мысли, ни духа... Каково же было его изумление, страх, ужас, когда, вместе с платком, выпал из кармана покойник Амишка? Иван Андреевич и не заметил, как, в порыве отчаяния, принужденный вылезть из-под кровати, сунул Амишку, в припадке безотчетного страха, в карман, с отдаленной надеждой схоронить концы, скрыть улику своего преступления и избегнуть таким образом заслуженного наказания.

– Что это? – закричала супруга. – Мертвая собачонка! Боже! Откуда... Что это вы?.. Где вы были? Говорите сейчас, где вы были?..

– Душечка! – отвечал Иван Андреевич, помертвев более Амишки, – душечка...

Но здесь мы оставим нашего героя, – до другого раза, потому что здесь начинается совершенно особое и новое приключение. Когда-нибудь мы доскажем, господа, все эти бедствия и гонения судьбы. Но согласитесь сами, что ревность – страсть непростительная, мало того: даже – несчастие!..[1]

[1] Впервые опубликовано: «Отечественные записки», январь 1848 г. «Чужая жена (Уличная сцена)». Там же, декабрь: «Ревнивый муж. Происшествие необыкновенное». При подготовке издания 1860 г. Достоевский объединил два этих рассказа в одно произведение, при этом опустив начало второго рассказа; в издании 1860 г. также были значительно изменены диалоги молодого человека и Ивана Андреевича.

МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ

(Из неизвестных мемуаров)

Было мне тогда без малого одиннадцать лет. В июле отпустили меня гостить в подмосковную деревню, к моему родственнику, Т – ву, к которому в то время съехалось человек пятьдесят, а может быть и больше, гостей... не помню, не сосчитал. Было шумно и весело. Казалось, что это был праздник, который с тем и начался, чтоб никогда не кончиться. Казалось, наш хозяин дал себе слово как можно скорее промотать всё свое огромное состояние, и ему удалось-таки недавно оправдать эту догадку, то есть промотать всё, дотла, дочиста, до последней щепки. Поминутно наезжали новые гости, Москва же была в двух шагах, на виду, так что уезжавшие только уступали место другим, а праздник шел своим чередом. Увеселения сменялись одни другими, и затеям конца не предвиделось. То верховая езда по окрестностям, целыми партиями, то прогулки в бор или по реке; пикники, обеды в поле; ужины на большой террасе дома, обставленной тремя рядами драгоценных цветов, заливавших ароматами свежий ночной воздух, при блестящем освещении, от которого наши дамы, и без того почти все до одной хорошенькие, казались еще прелестнее с их одушевленными от дневных впечатлений лицами, с их сверкавшими глазками, с их перекрестною резвою речью, переливавшеюся звонким как колокольчик смехом; танцы, музыка, пение; если хмурилось небо, сочиня-

лись живые картины, шарады, пословицы; устраивался домашний театр. Явились краснобаи, рассказчики, бонмотисты[1].

Несколько лиц резко обрисовалось на первом плане. Разумеется, злословие, сплетни шли своим чередом, так как без них и свет не стоит, и миллионы особ перемерли бы от тоски как мухи. Но так как мне было одиннадцать лет, то я и не замечал тогда этих особ, отвлеченный совсем другим, а если и заметил что, так не всё. После уже кое-что пришлось вспомнить. Только одна блестящая сторона картины могла броситься в мои детские глаза, и это всеобщее одушевление, блеск, шум – всё это, доселе невиданное и неслыханное мною, так поразило меня, что я в первые дни совсем растерялся и маленькая голова моя закружилась.

Но я всё говорю про свои одиннадцать лет, и, конечно, я был ребенок, не более как ребенок. Многие из этих прекрасных женщин, лаская меня, еще не думали справляться с моими годами. Но – странное дело! – какое-то непонятное мне самому ощущение уже овладело мною; что-то шелестило уже по моему сердцу, до сих пор незнакомое и неведомое ему; но отчего оно подчас горело и билось, будто испуганное, и часто неожиданным румянцем обливалось лицо мое. Порой мне как-то стыдно и даже обидно было за разные детские мои привилегии. Другой раз как будто удивление одолевало меня, и я уходил куда-нибудь, где бы не могли меня видеть, как будто для того, чтоб перевести дух и что-то припомнить, что-то такое, что до сих пор, казалось мне, я очень хорошо помнил и про что теперь вдруг позабыл, но без чего, однако ж, мне покуда нельзя показаться и никак нельзя быть.

То, наконец, казалось мне, что я что-то затаил от всех, но ни за что и никому не сказывал об этом, затем что стыдно мне, маленькому человеку, до слез. Скоро среди вихря, меня окружавшего, почувствовал я какое-то одиночество. Тут были и другие дети, но все – или гораздо моложе, или гораздо старше меня; да, впрочем, не до них было мне. Конечно, ничего б и не случилось со мною, если б я не был в исключительном положении. На глаза всех этих прекрасных дам, я всё еще был то же маленькое, неопределенное существо, которое они подчас любили ласкать и с которым им можно было играть как с маленькой куклой. Особенно одна из них,

[1] Острословы (от *фр.* bon mot – острота).

очаровательная блондинка, с пышными, густейшими волосами, каких я никогда потом не видел и, верно, никогда не увижу, казалось, поклялась не давать мне покоя. Меня смущал, а ее веселил смех, раздававшийся кругом нас, который она поминутно вызывала своими резкими, взбалмошными выходками со мною, что, видно, доставляло ей огромное наслаждение. В пансионах, между подругами, ее наверное прозвали бы школьницей. Она была чудно хороша, и что-то было в ее красоте, что так и металось в глаза с первого взгляда. И, уж конечно, она непохожа была на тех маленьких стыдливеньких блондиночек, беленьких, как пушок, и нежных, как белые мышки или пасторские дочки. Ростом она была невысока и немного полна, но с нежными, тонкими линиями лица, очаровательно нарисованными. Что-то как молния сверкающее было в этом лице, да и вся она – как огонь, живая, быстрая, легкая. Из ее больших открытых глаз будто искры сыпались; они сверкали, как алмазы, и никогда я не променяю таких голубых искрометных глаз ни на какие черные, будь они чернее самого черного андалузского взгляда, да и блондинка моя, право, стоила той знаменитой брюнетки, которую воспел один известный и прекрасный поэт и который еще в таких превосходных стихах поклялся всей Кастилией, что готов переломать себе кости, если позволят ему только кончиком пальца прикоснуться к мантилье его красавицы. Прибавь к тому, что *моя* красавица была самая веселая из всех красавиц в мире, самая взбалмошная хохотунья, резвая как ребенок, несмотря на то, что лет пять как была уже замужем. Смех не сходил с ее губ, свежих, как свежа утренняя роза, только что успевшая раскрыть, с первым лучом солнца, свою алую, ароматную почку, на которой еще не обсохли холодные крупные капли росы.

Помню, что на второй день моего приезда был устроен домашний театр. Зала была, как говорится, набита битком; не было ни одного места свободного; а так как мне привелось почему-то опоздать, то я и принужден был наслаждаться спектаклем стоя. Но веселая игра всё более и более тянула меня вперед, и я незаметно пробрался до самых первых рядов, где и стал наконец, облокотись на спинку кресел, в которых сидела одна дама. Это была моя блондинка; но мы еще знакомы не были. И вот, как-то невзначай, засмотрелся я на ее чудно-округленные, соблазнительные плечи, полные, белые, как молочный кипень, хотя мне решительно всё

равно было смотреть: на чудесные женские плечи или на чепец с огненными лентами, скрывавший седины одной почтенной дамы в первом ряду. Возле блондинки сидела перезрелая дева, одна из тех, которые, как случалось мне потом замечать, вечно ютятся где-нибудь как можно поближе к молоденьким и хорошеньким женщинам, выбирая таких, которые не любят гонять от себя молодежь. Но не в том дело; только эта дева подметила мои наблюдения, нагнулась к соседке и, хихикая, пошептала ей что-то на ухо. Соседка вдруг обернулась, и, помню, что огневые глаза ее так сверкнули на меня в полусумраке, что я, не приготовленный к встрече, вздрогнул, как будто обжегшись. Красавица улыбнулась.

– Нравится вам, что играют? – спросила она, лукаво и насмешливо посмотрев мне в глаза.

– Да, – отвечал я, всё еще смотря на нее в каком-то удивлении, которое ей в свою очередь, видимо, нравилось.

– А зачем же вы стоите? Так – устанете; разве вам места нет?

– То-то и есть, что нет, – отвечал я, на этот раз более занятый заботой, чем искрометными глазами красавицы, и пресерьезно обрадовавшись, что нашлось наконец доброе сердце, которому можно открыть свое горе. – Я уж искал, да все стулья заняты, – прибавил я, как будто жалуясь ей на то, что все стулья заняты.

– Ступай сюда, – живо заговорила она, скорая на все решения так же, как и на всякую сумасбродную идею, какая бы ни мелькнула в взбалмошной ее голове, – ступай сюда, ко мне, и садись мне на колени.

– На колени?.. – повторил я, озадаченный.

Я уже сказал, что мои привилегии серьезно начали меня обижать и совестить. Эта, будто на смех, не в пример другим далеко заходила. К тому же я, и без того всегда робкий и стыдливый мальчик, теперь как-то особенно начал робеть перед женщинами и потому ужасно сконфузился.

– Ну да, на колени! Отчего же ты не хочешь сесть ко мне на колени? – настаивала она, начиная смеяться всё сильнее и сильнее, так что наконец просто принялась хохотать бог знает чему, может быть, своей же выдумке или обрадовавшись, что я так сконфузился. Но ей того-то и нужно было.

Я покраснел и в смущении осматривался кругом, приискивая – куда бы уйти; но она уже предупредила меня, как-то успев поймать мою руку, именно для того, чтоб я не ушел, и, притянув ее к себе, вдруг, совсем не-

ожиданно, к величайшему моему удивлению, пребольно сжала ее в своих шаловливых, горячих пальчиках и начала ломать мои пальцы, но так больно, что я напрягал все усилия, чтоб не закричать, и при этом делал пресмешные гримасы. Кроме того, я был в ужаснейшем удивлении, недоумении, ужасе даже, узнав, что есть такие смешные и злые дамы, которые говорят с мальчиками про такие пустяки да еще больно так щиплются, Бог знает за что и при всех. Вероятно, мое несчастное лицо отражало все мои недоумения, потому что шалунья хохотала мне в глаза как безумная, а между тем всё сильнее и сильнее щипала и ломала мои бедные пальцы. Она была вне себя от восторга, что удалось-таки нашкольничать, сконфузить бедного мальчика и замистифировать его в прах. Положение мое было отчаянное. Во-первых, я горел от стыда, потому что почти все кругом нас оборотились к нам, одни в недоумении, другие со смехом, сразу поняв, что красавица что-нибудь напроказила. Кроме того, мне страх как хотелось кричать, потому что она ломала мои пальцы с каким-то ожесточением, именно за то, что я не кричу; а я, как спартанец, решился выдерживать боль, боясь наделать криком суматоху, после которой уж не знаю, что бы сталось со мною. В припадке совершенного отчаяния начал я наконец борьбу и принялся из всех сил тянуть к себе свою собственную руку, но тиранка моя была гораздо меня сильнее. Наконец я не выдержал, вскрикнул, – того только и ждала! Мигом она бросила меня и отвернулась, как ни в чем не бывала, как будто и не она напроказила, а кто другой, ну точь-в-точь какой-нибудь школьник, который, чуть отвернулся учитель, уже успел напроказить где-нибудь по соседству, щипнуть какого-нибудь крошечного, слабосильного мальчика, дать ему щелчка, пинка, подтолкнуть ему локоть и мигом опять повернуться, поправиться, уткнувшись в книгу, начать долбить свой урок и, таким образом, оставить разгневанного господина учителя, бросившегося, подобно ястребу, на шум, – с предлинным и неожиданным носом.

Но, к моему счастью, общее внимание увлечено было в эту минуту мастерской игрой нашего хозяина, который исполнял в игравшейся пьеске, какой-то скрибовской комедии, главную роль. Все зааплодировали; я, под шумок, скользнул из ряда и забежал на самый конец залы, в противоположный угол, откуда, притаясь за колонной, с ужасом смотрел туда, где сидела коварная красавица. Она всё еще хохотала, закрыв платком

свои губки. И долго еще она оборачивалась назад, выглядывая меня по всем углам, – вероятно, очень жалея, что так скоро кончилась наша сумасбродная схватка, и придумывая, как бы еще что-нибудь напроказить.

Этим началось наше знакомство, и с этого вечера она уже не отставала от меня ни на шаг. Она преследовала меня без меры и совести, сделалась гонительницей, тиранкой моей. Весь комизм ее проделок со мной заключался в том, что она сказалась влюбленною в меня по уши и резала меня при всех. Разумеется, мне, прямому дикарю, всё это до слез было тяжело и досадно, так что я уже несколько раз был в таком серьезном и критическом положении, что готов был подраться с моей коварной обожательницей. Мое наивное смущение, моя отчаянная тоска как будто окрыляли ее преследовать меня до конца. Она не знала жалости, а я не знал – куда от нее деваться. Смех, раздававшийся кругом нас и который она умела-таки вызвать, только поджигал ее на новые шалости. Но стали наконец находить ее шутки немного слишком далекими. Да и вправду, как пришлось теперь вспомнить, она уже чересчур позволяла себе с таким ребенком, как я.

Но уж такой был характер; была она, по всей форме, баловница. Я слышал потом, что избаловал ее всего более ее же собственный муж, очень толстенький, очень невысокий и очень красный человек, очень богатый и очень деловой, по крайней мере с виду: вертлявый, хлопотливый, он двух часов не мог прожить на одном месте. Каждый день ездил он от нас в Москву, иногда по два раза, и всё, как сам уверял, по делам. Веселее и добродушнее этой комической и между тем всегда порядочной физиономии трудно было сыскать. Он мало того, что любил жену до слабости, до жалости, – он просто поклонялся ей как идолу.

Он не стеснял ее ни в чем. Друзей и подруг у ней было множество. Во-первых, ее мало кто не любил, а во-вторых – ветреница и сама была не слишком разборчива в выборе друзей своих, хотя в основе ее характера было гораздо более серьезного, чем сколько можно предположить, судя по тому, что я теперь рассказал. Но из всех подруг своих она всех больше любила и отличала одну молодую даму, свою дальнюю родственницу, которая теперь тоже была в нашем обществе. Между ними была какая-то нежная, утонченная связь, одна из тех связей, которые зарождаются иногда при встрече двух характеров, часто совершенно противопо-

ложных друг другу, но из которых один и строже, и глубже, и чище другого, тогда как другой, с высоким смирением и с благородным чувством самооценки, любовно подчиняется ему, почувствовав всё превосходство его над собою, и, как счастье, заключает в сердце своем его дружбу. Тогда-то начинается эта нежная и благородная утонченность в отношениях таких характеров: любовь и снисхождение до конца, с одной стороны, любовь и уважение – с другой, уважение, доходящее до какого-то страха, до боязни за себя в глазах того, кем так высоко дорожишь, и до ревнивого, жадного желания с каждым шагом в жизни всё ближе и ближе подходить к его сердцу. Обе подруги были одних лет, но между ними была неизмеримая разница во всем, начиная с красоты. M-me M* была тоже очень хороша собой, но в красоте ее было что-то особенное, резко отделявшее ее от толпы хорошеньких женщин; было что-то в лице ее, что тотчас же неотразимо влекло к себе все симпатии, или, лучше сказать, что пробуждало благородную, возвышенную симпатию в том, кто встречал ее. Есть такие счастливые лица. Возле нее всякому становилось как-то лучше, как-то свободнее, как-то теплее, и, однако ж, ее грустные большие глаза, полные огня и силы, смотрели робко и беспокойно, будто под ежеминутным страхом чего-то враждебного и грозного, и эта странная робость таким унынием покрывала подчас ее тихие, кроткие черты, напоминавшие светлые лица итальянских мадонн, что, смотря на нее, самому становилось скоро так же грустно, как за собственную, как за родную печаль. Это бледное, похудевшее лицо, в котором сквозь безукоризненную красоту чистых, правильных линий и унылую суровость глухой, затаенной тоски еще так часто просвечивал первоначальный детски ясный облик, – образ еще недавних доверчивых лет и, может быть, наивного счастья; эта тихая, но несмелая, колебавшаяся улыбка – всё это поражало таким безотчетным участием к этой женщине, что в сердце каждого невольно зарождалась сладкая, горячая забота, которая громко говорила за нее еще издали и еще вчуже роднила с нею. Но красавица казалась как-то молчаливою, скрытною, хотя, конечно, не было существа более внимательного и любящего, когда кому-нибудь надобилось сочувствие. Есть женщины, которые точно сестры милосердия в жизни. Перед ними можно ничего не скрывать, по крайней мере ничего, что есть больного и уязвленного в душе. Кто страждет, тот смело и с надеждой иди к ним и не бойся быть

в тягость, затем что редкий из нас знает, насколько может быть бесконечно терпеливой любви, сострадания и всепрощения в ином женском сердце. Целые сокровища симпатии, утешения, надежды хранятся в этих чистых сердцах, так часто тоже уязвленных, потому что сердце, которое много любит, много грустит, но где рана бережливо закрыта от любопытного взгляда, затем что глубокое горе всего чаще молчит и таится. Их же не испугает ни глубина раны, ни гной ее, ни смрад ее: кто к ним подходит, тот уж их достоин; да они, впрочем, как будто и родятся на подвиг... M-me M* была высока ростом, гибка и стройна, но несколько тонка. Все движения ее были как-то неровны, то медленны, плавны и даже как-то важны, то детски скоры, а вместе с тем и какое-то робкое смирение проглядывало в ее жесте, что-то как будто трепещущее и незащищенное, но никого не просившее и не молившее о защите.

Я уже сказал, что непохвальные притязания коварной блондинки стыдили меня, резали меня, язвили меня до крови. Но этому была еще причина тайная, странная, глупая, которую я таил, за которую дрожал, как кащей, и даже при одной мысли о ней, один на один с опрокинутой моей головою, где-нибудь в таинственном, темном углу, куда не досягал инквизиторский, насмешливый взгляд никакой голубоокой плутовки, при одной мысли об этом предмете я чуть не задыхался от смущения, стыда и боязни, – словом, я был влюблен, то есть, положим, что я сказал вздор: этого быть не могло; но отчего же из всех лиц, меня окружавших, только одно лицо уловлялось моим вниманием? Отчего только за нею я любил следить взглядом, хотя мне решительно не до того было тогда, чтоб выглядывать дам и знакомиться с ними? Случалось это всего чаще по вечерам, когда ненастье запирало всех в комнаты и когда я, одиноко притаясь где-нибудь в углу залы, беспредметно глазел по сторонам, решительно не находя никакого другого занятия, потому что со мной, исключая моих гонительниц, редко кто говорил, и было мне в такие вечера нестерпимо скучно. Тогда всматривался я в окружавшие меня лица, вслушивался в разговор, в котором часто не понимал ни слова, и вот в это-то время тихие взгляды, кроткая улыбка и прекрасное лицо m-me M* (потому что это была она), Бог знает почему, уловлялись моим зачарованным вниманием, и уж не изглаживалось это странное, неопределенное, но непостижимо сладкое впечатление мое. Часто по целым

часам я как будто уж и не мог от нее оторваться; я заучил каждый жест, каждое движение ее, вслушался в каждую вибрацию густого, серебристого, но несколько заглушённого голоса и – странное дело! – из всех наблюдений своих вынес, вместе с робким и сладким впечатлением, какое-то непостижимое любопытство. Похоже было на то, как будто я допытывался какой-нибудь тайны...

Всего мучительнее для меня были насмешки в присутствии m-me M*. Эти насмешки и комические гонения, по моим понятиям, даже унижали меня. И когда, случалось, раздавался общий смех на мой счет, в котором даже m-me M* иногда невольно принимала участие, тогда я, в отчаянии, вне *себя* от горя, вырывался от своих тиранок и убегал наверх, где и дичал остальную часть дня, не смея показать своего лица в зале. Впрочем, я и сам еще не понимал ни своего стыда, ни волнения; весь процесс переживался во мне бессознательно. С m-me M* я почти не сказал еще и двух слов, да и, конечно, не решился бы на это. Но вот однажды вечером, после несноснейшего для меня дня, отстал я от других на прогулке, ужасно устал и пробирался домой через сад. На одной скамье, в уединенной аллее, увидел я m-me M*. Она сидела одна-одинехонька, как будто нарочно выбрав такое уединенное место, склонив голову на грудь и машинально перебирая в руках платок. Она была в такой задумчивости, что и не слыхала, как я с ней поравнялся.

Заметив меня, она быстро поднялась со скамьи, отвернулась и, я увидел, наскоро отерла глаза платком. Она плакала. Осушив глаза, она улыбнулась мне и пошла вместе со мною домой. Уж не помню, о чем мы с ней говорили; но она поминутно отсылала меня под разными предлогами: то просила сорвать ей цветок, то посмотреть, кто едет верхом по соседней аллее. И когда я отходил от нее, она тотчас же опять подносила платок к глазам своим и утирала непослушные слезы, которые никак не хотели покинуть ее, всё вновь и вновь накипали в сердце и всё лились из ее бедных глаз. Я понимал, что, видно, я ей очень в тягость, когда она так часто меня отсылает, да и сама она уже видела, что я всё заметил, но только не могла удержаться, и это меня еще более за нее надрывало. Я злился на себя в эту минуту почти до отчаяния, проклинал себя за неловкость и ненаходчивость и все-таки не знал, как ловче отстать от нее, не выказав, что заметил ее горе, но шел рядом с нею, в грустном изумлении, даже в испуге, совсем

растерявшись и решительно не находя ни одного слова для поддержки оскудевшего нашего разговора.

Эта встреча так поразила меня, что я весь вечер с жадным любопытством следил потихоньку за m-me M* и не спускал с нее глаз. Но случилось так, что она два раза застала меня врасплох среди моих наблюдений, и во второй раз, заметив меня, улыбнулась. Это была ее единственная улыбка за весь вечер. Грусть еще не сходила с лица ее, которое было теперь очень бледно. Всё время она тихо разговаривала с одной пожилой дамой, злой и сварливой старухой, которой никто не любил за шпионство и сплетни, но которой все боялись, а потому и принуждены были всячески угождать ей, волей-неволей...

Часов в десять приехал муж m-me M*. До сих пор я наблюдал за ней очень пристально, не отрывая глаз от ее грустного лица; теперь же, при неожиданном входе мужа, я видел, как она вся вздрогнула и лицо ее, и без того уже бледное, сделалось вдруг белее платка. Это было так приметно, что и другие заметили: я расслышал в стороне отрывочный разговор, из которого кое-как догадался, что бедной m-me M* не совсем хорошо. Говорили, что муж ее ревнив, как арап, не из любви, а из самолюбия. Прежде всего это был европеец, человек современный, с образчиками новых идей и тщеславящийся своими идеями. С виду это был черноволосый, высокий и особенно плотный господин, с европейскими бакенбардами, с самодовольным румяным лицом, с белыми как сахар зубами и с безукоризненной джентльменской осанкой. Называли его *умным человеком.* Так в иных кружках называют одну особую породу растолстевшего на чужой счет человечества, которая ровно ничего не делает, которая ровно ничего не хочет делать и у которой, от вечной лености и ничегонеделания, вместо сердца кусок жира. От них же поминутно слышишь, что им нечего делать вследствие каких-то очень запутанных, враждебных обстоятельств, которые «утомляют их гений», и что на них, поэтому, «грустно смотреть». Это уж у них такая принятая пышная фраза, их mot d'ordre, их пароль и лозунг, фраза, которую мои сытые толстяки расточают везде поминутно, что уже давно начинает надоедать, как отъявленное тартюфство и пустое слово. Впрочем, некоторые из этих забавников, никак не могущих найти, что им делать, – чего, впрочем, никогда и не искали они, – именно на то метят, чтоб все думали, что у них

вместо сердца не жир, а, напротив, говоря вообще, что-то *очень глубокое,* но что именно – об этом не сказал бы ничего самый первейший хирург, конечно, из учтивости. Эти господа тем и пробиваются на свете, что устремляют все свои инстинкты на грубое зубоскальство, самое близорукое осуждение и безмерную гордость. Так как им нечего больше делать, как подмечать и затверживать чужие ошибки и слабости, и так как в них доброго чувства ровнешенько настолько, сколько дано его в удел устрице, то им и не трудно, при таких предохранительных средствах, прожить с людьми довольно осмотрительно. Этим они чрезмерно тщеславятся. Они, например, почти уверены, что у них чуть ли не весь мир на оброке; что он у них как устрица, которую они берут про запас; что все, кроме них, дураки; что всяк похож на апельсин или на губку, которую они нет-нет да и выжмут, пока сок надобится; что они всему хозяева и что весь этот похвальный порядок вещей происходит именно оттого, что они такие умные и характерные люди. В своей безмерной гордости они не допускают в себе недостатков. Они похожи на ту породу житейских плутов, прирожденных тартюфов и фальстафов, которые до того заплутовались, что наконец и сами уверились, что так и должно тому быть, то есть, чтоб жить им да плутовать; до того часто уверяли всех, что они честные люди, что наконец и сами уверились, будто они действительно честные люди и что их плутовство-то и есть честное дело. Для совестного внутреннего суда, для благородной самооценки их никогда не хватит; для иных вещей они слишком толсты. На первом плане у них всегда и во всем их собственная золотая особа, их Молох и Ваал, их великолепное *я.* Вся природа, весь мир для них не более как одно великолепное зеркало, которое и создано для того, чтоб мой божок беспрерывно в него на себя любовался и из-за себя никого и ничего не видел; после этого и немудрено, что всё на свете видит он в таком безобразном виде. На всё у него припасена готовая фраза, и, – что, однако ж, верх ловкости с их стороны, – самая модная фраза. Даже они-то и способствуют этой моде, голословно распространяя по всем перекресткам ту мысль, которой почуют успех. Именно у них есть чутье, чтоб пронюхать такую модную фразу и раньше других усвоить ее себе, так, что как будто она от них и пошла. Особенно же запасаются они своими фразами на изъявление своей глубочайшей симпатии к человечеству, на определение, что такое самая правильная

и оправданная рассудком филантропия, и, наконец, чтоб безостановочно карать романтизм, то есть зачастую всё прекрасное и истинное, каждый атом которого дороже всей их слизняковой породы. Но грубо не узнают они истины в уклоненной, переходной и неготовой форме и отталкивают всё, что еще не поспело, не устоялось и бродит. Упитанный человек всю жизнь прожил навеселе, на всем готовом, сам ничего не сделал и не знает, как трудно всякое дело делается, а потому беда какой-нибудь шероховатостью задеть его жирные чувства: за это он никогда не простит, всегда припомнит и отомстит с наслаждением. Итог всему выйдет, что мой герой есть не более не менее как исполинский, донельзя раздутый мешок, полный сентенций, модных фраз и ярлыков всех родов и сортов.

Но, впрочем, m-r M* имел и особенность, был человек примечательный: это был остряк, говорун и рассказчик, и в гостиных кругом него всегда собирался кружок. В тот вечер особенно ему удалось произвесть впечатление. Он овладел разговором; он был в ударе, весел, чему-то рад и заставил-таки всех глядеть на себя. Но m-me M* всё время была как больная; лицо ее было такое грустное, что мне поминутно казалось, что вот-вот сейчас задрожат на ее длинных ресницах давешние слезы. Всё это, как я сказал, поразило и удивило меня чрезвычайно. Я ушел с чувством какого-то странного любопытства, и всю ночь снился мне m-r M*, тогда как до тех пор я редко видывал безобразные сны.

На другой день, рано поутру, позвали меня на репетицию живых картин, в которых и у меня была роль. Живые картины, театр и потом бал – всё в один вечер, назначались не далее как дней через пять, по случаю домашнего праздника – дня рождения младшей дочери нашего хозяина. На праздник этот, почти импровизированный, приглашены были из Москвы и из окрестных дач еще человек сто гостей, так что много было и возни, и хлопот, и суматохи. Репетиции или, лучше сказать, смотр костюмов назначены были не вовремя, поутру, потому что наш режиссер, известный художник P*, приятель и гость нашего хозяина, по дружбе к нему согласившийся взять на себя сочинение и постановку картин, а вместе с тем и нашу выучку, спешил теперь в город для закупок по бутафорской части и для окончательных заготовлений к празднику, так что времени терять было некогда. Я участвовал в одной картине, вдвоем с m-me M*. Картина выражала сцену из средневековой жизни и называлась «Госпожа замка и ее паж».

Я почувствовал неизъяснимое смущение, сошедшись с m-me M* на репетиции. Мне так и казалось, что она тотчас же вычитает из глаз моих все думы, сомнения, догадки, зародившиеся со вчерашнего дня в голове моей. К тому же мне всё казалось, что я как будто бы виноват пред нею, застав вчера ее слезы и помешав ее горю, так что она поневоле должна будет коситься на меня, как на неприятного свидетеля и непрошеного участника ее тайны. Но, слава Богу, дело обошлось без больших хлопот: меня просто не заметили. Ей, кажется, было вовсе не до меня и не до репетиции: она была рассеянна, грустна и мрачно-задумчива; видно было, что ее мучила какая-то большая забота. Покончив с моею ролью, я побежал переодеться и через десять минут вышел на террасу в сад. Почти в то же время из других дверей вышла и m-me M*, и, как раз нам напротив, появился самодовольный супруг ее, который возвращался из сада, только что проводив туда целую группу дам и там успев сдать их с рук на руки какому-то досужему cavalier servant[1]. Встреча мужа и жены, очевидно, была неожиданна. M-me M*, неизвестно почему-то, вдруг смутилась, и легкая досада промелькнула в ее нетерпеливом движении. Супруг, беспечно насвистывавший арию и во всю дорогу глубокомысленно охорашивавший свои бакенбарды, теперь, при встрече с женою, нахмурился и оглядел ее, как припоминаю теперь, решительно инквизиторским взглядом.

– Вы в сад? – спросил он, заметив омбрельку[2] и книгу в руках жены.

– Нет, в рощу, – отвечала она, слегка покраснев.

– Одни?

– С ним... – проговорила m-me M*, указав на меня. – Я гуляю поутру одна, – прибавила она каким-то неровным, неопределенным голосом, точно таким, когда лгут первый раз в жизни.

– Гм... А я только что проводил туда целую компанию. Там все собираются у цветочной беседки провожать H – го. Он едет, вы знаете... у него какая-то беда случилась там, в Одессе... Ваша кузина (он говорил о блондинке) и смеется, и чуть не плачет, всё разом, не разберешь ее. Она мне, впрочем, сказала, что вы за что-то сердиты на H – го и потому не пошли его провожать. Конечно вздор?

---

[1] Услужливому кавалеру (*фр.*).

[2] Зонтик от солнца (от *фр.* ombrelle – зонт).

– Она смеется, – отвечала m-me M*, сходя со ступенек террасы.

– Так это ваш каждодневный cavalier servant? – прибавил m-r M*, скривив рот и наведя на меня свой лорнет.

– Паж! – закричал я, рассердившись за лорнет и насмешку, и, захохотав ему прямо в лицо, разом перепрыгнул три ступеньки террасы...

– Счастливый путь! – пробормотал m-r M* и пошел своею дорогой.

Конечно, я тотчас же подошел к m-me M*, как только она указала на меня мужу, и глядел так, как будто она меня уже целый час назад пригласила и как будто я уже целый месяц ходил с ней гулять по утрам. Но я никак не мог разобрать: зачем она так смутилась, сконфузилась и что такое было у ней на уме, когда она решилась прибегнуть к своей маленькой лжи? Зачем она просто не сказала, что идет одна? Теперь я не знал, как и глядеть на нее; но, пораженный удивлением, я, однако ж, пренаивно начал помаленьку заглядывать ей в лицо; но, так же как и час назад, на репетиции, она не примечала ни подглядываний, ни немых вопросов моих. Всё та же мучительная забота, но еще явственнее, еще глубже, чем тогда, отражалась в ее лице, в ее волнении, в походке. Она спешила куда-то, всё более и более ускоряя шаг, и с беспокойством заглядывала в каждую аллею, в каждую просеку рощи, оборачиваясь к стороне сада. И я тоже ожидал чего-то. Вдруг за нами раздался лошадиный топот. Это была целая кавалькада наездниц и всадников, провожавших того H – го, который так внезапно покидал наше общество.

Между дамами была и моя блондинка, про которую говорил m-r M*, рассказывая о слезах ее. Но, по своему обыкновению, она хохотала как ребенок и резво скакала на прекрасном гнедом коне. Поравнявшись с нами, H – й снял шляпу, но не остановился и не сказал с m-me M* ни слова. Скоро вся ватага исчезла из глаз. Я взглянул на m-me M* и чуть не вскрикнул от изумления: она стояла бледная как платок и крупные слезы пробивались из глаз ее. Случайно наши взгляды встретились: m-me M* вдруг покраснела, на миг отвернулась, и беспокойство и досада ясно замелькали на лице ее. Я был лишний, хуже, чем вчера, – это яснее дня, но куда мне деваться?

Вдруг m-me M*, как будто догадавшись, развернула книгу, которая была у нее в руках, и, закрасневшись, очевидно стараясь не смотреть на меня, сказала, как будто сейчас только спохватилась:

– Ах! это вторая часть, я ошиблась; пожалуйста, принеси мне первую.

Как не понять! моя роль кончилась, и нельзя было прогнать меня по более прямой дороге.

Я убежал с ее книгой и не возвращался. Первая часть преспокойно пролежала на столе это утро...

Но я был сам не свой; у меня билось сердце, как будто в беспрерывном испуге. Всеми силами старался я как-нибудь не повстречать m-me M*. Зато я с каким-то диким любопытством глядел на самодовольную особу m-r M*, как будто в нем теперь непременно должно было быть что-то особенное. Решительно не понимаю, что было в этом комическом любопытстве моем; помню только, что я был в каком-то странном удивлении от всего, что привелось мне увидеть в это утро. Но мой день только что начинался, и для меня он был обилен происшествиями.

Обедали на этот раз очень рано. К вечеру назначена была общая увеселительная поездка в соседнее село, на случившийся там деревенский праздник, и потому нужно было время, чтоб приготовиться. Я уж за три дня мечтал об этой поездке, ожидая бездну веселья. Пить кофе почти все собрались на террасе. Я осторожно пробрался за другими и спрятался за тройным рядом кресел. Меня влекло любопытство, и между тем я ни за что не хотел показаться на глаза m-me M*. Но случаю угодно было поместить меня недалеко от моей гонительницы-блондинки. На этот раз с ней приключилось чудо, невозможное дело: она вдвое похорошела. Уж не знаю, как и отчего это делается, но с женщинами такие чудеса бывают даже нередко. Меж нами в эту минуту был новый гость, высокий, бледнолицый молодой человек, записной поклонник нашей блондинки, только что приехавший к нам из Москвы, как будто нарочно затем, чтоб заменить собой отбывшего H – го, про которого шла молва, что он отчаянно влюблен в нашу красавицу. Что ж касается приезжего, то он уж издавна был с нею в таких же точно отношениях, как Бенедикт к Беатриче в шекспировском «Много шума из пустяков». Короче, наша красавица в этот день была в чрезвычайном успехе. Ее шутки и болтовня были так грациозны, так доверчиво-наивны, так простительно-неосторожны; она с такою грациозною самонадеянностию была уверена во всеобщем восторге, что действительно всё время была в каком-то особенном поклонении. Вокруг нее не разрывался тесный кружок удивленных залюбовавшихся на нее слушателей, и никогда еще

не была она так обольстительна. Всякое слово ее было в соблазн и в диковинку, ловилось, передавалось вкруговую, и ни одна шутка ее, ни одна выходка не пропала даром. От нее, кажется, и не ожидал никто столько вкуса, блеска, ума. Все лучшие качества ее повседневно были погребены в самом своевольном сумасбродстве, в самом упрямом школьничестве, доходившем чуть ли не до шутовства; их редко кто замечал; а если замечал, так не верил им, так что теперь необыкновенный успех ее встречен был всеобщим страстным шепотом изумления.

Впрочем, этому успеху содействовало одно особенное, довольно щекотливое обстоятельство, по крайней мере судя по той роли, которую играл в то же время муж m-me M*. Проказница решилась – и нужно прибавить: почти ко всеобщему удовольствию или, по крайней мере, к удовольствию всей молодежи – ожесточенно атаковать его вследствие многих причин, вероятно, очень важных, на ее глаза. Она завела с ним целую перестрелку острот, насмешек, сарказмов, самых неотразимых и скользких, самых коварных, замкнутых и гладких со всех сторон, таких, которые бьют прямо в цель, но к которым ни с одной стороны нельзя прицепиться для отпора и которые только истощают в бесплодных усилиях жертву, доводя ее до бешенства и до самого комического отчаяния.

Наверно не знаю, но, кажется, вся эта выходка была преднамеренная, а не импровизированная. Еще за обедом начался этот отчаянный поединок. Я говорю «отчаянный», потому что m-r M* нескоро положил оружие. Ему нужно было собрать всё присутствие духа, всё остроумие, всю свою редкую находчивость, чтоб не быть разбитым в прах, наголову и не покрыться решительным бесславием. Дело шло при непрерывном и неудержимом смехе всех свидетелей и участников боя. По крайней мере сегодня непохоже было для него на вчера. Приметно было, что m-me M* несколько раз порывалась остановить своего неосторожного друга, которому в свою очередь непременно хотелось нарядить ревнивого мужа в самый шутовской и смешной костюм, и должно полагать, в костюм Синей бороды, судя по всем вероятностям, судя по тому, что у меня осталось в памяти, и, наконец, по той роли, которую мне самому привелось играть в этой сшибке.

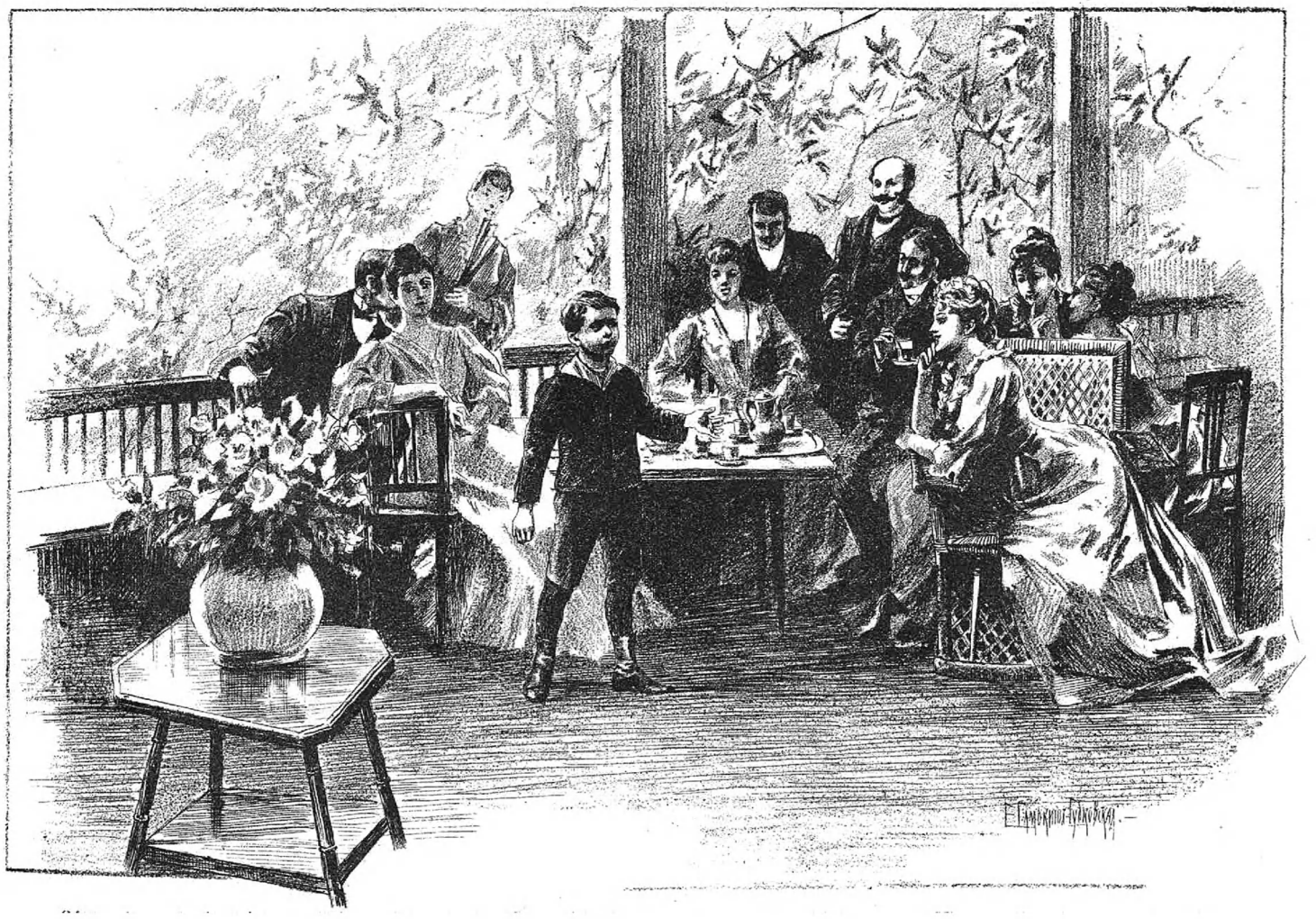
Это случилось вдруг, самым смешным образом, совсем неожиданно, и, как нарочно, в эту минуту я стоял на виду, не подозревая зла и даже

забыв о недавних моих предосторожностях. Вдруг я был выдвинут на первый план, как заклятый враг и естественный соперник m-r M*, как отчаянно, до последней степени влюбленный в жену его, в чем тиранка моя тут же поклялась, дала слово, сказала, что у ней есть доказательства и что не далее как, например, сегодня в лесу она видела...

Но она не успела договорить, я прервал ее в самую отчаянную для меня минуту. Эта минута была так безбожно рассчитана, так изменнически подготовлена к самому концу, к шутовской развязке, и так уморительно смешно обстановлена, что целый взрыв ничем неудержимого, всеобщего смеха отсалютовал эту последнюю выходку. И хотя тогда же я догадался, что не на мою долю выпадала самая досадная роль, – однако ж был до того смущен, раздражен и испуган, что, полный слез, тоски и отчаяния, задыхаясь от стыда, прорвался чрез два ряда кресел, ступил вперед и, обращаясь к моей тиранке, закричал прерывающимся от слез и негодования голосом:

– И не стыдно вам... вслух... при всех дамах... говорить такую худую... неправду?!., вам, точно маленькой... при всех мужчинах... Что они скажут?., вы – такая большая... замужняя!..

Но я не докончил, – раздался оглушительный аплодисмент. Моя выходка произвела настоящий furore. Мой наивный жест, мои слезы, а главное, то, что я как будто выступил защищать m-r M*, – всё это произвело такой адский смех, что даже и теперь, при одном воспоминании, мне самому становится ужасно смешно... Я оторопел, почти обезумел от ужаса и, сгорев как порох, закрыв лицо руками, бросился вон, выбил в дверях поднос из рук входившего лакея и полетел наверх, в свою комнату. Я вырвал из дверей ключ, торчавший наружу, и заперся изнутри. Сделал я хорошо, потому что за мною была погоня. Не прошло минуты, как мои двери осадила целая ватага самых хорошеньких из всех наших дам. Я слышал их звонкий смех, частый говор, их заливавшиеся голоса; они щебетали все разом, как ласточки. Все они, все до одной, просили, умоляли меня отворить хоть на одну минуту; клялись, что не будет мне ни малейшего зла, а только зацелуют они меня всего в прах. Но... что ж могло быть ужаснее еще этой новой угрозы? Я только горел от стыда за моею дверью, спрятав в подушки лицо, и не отпер, даже не отозвался. Они еще долго стучались и молили меня, но я был бесчувствен и глух, как одиннадцатилетний.



– И не стыдно вам... вслух... при всех дамах... говорить такую худую... неправду?!.. Вам, точно маленькой... при всех мужчинах ...

Ну, что ж теперь делать? всё открыто, всё обнаружилось, всё, что я так ревниво сберегал и таил... На меня падет вечный стыд и позор!.. По правде, я и сам не умел назвать того, за что так страшился и что хотел бы я скрыть; но ведь, однако ж, я страшился чего-то, за обнаружение этого *чего-то* я трепетал до сих пор как листочек. Одного только я не знал до этой минуты, что оно такое: годится оно или не годится, славно или позорно, похвально или не похвально? Теперь же, в мучениях и насильной тоске, узнал, что оно *смешно* и *стыдно*\Инстинктом чувствовал я в то же время, что такой приговор и ложен, и бесчеловечен, и груб; но я был разбит, уничтожен; процесс сознания как бы остановился и запутался во мне; я не мог ни противостать этому приговору, ни даже обсудить его хорошенько: я был отуманен; слышал только, что мое сердце бесчеловечно, бесстыдно уязвлено, и заливался бессильными слезами. Я был раздражен; во мне кипели негодование и ненависть, которой я доселе не знал никогда, потому что только в первый раз в жизни испытал серьезное горе, оскорбление, обиду; и всё это было действительно так, без всяких преувеличений. Во мне, в ребенке, было грубо затронуто первое, неопытное еще, необразовавшееся чувство, был так рано обнажен и поруган первый, благоуханный, девственный стыд и осмеяно первое и, может быть, очень серьезное эстетическое впечатление. Конечно, насмешники мои многого не знали и не предчувствовали в моих мучениях. Наполовину входило сюда одно сокровенное обстоятельство, которого сам я и не успел и как-то пугался до сих пор разбирать. В тоске и в отчаянии продолжал я лежать на своей постели, укрыв в подушки лицо; и жар и дрожь обливали меня попеременно. Меня мучили два вопроса: что такое видела и что именно могла увидать негодная блондинка сегодня в роще между мною и m-me M*? И, наконец, второй вопрос: как, какими глазами, каким средством могу я взглянуть теперь в лицо m-me M* и не погибнуть в ту же минуту, на том же месте от стыда и отчаяния.

Необыкновенный шум на дворе вызвал наконец меня из полубеспамятства, в котором я находился. Я встал и подошел к окну. Весь двор был загроможден экипажами, верховыми лошадьми и суетившимися слугами. Казалось, все уезжали; несколько всадников уже сидели на конях; другие гости размещались по экипажам... Тут вспомнил я о предстоявшей поездке, и вот, мало-помалу, беспокойство начало проникать в мое сердце;

я пристально начал выглядывать на дворе своего клеппера; но клеппера не было, – стало быть, обо мне позабыли. Я не выдержал и опрометью побежал вниз, уж не думая ни о неприятных встречах, ни о недавнем позоре своем...

Грозная новость ожидала меня. Для меня на этот раз не было ни верховой лошади, ни места в экипаже: всё было разобрано, занято, и я принужден уступить другим.

Пораженный новым горем, остановился я на крыльце и печально смотрел на длинный ряд карет, кабриолетов, колясок, в которых не было для меня и самого маленького уголка, и на нарядных наездниц, под которыми гарцевали нетерпеливые кони.

Один из всадников почему-то замешкался. Ждали только его, чтоб отправиться. У подъезда стоял конь его, грызя удила, роя копытами землю, поминутно вздрагивая и дыбясь от испуга. Два конюха осторожно держали его под уздцы, и все опасливо стояли от него в почтительном отдалении.

В самом деле, случилось предосадное обстоятельство, по которому мне нельзя было ехать. Кроме того что наехали новые гости и разобрали все места и всех лошадей, заболели две верховые лошади, из которых одна была мой клеппер. Но не мне одному пришлось пострадать от этого обстоятельства: открылось, что для нового нашего гостя, того бледнолицего молодого человека, о котором я уже говорил, тоже нет верхового коня. Чтоб отвратить неприятность, хозяин наш принужден был прибегнуть к крайности: рекомендовать своего бешеного, невыезженного жеребца, прибавив, для очистки совести, что на нем никак нельзя ездить и что его давно уж положили продать за дикость характера, если, впрочем, найдется на него покупщик. Но предупрежденный гость объявил, что ездит порядочно, да и во всяком случае готов сесть на что угодно, только бы ехать. Хозяин тогда промолчал, но теперь показалось мне, что какая-то двусмысленная и лукавая улыбка бродила на губах его. В ожидании наездника, похвалившегося своим искусством, он сам еще не садился на свою лошадь, с нетерпением потирал руки и поминутно взглядывал на дверь. Даже что-то подобное сообщилось и двум конюхам, удерживавшим жеребца и чуть не задыхавшимся от гордости, видя себя пред всей публикой при таком коне, который нет-нет да и убьет человека ни за что,

ни про что. Что-то похожее на лукавую усмешку их барина отсвечивалось и в их глазах, выпученных от ожидания и тоже устремленных на дверь, из которой должен был появиться приезжий смельчак. Наконец, и сам конь держал себя так, как будто тоже сговорился с хозяином и вожатыми: он вел себя гордо и заносчиво, словно чувствуя, что его наблюдают несколько десятков любопытных глаз, и словно гордясь пред всеми зазорной своей репутацией, точь-в-точь как иной неисправимый повеса гордится своими висельными проделками. Казалось, он вызывал смельчака, который бы решился посягнуть на его независимость.

Этот смельчак наконец показался. Совестясь, что заставил ждать себя, и торопливо натягивая перчатки, он шел вперед не глядя, спустился по ступенькам крыльца и поднял глаза только тогда, когда протянул было руку, чтоб схватить за холку заждавшегося коня, но вдруг был озадачен бешеным веко ком его на дыбы и предупредительным криком всей испуганной публики. Молодой человек отступил и с недоумением посмотрел на дикую лошадь, которая вся дрожала как лист, храпела от злости и дико поводила налившимися кровью глазами, поминутно оседая на задние ноги и приподымая передние, словно собираясь рвануться на воздух и унесть вместе с собою обоих вожатых своих. С минуту он стоял совсем озадаченный; потом, слегка покраснев от маленького замешательства, поднял глаза, обвел их кругом и поглядел на перепугавшихся дам.

– Конь очень хороший! – проговорил он как бы про себя, – и, судя по всему, на нем, должно быть, очень приятно ездить, но... но, знаете что? Ведь я-то не поеду, – заключил он, обращаясь к нашему хозяину с своей широкой, простодушной улыбкой, которая так шла к доброму и умному лицу его.

– И все-таки я вас считаю превосходным ездоком, клянусь вам, – отвечал обрадованный владетель недоступного коня, горячо и даже с благодарностью пожимая руку своего гостя, – именно за то, что вы с первого раза догадались, с каким зверем имеете дело, – прибавил он с достоинством. – Поверите ли мне, я, двадцать три года прослуживший в гусарах, уже три раза имел наслаждение лежать на земле по его милости, то есть ровно столько раз, сколько садился на этого... дармоеда. Танкред, друг мой, здесь не по тебе народ; видно, твой седок какой-нибудь Илья Муромец и сидит теперь сиднем в селе Карачарове да ждет, чтоб у тебя

выпали зубы. Ну, уведите его! Полно ему людей пугать! Напрасно только выводили, – заключил он, самодовольно потирая руки.

Нужно заметить, что Танкред не приносил ему ни малейшей пользы, только даром хлеб ел; кроме того, старый гусар погубил на нем всю свою бывалую ремонтерскую славу, заплатив баснословную цену за негодного дармоеда, который выезжал разве только на своей красоте... Все-таки теперь был он в восторге, что его Танкред не уронил своего достоинства, спешил еще одного наездника и тем стяжал себе новые, бестолковые лавры.

– Как, вы не едете? – закричала блондинка, которой непременно нужно было, чтоб ее cavalier servant на этот раз был при ней. – Неужели вы трусите?

– Ей-Богу же так! – отвечал молодой человек.

– И вы говорите серьезно?

– Послушайте, неужели ж вам хочется, чтоб я сломал себе шею?

– Так садитесь же скорей на мою лошадь: не бойтесь, она пресмирная. Мы не задержим; вмиг переседлают! Я попробую взять вашу; не может быть, чтоб Танкред всегда был такой неучтивый.

Сказано – сделано! Шалунья выпрыгнула из седла и договорила последнюю фразу, уже остановясь перед нами.

– Плохо ж вы знаете Танкреда, коли думаете, что он позволит оседлать себя вашим негодным седлом! Да и вас я не пущу сломать себе шею; это, право, было бы жалко! – проговорил наш хозяин, аффектируя[1], в эту минуту внутреннего довольства, по своей всегдашней привычке, и без того уже аффектированную и изученную резкость и даже грубость своей речи, что, по его мнению, рекомендовало добряка, старого служаку и особенно должно было нравиться дамам. Это была одна из его фантазий, его любимый, всем нам знакомый конек.

– Ну-тка ты, плакса, не хочешь ли попробовать? тебе же так хотелось ехать, – сказала храбрая наездница, заметив меня, и, поддразнивая, кивнула на Танкреда – собственно для того, чтоб не уходить ни с чем, коли уж даром пришлось встать с коня, и не оставить меня без колючего словца, коли уж я сам оплошал, на глаза подвернулся.

[1] Подчеркивая.

– Ты, верно, не таков, как... ну, да что говорить, известный герой и постыдишься струсить; особенно когда на вас будут смотреть, прекрасный паж, – прибавила она, бегло взглянув на m-me M*, экипаж которой был ближе всех от крыльца.

Ненависть и чувство мщения заливали мое сердце, когда прекрасная амазонка подошла к нам в намерении сесть на Танкреда... Но не могу рассказать, что ощутил я при этом неожиданном вызове школьницы. Я как будто света невзвидел, когда поймал ее взгляд на m-me M*. Вмиг в голове у меня загорелась идея... да, впрочем, это был только миг, менее чем миг, как вспышка пороха, или уж переполнилась мера, и я вдруг теперь возмутился всем воскресшим духом моим, да так, что мне вдруг захотелось срезать наповал всех врагов моих и отмстить им за всё и при всех, показав теперь, каков я человек; или, наконец, каким-нибудь дивом научил меня кто-нибудь в это мгновение средней истории, в которой я до сих пор еще не знал ни аза, и в закружившейся голове моей замелькали турниры, паладины, герои, прекрасные дамы, слава и победители, послышались трубы герольдов, звуки шпаг, крики и плески толпы, и между всеми этими криками один робкий крик одного испуганного сердца, который нежит гордую душу слаще победы и славы, – уж не знаю, случился ли тогда весь этот вздор в голове моей или, толковее, предчувствие этого еще грядущего и неизбежного вздора, но только я услышал, что бьет мой час. Сердце мое вспрыгнуло, дрогнуло, и сам уж не помню, как в один прыжок соскочил я с крыльца и очутился подле Танкреда.

– А вы думаете, что я испугаюсь? – вскрикнул я дерзко и гордо, невзвидев света от своей горячки, задыхаясь от волнения и закрасневшись так, что слезы обожгли мне щеки. – А вот, увидите! – И, схватившись за холку Танкреда, я стал ногой в стремя, прежде, чем успели сделать малейшее движение, чтоб удержать меня; но в этот миг Танкред взвился на дыбы, взметнул головой, одним могучим скачком вырвался из рук остолбеневших конюхов и полетел как вихрь, только все ахнули да вскрикнули.

Уж Бог знает, как удалось мне занести другую ногу на всем лету; не постигаю также, каким образом случилось, что я не потерял поводов. Танкред вынес меня за решетчатые ворота, круто повернул направо и пустился мимо решетки зря, не разбирая дороги. Только в это мгновение расслышал я за собою крик пятидесяти голосов, и этот крик отдался

в моем замиравшем сердце таким чувством довольства и гордости, что я никогда не забуду этой сумасшедшей минуты моей детской жизни. Вся кровь мне хлынула в голову, оглушила меня и залила, задавила мой страх. Я себя не помнил. Действительно, как пришлось теперь вспомнить, во всем этом было как будто и впрямь что-то рыцарское.

Впрочем, всё мое рыцарство началось и кончилось менее, чем в миг, не то рыцарю было бы худо. Да и тут я не знаю, как спасся. Ездить-то верхом я умел: меня учили. Но мой клеппер походил скорее на овцу, чем на верхового коня. Разумеется, я бы слетел с Танкреда, если б ему было только время сбросить меня; но, проскакав шагов пятьдесят, он вдруг испугался огромного камня, который лежал у дороги, и шарахнулся назад. Он повернулся на лету, но так круто, как говорится, очертя голову, что мне и теперь задача: каким образом я не выпрыгнул из седла, как мячик, сажени на три, и не разбился вдребезги, а Танкред от такого крутого поворота не сплечил себе ног. Он бросился назад к воротам, яростно мотая головой, прядая из стороны в сторону, будто охмелевший от бешенства, взметывая ноги как попало на воздух и с каждым прыжком стрясая меня со спины, точно как будто на него вспрыгнул тигр и впился в его мясо зубами и когтями. Еще мгновение – и я бы слетел; я уже падал; но уже несколько всадников летело спасать меня. Двое из них перехватили дорогу в поле; двое других подскакали так близко, что чуть не раздавили мне ног, стиснув с обеих сторон Танкреда боками своих лошадей, и оба уже держали его за поводья. Через несколько секунд мы были у крыльца.

Меня сняли с коня, бледного, чуть дышавшего. Я весь дрожал, как былинка под ветром, так же как и Танкред, который стоял, упираясь всем телом назад, неподвижно, как будто врывшись копытами в землю, тяжело выпуская пламенное дыхание из красных, дымящихся ноздрей, весь дрожа как лист мелкой дрожью и словно остолбенев от оскорбления и злости за ненаказанную дерзость ребенка. Кругом меня раздавались крики смятения, удивления, испуга.

В эту минуту блуждавший взгляд мой встретился со взглядом m-me M*, встревоженной, побледневшей, и – я не могу забыть этого мгновения – вмиг всё лицо мое облилось румянцем, зарделось, загорелось как огонь; я уж не знаю, что со мной сделалось, но, смущенный и испуганный собственным своим ощущением, я робко опустил глаза в землю. Но мой взгляд

был замечен, пойман, украден у меня. Все глаза обратились к m-me M*, и, застигнутая всеобщим вниманием врасплох, она вдруг сама, как дитя, закраснелась от какого-то противовольного и наивного чувства и через силу, хотя весьма неудачно, старалась подавить свою краску смехом...

Всё это, если взглянуть со стороны, конечно, было очень смешно; но в это мгновение одна пренаивная и нежданная выходка спасла меня от всеобщего смеха, придав особый колорит всему приключению. Виновница всей суматохи, та, которая до сих пор была непримиримым врагом моим, прекрасная тиранка моя, вдруг бросилась ко мне обнимать и целовать меня. Она смотрела, не веря глазам своим, когда я осмелился принять ее вызов и поднять перчатку, которую она бросила мне, взглянув на m-me M*. Она чуть не умерла за меня от страха и укоров совести, когда я летал на Танкреде; теперь же, когда всё было кончено и особенно когда она поймала, вместе с другими, мой взгляд, брошенный на m-me M*, мое смущение, мою внезапную краску, когда, наконец, удалось ей придать этому мгновению, по романтическому настроению своей легкодумной головки, какую-то новую, потаенную, недосказанную мысль, – теперь, после всего этого, она пришла в такой восторг от моего «рыцарства», что бросилась ко мне и прижала меня к груди своей, растроганная, гордая за меня, радостная. Через минуту она подняла на всех толпившихся около нас обоих самое наивное, самое строгое личико, на котором дрожали и светились две маленькие хрустальные слезинки, и серьезным, важным голоском, какого от нее никогда не слыхали, сказала, указав на меня: «Mais c'est très sérieux, messieurs, ne riez pas!»[1] – не замечая того, что все стоят перед нею как завороженные, залюбовавшись на ее светлый восторг. Всё это неожиданное, быстрое движение ее, это серьезное личико, эта простодушная наивность, эти не подозреваемые до сих пор сердечные слезы, накипевшие в ее вечно смеющихся глазках, были в ней таким неожиданным дивом, что все стояли перед нею как будто наэлектризированные ее взглядом, скорым, огневым словом и жестом. Казалось, никто не мог свести с нее глаз, боясь опустить эту редкую минуту в ее вдохновенном лице. Даже сам хозяин наш покраснел как тюльпан, и уверяют, будто бы слышали, как он потом признавался, что, «к стыду своему»,

[1] Но это очень серьезно, господа, не смейтесь! (*фр.*)

чуть ли не целую минуту был влюблен в свою прекрасную гостью. Ну уж разумеется, что после всего этого я был рыцарь, герой.

– Делорж! Тогенбург! – раздавалось кругом. Послышались рукоплескания.

– Ай да грядущее поколение! – прибавил хозяин.

– Но он поедет, он непременно поедет с нами! – закричала красавица. – Мы найдем и должны найти ему место. Он сядет рядом со мною, ко мне на колени... иль нет, нет! я ошиблась!.. – поправилась она, захохотав и будучи не в силах удержать своего смеха при воспоминании о нашем первом знакомстве. Но, хохоча, она нежно гладила мою руку, всеми силами стараясь меня заласкать, чтоб я не обиделся.

– Непременно! непременно! – подхватили несколько голосов. – Он должен ехать, он завоевал себе место.

И мигом разрешилось дело. Та самая старая дева, которая познакомила меня с блондинкой, тотчас же была засыпана просьбами всей молодежи остаться дома и уступить мне свое место, на что и принуждена была согласиться, к своей величайшей досаде, улыбаясь и втихомолку шипя от злости. Ее протектриса, около которой витала она, мой бывший враг и недавний друг, кричала ей, уже галопируя на своем резвом коне и хохоча, как ребенок, что завидует ей и сама бы рада была с ней остаться, потому что сейчас будет дождь и нас всех перемочит.

И она точно напророчила дождь. Через час поднялся целый ливень, и прогулка наша пропала. Пришлось переждать несколько часов сряду в деревенских избах и возвращаться домой уже в десятом часу, в сырое, последождевое время. У меня началась маленькая лихорадка. В ту самую минуту, как надо было садиться и ехать, m-me M* подошла ко мне и удивилась, что я в одной курточке и с открытой шеей. Я отвечал, что не успел захватить с собою плаща. Она взяла булавку и, зашпилив повыше сборчатый воротничок моей рубашки, сняла с своей шеи газовый пунцовый платочек и обвязала мне шею, чтоб я не простудил горла. Она так торопилась, что я даже не успел поблагодарить ее.

Но когда приехали домой, я отыскал ее в маленькой гостиной, вместе с блондинкой и с бледнолицым молодым человеком, который стяжал сегодня славу наездника тем, что побоялся сесть на Танкреда. Я подошел благодарить и отдать платок. Но теперь, после всех моих приключений,

мне было как будто чего-то совестно; мне скорее хотелось уйти наверх и там, на досуге, что-то обдумать и рассудить. Я был переполнен впечатлениями. Отдавая платок, я, как водится, покраснел до ушей.

– Бьюсь об заклад, что ему хотелось удержать платок у себя, – сказал молодой человек, засмеявшись, – по глазам видно, что ему жаль расстаться с вашим платком.

– Именно, именно так! – подхватила блондинка. – Экой! ах!.. – проговорила она, с приметной досадой и покачав головой, но остановилась вовремя перед серьезным взглядом m-me M*, которой не хотелось заводить далеко шутки.

Я поскорее отошел.

– Ну, какой же ты! – заговорила школьница, нагнав меня в другой комнате и дружески взяв за обе руки. – Да ты бы просто не отдавал косынки, если тебе так хотелось иметь ее. Сказал бы, что где-нибудь положил – и дело с концом. Какой же ты! этого не умел сделать! Экой смешной!

И тут она слегка ударила меня пальцем по подбородку, засмеявшись тому, что я покраснел как мак:

– Ведь я твой друг теперь, – так ли? Кончена ли наша вражда – а? да или нет?

Я засмеялся и молча пожал ее пальчики.

– Ну, то-то же!.. Отчего ты так теперь бледен и дрожишь? У тебя озноб?

– Да, я нездоров.

– Ах, бедняжка! это у него от сильных впечатлений! Знаешь что? иди-ка лучше спать, не дожидаясь ужина, и за ночь пройдет. Пойдем!

Она отвела меня наверх, и казалось, уходам за мною не будет конца. Оставив меня раздеваться, она сбежала вниз, достала мне чаю и принесла его сама, когда уже я улегся. Она принесла мне тоже теплое одеяло. Меня очень поразили и растрогали все эти уходы и заботы обо мне, или уж я был так настроен целым днем, поездкой, лихорадкой; но, прощаясь с нею, я крепко и горячо ее обнял, как самого нежного, как самого близкого друга, и уж тут все впечатления разом прихлынули к моему ослабевшему сердцу; я чуть не плакал, прижавшись к груди ее. Она заметила мою впечатлительность, и, кажется, моя шалунья сама была немного тронута...

– Ты предобрый мальчик, – прошептала она, смотря на меня тихими глазками, – пожалуйста же, не сердись на меня, а? не будешь?

Словом, мы стали самыми нежными, самыми верными друзьями.

Было довольно рано, когда я проснулся, но солнце заливало уже ярким светом всю комнату. Я вскочил с постели совершенно здоровый и бодрый, как будто и не бывало вчерашней лихорадки, вместо которой теперь ощущал я в себе неизъяснимую радость. Я вспомнил вчерашнее и почувствовал, что отдал бы целое счастье, если б мог в эту минуту обняться, как вчера, с моим новым другом, с белокурой нашей красавицей; но еще было очень рано и все спали. Наскоро одевшись, сошел я в сад, а оттуда в рощу. Я пробирался туда, где гуще зелень, где смолистее запах деревьев и куда веселее заглядывал солнечный луч, радуясь, что удалось там и сям пронизать мглистую густоту листьев. Было прекрасное утро.

Незаметно пробираясь всё далее и далее, я вышел наконец на другой край рощи, к Москве-реке. Она текла шагов двести впереди, под горою. На противоположном берегу косили сено. Я засмотрелся, как целые ряды острых кос, с каждым взмахом косца, дружно обливались светом и потом вдруг опять исчезали, как огненные змейки, словно куда прятались; как срезанная с корня трава густыми, жирными грудками отлетала в стороны и укладывалась в прямые, длинные борозды. Уж не помню, сколько времени провел я в созерцании, как вдруг очнулся, расслышав в роще, шагах от меня в двадцати, в просеке, которая пролегала от большой дороги к господскому дому, храп и нетерпеливый топот коня, рывшего копытом землю. Не знаю, заслышал ли я этого коня тотчас же, как подъехал и остановился всадник, или уж долго мне слышался шум, но только напрасно щекотал мне ухо, бессильный оторвать меня от моих мечтаний. С любопытством вошел я в рощу и, пройдя несколько шагов, услышал голоса, говорившие скоро, но тихо. Я подошел еще ближе, бережно раздвинул последние ветви последних кустов, окаймлявших просеку, и тотчас же отпрянул назад в изумлении: в глазах моих мелькнуло белое знакомое платье и тихий женский голос отдался в моем сердце как музыка. Это была m-me M*. Она стояла возле всадника, который торопливо говорил ей с лошади, и, к моему удивлению, я узнал в нем Н – го, того молодого человека, который уехал от нас еще вчера поутру и о котором так хлопотал m-r M*. Но тогда говорили, что он уезжает куда-то очень далеко,

на юг России, а потому я очень удивился, увидев его опять у нас так рано и одного с m-me M*.

Она была одушевлена и взволнована, как никогда еще я не видал ее, и на щеках ее светились слезы. Молодой человек держал ее за руку, которую целовал, нагибаясь с седла. Я застал уже минуту прощанья. Кажется, они торопились. Наконец он вынул из кармана запечатанный пакет, отдал его m-me M*, обнял ее одною рукою, как и прежде, не сходя с лошади, и поцеловал крепко и долго. Мгновение спустя он ударил коня и промчался мимо меня как стрела. M-me M* несколько секунд провожала его глазами, потом задумчиво и уныло направилась к дому. Но, сделав несколько шагов по просеке, вдруг как будто очнулась, торопливо раздвинула кусты и пошла через рощу.

Я пошел вслед за нею, смятенный и удивленный всем тем, что увидел. Сердце мое билось крепко, как от испуга. Я был как оцепенелый, как отуманенный; мысли мои были разбиты и рассеяны; но помню, что было мне отчего-то ужасно грустно. Изредка мелькало передо мною сквозь зелень ее белое платье. Машинально следовал я за нею, не упуская ее из вида, но трепеща, чтоб она меня не заметила. Наконец она вышла на дорожку, которая вела в сад. Переждав с полминуты, вышел и я; но каково же было мое изумление, когда вдруг заметил я на красном песке дорожки запечатанный пакет, который узнал с первого взгляда, – тот самый, который десять минут назад был вручен m-me M*.

Я поднял его: со всех сторон белая бумага, никакой подписи; на взгляд – небольшой, но тугой и тяжелый, как будто в нем было листа три и более почтовой бумаги.

Что значит этот пакет? Без сомнения, им объяснилась бы вся эта тайна. Может быть, в нем досказано было то, чего не надеялся высказать H – ой за короткостью торопливого свидания. Он даже не сходил с лошади... Торопился ли он, или, может быть, боялся изменить себе в час прощания, – Бог знает...

Я остановился, не выходя на дорожку, бросил на нее пакет на самое видное место и не спускал с него глаз, полагая, что m-me M* заметит потерю, воротится, будет искать. Но, прождав минуты четыре, я не выдержал, поднял опять свою находку, положил в карман и пустился догонять m-me M*. Я настиг ее уже в саду, в большой аллее; она шла прямо

домой, скорой и торопливой походкой, но задумавшись и потупив глаза в землю. Я не знал, что делать. Подойти, отдать? Это значило сказать, что я знаю всё, видел всё. Я изменил бы себе с первого слова. И как я буду смотреть на нее? Как она будет смотреть на меня?..

Я всё ожидал, что она опомнится, хватится потерянного, воротится по следам своим. Тогда бы я мог, незамеченный, бросить пакет на дорогу, и она бы нашла его. Но нет! Мы уже подходили к дому; ее уже заметили...

В это утро, как нарочно, почти все поднялись очень рано, потому что еще вчера, вследствие неудавшейся поездки, задумали новую, о которой я и не знал. Все готовились к отъезду и завтракали на террасе. Я переждал минут десять, чтоб не видели меня с m-me M*, и, обойдя сад, вышел к дому с другой стороны, гораздо после нее. Она ходила взад и вперед по террасе, бледная и встревоженная, скрестив на груди руки и, по всему было видно, крепясь и усиливаясь подавить в себе мучительную, отчаянную тоску, которая так и вычитывалась в ее глазах, в ее ходьбе, во всяком движении ее. Иногда сходила она со ступенек и проходила несколько шагов между клумбами по направлению к саду; глаза ее нетерпеливо, жадно, даже неосторожно искали чего-то на песке дорожек и на полу террасы. Не было сомнения: она хватилась потери и, кажется, думает, что обронила пакет где-нибудь здесь, около дома, – да, это так, и она в этом уверена!

Кто-то, а затем и другие заметили, что она бледна и встревожена. Посыпались вопросы о здоровье, досадные сетования; она должна была отшучиваться, смеяться, казаться веселою. Изредка взглядывала она на мужа, который стоял в конце террасы, разговаривая с двумя дамами, и та же дрожь, то же смущение, как и тогда, в первый вечер приезда его, охватывали бедную. Засунув руку в карман и крепко держа в ней пакет, я стоял поодаль от всех, моля судьбу, чтоб m-me M* меня заметила. Мне хотелось ободрить, успокоить ее, хоть бы только взглядом; сказать ей что-нибудь мельком, украдкой. Но когда она случайно взглянула на меня, я вздрогнул и потупил глаза.

Я видел ее мучения и не ошибся. Я до сих пор не знаю этой тайны, ничего не знаю, кроме того, что сам видел и что сейчас рассказал. Эта связь, может быть, не такова, как о ней предположить можно с первого взгляда. Может быть, этот поцелуй был прощальный, может быть, он был последнею, слабой наградой за жертву, которая была принесена ее спо-

койствию и чести. Н – ой уезжал; он оставлял ее, может быть, навсегда. Наконец, даже письмо это, которое я держал в руках, – кто знает, что оно заключало? Как судить и кому осуждать? А между тем, в этом нет сомнения, внезапное обнаружение тайны было бы ужасом, громовым ударом в ее жизни. Я еще помню лицо ее в ту минуту: нельзя было больше страдать. Чувствовать, знать, быть уверенной, ждать, как казни, что через четверть часа, через минуту могло быть обнаружено всё; пакет кем-нибудь найден, поднят; он без надписи, его могут вскрыть, а тогда... что тогда? Какая казнь ужаснее той, которая ее ожидает? Она ходила между будущих судей своих. Через минуту их улыбавшиеся, льстивые лица будут грозны и неумолимы. Она прочтет насмешку, злость и ледяное презрение на этих лицах, а потом настанет вечная, безрассветная ночь в ее жизни... Да, я тогда не понимал всего этого так, как теперь об этом думаю. Мог я только подозревать и предчувствовать да болеть сердцем за ее опасность, которую даже не совсем сознавал. Но, что бы ни заключалось в ее тайне, – теми скорбными минутами, которых я был свидетелем и которых никогда не забуду, было искуплено многое, если только нужно было что-нибудь искупить.

Но вот раздался веселый призыв к отъезду; все радостно засуетились; со всех сторон раздался резвый говор и смех. Через две минуты терраса опустела. M-me M* отказалась от поездки, сознавшись наконец, что она нездорова. Но, слава Богу, все отправились, все торопились, и докучать сетованиями, расспросами и советами было некогда. Немногие оставались дома. Муж сказал ей несколько слов; она отвечала, что сегодня же будет здорова, чтоб он не беспокоился, что ложиться ей не для чего, что она пойдет в сад, одна... со мною... Тут она взглянула на меня. Ничего не могло быть счастливее! Я покраснел от радости; через минуту мы были в дороге.

Она пошла по тем самым аллеям, дорожкам и тропинкам, по которым недавно возвращалась из рощи, инстинктивно припоминая свой прежний путь, неподвижно смотря перед собою, не отрывая глаз от земли, ища на ней, не отвечая мне, может быть забыв, что я иду вместе с нею.

Но когда мы дошли почти до того места, где я поднял письмо и где кончалась дорожка, m-me M* вдруг остановилась и слабым, замиравшим от тоски голосом сказала, что ей хуже, что она пойдет домой. Но, дойдя до решетки сада, она остановилась опять, подумала с минуту; улыбка отча-

яния показалась на губах ее, и, вся обессиленная, измученная, решившись на всё, покорившись всему, она молча воротилась на первый путь, в этот раз позабыв даже предупредить меня...

Я разрывался от тоски и не знал, что делать.

Мы пошли или, лучше сказать, я привел ее к тому месту, с которого услышал, час назад, топот коня и их разговор. Тут, вблизи густого вяза, была скамья, иссеченная в огромном цельном камне, вокруг которого обвивался плющ и росли полевой жасмин и шиповник. (Вся эта рощица была усеяна мостиками, беседками, гротами и тому подобными сюрпризами.) M-me M* села на скамейку, бессознательно взглянув на дивный пейзаж, расстилавшийся перед нами. Через минуту она развернула книгу и неподвижно приковалась к ней, не перелистывая страниц, не читая, почти не сознавая, что делает. Было уже половина десятого. Солнце взошло высоко и пышно плыло над нами по синему, глубокому небу, казалось расплавляясь в собственном огне своем. Косари ушли уже далеко: их едва было видно с нашего берега. За ними неотвязчиво ползли бесконечные борозды скошенной травы, и изредка чуть шевелившийся ветерок веял на нас ее благовонной испариной. Кругом стоял неумолкаемый концерт тех, которые «не жнут и не сеют», а своевольны, как воздух, рассекаемый их резвыми крыльями. Казалось, что в это мгновение каждый цветок, последняя былинка, курясь жертвенным ароматом, говорила Создавшему ее: «Отец! я блаженна и счастлива!..»

Я взглянул на бедную женщину, которая одна была как мертвец среди всей этой радостной жизни: на ресницах ее неподвижно остановились две крупные слезы, вытравленные острою болью из сердца. В моей власти было оживить и осчастливить это бедное, замиравшее сердце, и я только не знал, как приступить к тому, как сделать первый шаг. Я мучился. Сто раз порывался я подойти к ней, и каждый раз какое-то невозбранное чувство приковывало меня на месте, и каждый раз как огонь горело лицо мое.

Вдруг одна светлая мысль озарила меня. Средство было найдено; я воскрес.

– Хотите, я вам букет нарву! – сказал я таким радостным голосом, что m-me M* вдруг подняла голову и пристально посмотрела на меня.

– Принеси, – проговорила она наконец слабым голосом, чуть-чуть улыбнувшись и тотчас же опять опустив глаза в книгу.

– А то и здесь, пожалуй, скосят траву и не будет цветов! – закричал я, весело пускаясь в поход.

Скоро я набрал мой букет, простой, бедный. Его бы стыдно было внести в комнату; но как весело билось мое сердце, когда я собирал и вязал его! Шиповнику и полевого жасмина взял я еще на месте. Я знал, что недалеко есть нива с дозревавшею рожью. Туда я сбегал за васильками. Я перемешал их с длинными колосьями ржи, выбрав самые золотые и тучные. Тут же, недалеко, попалось мне целое гнездо незабудок, и букет мой уже начинал наполняться. Далее, в поле, нашлись синие колокольчики и полевая гвоздика, а за водяными, желтыми лилиями сбегал я на самое прибрежье реки. Наконец, уже возвращаясь на место и зайдя на миг в рощу, чтоб промыслить несколько ярко-зеленых лапчатых листьев клена и обернуть ими букет, я случайно набрел на целое семейство анютиных глазок, вблизи которых, на мое счастье, ароматный фиалковый запах обличал в сочной, густой траве притаившийся цветок, еще весь обсыпанный блестящими каплями росы. Букет был готов. Я перевязал его длинной, тонкой травой, которую свил в бечеву, и вовнутрь осторожно вложил письмо, прикрыв его цветами, – но так, что его очень можно было заметить, если хоть маленьким вниманием подарят мой букет.

Я понес его к m-me M*.

Дорогой показалось мне, что письмо лежит слишком на виду: я побольше прикрыл его. Подойдя еще ближе, я вдвинул его еще плотнее в цветы и, наконец уже почти дойдя до места, вдруг сунул его так глубоко вовнутрь букета, что уже ничего не было приметно снаружи. На щеках моих горело целое пламя. Мне хотелось закрыть руками лицо и тотчас бежать, но она взглянула на мои цветы так, как будто совсем позабыла, что я пошел набирать их.

Машинально, почти не глядя, протянула она руку и взяла мой подарок, но тотчас же положила его на скамью, как будто я затем и передавал ей его, и снова опустила глаза в книгу, точно была в забытьи. Я готов был плакать от неудачи. «Но только б мой букет был возле нее, – думал я, – только бы она о нем не забыла!» Я лег неподалеку на траву, положил под голову правую руку и закрыл глаза, будто меня одолевал сон. Но я не спускал с нее глаз и ждал...

Прошло минут десять; мне показалось, что она всё больше и больше бледнела... Вдруг благословенный случай пришел мне на помощь.

Это была большая золотая пчела, которую принес добрый ветерок мне на счастье. Она пожужжала сперва над моей головою и потом подлетела к m-me M*. Та отмахнулась было рукою один и другой раз, но пчела, будто нарочно, становилась всё неотвязчивое. Наконец m-me M* схватила мой букет и махнула им перед собою. В этот миг пакет вырвался из-под цветов и упал прямо в раскрытую книгу. Я вздрогнул. Некоторое время m-me M* смотрела, немая от изумления, то на пакет, то на цветы, которые держала в руках, и, казалось, не верила глазам своим... Вдруг она покраснела, вспыхнула и взглянула на меня. Но я уже перехватил ее взгляд и крепко закрыл глаза, притворяясь спящим; ни за что в мире я бы не взглянул теперь ей прямо в лицо. Сердце мое замирало и билось, словно пташка, попавшая в лапки кудрявого деревенского мальчугана. Не помню, сколько времени пролежал я, закрыв глаза: минуты две, три. Наконец я осмелился их открыть. M-me M* жадно читала письмо, и, по разгоревшимся ее щекам, по сверкавшему, слезящемуся взгляду, по светлому лицу, в котором каждая черточка трепетала от радостного ощущения, я догадался, что счастье было в этом письме и что развеяна как дым вся тоска ее. Мучительно-сладкое чувство присосалось к моему сердцу, тяжело было мне притворяться...

Никогда не забуду я этой минуты!

Вдруг, еще далеко от нас, послышались голоса:

– Madame M*! Natalie! Natalie!

M-me M* не отвечала, но быстро поднялась со скамьи, подошла ко мне и наклонилась надо мною. Я чувствовал, что она смотрит мне прямо в лицо. Ресницы мои задрожали, но я удержался и не открыл глаз. Я старался дышать ровнее и спокойнее, но сердце задут ало меня своими смятенными ударами. Горячее дыхание ее палило мои щеки; она близко-близко нагнулась к лицу моему, словно испытывая его. Наконец, поцелуй и слезы упали на мою руку, на ту, которая лежала у меня на груди. И два раза она поцеловала ее.

– Natalie! Natalie! где ты? – послышалось снова, уже очень близко от нас.

– Сейчас! – проговорила m-me M* своим густым, серебристым голосом, но заглушённым и дрожавшим от слез, и так тихо, что только я один мог слышать ее, – сейчас!

Но в этот миг сердце наконец изменило мне и, казалось, выслало всю свою кровь мне в лицо. В тот же миг скорый, горячий поцелуй обжег мои губы. Я слабо вскрикнул, открыл глаза, но тотчас же на них упал вчерашний газовый платочек ее, – как будто она хотела закрыть меня им от солнца. Мгновение спустя ее уже не было. Я расслышал только шелест торопливо удалявшихся шагов. Я был один.

Я сорвал с себя ее косынку и целовал ее, не помня себя от восторга; несколько минут я был как безумный!.. Едва переводя дух, облокотясь на траву, глядел я, бессознательно и неподвижно, перед собою, на окрестные холмы, пестревшие нивами, на реку, извилисто обтекавшую их и далеко, как только мог следить глаз, вьющуюся между новыми холмами и селами, мелькавшими, как точки, по всей, залитой светом, дали, на синие, чуть видневшиеся леса, как будто курившиеся на краю раскаленного неба, и какое-то сладкое затишье, будто навеянное торжественною тишиною картины, мало-помалу смирило мое возмущенное сердце. Мне стало легче, и я вздохнул свободнее... Но вся душа моя как-то глухо и сладко томилась, будто прозрением чего-то, будто каким-то предчувствием. Что-то робко и радостно отгадывалось испуганным сердцем моим, слегка трепетавшим от ожидания... И вдруг грудь моя заколебалась, заныла, словно от чего-то пронзившего ее, и слезы, сладкие слезы брызнули из глаз моих. Я закрыл руками лицо и, весь трепеща, как былинка, невозбранно отдался первому сознанию и откровению сердца, первому, еще неясному прозрению природы моей... Первое детство мое кончилось с этим мгновением . . . . . .

. . . . . .

Когда, через два часа, я воротился домой, то не нашел уже m-me M*: она уехала с мужем в Москву, по какому-то внезапному случаю. Я уже никогда более не встречался с нею.

ДЯДЮШКИН СОН

(Из мордасовских летописей.)

ГЛАВА I

Марья Александровна Москалева, конечно, первая дама в Мордасове, и в этом не может быть никакого сомнения. Она держит себя так, как будто ни в ком не нуждается, а напротив, все в ней нуждаются. Правда, ее почти никто не любит и даже очень многие искренно ненавидят; но зато ее все боятся, а этого ей и надобно. Такая потребность есть уже признак высокой политики. Отчего, например, Марья Александровна, которая ужасно любит сплетни и не заснет всю ночь, если накануне не узнала чего-нибудь новенького, – отчего она, при всем этом, умеет себя держать так, что, глядя на нее, в голову не придет, чтоб эта сановитая дама была первая сплетница в мире или по крайней мере в Мордасове? Напротив, кажется, сплетни должны исчезнуть в ее присутствии; сплетники – краснеть и дрожать, как школьники перед господином учителем, и разговор должен пойти не иначе как о самых высоких материях. Она знает, например, про кой-кого из мордасовцев такие капитальные и скандалезные вещи, что расскажи она их, при удобном случае, и докажи их так, как она их умеет доказывать, то в Мордасове будет лиссабонское землетрясение. А между тем она очень молчалива на эти секреты и расскажет их разве уж в крайнем случае, и то не иначе как самым коротким приятельницам. Она только

пугнет, намекнет – что знает, и лучше любит держать человека или даму в беспрерывном страхе, чем поразить окончательно. Это ум, это тактика! Марья Александровна всегда отличалась между нами своим безукоризненным comme il faut[1], с которого все берут образец. Насчет comme il faut она не имеет соперниц в Мордасове. Она, например, умеет убить, растерзать, уничтожить каким-нибудь одним словом соперницу, чему мы свидетели; а между тем покажет вид, что и не заметила, как выговорила это слово. А известно, что такая черта есть уже принадлежность самого высшего общества. Вообще, во всех таких фокусах, она перещеголяет самого Пинетти. Связи у ней огромные. Многие из посещавших Мордасов уезжали в восторге от ее приема и даже вели с ней потом переписку. Ей даже кто-то написал стихи, и Марья Александровна с гордостию их всем показывала. Один заезжий литератор посвятил ей свою повесть, которую и читал у ней на вечере, что произвело чрезвычайно приятный эффект. Один немецкий ученый, нарочно приезжавший из Карльсруэ исследовать особенный род червячка с рожками, который водится в нашей губернии, и написавший об этом червячке четыре тома in quarto[2], так был обворожен приемом и любезностию Марьи Александровны, что до сих пор ведет с ней почтительную и нравственную переписку из самого Карльсруэ. Марью Александровну сравнивали даже, в некотором отношении, с Наполеоном. Разумеется, это делали в шутку ее враги, более для карикатуры, чем для истины. Но, признавая вполне всю странность такого сравнения, я осмелюсь, однако же, сделать один невинный вопрос: отчего, скажите, у Наполеона закружилась наконец голова, когда он забрался уже слишком высоко? Защитники старого дома приписывали это тому, что Наполеон не только не был из королевского дома, но даже был и не gentilhomme[3] хорошей породы; а потому, естественно, испугался наконец своей собственной высоты и вспомнил свое настоящее место. Несмотря на очевидное остроумие этой догадки, напоминающее самые блестящие времена древнего французского двора, я осмелюсь прибавить в свою очередь: отчего у Марьи Александровны

[1] Умением себя держать (*фр.*).

[2] В одну четверть листа (*лат.*).

[3] Дворянин (*фр.*).

никогда и ни в каком случае не закружится голова и она всегда останется первой дамой в Мордасове? Бывали, например, такие случаи, когда все говорили: «Ну, как-то теперь поступит Марья Александровна в таких затруднительных обстоятельствах?» Но наступали эти затруднительные обстоятельства, проходили, и – ничего! Всё оставалось благополучно, по-прежнему, и даже почти лучше прежнего. Все, например, помнят, как супруг ее, Афанасий Матвеич, лишился своего места за неспособностию и слабоумием, возбудив гнев приехавшего ревизора. Все думали, что Марья Александровна падет духом, унизится, будет просить, умолять, – одним словом, опустит свои крылышки. Ничуть не бывало: Марья Александровна поняла, что уже ничего больше не выпросишь, и обделала свои дела так, что нисколько не лишилась своего влияния на общество, и дом ее всё еще продолжает считаться первым домом в Мордасове. Прокурорша, Анна Николаевна Антипова, заклятой враг Марьи Александровны, хотя и друг по наружности, уже трубила победу. Но когда увидели, что Марью Александровну трудно сконфузить, то догадались, что она гораздо глубже пустила корни, чем думали прежде.

Кстати, так как уж об нем упомянули, скажем несколько слов и об Афанасии Матвеиче, супруге Марьи Александровны. Во-первых, это весьма представительный человек по наружности и даже очень порядочных правил; но в критических случаях он как-то теряется и смотрит как баран, который увидал новые ворота. Он необыкновенно сановит, особенно на именинных обедах, в своем белом галстухе. Но вся эта сановитость и представительность – единственно до той минуты, когда он заговорит. Тут уж, извините, хоть уши заткнуть. Он решительно недостоин принадлежать Марье Александровне; это всеобщее мнение. Он и на месте сидел единственно только через гениальность своей супруги. По моему крайнему разумению, ему бы давно пора в огород пугать воробьев. Там, и единственно только там, он бы мог приносить настоящую, несомненную пользу своим соотечественникам. И потому Марья Александровна превосходно поступила, сослав Афанасия Матвеича в подгородную деревню, в трех верстах от Мордасова, где у нее сто двадцать душ, – мимоходом сказать, всё состояние, все средства, с которыми она так достойно поддерживает благородство своего дома. Все поняли, что она держала Афанасия Матвеича при себе единственно

за то, что он служил и получал жалованье и... другие доходы. Когда же он перестал получать жалованье и доходы, то его тотчас же и удалили за негодностию и совершенною бесполезностию. И все похвалили Марью Александровну за ясность суждения и решимость характера. В деревне Афанасий Матвеич живет припеваючи. Я заезжал к нему и провел у него целый час довольно приятно. Он примеряет белые галстухи, собственноручно чистит сапоги, не из нужды, а единственно из любви к искусству, потому что любит, чтоб сапоги у него блестели; три раза в день пьет чай, чрезвычайно любит ходить в баню и – доволен. Помните ли, какая гнусная история заварилась у нас, года полтора назад, по поводу Зинаиды Афанасьевны, единственной дочери Марьи Александровны и Афанасия Матвеича? Зинаида, бесспорно, красавица, превосходно воспитана, но ей двадцать три года, а она до сих пор не замужем. Между причинами, которыми объясняют, почему до сих пор Зина не замужем, одною из главных считают эти темные слухи о каких-то странных ее связях, полтора года назад, с уездным учителишкой, – слухи, не умолкнувшие и поныне. До сих пор говорят о какой-то любовной записке, написанной Зиной и которая будто бы ходила по рукам в Мордасове; но скажите: кто видел эту записку? Если она ходила по рукам, то куда ж она делась? Все об ней слышали, но никто ее не видал. Я, по крайней мере, никого не встретил, кто бы своими глазами видел эту записку. Если вы намекнете об этом Марье Александровне, она вас просто не поймет. Теперь предположите, что действительно что-нибудь было и Зина написала записочку (я даже думаю, что это было непременно так): какова же ловкость со стороны Марьи Александровны! каково замято, затушено неловкое, скандалезное дело! Ни следа, ни намека! Марья Александровна и внимания не обращает теперь на всю эту низкую клевету; а между тем, может быть, Бог знает как работала, чтоб спасти неприкосновенною честь своей единственной дочери. А что Зина не замужем, так это понятно: какие здесь женихи? Зине только разве быть за владетельным принцем. Видали ль вы где такую красавицу из красавиц? Правда, она горда, слишком горда. Говорят, что сватается Мозгляков, но вряд ли быть свадьбе. Что же такое Мозгляков? Правда – молод, недурен собою, франт, полтораста незаложенных душ, петербургский. Но ведь, во-первых, в голове не все дома. Вертопрах, болтун, с какими-то

новейшими идеями! Да и что такое полтораста душ, особенно при новейших идеях? Не бывать этой свадьбе!

Всё, что прочел теперь благосклонный читатель, было написано мною месяцев пять тому назад, единственно из умиления. Признаюсь заранее, я несколько пристрастен к Марье Александровне. Мне хотелось написать что-нибудь вроде похвального слова этой великолепной даме и изобразить всё это в форме игривого письма к приятелю, по примеру писем, печатавшихся когда-то в старое, золотое, но, слава Богу, невозвратное время в «Северной пчеле» и в прочих повременных изданиях. Но так как у меня нет никакого приятеля и, кроме того, есть некоторая врожденная литературная робость, то сочинение мое и осталось у меня в столе, в виде литературной пробы пера и в память мирного развлечения в часы досуга и удовольствия. Прошло пять месяцев – и вдруг в Мордасове случилось удивительное происшествие: рано утром в город въехал князь К. и остановился в доме Марьи Александровны. Последствия этого приезда были неисчислимы. Князь провел в Мордасове только три дня, но эти три дня оставили по себе роковые и неизгладимые воспоминания.

Скажу более: князь произвел, в некотором смысле, переворот в нашем городе. Рассказ об этом перевороте, конечно, составляет одну из многознаменательнейших страниц в мордасовских летописях. Эту-то страницу я и решился наконец, после некоторых колебаний, обработать литературным образом и представить на суд многоуважаемой публики. Повесть моя заключает в себе полную и замечательную историю возвышения, славы и торжественного падения Марьи Александровны и всего ее дома в Мордасове: тема достойная и соблазнительная для писателя. Разумеется, прежде всего, нужно объяснить: что удивительного в том, что в город въехал князь К. и остановился у Марьи Александровны, – а для этого, конечно, нужно сказать несколько слов и о самом князе К. Так я и сделаю. К тому же биография этого лица совершенно необходима и для всего дальнейшего хода нашего рассказа. Итак, приступаю.

ГЛАВА II

Начну с того, что князь К. был еще не Бог знает какой старик, а между тем, смотря на него, невольно приходила мысль, что он сию минуту разва-

лится: до того он обветшал, или, лучше сказать, износился. В Мордасове об этом князе всегда рассказывались чрезвычайно странные вещи, самого фантастического содержания. Говорили даже, что старичок помешался. Всем казалось особенно странным, что помещик четырех тысяч душ, человек с известным родством, который бы мог иметь, если б захотел, значительное влияние в губернии, живет в своем великолепном имении уединенно, совершенным затворником. Многие знавали князя назад тому лет шесть или семь, во время его пребывания в Мордасове, и уверяли, что он тогда терпеть не мог уединения и отнюдь не был похож на затворника.

Вот, однако же, всё, что я мог узнать о нем достоверного: Когда-то, в свои молодые годы, что, впрочем, было очень давно, князь блестящим образом вступил в жизнь, жуировал, волочился, несколько раз проживался за границей, пел романсы, каламбурил и никогда не отличался блестящими умственными способностями. Разумеется, он расстроил всё свое состояние и, в старости, увидел себя вдруг почти без копейки. Кто-то посоветовал ему отправиться в его деревню, которую уже начали продавать с публичного торга. Он отправился и приехал в Мордасов, где и прожил ровно шесть месяцев. Губернская жизнь ему чрезвычайно понравилась, и в эти шесть месяцев он ухлопал всё, что у него оставалось, до последних поскребков, продолжая жуировать и заводя разные интимности с губернскими барынями. Человек он был к тому же добрейший, разумеется, не без некоторых особенных княжеских замашек, которые, впрочем, в Мордасове считались принадлежностию самого высшего общества, а потому, вместо досады, производили даже эффект. Особенно дамы были в постоянном восторге от своего милого гостя. Сохранилось много любопытных воспоминаний. Рассказывали, между прочим, что князь проводил больше половины дня за своим туалетом и, казалось, был весь составлен из каких-то кусочков. Никто не знал, когда и где он успел так рассыпаться. Он носил парик, усы, бакенбарды и даже эспаньолку – всё, до последнего волоска, накладное и великолепного черного цвета; белился и румянился ежедневно. Уверяли, что он как-то расправлял пружинками морщины на своем лице и что эти пружины были, каким-то особенным образом, скрыты в его волосах. Уверяли еще, что он носит корсет, потому что лишился где-то ребра, неловко выскочив из окошка, во время одного своего любовного похождения, в Италии. Он хромал на левую

ногу; утверждали, что эта нога поддельная, а что настоящую сломали ему при каком-то другом похождении, в Париже, зато приставили новую, какую-то особенную, пробочную. Впрочем, мало ли чего не расскажут? Но верно было, однако же, то, что правый глаз его был стеклянный, хотя и очень искусно подделанный. Зубы тоже были из композиции. Целые дни он умывался разными патентованными водами, душился и помадился. Помнят, однако же, что князь тогда уже начинал приметно дряхлеть и становился невыносимо болтлив. Казалось, что карьера его оканчивалась. Все знали, что у него уже не было ни копейки. И вдруг в это время, совершенно неожиданно, одна из ближайших его родственниц, чрезвычайно ветхая старуха, проживавшая постоянно в Париже и от которой он никаким образом не мог ожидать наследства, – умерла, похоронив, ровно за месяц до своей смерти, своего законного наследника. Князь, совершенно неожиданно, сделался ее законным наследником. Четыре тысячи душ великолепнейшего имения, ровно в шестидесяти верстах от Мордасова, достались ему одному, безраздельно. Он немедленно собрался для окончания своих дел в Петербург. Провожая своего гостя, наши дамы дали ему великолепный обед, по подписке. Помнят, что князь был очаровательно весел на этом последнем обеде, каламбурил, смешил, рассказывал самые необыкновенные анекдоты, обещался как можно скорее приехать в Духаново (свое новоприобретенное имение) и давал слово, что по возвращении у него будут беспрерывные праздники, пикники, балы, фейерверки. Целый год после его отъезда дамы толковали об этих обещанных праздниках, ожидая своего милого старичка с ужасным нетерпением. В ожидании же составлялись даже поездки в Духаново, где был старинный барский дом и сад, с выстриженными из акаций львами, с насыпными курганами, с прудами, по которым ходили лодки с деревянными турками, игравшими на свирелях, с беседками, с павильонами, с монплезирами и другими затеями.

Наконец князь воротился, но, к всеобщему удивлению и разочарованию, даже и не заехал в Мордасов, а поселился в своем Духанове совершенным затворником. Распространились странные слухи, и вообще с этой эпохи история князя становится туманною и фантастическою. Во-первых, рассказывали, что в Петербурге ему не совсем удалось, что некоторые из его родственников, будущие наследники, хотели, по слабоумию князя,

выхлопотать над ним какую-то опеку, вероятно из боязни, что он опять всё промотает. Мало того: иные прибавляли, что его хотели даже посадить в сумасшедший дом, но что какой-то из его родственников, один важный барин, будто бы за него заступился, доказав ясно всем прочим, что бедный князь, вполовину умерший и поддельный, вероятно, скоро и весь умрет, и тогда имение достанется им и без сумасшедшего дома. Повторяю опять: мало ли чего не наскажут, особенно у нас в Мордасове? Всё это, как рассказывали, ужасно испугало князя, до того, что он совершенно изменился характером и обратился в затворника. Некоторые из мордасовцев из любопытства поехали к нему с поздравлениями, но – или не были приняты, или приняты чрезвычайно странным образом. Князь даже не узнавал своих прежних знакомых. Утверждали, что он и не хотел узнавать. Посетил его и губернатор.

Он воротился с известием, что, по его мнению, князь действительно немного помешан, и всегда потом делал кислую мину при воспоминании о своей поездке в Духаново. Дамы громко негодовали. Узнали наконец одну капитальную вещь, именно: что князем овладела какая-то неизвестная Степанида Матвеевна, Бог знает какая женщина, приехавшая с ним из Петербурга, пожилая и толстая, которая ходит в ситцевых платьях и с ключами в руках; что князь слушается ее во всем как ребенок и не смеет ступить шагу без ее позволения; что она даже моет его своими руками; балует его, носит и тешит как ребенка; что, наконец, она-то и отдаляет от него всех посетителей, и, в особенности, родственников, которые начали было понемногу заезжать в Духаново, для разведок. В Мордасове много рассуждали об этой непонятной связи, особенно дамы. Ко всему этому прибавляли, что Степанида Матвеевна управляет всем имением князя безгранично и самовластно; отрешает управителей, приказчиков, прислугу, собирает доходы; но что управляет она хорошо, так что крестьяне благословляют судьбу свою. Что же касается до самого князя, то узнали, что дни его проходят почти сплошь за туалетом, в примеривании париков и фраков; что остальное время он проводит с Степанидой Матвеевной, играет с ней в свои козыри, гадает на картах, изредка выезжая погулять верхом на смирной английской кобыле, причем Степанида Матвеевна непременно сопровождает его в крытых дрожках, на всякий случай, – потому что князь ездит верхом более из кокетства, а сам чуть держится на седле. Видели его иногда и пешком, в пальто

и в соломенной широкополой шляпке, с розовым дамским платочком на шее, с стеклышком в глазу и с соломенной корзинкой на левой руке для собирания грибков, полевых цветов, васильков; Степанида же Матвеевна всегда при этом сопровождает его, а сзади идут два саженные лакея и едет, на всякий случай, коляска. Когда же встречается с ним мужик и, остановясь в стороне, снимает шапку, низко кланяется и приговаривает: «Здравствуй, батюшка князь, ваше сиятельство, наше красное солнышко!» – то князь немедленно наводит на него свой лорнет, приветливо кивает головой и ласково говорит ему: «Bonjour, mon ami, bonjour!»[1], и много подобных слухов ходило в Мордасове; князя никак не могли забыть: он жил в таком близком соседстве! Каково же было всеобщее изумление, когда, в одно прекрасное утро, разнесся слух, что князь, затворник, чудак, своею собственною особою пожаловал в Мордасов и остановился у Марьи Александровны! Всё переполошилось и взволновалось. Все ждали объяснений, все спрашивали друг у друга: что это значит? Иные собирались уже ехать к Марье Александровне. Всем приезд князя казался диковинкой. Дамы пересылались записками, собирались с визитами, посылали своих горничных и мужей на разведки. Особенно странным казалось, отчего именно князь остановился у Марьи Александровны, а не у кого другого? Всех более досадовала Анна Николаевна Антипова, потому что князь приходился ей как-то очень дальней родней. Но, чтоб разрешить все эти вопросы, нужно непременно зайти к самой Марье Александровне, к которой милости просим пожаловать и благосклонного читателя. Теперь, правда, еще только десять часов утра, но я уверен, что она не откажется принять своих коротких знакомых. Нас, по крайней мере, примет она непременно.

ГЛАВА III

Десять часов утра. Мы в доме Марьи Александровны, на Большой улице, в той самой комнате, которую хозяйка, в торжественных случаях, называет своим салоном. У Марьи Александровны есть тоже и будуар. В этом салоне порядочно выкрашены полы и недурны выписные обои. В мебели, довольно неуклюжей, преобладает красный цвет. Есть камин,

[1] Здравствуй, друг мой, здравствуй! (*фр.*)

над камином зеркало, перед зеркалом бронзовые часы с каким-то амуром, весьма дурного вкуса. Между окнами, в простенках, два зеркала, с которых успели уже снять чехлы. Перед зеркалами, на столиках, опять часы. У задней стены – превосходный рояль, выписанный для Зины: Зина – музыкантша. Около затопленного камина расставлены кресла, по возможности в живописном беспорядке; между ними маленький столик. На другом конце комнаты другой стол, накрытый скатертью ослепительной белизны; на нем кипит серебряный самовар и собран хорошенький чайный прибор. Самоваром и чаем заведует одна дама, проживающая у Марьи Александровны в качестве дальней родственницы, Настасья Петровна Зяблова. Два слова об этой даме. Она вдова, ей за тридцать лет, брюнетка, с свежим цветом лица и с живыми темно-карими глазами. Вообще недурна собою. Она веселого характера и большая хохотунья, довольно хитра, разумеется, сплетница и умеет обделывать свои делишки. У ней двое детей, где-то учатся. Ей бы очень хотелось выйти еще раз замуж. Держит она себя довольно независимо. Муж ее был военный офицер. Сама Марья Александровна сидит у камина в превосходнейшем расположении духа и в светло-зеленом платье, которое к ней идет. Она ужасно обрадована приездом князя, который в эту минуту сидит наверху за своим туалетом. Она так рада, что даже не старается скрывать свою радость. Перед ней, стоя, рисуется молодой человек и что-то с одушевлением рассказывает. По глазам его видно, что ему хочется угодить своим слушательницам. Ему двадцать пять лет. Манеры его были бы недурны, но он часто приходит в восторг и, кроме того, с большой претензией на юмор и остроту. Одет отлично, белокур, недурен собою. Но мы уже говорили об нем: это господин Мозгляков, подающий большие надежды. Марья Александровна находит про себя, что у него немного пусто в голове, но принимает его прекрасно. Он искатель руки ее дочери Зины, в которую, по его словам, влюблен до безумия. Он поминутно обращается к Зине, стараясь сорвать с ее губ улыбку своим остроумием и веселостью. Но та с ним видимо холодна и небрежна. В эту минуту она стоит в стороне, у рояля, и перебирает пальчиками календарь. Это одна из тех женщин, которые производят всеобщее восторженное изумление, когда являются в обществе. Она хороша до невозможности: росту высокого, брюнетка, с чудными, почти совершенно черными глазами, стройная,

с могучею, дивною грудью. Ее плечи и руки – античные, ножка соблазнительная, поступь королевская. Она сегодня немного бледна; но зато ее пухленькие алые губки, удивительно обрисованные, между которыми светятся, как нанизанный жемчуг, ровные маленькие зубы, будут вам три дня сниться во сне, если хоть раз на них взглянете. Выражение ее серьезно и строго. Мосье Мозгляков как будто боится ее пристального взгляда; по крайней мере, его как-то коробит, когда он осмеливается взглянуть на нее. Движения ее свысока небрежны. Она одета в простое белое кисейное платье. Белый цвет к ней чрезвычайно идет; впрочем, к ней всё идет. На ее пальчике кольцо, сплетенное из чьих-то волос, судя по цвету, – не из маменькиных; Мозгляков никогда не смел спросить ее: чьи это волосы? В это утро Зина как-то особенно молчалива и даже грустна, как будто чем-то озабочена. Зато Марья Александровна готова говорить без умолку, хоть изредка тоже взглядывает на дочь каким-то особенным, подозрительным взглядом, но, впрочем, делает это украдкой, как будто и она тоже боится ее.

– Я так рада, так рада, Павел Александрович, – щебечет она, – что готова кричать об этом всем и каждому из окошка. Не говорю уж о том милом сюрпризе, который вы сделали нам, мне и Зине, приехав двумя неделями раньше обещанного; это уж само собой! Я ужасно рада тому, что вы привезли сюда этого милого князя. Знаете ли, как я люблю этого очаровательного старичка! Но нет, нет! вы не поймете меня! вы, молодежь, не поймете моего восторга, как бы я ни уверяла вас! Знаете ли, чем он был для меня в прежнее время, лет шесть тому назад, помнишь, Зина? Впрочем, я и забыла: ты тогда гостила у тетки... Вы не поверите, Павел Александрович: я была его руководительницей, сестрой, матерью! Он слушался меня как ребенок! было что-то наивное, нежное и облагороженное в нашей связи; что-то даже как будто пастушеское... Я уж и не знаю, как и назвать! Вот почему он и помнит теперь только об одном моем доме с благодарностию, ce pauvre prince![1] Знаете ли, Павел Александрович, что вы, может быть, спасли его тем, что завезли его ко мне! Я с сокрушением сердца думала о нем эти шесть лет. Вы не поверите: он мне снился даже во сне. Говорят, эта чудовищная жен-

[1] Этот бедный князь! (*фр.*)

щина околдовала, погубила его. Но наконец-то вы его вырвали из этих клещей! Нет! надобно воспользоваться случаем и спасти его совершенно! Но расскажите мне еще раз, как удалось вам всё это? Опишите мне подробнейшим образом всю вашу встречу. Давеча я, впопыхах, обратила только внимание на главное дело, тогда как все эти мелочи, мелочи и составляют, так сказать, настоящий сок! Я ужасно люблю мелочи, даже в самых важных случаях прежде обращаю внимание на мелочи... и... покамест он еще сидит за своим туалетом...

– Да всё то же, что я уже рассказывал, Марья Александровна! – с готовностию подхватывает Мозгляков, готовый рассказывать хоть в десятый раз, – это составляет для него наслаждение. – Ехал я всю ночь, разумеется, всю ночь не спал, – можете себе представить, как я спешил! – прибавляет он, обращаясь к Зине, – одним словом, бранился, кричал, требовал лошадей, даже буянил из-за лошадей на станциях; если б напечатать, вышла бы целая поэма в новейшем вкусе! Впрочем, это в сторону! Ровно в шесть часов утра приезжаю на последнюю станцию, в Игишево. Издрог, не хочу и греться, кричу: лошадей! Испугал смотрительницу с грудным ребенком: теперь, кажется, у ней пропало молоко... Восход солнца очаровательный. Знаете, эта морозная пыль алеет, серебрится! Не обращаю ни на что внимания; одним словом, спешу напропалую! Лошадей взял с бою: отнял у какого-то коллежского советника и чуть не вызвал его на дуэль. Говорят мне, что четверть часа тому съехал со станции какой-то князь, едет на своих, ночевал. Я едва слушаю, сажусь, лечу, точно с цепи сорвался. Есть что-то подобное у Фета, в какой-то элегии. Ровно в девяти верстах от города, на самом повороте в Светозерскую пустынь, вижу, произошло удивительное событие. Огромная дорожная карета лежит на боку, кучер и два лакея стоят перед нею в недоумении, а из кареты, лежащей на боку, несутся раздирающие душу крики и вопли. Думал проехать мимо: лежи себе на боку; не здешнего прихода! Но превозмогло человеколюбие, которое, как выражается Гейне, везде суется с своим носом. Останавливаюсь. Я, мой Семен, ямщик – тоже русская душа, спешим на подмогу и, таким образом, вшестером подымаем наконец экипаж, ставим его на ноги, которых у него, правда, и нет, потому что он на полозьях. Помогли еще мужики с дровами, ехали в город, получили от меня на водку. Думаю: верно, это тот

самый князь! Смотрю: Боже мой! он самый и есть, князь Гаврила! Вот встреча! Кричу ему: «Князь! дядюшка!» Он, конечно, почти не узнал меня с первого взгляда; впрочем, тотчас же почти узнал... со второго взгляда. Признаюсь вам, однако же, что едва ли он и теперь понимает – кто я таков, и, кажется, принимает меня за кого-то другого, а не за родственника. Я видел его лет семь назад в Петербурге; ну, разумеется, я тогда был мальчишка. Я-то его запомнил: он меня поразил, – ну, а ему-то где ж меня помнить! Рекомендуюсь; он в восхищении, обнимает меня, а между тем сам весь дрожит от испуга и плачет, ей-Богу, плачет: я видел это собственными глазами! То да се, – уговорил его наконец пересесть в мой возок и хоть на один день заехать в Мордасов, ободриться и отдохнуть. Он соглашается беспрекословно... Объявляет мне, что едет в Светозерскую пустынь, к иеромонаху Мисаилу, которого чтит и уважает; что Степанида Матвеевна, – а уж из нас, родственников, кто не слыхал про Степаниду Матвеевну? – она меня прошлого года из Духанова помелом прогнала, – что эта Степанида Матвеевна получила письмо такого содержания, что у ней в Москве кто-то при последнем издыхании: отец или дочь, не знаю, кто именно, да и не интересуюсь знать; может быть, и отец и дочь вместе; может быть, еще с прибавкою какого-нибудь племянника, служащего по питейной части... Одним словом, она до того была окончфужена, что дней на десять решилась распроститься с своим князем и полетела в столицу украсить ее своим присутствием. Князь сидел день, сидел другой, примерял парики, помадился, фабрился, загадал было на картах (может быть, даже и на бобах); но стало невмочь без Степаниды Матвеевны! приказал лошадей и покатил в Светозерскую пустынь. Кто-то из домашних, боясь невидимой Степаниды Матвеевны, осмелился было возразить; но князь настоял. Выехал вчера после обеда, ночевал в Игишеве, со станции съехал на заре и, на самом повороте к иеромонаху Мисаилу, полетел с каретой чуть не в овраг. Я его спасаю, уговариваю заехать к общему другу нашему, многоуважаемой Марье Александровне; он говорит про вас, что вы очаровательнейшая дама из всех, которых он когда-нибудь знал, и вот мы здесь, а князь поправляет теперь наверху свой туалет, с помощию своего камердинера, которого не забыл взять с собою и которого никогда и ни в каком случае не забудет взять с собою, потому что согласится скорее умереть, чем

явиться к дамам без некоторых приготовлений или, лучше сказать – исправлений... Вот и вся история! Eine allerliebste Geschichte![1]

– Но какой он юморист, Зина! – вскрикивает Марья Александровна, выслушав, – как он это мило рассказывает! Но, послушайте, Поль, – один вопрос: объясните мне хорошенько ваше родство с князем! Вы называете его дядей?

– Ей-Богу, не знаю, Марья Александровна, как и чем я родня ему: кажется, седьмая вода, может быть, даже и не на киселе, а на чем-нибудь другом. Я тут не виноват нисколько; а виновата во всем этом тетушка Аглая Михайловна. Впрочем, тетушке Аглае Михайловне больше и делать нечего, как пересчитывать по пальцам родню; она-то и протурила меня ехать к нему, прошлого лета, в Духаново. Съездила бы сама! Просто-запросто я называю его дядюшкой; он откликается. Вот вам и всё наше родство, на сегодняшний день по крайней мере...

– Но я все-таки повторю, что только один Бог мог вас надоумить привезти его прямо ко мне! Я трепещу, когда воображу себе, что бы с ним было, бедняжкой, если б он попал к кому-нибудь другому, а не ко мне? Да его бы здесь расхватали, разобрали по косточкам, съели! Бросились бы на него, как на рудник, как на россыпь, – пожалуй, обокрали б его? Вы не можете представить себе, какие здесь жадные, низкие и коварные людишки, Павел Александрович!..

– Ах, Боже мой, да к кому ж его и привезти, как не к вам, – какие вы, Марья Александровна! – подхватывает Настасья Петровна, вдова, разливающая чай. – Ведь не к Анне же Николаевне везти его, как вы думаете?

– Однако ж, что он так долго не выходит? Это даже странно, – говорит Марья Александровна, в нетерпении вставая с места.

– Дядюшка-то? Да, я думаю, он еще пять часов будет там одеваться! К тому же так как у него совершенно нет памяти, то он, может быть, и забыл, что приехал к вам в гости. Ведь это удивительнейший человек, Марья Александровна!

– Ах, полноте, пожалуйста, что вы!

– Вовсе не что вы, Марья Александровна, а сущая правда! Ведь это полукомпозиция, а не человек. Вы его видели шесть лет назад, а я час тому

[1] Премилая история! (*нем.*)

назад его видел. Ведь это полупокойник! Ведь это только воспоминание о человеке; ведь его забыли похоронить! Ведь у него глаза вставные, ноги пробочные, он весь на пружинах и говорит на пружинах!

– Боже мой, какой вы, однако же, ветреник, как я вас послушаю! – восклицает Марья Александровна, принимая строгий вид. – И как не стыдно вам, молодому человеку, родственнику, говорить так про этого почтенного старичка! Не говоря уже о его беспримерной доброте, – и голос ее принимает какое-то трогательное выражение, – вспомните, что это остаток, так сказать, обломок нашей аристократии! Друг мой, mon ami! Я понимаю, что вы ветреничаете из каких-то там ваших новых идей, о которых вы беспрерывно толкуете. Но Боже мой! Я и сама – ваших новых идей! Я понимаю, что основание вашего направления благородно и честно. Я чувствую, что в этих новых идеях есть даже что-то возвышенное; но всё это не мешает мне видеть и прямую, так сказать, практическую сторону дела. Я жила на свете, я видела больше вас, и, наконец, я мать, а вы еще молоды! Он старичок и потому, на ваши глаза, смешон! Мало того: вы прошлый раз говорили даже, что намерены отпустить ваших крестьян на волю и что надобно же что-нибудь сделать для века, и всё это оттого, что вы начитались там какого-нибудь вашего Шекспира! Поверьте, Павел Александрович, ваш Шекспир давным-давно уже отжил свой век и если б воскрес, то, со всем своим умом, не разобрал бы в нашей жизни ни строчки! Если есть что-нибудь рыцарское и величественное в современном нам обществе, так это именно в высшем сословии. Князь и в кульке князь, князь и в лачуге будет как во дворце! А вот муж Натальи Дмитриевны чуть ли не дворец себе выстроил, – и все-таки он только муж Натальи Дмитриевны, и ничего больше! Да и сама Наталья Дмитриевна, хоть пятьдесят кринолинов на себя налепи, – все-таки останется прежней Натальей Дмитриевной и нисколько не прибавит себе. Вы тоже, отчасти, представитель высшего сословия, потому что от него происходите. Я тоже себя считаю не чужою ему, – а дурное то дитя, которое марает свое гнездо! Но, впрочем, вы сами дойдете до всего этого лучше меня, mon cher Paul[1], и забудете вашего Шекспира. Предрекаю вам. Я уверена, что вы даже и теперь не искренни, а так только, модничаете. Впрочем,

[1] Мой милый Поль (*фр.*).

я заболталась. Побудьте здесь, mon cher Paul, я сама схожу наверх и узнаю о князе. Может быть, ему надо чего-нибудь, а ведь с моими людишками...

И Марья Александровна поспешно вышла из комнаты, вспомня о своих людишках.

– Марья Александровна, кажется, очень рады, что князь не достался этой франтихе, Анне Николаевне. А ведь уверяла всё, что родня ему. То-то разрывается, должно быть, теперь от досады! – заметила Настасья Петровна; но заметив, что ей не отвечают, и взглянув на Зину и на Павла Александровича, госпожа Зяблова тотчас догадалась и вышла, как будто за делом, из комнаты. Она, впрочем, немедленно вознаградила себя, остановилась у дверей и стала подслушивать.

Павел Александрович тотчас же обратился к Зине. Он был в ужасном волнении; голос его дрожал.

– Зинаида Афанасьевна, вы не сердитесь на меня? – проговорил он с робким и умоляющим видом.

– На вас? За что же? – сказала Зина, слегка покраснев и подняв на него чудные глаза.

– За мой ранний приезд, Зинаида Афанасьевна! Я не вытерпел, я не мог дожидаться еще две недели... Вы мне снились даже во сне. Я прилетел узнать мою участь... Но вы хмуритесь, вы сердитесь! Неужели и теперь я не узнаю ничего решительного?

Зинаида действительно нахмурилась.

– Я ожидала, что вы заговорите об этом, – отвечала она, снова опустив глаза, голосом твердым и строгим, но в котором слышалась досада. – И так как это ожидание было для меня очень тяжело, то, чем скорее оно разрешилось, тем лучше. Вы опять требуете, то есть просите, ответа. Извольте, я повторю вам его, потому что мой ответ всё тот же, как и прежде: подождите! Повторяю вам, – я еще не решилась и не могу вам дать обещание быть вашею женою. Этого не требуют насильно, Павел Александрович. Но, чтобы успокоить вас, прибавляю, что я еще не отказываю вам окончательно. Заметьте еще: обнадеживая вас теперь на благоприятное решение, я делаю это единственно потому, что снисходительна к вашему нетерпению и беспокойству. Повторяю, что хочу остаться совершенно свободною в своем решении, и если я вам скажу наконец, что я не согласна, то вы и не должны обвинять меня, что я вас обнадеживала. Итак, знайте это.

– Итак, что же, что же это! – вскричал Мозгляков жалобным голосом. – Неужели это надежда! Могу ли я извлечь хоть какую-нибудь надежду из ваших слов, Зинаида Афанасьевна?

– Припомните всё, что я вам сказала, и извлекайте всё, что вам угодно. Ваша воля! Но я больше ничего не прибавлю. Я вам еще не отказываю, а говорю только: ждите. Но, повторяю вам, я оставляю за собой полное право отказать вам, если мне вздумается. Замечу еще одно, Павел Александрович: если вы приехали раньше положенного для ответа срока, чтоб действовать окольными путями, надеясь на постороннюю протекцию, например хоть на влияние маменьки, то вы очень ошиблись в расчете. Я тогда прямо откажу вам, слышите ли это? А теперь – довольно, и, пожалуйста, до известного времени не поминайте мне об этом ни слова.

Вся эта речь была произнесена сухо, твердо и без запинки, как будто заранее заученная. Мосье Поль почувствовал, что остался с носом. В эту минуту воротилась Марья Александровна. За нею, почти тотчас же, госпожа Зяблова.

– Он, кажется, сейчас сойдет, Зина! Настасья Петровна, скорее заварите нового чаю! – Марья Александровна была даже в маленьком волнении.

– Анна Николаевна уже присылала наведаться. Ее Анютка прибегала на кухню и расспрашивала. То-то злится теперь! – возвестила Настасья Петровна, бросаясь к самовару.

– А мне какое дело! – сказала Марья Александровна, отвечая через плечо госпоже Зябловой. – Точно я интересуюсь знать, что думает ваша Анна Николаевна? Поверьте, не буду никого подсылать к ней на кухню. И удивляюсь, решительно удивляюсь, почему вы все считаете меня врагом этой бедной Анны Николаевны, да и не вы одна, а все в городе? Я на вас пошлюсь, Павел Александрович! Вы знаете нас обеих, – ну из чего я буду врагом ее? За первенство? Но я равнодушна к этому первенству. Пусть ее, пусть будет первая! Я первая готова поехать к ней, поздравить ее с ее первенством. И наконец – всё это несправедливо. Я заступлюсь за нее, я обязана за нее заступиться! На нее клевещут. За что вы все на нее нападаете? Она молода и любит наряды, – за это, что ли? Но, по-моему, уж лучше наряды, чем что-нибудь другое, вот как Наталья Дмитриевна, которая – такое любит, что и сказать нельзя. За то ли, что Анна Николаевна ездит

по гостям и не может посидеть дома? Но Боже мой! Она не получила никакого образования, и ей, конечно, тяжело раскрыть, например, книгу или заняться чем-нибудь две минуты сряду. Она кокетничает и делает из окна глазки всем, кто ни пройдет по улице. Но зачем же уверяют ее, что она хорошенькая, когда у ней только белое лицо и больше ничего? Она смешит в танцах, – соглашаюсь! Но зачем же уверяют ее, что она прекрасно полькирует? На ней невозможные наколки и шляпки, – но чем же виновата она, что ей Бог не дал вкусу, а, напротив, дал столько легковерия. Уверьте ее, что хорошо приколоть к волосам конфектную бумажку, она и приколет. Она сплетница, – но это здешняя привычка: кто здесь не сплетничает? К ней ездит Сушилов с своими бакенбардами и утром, и вечером, и чуть ли не ночью. Ах, Боже мой! еще бы: муж козырял в карты до пяти часов утра! К тому же здесь столько дурных примеров! Наконец, это еще, *может быть,* и клевета. Словом, я всегда, всегда заступлюсь за нее!.. Но Боже мой! вот и князь! Это он, он! Я узнаю его! Я узнаю его из тысячи! Наконец-то я вас вижу, mon prince![1] – вскричала Марья Александровна и бросилась навстречу вошедшему князю.

ГЛАВА IV

С первого, беглого взгляда вы вовсе не сочтете этого князя за старика и, только взглянув поближе и пристальнее, увидите, что это какой-то мертвец на пружинах. Все средства искусства употреблены, чтоб закостюмировать эту мумию в юношу. Удивительные парик, бакенбарды, усы и эспаньолка, превосходнейшего черного цвета, закрывают половину лица. Лицо набеленное и нарумяненное необыкновенно искусно, и на нем почти нет морщин. Куда они делись? – неизвестно. Одет он совершенно по моде, точно вырвался из модной картинки. На нем какая-то визитка или что-то подобное, ей-Богу, не знаю, что именно, но только что-то чрезвычайно модное и современное, созданное для утренних визитов. Перчатки, галстух, жилет, белье и всё прочее – всё это ослепительной свежести и изящного вкуса. Князь немного прихрамывает, но прихрамывает так ловко, как будто и это необходимо по моде. В глазу его стеклышко, в том

[1] Князь (*фр.*).

самом глазу, который и без того стеклянный. Князь пропитан духами. Разговаривая, он как-то особенно протягивает иные слова, – может быть, от старческой немощи, может быть, оттого, что все зубы вставные, может быть, и для пущей важности. Некоторые слоги он произносит необыкновенно сладко, особенно напирая на букву э. *Да* у него как-то выходит *ддэ,* но только еще немного послаще. Во всех манерах его что-то небрежное, заученное в продолжение всей франтовской его жизни. Но вообще, если и сохранилось что-нибудь от этой прежней, франтовской его жизни, то сохранилось уже как-то бессознательно, в виде какого-то неясного воспоминания, в виде какой-то пережитой, отпетой старины, которую, увы! не воскресят никакие косметики, корсеты, парфюмеры и парикмахеры. И потому лучше сделаем, если заранее признаемся, что старичок если и не выжил еще из ума, то давно уже выжил из памяти и поминутно сбивается, повторяется и даже совсем завирается. Нужно даже уменье, чтоб с ним говорить. Но Марья Александровна надеется на себя и, при виде князя, приходит в неизреченный восторг.

– Но вы ничего, ничего не переменились! – восклицает она, хватая гостя за обе руки и усаживая его в покойное кресло. – Садитесь, садитесь, князь! Шесть лет, целых шесть лет не видались, и ни одного письма, даже ни строчки во всё это время! О, как вы виноваты передо мною, князь! Как я зла была на вас, mon cher prince![1] Но – чаю, чаю! Ах, Боже мой! Настасья Петровна, чаю!

– Благодарю, бла-го-дарю, вин-новат! – шепелявит князь (мы забыли сказать, что он немного шепелявит, но и это делает как будто по моде). – Ви-но-ват! и представьте себе, еще прошлого года непре-менно хотел сюда ехать, – прибавляет он, лорнируя комнату. – Да напугали: тут, говорят, хо-ле-ра была.

– Нет, князь, у нас не было холеры, – говорит Марья Александровна.

– Здесь был скотский падеж, дядюшка! – вставляет Мозгляков, желая отличиться. Марья Александровна обмеривает его строгим взглядом.

– Ну да, скотский па-деж или что-то в этом роде... Я и остался. Ну, как ваш муж, моя милая Анна Николаевна? Всё по своей проку-рорской части?

---

[1] Мой дорогой князь (*фр.*).

– Н-нет, князь, – говорит Марья Александровна, немного заикаясь. – Мой муж не про-ку-рор...

– Бьюсь об заклад, что дядюшка сбился и принимает вас за Анну Николаевну Антипову! – вскрикивает догадливый Мозгляков, но тотчас спохватывается, замечая, что и без этих пояснений Марью Александровну как будто всю покоробило.

– Ну да, да, Анну Николаевну, и-и... (я всё забываю!). Ну да, Анти-повну, именно Анти-повну, – подтверждает князь.

– Н-нет, князь, вы очень ошиблись, – говорит Марья Александровна с горькой улыбкой. – Я вовсе не Анна Николаевна и, признаюсь, никак не ожидала, что вы меня не узнаете! Вы меня удивили, князь! Я ваш бывший друг, Марья Александровна Москалева. Помните, князь, Марью Александровну?..

– Марью А-лекс-анд-ровну! представьте себе! а я именно по-ла-гал, что вы-то и есть (как ее!) – ну да! Анна Васильевна... C'est délicieux![1] Значит, я не туда заехал. А я думал, мой друг, что ты именно ве-зешь меня к этой Анне Матвеевне. C'est charmant![2] Впрочем, это со мной часто случается... Я часто не туда заезжаю. Я вообще доволен, всегда доволен, что б ни случилось. Так вы не Настасья Ва-сильевна? Это инте-ресно...

– Марья Александровна, князь, Марья Александровна! О, как вы виноваты передо мной! Забыть своего лучшего, лучшего друга!

– Ну да, луч-шего друга... pardon, pardon![3] – шепелявит князь, заглядываясь на Зину.

– А это дочь моя, Зина. Вы еще не знакомы, князь. Ее не было в то время, когда вы были здесь, помните, в – м году?

– Это ваша дочь! Charmante, charmante![4] – бормочет князь, с жадностью лорнируя Зину. – Mais quelle beauté![5] – шепчет он, видимо пораженный.

– Чаю, князь, – говорит Марья Александровна, привлекая внимание князя на казачка, стоящего перед ним с подносом в руках. Князь берет

[1] Это восхитительно! (*фр.*)

[2] Это очаровательно! (*фр.*)

[3] Простите, простите! (*фр.*)

[4] Прелестно, прелестно! (*фр.*)

[5] Но какая красавица! (*фр.*)

чашку и засматривается на мальчика, у которого пухленькие и розовые щечки.

– А-а-а, это ваш мальчик? – говорит он. – Какой хоро-шень-кий мальчик!., и-и-и, верно, хо-ро-шо... ведет себя?

– Но, князь, – поспешно перебивает Марья Александровна, – я слышала об ужаснейшем происшествии! Признаюсь, я была вне себя от испуга... Не ушиблись ли вы? Смотрите! этим пренебрегать невозможно...

– Вывалил! вывалил! кучер вывалил! – восклицает князь с необыкновенным одушевлением. – Я уже думал, что наступает светопреставление или что-нибудь в этом роде, и так, признаюсь, испугался, что – прости меня, Угодник! – небо с овчинку показалось! Не ожидал, не ожи-дал! совсем не о-жи-дал! И во всем этом мой кучер Фе-о-фил виноват! Я уж на тебя во всем надеюсь, мой друг: распорядись и разыщи хорошенько. Я у-ве-рен, что он на жизнь мою по-ку-шался.

– Хорошо, хорошо, дядюшка! – отвечает Павел Александрович, – всё разыщу! Только послушайте, дядюшка! Прости те-ка его, для сегодняшнего дня, а? Как вы думаете?

– Ни за что не прощу! Я уверен, что он на жизнь мою поку-шался! Он и еще Лаврентий, которого я дома оставил. Вообразите: нахватался, знаете, каких-то новых идей! Отрицание какое-то в нем явилось... Одним словом: коммунист, в полном смысле слова! Я уж и встречаться с ним боюсь!

– Ах, какую вы правду сказали, князь! – восклицает Марья Александровна. – Вы не поверите, как я сама страдаю от этих негодных людишек! Вообразите: я теперь переменила двух из моих людей, и, признаюсь, они так глупы, что я просто бьюсь с ними с утра до вечера. Вы не поверите, как они глупы, князь!

– Ну да, ну да! Но, признаюсь вам, я даже люблю, когда лакей отчасти глуп, – замечает князь, который, как и все старички, рад, когда болтовню его слушают с подобострастием. – К лакею это как-то идет, – и даже составляет его достоин-ство, если он чистосердечен и глуп. Разумеется, в иных только слу-ча-ях. Са-но-ви-тости в нем оттого как-то больше, торжественность какая-то в лице у него является; одним словом, благовоспитанности больше, а я прежде всего требую от *человека* бла-го-вос-питанности. Вот у меня Те-рен-тий есть. Ведь ты помнишь, мой друг, Те-рен-

тия? Я, как взглянул на него, так и предрек ему с первого раза: быть тебе в швейцарах! Глуп фе-но-менально! смотрит как баран на воду! Но какая са-но-витость, какая тор-жественность! Кадык такой, светло-розовый! Ну, а – ведь это в белом галстухе и во всем параде составляет эффект. Я душевно его полюбил. Иной раз смотрю на него и засматриваюсь: решительно диссертацию сочиняет, – такой важный вид! – одним словом, настоящий немецкий философ Кант или, еще вернее, откормленный жирный индюк. Совершенный comme il faut для служащего человека!..

Марья Александровна хохочет с самым восторженным увлечением и даже хлопает в ладошки. Павел Александрович вторит ей от всего сердца: его чрезвычайно занимает дядя. Захохотала и Настасья Петровна. Улыбнулась даже и Зина.

– Но сколько юмору, сколько веселости, сколько в вас остроумия, князь! – восклицает Марья Александровна. – Какая драгоценная способность подметить самую тонкую, самую смешную черту!.. И исчезнуть из общества, запереться на целых пять лет! С таким талантом! Но вы бы могли писать, князь! Вы бы могли повторить Фонвизина, Грибоедова, Гоголя!..

– Ну да, ну да! – говорит вседовольный князь, – я могу пов-то-рить... и, знаете, я был необыкновенно остроумен в прежнее время. Я даже для сцены во-де-виль написал... Там было несколько вос-хи-ти-тельных куплетов! Впрочем, его никогда не играли...

– Ах, как бы это мило было прочесть! И знаешь, Зина, вот теперь бы кстати! У нас же сбираются составить театр, – для патриотического пожертвования, князь, в пользу раненых... вот бы ваш водевиль!

– Конечно! Я даже опять готов написать... впрочем, я его совершенно за-был. Но, помню, там было два-три каламбура таких, что... (и князь поцеловал свою ручку). – И вообще, когда я был за гра-ни-цей, я производил нас-то-ящий fu-ro-re. Лорда Байрона помню. Мы были на дружеской но-ге. Восхитительно танцевал краковяк на Венском конгрессе.

– Лорд Байрон, дядюшка! помилуйте, дядюшка, что вы?

– Ну да, лорд Байрон. Впрочем, может быть, это был и не лорд Байрон, а кто-нибудь другой. Именно не лорд Байрон, а один поляк! Я теперь совершенно припоминаю. И пре-ориги-нальный был этот по-ляк: выдал себя за графа, а потом оказалось, что он был какой-то кух-

мистер. Но только вос-хи-тительно танцевал краковяк и наконец сломал себе ногу. Я еще тогда на этот случай стихи сочинил:

Наш по-ляк
Танцевал краковяк...

А там... а там, вот уж дальше и не припомню...

А как ногу сломал,
Танцевать перестал.

– Ну, уж верно, так, дядюшка? – восклицает Мозгляков, всё более и более приходя в вдохновенье.

– Кажется, что так, друг мой, – отвечает дядюшка, – или что-нибудь по-добное. Впрочем, может быть, и не так, но только преудачные вышли стишки... Вообще я теперь забыл некоторые происшествия. Это у меня от занятий.

– Но скажите, князь, чем же вы всё это время занимались в вашем уединении? – интересуется Марья Александровна. – Я так часто думала о вас, mon cher prince[1], что, признаюсь, на этот раз сгораю нетерпением узнать об этом подробнее...

– Чем занимался? Ну, вообще, знаете, много за-ня-тий. Когда – отдыхаешь; а иногда, знаете, хожу, воображаю разные вещи...

– У вас, должно быть, чрезвычайно сильное воображение, дядюшка?

– Чрезвычайно сильное, мой милый. Я иногда такое воображу, что даже сам себе потом у-див-ляюсь. Когда я был в Кадуеве... A propos![2] ведь ты, кажется, кадуевским вице-губернатором был?

– Я, дядюшка? Помилуйте, что вы! – восклицает Павел Александрович.

– Представь себе, мой друг! а я тебя всё принимал за вице-губернатора, да и думаю: что ж это у него как будто бы вдруг стало совсем другое ли-цо?.. У того, знаешь, было лицо такое о-са-нистое, умное. Не-о-быкновенно умный был человек и всё стихи со-чи-нял на разные случаи. Немного, этак сбоку, на бубнового короля был похож...

– Нет, князь, – перебивает Марья Александровна, – клянусь, вы погубите себя такой жизнию! Затвориться на пять лет в уединение, никого не видать, ничего не слыхать! Но вы погибший человек, князь! Кого

[1] Мой дорогой князь (*фр.*).

[2] Кстати! (*фр.*)

хотите спросите из тех, кто вам предан, и вам всякий скажет, что вы – погибший человек!

– Неужели? – восклицает князь.

– Уверяю вас; я говорю вам как друг, как сестра ваша! Я говорю вам, потому что вы мне дороги, потому что память о прошлом для меня священна! Какая выгода была бы мне лицемерить? Нет, вам нужно до основания изменить вашу жизнь, – иначе вы заболеете, вы истощите себя, вы умрете...

– Ах, Боже мой! Неужели так скоро умру! – восклицает испуганный князь, – и представьте себе, вы угадали: меня чрезвычайно мучит геморрой, особенно с некоторого времени... И когда у меня бывают припадки, то вообще у-ди-ви-тельные при этом симптомы (я вам подробнейшим образом их опишу)... Во-первых...

– Дядюшка, это вы в другой раз расскажете, – подхватывает Павел Александрович, – а теперь... не пора ли нам ехать?

– Ну да! пожалуй, в другой раз. Это, может быть, и не так интересно слушать. Я теперь соображаю... Но все-таки это чрезвычайно любопытная болезнь. Есть разные эпизоды... Напомни мне, мой друг, я тебе ужо вечером расскажу один случай в под-роб-ности...

– Но послушайте, князь, вам бы попробовать лечиться за границей, – перебивает еще раз Марья Александровна.

– За границей! Ну да, ну да! Я непременно поеду за границу. Я помню, когда я был за границей в двадцатых годах, там было у-ди-ви-тельно весело. Я чуть-чуть не женился на одной виконтессе, француженке. Я тогда был чрезвычайно влюблен и хотел посвятить ей всю свою жизнь. Но, впрочем, женился не я, а другой. И какой странный случай: отлучился всего на два часа, а другой и восторжествовал, один немецкий барон; он еще потом некоторое время в сумасшедшем доме сидел.

– Но, cher prince, я к тому говорила, что вам надо серьезно подумать о своем здоровье. За границей такие медики... и, сверх того, чего стоит уже одна перемена жизни! Вам решительно надо бросить, хоть на время, ваше Духаново.

– Неп-ре-менно! Я уже давно решился и, знаете, намерен лечиться гид-ро-па-тией.

– Гидропатией?

– Гидропатией. Я уже лечился раз гид-ро-па-тией. Я был тогда на водах. Там была одна московская барыня, я уж фамилию забыл, но только чрезвычайно поэтическая женщина, лет семидесяти была. При ней еще находилась дочь, лет пятидесяти, вдова, с бельмом на глазу. Та тоже чуть-чуть не стихами говорила. Потом еще с ней несчастный случай вы-шел: свою дворовую девку, осердясь, убила и за то под судом была. Вот и вздумали они меня водой лечить. Я, признаюсь, ничем не был болен; ну, пристали ко мне: «Лечись да лечись!» Я, из деликатности, и начал пить воду; думаю: и в самом деле легче сде-лается. Пил-пил, пил-пил, выпил целый водопад, и, знаете, эта гидропатия – полезная вещь и ужасно много пользы мне принесла, так что если б я наконец не забо-лел, то уверяю вас, что был бы совершенно здоров...

– Вот это совершенно справедливое заключенье, дядюшка! Скажите, дядюшка, вы учились логике?

– Боже мой! какие вы вопросы задаете! – строго замечает скандализированная Марья Александровна.

– Учился, друг мой, но только очень давно. Я и философии обучался в Германии, весь курс прошел, но только тогда же всё совершенно забыл. Но... признаюсь вам... вы меня так испугали этими болезнями, что я... весь расстроен. Впрочем, я сейчас ворочусь...

– Но куда ж вы, князь? – вскрикивает удивленная Марья Александровна.

– Я сейчас, сейчас... Я только записать одну новую мысль... au revoir...[1]

– Каков? – вскрикивает Павел Александрович и заливается хохотом.

Марья Александровна теряет терпенье.

– Не понимаю, решительно не понимаю, чему вы смеетесь! – начинает она с горячностию. – Смеяться над почтенным старичком, над родственником, подымать на смех каждое его слово, пользуясь ангельской его добротою! Я краснела за вас, Павел Александрович! Но, скажите, чем он смешон по-вашему? Я ничего не нашла в нем смешного.

– Что он не узнает людей, что он иногда заговаривается?

– Но это следствие ужасной жизни его, ужасного пятилетнего заключения под надзором этой адской женщины. Его надо жалеть, а не смеяться

[1] До свидания (*фр.*).

над ним. Он даже меня не узнал; вы были сами свидетелем. Это уже, так сказать, – вопиет! Его, решительно, надо спасти! Я предлагаю ему ехать за границу, единственно в надежде, что он, может быть, бросит эту... торговку!

– Знаете ли что? его надо женить, Марья Александровна! – восклицает Павел Александрович.

– Опять! Но вы неисправимы после этого, мсье Мозгляков!

– Нет, Марья Александровна, нет! В этот раз я говорю совершенно серьезно! Почему ж не женить? Это тоже идея! C'est une idée comme une autre![1] Чем может это повредить ему, скажите, пожалуйста? Он, напротив, в таком положении, что подобная мера может только спасти его! По закону, он еще может жениться. Во-первых, он будет избавлен от этой пройдохи (извините за выражение). Во-вторых, и главное – представьте себе, что он выберет девушку или, еще лучше, вдову, милую, добрую, умную, нежную и, главное, бедную, которая будет ухаживать за ним, как дочь, и поймет, что он ее облагодетельствовал, назвав своею женою. А что же ему лучше, как не родное, как не искреннее и благородное существо, которое беспрерывно будет подле него вместо этой... бабы? Разумеется, она должна быть хорошенькая, потому что дядюшка до сих пор еще любит хорошеньких. Вы заметили, как он заглядывался на Зинаиду Афанасьевну?

– Да где же вы найдете такую невесту? – спрашивает Настасья Петровна, прилежно слушавшая.

– Вот так сказали: да хоть бы вы, если только угодно! Позвольте спросить: чем вы не невеста князю? Во-первых – вы хорошенькая, во-вторых – вдова, в-третьих – благородная, в-четвертых – бедная (потому что вы действительно небогатая), в-пятых – вы очень благоразумная дама, следственно, будете любить его, держать его в хлопочках, прогоните ту барыню в толчки, повезете его за границу, будете кормить его манной кашкой и конфектами, – всё это ровно до той минуты, когда он оставит сей бренный мир, что будет ровно через год, а может быть, и через два месяца с половиною. Тогда вы – княгиня, вдова, богачка и, в награду за вашу решимость, выходите замуж за маркиза или за генерал-интенданта! C'est joli[2], не правда ли?

---

[1] Эта идея не хуже других! (*фр.*)

[2] Это мило (*фр.*).

– Фу ты, Боже мой! да я бы, мне кажется, влюбилась в него, голубчика, из одной благодарности, если б он только сделал мне предложение! – восклицает госпожа Зяблова, и темные выразительные глаза ее засверкали. – Только всё это – вздор!

– Вздор? хотите, это будет не вздор? Попросите-ка меня хорошенько и потом палец мне отрежьте, если сегодня же не будете его невестою! Да нет ничего легче уговорить или сманить на что-нибудь дядюшку! Он на всё говорит: «Ну да, ну да!» – сами слышали. Мы его женим, так что он и не услышит. Пожалуй, обманем и женим; да ведь для его же пользы, помилосердуйте!.. Хоть бы вы принарядились на всякий случай, Настасья Петровна!

Восторг мсье Мозглякова переходит даже в азарт. У госпожи Зябловой, как ни рассудительна она, потекли, однако же, слюнки.

– Да уж я и без вас знаю, что сегодня совсем замарашка, – отвечает она. – Совсем опустилась, давно не мечтаю. Вот и выехала такая мадам Грибусье... А что, в самом деле, я кухаркой кажусь?

Всё это время Марья Александровна сидела с какой-то странной миною в лице. Я не ошибусь, если скажу, что она слушала странное предложение Павла Александровича с каким-то испугом, как-то оторопев... Наконец она опомнилась.

– Всё это, положим, очень хорошо, но всё это вздор и нелепость, а главное, совершенно некстати, – резко прерывает она Мозглякова.

– Но почему же, добрейшая Марья Александровна, почему же это вздор и некстати?

– По многим причинам, а главное, потому, что вы у меня в доме, что князь – мой гость и что я никому не позволю забыть уважение к моему дому. Я принимаю ваши слова не иначе как за шутку, Павел Александрович. Но слава Богу! вот и князь!

– Вот и я! – кричит князь, входя в комнату. – Удивительно, cher ami, сколько у меня сегодня разных идей. А другой раз, может быть, ты и не поверишь тому, как будто их совсем не бы-ва-ет. Так и сижу себе целый день.

– Это, дядюшка, вероятно, от сегодняшнего падения. Это потрясло ваши нервы, и вот...

– Я и сам, мой друг, этому же приписываю и нахожу этот случай даже по-лез-ным; так что я решился простить моего Фео-фи-ла. Знаешь что?

мне кажется, он не покушался на мою жизнь; ты думаешь? Притом же он и без того был недавно наказан, когда ему бороду сбрили.

– Бороду сбрили, дядюшка! Но у него борода с немецкое государство?

– Ну да, с немецкое государство. Вообще, мой друг, ты совершенно справедлив в своих заклю-че-ниях. Но это искусственная. И представьте себе, какой случай: вдруг присылают мне прейскурант. Получены вновь из-за границы превосходнейшие кучерские и господские бо-ро-ды, равномерно бакенбарды, эспаньолки, усы и прочее, и всё это лучшего ка-чес-тва и по самым умеренным ценам. Дай, думаю, выпишу бо-ро-ду, хоть поглядеть, – что такое? Вот и выписал я бороду кучерскую, – действительно, борода заглядение! Но оказывается, что у Феофила своя собственная чуть не в два раза больше. Разумеется, возникло недоумение: сбрить ли свою или присланную назад отослать, а носить натуральную? Я думал-думал и решил, что уж лучше носить искусственную.

– Вероятно потому, что искусство выше натуры, дядюшка!

– Именно потому. И сколько ему страданий стоило, когда ему бороду брили! Как будто со всей своей карьерой, с бородой расставался... Но не пора ли нам ехать, мой милый?

– Я готов, дядюшка.

– Но я надеюсь, князь, что вы только к одному губернатору! – в волнении восклицает Марья Александровна. – Вы теперь *мой,* князь, и принадлежите моему семейству на целый день. Я, конечно, ничего вам не буду говорить про здешнее общество. Может быть, вы пожелаете быть у Анны Николаевны, и я не вправе разочаровывать: к тому же я вполне уверена, что время покажет свое. Но помните одно, что я ваша хозяйка, сестра, мамка, нянька на весь этот день, и, признаюсь, я трепещу за вас, князь! Вы не знаете, нет, вы не знаете вполне этих людей, по крайней мере до времени!..

– Положитесь на меня, Марья Александровна. Всё, как я вам обещал, так будет, – говорит Мозгляков.

– Уж вы, ветреник! положись на вас! Я вас жду к обеду, князь. Мы обедаем рано. И как я жалею, что на этот случай муж мой в деревне! как бы рад он был вас увидеть! Он так вас уважает, так душевно вас любит!

– Ваш муж? А у вас есть и муж? – спрашивает князь.

– Ах, Боже мой! как вы забывчивы, князь! Но вы совершенно, совершенно забыли всё прежнее! Мой муж, Афанасий Матвеич, неужели вы его не помните? Он теперь в деревне, но вы тысячу раз его видели прежде. Помните, князь: Афанасий Матвеич?..

– Афанасий Матвеич! в деревне, представьте себе, mais c'est délicieux![1] Так у вас есть и муж? Какой странный, однако же, случай! Это точь-в-точь как есть один водевиль: муж в дверь, а жена в... позвольте, вот и забыл! только куда-то и жена тоже поехала, кажется в Тулу или в Ярославль, одним словом, выходит как-то очень смешно.

– Муж в дверь, а жена в Тверь, дядюшка! – подсказывает Мозгляков.

– Ну-ну! да-да! благодарю тебя, друг мой, именно в Тверь, charmant, charmant! так что оно и складно выходит. Ты всегда в рифму попадаешь, мой милый! То-то я помню: в Ярославль или в Кострому, но только куда-то и жена тоже поехала! Charmant, charmant! Впрочем, я немного забыл, о чем начал говорить... да! итак, мы едем, друг мой. Au revoir, madame, adieu, ma charmante demoiselle[2], – прибавил князь, обращаясь к Зине и целуя кончики своих пальцев.

– Обедать, обедать, князь! Не забудьте возвратиться скорее! – кричит вслед Марья Александровна.

ГЛАВА V

– Вы бы, Настасья Петровна, взглянули на кухне, – говорит она, проводив князя. – У меня есть предчувствие, что этот изверг Никитка непременно испортит обед! Я уверена, что он уже пьян...

Настасья Петровна повинуется. Уходя, она подозрительно взглядывает на Марью Александровну и замечает в ней какое-то необыкновенное волнение. Вместо того чтоб идти присмотреть за извергом Никиткой, Настасья Петровна проходит в зал, оттуда коридором в свою комнату, оттуда в темную комнатку, вроде чуланчика, где стоят сундуки, развешана кой-какая одежда и сохраняется в узлах черное белье всего дома. Она на цыпочках подходит к запертым дверям, скрадывает свое дыхание, нагиба-

[1] Но это же восхитительно! (*фр.*)

[2] До свидания, мадам, прощайте, моя милая барышня (*фр.*).

ется, смотрит в замочную скважину и подслушивает. Эта дверь – одна из трех дверей той самой комнаты, где остались теперь Зина и ее маменька, – всегда наглухо заперта и заколочена.

Марья Александровна считает Настасью Петровну плутоватой, но чрезвычайно легкомысленной женщиной. Конечно, ей приходила иногда мысль, что Настасья Петровна не поцеремонится и подслушать. Но в настоящую минуту госпожа Москалева так занята и взволнована, что совершенно забыла о некоторых предосторожностях. Она садится в кресла и значительно взглядывает на Зину. Зина чувствует на себе этот взгляд, и какая-то неприятная тоска начинает щемить ее сердце.

– Зина!

Зина медленно оборачивает к ней свое бледное лицо и подымает свои черные задумчивые глаза.

– Зина, я намерена поговорить с тобой о чрезвычайно важном деле.

Зина оборачивается совершенно к своей маменьке, складывает свои руки и стоит в ожидании. В лице ее досада и насмешка, что, впрочем, она старается скрыть.

– Я хочу тебя спросить, Зина, как показался тебе, сегодня, *этот* Мозгляков?

– Вы уже давно знаете, как я о нем думаю, – нехотя отвечает Зина.

– Да, mon enfant;[1] но, мне кажется, он становится как-то уж слишком навязчивым с своими... исканиями.

– Он говорит, что влюблен в меня, и навязчивость его извинительна.

– Странно! Ты прежде не извиняла его так... охотно. Напротив, всегда на него нападала, когда я заговорю об нем.

– Странно и то, что вы всегда защищали и непременно хотели, чтоб я вышла за него замуж, а теперь первая на него нападаете.

– Почти. Я не запираюсь, Зина; я желала тебя видеть за Мозгляковым. Мне тяжело было видеть твою беспрерывную тоску, твои страдания, которые я в состоянии понять (что бы ты ни думала обо мне!) и которые отравляют мой сон по ночам. Я уверилась наконец, что одна только значительная перемена в твоей жизни может спасти тебя! И перемена эта должна быть – замужество. Мы небогаты и не можем ехать, например,

[1] Дитя мое (*фр.*).

за границу. Здешние ослы удивляются, что тебе двадцать три года и ты не замужем, и сочиняют об этом истории. Но неужели ж я тебя выдам за здешнего советника или за Ивана Ивановича, нашего стряпчего? Есть ли для тебя здесь мужья? Мозгляков, конечно, пуст, но он все-таки лучше их всех. Он порядочной фамилии, у него есть родство, у него есть полтораста душ; это все-таки лучше, чем жить крючками да взятками, да Бог знает какими приключениями; потому я и бросила на него мои взгляды. Но, клянусь тебе, я никогда не имела настоящей к нему симпатии. Я уверена, что сам Всевышний предупреждал меня. И если бы Бог послал, хоть теперь, что-нибудь лучше – о! как хорошо тогда, что ты еще не дала ему слова! ты ведь сегодня ничего не сказала ему наверно, Зина?

– К чему так кривляться, маменька, когда всё дело в двух словах? – раздражительно проговорила Зина.

– Кривляться, Зина, кривляться! и ты могла сказать такое слово матери? Но что я! Ты давно уже не веришь своей матери! Ты давно уже считаешь меня своим врагом, а не матерью!

– Э, полноте, маменька! Нам ли с вами за слово спорить! Разве мы не понимаем друг друга? Было, кажется, время понять!

– Но ты оскорбляешь меня, дитя мое! Ты не веришь, что я готова решительно на всё, на всё, чтоб устроить судьбу твою!

Зина взглянула на мать насмешливо и с досадою.

– Уж не хотите ли вы меня выдать за этого князя, чтоб *устроить* судьбу мою? – спросила она с странной улыбкой.

– Я ни слова не говорила об этом, но к слову скажу, что если б случилось тебе выйти за князя, то это было бы счастьем твоим, а не безумием...

– А я нахожу, что это просто вздор! – запальчиво воскликнула Зина. – Вздор! вздор! Я нахожу еще, маменька, что у вас слишком много поэтических вдохновений, вы женщина-поэт, в полном смысле этого слова; вас здесь и называют так. У вас беспрерывно проекты. Невозможность и вздорность их вас не останавливают. Я предчувствовала, когда еще князь здесь сидел, что у вас это на уме. Когда дурачился Мозгляков и уверял, что надо женить этого старика, я прочла все мысли ваши на вашем лице. Я готова биться об заклад, что вы об этом думаете и теперь с этим же ко мне подъезжаете. Но так как ваши беспрерывные проекты насчет меня начинают мне до смерти надоедать, начинают мучить меня, то прошу

вас не говорить мне об этом ни слова, слышите ли, маменька, – ни слова, и я бы желала, чтоб вы это запомнили! – Она задыхалась от гнева.

– Ты дитя, Зина, – раздраженное, больное дитя! – отвечала Марья Александровна растроганным, слезящимся голосом. – Ты говоришь со мной непочтительно и оскорбляешь меня. Ни одна мать не вынесла бы того, что я выношу от тебя ежедневно! Но ты раздражена, ты больна, ты страдаешь, а я мать и прежде всего христианка. Я должна терпеть и прощать. Но одно слово, Зина: если б я и действительно мечтала об этом союзе, – почему именно ты считаешь всё это вздором? По-моему, Мозгляков никогда не говорил умнее давешнего, когда доказывал, что князю необходима женитьба, конечно, не на этой чумичке Настасье. Тут уж он заврался.

– Послушайте, маменька! скажите прямо: вы это спрашиваете только так, из любопытства, или с намерением?

– Я спрашиваю только: почему это кажется тебе таким вздором?

– Ах, досада! ведь достанется же такая судьба! – восклицает Зина, топнув ногою от нетерпения. – Вот почему, если это вам до сих пор неизвестно: не говоря уже о всех других нелепостях, – воспользоваться тем, что старикашка выжил из ума, обмануть его, выйти за него, за калеку, чтоб вытащить у него его деньги и потом каждый день, каждый час, желать его смерти, по-моему, это не только вздор, но, сверх того, так низко, так низко, что я не поздравляю вас с такими мыслями, маменька!

С минуту продолжалось молчание.

– Зина! А помнишь ли, что было два года назад? – спросила вдруг Марья Александровна.

Зина вздрогнула.

– Маменька! – сказала она строгим голосом, – вы торжественно обещали мне никогда не напоминать об этом.

– А теперь торжественно прошу тебя, дитя мое, чтоб ты позволила мне один только раз нарушить это обещание, которое я никогда до сих пор не нарушала. Зина! пришло время полного объяснения между нами. Эти два года молчания были ужасны! Так не может продолжаться!.. Я готова на коленях молить тебя, чтоб ты мне позволила говорить. Слышишь, Зина: родная мать умоляет тебя на коленях! Вместе с этим даю тебе торжественное слово мое – слово несчастной матери, обожающей свою дочь, что

никогда, ни под каким видом, ни при каких обстоятельствах, даже если б шло о спасении жизни моей, я уже не буду более говорить об этом. Это будет в последний раз, но теперь – это необходимо!

Марья Александровна рассчитывала на полный эффект.

– Говорите, – сказала Зина, заметно бледнея.

– Благодарю тебя, Зина. Два года назад к покойному Мите, твоему маленькому брату, ходил учитель...

– Но зачем вы так торжественно начинаете, маменька! К чему всё это красноречие, все эти подробности, которые совершенно не нужны, которые тяжелы и которые нам обеим слишком известны? – с каким-то злобным отвращением прервала ее Зина.

– К тому, дитя мое, что я, твоя мать, принуждена теперь оправдываться перед тобою! К тому, что я хочу представить тебе это же всё дело совершенно с другой точки зрения, а не с той, ошибочной точки, с которой ты привыкла смотреть на него. К тому, наконец, чтоб ты лучше поняла заключение, которое я намерена из всего этого вывести. Не думай, дитя мое, что я хочу играть твоим сердцем! Нет, Зина, ты найдешь во мне настоящую мать и, может быть, обливаясь слезами, у ног моих, у ног *низкой женщины,* как ты сейчас назвала меня, сама будешь просить примирения, которое ты так долго, так надменно до сих пор отвергала. Вот почему я хочу высказать всё, Зина, всё с самого начала; иначе я молчу!

– Говорите, – повторила Зина, от всего сердца проклиная потребность красноречия своей маменьки.

– Я продолжаю, Зина: этот учитель уездного училища, почти еще мальчик, производит на тебя совершенно непонятное для меня впечатление. Я слишком надеялась на твое благоразумие, на твою благородную гордость и, главное, на его ничтожество (потому что надо же всё говорить), чтобы хоть что-нибудь подозревать между вами. И вдруг ты приходишь ко мне и решительно объявляешь, что намерена выйти за него замуж! Зина! Это был кинжал в мое сердце! Я вскрикнула и лишилась чувств. Но... ты всё это помнишь! Разумеется, я сочла за нужное употребить всю свою власть, которую ты называла тиранством. Подумай: мальчик, сын дьячка, получающий двенадцать целковых в месяц жалованья, кропатель дрянных стишонков, которые, из жалости, печатают в «Библиотеке для чтения», и умеющий только толковать об этом

проклятом Шекспире, – этот мальчик – твой муж! муж Зинаиды Москалевой! Но это достойно Флориана и его пастушков! Прости меня, Зина, но одно уже воспоминание выводит меня из себя! Я отказала ему, но никакая власть не может остановить тебя. Твой отец, разумеется, только хлопал глазами и даже не понял, что я начала ему объяснять. Ты продолжаешь с этим мальчиком сношения, даже свидания, но что всего ужаснее, ты решаешься с ним переписываться. По городу начинают уже распространяться слухи. Меня начинают колоть намеками; уже обрадовались, уже затрубили во все рога, и вдруг все мои предсказания сбываются самым торжественным образом. Вы за что-то ссоритесь; он оказывается самым недостойным тебя... мальчишкой (я никак не могу назвать его человеком!) и грозит тебе распространить по городу твои письма. При этой угрозе, полная негодования, ты выходишь из себя и даешь пощечину. Да, Зина, мне известно и это обстоятельство! Мне всё, всё известно! Несчастный, в тот же день, показывает одно из твоих писем негодяю Заушину, и через час это письмо уже находится у Натальи Дмитриевны, у смертельного врага моего. В тот же вечер этот сумасшедший, в раскаянии, делает нелепую попытку чем-то отравить себя. Одним словом, скандал выходит ужаснейший! Эта чумичка Настасья прибегает ко мне испуганная, с страшным известием: уже целый час письмо в руках у Натальи Дмитриевны; через два часа весь город будет знать о твоем позоре! Я пересилила себя, я не упала в обморок, – но какими ударами ты поразила мое сердце, Зина. Эта бесстыдная, этот изверг, Настасья требует двести рублей серебром и за это клянется достать обратно письмо. Я сама, в легких башмаках, по снегу, бегу к жиду Бумштейну и закладываю мой фермуар – память праведницы, моей матери! Через два часа письмо в моих руках. Настасья украла его. Она взломала шкатулку, и – честь твоя спасена – доказательств нет! Но в какой тревоге ты заставила меня прожить тот ужасный день! На другой же день я заметила, в первый раз в жизни, несколько седых волос на голове моей. Зина! ты сама рассудила теперь о поступке этого мальчика. Ты сама теперь соглашаешься и, может быть, с горькою улыбкою, что было бы верхом неблагоразумия доверить ему судьбу свою. Но с тех пор ты терзаешься, ты мучишься, дитя мое; ты не можешь забыть его или, лучше сказать, не его, – он всегда был недостоин тебя, – а призрак своего прошедшего

счастья. Этот несчастный теперь на смертном одре; говорят, он в чахотке, а ты, – ангел доброты! – ты не хочешь при жизни его выходить замуж, чтоб не растерзать его сердца, потому что он до сих пор еще мучится ревностию, хотя я уверена, что он никогда не любил тебя настоящим, возвышенным образом! Я знаю, что, услышав про искания Мозглякова, он шпионил, подсылал, выспрашивал. Ты щадишь его, дитя мое, я угадала тебя, и, Бог видит, какими горькими слезами обливала я подушку мою!..

– Да оставьте всё это, маменька! – прерывает Зина в невыразимой тоске. – Очень понадобилась тут ваша подушка, – прибавляет она с колкостию. – Нельзя без декламаций да вывертов!

– Ты не веришь мне, Зина! Не смотри на меня враждебно, дитя мое! Я не осушала глаз эти два года, но скрывала от тебя мои слезы, и, клянусь тебе, я во многом изменилась сама в это время! Я давно поняла твои чувства и, каюсь, только теперь узнала всю силу твоей тоски. Можно ли обвинять меня, друг мой, что я смотрела на эту привязанность как на романтизм, навеянный этим проклятым Шекспиром, который как нарочно сует свой нос везде, где его не спрашивают. Какая мать осудит меня за мой тогдашний испуг, за принятые меры, за строгость суда моего? Но теперь, теперь, видя твои двухлетние страдания, я понимаю и ценю твои чувства. Поверь, что я поняла тебя, может быть, гораздо лучше, чем ты сама себя понимаешь. Я уверена, что ты любишь не его, этого неестественного мальчика, а золотые мечты свои, свое потерянное счастье, свои возвышенные идеалы. Я сама любила, и, может быть, сильнее, чем ты. Я сама страдала; у меня тоже были свои возвышенные идеалы. И потому, кто может обвинить меня теперь, и, прежде всего, можешь ли ты обвинить меня за то, что я нахожу союз с князем самым спасительным, самым необходимым для тебя делом в теперешнем твоем положении?

Зина с удивлением слушала всю эту длинную декламацию, отлично зная, что маменька никогда не впадет в такой тон без причины. Но последнее, неожиданное заключение совершенно изумило ее.

– Так неужели вы серьезно положили выдать меня за этого князя? – вскричала она, с изумлением, чуть не с испугом смотря на мать свою. – Стало быть, это уже не одни мечты, не проекты, а твердое ваше намерение? Стало быть, я угадала? И... и... каким образом это замужество спасет меня и необходимо в настоящем моем положении? И... и... каким

образом всё это вяжется с тем, что вы теперь наговорили, – со всей этой историей?.. Я решительно не понимаю вас, маменька!

– А я удивляюсь, mon ange[1], как можно не понимать всего этого! – восклицает Марья Александровна, одушевляясь в свою очередь. – Во-первых, – уж одно то, что ты переходишь в другое общество, в другой мир! Ты оставляешь навсегда этот отвратительный городишка, полный для тебя ужасных воспоминаний, где нет у тебя ни привета, ни друга, где оклеветали тебя, где все эти сороки ненавидят тебя за твою красоту. Ты можешь даже ехать этой же весной за границу, в Италию, в Швейцарию, в Испанию, Зина, в Испанию, где Альгамбра, где Гвадалквивир, а не здешняя скверная речонка с неприличным названием...

– Но, позвольте, маменька, вы говорите так, как будто я уже замужем или, по крайней мере, князь сделал мне предложение?

– Не беспокойся об этом, мой ангел, я знаю, что я говорю. Но – позволь мне продолжать. Я уже сказала *первое,* теперь *второе:* я понимаю, дитя мое, с каким отвращением ты отдала бы руку этому Мозглякову...

– Я и без ваших слов знаю, что никогда не буду его женою! – отвечала с горячностию Зина, и глаза ее засверкали.

– И если б ты знала, как я понимаю твое отвращение, друг мой! Ужасно поклясться перед алтарем Божиим в любви к тому, кого не можешь любить! Ужасно принадлежать тому, кого даже не уважаешь! А он потребует твоей любви; он для того и женится, я это знаю по взглядам его на тебя, когда ты отвернешься. Каково ж притворяться! Я сама двадцать пять лет это испытываю. Твой отец погубил меня. Он, можно сказать, высосал всю мою молодость, и сколько раз ты видела слезы мои!..

– Папенька в деревне, не трогайте его, пожалуйста, – отвечала Зина.

– Знаю, ты всегдашняя его заступница. Ах, Зина! У меня всё сердце замирало, когда я, из расчета, желала твоего брака с Мозгляковым. А с князем тебе притворяться нечего. Само собою разумеется, что ты не можешь его любить... любовью, да и он сам *не способен* потребовать такой любви...

– Боже мой, какой вздор! Но уверяю вас, что вы ошиблись в самом начале, в самом первом, главном! Знайте, что я не хочу собою жертвовать

[1] Мой ангел (*фр.*).

неизвестно для чего! Знайте, что я вовсе не хочу замуж, ни за кого, и останусь в девках! Вы два года ели меня за то, что я не выхожу замуж. Ну что ж? придется с этим вам примириться. Не хочу, да и только! Так и будет!

– Но, душечка, Зиночка, не горячись, ради Бога, не выслушав! И что у тебя за головка горячая, право! Позволь мне посмотреть с моей точки зрения, и ты тотчас же со мной согласишься. Князь проживет год, много два, и, по-моему, лучше уж быть молодой вдовой, чем перезрелой девой, не говоря уж о том, что ты, по смерти его, – княгиня, свободна, богата, независима! Друг мой, ты, может быть, с презрением смотришь на все эти расчеты, – расчеты на смерть его! Но – я мать, а какая мать осудит меня за мою дальновидность? Наконец, если ты, ангел доброты, жалеешь до сих пор этого мальчика, жалеешь до такой степени, что не хочешь даже выйти замуж при его жизни (как я догадываюсь), то подумай, что, выйдя за князя, ты заставишь его воскреснуть духом, обрадоваться! Если в нем есть хоть капля здравого смысла, то он, конечно, поймет, что ревность к князю неуместна, смешна; поймет, что ты вышла по расчету, по необходимости. Наконец, он поймет... то есть я просто хочу сказать, что, по смерти князя, ты можешь опять выйти замуж, за кого хочешь...

– Попросту выходит: выйти замуж за князя, обобрать его и рассчитывать потом на его смерть, чтоб выйти потом за любовника. Хитро вы подводите ваши итоги! Вы хотите соблазнить меня, предлагая мне... Я понимаю вас, маменька, вполне понимаю! Вы никак не можете воздержаться от выставки благородных чувств, даже в гадком деле. Сказали бы лучше прямо и просто: «Зина, это подлость, но она выгодна, и потому согласись на нее!» Это по крайней мере было бы откровеннее.

– Но зачем же, дитя мое, смотреть непременно с этой точки зрения, – с точки зрения обмана, коварства и корыстолюбия? Ты считаешь мои расчеты за низость, за обман? Но, ради всего святого, где же тут обман, какая тут низость? Взгляни на себя в зеркало: ты так прекрасна, что за тебя можно отдать королевство! И вдруг ты, – ты, красавица, – жертвуешь старику свои лучшие годы! Ты, как прекрасная звезда, осветишь закат его жизни; ты, как зеленый плющ, обовьешься около его старости, ты, а не эта крапива, эта гнусная женщина, которая околдовала его и с жадностию сосет его соки! Неужели ж его деньги, его княжество стоят дороже тебя? Где же тут обман и низость? Ты сама не знаешь, что говоришь, Зина!

– Верно стоят, коли надо выходить за калеку! Обман – всегда обман, маменька, какие бы ни были цели.

– Напротив, друг мой, напротив! на это можно взглянуть даже с высокой, даже с христианской точки зрения, дитя мое! Ты сама однажды, в каком-то исступлении, сказала мне, что хочешь быть сестрою милосердия. Твое сердце страдало, ожесточилось. Ты говорила (я знаю это), что оно уже не может любить. Если ты не веришь в любовь, то обрати свои чувства на другой, более возвышенный предмет, обрати искренно, как дитя, со всею верою и святостию, – и Бог благословит тебя. Этот старик тоже страдал, он несчастен, его гонят; я уже несколько лет его знаю и всегда питала к нему непонятную симпатию, род любви, как будто что-то предчувствовала. Будь же его другом, будь его дочерью, будь, пожалуй, хоть игрушкой его, – если уж всё говорить! – но согрей его сердце, и ты сделаешь это для Бога, для добродетели! Он смешон, – не смотри на это. Он получеловек, – пожалей его: ты христианка! Принудь себя; такие подвиги нудятся. На наш взгляд, тяжело перевязывать раны в больнице; отвратительно дышать зараженным лазаретным воздухом. Но есть ангелы Божии, исполняющие это и благословляющие Бога за свое назначение. Вот лекарство твоему оскорбленному сердцу, занятие, подвиг – и ты залечишь раны свои. Где же тут эгоизм, где тут подлость? Но ты мне не веришь! Ты, может быть, думаешь, что я притворяюсь, говоря о долге, о подвигах. Ты не можешь понять, как я, женщина светская, суетная, могу иметь сердце, чувства, правила? Что ж? не верь, оскорбляй свою мать, но согласись, что слова ее разумны, спасительны. Вообрази, пожалуй, что говорю не я, а другой; закрой глаза, обернись в угол, представь, что тебе говорит какой-нибудь невидимый голос... Тебя, главное, смущает, что всё это будет за деньги, как будто это какая-нибудь продажа или купля? Так откажись, наконец, от денег, если деньги так для тебя ненавистны! Оставь себе необходимое и всё раздай бедным. Помоги хоть, например, ему, этому несчастному, на смертном одре.

– Он не примет никакой помощи, – проговорила Зина тихо, как бы про себя.

– Он не примет, но мать его примет, – отвечала торжествующая Марья Александровна, – она примет тихонько от него. Ты продала же свои серьги, теткин подарок, и помогла ей полгода назад; я это знаю.

Я знаю, что старуха стирает белье на людей, чтоб кормить своего несчастного сына.

– Ему скоро не нужна будет помощь!

– Знаю и это, на что ты намекаешь, – подхватила Марья Александровна, и вдохновение, настоящее вдохновение осенило ее, – знаю, про что ты говоришь. Говорят, он в чахотке и скоро умрет. Но кто же это говорит? Я на днях нарочно спрашивала о нем Каллиста Станиславина; я интересовалась о нем, потому что у меня есть сердце, Зина. Каллист Станиславин отвечал мне, что болезнь, конечно, опасна, но что он до сих пор уверен, что бедный не в чахотке, а, так только, довольно сильное грудное расстройство. Спроси хоть сама. Он наверно говорил мне, что при других обстоятельствах, особенно при изменении климата и впечатлений, больной мог бы выздороветь. Он сказал мне, что в Испании, – и это я еще прежде слышала, даже читала, – что в Испании есть какой-то необыкновенный остров, кажется Малага, – одним словом, похоже на какое-то вино, – где не только грудные, но даже настоящие чахоточные совсем выздоравливали от одного климата, и что туда нарочно ездят лечиться, разумеется, только одни вельможи или даже, пожалуй, и купцы, но только очень богатые. Но уж одна эта волшебная Альгамбра, эти мирты, эти лимоны, эти испанцы на своих мулах! – одно это произведет уже необыкновенное впечатление на натуру поэтическую. Ты думаешь, что он не примет твоей помощи, твоих денег, для этого путешествия? Так обмани его, если тебе его жаль! Обман простителен для спасения человеческой жизни. Обнадежь его, обещай ему, наконец, любовь свою; скажи, что выйдешь за него замуж, когда овдовеешь. Всё на свете можно сказать благородным образом. Твоя мать не будет учить тебя неблагородному, Зина; ты сделаешь это для спасения жизни его, и потому – всё позволительно! Ты воскресишь его надеждою; он сам начнет обращать внимание на свое здоровье, лечиться, слушаться медиков. Он будет стараться воскреснуть для счастья. Если он выздоровеет, то ты хоть и не выйдешь за него, – все-таки он выздоровел, все-таки ты спасла, воскресила его! Наконец, можно и на него взглянуть с состраданием! Может быть, судьба научила и изменила его к лучшему, и, если только он будет достоин тебя, – пожалуй, и выйди за него, когда овдовеешь. Ты будешь богата, независима. Ты можешь, вылечив его,

доставить ему положение в свете, карьеру. Брак твой с ним будет тогда извинительнее, чем теперь, когда он невозможен. Что ожидает вас обоих, если б вы теперь решились на такое безумство? Всеобщее презрение, нищета, дранье за уши мальчишек, потому что это сопряжено с его должностью, взаимное чтение Шекспира, вечное пребывание в Мордасове и, наконец, его близкая, неминуемая смерть. Тогда как воскресив его, – ты воскресишь его для полезной жизни, для добродетели; простив ему, – ты заставишь его обожать себя. Он терзается своим гнусным поступком, а ты, открыв ему новую жизнь, простив ему, дашь ему надежду и примиришь его с самим собою. Он может вступить в службу, войти в чины. Наконец, если даже он и не выздоровеет, то умрет счастливый, примиренный с собою, на руках твоих, потому что ты сама можешь быть при нем в эти минуты, уверенный в любви твоей, прощенный тобою, под сенью мирт, лимонов, под лазуревым, экзотическим небом! О Зина! всё это в руках твоих! Все выгоды на твоей стороне – и всё это чрез замужество с князем.

Марья Александровна кончила. Наступило довольно долгое молчание. Зина была в невыразимом волнении.

Мы не беремся описывать чувства Зины; мы не можем их угадать. Но, кажется, Марья Александровна нашла настоящую дорогу к ее сердцу. Не зная, в каком состоянии находится теперь сердце дочери, она перебрала все случаи, в которых оно могло находиться, и наконец догадалась, что попала на истинный путь. Она грубо дотрогивалась до самых больных мест сердца Зины и, разумеется, по привычке, не могла обойтиться без выставки благородных чувств, которые, конечно, не ослепили Зину. «Но что за нужда, что она мне не верит, – думала Марья Александровна, – только бы ее заставить задуматься! только бы ловчее намекнуть, о чем мне прямо нельзя говорить!» – Так она думала и достигла цели. Эффект был произведен. Зина жадно слушала. Щеки ее горели, грудь волновалась.

– Послушайте, маменька, – сказала она наконец решительно, хотя внезапно наступившая бледность в лице ее показывала ясно, чего стоила ей эта решимость. – Послушайте, маменька...

Но в это мгновение внезапный шум, раздавшийся из передней, и резкий, крикливый голос, спрашивавший Марью Александровну,

заставил Зину вдруг остановиться. Марья Александровна вскочила с места.

– Ах, Боже мой! – вскричала она, – черт несет эту сороку, полковницу! Да ведь я ж ее почти выгнала две недели назад! – прибавила она чуть не в отчаянии. – Но... но невозможно теперь не принять ее! Невозможно! Она, наверно, с вестями, иначе не посмела бы и явиться. Это важно, Зина! Мне надо знать... Ничем теперь не надо пренебрегать! Но как я вам благодарна за ваш визит! – закричала она, бросаясь навстречу вошедшей гостье. – Как это вам вздумалось вспомнить обо мне, бесценная Софья Петровна? Какой о-ча-ро-ва-тельный сюрприз!

Зина убежала из комнаты.

ГЛАВА VI

Полковница, Софья Петровна Фарпухина, только нравственно походила на сороку. Физически она скорее походила на воробья. Это была маленькая пятидесятилетняя дама, с остренькими глазками, в веснушках и в желтых пятнах по всему лицу. На маленьком, иссохшем тельце ее, помещенном на тоненьких крепких воробьиных ножках, было шелковое темное платье, всегда шумевшее, потому что полковница двух секунд не могла пробыть в покое. Это была зловещая и мстительная сплетница. Она была помешана на том, что она полковница. С отставным полковником, своим мужем, она очень часто дралась и царапала ему лицо. Сверх того, выпивала по четыре рюмки водки утром и по стольку же вечером и до помешательства ненавидела Анну Николаевну Антипову, прогнавшую ее на прошлой неделе из своего дома, равно как и Наталью Дмитриевну Паскудину, тому способствовавшую.

– Як вам только на минутку, mon ange, – защебетала она. – Я ведь напрасно и села. Я заехала только рассказать, какие чудеса у нас делаются. Просто весь город с ума сошел от этого князя! Наши пройдохи – vous comprenez![1] – его ловят, ищут, тащат его нарасхват, шампанским поят, – вы не поверите! не поверите! Да как это вы решились его отпустить от себя? Знаете ли, что он теперь у Натальи Дмитриевны?

[1] Понимаете! (*фр.*)

– У Натальи Дмитриевны! – вскричала Марья Александровна, привскакнув на месте. – Да ведь он к губернатору только поехал, а потом, может быть, к Анне Николаевне, и то ненадолго!

– Ну да, ненадолго; вот и ловите его теперь! Он губернатора дома не застал, потом к Анне Николаевне поехал, дал слово обедать у ней, а Наташка, которая теперь от нее не выходит, затащила его к себе до обеда завтракать. Вот вам и князь!

– А что ж... Мозгляков? Ведь он обещался...

– Дался вам этот Мозгляков! хваленый-то ваш... Да и он с ними туда же! Посмотрите, если его в картишки там не засадят, – опять проиграется, как прошлый год проигрался! Да и князя тоже засадят; облупят как липку! А какие она вещи распускает, Наташка-то! Вслух кричит, что вы завлекаете князя, ну там... для известных целей, – vous comprenez? Сама ему толкует об этом. Он, конечно, ничего не понимает, сидит, как мокрый кот, да на всякое слово: «ну да! ну да!» А сама-то, сама-то! вывела свою Соньку – вообразите: пятнадцать лет, а всё еще в коротеньком платье водит! всё это только до колен, как можете себе представить... Послали за этой сироткой Машкой, та тоже в коротеньком платье, только еще выше колен, – я в лорнет смотрела... На голову им надели какие-то красные шапочки с перьями, – уж не знаю, что это изображает! – и под фортепиано заставила обеих пигалиц перед князем плясать казачка! Ну, вы знаете слабость этого князя? Он так и растаял: «формы», говорит, «формы!». В лорнетку на них смотрит, а они-то отличаются, две сороки! раскраснелись, ноги вывертывают, такой монплезир пошел, что люли, да и только! тьфу! Это – танец! Я сама танцевала с шалью, при выпуске из благородного пансиона мадам Жарни, – так я благородный эффект произвела! Мне сенаторы аплодировали! Там княжеские и графские дочери воспитывались! А ведь это просто канкан! Я сгорела со стыда, сгорела, сгорела! Я просто не высидела!..

– Но... разве вы сами были у Натальи Дмитриевны? ведь вы...

– Ну да, она меня оскорбила на прошлой неделе. Я это прямо всем говорю. Mais, ma chère[1], мне захотелось хоть в щелочку посмотреть на этого князя, я и приехала. А то где ж бы я его увидала? Поехала бы я к

[1] Но, милая моя (*фр.*).

– Ну да, она меня оскорбила на прошлой неделе. Я это прямо всем говорю. Mais, ma chere, мне захотелось хоть в щелочку посмотреть на этого князя, я и приехала.

ней, кабы не этот скверный князишка! Представьте себе: всем шоколад подают, а мне нет, и всё время со мной хоть бы слово. Ведь это она нарочно... Кадушка эдакая! Вот я ж ей теперь! Но прощайте, mon ange, я теперь спешу, спешу... Мне надо непременно застать Акулину Панфиловну и ей рассказать... Только вы теперь так и проститесь с князем! Он уж у вас больше не будет. Знаете – памяти-то у него нет, так Анна Николаевна непременно к себе его перетащит! Они все боятся, чтоб вы не того... понимаете? насчет Зины...

– Quelle horreur![1]

– Уж это я вам говорю! Весь город об этом кричит. Анна Николаевна непременно хочет оставить его обедать, а потом и совсем. Это она вам в пику делает, mon ange. Я к ней на двор в щелочку заглянула. Такая там суетня: обед готовят, ножами стучат... за шампанским послали. Спешите, спешите и перехватите его на дороге, когда он к ней поедет. Ведь он к вам первой обещался обедать! Он ваш гость, а не ее! Чтоб над вами смеялась эта пройдоха, эта каверзница, эта сопля! Да она подошвы моей не стоит, хоть и прокурорша! Я сама полковница! Я в благородном пансионе мадам Жарни воспитывалась... тьфу! Mais adieu, mon ange![2] У меня свои сани, а то бы я с вами вместе поехала...

Ходячая газета исчезла, Марья Александровна затрепетала от волнения, но совет полковницы был чрезвычайно ясен и практичен. Медлить было нечего, да и некогда. Но оставалось еще самое главное затруднение. Марья Александровна бросилась в комнату Зины.

Зина ходила по комнате взад и вперед, сложив накрест руки, понурив голову, бледная и расстроенная. В глазах ее стояли слезы; но решимость сверкала во взгляде, который она устремила на мать. Она поспешно скрыла слезы, и саркастическая улыбка появилась на губах ее.

– Маменька, – сказала она, предупреждая Марью Александровну, – сейчас вы истратили со мною много вашего красноречия, слишком много. Но вы не ослепили меня. Я не дитя. Убеждать себя, что делаю подвиг сестры милосердия, не имея к нему ни малейшего призвания, оправдывать свои низости, которые делаешь для одного эгоизма, благородными целями –

[1] Какой ужас! (*фр.*)

[2] Но прощайте, мой ангел! (*фр.*)

всё это такое иезуитство, которое не могло обмануть меня. Слышите: это не могло меня обмануть, и я хочу, чтоб вы это непременно знали!

– Но, mon ange!..[1] – вскрикнула оробевшая Марья Александровна.

– Молчите, маменька! Имейте терпение выслушать меня до конца. Несмотря на полное сознание того, что всё это только одно иезуитство; несмотря на полное мое убеждение в совершенном неблагородстве такого поступка, – я принимаю ваше предложение вполне, слышите: *вполне,* и объявляю вам, что готова выйти за князя и даже готова помогать всем вашим усилиям, чтоб заставить его на мне жениться. Для чего я это делаю? – вам не надо знать. Довольно и того, что я решилась. Я решилась на всё: я буду подавать ему сапоги, я буду его служанкой, я буду плясать для его удовольствия, чтоб загладить перед ним мою низость; я употреблю всё на свете, чтоб он не раскаивался в том, что женился на мне! Но, взамен моего решения, я требую, чтоб вы откровенно сказали мне: каким образом вы всё это устроите? Если вы начали так настойчиво говорить об этом, то – я вас знаю – вы не могли начать, не имея в голове какого-нибудь определенного плана. Будьте откровенны хоть раз в жизни; откровенность – непременное условие! Я не могу решиться, не зная положительно, как вы всё это сделаете?

Марья Александровна была так озадачена неожиданным заключением Зины, что некоторое время стояла перед ней, немая и неподвижная от изумления, и глядела на нее во все глаза. Приготовившись воевать с упорным романтизмом своей дочери, сурового благородства которой она постоянно боялась, она вдруг слышит, что дочь совершенно согласна с нею и готова на всё, даже вопреки своим убеждениям! Следственно, дело принимало необыкновенную прочность, – и радость засверкала в глазах ее.

– Зиночка! – воскликнула она в увлечении, – Зиночка! ты плоть и кровь моя!

Больше она ничего не могла выговорить и бросилась обнимать свою дочь.

– Ах, Боже мой! я не прошу ваших объятий, маменька, – вскричала Зина с нетерпеливым отвращением, – мне не надо ваших восторгов! я требую от вас ответа на мой вопрос и больше ничего.

---

[1] Мой ангел (*фр.*).

– Но, Зина, ведь я люблю тебя! Я обожаю тебя, а ты меня отталкиваешь... ведь я для твоего же счастья стараюсь...

И непритворные слезы заблистали в глазах ее. Марья Александровна действительно любила Зину, *по-своему,* а в этот раз, от удачи и от волнения, чрезвычайно расчувствовалась. Зина, несмотря на некоторую ограниченность своего настоящего взгляда на вещи, понимала, что мать ее любит, и – тяготилась этой любовью. Ей даже было бы легче, если б мать ее ненавидела...

– Ну, не сердитесь, маменька, я в таком волнении, – сказала она, чтоб успокоить ее.

– Не сержусь, не сержусь, мой ангельчик! – защебетала Марья Александровна, мигом оживляясь, – ведь я и сама понимаю, что ты в волнении. Вот видишь, друг мой, ты требуешь откровенности... Изволь, я буду откровенна, вполне откровенна, уверяю тебя! Только бы ты-то мне верила. И, во-первых, скажу тебе, что вполне определенного плана, то есть во всех подробностях, у меня еще нет, Зиночка, да и не может быть; ты, как умная головка, поймешь – почему. Я даже предвижу некоторые затруднения... Вот и сейчас эта сорока натрещала мне всякой всячины... (Ах, Боже мой! спешить бы надо!) Видишь, я вполне откровенна! Но, клянусь тебе, я достигну цели! – прибавила она в восторге. – Уверенность моя вовсе не поэзия, как ты давеча говорила, мой ангел; она основана на деле. Она основана на совершенном слабоумии князя, – а ведь это такая канва, по которой вышивай что угодно. Главное – чтоб не помешали! Да этим ли дурам перехитрить меня, – вскричала она, стукнув рукой по столу и сверкая глазами, – уж это мое дело! А для этого – всего нужнее как можно скорей начинать, даже чтоб сегодня и кончить всё главное, если только возможно.

– Хорошо, маменька, только выслушайте еще одну... *откровенность:* знаете ли, почему я так интересуюсь о вашем плане и не доверяю ему? Потому что на себя не надеюсь. Я сказала уже, что решилась на эту низость; но если подробности вашего плана будут уже слишком отвратительны, слишком грязны, то объявляю вам, что я не выдержу и всё брошу. Знаю, что это новая низость: решиться на подлость и бояться грязи, в которой она плавает, но что делать? Это непременно так будет!..

– Но, Зиночка, какая же тут особенная подлость, mon ange? – робко возразила было Марья Александровна. – Тут только один выгодный брак,

а ведь это все делают! Только надобно с этой точки взглянуть, и всё очень благородно покажется...

– Ах, маменька, ради Бога, не хитрите со мной! Вы видите, я на всё, на всё согласна! – ну чего ж вам еще? Пожалуйста, не бойтесь, если я называю вещи их именами. Может быть, это теперь – единственное мое утешение!

И горькая улыбка показалась на губах ее.

– Ну, ну, хорошо, мой ангельчик, можно быть несогласными в мыслях и все-таки взаимно уважать друг друга. Только если ты беспокоишься о подробностях и боишься, что они будут грязны, то предоставь все эти хлопоты мне; клянусь, что на тебя не брызнет ни капельки грязи. Я ли захочу тебя компрометировать перед всеми? Положись только на меня, и всё превосходно, преблагородно уладится, главное – преблагородно! Скандалу не будет никакого, а если и будет какой-нибудь маленький, необходименький скандальчик, – так... какой-нибудь! – так ведь мы уж будем тогда далеко! ведь уж здесь не останемся! Пусть их кричат во всё горло, наплевать на них! Сами же будут завидовать. Да и стоит того, чтоб о них заботиться! Я даже удивляюсь тебе, Зиночка (но ты не сердись на меня), – как это ты, с твоей гордостью, их боишься?

– Ах, маменька, я вовсе не их боюсь! вы совершенно меня не понимаете! – отвечала раздражительно Зина.

– Ну, ну, душка, не сердись! Я только к тому, что они сами каждый Божий день пакости строят, а тут ты всего-то какой-нибудь один разочек в жизни... да и что я, дура! Вовсе не пакость! Какая тут пакость? Напротив, это даже преблагородно. Я решительно докажу тебе это, Зиночка. Во-первых, повторяю, всё оттого, с какой точки зрения смотреть...

– Да полноте, маменька, с вашими доказательствами! – с гневом вскрикнула Зина и нетерпеливо топнула ногою.

– Ну, душка, не буду, не буду! я опять завралась...

Наступило маленькое молчание. Марья Александровна смиренно ходила за Зиной и с беспокойством смотрела ей в глаза, как маленькая, провинившаяся собачка смотрит в глаза своей барыне.

– Я даже не понимаю, как вы возьметесь за дело, – с отвращением продолжала Зина. – Я уверена, что вы наткнетесь на один только стыд. Я презираю их мнение, но для вас это будет позором.

– О, если только это тебя беспокоит, мой ангел, – пожалуйста, не беспокойся! прошу тебя, умоляю тебя! Только бы мы согласились, а обо мне не беспокойся. Ох, если б ты только знала, из каких я передряг суха выходила? Такие ли дела мне случалось обделывать! ну, да позволь хоть только попробовать! Во всяком случае, прежде всего, нужно как можно скорее быть наедине с князем. Это самое первое! а всё остальное будет зависеть от этого! Но уж я предчувствую и остальное. Они все восстанут, но... это ничего! я их сама отделаю! Пугает меня еще Мозгляков...

– Мозгляков? – с презрением проговорила Зина.

– Ну да, Мозгляков; только ты не бойся, Зиночка! клянусь тебе, я его до того доведу, что он же будет нам помогать! Ты еще не знаешь меня, Зиночка! ты еще не знаешь, какая я в деле! Ах! Зиночка, душенька! давеча, как я услышала об этом князе, у меня уж и загорелась мысль в голове! Меня как будто разом всю осветило. И кто ж, и кто ж мог ожидать, что он к нам приедет? Да ведь в тысячу лет не будет такой оказии! Зиночка! ангельчик! Не в том бесчестие, что ты выйдешь за старика и калеку, а в том, если выйдешь за такого, которого терпеть не можешь, а между тем *действительно* будешь женой его! А ведь князю ты не будешь настоящей женой. Это ведь и не брак! Это просто домашний контракт! Ведь ему ж, дураку, будет выгода, – ему же, дураку, дают такое неоцененное счастье! Ах, какая ты сегодня красавица, Зиночка! раскрасавица, а не красавица! Да я бы, если б была мужчиной, я бы тебе полцарства достала, если б ты захотела! Ослы они все! Ну, как не поцеловать эту ручку? – И Марья Александровна горячо поцеловала руку у дочери. – Ведь это мое тело, моя плоть, моя кровь! да хоть насильно женить его, дурака! А как заживем-то мы с тобой, Зиночка! Ведь ты не разлучишься со мной, Зиночка? Ведь ты не прогонишь свою мать, как в счастье попадешь? Мы хоть и ссорились, мой ангельчик, а все-таки у тебя не было такого друга, как я; все-таки...

– Маменька! если уж вы решились, то, может быть, вам пора... что-нибудь и делать. Вы здесь только время теряете! – в нетерпении сказала Зина.

– Пора, пора, Зиночка, пора! ах! я заболталась! – схватилась Марья Александровна. – Они там хотят совсем сманить князя. Сейчас же сажусь и еду! Подъеду, вызову Мозглякова, а там... Да я его силой увезу, если надо! Прощай, Зиночка, прощай, голубчик, не тужи, не сомневайся, не грусти,

главное – не грусти! всё прекрасно, преблагородно обделается! Главное, с какой точки смотреть... ну, прощай, прощай!..

Марья Александровна перекрестила Зину, выскочила из комнаты, с минутку повертелась у себя перед зеркалом, а через две минуты катилась по мордасовским улицам в своей карете на полозьях, которая ежедневно запрягалась около этого часу в случае выезда. Марья Александровна жила en grand[1].

«Нет, не вам перехитрить меня! – думала она, сидя в своей карете. – Зина согласна, значит, половина дела сделана, и тут – оборваться! вздор! Ай да Зина! С огласилась-таки наконец! Значит, и на твою головку действуют иные расчетцы! Перспективу-то я выставила ей заманчивую! Тронула! Но только ужас как она хороша сегодня! Да я бы, с ее красотой, пол-Европы перевернула по-своему! Ну, да подождем... Шекспир-то слетит, когда княгиней сделается да кой с чем познакомится. Что она знает? Мордасов да своего учителя! Гм... Только какая же она будет княгиня! Люблю я в ней эту гордость, смелость, недоступная какая! взглянет – королева взглянула. Ну как, ну как не понимать своей выгоды? Поняла ж наконец! Поймет и остальное... Я ведь все-таки буду при ней! Согласится же наконец со мной во всех пунктах! А без меня не обойдется! Я сама буду княгиня; меня и в Петербурге узнают. Прощай, городишка! Умрет этот князь, умрет этот мальчишка, и тогда я ее за владетельного принца выдам! Одного боюсь: не слишком ли я ей доверилась? Не слишком ли откровенничала, не слишком ли я расчувствовалась? Пугает она меня, ох пугает!»

И Марья Александровна погрузилась в свои размышления. Нечего сказать: они были хлопотливы. Но ведь говорится же, что охота пуще неволи.

Оставшись одна, Зина долго ходила взад и вперед по комнате, скрестив руки, задумавшись. О многом она передумала. Часто и почти бессознательно повторяла она: «Пора, пора, давно пора!» Что значило это отрывочное восклицание? Не раз слезы блистали на ее длинных шелковистых ресницах. Она не думала отирать их, – останавливать. Но напрасно беспокоилась ее маменька и старалась проникнуть в мысли своей дочери: Зина совершенно решилась и приготовилась ко всем последствиям...

[1] На широкую ногу (*фр.*).

«Постой же! – думала Настасья Петровна, выбираясь из своего чуланчика по отъезде полковницы. – А я было и бантик розовый хотела приколоть для этого князишки! И поверила же, дура, что он на мне женится! Вот тебе и бантик! А, Марья Александровна! Я у вас чумичка, я нищая, я взятки по двести целковых беру. Еще бы с тебя упустить не взять, франтиха ты этакая! Я взяла благородным образом; я взяла на сопряженные с делом расходы... Может, мне самой пришлось бы взятку дать! Тебе какое дело, что я не побрезгала, своими руками замок взломала? Для тебя же работала, белоручка ты этакая! Тебе бы только по канве вышивать! Погоди ж, я тебе покажу канву. Я покажу вам обеим, какова я чумичка! Узнаете Настасью Петровну и всю ее кротость!»

ГЛАВА VII

Но Марью Александровну увлекал ее гений. Она замыслила великий и смелый проект. Выдать дочь за богача, за князя и за калеку, выдать украдкой от всех, воспользовавшись слабоумием и беззащитностью своего гостя, выдать воровским образом, как сказали бы враги Марьи Александровны, – было не только смело, но даже и дерзко. Конечно, проект был выгоден, но в случае неудачи покрывал изобретательницу необыкновенным позором. Марья Александровна это знала, но не отчаивалась. «Из таких ли передряг я суха выходила!» – говорила она Зине, и говорила справедливо. Не то какая ж бы она была героиня?

Бесспорно, что всё это походило несколько на разбой на большой дороге; но Марья Александровна и на это не слишком-то обращала внимание. На этот счет у ней была одна удивительно верная мысль: «обвенчают, так уж не развенчаются», – мысль простая, но соблазнявшая воображение такими необыкновенными выгодами, что Марью Александровну, от одного уже представления этих выгод, бросало в дрожь и кололо мурашками. Вообще она была в ужасном волнении и сидела в своей карете как на иголках. Как женщина вдохновенная, одаренная несомненным творчеством, она уже успела создать план своих действий. Но план этот был составлен вчерне, вообще, en grand[1] и еще как-то тускло просве-

[1] Здесь: в главных чертах (*фр.*).

чивал перед нею. Предстояла бездна подробностей и разных непредвидимых случаев. Но Марья Александровна была уверена в себе: она волновалась не страхом неудачи – нет! ей хотелось только поскорее начать, поскорее в бой. Нетерпение, благородное нетерпение сожигало ее при мысли о задержках и остановках. Но, сказав о задержках, мы попросим позволения несколько пояснить нашу мысль. Главную беду предчувствовала и ожидала Марья Александровна от благородных своих сограждан, мордасовцев, и преимущественно от благородного общества мордасовских дам. Она на опыте знала всю их непримиримую к себе ненависть. Она, например, твердо знала, что в городе в настоящую минуту, может быть, уже знают всё из ее намерений, хотя об них еще никто никому не рассказывал. Она знала, по неоднократному печальному опыту, что не было случая, даже самого секретного, в ее доме, который, случившись утром, не был бы уже известен к вечеру последней торговке на базаре, последнему сидельцу в лавке. Конечно, Марья Александровна еще только предчувствовала беду, но такие предчувствия никогда ее не обманывали. Не обманывалась она и теперь. Вот что случилось на самом деле и чего еще не знала она положительно. Около полудня, то есть ровно через три часа по приезде князя в Мордасов, по городу распространились странные слухи. Где начались они – неизвестно, но разошлись они почти мгновенно. Все вдруг стали уверять друг друга, что Марья Александровна уже просватала за князя свою Зину, свою бесприданную, двадцатитрехлетнюю Зину; что Мозгляков в отставке и что всё это уже решено и подписано. Что было причиною таких слухов? Неужели все до такой степени знали Марью Александровну, что разом попали в самое сердце ее заветных мыслей и идеалов? Ни несообразность такого слуха с обыкновенным порядком вещей, потому что такие дела очень редко могут обделываться в один час, ни очевидная неосновательность такого известия, потому что никто не мог добиться, откуда оно началось, – не могли разуверить мордасовцев. Слух разрастался и укоренялся с необыкновенным упорством. Всего удивительнее, что он начал распространяться именно в то самое время, когда Марья Александровна приступила к своему давешнему разговору с Зиной об этом же самом предмете. Таково-то чутье провинциалов! Инстинкт провинциальных вестовщиков доходит иногда до чудесного, и, разумеется, тому есть причины. Он основан на самом близком, интересном

и многолетнем изучении друг друга. Всякий провинциал живет как будто под стеклянным колпаком. Нет решительно никакой возможности хоть что-нибудь скрыть от своих почтенных сограждан. Вас знают наизусть, знают даже то, чего вы сами про себя не знаете. Провинциал уже по натуре своей, кажется, должен бы быть психологом и сердцеведом. Вот почему я иногда искренно удивлялся, весьма часто встречая в провинции вместо психологов и сердцеведов чрезвычайно много ослов. Но это в сторону; это мысль лишняя. Весть была громовая. Брак с князем казался всякому до того выгодным, до того блистательным, что даже странная сторона этого дела никому не бросалась в глаза. Заметим еще одно обстоятельство: Зину ненавидели почти еще больше Марьи Александровны, – за что? – неизвестно. Может быть, красота Зины была отчасти тому причиною. Может быть, и то, что Марья Александровна все-таки была как-то своя всем мордасовцам, *своего поля ягода.* Исчезни она из города, и – кто знает? – об ней бы, может быть, пожалели. Она оживляла общество беспрерывными историями. Без нее было бы скучно. Напротив того, Зина держала себя так, как будто жила в облаках, а не в городе Мордасове. Была она этим людям как-то не пара, не ровня и, может быть сама не замечая того, вела себя перед ними невыносимо надменно. И вдруг теперь эта же самая Зина, про которую даже ходили скандалезные истории, эта надменная, эта гордячка Зина становится миллионеркой, княгиней, войдет в знать. Года через два, когда овдовеет, выйдет за какого-нибудь герцога, может быть, даже за генерала; чего доброго – пожалуй, еще за губернатора (а мордасовский губернатор, как нарочно, вдовец и чрезвычайно нежен к женскому полу). Тогда она будет первая дама в губернии, и, разумеется, одна эта мысль уже была невыносима и никогда никакая весть не возбудила бы такого негодования в Мордасове, как весть о выходе Зины за князя. Мгновенно поднялись яростные крики со всех сторон. Кричали, что это грешно, даже подло; что старик не в своем уме; что старика обманули, надули, облапошили, пользуясь его слабоумием; что старика надо спасти от кровожадных когтей; что это, наконец, разбой и безнравственность; что, наконец, чем же другие хуже Зины? и другие могли бы точно так же выйти за князя? Все эти толки и возгласы Марья Александровна еще только предполагала, но для нее довольно было и этого. Она твердо знала, что все, решительно все готовы будут употребить всё, что возможно и что даже невозможно,

чтоб воспрепятствовать ее намерениям. Ведь хотят же теперь конфисковать князя, так что приходится его возвращать чуть не с бою. Наконец, хоть и удастся поймать и заманить князя обратно, нельзя же будет держать его вечно на привязи. Наконец, кто поручится, что сегодня, что через два же часа, весь торжественный хор мордасовских дам не будет в ее салоне, да еще под таким предлогом, что невозможно будет и отказать? Откажи в дверь, войдут в окно: случай почти невозможный, но бывавший в Мордасове. Одним словом, нельзя было терять ни на час, ни на каплю времени, а между тем дело было еще и не начато. Вдруг гениальная мысль блеснула и мгновенно созрела в голове Марьи Александровны. Об этой новой идее мы не забудем сказать в своем месте. Скажем только теперь, что в эту минуту наша героиня летела по мордасовским улицам, грозная и вдохновенная, решившись даже на настоящий бой, если б только представилась надобность, чтоб овладеть князем обратно. Она еще не знала, как это сделается и где она встретит его, но зато она знала наверно, что скорее Мордасов провалится сквозь землю, чем не исполнится хоть одна йота из теперешних ее замыслов.

Первый шаг удался как нельзя лучше. Она успела перехватить князя на улице и привезла к себе обедать. Если спросят: каким образом, несмотря на все козни врагов, ей удалось-таки настоять на своем и оставить Анну Николаевну с довольно большим носом? – то я обязан объявить, что считаю такой вопрос даже обидным для Марьи Александровны. Ей ли не одержать победу над какой-нибудь Анной Николаевной Антиповой? Она просто арестовала князя, уже подъезжавшего к дому ее соперницы, и, несмотря ни на что, а вместе с тем и на доводы самого Мозглякова, испугавшегося скандалу, пересадила старичка в свою карету. Тем-то и отличалась Марья Александровна от своих соперниц, что в решительных случаях не задумывалась даже перед скандалом, принимая за аксиому, что успех всё оправдывает. Разумеется, князь не оказал значительного сопротивления и, по своему обыкновению, очень скоро забыл обо всем и остался очень доволен. За обедом он болтал без умолку, был чрезвычайно весел, острил, каламбурил, рассказывал анекдоты, которые не доканчивал или с одного перескакивал на другой, сам не замечая того. У Натальи Дмитриевны он выпил три бокала шампанского. За обедом он выпил еще и закружился оконча-

тельно. Тут уж подливала сама Марья Александровна. Обед был очень порядочный. Изверг Никитка не подгадил. Хозяйка оживляла общество самой очаровательной любезностью. Но остальные присутствующие, как нарочно, были необыкновенно скучны. Зина была как-то торжественно молчалива. Мозгляков был видимо не в своей тарелке и мало ел. Он об чем-то думал, и так как это случалось с ним довольно редко, то Марья Александровна была в большом беспокойстве. Настасья Петровна сидела угрюмая и даже, украдкой, делала Мозглякову какие-то странные знаки, которых тот совершенно не примечал. Не будь очаровательно любезной хозяйки, обед походил бы на похороны.

А между тем Марья Александровна была в невыразимом волнении. Одна уже Зина пугала ее ужасно своим грустным видом и заплаканными глазами. А тут и еще затруднение: надо спешить, торопиться, а этот «проклятый Мозгляков» сидит себе, как болван, которому мало заботы, и только мешает! Ведь нельзя же, в самом деле, начинать такое дело при нем! Марья Александровна встала из-за стола в страшном беспокойстве. Каково же было ее изумление, радостный испуг, если можно так выразиться, когда Мозгляков, только что встали из-за стола, сам подошел к ней и вдруг, совсем неожиданно, объявил, что ему, – разумеется, к его величайшему сожалению, – необходимо сейчас же отправиться.

– Куда это? – спросила с необыкновенным соболезнованием Марья Александровна.

– Вот видите, Марья Александровна, – начал Мозгляков с беспокойством и даже несколько путаясь, – со мной случилась престранная история. Я уж и не знаю, как вам сказать... дайте мне, ради Бога, совет!

– Что, что такое?

– Крестный отец мой, Бородуев, вы знаете, – тот купец... встретился сегодня со мной. Старик решительно сердится, упрекает, говорит мне, что я загордился. Вот уже третий раз я в Мордасове, а к нему и носу не показал. «Приезжай, говорит, сегодня на чай». Теперь ровно четыре часа, а чай он пьет по-старинному, как проснется, в пятом часу. Что мне делать? Оно, Марья Александровна, конечно, – но подумайте! Ведь он моего отца-покойника от петли избавил, когда тот казенные деньги проиграл. Он и крестил-то меня по этому случаю. Если состоится мой брак с Зинаидой Афанасьевной, у меня все-таки только полтораста душ. А ведь

у него миллион, люди говорят, даже больше. Бездетен. Угодишь ему – сто тысяч по духовной оставит. Семьдесят лет, – подумайте!

– Ах, Боже мой! так что ж это вы! что же вы медлите? – вскричала Марья Александровна, едва скрывая свою радость. – Поезжайте, поезжайте! этим нельзя шутить. То-то, я смотрю, за обедом – вы такой скучный! Поезжайте, mon ami, поезжайте! Да вам бы следовало давеча утром с визитом отправиться, показать, что вы дорожите, что вы цените его ласку! Ах, молодежь, молодежь!

– Да ведь вы же сами, Марья Александровна, – в изумлении вскричал Мозгляков, – вы же сами нападали на меня за это знакомство! Ведь вы же говорили, что он мужик, борода, в родне с кабаками, с подвальными да поверенными?

– Ах, mon ami! Мало ли мы что говорим необдуманного! Я тоже могу ошибиться, я – не святая. Я, впрочем, не помню, но я могла быть в таком расположении духа... Наконец, вы тогда еще не сватались к Зиночке... Конечно, это эгоизм с моей стороны, но теперь я поневоле должна смотреть с другой точки зрения, и – какая мать может обвинить меня в этом случае? Поезжайте, ни минуты не медлите! Даже вечер у него посидите... да послушайте! Заговорите как-нибудь обо мне. Скажите, что я его уважаю, люблю, почитаю, да эдак половчее, получше! Ах, Боже мой! И у меня ведь это из головы вышло! Мне бы надо самой догадаться вас надоумить!

– Воскресили вы меня, Марья Александровна! – вскричал восхищенный Мозгляков. – Теперь, клянусь, буду во всем вас слушаться! А то ведь я вам просто боялся сказать!.. Ну, прощайте, я и в путь! Извините меня перед Зинаидой Афанасьевной. Впрочем, непременно сюда...

– Благословляю вас, mon ami![1] Смотрите же, обо мне-то поговорите с ним! Он действительно премилый старичок. Я давно уже переменила о нем мои мысли... Я и всегда, впрочем, любила в нем всё это старинное русское, неподдельное... Au revoir, mon ami, au revoir![2]

«Да как это хорошо, что его черт несет! Нет, это сам Бог помогает!» – подумала она, задыхаясь от радости.

---

[1] Мой друг (*фр.*).

[2] До свидания, друг мой, до свидания! (*фр.*)

Павел Александрович вышел в переднюю и надевал уже шубу, как вдруг, откуда ни возьмись, Настасья Петровна. Она поджидала его.

– Куда вы? – сказала она, удерживая его за руку.

– К Бородуеву, Настасья Петровна! Крестный отец мой; удостоился меня крестить... Богатый старик, оставит что-нибудь, надо польстить!..

Павел Александрович был в превосходнейшем расположении духа.

– К Бородуеву! ну так и проститесь с невестою, – резко сказала Настасья Петровна.

– Как так «проститесь»?

– Да так! Вы думали, она уж и ваша! А вон ее за князя выдавать хотят. Сама слышала!

– За князя? помилосердуйте, Настасья Петровна!

– Да чего «помилосердуйте»! Вот не угодно ли самим посмотреть и послушать? Бросьте-ка шубу, подите-ка сюда!

Ошеломленный Павел Александрович бросил шубу и на цыпочках отправился за Настасьей Петровной. Она привела его в тот самый чуланчик, откуда утром подглядывала и подслушивала.

– Но помилуйте, Настасья Петровна, я решительно ничего не понимаю!..

– А вот поймете, как нагнетесь и послушаете. Комедия, верно, сейчас начнется.

– Какая комедия?

– Тсс! не говорите громко! Комедия в том, что вас просто надувают. Давеча, как вы отправились с князем, Марья Александровна целый час уговаривала Зину выйти замуж за этого князя, говорила, что нет ничего легче его облапошить и заставить жениться, и такие крючки выводила, что даже мне тошно стало. Я всё отсюда подслушала. Зина согласилась. Как они вас-то обе честили! просто за дурака почитают, а Зина прямо сказала, что ни за что не выйдет за вас. Я-то дура! Красный бантик приколоть хотела! Послушайте-ка, послушайте-ка!

– Да ведь это безбожнейшее коварство, если так! – прошептал Павел Александрович, глупейшим образом смотря в глаза Настасье Петровне.

– Да вы только послушайте, и не то еще услышите.

– Да где же слушать?

– Да вот нагнитесь, вот в эту дырочку...

– Но, Настасья Петровна, я... я не способен подслушивать.

– Эк, когда хватились! Тут, батюшка, честь-то в карман; пришли, так уж слушайте!

– Но, однако же...

– А не способны, так и оставайтесь с носом! Вас же жалеют, а он куражится! Мне что! ведь я не для себя. Я и до вечера здесь не останусь!

Павел Александрович скрепя сердце нагнулся к щелочке. Сердце его билось, в висках стучало. Он почти не понимал, что с ним происходит...

ГЛАВА VIII

– Так вам очень было весело, князь, у Натальи Дмитриевны? – спросила Марья Александровна, плотоядным взглядом окидывая поле предстоящей битвы и желая самым невинным образом начать разговор. Сердце ее билось от волнения и ожидания.

После обеда князя тотчас же перевели в «салон», в котором принимали его утром. Все торжественные случаи и приемы происходили у Марьи Александровны в этом самом салоне. Она гордилась этой комнатой. Старичок, с шести бокалов, как-то весь раскис и некрепко держался на ногах. Зато болтал без умолку. Болтовня в нем даже усилилась. Марья Александровна понимала, что эта вспышка минутная и что отяжелевшему гостю скоро захочется спать. Надо было ловить минуту. Оглядев поле битвы, она с наслаждением заметила, что сластолюбивый старичок как-то особенно лакомо поглядывал на Зину, и родительское сердце ее затрепетало от радости.

– Чрез-вы-чайно весело, – отвечал князь; – и, знаете, беспо-добнейшая женщина, Наталья Дмитриевна, бес-по-до-бней-шая женщина!

Как ни занята была Марья Александровна своими великими планами, но такая звонкая похвала сопернице уколола ее в самое сердце.

– Помилуйте, князь! – вскричала она, сверкая глазами, – если уж ваша Наталья Дмитриевна бесподобная женщина, так уж я и не знаю, что после этого! Но после этого вы совершенно не знаете здешнего общества, совершенно не знаете! Ведь это только одна выставка своих небывалых достоинств, своих благородных чувств, одна комедия, одна наружная золотая кора. Приподымите эту кору, и вы увидите

целый ад под цветами, целое осиное гнездо, где вас съедят и косточек не оставят!

– Неужели? – воскликнул князь, – удивляюсь!

– Но я клянусь вам в этом! Ah, mon prince. Послушай, Зина, я должна, я обязана рассказать князю это смешное и низкое происшествие с этой Натальей, на прошлой неделе, – помнишь? Да, князь, – это про ту самую вашу хваленую Наталью Дмитриевну, которою вы так восхищаетесь. О, милейший мой князь! Клянусь, я не сплетница! Но я непременно расскажу это, единственно для того, чтоб рассмешить, чтоб показать вам в живом образчике, так сказать, в оптическое стекло, что здесь за люди! Две недели назад приезжает ко мне эта Наталья Дмитриевна. Подали кофе, а я за чем-то вышла. Я очень хорошо помню, сколько у меня осталось сахару в серебряной сахарнице: она была совершенно полна. Возвращаюсь, смотрю: лежат на донышке только три кусочка. Кроме Натальи Дмитриевны в комнате никого не оставалось. Какова! У ней свой каменный дом и денег бессчетно! Этот случай смешной, комический, но судите после этого о благородстве здешнего общества!

– Не-у-же-ли! – воскликнул князь, искренно удивляясь. – Какая, однако же, неестественная жадность! Неужели ж она всё одна съела?

– Так вот какая она *бесподобнейшая* женщина, князь! как вам нравится этот позорный случай? Да я бы, кажется, умерла в ту же минуту, в которую бы решилась на такой отвратительный поступок!

– Ну да, да... Только, знаете, она все-таки такая belle femme...[1]

– Наталья-то Дмитриевна! помилуйте, князь, да это просто кадушка! Ах, князь, князь! что это вы сказали! Я ожидала в вас гораздо поболее вкусу...

– Ну да, кадушка... только, знаете, она так сложена... Ну, а эта девочка, которая тан-це-ва-ла, она тоже... сложена...

– Сонечка-то? да ведь она еще ребенок, князь! ей всего четырнадцать лет!

– Ну да... только, знаете, такая ловкая, и у ней тоже... такие формы... формируются. Ми-лень-кая такая! и другая, что с ней тан-це-ва-ла, тоже... формируется...

---

[1] Здесь: статная женщина (*фр.*).

– Ах, это несчастная сирота, князь! Они ее часто берут.

– Си-ро-та. Грязная, впрочем, такая, хоть бы руки вымыла... А, впрочем, тоже за-ман-чи-вая...

Говоря это, князь с какою-то возрастающею жадностью рассматривал Зину в лорнет.

– Mais quelle charmante personne![1] – бормотал он вполголоса, тая от наслаждения.

– Зина, сыграй нам что-нибудь, или нет, лучше спой! Как она поет, князь! Она, можно сказать, виртуозка, настоящая виртуозка! И если б вы знали, князь, – продолжала Марья Александровна вполголоса, когда Зина отошла к роялю, ступая своею тихою, плавною поступью, от которой чуть не покоробило бедного старичка, – если б вы знали, какая она дочь! Как она умеет любить, как нежна со мной! Какие чувства, какое сердце!

– Ну да... чувства... и, знаете ли, я только одну женщину знал, во всю мою жизнь, с которой она могла бы сравниться по кра-со-те, – перебил князь, глотая слюнки. – Это покойная графиня Найнская, умерла лет тридцать тому назад. Вос-хи-ти-тельная была женщина, неопи-сан-ной красоты, потом еще за своего повара вышла...

– За своего повара, князь!

– Ну да, за своего повара... за француза, за границей. Она ему за грани-цей графский титул доставила. Видный был собой человек и чрезвычайно образованный, с маленькими такими у-си-ка-ми.

– И – и... как же они жили, князь?

– Ну да, они хорошо жили. Впрочем, они скоро потом разошлись. Он ее обобрал и уехал. За какой-то соус поссорились...

– Маменька, что мне играть? – спросила Зина.

– Да ты бы лучше спела нам, Зина. Как она поет, князь! Вы любите музыку?

– О да! Charmant, charmant! Я очень люблю му-зы-ку. Я за границей с Бетховеном был знаком.

– С Бетховеном! Вообрази, Зина, князь был знаком с Бетховеном! – кричит в восторге Марья Александровна. – Ах, князь! неужели вы были знакомы с Бетховеном?

---

[1] Но какое очаровательное существо! (*фр.*)

– Ну да... мы были с ним на дру-жес-кой но-ге. И вечно у него нос в табаке. Такой сметной!

– Бетховен?

– Ну да, Бетховен. Впрочем, может быть, это и не Бет-хо-вен, а какой-нибудь другой не-мец. Там очень много нем-цев... Впрочем, я, кажется, сби-ва-юсь.

– Что же мне петь, маменька? – спросила Зина.

– Ах, Зина! спой тот романс, в котором, помнишь, много рыцарского, где еще эта владетельница замка и ее трубадур... Ах, князь! Как я люблю всё это рыцарское! Эти замки, замки!.. Эта средневековая жизнь! Эти трубадуры, герольды, турниры... Я буду аккомпанировать тебе, Зина. Пересядьте сюда, князь, поближе! Ах, эти замки, замки!

– Ну да... замки. Я тоже люблю зам-ки, – бормочет князь в восторге, впиваясь в Зину единственным своим глазом. – Но... Боже мой! – восклицает он, – это романс!.. Но... я знаю этот ро-манс! Я давно уже слышал этот романс... Это так мне на-по-ми-нает... Ах, Боже мой!

Я не берусь описывать, что сделалось с князем, когда запела Зина. Пела она старинный французский романс, бывший когда-то в большой моде. Зина пела его прекрасно. Ее чистый, звучный контральто проникал до сердца. Ее прекрасное лицо, чудные глаза, ее точеные, дивные пальчики, которыми она переворачивала ноты, ее волосы, густые, черные, блестящие, волнующаяся грудь, вся фигура ее, гордая, прекрасная, благородная, – всё это околдовало бедного старичка окончательно. Он не отрывал от нее глаз, когда она пела, он захлебывался от волнения. Его старческое сердце, подогретое шампанским, музыкой и воскреснувшими воспоминаниями (а у кого нет любимых воспоминаний?), стучало чаще и чаще, как уже давно не билось оно... Он готов был опуститься на колени перед Зиной и почти плакал, когда она кончила.

– O ma charmante enfant![1] – вскричал он, целуя ее пальчики, – vous me ravissez![2] Я теперь, теперь только вспомнил... Но... но... o ma charmante enfant...

И князь даже не мог докончить.

---

[1] О, мое прелестное дитя! (*фр.*).

[2] Вы меня восхищаете! (*фр.*).

Марья Александровна почувствовала, что наступила ее минута.

– Зачем же вы губите себя, князь? – воскликнула она торжественно. – Столько чувства, столько жизненной силы, столько богатств душевных, и зарыться на всю жизнь в уединение! убежать от людей, от друзей! Но это непростительно! Одумайтесь, князь! взгляните на жизнь, так сказать, ясным оком! Воззовите из сердца своего воспоминания прошедшего, – воспоминания золотой вашей молодости, золотых, беззаботных дней, – воскресите их, воскресите себя! Начните опять жить в обществе меж людей! Поезжайте за границу, в Италию, в Испанию – в Испанию, князь!.. Вам нужно руководителя, сердце, которое бы любило, уважало вас, вам сочувствовало? Но у вас есть друзья! Позовите их, кликните их, и они прибегут толпами! Я первая брошу всё и прибегу на ваш вызов. Я помню нашу дружбу, князь; я брошу мужа и пойду за вами... и даже, если б я была еще моложе, если б я была так же хороша и прекрасна, как дочь моя, я бы стала вашей спутницей, подругой, женой вашей, если б вы того захотели!

– Ия уверен, что вы были une charmante personne в свое вре-мя, – проговорил князь, сморкаясь в платок. Глаза его были омочены слезами.

– Мы живем в наших детях, князь, – с высоким чувством отвечала Марья Александровна. – У меня тоже есть свой ангел-хранитель! И это – она, моя дочь, подруга моих мыслей, моего сердца, князь! Она отвергла уже семь предложений, не желая расставаться со мною.

– Стало быть, она с вами поедет, когда вы бу-дете со-про-вож-дать меня за гра-ницу? В таком случае я непременно поеду за границу! – вскричал князь, одушевляясь. – Неп-ре-менно поеду! И если б я мог льстить себя на-деж-дою... Но она очаровательное, очаро-ва-тельное дитя! O, ma charmante enfant!.. – И князь снова начал целовать ее руки. Бедняжка, ему хотелось стать перед ней на колени.

– Но... но, князь, вы говорите: можете ли вы льстить себя надеждою? – подхватила Марья Александровна, почувствовав новый прилив красноречия. – Но вы странны, князь! Неужели вы считаете себя уже недостойным внимания женщин? Не молодость составляет красоту. Вспомните, что вы, так сказать, обломок аристократии! вы – представитель самых утонченных, самых рыцарских чувств и... манер! Разве Мария не полюбила старика Мазепу? Я помню, я читала, что Лозён, этот очарова-

тельный маркиз двора Людовика... я забыла которого, – уже в преклонных летах, уже старик, – победил сердце одной их первейших придворных красавиц!.. И кто сказал вам, что вы старик? Кто научил вас этому! Разве люди, как вы, стареются? Вы с таким богатством чувств, мыслей, веселости, остроумия, жизненной силы, блестящих манер! Но появитесь где-нибудь теперь, за границей, на водах, с молодою женой, с такой же красавицей, как например моя Зина, – я не об ней говорю, я говорю только так, для сравнения, – и вы увидите, какой колоссальный будет эффект! Вы – обломок аристократии, она – красавица из красавиц! вы ведете ее торжественно под руку; она поет в блестящем обществе, вы, с своей стороны, сыплете остроумием, – да все воды сбегутся смотреть на вас! Вся Европа закричит, потому что все газеты, все фельетоны на водах заговорят в один голос... Князь, князь! И вы говорите: можете ли вы льстить себя надеждою?

– Фельетоны... ну да, ну да!.. Это в газетах... – бормочет князь, вполовину не понимая болтовню Марьи Александровны и раскисая всё более и более. – Но... ди-тя мое, если вы не ус-тали, – повторите еще раз тот романс, который вы сейчас пели!

– Ах, князь! Но у ней есть и другие романсы, еще лучше... Помните, князь, «L'hirondelle»?[1] Вы, вероятно, слышали?

– Да, помню... или, лучше сказать, я за-был. Нет, нет, прежний романс, тот самый, который она сейчас пе-ла! Я не хочу «L'hirondelle»! Я хочу тот романс... – говорил князь, умоляя, как ребенок.

Зина пропела еще раз. Князь не мог удержаться и опустился перед ней на колена. Он плакал.

– O ma belle châtelaine![2] – восклицал он своим дребезжащим от старости и волнения голосом. – O ma charmante châtelaine![3] О, милое дитя мое! вы мне так много на-пом-нили... из того, что давно прошло... Я тогда думал, что всё будет лучше, чем оно потом было. Я тогда пел дуэты... с виконтессой... этот самый романс... а теперь... Я не знаю, что уже теперь...

---

[1] «Ласточку» (*фр.*).

[2] Здесь: моя прекрасная владычица! (*фр.*)

[3] Здесь: моя очаровательная владычица! (*фр.*)

Всю эту речь князь произнес задыхаясь и захлебываясь. Язык его приметно одеревенел. Некоторых слов почти совсем нельзя было разобрать. Видно было только, что он в сильнейшей степени расчувствовался. Марья Александровна немедленно подлила масла в огонь.

– Князь! Но вы, пожалуй, влюбитесь в мою Зину! – вскричала она, почувствовав, что минута была торжественная.

Ответ князя превзошел ее лучшие ожидания.

– Я до безумия влюблен в нее! – вскричал старичок, вдруг весь оживляясь, всё еще стоя на коленах и весь дрожа от волнения. – Я ей жизнь готов отдать! И если б я только мог на-де-яться... Но подымите меня, я не-мно-го ос-лаб... Я... если б только мог надеяться предложить ей мое сердце, то... я... она бы мне каждый день пела ро-ман-сы, а я бы всё смотрел на нее... всё смотрел... Ах, Боже мой!

– Князь, князь! вы предлагаете ей свою руку! вы хотите ее взять у меня, мою Зину! мою милую, моего ангела, Зину! Но я не пущу тебя, Зина! Пусть вырвут ее из рук моих, из рук матери! – Марья Александровна бросилась к дочери и крепко сжала ее в объятиях, хотя чувствовала, что ее довольно сильно отталкивали... Маменька немного пересаливала. Зина чувствовала это всем существом своим и с невыразимым отвращением смотрела на всю комедию. Однако ж она молчала, а это – всё, что было надо Марье Александровне.

– Она девять раз отказывала, чтоб только не разлучаться с своею матерью! – кричала она. – Но теперь – мое сердце предчувствует разлуку. Еще давеча я заметила, что она так смотрела на вас... Вы поразили ее своим аристократизмом, князь, этой утонченностью!.. О! вы разлучите нас; я это предчувствую!..

– Я о-бо-жаю ее! – пробормотал князь, всё еще дрожа как осиновый листик.

– Итак, ты оставляешь мать свою! – воскликнула Марья Александровна, еще раз бросаясь на шею дочери.

Зина торопилась кончить тяжелую сцену. Она молча протянула князю свою прекрасную руку и даже заставила себя улыбнуться. Князь с благоговением принял эту ручку и покрыл ее поцелуями.

– Я только теперь на-чи-наю жить, – бормотал он, захлебываясь от восторга.

– Зина! – торжественно проговорила Марья Александровна, – взгляни на этого человека! Это самый честнейший, самый благороднейший человек из всех, которых я знаю! Это рыцарь средних веков! Но она это знает, князь; она знает, на горе моему сердцу... О! зачем вы приехали! Я передаю вам мое сокровище, моего ангела. Берегите ее, князь! Вас умоляет мать, и какая мать осудит меня за мою горесть!

– Маменька, довольно! – прошептала Зина.

– Вы защитите ее от обиды, князь? Ваша шпага блеснет в глаза клеветнику или дерзкому, который осмелится обидеть мою Зину?

– Довольно, маменька, или я...

– Ну да, блеснет... – бормотал князь. – Я только теперь начинаю жить... Я хочу, чтоб сейчас же, сию ми-нуту была свадьба... я... Я хочу послать сейчас же в Ду-ха-но-во. Там у меня брил-ли-анты. Я хочу по-ложить их к ее но-там...

– Какой пыл! какой восторг! какое благородство чувств! – воскликнула Марья Александровна. – И вы могли, князь, вы могли губить себя, удаляясь от света? Я тысячу раз буду это говорить! Я вне себя, когда вспомню об этой адской...

– Что ж мне де-лать, я так бо-ялся! – бормотал князь, хныча и расчувствовавшись. – Они меня в су-мас-шед-ший дом посадить хо-те-ли... Я и испугался.

– В сумасшедший дом! О изверги! о бесчеловечные люди! О низкое коварство! Князь, – я это слышала! Но это сумасшествие со стороны этих людей! Но за что же, за что?!

– А я и сам не знаю за что! – отвечал старичок, от слабости садясь на кресло. – Я, знаете, на ба-ле был и какой-то анекдот рас-ска-зал; а им не понра-ви-лось. Ну и вышла история!

– Неужели только за это, князь?

– Нет. Я еще по-том в карты иг-рал с князем Петром Демен-тьи-чем и без шести ос-тал-ся. У меня было два ко-ро-ля и три дамы... или, лучше сказать, три дамы и два ко-ро-ля... Нет! один ко-ро-ль! а потом уж были и да-мы...

– И за это? за это! о, адское бесчеловечие! вы плачете, князь! Но теперь этого не будет! Теперь я буду подле вас, мой князь; я не расстанусь с Зиной, и посмотрим, как они осмелятся сказать слово!.. И даже, знаете, князь, ваш

брак поразит их. Он пристыдит их! Они увидят, что вы еще способны… то есть они поймут, что не вышла бы за сумасшедшего такая красавица! Теперь вы гордо можете поднять голову. Вы будете смотреть им прямо в лицо…

– Ну да, я буду смотреть им пря-мо в ли-цо, – пробормотал князь, закрывая глаза.

«Однако он совсем раскис, – подумала Марья Александровна. – Только слова терять!»

– Князь, вы встревожены, я вижу это; вам непременно надо успокоиться, отдохнуть от этого волнения, – сказала она, матерински нагибаясь к нему.

– Ну да, я бы хотел немно-го по-ле-жать, – сказал он.

– Да, да! Успокойтесь, князь! Эти волнения… Постойте, я сама провожу вас… Я уложу вас сама, если надо. Что вы так смотрите на этот портрет, князь? Это портрет моей матери – этого ангела, а не женщины! О, зачем ее нет теперь между нами! Это была праведница! князь, праведница! – иначе я не называю ее!

– Пра-вед-ни-ца? c'est joli…[1] У меня тоже была мать… princesse…[2] и – вообразите – нео-бык-новен-но полная была жен-щина… Впрочем, я не то хотел ска-зать… Я не-мно-го ослаб. Adieu, ma charmante enfant!..[3] Я с наслажде-нием… я сегодня… завтра… Ну, да всё рав-но! au revoir, au revoir![4] – тут он хотел сделать ручкой, но поскользнулся и чуть не упал на пороге.

– Осторожнее, князь! Обопритесь на мою руку, – кричала Марья Александровна.

– Charmant! charmant! – бормотал он, уходя. – Я теперь только начи-наю жить…

Зина осталась одна. Невыразимая тягость давила ее душу. Она чувствовала отвращение до тошноты. Она готова была презирать себя. Щеки ее горели. С сжатыми руками, стиснув зубы, опустив голову, стояла она, не двигаясь с места. Слезы стыда покатились из глаз ее… В эту минуту отворилась дверь, и Мозгляков вбежал в комнату.

---

[1] Это мило (*фр.*).

[2] Княгиня (*фр.*).

[3] Прощайте, мое прелестное дитя! (*фр.*)

[4] До свидания, до свидания (*фр.*).

ГЛАВА IX

Он слышал всё, всё!

Он действительно не вошел, а вбежал, бледный от волнения и от ярости. Зина смотрела на него с изумлением.

– Так-то вы! – вскричал он задыхаясь. – Наконец-то я узнал, кто вы такая!

– Кто я такая! – повторила Зина, смотря на него как на сумасшедшего, и вдруг глаза ее заблистали гневом.

– Как смели вы так говорить со мной! – вскричала она, подступая к нему.

– Я слышал всё! – повторил Мозгляков торжественно, но как-то невольно отступил шаг назад.

– Вы слышали? вы подслушивали? – сказала Зина, с презрением смотря на него.

– Да! я подслушивал! да, я решился на подлость, но зато я узнал, что вы самая... Я даже не знаю, как и выразиться, чтоб сказать вам... какая вы теперь выходите! – отвечал он, всё более и более робея перед взглядом Зины.

– А хоть бы и слышали, в чем же вы можете обвинить меня? Какое право вы имеете обвинять меня? Какое право имеете так дерзко говорить со мной?

– Я? Я какое имею право? И вы можете это спрашивать? Вы выходите за князя, а я не имею никакого права!., да вы мне слово дали, вот что!

– Когда?

– Как когда?

– Но еще сегодня утром, когда вы приставали ко мне, я решительно отвечала, что не могу сказать ничего положительного.

– Однако же вы не прогнали меня, вы не отказали мне совсем; значит, вы удерживали меня про запас! значит, вы завлекали меня.

В лице раздраженной Зины показалось болезненное ощущение, как будто от острой, пронзительной внутренней боли; но она перемогла свое чувство.

– Если я вас не прогоняла, – отвечала она ясно и с расстановкой, хотя в голосе ее слышалось едва заметное дрожание, – то единственно из жалости. Вы сами умоляли меня повременить, не говорить вам – «нет»,

но разглядеть вас поближе, и «тогда, – сказали вы, – тогда, когда вы уверитесь, что я человек благородный, может быть, вы мне не откажете». Это были ваши собственные слова в самом начале ваших исканий. Вы не можете от них отпереться! Вы осмелились сказать мне теперь, что я завлекала вас. Но вы сами видели мое отвращение, когда я увиделась с вами сегодня, двумя неделями раньше, чем вы обещали, и это отвращение я не скрыла перед вами, напротив, я его обнаружила. Вы это сами заметили, потому что сами спрашивали меня: не сержусь ли я за то, что вы раньше приехали? Знайте, что того не завлекают, перед кем не могут и не *хотят* скрыть своего к нему отвращения. Вы осмелились выговорить, что я берегла вас про запас. На это отвечу вам, что я рассуждала про вас так: «Если он и не одарен умом, очень большим, то все-таки может быть человеком добрым, и потому можно выйти за него». Но теперь, убедясь, к моему счастью, что вы дурак, и еще вдобавок злой дурак, – мне остается только пожелать вам полного счастья и счастливого пути. Прощайте!

Сказав это, Зина отвернулась от него и медленно пошла из комнаты.

Мозгляков, догадавшись, что всё потеряно, закипел от ярости.

– А! так я дурак, – кричал он, – так я теперь уж дурак! Хорошо! Прощайте! Но прежде чем уеду, всему городу расскажу, как вы с маменькой облапошили князя, напоив его допьяна! Всем расскажу! Узнаете Мозглякова.

Зина вздрогнула и остановилась было отвечать, но, подумав с минуту, только презрительно пожала плечами и захлопнула за собою дверь.

В это мгновение на пороге показалась Марья Александровна. Она слышала восклицание Мозглякова, в одну минуту догадалась, в чем дело, и вздрогнула от испуга. «Мозгляков еще не уехал, Мозгляков около князя, Мозгляков раззвонит по городу, а тайна, хотя бы на самое малое время, была необходима?» У Марьи Александровны были свои расчеты. Она мигом сообразила все обстоятельства, и план усмирения Мозглякова был уже создан.

– Что с вами, mon ami? – сказала она, подходя к нему и дружески протягивая ему свою руку.

– Как: *mon ami*\ – вскричал он в бешенстве, – после того, что вы натворили, да еще: *mon ami.* Морген фри, милостивая государыня! И вы думаете, что обманете меня еще раз?

– Мне жаль, мне очень жаль, что вижу вас в таком *странном* состоянии духа, Павел Александрович. Какие выражения! вы даже не удерживаете слов ваших перед дамой.

– Перед дамой! Вы... вы всё, что хотите, а не дама! – вскричал Мозгляков. Не знаю, что именно хотелось ему выразить своим восклицанием, но, вероятно, что-нибудь очень громовое.

Марья Александровна кротко поглядела ему в лицо.

– Сядьте! – грустно проговорила она, показывая ему на кресла, в которых, четверть часа тому, покоился князь.

– Но послушайте наконец, Марья Александровна! – вскричал озадаченный Мозгляков. – Вы смотрите на меня так, как будто вы вовсе не виноваты, а как будто я же виноват перед вами! Ведь это нельзя же-с!.. такой тон!., ведь это, наконец, превышает меру человеческого терпения... знаете ли вы это?

– Друг мой! – отвечала Марья Александровна, – вы позволите мне всё еще называть вас этим именем, потому что у вас нет лучшего друга, как я; друг мой! вы страдаете, вы измучены, вы уязвлены в самое сердце – и потому не удивительно, что вы говорите со мной в таком тоне. Но я решаюсь открыть вам всё, всё мое сердце, тем скорее, что я сама себя чувствую несколько виноватой перед вами. Садитесь же, поговорим.

Голос Марьи Александровны был болезненно мягкий.

В лице выражалось страдание. Изумленный Мозгляков сел подле нее в кресла.

– Вы подслушивали? – продолжала она, укоризненно глядя ему в лицо.

– Да, я подслушивал! еще бы не подслушивать; вот бы олух-то был! По крайней мере узнал всё, что вы против меня затеваете, – грубо отвечал Мозгляков, ободряя и подзадоривая себя собственным гневом.

– И вы, и вы, с вашим воспитанием, с вашими правилами, могли решиться на такой поступок? О, Боже мой!

Мозгляков даже вскочил со стула.

– Но, Марья Александровна! – вскричал он, – это, наконец, невыносимо слушать! Вспомните, на что вы-то решились, с вашими правилами, а тогда осуждайте других!

– Еще вопрос, – сказала она, не отвечая на его вопросы. – Кто вас надоумил подслушивать, кто рассказал, кто тут шпионил? – вот что я хочу знать.

– Ну уж извините, – этого не скажу-с.

– Хорошо. Я сама узнаю. Я сказала, Поль, что я перед вами виновата. Но если вы разберете всё, все обстоятельства, то увидите, что если я и виновата, то единственно тем, что вам же желала возможно больше добра.

– Мне? добра? Это уж из рук вон! Уверяю вас, что больше не надуете! Не таков мальчик!

И он повернулся в креслах так, что они затрещали.

– Пожалуйста, мой друг, будьте хладнокровнее, если можете. Выслушайте меня внимательно, и вы сами во всем согласитесь. Во-первых, я хотела немедленно вам объяснить всё, всё, и вы узнали бы от меня всё дело, до малейшей подробности, не унижаясь подслушиванием. Если же не объяснилась с вами заранее, давеча, то единственно потому, что всё дело еще было в проекте. Оно могло и не состояться. Видите: я с вами вполне откровенна. Во-вторых, не вините дочь мою. Она вас до безумия любит, и мне стоило невероятных усилий отвлечь ее от вас и согласить ее принять предложение князя.

– Я сейчас имел удовольствие слышать самое полное доказательство этой любви *до безумия,* – иронически проговорил Мозгляков.

– Хорошо. А вы как с ней говорили? Так ли должен говорить влюбленный? Так ли говорит, наконец, человек хорошего тона? Вы оскорбили и раздражили ее.

– Ну, не до тону теперь, Марья Александровна! А давеча, когда вы обе делали мне такие сладкие мины, я поехал с князем, а вы меня ну честить! Вы чернили меня, – вот что я вам говорю-с! Я это всё знаю, всё!

– И, верно, из того же грязного источника? – заметила Марья Александровна, презрительно улыбаясь. – Да, Павел Александрович, я чернила вас, я наговорила на вас и, признаюсь, немало билась. Но уж одно то, что я принуждена была вас чернить перед нею, может быть, даже клеветать на вас, – уж одно это доказывает, как тяжело было мне исторгнуть из нее согласие вас оставить! Недальновидный человек! Если б она не любила вас, нужно ли б было мне вас чернить, представлять вас в смешном, недостойном виде, прибегать к таким крайним средствам? Да вы еще не знаете всего! Я должна была употребить власть матери, чтоб исторгнуть вас из ее сердца, и, после невероятных усилий, достигла только наружного

согласия. Если вы теперь нас подслушивали, то должны же были заметить, что она ни одним словом, ни одним жестом не поддержала меня перед князем. Во всю эту сцену она почти не сказала ни слова; пела как автомат. Вся ее душа ныла в тоске, и я, из жалости к ней, увела наконец отсюда князя. Я уверена, что она плакала, оставшись одна. Войдя сюда, вы должны были заметить ее слезы...

Мозгляков действительно вспомнил, что, вбежав в комнату, он заметил Зину в слезах.

– Но вы, вы, за что вы-то были против меня, Марья Александровна? – вскричал он. – За что вы чернили меня, клеветали на меня, – в чем сами признаетесь теперь?

– А, это другое дело! Вот если б вы сначала благоразумно спрашивали, то давно бы получили ответ. Да, вы правы! Всё это сделала я, и я одна. Зину не мешайте сюда. Для чего я сделала? отвечаю: во-первых, для Зины. Князь богат, знатен, имеет связи, и, выйдя за него, Зина сделает блестящую партию. Наконец, если он и умрет, – может быть, даже скоро, потому что мы все более или менее смертны, – тогда Зина – молодая вдова, княгиня, в высшем обществе, и, может быть, очень богата. Тогда она может выйти замуж за кого хочет, может сделать богатейшую партию. Но, разумеется, она выйдет за того, кого любит, за того, кого любила прежде, чье сердце растерзала, выйдя за князя. Одно уже раскаяние заставило бы ее загладить свой проступок перед тем, кого прежде любила.

– Гм! – промычал Мозгляков, задумчиво смотря на свои сапоги.

– Во-вторых, – и об этом я упомяну только вкратце, – продолжала Марья Александровна, – потому что вы этого, может быть, даже и не поймете. Вы читаете вашего Шекспира, черпаете из него все свои высокие чувства, а на деле вы хоть и *очень добры,* но еще слишком молоды, – а я мать, Павел Александрович! Слушайте же: я выдаю Зину за князя отчасти и для самого князя, потому что хочу спасти его этим браком. Я любила и прежде этого благородного, этого добрейшего, этого рыцарски честного старика. Мы были друзьями. Он несчастен в когтях этой адской женщины. Она доведет его до могилы. Бог видит, что я согласила Зину на брак с ним, единственно выставив перед нею всю святость ее подвига самоотвержения. Она увлеклась благородством чувств, обаянием подвига. В ней самой есть что-то рыцарское. Я представила ей как дело высоко христи-

анское быть опорой, утешением, другом, дитятей, красавицей, идолом того, кому, может быть, остается жить всего один год. Не гадкая женщина, не страх, не уныние окружали бы его в последние дни его жизни, а свет, дружба, любовь. Раем показались бы ему эти последние, закатные дни! Где же тут эгоизм, – скажите, пожалуйста? Это, скорее, подвиг сестры милосердия, а не эгоизм!

– Так вы... так вы сделали это только для князя, для подвига сестры милосердия? – промычал Мозгляков насмешливым голосом.

– Понимаю и этот вопрос, Павел Александрович; он довольно ясен. Вы, может быть, думаете, что тут иезуитски сплетена выгода князя с собственными выгодами? Что ж? может быть, в голове моей и были эти расчеты, только не иезуитские, а невольные. Знаю, что вы изумляетесь такому откровенному признанию, но об одном прошу вас, Павел Александрович: не мешайте в это дело Зину! Она чиста как голубь: она не рассчитывает; она только умеет любить, – милое дитя мое! Если кто и рассчитывал, то это я, и я одна! Но, во-первых, спросите строго свою совесть и скажите: кто не рассчитывал бы на моем месте в подобном случае? Мы рассчитываем наши выгоды даже в великодушнейших, даже в бескорыстнейших делах наших, рассчитываем неприметно, невольно! Конечно, почти все себя же обманывают, уверяя себя самих, что действуют из одного благородства. Я не хочу себя обманывать: я сознаюсь, что, при всем благородстве моих целей, – я рассчитывала. Но, спросите, для себя ли я рассчитываю? Мне уже ничего не нужно, Павел Александрович! я отжила свой век. Я рассчитывала для нее, для моего ангела, для моего дитяти, и – какая мать может обвинить меня в этом случае?

Слезы заблистали в глазах Марьи Александровны. Павел Александрович в изумлении слушал эту откровенную исповедь и в недоумении хлопал глазами.

– Ну да, какая мать... – проговорил он наконец. – Вы хорошо поете, Марья Александровна, – но... но ведь вы мне дали слово! Вы обнадеживали и меня... Мне-то каково? подумайте! Ведь я теперь, знаете, с каким носом?

– Но неужели вы полагаете, что я об вас не подумала, mon cher Paul! Напротив: во всех этих расчетах была для вас такая огромная выгода, что она-то и понудила меня, главным образом, исполнить всё это предприятие.

– Моя выгода! – вскричал Мозгляков, на этот раз совершенно ошеломленный. – Это как?

– Боже мой! Неужели же можно быть до такой степени простым и недальновидным! – вскричала Марья Александровна, возводя глаза к небу. – О, молодость! молодость! Вот что значит погрузиться в этого Шекспира, мечтать, воображать, что мы живем, – живя чужим умом и чужими мыслями! Вы спрашиваете, *добрый* мой Павел Александрович, в чем тут заключается ваша выгода? Позвольте мне для ясности сделать одно отступление: Зина вас любит, – это несомненно! Но я заметила, что, несмотря на ее очевидную любовь, в ней таится какая-то недоверчивость к вам, к вашим добрым чувствам, к вашим наклонностям. Я заметила, что иногда она, как бы нарочно, удерживает себя и холодна с вами, – плод раздумья и недоверчивости. Не заметили ли вы это сами, Павел Александрович?

– За-ме-чал; и даже сегодня… Однако, что же вы хотите сказать, Марья Александровна?

– Вот видите, вы сами заметили это. Стало быть, я не ошиблась. В ней именно есть какая-то странная недоверчивость к постоянству ваших добрых наклонностей. Я мать – и мне ли не угадать сердца моего дитяти? Вообразите же теперь, что вместо того чтоб вбежать в комнату с упреками и даже с ругательствами, раздражить, обидеть, оскорбить ее, чистую, прекрасную, гордую, и тем поневоле утвердить ее в подозрениях насчет ваших дурных наклонностей, – вообразите, что вы бы приняли эту весть кротко, со слезами сожаления, пожалуй даже отчаяния, но и с возвышенным благородством души…

– Гм!..

– Нет, не прерывайте меня, Павел Александрович. Я хочу изобразить вам всю картину, которая поразит ваше воображение. Вообразите, что вы пришли к ней и говорите: «Зинаида! Я люблю тебя более жизни моей, но фамильные причины разлучают нас. Я понимаю эти причины. Они для твоего же счастия, и я уже не смею восставать против них, Зинаида! я прощаю тебя. Будь счастлива, если можешь!» – и тут бы вы устремили на нее взор, – взор закалаемого агнца, если можно так выразиться, – вообразите всё это и подумайте, какой эффект произвели бы эти слова на ее сердце!

– Да, Марья Александровна, положим, всё это так; я это всё понимаю… но что же, – я-то бы сказал, а все-таки ушел бы без ничего…

– Нет, нет, нет, мой друг! Не перебивайте меня! Я непременно хочу изобразить всю картину, со всеми последствиями, чтобы благородно поразить вас. Вообразите же, что вы встречаетесь с ней потом, чрез несколько времени, в высшем обществе; встречаетесь где-нибудь на бале, при блистательном освещении, при упоительной музыке, среди великолепнейших женщин и, среди всего этого праздника, вы одни, грустный, задумчивый, бледный, где-нибудь опершись на колонну (но так, что вас видно), следите за ней в вихре бала. Она танцует. Около вас льются упоительные звуки Штрауса, сыплется остроумие высшего общества, – а вы один, бледный и убитый вашею страстию! Что тогда будет с Зинаидой, подумайте? Какими глазами будет она глядеть на вас? «И я, – подумает она, – я сомневалась в этом человеке, который мне пожертвовал всем, всем и растерзал для меня свое сердце!» Разумеется, прежняя любовь воскресла бы в ней с неудержимою силою!

Марья Александровна остановилась перевести дух. Мозгляков повернулся в креслах с такою силою, что они еще раз затрещали. Марья Александровна продолжала.

– Для здоровья князя Зина едет за границу, в Италию, в Испанию, – в Испанию, где мирты, лимоны, где голубое небо, где Гвадалквивир, – где страна любви, где нельзя жить и не любить; где розы и поцелуи, так сказать, носятся в воздухе! Вы едете туда же, за ней; вы жертвуете службой, связями, всем! Там начинается ваша любовь с неудержимою силой; любовь, молодость, Испания, – Боже мой! Разумеется, ваша любовь непорочная, святая; но вы, наконец, *томитесь,* смотря друг на друга. Вы меня понимаете, mon ami! Конечно, найдутся низкие, коварные люди, изверги, которые будут утверждать, что вовсе не родственное чувство к страждущему старику повлекло вас за границу. Я нарочно назвала вашу любовь непорочною, потому что эти люди, пожалуй, придадут ей совсем другое значение. Но я мать, Павел Александрович, и я ли научу вас дурному!.. Конечно, князь не в состоянии будет смотреть за вами обоими, но – что до этого! Можно ли на этом основывать такую гнусную клевету? Наконец, он умирает, благословляя судьбу свою. Скажите: за кого ж выйдет Зина, как не за вас? Вы такой дальний родственник князю, что препятствий к браку

не может быть никаких. Вы берете ее, молодую, богатую, знатную, – ив какое же время? – когда браком с ней могли бы гордиться знатнейшие из вельмож! Чрез нее вы становитесь свой в самом высшем кругу общества; через нее вы получаете вдруг значительное место, входите в чины. Теперь у вас полтораста душ, а тогда вы богаты; князь устроит всё в своем завещании; я берусь за это. И наконец, главное, она уже вполне уверена в вас, в вашем сердце, в ваших чувствах, и вы вдруг становитесь для нее героем добродетели и самоотвержения!.. И вы, и вы спрашиваете после этого, в чем ваша выгода? Но ведь нужно, наконец, быть слепым, чтоб не замечать, чтоб не сообразить, чтоб не рассчитать эту выгоду, когда она стоит в двух шагах перед вами, смотрит на вас, улыбается вам, а сама говорит: «Это я, твоя выгода!» Павел Александрович, помилуйте!

– Марья Александровна! – вскричал Мозгляков в необыкновенном волнении, – теперь я всё понял! я поступил грубо, низко и подло!

Он вскочил со стула и схватил себя за волосы.

– И не расчетливо, – прибавила Марья Александровна, – главное: не расчетливо!

– Я осел, Марья Александровна! – вскричал он почти в отчаянии. – Теперь всё погибло, потому что я до безумия люблю ее!

– Может быть, и не всё погибло, – проговорила госпожа Москалева тихо, как будто что-то обдумывая.

– О, если б это было возможно! Помогите! научите! спасите!

И Мозгляков заплакал.

– Друг мой! – с состраданием сказала Марья Александровна, подавая ему руку: – вы это сделали от излишней горячки, от кипения страсти, стало быть, от любви же к ней! Вы были в отчаянии, вы не помнили себя! ведь должна же она понять всё это...

– Я до безумия люблю ее и всем готов для нее пожертвовать! – кричал Мозгляков.

– Послушайте, я оправдаю вас перед нею...

– Марья Александровна!

– Да, я берусь за это! Я сведу вас. Вы выскажете ей всё, всё, как я вам сейчас говорила!

– О Боже! как вы добры, Марья Александровна!.. Но... нельзя ли это сделать сейчас!

– Оборони Бог! О, как вы неопытны, друг мой! Она такая гордая! Она примет это за новую грубость, за нахальность! Завтра же я устрою всё, а теперь – уйдите куда-нибудь, хоть к этому купцу... пожалуй, приходите вечером; но я бы вам не советовала!

– Уйду, уйду! Боже мой! вы меня воскрешаете! но еще один вопрос: ну, а если князь не так скоро умрет?

– Ах, Боже мой, как вы наивны, mon cher Paul. Напротив, нам надобно молить Бога о его здоровье. Надобно всем сердцем желать долгих дней этому милому, этому доброму, этому рыцарски честному старичку! Я первая, со слезами, и день и ночь буду молиться за счастье моей дочери. Но, увы! кажется, здоровье князя ненадежно! К тому же, придется теперь посетить столицу, вывозить Зину в свет. Боюсь, ох боюсь, чтоб это окончательно не довершило его! Но – будем молиться, cher Paul, а остальное – в руце Божией!.. Вы уже идете! Благословляю вас, mon ami! Надейтесь, терпите, мужайтесь, главное – мужайтесь! Я никогда не сомневалась в благородстве чувств ваших...

Она крепко пожала ему руку, и Мозгляков на цыпочках вышел из комнаты.

– Ну, проводила одного дурака! – сказала она с торжеством. – Остались другие...

Дверь отворилась, и вошла Зина. Она была бледнее обыкновенного. Глаза ее сверкали.

– Маменька! – сказала она, – кончайте скорее, или я не вынесу! Всё это до того грязно и подло, что я готова бежать из дому. Не томите же меня, не раздражайте меня! Меня тошнит, слышите ли: меня тошнит от всей этой грязи!

– Зина! что с тобою, мой ангел? Ты... ты подслушивала! – вскричала Марья Александровна, пристально и с беспокойством вглядываясь в Зину.

– Да, подслушивала. Не хотите ли вы стыдить меня, как этого дурака? Послушайте, клянусь вам, что если вы еще будете меня так мучить и назначать мне разные низкие роли в этой низкой комедии, то я брошу всё и покончу всё разом. Довольно уже того, что я решилась на главную низость! Но... я не знала себя! Я задохнусь от этого смрада!.. – И она вышла, хлопнув дверями.

Марья Александровна пристально посмотрела ей вслед и задумалась.

– Спешить, спешить! – вскричала она, встрепенувшись. – В ней главная беда, главная опасность, и если все эти мерзавцы нас не оставят одних, раззвонят по городу, – что, уж верно, и сделано, – то всё пропало! Она не выдержит этой всей кутерьмы и откажется. Во что бы то ни стало и немедленно надо увезти князя в деревню! Слетаю сама сперва, вытащу моего болвана и привезу сюда. Должен же он хоть на что-нибудь наконец пригодиться! А там тот выспится – и отправимся! – Она позвонила.

– Что ж лошади? – спросила она вошедшего человека.

– Давно готовы-с, – отвечал лакей.

Лошади были заказаны в ту минуту, когда Марья Александровна уводила наверх князя.

Она оделась, но прежде забежала к Зине, чтоб сообщить ей, в главных чертах, свое решение и некоторые инструкции. Но Зина не могла ее слушать. Она лежала в постели, лицом в подушках; она обливалась слезами и рвала свои длинные, чудные волосы своими белыми руками, обнаженными до локтей. Изредка вздрагивала она, как будто холод в одно мгновение проходил по всем ее членам. Марья Александровна начала было говорить, но Зина не подняла даже и головы.

Постояв над ней некоторое время, Марья Александровна вышла в смущении, и чтоб вознаградить себя с другой стороны, села в карету и велела гнать что есть мочи.

«Скверно то, что Зина подслушивала! – думала она, сидя в карете. – Я уговорила Мозглякова почти теми же словами, как и ее. Она горда и, может быть, оскорбилась... Гм! Но главное, главное – успеть всё обделать, покамест не пронюхали! Беда! Ну, если на грех моего дурака нету дома!..»

И при одной этой мысли ею овладело бешенство, не предвещавшее ничего счастливого Афанасию Матвеичу; она ворочалась на своем месте от нетерпения. Лошади мчали ее во всю прыть.

ГЛАВА X

Карета летела. Мы сказали уже, что в голове Марьи Александровны еще утром, в то время когда она гонялась за князем по городу, блеснула гениальная мысль. Об этой мысли мы обещали упомянуть в своем месте. Но читатель уже знает ее. Эта мысль была: в свою очередь конфисковать

князя и, как можно скорее, увезти его в подгородную деревню, где безмятежно процветал блаженный Афанасий Матвеич. Не скроем, что на Марью Александровну всё более и более находило какое-то необъяснимое беспокойство. Это бывает даже с настоящими героями, именно в то время, когда они достигают цели. Какой-то инстинкт подсказывал ей, что опасно оставаться в Мордасове. «А уж раз в деревне, – рассуждала она, – так тут хоть весь город вверх ногами!» Конечно, и в деревне нельзя было терять времени. Всё могло случиться, всё, решительно всё, хотя мы, конечно, не верим слухам, распространенным впоследствии про мою героиню ее злоумышленниками, что она в эту минуту боялась даже полиции. Одним словом, она видела, что надо как можно скорее обвенчать Зину с князем. Средства же были под руками. Обвенчать мог на дому и деревенский священник. Можно было обвенчать даже послезавтра; в самом крайнем случае даже и завтра. Ведь бывали же свадьбы, которые в два часа обделывались! Князю – представить эту поспешность, это отсутствие всяких праздников, сговоров, девишников за необходимое comme il faut; внушить ему, что это будет приличнее, грандиознее. Наконец можно было всё выставить как романическое приключение и затронуть таким образом самую чувствительную струну в сердце князя. В крайнем случае можно даже и напоить его или, еще лучше, держать его постоянно пьяным. А потом, что бы ни случилось, Зина все-таки будет княгиней! Если же не обойдется потом без скандалу, например хоть в Петербурге или в Москве, где у князя были родные, то и тут было свое утешение. Во-первых, всё это еще впереди; а во-вторых, Марья Александровна верила, что в высшем обществе почти никогда не обходится без скандалу, особенно в делах свадебных; что это даже в тоне, хотя скандалы высшего общества, по ее понятиям, должны быть всегда какие-нибудь особенные, грандиозные, что-нибудь вроде «Монте-Кристо» или «Mémoires du Diable»[1]. Что, наконец, стоило только показаться в высшем обществе Зине, а маменьке поддержать ее, то все, решительно все, будут в ту же минуту побеждены и что никто из всех этих графинь и княгинь не в состоянии будет выдержать той мордасовской головомойки, которую способна задать им одна Марья Александровна, всем вместе или поодиночке. Вследствие всех

[1] «Записок дьявола» (*фр.*).

этих соображений Марья Александровна и летела теперь в свое поместье за Афанасьем Матвеевичем, в котором, по ее расчету, предстояла теперь необходимая надобность. Действительно: везти князя в деревню значило везти его к Афанасию Матвеичу, с которым князь, может быть, и не захотел бы знакомиться. Если же сам Афанасий Матвеич произнесет приглашение, тогда дело принимало совсем другой вид. К тому же явление пожилого и сановитого отца семейства, в белом галстухе и во фраке, со шляпой в руке, приехавшего нарочно из дальних стран по первому слуху о князе, могло произвести чрезвычайно приятный эффект, могло даже польстить самолюбию князя. От такого настойчивого и парадного приглашения трудно и отказаться, думала Марья Александровна. Наконец карета пролетела три версты, и кучер Софрон осадил своих коней у подъезда длинного одноэтажного деревянного строения, довольно ветхого и почерневшего от времени, с длинным рядом окон и обставленного со всех сторон старыми липами. Это был деревенский дом и летняя резиденция Марьи Александровны. В доме уже горели огни.

– Где болван? – закричала Марья Александровна, как ураган врываясь в комнаты. – Зачем тут это полотенце? А! он утирался! Опять был в бане? И вечно-то хлещет свой чай! Ну, что на меня глаза выпучил, отпетый дурак? Зачем у него волосы не выстрижены? Гришка! Гришка! Гришка! Зачем ты не обстриг барина, как я тебе на прошлой неделе приказывала?

Марья Александровна, входя в комнаты, собиралась поздороваться с Афанасием Матвеичем гораздо мягче, но, увидев, что он из бани и с наслаждением попивает чай, она не могла удержаться от самого горького негодования. В самом деле: столько хлопот и забот с ее стороны и столько самого блаженного квиетизма со стороны ни к чему не нужного и не способного к делу Афанасия Матвеича; такой контраст немедленно ужалил ее в самое сердце. Между тем болван, или, если сказать учтивее, тот, которого называли болваном, сидел за самоваром и, в бессмысленном испуге, раскрыв рот и выпуча глаза, глядел на свою супругу, почти окаменившую его своим появлением. Из передней выставилась заспанная и неуклюжая фигура Гришки, хлопавшего глазами на всю эту сцену.

– Да не даются, оттого и не стриг, – проговорил он ворчливым и осиплым голосом. – Десять раз с ножницами подходил, – вот, говорю, барыня ужо-тка приедет, – нам обоим достанется, тогда чего станем делать?

– Да не даются, оттого и не стриг, – проговорил он ворчливым и осиплым голосом.

Нет, говорят, подожди, я к воскресенью завьюсь; мне надо, чтоб волосы длинные были.

– Как? так он завивается! так ты еще выдумал без меня завиваться? Это что за фасоны? Да идет ли это к тебе, к твоей глупой башке? Боже, какой здесь беспорядок! Чем это пахнет? Я тебя спрашиваю, изверг, чем это здесь пахнет? – кричала супруга, накидываясь всё более и более на невинного и совершенно уже ошалевшего Афанасья Матвеича.

– Ма-матушка! – пробормотал запуганный супруг, не вставая с места и смотря умоляющими глазами на свою повелительницу, – ма-ма-матушка!..

– Сколько раз я вбивала в твою ослиную голову, что я тебе вовсе не матушка? Какая я тебе матушка, пигмей ты эдакой! Как смеешь ты давать такое название благородной даме, которой место в высшем обществе, а не подле такого осла, как ты!

– Да... да ведь ты, Марья Александровна, всё же законная жена моя, так вот я и говорю... по-супружески... – возразил было Афанасий Матвеич и в ту же минуту поднес обе руки свои к голове, чтоб защитить свои волосы.

– Ах ты, харя! ах ты, осиновый кол! Ну, слыхано ли что-нибудь глупее такого ответа? Законная жена! Да какие теперь законные жены? Употребит ли теперь хоть кто-нибудь в высшем обществе это глупое, это семинарское, это отвратительно-низкое слово: *«законная»*? – и как смеешь ты напоминать мне, что я твоя жена, когда я стараюсь забыть об этом всеми силами, всеми средствами моей души? Что руками-то голову закрываешь? Посмотрите, какие у него волосы? совсем, совсем мокрые! В три часа не обсохнут! Как теперь везти его? Как теперь людям показать? Что теперь делать?

И Марья Александровна ломала свои руки от бешенства, бегая взад и вперед по комнате. Беда, конечно, была небольшая и исправимая; но дело в том, что Марья Александровна не могла совладать со всепобеждающим и властолюбивым своим духом. Она находила потребность в беспрерывном излиянии своего гнева на Афанасья Матвеича, потому что тирания есть привычка, обращающаяся в потребность. Да и, наконец, всем известно, к какому контрасту способны некоторые утонченные дамы известного общества у себя за кулисами, и мне именно хотелось изобра-

зить этот контраст. Афанасий Матвеич с трепетом следил за эволюциями своей супруги и даже вспотел, на нее глядя.

– Гришка! – вскричала наконец она, – тотчас же барину одеваться! фрак, брюки, белый галстух, жилет, – живее! Да где его головная щетка, где щетка?

– Матушка! да ведь я из бани: простудиться могу, если в город ехать...

– Не простудишься!

– Да вот и волосы мокрые...

– А вот мы их сейчас высушим! Гришка, бери головную щетку, три его досуха; крепче! крепче! крепче! вот так! вот так!

Под эту команду усердный и преданный Гришка что есть силы начал оттирать волосы своего барина, для большего удобства схватив его за плечо и несколько принагнув к дивану. Афанасий Матвеич морщился и чуть не плакал.

– Теперь пошел сюда! подыми его, Гришка! где помада? Нагнись, нагнись, негодяй, – нагнись, дармоед!

И Марья Александровна собственноручно принялась помадить своего супруга, безжалостно теребя его густые с проседью волосы, которые он, на беду свою, не остриг. Афанасий Матвеич кряхтел, вздыхал, но не вскрикнул и с покорностию выдержал всю операцию.

– Соки ты мои высосал, пачкун ты такой! – проговорила Марья Александровна. – Да нагнись еще больше, нагнись!

– Чем же я, матушка, высосал твои соки? – промямлил супруг, нагибая как только мог более голову.

– Болван! аллегории не понимает! Теперь причешись; а ты одевай его, да живее!

Героиня наша уселась в кресла и инквизиторски наблюдала весь церемониал облачения Афанасия Матвеича. Между тем он успел несколько отдохнуть и собраться с духом, и когда дело дошло до повязки белого галстуха, то даже осмелился изъявить какое-то собственное мнение насчет формы и красоты узла. Наконец, надевая фрак, почтенный муж совершенно ободрился и начал поглядывать на себя в зеркало с некоторым уважением.

– Куда ж это ты везешь меня, Марья Александровна? – проговорил он, охорашиваясь.

Марья Александровна не поверила было ушам своим.

– Слышите! ах ты, чучела! Да как ты смеешь спрашивать меня, куда я везу тебя!

– Матушка, да ведь надо же знать...

– Молчать! Вот только назови еще раз меня матушкой, особенно там, куда теперь едем! Целый месяц просидишь без чаю.

Испуганный супруг умолк.

– Ишь! ни одного креста ведь не выслужил, чумичка ты эдакая, – продолжала она, с презрением смотря на черный фрак Афанасия Матвеича.

Афанасий Матвеич наконец обиделся.

– Кресты, матушка, начальство дает, а я советник, а не чумичка, – проговорил он в благородном негодовании.

– Что, что, что? Да ты здесь рассуждать научился! ах ты, мужик ты эдакой! ах ты, сопляк! Ну, жаль, некогда мне теперь с тобой возиться, а то бы я... Ну да потом припомню! Давай ему шляпу, Гришка! Давай ему шубу! Здесь без меня все эти три комнаты прибрать; да зеленую, угловую комнату тоже прибрать. Мигом щетки в руки! С зеркал снять чехлы, с часов тоже, да чтоб через час всё было готово. Да сам надень фрак, людям выдай перчатки, слышишь, Гришка, слышишь?

Сели в карету. Афанасий Матвеич недоумевал и удивлялся. Между тем Марья Александровна думала про себя, как бы понятнее вбить в голову своего супруга некоторые наставления, необходимые в теперешнем его положении. Но супруг предупредил ее.

– А я вот, Марья Александровна, сегодня сон преоригинальный видел, – возвестил он, совсем неожиданно, посреди обоюдного молчания.

– Тьфу ты, проклятое чучело! Я думала и Бог знает что! Какой-то сон! да как ты смеешь лезть ко мне с своими мужицкими снами! Оригинальный! понимаешь ли еще, что такое оригинальный? Слушай, говорю в последний раз, если ты у меня сегодня осмелишься только слово упомянуть про сон или про что-нибудь другое, то я, – я уж и не знаю, что с тобой сделаю! Слушай хорошенько: ко мне приехал князь К. Помнишь князя К.?

– Помню, матушка, помню. Зачем же это он пожаловал?

– Молчи, не твое дело! Ты должен с особенною любезностию, как хозяин, просить его сейчас же к нам в деревню. За тем я и везу тебя. Сегодня же сядем и уедем. Но если ты только осмелишься хоть одно слово

сказать в целый вечер, или завтра, или послезавтра, или когда-нибудь, то я тебя целый год заставлю гусей пасти! Ничего не говори, ни единого слова. Вот вся твоя обязанность, понимаешь?

– Ну, а если что-нибудь спросят?

– Всё равно молчи.

– Но ведь нельзя же всё молчать, Марья Александровна.

– В таком случае отвечай односложно, что-нибудь эдакое, например «Гм!» или что-нибудь такое же, чтоб показать, что ты умный человек и обсуживаешь прежде, чем отвечаешь.

– Гм.

– Пойми ты меня! Я тебя везу для того, что ты услышал о князе и тотчас же, в восторге от его посещения, прилетел к нему засвидетельствовать свое почтение и просить к себе в деревню; понимаешь?

– Гм.

– Да ты не теперь гумкай, дурак! ты мне-то отвечай.

– Хорошо, матушка, всё будет по-твоему; только зачем я приглашать-то буду князя?

– Что, что? опять рассуждать! А тебе какое дело: зачем? да как ты смеешь об этом спрашивать?

– Да я всё к тому, Марья Александровна: как же приглашать-то его буду, коли ты мне велела молчать?

– Я буду говорить за тебя, а ты только кланяйся, слышишь, только кланяйся, а шляпу в руках держи. Понимаешь?

– Понимаю, мат... Марья Александровна.

– Князь чрезвычайно остроумен. Если что-нибудь он скажет, хоть и не тебе, то ты на всё отвечай добродушной и веселой улыбкой, слышишь?

– Гм.

– Опять загумкал! Со мной не гумкать! Прямо и просто отвечай: слышишь иль нет?

– Слышу, Марья Александровна, слышу, как не услышать, а гумкаю для того, что приучаюсь, как ты велела. Только я всё про то же, матушка; как же это: если князь что скажет, то ты приказываешь глядеть на него и улыбаться. Ну, а все-таки если что меня спросит?

– Экой непонятливый балбес! Я уже сказала тебе: молчи. Я буду за тебя отвечать, а ты только смотри да улыбайся.

– Да ведь он подумает, что я немой, – проворчал Афанасий Матвеич.

– Велика важность! пусть думает; зато скроешь, что ты дурак.

– Гм... Ну, а если другие об чем-нибудь спрашивать будут?

– Никто не спросит, никого не будет. А если, на случай, – чего Боже сохрани! – кто и приедет, да если что тебя спросит или что-нибудь скажет, то немедленно отвечай саркастической улыбкой. Знаешь, что такое саркастическая улыбка?

– Это остроумная, что ли, матушка?

– Я тебе дам, болван, остроумная! Да кто с тебя, дурака, будет спрашивать остроумия? Насмешливая улыбка, понимаешь, – насмешливая и презрительная.

– Гм.

«Ох, боюсь я за этого болвана! – шептала про себя Марья Александровна. – Решительно, он поклялся высосать все мои соки! Право бы, лучше было его совсем не брать!»

Рассуждая таким образом, беспокоясь и сетуя, Марья Александровна беспрерывно выглядывала из окошка своего экипажа и погоняла кучера. Лошади летели, но ей всё казалось тихо. Афанасий Матвеич молча сидел в своем углу и мысленно повторял свои уроки. Наконец карета въехала в город и остановилась у дома Марьи Александровны. Но только что успела наша героиня выпрыгнуть на крыльцо, как вдруг увидела подъезжавшие к дому парные двуместные сани с верхом, те самые, в которых обыкновенно разъезжала Анна Николаевна Антипова. В санях сидели две дамы. Одна из них была, разумеется, сама Анна Николаевна, а другая – Наталья Дмитриевна, с недавнего времени ее искренний друг и последователь. У Марьи Александровны упало сердце. Но не успела она вскрикнуть, как подъехал экипаж, возок, в котором, очевидно, заключалась еще какая-то гостья. Раздались радостные восклицания:

– Марья Александровна! и вместе с Афанасием Матвеичем! приехали! откуда? Как кстати, а мы к вам, на весь вечер! Какой сюрприз!

Гостьи выпрыгнули на крыльцо и защебетали, как ласточки. Марья Александровна не верила глазам и ушам своим.

«Провалились бы вы! – подумала она про себя. – Это пахнет заговором! Надо исследовать! Но... не вам, сорокам, перехитрить меня!.. Подождите!..»

ГЛАВА XI

Мозгляков вышел от Марьи Александровны, по-видимому вполне утешенный. Она совершенно воспламенила его. К Бородуеву он не пошел, чувствуя нужду в уединении. Чрезвычайный наплыв героических и романтических мечтаний не давал ему покоя. Ему мечталось торжественное объяснение с Зиной, потом благородные слезы всепрощающего его сердца, бледность и отчаяние на петербургском блистательном бале, Испания, Гвадалквивир, любовь и умирающий князь, соединяющий их руки перед смертным часом. Потом красавица жена, ему преданная и постоянно удивляющаяся его героизму и возвышенным чувствам; мимоходом, под шумок, – внимание какой-нибудь графини из «высшего общества», в которое он непременно попадет через брак свой с Зиной, вдовой князя К.; вице-губернаторское место, денежки, – одним словом, всё, так красноречиво расписанное Марьей Александровной, еще раз перешло через его все довольную душу, лаская, привлекая ее и, главное, льстя его самолюбию. Но вот – и не знаю, право, как это объяснить, – когда уже он начал уставать от всех этих восторгов, ему вдруг пришла предосадная мысль: что ведь, во всяком случае, всё это еще в будущем, а теперь-то он все-таки с предлиннейшим носом. Когда пришла к нему эта мысль, он заметил, что забрел куда-то очень далеко, в какой-то уединенный и незнакомый ему форштадт Мордасова. Становилось темно. По улицам, обставленным маленькими, враставшими в землю домишками, ожесточенно лаяли собаки, которые в провинциальных городах разводятся в ужасающем количестве, именно в тех кварталах, где нечего стеречь и нечего украсть. Начинал падать мокрый снег. Изредка встречался какой-нибудь запоздавший мещанин или баба в тулупе и в сапогах. Всё это, неизвестно почему, начало сердить Павла Александровича – признак очень дурной, потому что, при хорошем обороте дел, всё, напротив, кажется нам в милом и радужном виде. Павел Александрович невольно припоминал, что он до сих пор постоянно задавал тону в Мордасове; очень любил, когда во всех домах ему намекали, что он жених, и поздравляли его с этим достоинством. Он даже гордился тем, что он жених. И вдруг он явится теперь перед всеми – в отставке! Подымется смех. Ведь не разуверять же их всех

в самом деле, не рассказывать же о петербургских балах с колоннами и о Гвадалквивире! Рассуждая, тоскуя и сетуя, он набрел наконец на мысль, которая уже давно неприметно скребла ему сердце: «Да правда ли это всё? Да сбудется ли это всё так, как Марья Александровна расписывала?» Тут он, кстати, припомнил, что Марья Александровна – чрезвычайно хитрая дама, что она, как ни достойна всеобщего уважения, но все-таки сплетничает и лжет с утра до вечера. Что теперь, удалив его, она, вероятно, имела к тому свои особые причины и что, наконец, расписывать – всякий мастер. Думал он и о Зине; припомнился ему прощальный взгляд ее, далеко не выражавший затаенной страстной любви; да уж вместе с тем, кстати, припомнил, что он все-таки, час тому, съел от нее дурака. При этом воспоминании Павел Александрович вдруг остановился как вкопанный и покраснел до слез от стыда. Как нарочно, в следующую минуту с ним случилось неприятное происшествие: он оступился и слетел с деревянного тротуара в сугроб снега. Покамест он барахтался в снегу, стая собак, уже давно преследовавшая его своим лаем, налетела на него со всех сторон. Одна из них, самая маленькая и задорная, даже повисла на нем, ухватившись зубами за полу его шубы. Отбиваясь от собак, ругаясь вслух и даже проклиная судьбу свою, Павел Александрович, с разорванной полой и с невыносимой тоской на душе, добрел наконец до угла улицы и тут только заметил, что заблудился. Известно, что человек, заблудившийся в незнакомой части города, особенно ночью, никак не может идти прямо по улице; его поминутно подталкивает какая-то неведомая сила непременно сворачивать во все встречающиеся на пути улицы и переулки. Следуя этой системе, Павел Александрович заблудился окончательно. «А чтобы черт побрал все эти высокие идеи! – говорил он про себя, плюя от злости. – А чтобы сам дьявол вас всех побрал с вашими высокими чувствами да с Гвадалквивирами!» Не скажу, что Мозгляков был привлекателен в эту минуту. Наконец, усталый, измученный, проплутав два часа, дошел он до подъезда дома Марьи Александровны. Увидев много экипажей – он удивился, «Неужели же гости, неужели званый вечер? – подумал он. – С какою же целью?» Справившись у повстречавшегося слуги и узнав, что Марья Александровна была в деревне и привезла с собою Афанасия Матвеича, в белом галстухе, и что князь уже проснулся, но еще

не выходил вниз к гостям, Павел Александрович, не говоря ни слова, поднялся наверх к дядюшке. В эту минуту он был именно в том расположении духа, когда человек слабого характера в состоянии решиться на какую-нибудь ужасную, злейшую пакость, из мщения, не думая о том, что, может быть, придется всю жизнь в том раскаиваться.

Войдя наверх, он увидел князя, сидящего в креслах, перед дорожным своим туалетом и с совершенно голою головою, но уже в эспаньолке и в бакенах. Парик его был в руках седого, старинного камердинера и любимца его, Ивана Пахомыча. Пахомыч глубокомысленно и почтительно его расчесывал. Что же касается до князя, то он представлял из себя очень жалкое зрелище, еще не очнувшись после давешней попойки. Он сидел, как-то весь опустившись, хлопая глазами, измятый и раскисший, и глядел на Мозглякова, как будто не узнавая его.

– Как ваше здоровье, дядюшка? – спросил Мозгляков.

– Как... это ты? – проговорил наконец дядюшка. – А я, брат, немножко заснул. Ах, Боже мой! – вскрикнул он, весь оживившись, – ведь я... без па-рика!

– Не беспокойтесь, дядюшка! я... я вам помогу, если вам угодно.

– А вот ты и узнал теперь мой секрет! Я ведь говорил, что надо дверь за-пи-рать. Ну, мой друг, ты должен не-медленно дать мне свое честное ело-во, что не воспользуешься моим секретом и никому не скажешь, что у меня волосы нак-лад-ные.

– О, помилуйте, дядюшка! неужели вы меня считаете способным на такую низость! – вскричал Мозгляков, желая угодить старику для... дальнейших целей.

– Ну да, ну да! И так как я вижу, что ты благородный человек, то, уж так и быть, я тебя у-див-лю... и открою тебе все мои тай-ны. Как тебе нравятся, мой милый, мои у-сы?

– Превосходные, дядюшка! удивительные! как могли вы их сохранить так долго?

– Разуверься, мой друг, они нак-лад-ные! – проговорил князь, с торжеством смотря на Павла Александровича.

– Неужели? Поверить трудно. Ну, а бакенбарды? Признайтесь, дядюшка, вы, верно, черните их?

– Черню? Не только не черню, но и они совершенно искусственные!

– Искусственные? Нет, дядюшка, воля ваша, не верю. Вы надо мною смеетесь!

– Parole d'honneur, mon ami![1] – вскричал торжествующий князь, – и предс-тавь себе, все, ре-ши-тельно все, так же как и ты, обма-ны-ваются! Даже Степанида Матвеевна не верит, хотя сама иногда их нак-ла-ды-вает. Но я уверен, мой друг, что ты сохранишь мою тайну. Дай мне честное слово...

– Честное слово, дядюшка, сохраню. Повторяю вам: неужели вы меня считаете способным на такую низость?

– Ах, мой друг, как я упал без тебя сегодня! Феофил меня опять из кареты вы-валил.

– Вывалил опять! когда же?

– А вот мы уже к мо-нас-тырю подъезжали...

– Знаю, дядюшка, давеча.

– Нет, нет, два часа тому назад, не бо-лее. Я в монастырь поехал, а он меня взял, да и вывалил; так на-пу-гал, – даже теперь сердце не на месте.

– Но, дядюшка, ведь вы почивали! – с изумлением проговорил Мозгляков.

– Ну да, почивал... а потом и по-е-хал, впрочем, я... впрочем, я это, может быть... ах, как это странно!

– Уверяю вас, дядюшка, что вы видели это во сне! Вы преспокойно себе почивали, с самого послеобеда.

– Неужели? – И князь задумался.

– Ну да, я и в самом деле, может быть, это видел во сне. Впрочем, я всё помню, что я видел во сне. Сначала мне приснился какой-то престрашный бык с рогами; а потом приснился какой-то про-ку-рор, тоже как будто с ро-гами...

– Это, верно, Николай Васильевич Антипов, дядюшка.

– Ну да, может быть, и он. А потом Наполеона Бона-парте видел. Знаешь, мой друг, мне все говорят, что я на Наполеона Бона-парте похож... а в профиль будто я разительно похож на одного старинного папу? Как ты находишь, мой милый, похож я на па-пу?

– Я думаю, что вы больше похожи на Наполеона, дядюшка.

---

[1] Честное слово, мой друг! (*фр.*)

– Ну да, это en face. Я, впрочем, и сам то же думаю, мой милый. И приснился он мне, когда уже на острове сидел, и, знаешь, какой разговорчивый, разбитной, ве-сельчак такой, так что он чрез-вы-чайно меня позабавил.

– Это вы про Наполеона, дядюшка? – проговорил Павел Александрович, задумчиво смотря на дядю. Какая-то странная мысль начинала мелькать у него в голове, – мысль, в которой он не мог еще себе самому дать отчета.

– Ну да, про На-по-леона. Мы с ним всё про философию рассуждали. А знаешь, мой друг, мне даже жаль, что с ним так строго поступили... англи-чане. Конечно, не держи его на цепи, он бы опять на людей стал бросаться. Бешеный был человек! Но все-таки жалко. Я бы не так поступил. Я бы его посадил на не-о-би-таемый остров...

– Почему же на необитаемый? – спросил Мозгляков рассеянно.

– Ну, хоть и на о-би-таемый, только не иначе как благоразумными жителями. Ну и разные разв-ле-чения для него устроить: театр, музыку, балет – и всё на казенный счет. Гулять бы его выпускал, разумеется под присмотром, а то бы он сейчас у-лиз-нул. Пирожки какие-то он очень любил. Ну, и пирожки ему каждый день стряпать. Я бы его, так сказать, о-те-чески содержал. Он бы у меня и рас-ка-ялся...

Мозгляков рассеянно слушал болтовню полупроснувшегося старика и грыз ногти от нетерпения. Ему хотелось навести разговор на женитьбу, – он еще сам не знал зачем; но безграничная злоба кипела в его сердце. Вдруг старичок вскрикнул от удивления.

– Ах, mon ami! Я ведь тебе и забыл ска-зать. Представь себе, я ведь сделал сегодня пред-ло-жение.

– Предложение, дядюшка? – вскричал Мозгляков оживляясь.

– Ну да, пред-ло-жение. Пахомыч, ты уж идешь? Ну, хорошо. C'est une charmante personne...[1] Но... признаюсь тебе, милый мой, я поступил необ-ду-манно. Я только теперь это ви-жу. Ах, Боже мой!

– Но позвольте, дядюшка, когда же вы сделали предложение?

– Признаюсь тебе, друг мой, я даже и не знаю наверно когда. Не во сне ли я видел и это? Ах, как это, од-на-ко же, стран-но!

---

[1] Это одна очаровательная женщина (*фр.*).

Мозгляков вздрогнул от восторга. Новая идея блеснула в его голове.

– Но кому, когда вы сделали предложение, дядюшка? – повторил он в нетерпении.

– Хозяйской дочери, mon ami... cette belle personne...[1] впрочем, я забыл, как ее зо-вут. Только, видишь ли, mon ami, я ведь никак не могу же-нить-ся. Что же мне теперь делать?

– Да, вы, конечно, погубите себя, если женитесь. Но позвольте мне вам сделать еще один вопрос, дядюшка. Точно ли вы уверены, что действительно сделали предложение?

– Ну да... я уверен.

– А если всё это вы видели во сне, так же как и то, что вы другой раз вывалились из кареты?

– Ах, Боже мой! И в самом деле, может быть, я и это тоже видел во сне! Так что я теперь и не знаю, как туда по-ка-заться. Как бы это, друг мой, узнать на-вер-но, каким-нибудь по-сто-рон-ним образом: делал я предложение иль нет? А то, представь, каково теперь мое положение?

– Знаете что, дядюшка? Я думаю, и узнавать нечего.

– А что?

– Я наверно думаю, что вы видели это во сне.

– Я сам то же думаю, мой ми-лый, тем более, что мне часто снятся по-доб-ные сны.

– Вот видите, дядюшка. Представьте же себе, что вы немного выпили за завтраком, потом за обедом и, наконец...

– Ну да, мой друг; именно, может быть, от э-то-го.

– Тем более, дядюшка, что, как бы вы ни были разгорячены, вы все-таки никаким образом не могли сделать такого безрассудного предложения наяву. Сколько я вас знаю, дядюшка, вы человек в высшей степени рассудительный и...

– Ну да, ну да.

– Представьте только одно: если б узнали это ваши родственники, которые и без того дурно расположены к вам, – что бы тогда было?

– Ах, Боже мой! – вскрикнул испуганный князь, – а что бы тогда было?

---

[1] Этой прелестной особе (*фр.*).

– Помилуйте! да они закричали бы все в один голос, что вы сделали это не в своем уме, что вы сумасшедший, что вас надо под опеку, что вас обманули, и, пожалуй, посадили бы вас куда-нибудь под надзор.

Мозгляков знал, чем можно было напугать старика.

– Ах, Боже мой! – вскричал князь, дрожа как лист. – Неужели бы посадили?

– И потому рассудите, дядюшка: могли ли бы вы сделать такое безрассудное предложение наяву? Вы сами понимаете свои выгоды. Я торжественно утверждаю, что вы всё это видели во сне.

– Непременно во сне, неп-ре-менно во сне! – повторял напуганный князь. – Ах, как ты умно рассудил всё это, мой ми-лый! Я душевно тебе благодарен, что ты меня вра-зу-мил.

– А я ужасно рад, дядюшка, что с вами сегодня встретился. Представьте себе: без меня вы бы действительно могли сбиться, подумать, что вы жених, и сойти туда женихом. Представьте, как это опасно!

– Ну да... да, опасно!

– Вспомните только, что этой девице двадцать три года; ее никто не хочет брать замуж, и вдруг вы, богатый, знатный, являетесь женихом! да они тотчас ухватятся за эту идею, уверят вас, что вы и в самом деле жених, и женят вас, пожалуй, насильно. А там и будут рассчитывать, что, может быть, вы скоро умрете...

– Неужели?

– И наконец, вспомните, дядюшка: человек с вашими достоинствами...

– Ну да, с моими достоинствами...

– С вашим умом, с вашею любезностию...

– Ну да, с моим умом, да!..

– И наконец, вы – князь. Такую ли партию вы бы могли себе сделать, если б действительно почему-нибудь нужно было жениться? Подумайте только, что скажут ваши родственники?

– Ах, мой друг, да ведь они меня совсем заедят! Я уж испытал от них столько коварства и злобы... Представь себе, я подозреваю, что они хотели посадить меня в су-мас-шедший дом. Ну, помилуй, мой друг, сообразно ли это? Ну, что б я там стал делать... в су-мас-шедшем-то доме?

– Разумеется, дядюшка, и потому я теперь не отойду от вас, когда вы сойдете вниз. Там теперь гости.

– Гости? Ах, Боже мой!

– Не беспокойтесь, дядюшка, я буду при вас.

– Но как я тебе благо-да-рен, мой милый, ты просто спаситель мой! Но знаешь ли что? Я лучше уеду.

– Завтра, дядюшка, завтра, утром, в семь часов. А сегодня вы при всех откланяйтесь и скажите, что уезжаете.

– Непременно уеду... к отцу Мисаилу... Но, мой друг, ну, как они меня там сос-ва-тают?

– Не бойтесь, дядюшка, я буду с вами. И наконец, что бы вам ни говорили, на что бы вам ни намекали, прямо говорите, что вы всё это видели во сне... так, как оно и действительно было.

– Ну да, неп-ре-менно во сне! только, знаешь, мой друг, все-таки это был пре-оча-ро-ва-тельный сон! Она удивительно хороша собой и, знаешь, такие формы...

– Ну прощайте, дядюшка, я пойду вниз, а вы...

– Как! так ты меня одного оставляешь! – вскричал князь в испуге.

– Нет, дядюшка, мы сойдем только порознь: сначала я, а потом вы. Это будет лучше.

– Ну, хо-ро-шо. Мне же, кстати, надобно записать одну мысль.

– Именно, дядюшка, запишите вашу мысль, а потом приходите, не мешкайте. Завтра же утром...

– А завтра утром к иеромонаху, непре-менно к ие-ро-мо-наху! Charmant, charmant! А знаешь, мой друг, она у-ди-ви-тельно хороша собой... такие формы... и если б уж так мне надо было непременно жениться, то я...

– Боже вас сохрани, дядюшка!

– Ну да, Боже сохрани!.. Ну, прощай, мой милый, я сейчас... только вот за-пи-шу. A propos, я давно хотел тебя спросить: читал ты мемуары Казановы?

– Читал, дядюшка, а что?

– Ну да... Я вот теперь и за-был, что хотел сказать...

– После вспомните, дядюшка, – до свиданья!

– До свиданья, мой друг, до свиданья! Только все-таки это был очаровательный сон, о-ча-ро-ва-тельный сон!..

ГЛАВА XII

– А мы к вам все, все! И Прасковья Ильинишна тоже приедет, и Луиза Карловна хотела быть, – щебетала Анна Николаевна, входя в салон и жадно осматриваясь. Это была довольно хорошенькая маленькая дамочка, пестро, но богато одетая и, сверх того, очень хорошо знавшая, что она хорошенькая. Ей так и казалось, что где-нибудь в углу спрятан князь, вместе с Зиной.

– И Катерина Петровна приедут-с, и Фелисата Михайловна тоже хотели быть-с, – прибавила Наталья Дмитриевна, колоссального размера дама, которой формы так понравились князю и которая чрезвычайно походила на гренадера. Она была в необыкновенно маленькой розовой шляпке, торчавшей у нее на затылке. Уже три недели, как она была самым искренним другом Анны Николаевны, за которою давно уже увивалась и ухаживала и которую, судя по виду, могла проглотить одним глотком, вместе с косточками.

– Я уже не говорю о том, можно сказать, восторге, который я чувствую, видя вас обеих у меня, и еще вечером, – запела Марья Александровна, оправившись от первого изумления, – но скажите, пожалуйста, какое же чудо зазвало вас сегодня ко мне, когда я уже совсем отчаялась иметь эту честь?

– О Боже мой, Марья Александровна, какие вы, право-с! – сладко проговорила Наталья Дмитриевна, жеманясь, стыдливо и пискливо, что составляло прелюбопытный контраст с ее наружностию.

– Mais, ma charmante[1], – защебетала Анна Николаевна, – ведь надобно же, непременно надобно когда-нибудь кончить все наши сборы с этим театром. Еще сегодня Петр Михайлович сказал Каллисту Станиславину, что его чрезвычайно огорчает, что у нас это нейдет на лад и что мы только ссоримся. Вот мы и собрались сегодня вчетвером, да и думаем: поедем-ка к Марье Александровне да и решим всё разом! Наталья Дмитриевна и другим дала знать. Все приедут. Вот мы и сговоримся, и хорошо будет. Пускай же не говорят, что мы только ссоримся, так ли, mon ange? – прибавила она игриво, целуя Марью Александровну. – Ах, Боже мой! Зинаида Афанасьевна! но вы каждый день всё более хорошеете! – Анна Николаевна бросилась с поцелуями к Зине.

[1] Но, моя прелесть (*фр.*).

– Да им и нечего делать больше-с, как хорошеть-с, – сладко прибавила Наталья Дмитриевна, потирая свои ручищи.

«Ах, черт бы их взял! я и не подумала об этом театре! изловчились, сороки!» – прошептала Марья Александровна вне себя от бешенства.

– Тем более, мой ангел, – прибавила Анна Николаевна, – что у вас теперь этот милый князь. Ведь вы знаете, в Духанове, у прежних помещиков, был театр. Мы уж справлялись и знаем, что там где-то складены все эти старинные декорации, занавесь и даже костюмы. Князь был сегодня у меня, и я так была удивлена его приездом, что совершенно забыла ему сказать. Теперь мы нарочно заговорим о театре, вы нам поможете, и князь велит отослать к нам весь этот старый хлам. А то – кому здесь прикажете сделать что-нибудь похожее на декорацию? А главное, мы и князя-то хотим завлечь в наш театр. Он непременно должен подписаться; ведь это для бедных. Может быть, даже и роль возьмет, – он же такой милый, согласный. Тогда пойдет чудо как хорошо.

– Конечно, возьмут ролю-с. Ведь их можно заставить всякую ролю разыгрывать-с, – многозначительно прибавила Наталья Дмитриевна.

Анна Николаевна не обманула Марью Александровну: дамы поминутно съезжались. Марья Александровна едва успевала встречать их и издавать восклицания, требуемые в таких случаях приличием и комильфотностию.

Я не берусь описывать всех посетительниц. Скажу только, что каждая смотрела с необыкновенным коварством. У всех на лицах было написано ожидание и какое-то дикое нетерпение. Некоторые из дам приехали с решительным намерением быть свидетельницами какого-нибудь необыкновенного скандала и очень бы рассердились, если б пришлось разъехаться, не видав его. Наружно все вели себя необыкновенно любезно, но Марья Александровна с твердостию приготовилась к нападению. Посыпались вопросы о князе, казалось самые естественные; но в каждом заключался какой-нибудь намек, обиняк. Появился чай; все разместились. Одна группа завладела роялем. Зина на приглашение сыграть и спеть сухо отвечала, что она не так здорова. Бледность лица ее это доказывала. Тотчас же посыпались вопросы участия, и даже тут нашли случай кой о чем спросить и намекнуть. Опрашивали и о Мозглякове и относились с этими вопросами к Зине. Марья Александровна удесятерилась в эту

минуту, видела всё, что происходило в каждом углу комнаты, слышала, что говорилось каждою из посетительниц, хотя их было до десяти, и немедленно отвечала на все вопросы, разумеется не ходя за словом в карман. Она трепетала за Зину и дивилась тому, что она не уходит, как всегда до сих пор поступала при подобных собраниях. Заметили и Афанасия Матвеича. Над ним всегда все трунили, чтоб кольнуть Марью Александровну ее супругом. Теперь же от недалекого и откровенного Афанасия Матвеича можно было кой-что и выведать. Марья Александровна с беспокойством приглядывалась к осадному положению, в котором видела своего супруга. К тому же он отвечал на все вопросы «гм» с таким несчастным и неестественным видом, что было отчего ей прийти в бешенство.

– Марья Александровна! Афанасий Матвеич с нами совсем говорить не хочет, – вскричала одна смелая востроглазая дамочка, которая решительно никого не боялась и никогда не конфузилась. – Прикажите ему быть поучтивее с дамами.

– Я, право, сама не знаю, что с ним сегодня сделалось, – отвечала Марья Александровна, прерывая разговор свой с Анной Николаевной и с Натальей Дмитриевной и весело улыбаясь: – такой, право, неразговорчивый! Он и со мной почти ни слова не говорил. Почему ж ты не отвечаешь Фелисате Михайловне, Athanase?[1] Что вы его спрашивали?

– Но... но... матушка, ведь ты же сама... – пробормотал было удивленный и потерянный Афанасий Матвеевич. В это время он стоял у затопленного камина, заложив руки за жилет, в живописном положении, которое сам себе выбрал, и прихлебывал чай. Вопросы дам так его конфузили, что он краснел, как девчонка. Когда же он начал свое оправдание, то встретил такой ужасный взгляд своей взбешенной супруги, что чуть не обеспамятел от испуга. Не зная, что делать, желая как-нибудь поправиться и вновь заслужить уважение, он хлебнул было чаю; но чай был слишком горячий. Не соразмерив глотка, он ужасно обжегся, выронил чашку, поперхнулся и так закашлялся, что на время принужден был выйти из комнаты, возбудив недоумение во всех присутствовавших. Одним словом, всё было ясно. Марья Александровна поняла, что ее гости знали уж всё и собрались с самыми дурными намерениями. Положение было

[1] Афанасий (*фр.*).

опасное. Могут разговорить, сбить с толку слабоумного старика в ее же присутствии. Могли даже увезти от нее князя, поссорив его с нею в этот же вечер и сманив его за собою. Ожидать можно было всего. Но судьба готовила ей еще одно испытание: дверь отворилась, и явился Мозгляков, которого она считала у Бородуева и совсем не ожидала к себе в этот вечер. Она вздрогнула, как будто что-то кольнуло ее.

Мозгляков остановился в дверях и оглядывал всех, немного потерявшись. Он не в силах был сладить с своим волнением, которое ясно выражалось в его лице.

– Ах, Боже мой! Павел Александрович! – вскрикнуло несколько голосов.

– Ах, Боже мой! да ведь это Павел Александрович! как же вы сказали, Марья Александровна, что они пошли к Бородуевым-с? Нам сказали, что вы скрылись у Бородуева-с, Павел Александрович, – пропищала Наталья Дмитриевна.

– Скрылся? – повторил Мозгляков с какой-то искривившейся улыбкой. – Странное выражение! Извините, Наталья Дмитриевна! Я ни от кого не прячусь и никого не желаю прятать, – прибавил он, многозначительно взглянув на Марью Александровну.

Марья Александровна затрепетала.

«Как, неужели и этот болван бунтуется! – подумала она, пытливо всматриваясь в Мозглякова. – Нет, это уж будет хуже всего...»

– Правда ли, Павел Александрович, что вам вышла отставка... по службе, разумеется? – выскочила дерзкая Фелисата Михайловна, насмешливо смотря ему прямо в глаза.

– Отставка? какая отставка? Я просто переменяю службу. Мне выходит место в Петербурге, – сухо отвечал Мозгляков.

– Ну, так поздравляю вас, – продолжала Фелисата Михайловна, – а мы даже испугались, когда услышали, что вы гнались за местом у нас в Мордасове. Здесь места ненадежные, Павел Александрович, тотчас слетишь.

– Разве одни учительские, в уездном училище; тут еще можно найти вакансию, – заметила Наталья Дмитриевна. Намек был так ясен и груб, что сконфузившаяся Анна Николаевна толкнула своего ядовитого друга тихонько ногой.

– Неужели вы думаете, что Павел Александрович согласится занять место какого-нибудь учителишки? – включила Фелисата Михайловна.

Но Павел Александрович не нашел, что отвечать. Он повернулся и столкнулся с Афанасием Матвеичем, который протягивал ему руку. Мозгляков преглупо не принял его руки и насмешливо поклонился ему в пояс. Раздраженный до крайности, он прямо подошел к Зине и, злобно смотря ей в глаза, прошептал:

– Это всё по вашей милости. Подождите, я еще сегодня вечером покажу вам – дурак я иль нет?

– Зачем откладывать? Это и теперь видно, – громко ответила Зина, с отвращением обмеривая глазами своего бывшего жениха.

Мозгляков поспешно отворотился, испугавшись ее громкого голоса.

– Вы от Бородуева? – решилась наконец спросить Марья Александровна.

– Нет-с, я от дядюшки.

– От дядюшки? так вы, значит, были теперь у князя?

– Ах, Боже мой! так, значит, князь уж проснулись; а нам сказали, что они всё еще почивают-с, – прибавила Наталья Дмитриевна, ядовито посматривая на Марью Александровну.

– Не беспокойтесь о князе, Наталья Дмитриевна, – отвечал Мозгляков, – он проснулся и, слава Богу, теперь уже в своем уме. Давеча его подпоили, сначала у вас, а потом, уж окончательно, здесь, так что он совсем было потерял голову, которая у него и без того некрепка. Но теперь, слава Богу, мы вместе поговорили, и он начал рассуждать здраво. Он сейчас сюда будет, чтоб откланяться вам, Марья Александровна, и поблагодарить за всё ваше гостеприимство. Завтра же, чем свет, мы вместе отправляемся в пустынь, а потом я его непременно сам провожу до Духанова во избежание вторичных падений, как например сегодня; а там уж его примет, с рук на руки, Степанида Матвеевна, которая к тому времени непременно воротится из Москвы и уж ни за что не выпустит его в другой раз путешествовать, – за это я отвечаю.

Говоря это, Мозгляков злобно смотрел на Марью Александровну. Та сидела как будто онемевшая от изумления. С горестию признаюсь, что моя героиня, может быть, первый раз в жизни струсила.

– Так они завтра чем свет уезжают? как же это-с? – проговорила Наталья Дмитриевна, обращаясь к Марье Александровне.

– Как же это так? – наивно раздалось между гостями. – А мы слышали, что... вот, право, странно!

Но хозяйка уж и не знала, что отвечать. Вдруг всеобщее внимание было развлечено самым необыкновенным и эксцентрическим образом. В соседней комнате послышались какой-то странный шум и чьи-то резкие восклицания, и вдруг, нежданно-негаданно, в салон Марьи Александровны ворвалась Софья Петровна Фарпухина. Софья Петровна была бесспорно самая эксцентрическая дама в Мордасове, до того эксцентрическая, что даже в Мордасове решено было с недавнего времени не принимать ее в общество. Надо еще заметить, что она регулярно, каждый вечер, ровно в семь часов, закусывала, – для желудка, как она выражалась, – и после закуски обыкновенно была в самом эманципированном состоянии духа, чтоб не сказать чего-нибудь более. Она именно была в этом состоянии духа теперь, так неожиданно ворвавшись к Марье Александровне.

– А, так вот вы как, Марья Александровна, – закричала она на всю комнату, – вот вы как со мной поступаете! Не беспокойтесь, я на минутку; я у вас и не сяду. Я нарочно заехала узнать: верно ли то, что мне говорили? А! так у вас балы, банкеты, сговоры, а Софья Петровна сиди себе дома да чулок вяжи! Весь город назвали, а меня нет! А давеча я вам и друг, и шоп ange, когда приехала пересказать, что делают с князем у Натальи Дмитриевны. А теперь вот и Наталья Дмитриевна, которую вы давеча на чем свет ругали и которая вас же ругала, у вас в гостях сидит. Не беспокойтесь, Наталья Дмитриевна! Не надо мне вашего шоколаду à la santé[1], по гривеннику палка. Я почаще вашего пью у себя дома! тьфу!

– Это видно-с, – заметила Наталья Дмитриевна.

– Но, помилуйте, Софья Петровна, – вскрикнула Марья Александровна, покраснев от досады, – что с вами? образумьтесь по крайней мере.

– Не беспокойтесь обо мне, Марья Александровна, я всё знаю, всё, всё узнала! – кричала Софья Петровна своим резким, визгливым голосом, окруженная всеми гостями, которые, казалось, наслаждались этой нео-

[1] Букв.: для здоровья (*фр.*).

жиданной сценой. – Всё узнала! Ваша же Настасья прибежала ко мне и всё рассказала. Вы подцепили этого князишку, напоили его допьяна, заставили сделать предложение вашей дочери, которую уж никто не хочет больше брать замуж, да и думаете, что и сами теперь сделались важной птицей, – герцогиня в кружевах, – тьфу! Не беспокойтесь, я сама полковница! Коли вы меня не пригласили на сговор, так и наплевать! Я и почище вас людей видывала. Я у графини Залихватской обедала; за меня оберкомиссар Курочкин сватался! Очень надо мне ваше приглашение, тьфу!

– Видите ли, Софья Петровна, – отвечала Марья Александровна, выходя из себя, – уверяю вас, что так не врываются в благородный дом и притом в *таком виде,* и если вы сейчас же не освободите меня от вашего присутствия и красноречия, то я немедленно приму свои меры.

– Знаю-с, вы прикажете меня вывести своим людишкам! Не беспокойтесь, я и сама дорогу найду. Прощайте, выдавайте замуж кого хотите, а вы, Наталья Дмитриевна, не извольте смеяться надо мной; мне наплевать на ваш шоколад! Меня хоть и не пригласили сюда, а я все-таки перед князьями казачка не выплясывала. А вы что смеетесь, Анна Николаевна? Сушилов-то ногу сломал; сейчас домой принесли, тьфу! А если вы, Фелисата Михайловна, не велите вашей босоногой Матрешке вовремя вашу корову загонять, чтоб она не мычала у меня каждый день под окошками, так я вашей Матрешке ноги переломаю. Прощайте, Марья Александровна, счастливо оставаться, тьфу!

Софья Петровна исчезла. Гости смеялись. Марья Александровна была в крайнем замешательстве.

– Я думаю, они выпили-с, – сладко произнесла Наталья Дмитриевна.

– Но только какая дерзость!

– Quelle abominable femme![1]

– Вот так уж насмешила!

– Ах, какие они неприличности говорили-с!

– Только что ж это она про сговор говорила? Какой же сговор? – насмешливо спрашивала Фелисата Михайловна.

– Но это ужасно! – разразилась наконец Марья Александровна. – Вот эти-то чудовища и сеют пригоршнями все эти нелепые слухи! Уди-

[1] Какая отвратительная женщина! (*фр.*)

вительно не то, Фелисата Михайловна, что находятся такие дамы среди нашего общества, – нет, удивительнее всего то, что в этих самых дамах нуждаются, их слушают, их поддерживают, им верят, их...

– Князь! князь! – закричали вдруг все гости.

– Ах, Боже мой! ce cher prince![1]

– Ну, слава Богу! мы теперь узнаем всю подноготную, – прошептала своей соседке Фелисата Михайловна.

ГЛАВА XIII

Князь вошел и сладостно улыбнулся. Вся тревога, которую четверть часа назад Мозгляков заронил в его куриное сердце, исчезла при виде дам. Он тотчас же растаял, как конфетка. Дамы встретили его с визгливым криком радости. Вообще говоря, дамы всегда ласкали нашего старичка и были с ним чрезвычайно фамильярны. Он имел способность забавлять их своею особою до невероятности. Фелисата Михайловна даже утверждала утром (конечно, несерьезно), что она готова сесть к нему на колени, если это ему будет приятно, – «потому что он милый-милый старичок, милый до бесконечности!» Марья Александровна впилась в него своими глазами, желая хоть что-нибудь прочесть на его лице и предугадать выход из своего критического положения. Ясно было, что Мозгляков нагадил ужасно и что всё дело ее сильно колеблется. Но ничего нельзя было прочесть на лице князя. Он был такой же, как и давеча, как и всегда.

– Ах, Боже мой! вот и князь! а мы вас ждали, ждали, – закричали некоторые из дам.

– С нетерпеньем, князь, с нетерпеньем! – пропищали другие.

– Мне это чрезвычайно лест-но, – шепелявил князь, подсаживаясь к столу, на котором кипел самовар. Дамы тотчас же окружили его. Возле Марьи Александровны остались только Анна Николаевна да Наталья Дмитриевна. Афанасий Матвеич почтительно улыбался. Мозгляков тоже улыбался и с вызывающим видом глядел на Зину, которая, не обращая на него ни малейшего внимания, подошла к отцу и села возле него на кресла, близ камина.

---

[1] Это дорогой князь! (*фр.*)

– Ах, князь, правду ли говорят, что вы от нас уезжаете? – пропищала Фелисата Михайловна.

– Ну да, mesdames[1], уезжаю. Я не-мед-ленно хочу ехать за гра-ни-цу.

– За границу, князь, за границу! – вскричали все хором. – Да что это вам вздумалось?

– За гра-ни-цу, – подтвердил князь, охорашиваясь, – и, знаете, я особенно хочу туда ехать для но-вых идей.

– Как это для новых идей? Это об чем же? – говорили дамы, переглядываясь одна с другой.

– Ну да, для новых идей, – повторил князь с видом глубочайшего убеждения. – Все теперь едут для новых и-дей. Вот и я хочу получить но-вы-е и-деи.

– Да уж не в масонскую ли ложу вы хотите поступить, любезнейший дядюшка? – включил Мозгляков, очевидно желая порисоваться перед дамами своим остроумием и развязностью.

– Ну да, мой друг, ты не ошибся, – неожиданно отвечал дядюшка. – Я, дейст-ви-тельно, в старину к одной масонской ложе за границей принад-лежал и даже имел, в свою очередь, очень много великодушных идей. Я даже собирался тогда много сделать для сов-ре-мен-ного просвещения и уж совсем было положил в Франкфурте моего Сидора, которого с собой за границу повез, на волю от-пус-тить. Но он, к удивлению моему, сам бежал от меня. Чрезвычайно странный был че-ло-век. Потом вдруг встречаю его в Па-ри-же, франтом таким, в бакенах, идет по бульвару с мамзелью. Поглядел на меня, кивнул го-ло-вой. И мамзель с ним такая бойкая, востроглазая, такая за-ман-чи-вая...

– Ну, дядюшка! Да вы, после этого, всех крестьян отпустите на волю, коли этот раз за границу поедете, – вскричал Мозгляков, хохоча во всё горло.

– Ты совершенно уга-дал мои желания, мой милый, – отвечал князь без запинки. – Я именно хочу их отпустить всех на во-лю.

– Да помилуйте, князь, ведь они тотчас же все убегут от вас, и тогда кто вам будет оброк платить? – вскричала Фелисата Михайловна.

– Конечно, все разбегутся, – тревожно отозвалась Анна Николаевна.

---

[1] Сударыни (*фр.*).

– Ах, Боже мой! Не-уже-ли они и в самом деле убегут? – вскричал князь с удивлением.

– Убегут-с, тотчас же все убегут-с и вас одного и оставят-с, – подтвердила Наталья Дмитриевна.

– Ах, Боже мой! Ну так я их не от-пу-щу на волю. Впрочем, ведь это я только так.

– Эдак-то лучше, дядюшка, – скрепил Мозгляков.

До сих пор Марья Александровна слушала молча и наблюдала. Ей показалось, что князь совершенно о ней позабыл и что это вовсе не натурально.

– Позвольте, князь, – начала она громко и с достоинством, – вам отрекомендовать моего мужа, Афанасия Матвеича. Он нарочно приехал из деревни, как только услышал, что вы остановились в моем доме.

Афанасий Матвеич улыбнулся и приосанился. Ему показалось, что его похвалили.

– Ах, я очень рад, – сказал князь, – А-фа-насий Матвеич! Позвольте, я что-то при-по-минаю. А-фа-насий Мат-ве-ич. Ну да, это тот, который в деревне. Charmant, charmant, очень рад. Друг мой! – вскричал князь, обращаясь к Мозглякову, – да ведь это тот самый, помнишь, давеча еще в рифму выхо-дило. Как бишь это? Муж в дверь, а жена… ну да, в какой-то город и жена тоже по-е-хала…

– Ах, князь, да это, верно, «Муж в дверь, а жена в Тверь», тот самый водевиль, который у нас прошлого года актеры играли, – подхватила Фелисата Михайловна.

– Ну да, именно в Тверь; я всё за-бы-ваю. Charmant, charmant! Так это вы тот самый и есть? Чрезвычайно рад с вами по-зна-ко-миться, – говорил князь, не вставая с кресел и протягивая руку улыбающемуся Афанасию Матвеичу. – Ну, как ваше здоровье?

– Гм…

– Он здоров, князь, здоров, – торопливо ответила Марья Александровна.

– Ну да, это и видно, что он здо-ров. И вы всё в де-ревне? Ну, я очень рад. Да какой он крас-но-щекий, и всё смеется…

Афанасий Матвеич улыбался, кланялся и даже расшаркивался. Но при последнем замечании князя не утерпел и вдруг, ни с того ни с сего, самым

глупейшим образом прыснул от смеха. Все захохотали. Дамы визжали от удовольствия. Зина вспыхнула и сверкающими глазами посмотрела на Марью Александровну, которая, в свою очередь, разрывалась от злости. Пора было переменить разговор.

– Как вы почивали, князь? – спросила она медоточивым голосом, в то же время грозным взглядом давая знать Афанасию Матвеичу, чтоб он немедленно убирался на свое место.

– Ах, я очень хорошо спал, – отозвался князь, – и, знаете, видел один очарова-тельный сон, о-ча-ро-ватель-ный сон!

– Сон! Я ужасно люблю, когда рассказывают про сны, – вскричала Фелисата Михайловна.

– Ия тоже-с, люблю-с очень-с! – прибавила Наталья Дмитриевна.

– О-ча-ро-вательный сон, – повторял князь с сладкой улыбкой, – но зато этот сон вели-чайший секрет!

– Как, князь, неужели и рассказывать нельзя? Да это, должно быть, удивительный какой-нибудь сон? – заметила Анна Николаевна.

– Ве-ли-чайший секрет, – повторял князь, с наслаждением подзадоривая любопытство дам.

– Так это, должно быть, ужасно интересно! – кричали дамы.

– Бьюсь об заклад, что князь стоял во сне перед какой-нибудь красавицей на коленях и объяснялся в любви! – вскричала Фелисата Михайловна. – Ну, признайтесь, князь, что это правда! Миленький князь, признайтесь!

– Признайтесь, князь, признайтесь! – подхватили со всех сторон.

Князь торжественно и с упоением внимал всем этим крикам. Предложения дам чрезвычайно льстили его самолюбию, так что он чуть-чуть не облизывался.

– Хотя я и сказал, что мой сон – величайший секрет, – отвечал он наконец, – но я принужден сознаться, что вы, сударыня, к удивлению моему, почти совер-шенно его от-га-дали.

– Отгадала! – с восторгом вскричала Фелисата Михайловна. – Ну, князь! Теперь как хотите, а вы должны нам открыть, кто такая ваша красавица?

– Непременно откройте!

– Здешняя иль нет?

– Миленький князь, откройте!

– Душенька князь, откройте! хоть умрите, да откройте! – кричали со всех сторон.

– Mesdames, mesdames!., если вы уж хотите так на-сто-я-тельно знать, то я только одно могу вам открыть, что это – самая о-ча-ро-вательная и, можно сказать, самая не-по-рочная девица из всех, которых я знаю, – промямлил совершенно растаявший князь.

– Самая очаровательная! и... здешняя! кто ж бы это? – спрашивали дамы, значительно переглядываясь и перемигиваясь одна с другой.

– Разумеется, те-с, которые здесь первые красавицы считаются-с, – проговорила Наталья Дмитриевна, потирая свои красные ручищи и посматривая своими кошачьими глазами на Зину. Вместе с нею и все посмотрели на Зину.

– Так как же, князь, если вы видите такие сны, так почему ж бы вам наяву не жениться? – спросила Фелисата Михайловна, оглядывая всех значительным взглядом.

– А как бы мы славно женили вас! – подхватила другая дама.

– Миленький князь, женитесь! – пропищала третья.

– Женитесь, женитесь! – закричали со всех сторон. – Почему ж не жениться?

– Ну да... почему ж не жениться? – поддакивал князь, сбитый с толку всеми этими криками.

– Дядюшка! – вскричал Мозгляков.

– Ну да, мой друг, я тебя по-ни-маю! Я именно хотел вам сказать, mesdames, что я уже не в состоянии более жениться, и, проведя очаровательный вечер у нашей прелестной хозяйки, я завтра же отправляюсь к иеромонаху Мисаилу в пустынь, а потом уже прямо за границу, чтобы удобнее следить за евро-пей-ским про-све-щением.

Зина побледнела и с невыразимою тоскою посмотрела на мать свою. Но Марья Александровна уже решилась. До сих пор она только выжидала, испытывала, хотя и понимала, что дело слишком испорчено и что враги ее слишком обогнали ее на дороге. Наконец она поняла всё и одним разом, одним ударом решилась сокрушить стоглавую гидру. С величием встала она с кресел и твердыми шагами приблизилась к столу, гордым взглядом измеряя пигмеев-врагов своих. Огонь вдохновения блистал

в этом взгляде. Она решилась поразить, сбить с толку всех этих ядовитых сплетниц, раздавить негодяя Мозглякова как таракана и одним решительным, смелым ударом завоевать вновь всё свое потерянное влияние над идиотом князем. Разумеется, требовалась дерзость необыкновенная; но за дерзостью не в карман было ходить Марье Александровне!

– Mesdames, – начала она торжественно и с достоинством (Марья Александровна вообще чрезвычайно любила торжественность), – mesdames, я долго прислушивалась к вашему разговору, к вашим веселым и остроумным шуткам и нахожу, что пора мне сказать свое слово. Вы знаете, мы собрались здесь все вместе – совершенно случайно (и я так рада, так этому рада)... Никогда бы я, первая, не решилась высказать важную семейную тайну и разгласить ее прежде, чем требует самое обыкновенное чувство приличия. В особенности прошу извинения у моего милого гостя; но мне показалось, что он сам, отдаленными намеками на то же самое обстоятельство, подает мне мысль, что ему не только не будет неприятно формальное и торжественное объявление нашей семейной тайны, но что даже он желает этого разглашения... Не правда ли, князь, я не ошиблась?

– Ну да, вы не ошиблись... и я очень, очень рад... – проговорил князь, совершенно не понимая, о чем идет дело.

Марья Александровна, для большего эффекта, остановилась перевести дух и оглядела всё общество. Все гостьи с алчным и беспокойным любопытством вслушивались в слова ее. Мозгляков вздрогнул; Зина покраснела и привстала с кресел; Афанасий Матвеич в ожидании чего-то необыкновенного на всякий случай высморкался.

– Да, mesdames, я с радостию готова поверить вам мою семейную тайну. Сегодня после обеда князь, увлеченный красотою и... достоинствами моей дочери, сделал ей честь своим предложением. Князь! – заключила она дрожащим от слез и от волнения голосом, – милый князь, вы не должны, вы не можете сердиться на меня за мою нескромность! Только чрезвычайная семейная радость могла преждевременно вырвать из моего сердца эту милую тайну, и... какая мать может обвинить меня в этом случае?

Не нахожу слов, чтоб изобразить эффект, произведенный неожиданною выходкой Марьи Александровны. Все как будто оцепенели от изумления. Вероломные гостьи, думавшие напугать Марью Александ-

ровну тем, что они уже знают ее тайну, думавшие убить ее преждевременным обнаружением этой тайны, думавшие растерзать ее покамест только одними намеками, были ошеломлены такою смелою откровенностию. Такая бесстрашная откровенность обозначала в себе силу. «Стало быть, князь действительно, своею собственною волею, женится на Зине? Стало быть, не завлекали его, не опаивали, не обманывали? Стало быть, не потаенным, не воровским образом его заставляют жениться? Стало быть, Марья Александровна никого не боится? Стало быть, нельзя уже разбить эту свадьбу, коли князь не по принуждению женится?» Послышался мгновенный шепот, превратившийся вдруг в визгливые крики радости. Первая бросилась обнимать Марью Александровну Наталья Дмитриевна; за ней Анна Николаевна, за этой Фелисата Михайловна. Все вскочили с своих мест, все перемешались. Многие из дам были бледны от злости. Стали поздравлять сконфуженную Зину; уцепились даже за Афанасия Матвеича. Марья Александровна живописно простерла руки и, почти насильно, заключила свою дочь в объятия. Один князь смотрел на всю эту сцену с каким-то странным удивлением, хотя и улыбался по-прежнему. Впрочем, сцена ему отчасти понравилась. При объятиях матери с дочерью он вынул платок и утер свой глаз, на котором показалась слезинка. Разумеется, бросились и к нему с поздравлениями.

– Поздравляем, князь! поздравляем! – кричали со всех сторон.

– Так вы женитесь?

– Так вы действительно женитесь?

– Миленький князь, так вы женитесь?

– Ну да, ну да, – отвечал князь, чрезвычайно довольный поздравлениями и восторгами, – и, признаюсь вам, что мне всего более нравится ваше милое учас-тие ко мне, которое я ни-ког-да не забуду, ни-когда не забуду. Charmant! charmant! вы даже про-сле-зили меня...

– Поцелуйте меня, князь! – громче всех кричала Фелисата Михайловна.

– И, признаюсь вам, – продолжал князь, прерываемый со всех сторон, – я наиболее удивляюсь тому, что Марья Ивано-вна, наша почтенпая хозяйка, с такою необык-но-вен-ною проницательностью угадала мой сон. Точно как будто она вместо меня его ви-дела. Необыкновен-ная проницательность! Не-обык-но-венная проницательность!

– Ах, князь, вы опять за сон?

– Да уж признайтесь, князь, признайтесь! – кричали все, обступив его.

– Да, князь, скрываться нечего, пора обнаружить эту тайну, – решительно и строго сказала Марья Александровна. – Я поняла вашу тонкую аллегорию, вашу очаровательную деликатность, с которою вы старались мне намекнуть о желании вашем огласить ваше сватовство. Да, mesdames, это правда: сегодня князь стоял на коленях перед моею дочерью и наяву, а не во сне, сделал ей торжественное предложение.

– Совершенно как будто наяву и даже с теми самыми об-сто-я-тельствами, – подтвердил князь. – Мадмуазель, – продолжал он, с необыкновенною вежливостью обращаясь к Зине, которая всё еще не пришла в себя от изумления, – мадмуазель! Клянусь, что никогда бы я не осмелился произнести ваше имя, если б другие раньше меня не про-из-нес-ли его. Это был очарова-тельный сон, оча-ро-вательный сон, и я вдвойне счастлив, что мне позволено вам теперь это выс-ка-зать. Charmant! charmant!..

– Но, помилуйте, как же это? Ведь он всё говорит про сон, – прошептала Анна Николаевна встревоженной и слегка побледневшей Марье Александровне. Увы! У Марьи Александровны, и без этих предостережений, давно уже ныло и трепетало сердце.

– Как же это? – шептали дамы, переглядываясь одна с другой.

– Помилуйте, князь, – начала Марья Александровна с болезненно искривившеюся улыбкою, – уверяю вас, что вы меня удивляете. Что за странная у вас идея про сон? Признаюсь вам, я думала до сих пор, что вы шутите, но... Если это шутка, то это довольно неуместная шутка... Я хочу, я желаю приписать это вашей рассеянности, но...

– В самом деле, это, может быть, у них от рассеянности-с, – прошипела Наталья Дмитриевна.

– Ну да... может быть, это и от рассеян-ности, – подтвердил князь, всё еще не совсем понимая, чего от него добиваются. – И вообразите, я вам расскажу сейчас один а-нек-дот. Зовут меня, в Петербурге, на по-хороны, так, к одним людям, maison bourgeoise, mais honnête[1], а я и смешал, что на именины. Именины-то еще на прошлой неде-ле прош-ли. Букет

[1] Мещанское, но порядочное семейство (*фр.*).

из камелий име-нин-нице приготовил. Вхожу, и что ж вижу? Человек почтенный, солидный – лежит на столе, так что я уди-вился. Я просто не знал, куда деваться с бу-кетом.

– Но, князь, дело не в анекдотах! – с досадою перебила Марья Александровна. – Конечно, моей дочери нечего гнаться за женихами, но давеча вы сами здесь, у этого рояля, сделали ей предложение. Я не вызывала вас на это... Это меня, можно сказать, фраппировало... Разумеется, у меня мелькнула только одна мысль, и я отложила это всё до вашего пробуждения. Но я – мать; она – дочь моя... Вы сами говорили сейчас о каком-то сне, и я думала, вы, под видом аллегории, хотите рассказать о вашей помолвке. Я очень хорошо знаю, что вас, может быть, сбивают... я даже подозреваю, кто именно... но... объяснитесь, князь, объяснитесь скорее, удовлетворительнее. Так нельзя шутить с благородным домом...

– Ну да, так нельзя шутить с благородным домом, – поддакнул князь бессознательно, но уже начиная понемногу беспокоиться.

– Но это не ответ, князь, на мой вопрос. Я прошу вас отвечать положительно; подтвердите, сейчас же подтвердите здесь, при всех, что вы делали давеча предложение моей дочери.

– Ну да, я готов подтвердить. Впрочем, я всё это уже рассказывал, и Фелисата Яковлевна совершенно угадала мой сон.

– Не сон! не сон! – закричала в ярости Марья Александровна, – не сон, а это было наяву, князь, наяву, слышите ли, наяву!

– Наяву! – вскричал князь, в удивлении подымаясь с кресел. – Ну, друг мой! как ты давеча напророчил, так и вышло! – прибавил он, обращаясь к Мозглякову. – Но уверяю вас, почтенная Марья Степановна, что вы заблуждаетесь! Я совершенно уверен, что я это видел только во сне!

– Господи помилуй! – вскрикнула Марья Александровна.

– Не убивайтесь, Марья Александровна, – вступилась Наталья Дмитриевна. – Князь, может быть, как-нибудь позабыли-с. Они вспомнят-с.

– Я удивляюсь вам, Наталья Дмитриевна, – с негодованием возразила Марья Александровна, – разве такие вещи забываются? разве это можно забывать? Помилуйте, князь! Вы смеетесь над нами иль нет? Или вы корчите, может быть, из себя одного из шематонов времен регентства, которых изображает Дюма? какого-нибудь Ферлакура, Лозёна? Но, кроме

того, что это вам не по летам, уверяю вас, что это вам не удастся! Моя дочь не французская виконтесса. Давеча здесь, вот здесь, она вам пела романс, и вы, увлеченные ее пеньем, опустились на колени и сделали ей предложение. Неужели я грежу? Неужели я сплю? Говорите, князь: сплю я иль нет?

– Ну да... а, впрочем, может быть, нет... – отвечал растерявшийся князь. – Я хочу сказать, что я теперь, кажется, не во сне. Я, видите ли, давеча был во сне, а потому видел сон, что во сне...

– Фу ты, Боже мой, что это такое: не во сне – во сне, во сне – не во сне! да это черт знает что такое! Вы бредите, князь, или нет?

– Ну да, черт знает... впрочем, я, кажется, уж совсем теперь сбился... – проговорил князь, вращая кругом беспокойные взгляды.

– Но как же вы могли видеть во сне, – убивалась Марья Александровна, – когда я, вам же, с такими подробностями, рассказываю ваш собственный сон, тогда как вы его еще никому из нас не рассказывали?

– Но, может быть, князь уж кому-нибудь и рассказывали-с, – проговорила Наталья Дмитриевна.

– Ну да, может быть, я кому-нибудь и рассказывал, – подтвердил совершенно потерявшийся князь.

– Вот комедия-то! – шепнула Фелисата Михайловна своей соседке.

– Ах ты, Боже мой! да тут всякое терпенье лопнет! – кричала Марья Александровна, в исступлении ломая руки. – Она вам пела романс, романс пела! Неужели вы и это во сне видели?

– Ну да, и в самом деле как будто пела романс, – пробормотал князь в задумчивости, и вдруг какое-то воспоминание оживило лицо его.

– Друг мой! – вскричал он, обращаясь к Мозглякову. – Я и забыл тебе давеча сказать, что ведь и вправду был какой-то романс и в этом романсе были всё какие-то замки, так что очень много было замков, а потом был какой-то трубадур! Ну да, я это всё помню... так что я и заплакал... А теперь вот и затрудняюсь, точно это и в самом деле было, а не во сне...

– Признаюсь вам, дядюшка, – отвечал Мозгляков сколько можно спокойнее, хотя голос его и дрожал от какой-то тревоги, – признаюсь вам, мне кажется, всё это очень легко уладить и согласить. Мне кажется, вы действительно слышали пение. Зинаида Афанасьевна поет прекрасно. После обеда вас отвели сюда, и Зинаида Афанасьевна вам спела романс.

Меня тогда не было, но вы, вероятно, расчувствовались, вспомнили старину; может быть, вспомнили о той самой виконтессе, с которой вы сами когда-то пели романсы и о которой вы же сами нам утром рассказывали. Ну, а потом, когда легли спать, вам, вследствие приятных впечатлений, и приснилось, что вы влюблены и делаете предложение...

Марья Александровна была просто оглушена такою дерзостью.

– Ах, мой друг, ведь это и в самом деле так было, – закричал князь в восторге. – Именно вследствие приятных впечатлений! Я действительно помню, как мне пели романс, а я за это во сне и захотел жениться. И виконтесса тоже была... Ах, как ты умно это распутал, мой милый! Ну! я теперь совершенно уверен, что всё это видел во сне! Марья Васильевна! Уверяю вас, что вы ошибаетесь! Это было во сне. Иначе я не стал бы играть вашими благородными чувствами...

– А! теперь я вижу ясно, кто тут нагадил! – закричала Марья Александровна вне себя от бешенства, обращаясь к Мозглякову. – Это вы, сударь, вы, бесчестный человек, вы всё это наделали! вы взбаламутили этого несчастного идиота за то, что вам самим отказали! Но ты заплатишь мне, мерзкий человек, за эту обиду! Заплатишь, заплатишь, заплатишь!

– Марья Александровна, – кричал Мозгляков в свою очередь, покраснев как рак, – ваши слова до такой степени... Я уж и не знаю, до какой степени ваши слова... Ни одна светская дама не позволит себе... я, по крайней мере, защищаю моего родственника. Согласитесь сами, так завлекать...

– Ну да, так завлекать... – поддакивал князь, стараясь спрятаться за Мозглякова.

– Афанасий Матвеич! – взвизгнула Марья Александровна каким-то неестественным голосом. – Неужели вы не слышите, как нас срамят и бесчестят? Или вы уже совершенно избавили себя от всяких обязанностей? Или вы и в самом деле не отец семейства, а отвратительный деревянный столб? Что вы глазами-то хлопаете? Другой муж давно бы уже кровью смыл обиду своего семейства!..

– Жена! – с важностью начал Афанасий Матвеич, гордясь тем, что и в нем настала нужда, – жена! Да уж не видала ль ты и в самом деле всё это во сне, а потом, как проспалась, так и перепутала всё, по-свойски...

Но Афанасию Матвеичу не суждено было докончить свою остроумную догадку. До сих пор еще гостьи удерживались и коварно принимали на себя вид какой-то чинной солидности. Но тут громкий залп самого неудержимого смеха огласил всю комнату. Марья Александровна, забыв все приличия, бросилась было на своего супруга, вероятно затем, чтоб немедленно выцарапать ему глаза. Но ее удержали силою. Наталья Дмитриевна воспользовалась обстоятельствами и хоть капельку, да подлила еще яду.

– Ах, Марья Александровна, может быть, оно и в самом деле так было-с, а вы убиваетесь, – проговорила она самым медоточивым голосом.

– Как было? что такое было? – кричала Марья Александровна, не понимая еще хорошенько.

– Ах, Марья Александровна, ведь это иногда и бывает-с...

– Да что такое бывает? Жилы вы из меня, что ли, тянуть хотите?

– Может быть, вы и в самом деле видели это во сне-с.

– Во сне? я? во сне? И вы смеете мне это говорить прямо в глаза?

– Что ж, может быть, и в самом деле так было, – отозвалась Фелисата Михайловна.

– Ну да, может быть, и в самом деле так было, – пробормотал тоже князь.

– И он, и он туда же! Господи Боже мой! – вскричала Марья Александровна, всплеснув руками.

– Как вы убиваетесь, Марья Александровна! Вспомните-с, что сны ниспосылаются Богом-с. Уж коли Бог захочет-с, так уж никто как Бог-с, и на всем Его святая воля-с лежит-с. Сердиться тут уж нечего-с.

– Ну да, сердиться нечего, – поддакивал князь.

– Да вы меня за сумасшедшую принимаете, что ли? – едва проговорила Марья Александровна, задыхаясь от злости. Это уже было свыше сил человеческих. Она поспешила отыскать стул и упала в обморок. Поднялась суматоха.

– Это они из приличия-с в обморок упали-с, – шепнула Наталья Дмитриевна Анне Николаевне.

Но в эту минуту, в минуту высочайшего недоумения публики и напряжения всей этой сцены, вдруг выступило одно, безмолвное доселе, лицо – и вся сцена немедленно изменилась в своем характере...

ГЛАВА XIV

Зинаида Афанасьевна, вообще говоря, была чрезвычайно романтического характера. Не знаем, оттого ли, как уверяла сама Марья Александровна, что слишком начиталась «этого дурака» Шекспира с «своим учителишкой», но никогда, во всю мордасовскую жизнь свою, Зина еще не позволяла себе такой необыкновенно романической или, лучше сказать, героической выходки, как та, которую мы сейчас будем описывать.

Бледная, с решимостью во взгляде, но почти дрожащая от волнения, чудно-прекрасная в своем негодовании, она выступила вперед. Обводя всех долгим вызывающим взглядом, она посреди наставшего вдруг безмолвия обратилась к матери, которая при первом ее движении тотчас же очнулась от обморока и открыла глаза.

– Маменька! – сказала Зина, – к чему обманывать? К чему еще ложью пятнать себя? Всё уже до того загрязнено теперь, что, право, не стоит унизительного труда прикрывать эту грязь!

– Зина! Зина! что с тобою? опомнись! – вскричала испуганная Марья Александровна, вскочив с своих кресел...

– Я вам сказала, я вам сказала заранее, маменька, что я не вынесу всего этого позора, – продолжала Зина. – Неужели же непременно надо еще более унижаться, еще более грязнить себя? Но знайте, маменька, что я всё возьму на себя, потому что я виновнее всех. Я, я своим согласием дала ход этой гадкой... интриге! Вы – мать; вы меня любите; вы думали по-своему, по своим понятиям, устроить мое счастье. Вас еще можно простить; но меня, меня – никогда!

– Зина, неужели ты хочешь рассказывать?.. О Боже! я предчувствовала, что этот кинжал не минует моего сердца!

– Да, маменька, всё расскажу! Я опозорена, вы... мы все опозорены!..

– Ты преувеличиваешь, Зина! ты вне себя и не помнишь, что говоришь! и к чему же рассказывать? Тут смысла нет... Стыд не на нас... Я докажу сейчас, что стыд не на нас...

– Нет, маменька, – вскричала Зина с злобным дрожанием в голосе, – я не хочу более молчать перед этими людьми, мнением которых презираю и которые приехали смеяться над нами! Я не хочу сносить от них обид; ни одна из них не имеет права бросить в меня грязью. Все они готовы

сейчас же сделать в тридцать раз хуже, чем я или вы! Смеют ли, могут ли они быть нашими судьями?

– Вот прекрасно! Вот как заговорила! Это что же! Это нас обижают! – послышалось со всех сторон.

– Да они и впрямь сами не понимают, что говорят-с, – проговорила Наталья Дмитриевна.

Заметим в скобках, что Наталья Дмитриевна сказала справедливо. Если Зина не считала этих дам достойными судить себя, зачем же было и выходить к ним с такою огласкою, с такими признаниями? Вообще Зинаида Афанасьевна чрезвычайно поторопилась. Таково было впоследствии мнение самых лучших голов в Мордасове. Всё бы могло быть исправлено! Всё бы могло быть улажено! Правда, и Марья Александровна сама себе подгадила в этот вечер своею поспешностию и заносчивостью. Стоило только насмеяться над идиотом старикашкой да и выгнать его вон! Но Зина, как нарочно, вопреки здравому смыслу и мордасовской мудрости, обратилась к князю.

– Князь, – сказала она старику, который даже привстал из почтения со стула, – так поразила она его в эту минуту. – Князь! простите меня, простите нас! мы обманули, мы завлекли вас...

– Да замолчишь ли ты, несчастная! – в исступлении вскричала Марья Александровна.

– Сударыня! сударыня! ma charmante enfant...[1] – бормотал пораженный князь.

Но гордый, порывистый и, в высшей степени, мечтательный характер Зины увлекал ее в эту минуту из среды всех приличий, требуемых действительностью. Она забыла даже о своей матери, которую корчили судороги от ее признаний.

– Да, мы обманули вас обе, князь: маменька тем, что решилась заставить вас жениться на мне, а я тем, что согласилась на это. Вас напоили вином, я согласилась петь и кривляться перед вами. Вас – слабого, беззащитного – *облапошили,* как выразился Павел Александрович, облапошили из-за вашего богатства, из-за вашего княжества. Всё это было ужасно низко, и я каюсь в этом. Но клянусь вам, князь, что я решилась

[1] Мое милое дитя (*фр.*).

на эту низость не из низкого побуждения. Я хотела... Но что я! двойная низость оправдывать себя в таком деле! Но объявляю вам, князь, что я, если б и взяла от вас что-нибудь, то была бы за это вашей игрушкой, служанкой, плясуньей, рабой... я поклялась и свято бы сдержала клятву мою!..

Сильный горловой спазм остановил ее в эту минуту. Все гостьи как будто оцепенели и слушали, выпуча глаза. Неожиданная и совершенно непонятная им выходка Зины сбила их с толку. Один князь был тронут до слез, хотя и половины не понимал из того, что сказала Зина.

– Но я женюсь на вас, ma belle enfant[1], если уж вы так хо-ти-те, – бормотал он, – и это для меня будет боль-шая честь! Только уверяю вас, что это был действи-тельно как будто бы сон... Ну, мало ли что я увижу во сне? К чему же так бес-по-коиться? Я даже как будто ничего и не понял, mon ami, – продолжал он, обращаясь к Мозглякову, – объясни мне хоть ты, пожа-луй-ста...

– А вы, Павел Александрович, – подхватила Зина, тоже обращаясь к Мозглякову, – вы, на которого я одно время решилась было смотреть как на моего будущего мужа, вы, который теперь мне так жестоко отомстили, – неужели и вы могли примкнуть к этим людям, чтоб растерзать и опозорить меня? И вы говорили, что любили меня! Но не мне читать вам нравоучения! Я виновнее вас. Я оскорбила вас, потому что действительно манила вас обещаниями и мои давешние доказательства были ложь и хитросплетения! Я вас никогда не любила, и если решалась выйти за вас, то единственно, чтоб хоть куда-нибудь уйти отсюда, из этого проклятого города, и избавиться от всего этого смрада... Но, клянусь вам, выйдя за вас, я была бы вам доброй и верной женой... Вы жестоко отмстили мне, и, если это льстит вашей гордости...

– Зинаида Афанасьевна! – вскричал Мозгляков.

– Если до сих пор вы питаете ко мне ненависть...

– Зинаида Афанасьевна!!

– Если когда-нибудь, – продолжала Зина, давя в себе слезы, – если когда-нибудь вы любили меня...

– Зинаида Афанасьевна!!!

– Зина, Зина! дочь моя! – вопила Марья Александровна.

---

[1] Мое прелестное дитя (*фр.*).

– Я подлец, Зинаида Афанасьевна, я подлец и больше ничего! – скрепил Мозгляков, и всё пришло в ужаснейшее волнение. Поднялись крики удивления, негодования, но Мозгляков стоял как вкопанный, без мысли и без голосу...

Для слабых и пустых характеров, привыкших к постоянной подчиненности и решающихся наконец взбеситься и протестовать, одним словом, быть твердыми и последовательными, всегда существует черта, – близкий предел их твердости и последовательности. Протест их бывает вначале обыкновенно самый энергический. Энергия их даже доходит до исступления. Они бросаются на препятствия, как-то зажмурив глаза, и всегда почти не по силам берут себе ношу на плечи. Но, дойдя до известной точки, взбешенный человек вдруг как будто сам себя испугается, останавливается, как ошеломленный, с ужасным вопросом: «Что это я такое наделал?» Потом немедленно раскисает, хнычет, требует объяснений, становится на колени, просит прощения, умоляет, чтоб всё было по-старому, но только поскорее, как можно поскорее!.. Почти то же самое случилось теперь с Мозгляковым. Выйдя из себя, взбесившись, накликав беду, которую он уже всю целиком приписывал теперь одному себе, насытив свое негодование и самолюбие и себя же возненавидев за это, он вдруг остановился, убитый совестью, перед неожиданной выходкой Зины. Последние слова ее добили его окончательно. Перескочить из одной крайности в другую было делом одной минуты.

– Я – осел, Зинаида Афанасьевна! – вскричал он в порыве исступленного раскаяния. – Нет! что осел? Осел еще ничего! Я несравненно хуже осла! Но я вам докажу, Зинаида Афанасьевна, я вам докажу, что и осел может быть благородным человеком!.. Дядюшка! я обманул вас! Я, я, я обманул вас! Вы не спали; вы действительно наяву делали предложение, а я, я, подлец, из мщения, что мне отказали, уверил вас, что вы видели всё это во сне.

– Удивительно любопытные вещи-с открываются-с, – прошипела Наталья Дмитриевна на ухо Анне Николаевне.

– Друг мой, – отвечал князь, – ус-по-койся, но-жалуй-ста; ты меня, право, испугал своим кри-ком. Уверяю тебя, что ты о-ши-ба-ешься... Я, пожалуй, готов жениться, если уж так на-до; но ведь ты сам же уверял меня, что это было только во сне...

– О, как уверить мне вас! Научите меня, как мне уверить его теперь! Дядюшка, дядюшка! Ведь это важная вещь, важнейшее фамильное дело! Сообразите! подумайте!

– Друг мой, изволь, я по-ду-маю. Постой, дай же мне вспомнить всё по поряд-ку. Сначала я видел кучера Фе-о-фи-ла...

– Э! не до Феофила теперь, дядюшка!

– Ну да, положим, что теперь не до не-го. Потом был На-по-ле-он, а потом как будто мы чай пили и какая-то дама пришла и весь сахар у нас поела...

– Но, дядюшка, – брякнул Мозгляков в затмении ума своего, – ведь это сама Марья Александровна рассказывала вам давеча про Наталью Дмитриевну! Ведь я тут же был, я сам это слышал! Я спрятался и смотрел на вас в дырочку...

– Как, Марья Александровна, – подхватила Наталья Дмитриевна, – так вы уж и князю рассказывали-с, что я у вас сахар украла из сахарницы! Так я к вам сахар воровать езжу-с!

– Прочь от меня! – закричала Марья Александровна, доведенная до отчаяния.

– Нет, не прочь, Марья Александровна, вы эдак не смеете говорить-с, а стало быть, я у вас сахар краду-с? Я давно слышала, что вы про меня такие гнусности распускаете-с. Мне Софья Петровна подробно рассказывала-с... Так я у вас сахар краду-с?..

– Но, mesdames, – закричал князь, – ведь это было только во сне! Ну, мало ли что я увижу во сне?..

– Кадушка проклятая, – пробормотала вполголоса Марья Александровна.

– Как, я и кадушка-с! – взвизгнула Наталья Дмитриевна. – А вы кто такая-с? Я давно знаю, что вы меня кадушкой зовете-с! У меня, по крайней мере, муж у меня-с, а у вас-то дурак-с...

– Ну да, я помню, была и ка-ду-шка, – пробормотал бессознательно князь, припоминая давешний разговор с Марьей Александровной.

– Как, и вы туда же дворянку бранить-с? Как вы смеете, князь, дворянку бранить-с? Коли я кадушка, так вы безногие-с...

– Кто, я безногий?

– Ну да, безногие-с, да еще и беззубые-с, вот вы какие-с!

– Да еще и одноглазый! – закричала Марья Александровна.

– У вас корсет вместо ребер-с! – прибавила Наталья Дмитриевна.

– Лицо на пружинах!

– Волос своих нет-с!..

– И усишки-то, у дурака, накладные, – скрепила Марья Александровна.

– Да хоть нос-то оставьте мне, Марья Степановна, насто-ящий! – вскричал князь, ошеломленный такими внезапными откровенностями. – Друг мой! Это ты меня продал! Это ты рассказал, что волосы у меня нак-лад-ные...

– Дядюшка!

– Нет, мой друг, я уже более не могу здесь оста-ваться. Уведи ты меня куда-нибудь... quelle société![1] Куда это ты завел меня, Бо-же мой?

– Идиот! подлец! – кричала Марья Александровна.

– Боже ты мой! – говорил бедный князь, – я вот только не-много за-был, зачем я сюда приехал, но я сей-час вспом-ню. Уведи ты меня, братец, куда-ни-будь, а то меня растерзают! Притом же... мне не-медленно надо записать одну новую мысль...

– Пойдемте, дядюшка, еще не поздно; я вас тотчас же перевезу в гостиницу и сам перееду с вами...

– Ну да, в гос-ти-ницу. Adieu, ma charmante enfant[2]... вы одна... вы только одна... доб-родетельны. Вы бла-го-род-ная девушка! Пойдем же, мой милый. О Боже мой!

Но не стану описывать окончания неприятной сцены, бывшей по выходе князя. Гости разъехались с визгами и ругательствами. Марья Александровна осталась наконец одна, среди развалин и обломков своей прежней славы. Увы! сила, слава, значение – всё исчезло в один этот вечер! Марья Александровна понимала, что уже не подняться ей по-прежнему. Долгий, многолетний ее деспотизм над всем обществом окончательно рушился. Что оставалось ей теперь? – философствовать? Но она не философствовала. Она пробесилась всю ночь. Зина обесчещена, сплетни пойдут бесконечные! Ужас!

---

[1] Какое общество! (*фр.*)

[2] Прощайте, мое прелестное дитя! (*фр.*)

Как верный историк, я должен упомянуть, что всех более в этом похмелье досталось Афанасию Матвеичу, который забился наконец куда-то в чулан и в нем промерз до утра. Наступило наконец и утро, но и оно не принесло ничего хорошего. Беда никогда одна не приходит...

ГЛАВА XV

Если судьба обрушится раз на кого бедою, то ударам ее и конца не бывает. Это давно замечено. Мало было одного вчерашнего позора и срама для Марьи Александровны! Нет! судьба ей готовила побольше и получше.

Еще до десяти часов утра по всему городу вдруг распространился один странный и почти невероятный слух, встреченный всеми с самою злобною и ожесточенною радостью, – как и обыкновенно встречаем мы все всякий необыкновенный скандал, случившийся с кем-нибудь из наших ближних. «До такой степени потерять стыд и совесть! – кричали со всех сторон, – до такой степени унизиться, пренебречь все приличия, до такой степени распустить все узы!» и проч, и проч. Вот что, однако же, случилось. Рано утром, чуть ли еще не в седьмом часу, одна бедная, жалкая старуха, в отчаянии и в слезах, прибежала в дом Марьи Александровны и умоляла горничную как можно скорее разбудить барышню, одну только барышню, потихоньку, чтоб как-нибудь не узнала Марья Александровна. Зина, бледная и убитая, выбежала к старухе немедленно. Та упала ей в ноги, целовала их, обливала слезами и молила немедленно сходить с ней к ее больному Васе, который всю ночь был так труден, так труден, что, может, и дня больше не проживет. Старуха говорила Зине рыдая, что сам Вася зовет ее к себе проститься в предсмертный час, заклинает ее всеми святыми ангелами, всем, что было прежде, и что если она не придет, то он умрет с отчаянием. Зина тотчас же решилась идти, несмотря на то что исполнение такой просьбы явно бы подтвердило все прежние озлобленные слухи о перехваченной записке, о скандалезном ее поведении и проч. Не сказавшись матери, она накинула на себя салоп и тотчас же побежала со старухой, через весь город, в одну из самых бедных слободок Мордасова, в самую глухую улицу, где стоял один ветхий, покривившийся и вросший в землю домишка, с какими-то щелочками вместо окон и обнесенный сугробами снегу со всех сторон.

В этом домишке, в маленькой, низкой и затхлой комнатке, в которой огромная печь занимала ровно половину всего пространства, на дощатой некрашеной кровати, на тонком, как блин, тюфяке лежал молодой человек, покрытый старой шинелью. Лицо его было бледное и изможденное, глаза блистали болезненным огнем, руки были тонки и сухи, как палки; дышал он трудно и хрипло. Заметно было, что когда-то он был хорош собою; но болезнь исказила тонкие черты его красивого лица, на которое страшно и жалко было взглянуть, как на лицо всякого чахоточного или, вернее сказать, умирающего. Его старуха мать, которая целый год, чуть ли не до последнего часу, ждала воскресения своего Васеньки, увидала наконец, что он не жилец в этом мире. Она стояла теперь над ним, убитая горем, сложив руки, без слез, глядела на него и не нагляделась и все-таки не могла понять, хоть и знала это, что чрез несколько дней ее ненаглядного Васю закроет мерзлая земля, там, под сугробами снегу, на бедном кладбище. Но Вася не на нее смотрел в эту минуту. Всё лицо его, исхудалое и страдальческое, дышало теперь блаженством. Он видел наконец перед собою ту, которая снилась ему целые полтора года, и наяву и во сне, в продолжение долгих тяжелых ночей его болезни. Он понял, что она простила его, явясь к нему как ангел Божий в предсмертный час. Она сжимала его руки, плакала над ним, улыбалась ему, опять смотрела на него своими чудными глазами, и – всё прежнее, невозвратное воскресло вновь в душе умирающего. Жизнь загорелась снова в его сердце и, казалось, оставляя его, хотела дать почувствовать страдальцу, как тяжело расставаться с нею.

– Зина, – говорил он, – Зиночка! Не плачь надо мной, не тужи, не тоскуй, не напоминай мне, что я скоро умру. Я буду смотреть на тебя, – вот так, как теперь смотрю, – буду чувствовать, что наши души опять вместе, что ты простила меня, буду опять целовать твои руки, как прежде, и умру, может быть не приметив смерти! Похудела ты, Зиночка! Ангел ты мой, с какой добротой ты на меня теперь смотришь! А помнишь, как ты прежде смеялась? помнишь... Ах, Зина, я не прошу у тебя прощения, я и поминать не хочу о том, что было, – потому, Зиночка, потому, что хоть ты, может быть, и простила меня, но я сам никогда себе не прощу. Были долгие ночи, Зина, бессонные, ужасные ночи, и в эти ночи, вот на этой самой кровати, я лежал и думал, долго, много передумал, и давно

уже решил, что мне лучше умереть, ей-Богу, лучше!.. Я не годился жить, Зиночка!

Зина плакала и безмолвно сжимала его руки, как будто хотела этим остановить его.

– Что ты плачешь, мой ангел? – продолжал больной. – О том, что я умираю, об этом только? Но ведь всё прочее давно уже умерло, давно схоронено! Ты умнее меня, ты чище сердцем и потому давно знаешь, что я дурной человек. Разве ты можешь еще любить меня? И чего мне стоило перенесть эту мысль, что ты знаешь, что я дурной и пустой человек! А самолюбия-то сколько тут было, может быть и благородного... не знаю! Ах, друг мой, вся моя жизнь была мечта. Я всё мечтал, всегда мечтал, а не жил, гордился, толпу презирал, а чем я гордился перед людьми? и сам не знаю. Чистотой сердца, благородством чувств? Но ведь всё это было в мечтах, Зина, когда мы читали Шекспира, а как дошло до дела, я и выказал мою чистоту и благородство чувств...

– Полно, – говорила Зина, – полно!., всё это не так, напрасно... ты убиваешь себя!

– Что ты останавливаешь меня, Зина! Знаю, ты простила меня, и давно, может быть, простила; но ты судила меня и поняла – кто я таков; вот это-то меня и мучит. Недостоин я твоей любви, Зина! Ты и на деле была честная и великодушная: ты пошла к матери и сказала, что выйдешь за меня и ни за кого другого, и сдержала бы слово, потому что у тебя слово не рознилось с делом. А я, я! Когда дошло до дела... Знаешь ли, Зиночка, что ведь я даже не понимал тогда, чем ты жертвуешь, выходя за меня! Я не мог даже того понять, что, выйдя за меня, ты, может быть, умерла бы с голоду. Куда, и мысли не было! Я ведь думал только, что ты выходишь за меня, за великого поэта (за будущего то есть), не хотел понимать тех причин, которые ты выставляла, прося повременить свадьбой, мучил тебя, тиранил, упрекал, презирал, и дошло наконец до угрозы моей тебе этой запиской. Я даже и не подлец был в ту минуту. Я просто был дрянь человек! О, как ты должна была презирать меня! Нет, хорошо, что я умираю! Хорошо, что ты за меня не вышла! Ничего бы я не понял из твоего пожертвования, мучил бы тебя, истерзал бы тебя за нашу бедность; прошли бы года, – куда! – может быть, и возненавидел бы тебя, как помеху в жизни. А теперь лучше! Теперь, по крайней мере, горькие слезы

мои очистили во мне сердце. Ах! Зиночка! Люби меня хоть немножко, так, как прежде любила! Хоть в этот последний час... Я ведь знаю, что я недостоин любви твоей, но... но... о ангел ты мой!

Во всю эту речь Зина, рыдая сама, несколько раз его останавливала. Но он не слушал ее; его мучило желание высказаться, и он продолжал говорить, хотя с трудом, задыхаясь, хриплым, удушливым голосом.

– Не встретил бы ты меня, не полюбил бы меня, так остался бы жить! – сказала Зина. – Ах, зачем, зачем мы сошлись вместе!

– Нет, друг мой, нет, не укоряй себя в том, что я умираю, – продолжал больной. – Во всем я один виноват! Самолюбия-то сколько тут было! романтизма! Рассказывали ль тебе подробно мою глупую историю, Зина? Видишь ли, был тут третьего года один арестант, подсудимый, злодей и душегубец; но когда пришлось к наказанию, он оказался самым малодушным человеком. Зная, что больного не выведут к наказанию, он достал вина, настоял в нем табаку и выпил. С ним началась такая рвота с кровью и так долго продолжалась, что повредила ему легкие. Его перенесли в больницу, и через несколько месяцев он умер в злой чахотке. Ну вот, ангел мой, я и вспомнил про этого арестанта в тот самый день... ну, знаешь, после записки-то... и решился так же погубить себя. Но как бы ты думала, почему я выбрал чахотку? почему я не удавился, не утопился? побоялся скорой смерти? Может быть, и так, – но всё мне как-то мерещится, Зиночка, что и тут не обошлось без сладких романтических глупостей! Все-таки у меня была тогда мысль: как это красиво будет, что вот я буду лежать на постели, умирая в чахотке, а ты всё будешь убиваться, страдать, что довела меня до чахотки; сама придешь ко мне с повинною, упадешь предо мной на колени... Я прощаю тебя, умирая на руках твоих... Глупо, Зиночка, глупо, не правда ли?

– Не поминай об этом! – сказала Зина, – не говори этого! ты не такой... будем лучше вспоминать о другом, о нашем хорошем, счастливом!

– Горько мне, друг мой, оттого и говорю. Полтора года я тебя не видал! Душу бы, кажется, перед тобой теперь выложил! Ведь всё то время, с тех пор, я был один-одинешенек, и, кажется, минуты не было, чтоб не думал я о тебе, ангел мой ненаглядный! И знаешь что, Зиночка? как мне хотелось что-нибудь сделать, как-нибудь так заслужить, чтоб заставить тебя переменить обо мне твое мнение. До последнего времени я не верил,

что я умру; ведь меня не сейчас свалило, долго я ходил с больной грудью. И сколько смешных у меня было предположений! Мечтал я, например, сделаться вдруг каким-нибудь величайшим поэтом, напечатать в «Отечественных записках» такую поэму, какой и не бывало еще на свете. Думал в ней излить все мои чувства, всю мою душу, так, что, где бы ты ни была, я всё бы был с тобой, беспрерывно бы напоминал о себе моими стихами, и самая лучшая мечта моя была та, что ты задумаешься наконец и скажешь: «Нет! он не такой дурной человек, как я думала!» Глупо, Зиночка, глупо, не правда ли?

– Нет, нет, Вася, нет! – говорила Зина. Она припала к нему на грудь и целовала его руки.

– А как я ревновал тебя всё это время! Мне кажется, я бы умер, если б услышал о твоей свадьбе! Я подсылал к тебе, караулил, шпионил... вот она всё ходила (и он кивнул на мать). – Ведь ты не любила Мозглякова, не правда ли, Зиночка? О, ангел мой? Вспомнишь ли ты обо мне, когда я умру? Знаю, что вспомнишь; но пройдут годы, сердце остынет, настанет холод, зима на душе, и забудешь ты меня, Зиночка!..

– Нет, нет, никогда! Я не выйду и замуж!., ты мой первый... всегдашний...

– Всё умирает, Зиночка, всё, даже и воспоминания!.. И благородные чувства наши умирают. Вместо них наступает благоразумие. Что ж и роптать! Пользуйся жизнию, Зина, живи долго, живи счастливо. Полюби и другого, коль полюбится, – не мертвеца же любить! Только вспомни обо мне, хоть изредка; худого не вспоминай, прости худое; но ведь было же и в нашей любви хорошее, Зиночка! О, золотые, невозвратные дни... Послушай, мой ангел, я всегда любил вечерний, закатный час. Вспомни обо мне когда-нибудь в этот час! О нет, нет! Зачем умирать? О, как бы я хотел теперь вновь ожить! Вспомни, друг мой, вспомни, вспомни то время! Тогда была весна, солнце так ярко светило, цвели цветы, праздник был какой-то кругом нас... А теперь! Посмотри, посмотри!

И бедный указал иссохшею рукою на замерзлое, тусклое окно. Потом схватил руки Зины, прижал их к глазам своим и горько-горько зарыдал. Рыдания почти разрывали истерзанную грудь его.

И весь день страдал он, тосковал и плакал. Зина утешала его как могла, но ее душа страдала до смерти. Она говорила, что не забудет его и что

никогда никого не полюбит так, как его любила. Он верил ей, улыбался, целовал ее руки, но воспоминания о прошедшем только жгли, только терзали его душу. Так прошел целый день. Между тем испуганная Марья Александровна раз десять посылала к Зине, молила ее воротиться домой и не губить себя окончательно в общем мнении. Наконец, когда уже стемнело, почти потеряв голову от ужаса, она решилась сама идти к Зине. Вызвав дочь в другую комнату, она, почти на коленях, умоляла ее «отстранить этот последний и главный кинжал от ее сердца». Зина вышла к ней больная: голова ее горела. Она слушала и не понимала свою маменьку. Марья Александровна ушла наконец в отчаянии, потому что Зина решилась ночевать в доме умирающего. Целую ночь не отходила она от его постели. Но больному становилось всё хуже и хуже. Настал и еще день, но уже не было и надежды, что страдалец переживет его. Старуха мать была как безумная, ходила, как будто ничего не понимая, подавала сыну лекарства, которых он не хотел принимать. Агония его длилась долго. Он уже не мог говорить, и только бессвязные, хриплые звуки вырывались из его груди. До самой последней минуты он всё смотрел на Зину, всё искал ее глазами, и когда уже свет начал меркнуть в его глазах, он всё еще блуждающею, неверною рукою искал руку ее, чтоб сжать ее в своей. Между тем короткий зимний день проходил. И когда наконец последний, прощальный луч солнца позолотил замороженное единственное оконце маленькой комнаты, душа страдальца улетела вслед за этим лучом из изможденного тела. Старуха мать, увидя наконец перед собою труп своего ненаглядного Васи, всплеснула руками, вскрикнула и бросилась на грудь мертвецу.

– Это ты, змея подколодная, извела его! – закричала она в отчаянии Зине. – Ты, разлучница проклятая, ты, злодейка, его погубила!

Но Зина уже ничего не слыхала. Она стояла над мертвым как обезумевшая. Наконец наклонилась над ним, перекрестила, поцеловала его и машинально вышла из комнаты. Глаза ее горели, голова кружилась. Мучительные ощущения, две почти бессонные ночи чуть-чуть не лишили ее рассудка. Она смутно чувствовала, что всё ее прошедшее как бы оторвалось от ее сердца и началась новая жизнь, мрачная и угрожающая. Но не прошла она десяти шагов, как Мозгляков как будто вырос перед нею из-под земли; казалось, он нарочно поджидал на этом месте.

– Зинаида Афанасьевна, – начал он каким-то боязливым шепотом, торопливо оглядываясь по сторонам, потому что еще было довольно светло, – Зинаида Афанасьевна, я, конечно, осел! То есть, если хотите, я уж теперь и не осел, потому что, видите ли, все-таки поступил благородно. Но все-таки я раскаиваюсь в том, что я был осел... Я, кажется, сбиваюсь, Зинаида Афанасьевна, но... вы извините, это от разных причин...

Зина почти бессознательно посмотрела на него и молча продолжала свою дорогу. Так как на высоком деревянном тротуаре было тесно двум рядом, а Зина не сторонилась, то Павел Александрович соскочил с тротуара и бежал подле нее внизу, беспрерывно заглядывая ей в лицо.

– Зинаида Афанасьевна, – продолжал он, – я рассудил, и если вы сами захотите, то я согласен возобновить мое предложение. Я даже готов забыть всё, Зинаида Афанасьевна, весь позор, и готов простить, но только с одним условием: покамест мы здесь, всё останется в тайне. Вы уедете отсюда как можно скорее; я, потихоньку, вслед за вами; обвенчаемся где-нибудь в глуши, так что никто не увидит, а потом сейчас в Петербург, хотя бы и на перекладных, так, чтоб с вами был только маленький чемоданчик... а? Согласны, Зинаида Афанасьевна? Скажите поскорее! Мне нельзя дожидаться; нас могут увидеть вместе.

Зина не отвечала и только посмотрела на Мозглякова, но так посмотрела, что он тотчас же всё понял, снял шляпу, раскланялся и исчез при первом повороте в переулок.

«Как же это? – подумал он. – Третьего дня еще вечером она так расчувствовалась и во всем себя обвиняла? Видно, день на день не приходит!»

А между тем в Мордасове происшествия шли за происшествиями. Случилось одно трагическое обстоятельство. Князь, перевезенный Мозгляковым в гостиницу, заболел в ту же ночь, и заболел опасно. Мордасовцы узнали об этом наутро. Каллист Станиславин почти не отходил от больного. К вечеру составился консилиум всех мордасовских медиков. Приглашения им посланы были по-латыни. Но, несмотря на латынь, князь совсем уж потерял память, бредил, просил Каллиста Станиславина спеть ему какой-нибудь романс, говорил про какие-то парики; иногда как будто чего-то пугался и кричал. Доктора решили, что от мордасовского гостеприимства у князя сделалось воспаление в желудке, как-то перешедшее (вероятно, по дороге) в голову. Не отвергали и некоторого

нравственного потрясения. Заключили же тем, что князь давно уже был предрасположен умереть, а потому непременно умрет. В последнем они не ошиблись, потому что бедный старичок, на третий же день к вечеру, номер в гостинице. Это поразило мордасовцев. Никто не ожидал такого серьезного оборота дела. Бросились толпами в гостиницу, где лежало мертвое тело, еще не убранное, судили, рядили, кивали головами и кончили тем, что резко осудили «убийц несчастного князя», подразумевая под этим, конечно, Марью Александровну с дочерью. Все почувствовали, что эта история, уже по одной своей скандалезности, может получить неприятную огласку, пойдет, пожалуй, еще в дальние страны, и – чего-чего не было переговорено и пересказано. Всё это время Мозгляков суетился, кидался во все стороны, и наконец голова у него закружилась. В таком-то состоянии духа он и виделся с Зиной. Действительно, положение его было затруднительное. Сам он завез князя в город, сам перевез в гостиницу, а теперь не знал, что и делать с покойником, как и где хоронить, кому дать знать? везти ли тело в Духаново? К тому же он считался племянником. Он трепетал, чтоб не обвинили его в смерти почтенного старца. «Пожалуй, еще дело отзовется в Петербурге, в высшем обществе!» – думал он с содроганием. От мордасовцев нельзя было добиться никакого совета; все вдруг чего-то испугались, отхлынули от мертвого тела и оставили Мозглякова в каком-то мрачном уединении. Но вдруг вся сцена быстро переменилась. На другой день, рано утром, в город въехал один посетитель. Об этом посетителе мигом заговорил весь Мордасов, но заговорил как-то таинственно, шепотом, выглядывая на него из всех щелей и окон, когда он проехал по Большой улице к губернатору. Даже сам Петр Михайлович немного как будто бы струсил и не знал, как быть с приезжим гостем. Гость был довольно известный князь Щепетилов, родственник покойнику, человек еще почти молодой, лет тридцати пяти, в полковничьих эполетах и в аксельбантах. Всех чиновников пробрал какой-то необыкновенный страх от этих аксельбантов. Полицеймейстер, например, совсем потерялся; разумеется, только нравственно; физически же он явился налицо, хотя и с довольно вытянутым лицом. Тотчас же узнали, что князь Щепетилов едет из Петербурга, заезжал по дороге в Духаново. Не застав же в Духанове никого, полетел вслед за дядей в Мордасов, где как громом поразила его смерть старика и все подробнейшие слухи об

обстоятельствах его смерти. Петр Михайлович даже немного потерялся, давая нужные объяснения; да и все в Мордасове смотрели какими-то виноватыми. К тому же у приезжего гостя было такое строгое, такое недовольное лицо, хотя, казалось бы, нельзя быть недовольну наследством. Он тотчас же взялся за дело сам, лично. Мозгляков же немедленно и постыдно стушевался перед настоящим, не самозванным племянником и исчез – неизвестно куда. Решено было немедленно перенести тело покойника в монастырь, где и назначено было отпевание. Все распоряжения приезжего отдавались кратко, сухо, строго, но с тактом и приличием. Назавтра весь город собрался в монастырь присутствовать при отпевании. Между дамами распространился нелепый слух, что Марья Александровна лично явится в церковь и, на коленях перед гробом, будет громко испрашивать себе прощения и что всё это должно быть так по закону. Разумеется, всё это оказалось вздором и Марья Александровна не явилась в церковь. Мы и забыли сказать, что тотчас по возвращении Зины домой ее маменька в тот же вечер решилась переехать в деревню, считая более невозможным оставаться в городе. Там тревожно прислушивалась она из своего угла к городским слухам, посылала на разведки узнавать о приезжем лице и всё время была в лихорадке. Дорога из монастыря в Духаново проходила менее чем в версте от окошек ее деревенского дома – и потому Марья Александровна могла удобно рассмотреть длинную процессию, потянувшуюся из монастыря в Духаново после отпевания. Гроб везли на высоких дрогах; за ним тянулась длинная вереница экипажей, провожавших покойника до поворота в город. И долго еще чернели на белоснежном поле эти мрачные дроги, везомые тихо, с подобающим величием. Но Марья Александровна не могла смотреть долго и отошла от окна.

Через неделю она переехала в Москву, с дочерью и Афанасием Матвеичем, а через месяц узнали в Мордасове, что подгородная деревня Марьи Александровны и городской дом продаются. Итак, Мордасов навеки терял такую комильфотную даму! Не обошлось и тут без злоязычия. Стали, например, уверять, что деревня продается вместе с Афанасием Матвеичем... Прошел год, другой, и об Марье Александровне почти совершенно забыли. Увы! так всегда ведется на свете! Рассказывали, впрочем, что она купила себе другую деревню и переехала в другой губернский город, в котором, разумеется, уже забрала всех в руки, что

Зина еще до сих пор не замужем, что Афанасий Матвеич... Но, впрочем, нечего повторять эти слухи; всё это очень неверно.

Прошло три года, как я дописал последнюю строчку первого отдела мордасовской летописи, и кто бы мог подумать, что мне еще раз придется развернуть мою рукопись и прибавить еще одно известие к моему рассказу. Но к делу! Начну с Павла Александровича Мозглякова. Стушевавшись из Мордасова, он отправился прямо в Петербург, где и получил благополучно то служебное место, которое ему давно обещали. Вскоре он забыл все мордасовские события, пустился в вихрь светской жизни на Васильевском острове и в Галерной гавани, жуировал, волочился, не отставал от века, влюбился, сделал предложение, съел еще раз отказ и, не переварив его, по ветрености своего характера и от нечего делать, испросил себе место в одной экспедиции, назначавшейся в один из отдаленнейших краев нашего безбрежного отечества для ревизии или для какой-то другой цели, наверно не знаю. Экспедиция благополучно проехала все леса и пустыни и наконец, после долгого странствия, явилась в главном городе «отдаленнейшего края» к генерал-губернатору. Это был высокий, худощавый и строгий генерал, старый воин, израненный в сражениях, с двумя звездами и с белым крестом на шее. Он принял экспедицию важно и чинно и пригласил всех составлявших ее чиновников к себе на бал, дававшийся в тот же самый вечер по случаю именин генерал-губернаторши. Павел Александрович был этим очень доволен. Нарядившись в свой петербургский костюм, в котором намерен был произвести эффект, он развязно вошел в большую залу, хотя тотчас же немного осел при виде множества витых и густых эполет и статских мундиров со звездами. Нужно было откланяться генерал-губернаторше, о которой он уже слышал, что она молода и очень хороша собою. Подошел он даже с форсом и вдруг оцепенел от изумления. Перед ним стояла Зина, в великолепном бальном платье и бриллиантах, гордая и надменная. Она совершенно не узнала Павла Александровича. Ее взгляд небрежно скользнул по его лицу и тотчас же обратился на какого-то другого. Пораженный Мозгляков отошел к сторонке и в толпе столкнулся с одним робким молодым чиновником, который как будто пугался самого себя, очутившись на генерал-губернаторском бале. Павел Александрович немедленно принялся его расспрашивать и узнал чрезвычайно интересные

вещи. Он узнал, что генерал-губернатор уже два года как женился, когда ездил в Москву из «отдаленного края», и что взял он чрезвычайно богатую девицу из знатного дома. Что генеральша «ужасно хороши *из себя-с,* даже, можно сказать, первые красавицы-с, но держат себя чрезвычайно гордо, а танцуют только с одними генералами-с»; что на настоящем бале всех генералов, своих и приезжих, девять, включая в то число и действительных статских советников; что, наконец, «у генеральши есть маменька-с, которая и живет вместе с нею, и что эта маменька-с приехала из самого высшего общества-с и очень умны-с» – но что и сама маменька беспрекословно подчиняется воле своей дочери, а сам генерал-губернатор не наглядится и не надышится на свою супругу. Мозгляков заикнулся было об Афанасье Матвеиче, но в «отдаленном краю» об нем не имели никакого понятия. Ободрившись немного, Мозгляков прошелся по комнатам и вскоре увидел и Марью Александровну, великолепно разряженную, размахивающую дорогим веером и с одушевлением говорящую с одною из особ 4-го класса. Крутом нее теснилось несколько припадавших к покровительству дам, и Марья Александровна, но-видимому, была необыкновенно любезна со всеми. Мозгляков рискнул представиться. Марья Александровна немного как будто вздрогнула, но тотчас же, почти мгновенно, оправилась. Она с любезностью благоволила узнать Павла Александровича; спросила о его петербургских знакомствах, спросила, отчего он не за границей? Об Мордасове не сказала ни слова, как будто его и не было на свете. Наконец, произнеся имя какого-то петербургского важного князя и осведомясь о его здоровье, хотя Мозгляков и понятия не имел об этом князе, она незаметно обратилась к одному подошедшему сановнику в душистых сединах и через минуту совершенно забыла стоявшего перед нею Павла Александровича. С саркастической улыбкой и со шляпой в руках, Мозгляков воротился в большую залу. Неизвестно почему считая себя уязвленным и даже оскорбленным, он решился не танцевать. Угрюмо-рассеянный вид, едкая мефистофелевская улыбка не сходили с лица его во весь вечер. Живописно прислонился он к колонне (зала, как нарочно, была с колоннами) и в продолжение всего бала, несколько часов сряду, простоял на одном месте, следя своими взглядами Зину. Но увы! все фокусы его, все необыкновенные позы, разочарованный вид и проч, и проч. – всё пропало даром. Зина совершенно

не замечала его. Наконец, взбешенный, с заболевшими от долгой стоянки ногами, голодный, – потому что не мог же он остаться ужинать в качестве влюбленного и страдающего, – воротился он на квартиру, совершенно измученный и как будто кем-то прибитый. Долго не ложился он спать, припоминая давно забытое. На другое же утро представилась какая-то командировка, и Мозгляков с наслаждением выпросил ее себе. Он даже освежился душой, выехав из города. На бесконечном, пустынном пространстве лежал снег ослепительною пеленою. На краю, на самом склоне неба, чернелись леса.

Рьяные кони мчались, взрывая снежный прах копытами. Колокольчик звенел. Павел Александрович задумался, потом замечтался, а потом и заснул себе преспокойно. Он проснулся уже на третьей станции, свежий и здоровый, совершенно с другими мыслями.[1]

[1] Впервые опубликовано: «Русское слово», март 1859 г.

КРОКОДИЛ

НЕОБЫКНОВЕННОЕ СОБЫТИЕ, ИЛИ ПАССАЖ В ПАССАЖЕ,

справедливая повесть о том, как один господин, известных лет и известной наружности, пассажным крокодилом был проглочен живьем, весь без остатка, и что из этого вышло

Ohé, Lambert! Où est Lambert?
As-tu vu Lambert?[1]

I

Сего тринадцатого января текущего шестьдесят пятого года, в половине первого пополудни, Елена Ивановна, супруга Ивана Матвеича, образованного друга моего, сослуживца и отчасти отдаленного родственника, пожелала посмотреть крокодила, показываемого за известную плату в Пассаже. Имея уже в кармане свой билет для выезда (не столько по болезни, сколько из любознательности) за границу, а следственно, уже считаясь по службе в отпуску и, стало быть, будучи совершенно в то утро свободен, Иван Матвеич не только не воспрепятствовал непреодолимому

[1] Эй, Ламбер! Где Ламбер? Видел ты Ламбера? (*фр.*)

желанию своей супруги, но даже сам возгорелся любопытством. «Прекрасная идея, – сказал он вседовольно, – осмотрим крокодила! Собираясь в Европу, не худо познакомиться еще на месте с населяющими ее туземцами», – и с сими словами, приняв под ручку свою супругу, тотчас же отправился с нею в Пассаж. Я же, по обыкновению моему, увязался с ними рядом – в виде домашнего друга. Никогда еще я не видел Ивана Матвеича в более приятном расположении духа, как в то памятное для меня утро, – подлинно, что мы не знаем заранее судьбы своей! Войдя в Пассаж, он немедленно стал восхищаться великолепием здания, а подойдя к магазину, в котором показывалось вновь привезенное в столицу чудовище, сам пожелал заплатить за меня четвертак крокодильщику, – чего прежде с ним никогда не случалось. Вступив в небольшую комнату, мы заметили, что в ней кроме крокодила заключаются еще попугаи из иностранной породы какаду и, сверх того, группа обезьян в особом шкафу в углублении. У самого же входа, у левой стены, стоял большой жестяной ящик в виде как бы ванны, накрытый крепкою железною сеткой, а на дне его было на вершок воды. В этой-то мелководной луже сохранялся огромнейший крокодил, лежавший, как бревно, совершенно без движения и, видимо, лишившийся всех своих способностей от нашего сырого и негостеприимного для иностранцев климата. Сие чудовище ни в ком из нас сначала не возбудило особого любопытства.

– Так это-то крокодил! – сказала Елена Ивановна голосом сожаления и нараспев, – а я думала, что он... какой-нибудь другой!

Вероятнее всего, она думала, что он бриллиантовый. Вышедший к нам немец, хозяин, собственник крокодила, с чрезвычайно гордым видом смотрел на нас.

– Он прав, – шепнул мне Иван Матвеич, – ибо сознает, что он один во всей России показывает теперь крокодила.

Это совершенно вздорное замечание я тоже отношу к чрезмерно благодушному настроению, овладевшему Иваном Матвеичем, в других случаях весьма завистливым.

– Мне кажется, ваш крокодил не живой, – проговорила опять Елена Ивановна, пикированная неподатливостью хозяина, и с грациозной улыбкой обращаясь к нему, чтоб преклонить сего грубияна, – маневр, столь свойственный женщинам.

– О нет, мадам, – отвечал тот ломаным русским языком и тотчас же, приподняв до половины сетку ящика, стал палочкой тыкать крокодила в голову.

Тогда коварное чудовище, чтоб показать свои признаки жизни, слегка пошевелило лапами и хвостом, приподняло рыло и испустило нечто подобное продолжительному сопенью.

– Ну, не сердись, Карльхен! – ласкательно сказал немец, удовлетворенный в своем самолюбии.

– Какой противный этот крокодил! Я даже испугалась, – еще кокетливее пролепетала Елена Ивановна, – теперь он мне будет сниться во сне.

– Но он вас не укусит во сне, мадам, – галантерейно подхватил немец и прежде всех засмеялся остроумию слов своих, но никто из нас не отвечал ему.

– Пойдемте, Семен Семеныч, – продолжала Елена Ивановна, обращаясь исключительно ко мне, – посмотримте лучше обезьян. Я ужасно люблю обезьян; из них такие душки... а крокодил ужасен.

– О не бойся, друг мой, – прокричал нам вслед Иван Матвеич, приятно храбрясь перед своею супругою. – Этот сонливый обитатель фараонова царства ничего нам не сделает, – и остался у ящика. Мало того, взяв свою перчатку, он начал щекотать ею нос крокодила, желая, как признался он после, заставить его вновь сопеть. Хозяин же последовал за Еленой Ивановной, как за дамою, к шкафу с обезьянами.

Таким образом, всё шло прекрасно и ничего нельзя было предвидеть. Елена Ивановна даже до резвости развлеклась обезьянами и, казалось, вся отдалась им. Она вскрикивала от удовольствия, беспрерывно обращаясь ко мне, как будто не желая и внимания обращать на хозяина, и хохотала от замечаемого ею сходства сих мартышек с ее короткими знакомыми и друзьями. Развеселился и я, ибо сходство было несомненное. Немец-собственник не знал смеяться ему или нет и потому под конец совсем нахмурился. И вот в это-то самое мгновение вдруг страшный, могу даже сказать, неестественный крик потряс комнату. Не зная, что подумать, я сначала оледенел на месте; но, замечая, что кричит уже и Елена Ивановна, быстро оборотился и – что же увидел я! Я увидел, – о Боже! – я увидел несчастного Ивана Матвеича в ужасных челюстях крокодиловых, перехваченного ими поперек туловища, уже поднятого горизонтально на

Не зная, что подумать, я сначала оледенел на месте; но замечая, что кричит уже и Елена Ивановна, быстро оборотился и – что же увидел я! Я увидел, – о боже!

воздух и отчаянно болтавшего в нем ногами. Затем – миг и его не стало. Но опишу в подробности, потому что я всё время стоял неподвижно и успел разглядеть весь происходивший передо мной процесс с таким вниманием и любопытством, какого даже и не запомню. «Ибо, – думал я в ту роковую минуту, – что, если б вместо Ивана Матвеича случилось всё это со мной, – какова была бы тогда мне неприятность!» Но к делу. Крокодил начал с того, что, повернув бедного Ивана Матвеича в своих ужасных челюстях к себе ногами, сперва проглотил самые ноги; потом, отрыгнув немного Ивана Матвеича, старавшегося выскочить и цеплявшегося руками за ящик, вновь втянул его в себя уже выше поясницы. Потом, отрыгнув еще, глотнул еще и еще раз. Таким образом Иван Матвеич видимо исчезал в глазах наших. Наконец, глотнув окончательно, крокодил вобрал в себя всего моего образованного друга и на этот раз уже без остатка. На поверхности крокодила можно было заметить, как проходил по его внутренности Иван Матвеич со всеми своими формами. Я было уже готовился закричать вновь, как вдруг судьба еще раз захотела вероломно подшутить над нами: крокодил понатужился, вероятно давясь от огромности проглоченного им предмета, снова раскрыл всю ужасную пасть свою, и из нее, в виде последней отрыжки, вдруг на одну секунду выскочила голова Ивана Матвеича, с отчаянным выражением в лице, причем очки его мгновенно свалились с его носу на дно ящика. Казалось, эта отчаянная голова для того только и выскочила, чтоб еще раз бросить последний взгляд на все предметы и мысленно проститься со всеми светскими удовольствиями. Но она не успела в своем намерении: крокодил вновь собрался с силами, глотнул – и вмиг она снова исчезла, в этот раз уже навеки. Это появление и исчезновение еще живой человеческой головы было так ужасно, но вместе с тем – от быстроты ли и неожиданности действия или вследствие падения с носу очков – заключало в себе что-то до того смешное, что я вдруг и совсем неожиданно фыркнул; но, спохватившись, что смеяться в такую минуту мне в качестве домашнего друга неприлично, обратился тотчас же к Елене Ивановне и с симпатическим видом сказал ей:

– Теперь капут нашему Ивану Матвеичу!

Не могу даже и подумать выразить, до какой степени было сильно волнение Елены Ивановны в продолжение всего процесса. Сначала,

после первого крика, она как бы замерла на месте и смотрела на представлявшуюся ей кутерьму, по-видимому, равнодушно, но с чрезвычайно выкатившимися глазами; потом вдруг залилась раздирающим воплем, но я схватил ее за руки. В это мгновение и хозяин, сначала тоже отупевший от ужаса, вдруг всплеснул руками и закричал, глядя на небо:

– О мой крокодиль, о мейн аллерлибстер Карльхен! Муттер, муттер, муттер!

На этот крик отворилась задняя дверь и показалась муттер, в чепце, румяная, пожилая, но растрепанная, и с визгом бросилась к своему немцу.

Тут-то начался содом: Елена Ивановна выкрикивала, как исступленная, одно только слово: «вспороть! вспороть!» – и бросалась к хозяину и к муттер, по-видимому, упрашивая их – вероятно, в самозабвении – кого-то и за что-то вспороть. Хозяин же и муттер ни на кого из нас не обращали внимания: они оба выли, как телята, около ящика.

– Он пропадиль, он сейчас будет лопаль, потому что он проглатиль ганц чиновник! – кричал хозяин.

– Унзер Карльхен, унзер аллерлибстер Карльхен вирд штербен! – выла хозяйка.

– Мы сиротт и без клеб! – подхватывал хозяин.

– Вспороть, вспороть, вспороть! – заливалась Елена Ивановна, вцепившись в сюртук немца.

– Он дразниль крокодиль, – зачем ваш муж дразниль крокодиль! – кричал, отбиваясь, немец, – вы заплатит, если Карльхен вирд лопаль, – дас вар мейн зон, дас вар мейн айнцигер зон!

Признаюсь, я был в страшном негодовании, видя такой эгоизм заезжего немца и сухость сердца в его растрепанной муттер; тем не менее беспрерывно повторяемые крики Елены Ивановны: «вспороть, вспороть!» – еще более возбуждали мое беспокойство и увлекли наконец всё мое внимание, так что я даже испугался... Скажу заранее – странные сии восклицания были поняты мною совершенно превратно: мне показалось, что Елена Ивановна потеряла на мгновение рассудок, но тем не менее, желая отмстить за погибель любезного ей Ивана Матвеича, предлагала, в виде следуемого ей удовлетворения, наказать крокодила розгами. А между тем она разумела совсем другое. Не без смущения озираясь на дверь, начал я упрашивать Елену Ивановну успокоиться и, главное,

не употреблять щекотливого слова «вспороть». Ибо такое ретроградное желание здесь, в самом сердце Пассажа и образованного общества, в двух шагах от той самой залы, где, может быть, в эту самую минуту господин Лавров читал публичную лекцию, – не только было невозможно, но даже немыслимо и с минуты на минуту могло привлечь на нас свистки образованности и карикатуры г-на Степанова. К ужасу моему, я немедленно оказался прав в пугливых подозрениях моих: вдруг раздвинулась занавесь, отделявшая крокодильную от входной каморки, в которой собирали четвертаки, и на пороге показалась фигура с усами, с бородой и с фуражкой в руках, весьма сильно нагибавшаяся верхнею частью тела вперед и весьма предусмотрительно старавшаяся держать свои ноги за порогом крокодильной, чтоб сохранить за собой право не заплатить за вход.

– Такое ретроградное желание, сударыня, – сказал незнакомец, стараясь не перевалиться как-нибудь к нам и устоять за порогом, – не делает чести вашему развитию и обусловливается недостатком фосфору в ваших мозгах. Вы немедленно будете освистаны в хронике прогресса и в сатирических листках наших...

Но он не докончил: опомнившийся хозяин, с ужасом увидев человека, говорящего в крокодильной и ничего за это не заплатившего, с яростию бросился на прогрессивного незнакомца и обоими кулаками вытолкал его в шею. На минуту оба скрылись из глаз наших за занавесью, и тут только я наконец догадался, что вся кутерьма вышла из ничего; Елена Ивановна оказалась совершенно невинною: она отнюдь и не думала, как уже заметил я выше, подвергать крокодила ретроградному и унизительному наказанию розгами, а просто-запросто пожелала, чтоб ему только вспороли ножом брюхо и таким образом освободили из его внутренности Ивана Матвеича.

– Как! ви хатит, чтоб мой крокодиль пропадиль! – завопил вбежавший опять хозяин, – нетт, пускай ваш муж сперва пропадиль, а потом крокодиль!.. Мейн фатер показаль крокодиль, мейн гросфатер показаль крокодиль, мейн зон будет показать крокодиль, и я будет показать крокодиль! Все будут показать крокодиль! Я ганц Европа известен, а ви неизвестен ганц Европа и мне платит штраф.

– Я, я! – подхватила злобная немка, – ми вас не пускайт, штраф, когда Карльхен лопаль!

– Да и бесполезно вспарывать, – спокойно прибавил я, желая отвлечь Елену Ивановну поскорее домой, – ибо наш милый Иван Матвеич, по всей вероятности, парит теперь где-нибудь в эмпиреях.

– Друг мой, – раздался в эту минуту совершенно неожиданно голос Ивана Матвеича, изумивший нас до крайности, – друг мой, мое мнение – действовать прямо через контору надзирателя, ибо немец без помощи полиции не поймет истины.

Эти слова, высказанные твердо, с весом и выражавшие присутствие духа необыкновенное, сначала до того изумили нас, что мы все отказались было верить ушам нашим. Но, разумеется, тотчас же подбежали к крокодильному ящику и столько же с благоговением, сколько и с недоверчивостью слушали несчастного узника. Голос его был заглушенный, тоненький и даже крикливый, как будто выходивший из значительного от нас отдаления. Похоже было на то, когда какой-либо шутник, уходя в другую комнату и закрыв рот обыкновенной спальной подушкой, начинает кричать, желая представить оставшейся в другой комнате публике, как перекликаются два мужика в пустыне или будучи разделены между собою глубоким оврагом, – что я имел удовольствие слышать однажды у моих знакомых на Святках.

– Иван Матвеич, друг мой, итак, ты жив! – лепетала Елена Ивановна.

– Жив и здоров, – отвечал Иван Матвеич, – и благодаря Всевышнего проглочен без всякого повреждения. Беспокоюсь же единственно о том, как взглянет на сей эпизод начальство; ибо, получив билет за границу, угодил в крокодила, что даже и неостроумно...

– Но, друг мой, не заботься об остроумии; прежде всего надобно тебя отсюда как-нибудь выковырять, – прервала Елена Ивановна.

– Ковыряйт! – вскричал хозяин, – я не дам ковыряйт крокодилы Теперь публикум будет ошень больше ходиль, а я буду фуфциг копеек просиль, и Карльхен перестанет лопаль.

– Гот зей данк! – подхватила хозяйка.

– Они правы, – спокойно заметил Иван Матвеич, – экономический принцип прежде всего.

– Друг мой, – закричал я, – сейчас же лечу по начальству и буду жаловаться, ибо предчувствую, что нам одним этой каши не сварить.

– И я то же думаю, – заметил Иван Матвеич, – но без экономического вознаграждения трудно в наш век торгового кризиса даром вспороть

брюхо крокодилово, а между тем представляется неизбежный вопрос: что возьмет хозяин за своего крокодила? а с ним и другой: кто заплатит? ибо ты знаешь, я средств не имею...

– Разве в счет жалованья, – робко заметил я, но хозяин тотчас же меня прервал:

– Я не продавайт крокодиль, я три тысячи продавайт крокодиль, я четыре тысячи продавайт крокодиль! Теперь публикум будет много ходиль. Я пять тысяч продавайт крокодиль!

Одним словом, он куражился нестерпимо; корыстолюбие и гнусная алчность радостно сияли в глазах его.

– Еду! – закричал я в негодовании.

– Ия! ия тоже! я поеду к самому Андрею Осипычу, я смягчу его моими слезами, – заныла Елена Ивановна.

– Не делай этого, друг мой, – поспешно прервал ее Иван Матвеич, ибо давно уже ревновал свою супругу к Андрею Осипычу и знал, что она рада съездить поплакать перед образованным человеком, потому что слезы к ней очень шли. – Да и тебе... мой друг, не советую, – продолжал он, обращаясь ко мне, – нечего ехать прямо с бухты-барахты; еще что из этого выйдет. А заезжай-ка ты лучше сегодня, так, в виде частного посещения, к Тимофею Семенычу. Человек он старомодный и недалекий, но солидный и, главное, – прямой. Поклонись ему от меня и опиши обстоятельства дела. Так как я должен ему за последний ералаш семь рублей, то передай их ему при этом удобном случае: это смягчит сурового старика. Во всяком случае, его совет может послужить для нас руководством. А теперь уведи пока Елену Ивановну... Успокойся, друг мой, – продолжал он ей, – я устал от всех этих криков и бабьих дрязг и желаю немного соснуть. Здесь же тепло и мягко, хотя я и не успел еще осмотреться в этом неожиданном для меня убежище...

– Осмотреться! Разве тебе там светло? – вскрикнула обрадованная Елена Ивановна.

– Меня окружает непробудная ночь, – отвечал бедный узник, – но я могу щупать и, так сказать, осматриваться руками... Прощай же, будь спокойна и не отказывай себе в развлечениях. До завтра! Ты же, Семен Семеныч, побывай ко мне вечером, и так как ты рассеян и можешь забыть, то завяжи узелок...

Признаюсь, я и рад был уйти, потому что слишком устал, да отчасти и наскучило. Взяв поспешно под ручку унылую, но похорошевшую от волнения Елену Ивановну, я поскорее вывел ее из крокодильной.

– Вечером за вход опять четвертак! – крикнул нам вслед хозяин.

– О Боже, как они жадны! – проговорила Елена Ивановна, глядясь в каждое зеркало в простенках Пассажа и, видимо, сознавая, что она похорошела.

– Экономический принцип, – отвечал я с легким волнением и гордясь моею дамою перед прохожими.

– Экономический принцип... – протянула она симпатическим голоском, – я ничего не поняла, что говорил сейчас Иван Матвеич об этом противном экономическом принципе.

– Я объясню вам, – отвечал я и немедленно начал рассказывать о благодетельных результатах привлечения иностранных капиталов в наше отечество, о чем прочел еще утром в «Петербургских известиях» и в «Волосе».

– Как это всё странно! – прервала она, прослушав некоторое время, – да перестаньте же, противный; какой вы вздор говорите... Скажите – я очень красна?

– Вы прекрасны, а не красны! – заметил я, пользуясь случаем сказать комплимент.

– Шалун! – пролепетала она самодовольно. – Бедный Иван Матвеич, – прибавила она через минуту, кокетливо склонив на плечо головку, – мне, право, его жаль, ах Боже мой! – вдруг вскрикнула она, – скажите, как же он будет сегодня там кушать и... и... как же он будет... если ему чего-нибудь будет надобно...

– Вопрос непредвиденный, – отвечал я, тоже озадаченный. Мне, по правде, это не приходило и в голову, до того женщины практичнее нас, мужчин, при решении житейских задач!

– Бедняжка, как это он так втюрился... и никаких развлечений и темно... как досадно, что у меня не осталось его фотографической карточки... Итак, я теперь вроде вдовы, – прибавила она с обольстительной улыбкой, очевидно интересуясь новым своим положением, – гм... все-таки мне его жаль!..

Одним словом, выражалась весьма понятная и естественная тоска молодой и интересной жены о погибшем муже. Я привел ее наконец

домой, успокоил и, пообедав вместе с нею, после чашки ароматного кофе, отправился в шесть часов к Тимофею Семенычу, рассчитывая, что в этот час все семейные люди определенных занятий сидят или лежат по домам.

Написав сию первую главу слогом, приличным рассказанному событию, я намерен далее употреблять слог хотя и не столь возвышенный, но зато более натуральный, о чем и извещаю заранее читателя.

II

Почтенный Тимофей Семеныч встретил меня как-то торопливо и как будто немного смешавшись. Он провел меня в свой тесный кабинет и плотно притворил дверь: «Чтобы дети не мешали», – проговорил он с видимым беспокойством. Затем посадил меня на стул у письменного стола, сам сел в кресла, запахнул полы своего старого ватного халата и принял, на всякий случай, какой-то официальный, даже почти строгий вид, хотя вовсе не был моим или Ивана Матвеича начальником, а считался до сих пор обыкновенным сослуживцем и даже знакомым.

– Прежде всего, – начал он, – возьмите во внимание, что я не начальство, а такой же точно подначальный человек, как и вы, как и Иван Матвеич... Я сторона-с и ввязываться ни во что не намерен.

Я удивился, что, по-видимому, он уже всё это знает. Несмотря на то, рассказал ему вновь всю историю с подробностями. Говорил я даже с волнением, ибо исполнял в эту минуту обязанность истинного друга. Он выслушал без особого удивления, но с явным признаком подозрительности.

– Представьте, – сказал он, выслушав, – я всегда полагал, что с ним непременно это случится.

– Почему же-с, Тимофей Семеныч, случай сам по себе весьма необыкновенный-с...

– Согласен. Но Иван Матвеич во всё течение службы своей именно клонил к такому результату. Прыток-с, заносчив даже. Всё «прогресс» да разные идеи-с, а вот куда прогресс-то приводит!

– Но ведь это случай самый необыкновенный, и общим правилом для всех прогрессистов его никак нельзя положить...

– Нет, уж это так-с. Это, видите ли, от излишней образованности происходит, поверьте мне-с. Ибо люди излишне образованные лезут во всякое место-с и преимущественно туда, где их вовсе не спрашивают. Впрочем, может, вы больше знаете, – прибавил он, как бы обижаясь. – Я человек не столь образованный и старый; с солдатских детей начал, и службе моей пятидесятилетний юбилей сего года пошел-с.

– О нет, Тимофей Семеныч, помилуйте. Напротив, Иван Матвеич жаждет вашего совета, руководства вашего жаждет. Даже, так сказать, со слезами-с.

– «Так сказать со слезами-с». Гм. Ну, это слезы крокодиловы, и им не совсем можно верить. Ну, зачем, скажите, потянуло его за границу? Да и на какие деньги? Ведь он и средств не имеет?

– На скопленное, Тимофей Семеныч, из последних наградных, – отвечал я жалобно. – Всего на три месяца хотел съездить, – в Швейцарию... на родину Вильгельма Телля.

– Вильгельма Телля? Гм!

– В Неаполе встретить весну хотел-с. Осмотреть музей, нравы, животных...

– Гм! животных? А по-моему, так просто из гордости. Каких животных? Животных? Разве у нас мало животных? Есть зверинцы, музеи, верблюды. Медведи под самым Петербургом живут. Да вот он и сам засел в крокодиле...

– Тимофей Семеныч, помилуйте, человек в несчастье, человек прибегает как к другу, как к старшему родственнику, совета жаждет, а вы – укоряете... Пожалейте хоть несчастную Елену Ивановну!

– Это вы про супругу-с? Интересная дамочка, – проговорил Тимофей Семеныч, видимо смягчаясь и с аппетитом нюхнув табаку. – Особа субтильная. И как полна, и головку всё так на бочок, на бочок... очень приятно-с. Андрей Осипыч еще третьего дня упоминал.

– Упоминал?

– Упоминал-с, и в выражениях весьма лестных. Бюст, говорит, взгляд, прическа... Конфетка, говорит, а не дамочка, и тут же засмеялись. Молодые они еще люди. – Тимофей Семеныч с треском высморкался. – А между тем вот и молодой человек, а какую карьеру себе составляют-с...

– Да ведь тут совсем другое, Тимофей Семеныч.

– Конечно, конечно-с.

– Так как же, Тимофей Семеныч?

– Да что же я-то могу сделать?

– Посоветуйте-с, руководите, как опытный человек, как родственник! Что предпринять? Идти ли по начальству или...

– По начальству? Отнюдь нет-с, – торопливо произнес Тимофей Семеныч. – Если хотите совета, то прежде всего надо это дело замять и действовать, так сказать, в виде частного лица. Случай подозрительный-с, да и небывалый. Главное, небывалый, примера не было-с, да и плохо рекомендующий... Поэтому осторожность прежде всего... Пусть уж там себе полежит. Надо выждать, выждать...

– Да как же выждать, Тимофей Семеныч? Ну что, если он там задохнется?

– Да почему же-с? Ведь вы, кажется, говорили, что он даже с довольным комфортом устроился?

Я рассказал всё опять. Тимофей Семеныч задумался.

– Гм! – проговорил он, вертя табатерку в руках, – по-моему, далее и хорошо, что он там на время полежит, вместо заграницы-то-с. Пусть на досуге подумает; разумеется, задыхаться не надо, и потому надо взять надлежащие меры для сохранения здоровья: ну, там, остерегаться кашля и прочего... А что касается немца, то, по моему личному мнению, он в своем праве, и даже более другой стороны, потому что в *его* крокодила влезли без спросу, а не *он* влез без спросу в крокодила Ивана Матвеичева, у которого, впрочем, сколько я запомню, и не было своего крокодила. Ну-с, а крокодил составляет собственность, стало быть, без вознаграждения его взрезать нельзя-с.

– Для спасения человечества, Тимофей Семеныч.

– Ну уж это дело полиции-с. Туда и следует отнестись.

– Да ведь Иван Матвеич может и у нас понадобиться. Его могут потребовать-с.

– Иван-то Матвеич понадобиться? хе-хе! К тому же ведь он считается в отпуску, стало быть, мы можем и игнорировать, а он пусть осматривает там европейские земли. Другое дело, если он после сроку не явится, ну тогда и спросим, справки наведем...

– Три-то месяца! Тимофей Семеныч, помилуйте!

– Сам виноват-с. Ну, кто его туда совал? Эдак, пожалуй, придется ему казенную няньку нанять-с, а этого и по штату не полагается. А главное – крокодил есть собственность, стало быть, тут уже так называемый экономический принцип в действии. А экономический принцип прежде всего-с. Еще третьего дня у Луки Андреича на вечере Игнатий Прокофьич говорил, Игнатия Прокофьича знаете? Капиталист, при делах-с, и знаете складно так говорит: «Нам нужна, говорит, промышленность, промышленности у нас мало. Надо ее родить. Надо капиталы родить, значит, среднее сословие, так называемую буржуазию надо родить. А так как нет у нас капиталов, значит, надо их из-за границы привлечь. Надо, во-первых, дать ход иностранным компаниям для скупки по участкам наших земель, как везде утверждено теперь за границей. Общинная собственность – яд, говорит, гибель! – И, знаете, с жаром так говорит; ну, им прилично: люди капитальные... да и не служащие. – С общиной, говорит, ни промышленность, ни земледелие не возвысятся. Надо, говорит, чтоб иностранные компании скупили по возможности всю нашу землю по частям, а потом дробить, дробить, дробить как можно в мелкие участки, и знаете – решительно так произносит: дрррробить, говорит, а потом и продавать в личную собственность. Да и не продавать, а просто арендовать. Когда, говорит, вся земля будет у привлеченных иностранных компаний в руках, тогда, значит, можно какую угодно цену на аренду назначить. Стало быть, мужик будет работать уже втрое, из одного насущного хлеба, и его можно когда угодно согнать. Значит, он будет чувствовать, будет покорен, прилежен и втрое за ту же цену выработает. А теперь в общине что ему! Знает, что с голоду не помрет, ну и ленится, и пьянствует. А меж тем к нам и деньги привлекутся, и капиталы заведутся, и буржуазия пойдет. Вон и английская политическая и литературная газета „Теймс», разбирая наши финансы, отзывалась намедни, что потому и не растут наши финансы, что среднего сословия нет у нас, кошелей больших нет, пролетариев услужливых нет...» Хорошо говорит Игнатий Прокофьич. Оратор-с. Сам по начальству отзыв хочет подать и потом в «Известиях» напечатать. Это уж не стишки, подобно Ивану Матвеичу...

– Так как же Иван-то Матвеич? – ввернул я, дав поболтать старику. Тимофей Семеныч любил иногда поболтать и тем показать, что и он не отстал и всё это знает.

– Иван-то Матвеич как-с? Так ведь я к тому и клоню-с. Сами же мы вот хлопочем о привлечении иностранных капиталов в отечество, а вот посудите: едва только капитал привлеченного крокодильщика удвоился через Ивана Матвеича, а мы, чем бы протежировать иностранного собственника, напротив, стараемся самому-то основному капиталу брюхо вспороть. Ну, сообразно ли это? По-моему, Иван Матвеич, как истинный сын отечества, должен еще радоваться и гордиться тем, что собою ценность иностранного крокодила удвоил, а пожалуй, еще и утроил. Это для привлечения надобно-с. Удастся одному, смотришь, и другой с крокодилом приедет, а третий уж двух и трех зараз привезет, а около них капиталы группируются. Вот и буржуазия. Надобно поощрять-с.

– Помилуйте, Тимофей Семеныч! – вскричал я, – да вы требуете почти неестественного самоотвержения от бедного Ивана Матвеича!

– Ничего я не требую-с и прежде всего прошу вас – как уже и прежде просил – сообразить, что я не начальство и, стало быть, требовать ни от кого и ничего не могу. Как сын отечества говорю, то есть говорю не как «Сын отечества», а просто как сын отечества говорю. Опять-таки кто ж велел ему влезть в крокодила? Человек солидный, человек известного чина, состоящий в законном браке, и вдруг – такой шаг! Сообразно ли это?

– Но ведь этот шаг случился нечаянно-с.

– А кто его знает? И притом из каких сумм заплатить крокодильщику, скажите-ка?

– Разве в счет жалованья, Тимофей Семеныч?

– Достанет ли-с?

– Недостанет, Тимофей Семеныч, – отвечал я с грустию. – Крокодильщик сначала испугался, что лопнет крокодил, а потом, как убедился, что всё благополучно, заважничал и обрадовался, что может цену удвоить.

– Утроить, учетверить разве! Публика теперь прихлынет, а крокодильщики ловкий народ. К тому же и мясоед, склонность к увеселениям и потому, повторяю, прежде всего пусть Иван Матвеич наблюдает инкогнито, пусть не торопится. Пусть все, пожалуй, знают, что он в крокодиле, но не знают официально. В этом отношении Иван Матвеич находится даже в особенно благоприятных обстоятельствах, потому что числится за границей. Скажут, что в крокодиле, а мы и не поверим. Это можно так подвести. Главное – пусть выжидает, да и куда ему спешить?

– Ну, а если...

– Не беспокойтесь, сложения плотного-с...

– Ну, а потом, когда выждет?

– Ну-с, не скрою от вас, что случай до крайности казусный. Сообразиться нельзя-с, и, главное, то вредит, что не было до сих пор примера подобного. Будь у нас пример, еще можно бы как-нибудь руководствоваться. А то как тут решишь? Станешь соображать, а дело затянется.

Счастливая мысль блеснула у меня в голове.

– Нельзя ли устроить так-с, – сказал я, – что уж если суждено ему оставаться в недрах чудовища и, волею Провидения, сохранится его живот, нельзя ли подать ему прошение о том, чтобы числиться на службе?

– Гм... разве в виде отпуска и без жалованья...

– Нет-с, нельзя ли с жалованьем-с?

– На каком же основании?

– В виде командировки...

– Какой и куда?

– Да в недра же, в крокодиловы недра... Так сказать, для справок, для изучения фактов на месте. Конечно, это будет ново, но ведь это прогрессивно и в то же время покажет заботливость о просвещении-с...

Тимофей Семеныч задумался.

– Командировать особого чиновника, – сказал он наконец, – в недра крокодила для особых поручений, по моему личному мнению, – нелепо-с. По штату не полагается. Да и какие могут быть туда поручения?

– Да для естественного, так сказать, изучения природы на месте, в живье-с. Нынче всё пошли естественные науки-с, ботаника... Он бы там жил и сообщал-с... ну, там о пищеварении или просто о нравах. Для скопления фактов-с.

– То есть это по части статистики. Ну, в этом я не силен, да и не философ. Вы говорите: факты, – мы и без того завалены фактами и не знаем, что с ними делать. Притом же эта статистика опасна...

– Чем же-с?

– Опасна-с. И к тому ж, согласитесь, он будет сообщать факты, так сказать, лежа на боку. А разве можно служить, лежа на боку? Это уж опять нововведение, и притом опасное-с; и опять-таки примера такого не было.

Вот если б нам хоть какой-нибудь примерчик, так, по моему мнению, пожалуй, и можно бы командировать.

– Но ведь и крокодилов живых не привозили до сих пор, Тимофей Семеныч.

– Гм! да... – он опять задумался. – Если хотите, это возражение ваше справедливо и даже могло бы служить основанием к дальнейшему производству дела. Но опять возьмите и то, что если с появлением живых крокодилов начнут исчезать служащие и потом, на основании того, что там тепло и мягко, будут требовать туда командировок, а потом лежать на боку... согласитесь сами – дурной пример-с. Ведь эдак, пожалуй, всякий туда полезет даром деньги-то брать.

– Порадейте, Тимофей Семеныч! Кстати-с: Иван Матвеич просил передать вам карточный должок, семь рублей, в ералаш-с...

– Ах, это он проиграл намедни, у Никифор Никифорыча! Помню-с. И как он тогда был весел, смешил, и вот!..

Старик был искренно тронут.

– Порадейте, Тимофей Семеныч.

– Похлопочу-с. От своего лица поговорю, частным образом, в виде справки. А впрочем, разузнайте-ка так, неофициально, со стороны, какую именно цену согласился бы взять хозяин за своего крокодила?

Тимофей Семеныч видимо подобрел.

– Непременно-с, – отвечал я, – и тотчас же явлюсь к вам с отчетом.

– Супруга-то... одна теперь? Скучает?

– Вы бы навестили, Тимофей Семеныч.

– Навещу-с, я еще давеча подумал, да и случай удобный... И зачем, зачем это его дергало смотреть крокодила! А впрочем, я бы и сам желал посмотреть.

– Навестите-ка бедного, Тимофей Семеныч.

– Навещу-с. Конечно, я этим шагом моим не хочу обнадеживать. Я прибуду как частное лицо... Ну-с, до свиданья, я ведь опять к Никифор Никифорычу; будете?

– Нет-с, я к узнику.

– Да-с, вот теперь и к узнику!.. Э-эх, легкомыслие!

Я распростился с стариком. Разнообразные мысли ходили в моей голове. Добрый и честнейший человек Тимофей Семеныч, а, выходя от

него, я, однако, порадовался, что ему был уже пятидесятилетний юбилей и что Тимофеи Семенычи у нас теперь редкость. Разумеется, я тотчас полетел в Пассаж обо всем сообщить бедняжке Ивану Матвеичу. Да и любопытство разбирало меня: как он там устроился в крокодиле и как это можно жить в крокодиле? Да и можно ли действительно жить в крокодиле? Порой мне, право, казалось, что всё это какой-то чудовищный сон, тем более что и дело-то шло о чудовище...

III

И, однако ж, это был не сон, а настоящая, несомненная действительность. Иначе – стал ли бы я и рассказывать! Но продолжаю...

В Пассаж я попал уже поздно, около девяти часов, и в крокодильную принужден был войти с заднего хода, потому что немец запер магазин на этот раз ранее обыкновенного. Он расхаживал по-домашнему в каком-то засаленном старом сюртучишке, но сам еще втрое довольнее, чем давеча утром. Видно было, что он уже ничего не боится и что «публикум много ходиль». Муттер вышла уже потом, очевидно затем, чтобы следить за мной. Немец с муттер часто перешептывались. Несмотря на то, что магазин был уже заперт, он все-таки взял с меня четвертак. И что за ненужная аккуратность!

– Ви каждый раз будет платиль; публикум будут рубль платиль, а ви один четвертак, ибо ви добры друк вашего добры друк, а я почитаю друк...

– Жив ли, жив ли образованный друг мой! – громко вскричал я, подходя к крокодилу и надеясь, что слова мои еще издали достигнут Ивана Матвеича и польстят его самолюбию.

– Жив и здоров, – отвечал он, как будто издали или как бы из-под кровати, хотя я стоял подле него, – жив и здоров, но об этом после... Как дела?

Как бы нарочно не расслышав вопроса, я было начал с участием и поспешностию сам его расспрашивать: как он, что он и каково в крокодиле и что такое вообще внутри крокодила? Это требовалось и дружеством и обыкновенною вежливостию. Но он капризно и с досадой перебил меня.

– Как дела? – прокричал он, по обыкновению мною командуя, своим визгливым голосом, чрезвычайно на этот раз отвратительным.

Я рассказал всю мою беседу с Тимофеем Семенычем до последней подробности. Рассказывая, я старался выказать несколько обиженный тон.

– Старик прав, – решил Иван Матвеич так же резко, как и по всегдашнему обыкновению своему в разговорах со мной. – Практических людей люблю и не терплю сладких мямлей. Готов, однако, сознаться, что и твоя идея насчет командировки не совершенно нелепа. Действительно, многое могу сообщить и в научном, и в нравственном отношении. Но теперь это всё принимает новый и неожиданный вид и не стоит хлопотать из одного только жалованья. Слушай внимательно. Ты сидишь?

– Нет, стою.

– Садись на что-нибудь, ну хоть на пол, и слушай внимательно. Со злобою взял я стул и в сердцах, устанавливая, стукнул им об пол.

– Слушай, – начал он повелительно, – публики сегодня приходило целая бездна. К вечеру не хватило места и для порядка явилась полиция. В восемь часов, то есть ранее обыкновенного, хозяин нашел даже нужным запереть магазин и прекратить представление, чтоб сосчитать привлеченные деньги и удобнее приготовиться к завтраму. Знаю, что завтра соберется целая ярмарка. Таким образом, надо полагать, что все образованнейшие люди столицы, дамы высшего общества, иноземные посланники, юристы и прочие здесь перебывают. Мало того: станут наезжать из многосторонних провинций нашей обширной и любопытной империи. В результате – я у всех на виду, и хоть спрятанный, но первенствую. Стану поучать праздную толпу. Наученный опытом, представлю из себя пример величия и смирения перед судьбою! Буду, так сказать, кафедрой, с которой начну поучать человечество. Даже одни естественнонаучные сведения, которые могу сообщить об обитаемом мною чудовище, – драгоценны. И потому не только не ропщу на давешний случай, но твердо надеюсь на блистательнейшую из карьер.

– Не наскучило бы? – заметил я ядовито.

Всего более обозлило меня то, что он почти уже совсем перестал употреблять личные местоимения – до того заважничал. Тем не менее всё это меня сбило с толку. «С чего, с чего эта легкомысленная башка куражится! – скрежетал я шепотом про себя. – Тут надо плакать, а не куражиться».

– Нет! – отвечал он резко на мое замечание, – ибо весь проникнут великими идеями, только теперь могу на досуге мечтать об улучшении

судьбы всего человечества. Из крокодила выйдет теперь правда и свет. Несомненно изобрету новую собственную теорию новых экономических отношений и буду гордиться ею – чего доселе не мог за недосугом по службе и в пошлых развлечениях света. Опровергну всё и буду новый Фурье. Кстати, отдал семь рублей Тимофею Семенычу?

– Из своих, – ответил я, стараясь выразить голосом, что заплатил из своих.

– Сочтемся, – ответил он высокомерно. – Прибавки оклада жду всенепременно, ибо кому же и прибавлять, как не мне? Польза от меня теперь бесконечная. Но к делу. Жена?

– Ты, вероятно, спрашиваешь о Елене Ивановне?

– Жена?! – закричал он даже с каким-то на этот раз визгом.

Нечего было делать! Смиренно, но опять-таки скрежеща зубами, рассказал я, как оставил Елену Ивановну. Он даже и не дослушал.

– Имею на нее особые виды, – начал он нетерпеливо. – Если буду знаменит здесь, то хочу, чтоб она была знаменита *там.* Ученые, поэты, философы, заезжие минералоги, государственные мужи после утренней беседы со мной будут посещать по вечерам ее салон. С будущей недели у нее должны начаться каждый вечер салоны. Удвоенный оклад будет давать средства к приему, а так как прием должен ограничиваться одним чаем и нанятыми лакеями, то и делу конец. И здесь и там будут говорить обо мне. Давно жаждал случая, чтоб все говорили обо мне, но не мог достигнуть, скованный малым значением и недостаточным чином. Теперь же всё это достигнуто каким-нибудь самым обыкновенным глотком крокодила. Каждое слово мое будет выслушиваться, каждое изречение обдумываться, передаваться, печататься. И я задам себя знать! Поймут наконец, каким способностям дали исчезнуть в недрах чудовища. «Этот человек мог быть иностранным министром и управлять королевством», – скажут одни. «И этот человек не управлял иностранным королевством», – скажут другие. Ну чем, ну чем я хуже какого-нибудь Гарнье-Пажесишки или как их там?.. Жена должна составлять мне пандан – у меня ум, у нее красота и любезность. «Она прекрасна, потому и жена его», – скажут одни. «Она прекрасна, *потому что жена* его», – поправят другие. На всякий случай пусть Елена Ивановна завтра же купит энциклопедический словарь, издававшийся под редакцией Андрея Краевского, чтоб уметь говорить обо

всех предметах. Чаще же всего пусть читает premier-политик «С.-Петербургских известий», сверяя каждодневно с «Волосом». Полагаю, что хозяин согласится иногда приносить и меня, вместе с крокодилом, в блестящий салон жены моей. Я буду стоять в ящике среди великолепной гостиной и буду сыпать остротами, которые подберу еще с утра. Государственному мужу сообщу мои проекты; с поэтом буду говорить в рифму; с дамами буду забавен и нравственно-мил, – так как вполне безопасен для их супругов. Всем остальным буду служить примером покорности судьбе и воле провидения. Жену сделаю блестящею литературною дамою; я ее выдвину вперед и объясню ее публике; как жена моя, она должна быть полна величайших достоинств, и если справедливо называют Андрея Александровича нашим русским Альфредом де Мюссе, то еще справедливее будет, когда назовут ее нашей русской Евгенией Тур.

Признаюсь, хотя вся эта дичь и походила несколько на всегдашнего Ивана Матвеича, но мне все-таки пришло в голову, что он теперь в горячке и бредит. Это был всё тот же обыкновенный и ежедневный Иван Матвеич, но наблюдаемый в стекло, в двадцать раз увеличивающее.

– Друг мой, – спросил я его, – надеешься ли ты на долговечность? И вообще скажи: здоров ли ты? Как ты ешь, как ты спишь, как ты дышишь? Я друг тебе, и согласись, что случай слишком сверхъестественный, а следовательно, любопытство мое слишком естественно.

– Праздное любопытство и больше ничего, – отвечал он сентенциозно, – но ты будешь удовлетворен. Спрашиваешь, как устроился я в недрах чудовища? Во-первых, крокодил, к удивлению моему, оказался совершенно пустой. Внутренность его состоит как бы из огромного пустого мешка, сделанного из резинки, вроде тех резиновых изделий, которые распространены у нас в Гороховой, в Морской и, если не ошибаюсь, на Вознесенском проспекте. Иначе, сообрази, мог ли бы я в нем поместиться?

– Возможно ли? – вскричал я в понятном изумлении. – Неужели крокодил совершенно пустой?

– Совершенно, – строго и внушительно подтвердил Иван Матвеич. – И, по всей вероятности, он устроен так по законам самой природы. Крокодил обладает только пастью, снабженною острыми зубами, и вдобавок к пасти – значительно длинным хвостом – вот и всё, по-настоящему.

В середине же между сими двумя его оконечностями находится пустое пространство, обнесенное чем-то вроде каучука, вероятнее же всего действительно каучуком.

– А ребра, а желудок, а кишки, а печень, а сердце? – прервал я даже со злобою.

– Н-ничего, совершенно ничего этого нет и, вероятно, никогда не бывало. Всё это – праздная фантазия легкомысленных путешественников. Подобно тому как надувают геморроидальную подушку, так и я надуваю теперь собой крокодила. Он растяжим до невероятности. Даже ты, в качестве домашнего друга, мог бы поместиться со мной рядом, если б обладал великодушием, – и даже с тобой еще достало бы места. Я даже думаю, в крайнем случае, выписать сюда Елену Ивановну. Впрочем, подобное пустопорожнее устройство крокодила совершенно согласно с естественными науками. Ибо, положим например, тебе дано устроить нового крокодила – тебе, естественно, представляется вопрос: какое основное свойство крокодилово? Ответ ясен: глотать людей. Как же достигнуть устройством крокодила, чтоб он глотал людей? Ответ еще яснее: устроив его пустым. Давно уже решено физикой, что природа не терпит пустоты. Подобно сему и внутренность крокодилова должна именно быть пустою, чтоб не терпеть пустоты, а, следственно, беспрерывно глотать и наполняться всем, что только есть под рукою. И вот единственная разумная причина, почему все крокодилы глотают нашего брата. Не так в устройстве человеческом: чем пустее, например, голова человеческая, тем менее она ощущает жажды наполниться, и это единственное исключение из общего правила. Всё это мне теперь ясно, как день, всё это я постиг собственным умом и опытом, находясь, так сказать, в недрах природы, в ее реторте, прислушиваясь к биению пульса ее. Даже этимология согласна со мною, ибо самое название крокодил означает прожорливость. Крокодил, Crocodillo, – есть слово, очевидно, итальянское, современное, может быть, древним фараонам египетским и, очевидно, происходящее от французского корня: croquer, что означает съесть, скушать и вообще употребить в пищу. Всё это я намерен прочесть в виде первой лекции публике, собравшейся в салоне Елены Ивановны, когда меня принесут туда в ящике.

– Друг мой, не принять ли тебе теперь хоть слабительного! – вскричал я невольно. «У него жар, жар, он в жару!» – повторял я про себя в ужасе.

– Вздор! – отвечал он презрительно, – и к тому же в теперешнем положении моем это совсем неудобно. Впрочем, я отчасти знал, что ты заговоришь о слабительном.

– Друг мой, а как... как же ты теперь употребляешь пищу? Обедал ты сегодня или нет?

– Нет, но сыт и, вероятнее всего, теперь уже никогда не буду употреблять пищи. И это тоже совершенно понятно: наполняя собою всю внутренность крокодилову, я делаю его навсегда сытым. Теперь его можно не кормить несколько лет. С другой стороны, – сытый мною, он естественно сообщит и мне все жизненные соки из своего тела; это вроде того, как некоторые утонченные кокетки обкладывают себя и все свои формы на ночь сырыми котлетами и потом, приняв утреннюю ванну, становятся свежими, упругими, сочными и обольстительными. Таким образом, питая собою крокодила, я, обратно, получаю и от него питание; следовательно – мы взаимно кормим друг друга. Но так как трудно, даже и крокодилу, переваривать такого человека, как я, то уж, разумеется, он должен при этом ощущать некоторую тяжесть в желудке, – которого, впрочем, у него нет, – и вот почему, чтоб не доставить излишней боли чудовищу, я редко ворочаюсь с боку на бок; и хотя бы и мог ворочаться, но не делаю сего из гуманности. Это единственный недостаток теперешнего моего положения, и в аллегорическом смысле Тимофей Семеныч справедлив, называя меня лежебокой. Но я докажу, что и лежа на боку, – мало того, – что только лежа на боку и можно перевернуть судьбу человечества. Все великие идеи и направления наших газет и журналов, очевидно, произведены лежебоками; вот почему и называют их идеями кабинетными, но наплевать, что так называют! Я изобрету теперь целую социальную систему, и – ты не поверишь – как это легко! Стоит только уединиться куда-нибудь подальше в угол или хоть попасть в крокодила, закрыть глаза, и тотчас же изобретешь целый рай для всего человечества. Давеча, как вы ушли, я тотчас же принялся изобретать и изобрел уже три системы, теперь изготовляю четвертую. Правда, сначала надо всё опровергнуть; но из крокодила так легко опровергать; мало того, из крокодила как будто всё это виднее становится... Впрочем, в моем положении существуют и еще недостатки, хотя и мелкие: внутри крокодила несколько сыро и как будто покрыто слизью да, сверх того, еще несколько пахнет

резинкой, точь-в-точь как от моих прошлогодних калош. Вот и всё, более нет никаких недостатков.

– Иван Матвеич, – прервал я, – всё это чудеса, которым я едва могу верить. И неужели, неужели ты всю жизнь не намерен обедать?

– О каком вздоре заботишься ты, беспечная, праздная голова! Я тебе о великих идеях рассказываю, а ты... Знай же, что я сыт уже одними великими идеями, озарившими ночь, меня окружившую. Впрочем, добродушный хозяин чудовища, сговорившись с добрейшею муттер, решили давеча промеж себя, что будут каждое утро просовывать в пасть крокодила изогнутую металлическую трубочку, вроде дудочки, через которую я бы мог втягивать в себя кофе или бульон с размоченным в нем белым хлебом. Дудочка уже заказана по соседству, но полагаю, что это излишняя роскошь. Прожить же надеюсь по крайней мере тысячу лет, если справедливо, что по стольку лет живут крокодилы, о чем, благо напомнил, справься завтра же в какой-нибудь естественной истории и сообщи мне, ибо я мог ошибиться, – смешав крокодила с каким-нибудь другим ископаемым. Одно только соображение несколько смущает меня: так как я одет в сукно, а на ногах у меня сапоги, то крокодил, очевидно, меня не может переварить. Сверх того, я живой и потому сопротивляюсь переварению меня всею моею волею, ибо понятно, что не хочу обратиться в то, во что обращается всякая пища, так как это было бы слишком для меня унизительно. Но боюсь одного: в тысячелетний срок сукно сюртука моего, к несчастью русского изделия, может истлеть, и тогда я, оставшись без одежды, несмотря на всё мое негодование, начну, пожалуй, и перевариваться; и хоть днем я этого ни за что не допущу и не позволю, но по ночам, во сне, когда воля отлетает от человека, меня может постичь самая унизительная участь какого-нибудь картофеля, блинов или телятины. Такая идея приводит меня в бешенство. Уже по одной этой причине надо бы изменить тариф и поощрять привоз сукон английских, которые крепче, а следственно, и дольше будут сопротивляться природе, в случае, если попадешь в крокодила. При первом случае сообщу мысль мою кому-либо из людей государственных, а вместе с тем и политическим обозревателям наших ежедневных петербургских газет. Пусть прокричат. Надеюсь, что не одно это они теперь от меня позаимствуют. Предвижу, что каждое утро целая толпа их, вооруженная редакционными четвертаками, будет

тесниться кругом меня, чтоб уловить мои мысли насчет вчерашних телеграмм. Короче – будущность представляется мне в самом розовом свете.

«Горячка, горячка!» – шептал я про себя.

– Друг мой, а свобода? – проговорил я, желая вполне узнать его мнение. – Ведь ты, так сказать, в темнице, тогда как человек должен наслаждаться свободою.

– Ты глуп, – отвечал он. – Люди дикие любят независимость, люди мудрые любят порядок, а нет порядка...

– Иван Матвеич, пощади и помилуй!

– Молчи и слушай! – взвизгнул он в досаде, что я перебил его. – Никогда не воспарял я духом так, как теперь. В моем тесном убежище одного боюсь – литературной критики толстых журналов и свиста сатирических газет наших. Боюсь, чтоб легкомысленные посетители, глупцы и завистники и вообще нигилисты не подняли меня на смех. Но я приму меры. С нетерпением жду завтрашних отзывов публики, а главное – мнения газет. О газетах сообщи завтра же.

– Хорошо, завтра же принесу сюда целый ворох газет.

– Завтра еще рано ждать газетных отзывов, ибо объявления печатаются только на четвертый день. Но отныне каждый вечер приходи через внутренний ход со двора. Я намерен употреблять тебя как моего секретаря. Ты будешь мне читать газеты и журналы, а я буду диктовать тебе мои мысли и давать поручения. В особенности не забывай телеграмм. Каждый день чтоб были здесь все европейские телеграммы. Но довольно; вероятно, ты теперь хочешь спать. Ступай домой и не думай о том, что я сейчас говорил о критике: я не боюсь ее, ибо сама она находится в критическом положении. Стоит только быть мудрым и добродетельным, и непременно станешь на пьедестал. Если не Сократ, то Диоген, или то и другое вместе, и вот будущая роль моя в человечестве.

Так легкомысленно и навязчиво (правда, в горячке) торопился высказаться передо мной Иван Матвеич, подобно тем слабохарактерным бабам, про которых говорит пословица, что они не могут удержать секрета. Да и всё то, что сообщил он мне о крокодиле, показалось мне весьма подозрительным. Ну как можно, чтоб крокодил был совершенно пустой? Бьюсь об заклад, что в этом он прихвастнул из тщеславия и отчасти, чтоб меня унизить. Правда, он был больной, а больному надо уважить; но,

признаюсь откровенно, я всегда терпеть не мог Ивана Матвеича. Всю жизнь, начиная с самого детства, я желал и не мог избавиться от его опеки. Тысячу раз хотел было я с ним совсем расплеваться, и каждый раз меня опять тянуло к нему, как будто я всё еще надеялся ему что-то доказать и за что-то отмстить. Странная вещь эта дружба! Положительно могу сказать, что я на девять десятых был с ним дружен из злобы. На этот раз мы простились, однако же, с чувством.

– Ваш друк ошень умна шеловек, – сказал мне вполголоса немец, собираясь меня провожать; он всё время прилежно слушал наш разговор.

– A propos[1], – сказал я, – чтоб не забыть, – сколько бы взяли вы за вашего крокодила, на случай, если б вздумали у вас его покупать?

Иван Матвеич, слышавший вопрос, с любопытством выжидал ответа. Видимо было, что ему не хотелось, чтоб немец взял мало; по крайней мере он как-то особенно крякнул при моем вопросе.

Сначала немец и слушать не хотел, даже рассердился.

– Никто не смейт покупат мой собственный крокодиль! – вскричал он яростно и покраснел, как вареный рак. – Я не хатит продавайт крокодиль. Я миллион талер не стану браль за крокодиль. Я сто тридцать талер сегодня с публикум браль, я завтра десять тысяч талер собраль, а потом сто тысяч талер каждый день собираль. Не хочу продаваль!

Иван Матвеич даже захихикал от удовольствия.

Скрепя сердце, хладнокровно и рассудительно, – ибо исполнял обязанность истинного друга, – намекнул я сумасбродному немцу, что расчеты его не совсем верны, что если он каждый день будет собирать по сту тысяч, то в четыре дня у него перебывает весь Петербург и потом уже не с кого будет собирать, что в животе и смерти волен Бог, что крокодил может как-нибудь лопнуть, а Иван Матвеич заболеть и помереть и проч., и проч.

Немец задумался.

– Я будет ему капли из аптеки даваль, – сказал он, надумавшись, – и ваш друк не будет умираль.

– Капли каплями, – сказал я, – но возьмите и то, что может затеяться судебный процесс. Супруга Ивана Матвеича может потребовать своего

[1] Кстати (*фр.*).

законного супруга. Вы вот намерены богатеть, а намерены ли вы назначить хоть какую-нибудь пенсию Елене Ивановне?

– Нет, не мереваль! – решительно и строго отвечал немец.

– Нетт, не мереваль! – подхватила, даже со злобою, муттер.

– Итак, не лучше ли вам взять что-нибудь теперь, разом, хоть и умеренное, но верное и солидное, чем предаваться неизвестности? Долгом считаю присовокупить, что спрашиваю вас не из одного только праздного любопытства.

Немец взял муттер и удалился с нею для совещаний в угол, где стоял шкаф с самой большой и безобразнейшей из всей коллекции обезьяной.

– Вот увидишь! – сказал мне Иван Матвеич.

Что до меня касается, я в эту минуту сгорал желанием, во-первых, – избить больно немца, во-вторых, – еще более избить муттер, а в-третьих, всех больше и больнее избить Ивана Матвеича за безграничность его самолюбия. Но всё это ничего не значило в сравнении с ответом жадного немца.

Насоветовавшись с своей муттер, он потребовал за своего крокодила пятьдесят тысяч рублей билетами последнего внутреннего займа с лотереею, каменный дом в Гороховой и при нем собственную аптеку и, вдобавок, – чин русского полковника.

– Видишь! – торжествуя, прокричал Иван Матвеич, – я говорил тебе! Кроме последнего безумного желания производства в полковники, – он совершенно прав, ибо вполне понимает теперешнюю ценность показываемого им чудовища. Экономический принцип прежде всего!

– Помилуйте! – яростно закричал я немцу, – да за что же вам полковника-то? Какой вы подвиг совершили, какую службу заслужили, какой военной славы добились? Ну, не безумец ли вы после этого?

– Безумны! – вскричал немец обидевшись, – нет, я ошень умна шеловек, а ви ошень глюп! Я заслужиль польковник, потому што показаль крокодиль, а в нем живой гоф-рат сидиль, а русский не может показаль крокодиль, а в нем живой гоф-рат сидиль! Я чрезвышайно умны шеловек и ошень хочу быль польковник!

– Так прощай же, Иван Матвеич! – вскричал я, дрожа от бешенства, и почти бегом выбежал из крокодильной. Я чувствовал, что еще минута, и я уже не мог бы отвечать за себя. Неестественные надежды этих двух

болванов были невыносимы. Холодный воздух, освежив меня, несколько умерил мое негодование. Наконец, энергически плюнув раз до пятнадцати в обе стороны, я взял извозчика, приехал домой, разделся и бросился в постель. Всего досаднее было то, что я попал к нему в секретари. Теперь умирай там от скуки каждый вечер, исполняя обязанность истинного друга! Я готов был прибить себя за это и действительно, уже потушив свечку и закрывшись одеялом, ударил себя несколько раз кулаком по голове и по другим частям тела. Это несколько облегчило меня, и я наконец заснул даже довольно крепко, потому что очень устал. Всю ночь снились мне только одни обезьяны, но под самое утро приснилась Елена Ивановна...

IV

Обезьяны, как догадываюсь, приснились потому, что заключались в шкафу у крокодильщика; но Елена Ивановна составляла статью особенную.

Скажу заранее: я любил эту даму; но спешу – и спешу на курьерских – оговориться: я любил ее как отец, ни более, ни менее. Заключаю так потому, что много раз случалось со мною неудержимое желание поцеловать ее в головку или в румяненькую щечку. И хотя я никогда не приводил сего в исполнение, но каюсь – не отказался бы поцеловать ее даже и в губки. И не то что в губки, а в зубки, которые так прелестно всегда выставлялись, точно ряд хорошеньких, подобранных жемчужинок, когда она смеялась. Она же удивительно часто смеялась. Иван Матвеич называл ее, в ласкательных случаях, своей «милой нелепостью» – название в высшей степени справедливое и характеристичное. Это была дама-конфетка и более ничего. Посему совершенно не понимаю, зачем вздумалось теперь тому же самому Ивану Матвеичу воображать в своей супруге нашу русскую Евгению Тур? Во всяком случае, мой сон, если не брать в расчет обезьян, произвел на меня приятнейшее впечатление, и, перебирая в голове за утренней чашкой чаю все происшествия вчерашнего дня, я решил немедленно зайти к Елене Ивановне, по дороге на службу, что, впрочем, обязан был сделать и в качестве домашнего друга.

В крошечной комнатке перед спальней, в так называемой у них маленькой гостиной, хотя и большая гостиная была у них тоже маленькая,

на маленьком нарядном диванчике, за маленьким чайным столиком, в какой-то полувоздушной утренней распашоночке сидела Елена Ивановна и из маленькой чашечки, в которую макала крошечный сухарик, кушала кофе. Была она обольстительно хороша, но показалась мне тоже и как будто задумчивою.

– Ах, это вы, шалун! – встретила она меня с рассеянной улыбкой, – садитесь, ветреник, пейте кофе. Ну что вы вчера делали? Были в маскараде?

– А разве вы были? Я ведь не езжу... к тому же посещал вчера нашего узника...

Я вздохнул и, принимая кофе, сделал благочестивую мину.

– Кого? Какого это узника? Ах, да! Бедняжка! Ну, что он – скучает? А знаете... я хотела вас спросить... Я ведь могу теперь просить развода?

– Развода! – вскричал я в негодовании и чуть не пролил кофе. «Это черномазенький!» – подумал я про себя с яростью.

Существовал некто черномазенький, с усиками, служивший по строительной части, который слишком уж часто похаживал к ним и чрезвычайно умел смешить Елену Ивановну. Признаюсь, я его ненавидел, и сомнения не было, что он уж успел вчера видеться с Еленой Ивановной или в маскараде, или, пожалуй, и здесь, и наговорил ей всякого вздору!

– Да что ж, – заторопилась вдруг Елена Ивановна, точно подученная, – что ж он там будет сидеть в крокодиле и, пожалуй, всю жизнь не придет, а я здесь его дожидайся! Муж должен дома жить, а не в крокодиле...

– Но ведь это непредвиденный случай, – начал было я в весьма понятном волнении.

– Ах, нет, не говорите, не хочу, не хочу! – закричала она, вдруг совсем рассердившись. – Вы вечно мне напротив, такой негодный! С вами ничего не сделаешь, ничего не посоветуете! Мне уж чужие говорят, что мне развод дадут, потому что Иван Матвеич теперь уже не будет получать жалованья.

– Елена Ивановна! Вас ли я слышу? – закричал я патетически. – Какой злодей мог вам это натолковать! Да и развод по такой неосновательной причине, как жалование, совершенно невозможен. А бедный, бедный Иван Матвеич к вам, так сказать, весь пылает любовью, даже и в недрах

чудовища. Мало того – тает от любви, как кусочек сахару. Еще вчера ввечеру, когда вы веселились в маскараде, он упоминал, что в крайнем случае, может быть, решится выписать вас в качестве законной супруги к себе, в недра, тем более, что крокодил оказывается весьма поместительным не только для двух, но даже и для трех особ...

И тут я немедленно рассказал ей всю эту интересную часть моего вчерашнего разговора с Иваном Матвеичем.

– Как, как! – вскричала она в удивлении. – Вы хотите, чтоб и я также полезла туда, к Ивану Матвеичу? Вот выдумки? Да и как я полезу, так в шляпке и в кринолине? Господи, какая глупость! Да и какую фигуру я буду делать, когда буду туда лезть, а на меня еще кто-нибудь, пожалуй, будет смотреть... Это смешно! И что я там буду кушать?., и... и как я там буду, когда..., ах Боже мой, что они выдумали!.. И какие там развлечения?.. Вы говорите, что там гуммиластиком пахнет? И как же я буду, если мы там с ним поссоримся, – все-таки рядом лежать? Фу, как это противно!

– Согласен, согласен со всеми этими доводами, милейшая Елена Ивановна, – прервал я, стремясь высказаться с тем понятным увлечением, которое всегда овладевает человеком, когда он чувствует, что правда на его стороне, – но вы не оценили одного во всем этом; вы не оценили того, что он, стало быть, без вас жить не может, коли зовет туда; значит, тут любовь, любовь страстная, верная, стремящаяся... Вы любви не оценили, милая Елена Ивановна, любви!

– Не хочу, не хочу, и слышать ничего не хочу! – отмахивалась она своей маленькой, хорошенькой ручкой, на которой блистали только что вымытые и вычищенные щеткой розовые ноготки. – Противный! Вы доведете меня до слез. Полезайте сами, если это вам приятно. Ведь вы друг, ну и ложитесь там с ним рядом из дружбы, и спорьте всю жизнь о каких-нибудь скучных науках...

– Напрасно вы так смеетесь над сим предположением, – с важностию остановил я легкомысленную женщину, – Иван Матвеич и без того меня звал туда. Конечно, вас привлекает туда долг, меня же только одно великодушие; но, рассказывая мне вчера о необыкновенной растяжимости крокодиловой, Иван Матвеич сделал весьма ясный намек, что не только вам обоим, но даже и мне в качестве домашнего друга можно бы поместиться с вами вместе, втроем, особенно если б я захотел того, а потому...

– Как так, втроем? – вскричала Елена Ивановна, с удивлением смотря на меня. – Так как же мы… так все трое и будем там вместе? Ха-ха-ха! Какие вы оба глупые! Ха-ха-ха! Я вас непременно буду там всё время щипать, негодный вы эдакой, ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

И она, откинувшись на спинку дивана, расхохоталась до слезинок. Всё это – и слезы, и смех – было до того обольстительно, что я не вытерпел и с увлечением бросился целовать у ней ручки, чему она не противилась, хотя и выдрала меня легонько, в знак примирения, за уши.

Затем мы оба развеселились, и я подробно рассказал ей все вчерашние планы Ивана Матвеича. Мысль о приемных вечерах и об открытом салоне ей очень понравилась.

– Но только надо будет очень много новых платьев, – заметила она, – и потому надо, чтоб Иван Матвеич присылал как можно скорее и как можно больше жалованья… Только… только как же это, – прибавила она в раздумье, – как же это его будут приносить ко мне в ящике? Это очень смешно. Я не хочу, чтоб моего мужа носили в ящике. Мне будет очень стыдно пред гостями… Я не хочу, нет, не хочу.

– Кстати, чтоб не забыть, был у вас вчера вечером Тимофей Семеныч?

– Ах, был; приехал утешать, и, вообразите, мы с ним всё в свои козыри играли. Он на конфекты, а коль я проиграю – он мне ручки целует. Такой негодный и, вообразите, чуть было в маскарад со мной не поехал. Право!

– Увлечение! – заметил я, – да и кто не увлечется вами, обольстительная!

– Ну уж вы, поехали с вашими комплиментами! Постойте, я вас ущипну на дорогу. Я ужасно хорошо выучилась теперь щипаться. Ну что, каково! Да, кстати, вы говорите, Иван Матвеич часто обо мне вчера говорил?

– Н-н-нет, не то чтобы очень… Признаюсь вам, он более думает теперь о судьбах всего человечества и хочет…

– Ну и пусть его! Не договаривайте! Верно, скука ужасная. Я как-нибудь его навещу. Завтра непременно поеду. Только не сегодня; голова болит, а к тому же там будет так много публики… Скажут: это жена его, пристыдят… Прощайте. Вечером вы ведь… там?

– У него, у него. Велел приезжать и газет привезти.

– Ну вот и славно. И ступайте к нему и читайте. А ко мне сегодня не заезжайте. Я нездорова, а может, и в гости поеду. Ну прощайте, шалун.

«Это черномазенький у ней будет вечером», – подумал я про себя.

В канцелярии я, разумеется, не подал и виду, что меня пожирают такие заботы и хлопоты. Но вскоре заметил я, что некоторые из прогрессивнейших газет наших как-то особенно скоро переходили в это утро из рук в руки моих сослуживцев и прочитывались с чрезвычайно серьезными выражениями лиц. Первая попавшаяся мне была – «Листок», газетка без всякого особого направления, а так только вообще гуманная, – за что ее преимущественно у нас презирали, хотя и прочитывали. Не без удивления прочел я в ней следующее:

«Вчера в нашей обширной и украшенной великолепными зданиями столице распространились чрезвычайные слухи. Некто N., известный гастроном из высшего общества, вероятно наскучив кухнею Бореля и —ского клуба, вошел в здание Пассажа, в то место, где показывается огромный, только что привезенный в столицу крокодил, и потребовал, чтоб ему изготовили его на обед. Сторговавшись с хозяином, он тут же принялся пожирать его (то есть не хозяина, весьма смирного и склонного к аккуратности немца, а его крокодила) – еще живьем, отрезая сочные куски перочинным ножичком и глотая их с чрезвычайною поспешностью. Мало-помалу весь крокодил исчез в его тучных недрах, так что он собирался даже приняться за ихневмона, постоянного спутника крокодилова, вероятно полагая, что и тот будет так же вкусен. Мы вовсе не против сего нового продукта, давно уже известного иностранным гастрономам. Мы даже предсказывали это наперед. Английские лорды и путешественники ловят в Египте крокодилов целыми партиями и употребляют хребет чудовища в виде бифштекса, с горчицей, луком и картофелем. Французы, наехавшие с Лессепсом, предпочитают лапы, испеченные в горячей золе, что делают, впрочем, в пику англичанам, которые над ними смеются. Вероятно, у нас оценят то и другое. С своей стороны, мы рады новой отрасли промышленности, которой по преимуществу недостает нашему сильному и разнообразному отечеству. Вслед за сим первым крокодилом, исчезнувшим в недрах петербургского гастронома, вероятно, не пройдет и года, как навезут их к нам сотнями. И почему бы не акклиматизировать крокодила у нас в России? Если невская вода слишком холодна для сих интересных чужестранцев, то в столице имеются пруды, а за городом речки и озера. Почему бы, например, не развести крокодилов в Парго-

лове или в Павловске, в Москве же в Пресненских прудах и в Самотеке? Доставляя приятную и здоровую пищу нашим утонченным гастрономам, они в то же время могли бы увеселять гуляющих на сих прудах дам и поучать собою детей естественной истории. Из крокодиловой кожи можно бы было приготовлять футляры, чемоданы, папиросочницы и бумажники, и, может быть, не одна русская купеческая тысяча в засаленных кредитках, преимущественно предпочитаемых купцами, улеглась бы в крокодиловой коже. Надеемся еще не раз возвратиться к этому интересному предмету».

Я хоть и предчувствовал что-нибудь в этом роде, тем не менее опрометчивость известия смутила меня. Не находя, с кем поделиться впечатлениями, я обратился к сидевшему напротив меня Прохору Саввичу и заметил, что тот уже давно следил за мною глазами, а в руках держал «Волос», как бы готовясь мне передать его. Молча принял он от меня «Листок» и, передавая мне «Волос», крепко отчеркнул ногтем статью, на которую, вероятно, хотел обратить мое внимание. Этот Прохор Саввич был у нас престранный человек: молчаливый старый холостяк, он ни с кем из нас не вступал ни в какие сношения, почти ни с кем не говорил в канцелярии, всегда и обо всем имел свое собственное мнение, но терпеть не мог кому-нибудь сообщать его. Жил он одиноко. В квартире его почти никто из нас не был.

Вот что я прочел в показанном месте «Волоса»:

«Всем известно, что мы прогрессивны и гуманны и хотим угоняться в этом за Европой. Но, несмотря на все наши старания и на усилия нашей газеты, мы еще далеко не „созрели», как о том свидетельствует возмутительный факт, случившийся вчера в Пассаже и о котором мы заранее предсказывали. Приезжает в столицу иностранец-собственник и привозит с собой крокодила, которого и начинает показывать в Пассаже публике. Мы тотчас же поспешили приветствовать новую отрасль полезной промышленности, которой вообще недостает нашему сильному и разнообразному отечеству. Как вдруг вчера, в половине пятого пополудни, в магазин иностранца-собственника является некто необычайной толщины и в нетрезвом виде, платит за вход и тотчас же, безо всякого предуведомления, лезет в пасть крокодила, который, разумеется, принужден был проглотить его, хотя бы из чувства самосохранения, чтоб не подавиться. Ввалившись во внутренность крокодила, незнакомец тотчас же

засыпает. Ни крики иностранца-собственника, ни вопли его испуганного семейства, ни угрозы обратиться к полиции не оказывают никакого впечатления. Из внутри крокодила слышен лишь хохот и обещание расправиться розгами (sic[1]), а бедное млекопитающее, принужденное проглотить такую массу, тщетно проливает слезы. Незваный гость хуже татарина, но, несмотря на пословицу, нахальный посетитель выходить не хочет. Не знаем, как и объяснить подобные варварские факты, свидетельствующие о нашей незрелости и марающие нас в глазах иностранцев. Размашистость русской натуры нашла себе достойное применение. Спрашивается, чего хотелось непрошеному посетителю? Теплого и комфортного помещения? Но в столице существует много прекрасных домов с дешевыми и весьма комфортными квартирами, с проведенной невской водой и с освещенной газом лестницей, при которой заводится нередко от хозяев швейцар. Обращаем еще внимание наших читателей и на самое варварство обращения с домашними животными: заезжему крокодилу, разумеется, трудно переварить подобную массу разом, и теперь он лежит, раздутый горой, и в нестерпимых страданиях ожидает смерти. В Европе давно уже преследуют судом обращающихся негуманно с домашними животными. Но, несмотря на европейское освещение, на европейские тротуары, на европейскую постройку домов, нам еще долго не отстать от заветных наших предрассудков.

Дома новы, но предрассудки стары –

и даже и дома-то не новы, по крайней мере лестницы. Мы уже не раз упоминали в нашей газете, что на Петербургской стороне, в доме купца Лукьянова, забежные ступеньки деревянной лестницы сгнили, провалились и давно уже представляют опасность для находящейся у него в услужении солдатки Афимьи Скапидаровой, принужденной часто всходить на лестницу с водою или с охапкою дров. Наконец предсказания наши оправдались: вчера вечером, в половине девятого пополудни, солдатка Афимья Скапидарова провалилась с суповой чашкой и сломала-таки себе ногу. Не знаем, починит ли теперь Лукьянов свою лестницу; русский человек задним умом крепок, но жертва русского авось уже свезена в больницу. Точно так же не устанем мы утверждать, что дворники, счи-

[1] Так (*лат.*).

щающие на Выборгской с деревянных тротуаров грязь, не должны пачкать ноги прохожих, а должны складывать грязь в кучки, подобно тому как в Европе при очищении сапогов... и т. д., и т. д.»

– Что же это, – сказал я, смотря в некотором недоумении на Прохора Саввича, – что же это такое?

– А что-с?

– Да помилуйте, чем бы об Иване Матвеиче пожалеть, жалеют о крокодиле.

– А что же-с? Зверя даже, *млекопитающего,* и того пожалели. Чем же не Европа-с? Там тоже крокодилов очень жалеют. Хи-хи-хи!

Сказав это, чудак Прохор Саввич уткнулся в свои бумаги и уже не промолвил более ни слова.

«Волос» и «Листок» я спрятал в карман да, кроме того, набрал для вечернего развлечения Ивану Матвеичу старых «Известий» и «Волосов» сколько мог найти, и хотя до вечера было еще далеко, но на этот раз я пораньше улизнул из канцелярии, чтоб побывать в Пассаже и хоть издали посмотреть, что там делается, подслушать разные мнения и направления. Предчувствовал я, что там целая давка, и на всякий случай поплотнее завернул лицо в воротник шинели, потому что мне было чего-то немного стыдно – до того мы не привыкли к публичности. Но чувствую, что я не вправе передавать собственные, прозаические мои ощущения ввиду такого замечательного и оригинального события.

СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

Из записок неизвестного

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. ВСТУПЛЕНИЕ

Дядя мой, полковник Егор Ильич Ростанев, выйдя в отставку, переселился в перешедшее к нему по наследству село Степанчиково и зажил в нем так, как будто всю жизнь свою был коренным, не выезжавшим из своих владений помещиком. Есть натуры решительно всем довольные и ко всему привыкающие; такова была именно натура отставного полковника. Трудно было себе представить человека смирнее и на всё согласнее. Если б его вздумали попросить посерьезнее довезти кого-нибудь версты две на своих плечах, то он бы, может быть, и довез: он был так добр, что в иной раз готов был решительно всё отдать по первому спросу и поделиться чуть не последней рубашкой с первым желающим. Наружности он был богатырской: высокий и стройный, с румяными щеками, с белыми, как слоновая кость, зубами, с длинным темно-русым усом, с голосом

громким, звонким и с откровенным, раскатистым смехом; говорил отрывисто и скороговоркою. От роду ему было в то время лет сорок, и всю жизнь свою, чуть не с шестнадцати лет, он пробыл в гусарах. Женился в очень молодых годах, любил свою жену без памяти; но она умерла, оставив в его сердце неизгладимое, благодарное воспоминание. Наконец, получив в наследство село Степанчиково, что увеличило его состояние до шестисот душ, он оставил службу и, как уже сказано было, поселился в деревне вместе с своими детьми: восьмилетним Илюшей (рождение которого стоило жизни его матери) и старшей дочерью Сашенькой, девочкой лет пятнадцати, воспитывавшейся, по смерти матери, в одном пансионе, в Москве. Но вскоре дом дяди стал похож на Ноев ковчег. Вот как это случилось.

В то время, когда он получил свое наследство и вышел в отставку, овдовела его маменька, генеральша Крахоткина, вышедшая в другой раз замуж за генерала, назад лет шестнадцать, когда дядя был еще корнетом, но, впрочем, уже сам задумывал жениться. Маменька долго не благословляла его на женитьбу, проливала горькие слезы, укоряла его в эгоизме, в неблагодарности, в непочтительности; доказывала, что имения его, двухсот пятидесяти душ, и без того едва достаточно на содержание его семейства (то есть на содержание его маменьки, со всем ее штабом приживалок, мосек, шпицев, китайских кошек и проч.), и среди этих укоров, попреков и взвизгиваний, вдруг, совершенно неожиданно, вышла замуж сама, прежде женитьбы сына, будучи уже сорока двух лет от роду. Впрочем, и тут она нашла предлог обвинить моего бедного дядю, уверяя, что идет замуж единственно, чтоб иметь убежище на старости лет, в чем отказывает ей непочтительный эгоист, ее сын, задумав непростительную дерзость: завестись своим домом.

Я никогда не мог узнать настоящую причину, побудившую такого, по-видимому, рассудительного человека, как покойный генерал Крахоткин, к этому браку с сорокадвухлетней вдовой. Надо полагать, что он подозревал у ней деньги. Другие думали, что ему просто нужна была нянька, так как он тогда уже предчувствовал весь этот рой болезней, который осадил его потом, на старости лет. Известно одно, что генерал глубоко не уважал жену свою во всё время своего с ней сожительства и язвительно смеялся над ней при всяком удобном случае. Это был

странный человек. Полуобразованный, очень неглупый, он решительно презирал всех и каждого, не имел никаких правил, смеялся над всем и над всеми и к старости, от болезней, бывших следствием не совсем правильной и праведной жизни, сделался зол, раздражителен и безжалостен. Служил он удачно; однако принужден был по какому-то «неприятному случаю» очень неладно выйти в отставку, едва избегнув суда и лишившись своего пенсиона. Это озлобило его окончательно. Почти без всяких средств, владея сотней разоренных душ, он сложил руки и во всю остальную жизнь, целые двенадцать лет, никогда не справлялся, чем он живет, кто содержит его; а между тем требовал жизненных удобств, не ограничивал расходов, держал карету. Скоро он лишился употребления ног и последние десять лет просидел в покойных креслах, подкачиваемых, когда было нужно, двумя саженными лакеями, которые никогда ничего от него не слыхали, кроме самых разнообразных ругательств. Карету, лакеев и кресла содержал непочтительный сын, посылая матери последнее, закладывая и перезакладывая свое имение, отказывая себе в необходимейшем, войдя в долги, почти неоплатные по тогдашнему его состоянию, и все-таки название эгоиста и неблагодарного сына осталось при нем неотъемлемо. Но дядя был такого характера, что наконец и сам поверил, что он эгоист, а потому, в наказание себе и чтоб не быть эгоистом, всё более и более присылал денег. Генеральша благоговела перед своим мужем. Впрочем, ей всего более нравилось то, что он генерал, а она по нем – генеральша.

В доме у ней была своя отдельная половина, где всё время полусуществования своего мужа она процветала в обществе приживалок, городских вестовщиц и фиделек. В своем городке она была важным лицом. Сплетни, приглашения в крестные и посаженые матери, копеечный преферанс и всеобщее уважение за ее генеральство вполне вознаграждали ее за домашнее стеснение. К ней являлись городские сороки с отчетами; ей всегда и везде было первое место, – словом, она извлекла из своего генеральства всё, что могла извлечь. Генерал во всё это не вмешивался; но зато при людях он смеялся над женою бессовестно, задавал, например, себе такие вопросы: зачем он женился на «такой просвирне»? – и никто не смел ему противоречить. Мало-помалу его оставили все знакомые; а между тем общество было ему необходимо: он любил поболтать, поспо-

рить, любил, чтоб перед ним всегда сидел слушатель. Он был вольнодумец и атеист старого покроя, а потому любил потрактовать и о высоких материях.

Но слушатели городка N* не жаловали высоких материй и становились всё реже и реже. Пробовали было завести домашний вист-преферанс; но игра кончалась обыкновенно для генерала такими припадками, что генеральша и ее приживалки, в ужасе, ставили свечки, служили молебны, гадали на бобах и на картах, раздавали калачи в остроге и с трепетом ожидали послеобеденного часа, когда опять приходилось составлять партию для виста-преферанса и принимать за каждую ошибку крики, визги, ругательства и чуть-чуть не побои. Генерал, когда что ему не нравилось, ни перед кем не стеснялся: визжал как баба, ругался как кучер, а иногда, разорвав и разбросав по полу карты и прогнав от себя своих партнеров, даже плакал с досады и злости, и не более как из-за какого-нибудь валета, которого сбросили вместо девятки. Наконец, по слабости зрения, ему понадобился чтец. Тут-то и явился Фома Фомич Опискин.

Признаюсь, я с некоторою торжественностью возвещаю об этом новом лице. Оно, бесспорно, одно из главнейших лиц моего рассказа. Насколько оно имеет право на внимание читателя – объяснять не стану: такой вопрос приличнее и возможнее разрешить самому читателю.

Явился Фома Фомич к генералу Крахоткину, как приживальщик из хлеба – ни более, ни менее. Откуда он взялся – покрыто мраком неизвестности. Я, впрочем, нарочно делал справки и кое-что узнал о прежних обстоятельствах этого достопримечательного человека. Говорили, во-первых, что он когда-то и где-то служил, где-то пострадал и уж, разумеется, «за правду». Говорили еще, что когда-то он занимался в Москве литературою. Мудреного нет; грязное же невежество Фомы Фомича, конечно, не могло служить помехою его литературной карьере. Но достоверно известно только то, что ему ничего не удалось и что наконец он принужден был поступить к генералу в качестве чтеца и мученика. Не было унижения, которого бы он не перенес из-за куска генеральского хлеба. Правда, впоследствии, по смерти генерала, когда сам Фома совершенно неожиданно сделался вдруг важным и чрезвычайным лицом, он не раз уверял нас всех, что, согласясь быть шутом, он великодушно пожертвовал собою дружбе; что генерал был его благодетель; что это был человек

великий, непонятой и что одному ему, Фоме, доверял он сокровеннейшие тайны души своей; что, наконец, если он, Фома, и изображал собою, по генеральскому востребованию, различных зверей и иные живые картины, то единственно, чтоб развлечь и развеселить удрученного болезнями страдальца и друга. Но уверения и толкования Фомы Фомича в этом случае подвергаются большому сомнению; а между тем тот же Фома Фомич, еще будучи шутом, разыгрывал совершенно другую роль на дамской половине генеральского дома. Как он это устроил – трудно представить неспециалисту в подобных делах. Генеральша питала к нему какое-то мистическое уважение, – за что? – неизвестно. Мало-помалу он достиг над всей женской половиной генеральского дома удивительного влияния, отчасти похожего на влияния различных иван-яковличей и тому подобных мудрецов и прорицателей, посещаемых в сумасшедших домах иными барынями, из любительниц. Он читал вслух душеспасительные книги, толковал с красноречивыми слезами о разных христианских добродетелях; рассказывал свою жизнь и подвиги; ходил к обедне и даже к заутрене, отчасти предсказывал будущее; особенно хорошо умел толковать сны и мастерски осуждал ближнего. Генерал догадывался о том, что происходит в задних комнатах, и еще беспощаднее тиранил своего приживальщика. Но мученичество Фомы доставляло ему еще большее уважение в глазах генеральши и всех ее домочадцев.

Наконец всё переменилось. Генерал умер. Смерть его была довольно оригинальная. Бывший вольнодумец, атеист струсил до невероятности. Он плакал, каялся, подымал образа, призывал священников. Служили молебны, соборовали. Бедняк кричал, что не хочет умирать, и даже со слезами просил прощения у Фомы Фомича. Последнее обстоятельство придало Фоме Фомичу впоследствии необыкновенного форсу. Впрочем, перед самой разлукой генеральской души с генеральским телом, случилось вот какое происшествие. Дочь генеральши от первого брака, тетушка моя, Прасковья Ильинична, засидевшаяся в девках и проживавшая постоянно в генеральском доме, – одна из любимейших жертв генерала и необходимая ему во всё время его десятилетнего безножия для беспрерывных услуг, умевшая одна угодить ему своею простоватою и безответною кротостью, – подошла к его постели, проливая горькие слезы, и хотела было поправить подушку под головою страдальца; но страдалец успел-таки

схватить ее за волосы и три раза дернуть их, чуть не пенясь от злости. Минут через десять он умер. Дали знать полковнику, хотя генеральша и объявила, что не хочет видеть его, что скорее умрет, чем пустит его к себе на глаза в такую минуту. Похороны были великолепные – разумеется, на счет непочтительного сына, которого не хотели пускать на глаза.

В разоренном селе Князёвке, принадлежащем нескольким помещикам и в котором у генерала была своя сотня душ, существует мавзолей из белого мрамора, испещренный хвалебными надписями уму, талантам, благородству души, орденам и генеральству усопшего. Фома Фомич сильно участвовал в составлении этих надписей. Долго ломалась генеральша, отказывая в прощении непокорному сыну. Она говорила, рыдая и взвизгивая, окруженная толпой своих приживалок и мосек, что скорее будет есть сухой хлеб и уж, разумеется, «запивать его своими слезами», что скорее пойдет с палочкой выпрашивать себе подаяние под окнами, чем склонится на просьбу «непокорного» переехать к нему в Степанчиково, и что *нога* ее никогда-никогда не будет в доме его! Вообще слово *нога*, употребленное в этом смысле, произносится с необыкновенным эффектом иными барынями. Генеральша мастерски, художественно произносила его... Словом, красноречия было истрачено в невероятном количестве. Надо заметить, что во время самых этих взвизгиваний уже помаленьку укладывались для переезда в Степанчиково. Полковник заморил всех своих лошадей, делая почти каждодневно по сороку верст из Степанчикова в город, и только через две недели после похорон генерала получил позволение явиться на глаза оскорбленной родительницы. Фома Фомич был употреблен для переговоров. Во все эти две недели он укорял и стыдил непокорного «бесчеловечным» его поведением, довел его до искренних слез, почти до отчаяния. С это го-то времени и начинается всё непостижимое и бесчеловечно-деспотическое влияние Фомы Фомича на моего бедного дядю. Фома догадался, какой перед ним человек, и тотчас же почувствовал, что прошла его роль шута и что на безлюдье и Фома может быть дворянином. Зато и наверстал же он свое.

– Каково же будет вам, – говорил Фома, – если собственная ваша мать, так сказать, виновница дней ваших, возьмет палочку и, опираясь на нее, дрожащими и иссохшими от голода руками начнет в самом деле испрашивать себе подаяния? Не чудовищно ли это, во-первых, при ее

генеральском значении, а во-вторых, при ее добродетелях? Каково вам будет, если она вдруг придет, разумеется, ошибкой – но ведь это может случиться – под ваши же окна и протянет руку свою, тогда как вы, родной сын ее, может быть, в эту самую минуту утопаете где-нибудь в пуховой перине и... ну, вообще в роскоши! Ужасно, ужасно! но всего ужаснее то – позвольте это вам сказать откровенно, полковник, – всего ужаснее то, что вы стоите теперь передо мною, как бесчувственный столб, разиня рот и хлопая глазами, что даже неприлично, тогда как при одном предположении подобного случая вы бы должны были вырвать с корнем волосы из головы своей и испустить ручьи... что я говорю! реки, озера, моря, океаны слез!..

Словом, Фома, от излишнего жара, зарапортовался. Но таков был всегдашний исход его красноречия. Разумеется, кончилось тем, что генеральша, вместе с своими приживалками, собачонками, с Фомой Фомичом и с девицей Перепелицыной, своей главной наперсницей, осчастливила наконец своим прибытием Степанчиково. Она говорила, что только *попробует* жить у сына, покамест только испытает его почтительность. Можно представить себе положение полковника, покамест испытывали его почтительность! Сначала, в качестве недавней вдовы, генеральша считала своею обязанностью в неделю раза два или три впадать в отчаяние при воспоминании о своем безвозвратном генерале; причем, неизвестно за что, аккуратно каждый раз доставалось полковнику. Иногда, особенно при чьих-нибудь посещениях, подозвав к себе своего внука, маленького Илюшу, и пятнадцатилетнюю Сашеньку, внучку свою, генеральша сажала их подле себя, долго-долго смотрела на них грустным, страдальческим взглядом, как на детей, погибших у *такого отца,* глубоко и тяжело вздыхала и наконец заливалась безмолвными таинственными слезами по крайней мере на целый час. Горе полковнику, если он не умел *понять* этих слез! А он, бедный, почти никогда не умел их понять и почти всегда, по наивности своей, подвертывался, как нарочно, в такие слезливые минуты и волей-неволей попадал на экзамен. Но почтительность его не уменьшалась и наконец дошла до последних пределов. Словом, оба, и генеральша и Фома Фомич, почувствовали вполне, что прошла гроза, гремевшая над ними столько лет от лица генерала Крахоткина, – прошла и никогда не воротится. Бывало, генеральша вдруг, ни с того ни с сего,

покатится на диване в обморок. Подымется беготня, суетня. Полковник уничтожится и дрожит как осиновый лист.

– Жестокий сын! – кричит генеральша, очнувшись, – ты растерзал мои внутренности... mes entrailles, mes entrailles![1]

– Да чем же, маменька, я растерзал ваши внутренности? – робко возражает полковник.

– Растерзал! растерзал! Он еще и оправдывается! Он грубит! Жестокий сын! умираю!..

Полковник, разумеется, уничтожен.

Но как-то так случалось, что генеральша всегда оживала. Чрез полчаса полковник толкует кому-нибудь, взяв его за пуговицу:

– Ну, да ведь она, братец, grande dame[2], генеральша! добрейшая старушка; но, знаешь, привыкла ко всему эдакому утонченному... не чета мне, вахлаку! Теперь на меня сердится. Оно, конечно, – я виноват. Я, братец, еще не знаю, чем я именно провинился, но уж, конечно, я виноват...

Случалось, что девица Перепелицына, перезрелое и шипящее на весь свет создание, безбровая, в накладке, с маленькими плотоядными глазками, с тоненькими, как ниточка, губами и с руками, вымытыми в огуречном рассоле, считала своею обязанностью прочесть наставление полковнику:

– Это оттого, что вы непочтительны-с. Это оттого, что вы эгоисты-с, оттого вы и оскорбляете маменьку-с; они к этому не привыкли-с. Они генеральши-с, а вы еще только полковники-с.

– Это, брат, девица Перепелицына, – замечает полковник своему слушателю, – превосходнейшая девица, горой стоит за маменьку! Редкая девица! Ты не думай, что она приживалка какая-нибудь; она, брат, сама подполковничья дочь. Вот оно как!

Но, разумеется, это были еще только цветки. Та же самая генеральша, которая умела выкидывать такие разнообразные фокусы, в свою очередь трепетала как мышка перед прежним своим приживальщиком. Фома Фомич заворожил ее окончательно. Она не надышала на него, слышала его ушами, смотрела его глазами. Один из моих троюродных братьев, тоже

---

[1] Мои внутренности (*фр.*).

[2] Светская дама (*фр.*).

отставной гусар, человек еще молодой, но замотавшийся до невероятной степени и проживавший одно время у дяди, прямо и просто объявил мне, что, по его глубочайшему убеждению, генеральша находилась в непозволительной связи с Фомой Фомичом. Разумеется, я тогда же с негодованием отверг это предположение, как уж слишком грубое и простодушное. Нет, тут было другое, и это другое я никак не могу объяснить иначе, как предварительно объяснив читателю характер Фомы Фомича так, как я сам его понял впоследствии.

Представьте же себе человечка, самого ничтожного, самого малодушного, выкидыша из общества, никому не нужного, совершенно бесполезного, совершенно гаденького, но необъятно самолюбивого и вдобавок не одаренного решительно ничем, чем бы мог он хоть сколько-нибудь оправдать свое болезненно раздраженное самолюбие. Предупреждаю заранее: Фома Фомич есть олицетворение самолюбия самого безграничного, но вместе с тем самолюбия особенного, именно: случающегося при самом полном ничтожестве, и, как обыкновенно бывает в таком случае, самолюбия оскорбленного, подавленного тяжкими прежними неудачами, загноившегося давно-давно и с тех пор выдавливающего из себя зависть и яд при каждой встрече, при каждой чужой удаче. Нечего и говорить, что всё это приправлено самою безобразною обидчивостью, самою сумасшедшею мнительностью. Может быть, спросят: откуда берется такое самолюбие? как зарождается оно, при таком полном ничтожестве, в таких жалких людях, которые, уже по социальному положению своему, обязаны знать свое место? Как отвечать на этот вопрос? Кто знает, может быть, есть и исключения, к которым и принадлежит мой герой. Он и действительно есть исключение из правила, что и объяснится впоследствии. Однако ж позвольте спросить: уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия? А зависть, а сплетни, а ябедничество, а доносы, а таинственные шипения в задних углах у вас же, где-нибудь под боком, за вашим же столом?.. Кто знает, может быть, в некоторых из этих униженных судьбою скитальцев, ваших шутов и юродивых, самолюбие не только не проходит от унижения, но даже еще более распаляется именно от этого же самого унижения, от юродства и шутовства, от прихлебательства и вечно вынужда-

емой подчиненности и безличности. Кто знает, может быть, это безобразно вырастающее самолюбие есть только ложное, первоначально извращенное чувство собственного достоинства, оскорбленного в первый раз еще, может, в детстве гнетом, бедностью, грязью, оплеванного, может быть, еще в лице родителей будущего скитальца, на его же глазах? Но я сказал, что Фома Фомич есть к тому же и исключение из общего правила. Это и правда. Он был когда-то литератором и был огорчен и не признан; а литература способна загубить и не одного Фому Фомича – разумеется, непризнанная. Не знаю, но надо полагать, что Фоме Фомичу не удалось еще и прежде литературы; может быть, и на других карьерах он получал одни только щелчки вместо жалованья или что-нибудь еще того хуже. Это мне, впрочем, неизвестно; но я впоследствии справлялся и наверно знаю, что Фома действительно сотворил когда-то в Москве романчик, весьма похожий на те, которые стряпались там в тридцатых годах ежегодно десятками, вроде различных «Освобождений Москвы», «Атаманов Бурь», «Сыновей любви, или Русских в 1104-м году» и проч, и проч., романов, доставлявших в свое время приятную пищу для остроумия барона Брамбеуса. Это было, конечно, давно; но змея литературного самолюбия жалит иногда глубоко и неизлечимо, особенно людей ничтожных и глуповатых. Фома Фомич был огорчен с первого литературного шага и тогда же окончательно примкнул к той огромной фаланге огорченных, из которой выходят потом все юродивые, все скитальцы и странники. С того же времени, я думаю, и развилась в нем эта уродливая хвастливость, эта жажда похвал и отличий, поклонений и удивлений. Он и в шутах составил себе кучку благоговевших перед ним идиотов. Только чтоб где-нибудь, как-нибудь первенствовать, прорицать, поковеркаться и похвастаться – вот была главная потребность его! Его не хвалили – так он сам себя начал хвалить. Я сам слышал слова Фомы в доме дяди, в Степанчикове, когда уже он стал там полным владыкою и прорицателем: «Не жилец я между вами, – говаривал он иногда с какою-то таинственною важностью, – не жилец я здесь! Посмотрю, устрою вас всех, покажу, научу и тогда прощайте: в Москву, издавать журнал! Тридцать тысяч человек будут сбираться на мои лекции ежемесячно. Грянет наконец мое имя, и тогда – горе врагам моим!» Но гений, покамест еще собирался прославиться, требовал награды немедленной. Вообще приятно получать плату вперед, а в этом случае особенно. Я знаю, он серьезно уверил дядю,

что ему, Фоме, предстоит величайший подвиг, подвиг, для которого он и на свет призван и к совершению которого понуждает его какой-то человек с крыльями, являющийся ему по ночам, или что-то вроде того. Именно: написать одно глубокомысленнейшее сочинение в душеспасительном роде, от которого произойдет всеобщее землетрясение и затрещит вся Россия. И когда уже затрещит вся Россия, то он, Фома, пренебрегая славой, пойдет в монастырь и будет молиться день и ночь в киевских пещерах о счастии отечества. Всё это, разумеется, обольстило дядю.

Теперь представьте же себе, что может сделаться из Фомы, во всю жизнь угнетенного и забитого и даже, может быть, и в самом деле битого, из Фомы, втайне сластолюбивого и самолюбивого, из Фомы – огорченного литератора, из Фомы – шута из насущного хлеба, из Фомы – в душе деспота, несмотря на всё предыдущее ничтожество и бессилие, из Фомы – хвастуна, а при удаче нахала, из этого Фомы, вдруг попавшего в честь и в славу, возлелеянного и захваленного благодаря идиотке-покровительнице и обольщенному, на всё согласному покровителю, в дом которого он попал наконец после долгих странствований? О характере дяди я, конечно, обязан объяснить подробнее: без этого непонятен и успех Фомы Фомича. Но покамест скажу, что с Фомой именно сбылась пословица: посади за стол, он и ноги на стол. Наверстал-таки он свое прошедшее! Низкая душа, выйдя из-под гнета, сама гнетет. Фому угнетали – и он тотчас же ощутил потребность сам угнетать; над ним ломались – и он сам стал над другими ломаться. Он был шутом и тотчас же ощутил потребность завести и своих шутов. Хвастался он до нелепости, ломался до невозможности, требовал птичьего молока, тиранствовал без меры, и дошло до того, что добрые люди, еще не быв свидетелями всех этих проделок, а слушая только россказни, считали всё это за чудо, за наваждение, крестились и отплевывались.

Я говорил о дяде. Без объяснения этого замечательного характера (повторяю это), конечно, непонятно такое наглое воцарение Фомы Фомича в чужом доме; непонятна эта метаморфоза из шута в великого человека. Мало того, что дядя был добр до крайности – это был человек утонченной деликатности, несмотря на несколько грубую наружность, высочайшего благородства, мужества испытанного. Я смело говорю «мужества»: он не остановился бы перед обязанностью, перед долгом

и в этом случае не побоялся бы никаких преград. Душою он был чист как ребенок. Это был действительно ребенок в сорок лет, экспансивный в высшей степени, всегда веселый, предполагавший всех людей ангелами, обвинявший себя в чужих недостатках и преувеличивавший добрые качества других до крайности, даже предполагавший их там, где их и быть не могло. Это был один из тех благороднейших и целомудренных сердцем людей, которые даже стыдятся предположить в другом человеке дурное, торопливо наряжают своих ближних во все добродетели, радуются чужому успеху, живут, таким образом, постоянно в идеальном мире, а при неудачах прежде всех обвиняют самих себя. Жертвовать собою интересам других – их призвание. Иной бы назвал его и малодушным, и бесхарактерным, и слабым. Конечно, он был слаб и даже уж слишком мягок характером, но не от недостатка твердости, а из боязни оскорбить, поступить жестоко, из излишнего уважения к другим и к человеку вообще. Впрочем, бесхарактерен и малодушен он был единственно, когда дело шло о его собственных выгодах, которыми он пренебрегал в высочайшей степени, за что всю жизнь подвергался насмешкам, и даже нередко от тех, для которых жертвовал этими выгодами. Впрочем, он никогда не верил, чтоб у него были враги; они, однако ж, у него бывали, но он их как-то не замечал. Шуму и крику в доме он боялся как огня и тотчас же всем уступал и всему подчинялся. Уступал он из какого-то застенчивого добродушия, из какой-то стыдливой деликатности, «чтоб уж так», говорил он скороговоркою, отдаляя от себя все посторонние упреки в потворстве и слабости – «чтоб уж так... чтоб уж все были довольны и счастливы!» Нечего и говорить, что он готов был подчиниться всякому благородному влиянию. Мало того, ловкий подлец мог совершенно им овладеть и даже сманить на дурное дело, разумеется, замаскировав это дурное дело в благородное. Дядя чрезвычайно легко вверялся другим, и в этом случае был далеко не без ошибок. Когда же, после многих страданий, он решался наконец увериться, что обманувший его человек бесчестен, то прежде всех обвинял себя, а нередко и одного себя. Представьте же себе теперь вдруг воцарившуюся в его тихом доме капризную, выживавшую из ума идиотку неразлучно с другим идиотом – ее идолом, боявшуюся до сих пор только своего генерала, а теперь уже ничего не боявшуюся и ощутившую даже потребность вознаградить себя за всё прошлое, – идиотку,

перед которой дядя считал своею обязанностью благоговеть уже потому только, что она была мать его. Начали с того, что тотчас же доказали дяде, что он груб, нетерпелив, невежествен и, главное, эгоист в высочайшей степени. Замечательно то, что идиотка-старуха сама верила тому, что она проповедовала. Да я думаю, и Фома Фомич также, по крайней мере отчасти. Убедили дядю и в том, что Фома ниспослан ему самим Богом для спасения души его и для усмирения его необузданных страстей, что он горд, тщеславится своим богатством и способен попрекнуть Фому Фомича куском хлеба. Бедный дядя очень скоро уверовал в глубину своего падения, готов был рвать на себе волосы, просить прощения...

– Я, братец, сам виноват, – говорит он, бывало, кому-нибудь из своих собеседников, – во всем виноват! Вдвое надо быть деликатнее с человеком, которого одолжаешь... то есть... что я! какое одолжаешь!., опять соврал! вовсе не одолжаешь; он меня, напротив, одолжает тем, что живет у меня, а не я его! Ну, а я попрекнул его куском хлеба!., то есть я вовсе не попрекнул, но, видно, так, что-нибудь с языка сорвалось – у меня часто с языка срывается... Ну, и наконец, человек страдал, делал подвиги; десять лет, несмотря ни на какие оскорбления, ухаживал за больным другом: всё это требует награды! ну наконец, и наука... писатель! образованнейший человек! благороднейшее лицо – словом...

Образ Фомы, образованного и несчастного, в шутах у капризного и жестокого барина, надрывал благородное сердце дяди сожалением и негодованием. Все странности Фомы, все неблагородные его выходки дядя тотчас же приписал его прежним страданиям, его унижению, его озлоблению... он тотчас же решил в нежной и благородной душе своей, что с страдальца нельзя и спрашивать как с обыкновенного человека; что не только надо прощать ему, но, сверх того, надо кротостью уврачевать его раны, восстановить его, примирить его с человечеством. Задав себе эту цель, он воспламенился до крайности и уже совсем потерял способность хоть когда-нибудь заметить, что новый друг его – сластолюбивая, капризная тварь, эгоист, лентяй, лежебок – и больше ничего. В ученость же и в гениальность Фомы он верил беззаветно. Я и забыл сказать, что перед словом «наука» или «литература» дядя благоговел самым наивным и бескорыстнейшим образом, хотя сам никогда и ничему не учился.

Это была одна из его капитальных и невиннейших странностей.

– Сочинение пишет! – говорит он, бывало, ходя на цыпочках еще за две комнаты до кабинета Фомы Фомича. – Не знаю, что именно, – прибавлял он с гордым и таинственным видом, – но уж, верно, брат, такая бурда... то есть в благородном смысле бурда. Для кого ясно, а для нас, брат, с тобой такая кувырколегия, что... Кажется, о производительных силах каких-то пишет – сам говорил. Это, верно, что-нибудь из политики. Да, грянет и его имя! Тогда и мы с тобой через него прославимся. Он, брат, мне это сам говорил...

Мне положительно известно, что дядя, по приказанию Фомы, принужден был сбрить свои прекрасные, темно-русые бакенбарды. Тому показалось, что с бакенбардами дядя похож на француза и что поэтому в нем мало любви к отечеству. Мало-помалу Фома стал вмешиваться в управление имением и давать мудрые советы. Эти мудрые советы были ужасны. Крестьяне скоро поняли, в чем дело и кто настоящий господин, и сильно почесывали затылки. Я сам впоследствии слышал один разговор Фомы Фомича с крестьянами: этот разговор, признаюсь, я подслушал. Фома еще прежде объявил, что любит поговорить с умным русским мужичком. И вот раз он зашел на гумно; поговорив с мужичками о хозяйстве, хотя сам не умел отличить овса от пшеницы, сладко потолковав о священных обязанностях крестьянина к господину, коснувшись слегка электричества и разделения труда, в чем, разумеется, не понимал ни строчки, растолковав своим слушателям, каким образом земля ходит около солнца, и, наконец, совершенно умилившись душой от собственного красноречия, он заговорил о министрах. Я это понял. Ведь рассказывал же Пушкин про одного папеньку, который внушал своему четырехлетнему сынишке, что он, его папенька, «такой хляблий, что папеньку любит государь»... Ведь нуждался же этот папенька в четырехлетием слушателе? Крестьяне же всегда слушали Фому Фомича с подобострастием.

– А што, батюшка, много ль ты царского-то жалованья получал? – спросил его вдруг один седенький старичок, Архип Короткий по прозвищу, из толпы других мужичков, с очевидным намерением подольститься; но Фоме Фомичу показался этот вопрос фамильярным, а он терпеть не мог фамильярности.

– А тебе какое дело, пехтерь? – отвечал он, с презрением поглядев на бедного мужичонка. – Что ты мне моську-то свою выставил: плюнуть мне, что ли, в нее?

Фома Фомич всегда разговаривал в таком тоне с «умным русским мужичком».

– Отец ты наш... – подхватил другой мужичок, – ведь мы люди темные. Может, ты майор, аль полковник, аль само ваше сиятельство, – как и величать-то тебя не ведаем.

– Пехтерь! – повторил Фома Фомич, однако ж смягчился. – Жалованье жалованью рознь, посконная ты голова! Другой и в генеральском чине, да ничего не получает, – значит, не за что: пользы царю не приносит. А я вот двадцать тысяч получал, когда у министра служил, да и тех не брал, потому я из чести служил, свой был достаток. Я жалованье свое на государственное просвещение да на погорелых жителей Казани пожертвовал.

– Вишь ты! Так это ты Казань-то обстроил, батюшка? – продолжал удивленный мужик.

Мужики вообще дивились на Фому Фомича.

– Ну да, и моя там есть доля, – отвечал Фома, как бы нехотя, как будто сам на себя досадуя, что удостоил *такого* человека *таким* разговором.

С дядей разговоры были другого рода.

– Прежде кто вы были? – говорит, например, Фома, развалясь после сытного обеда в покойном кресле, причем слуга, стоя за креслом, должен был отмахивать от него свежей липовой веткой мух. – На кого похожи вы были до меня? А теперь я заронил в вас искру того небесного огня, который горит теперь в душе вашей. Заронил ли я в вас искру небесного огня или нет? Отвечайте: заронил я в вас искру иль нет?

Фома Фомич, по правде, и сам не знал, зачем сделал такой вопрос. Но молчание и смущение дяди тотчас же его раззадорили. Он, прежде терпеливый и забитый, теперь вспыхивал как порох при каждом малейшем противоречии. Молчание дяди показалось ему обидным, и он уже теперь настаивал на ответе.

– Отвечайте же: горит в вас искра или нет?

Дядя мнется, жмется и не знает, что предпринять.

– Позвольте вам заметить, что я жду, – замечает Фома обидчивым голосом.

– Mais répondez donc[1], Егорушка! – подхватывает генеральша, пожимая плечами.

– Я спрашиваю: горит ли в вас эта искра иль нет? – снисходительно повторяет Фома, взяв конфетку из бонбоньерки, которая всегда ставится перед ним на столе. Это уж распоряжение генеральши.

– Ей-Богу, не знаю, Фома, – отвечает, наконец, дядя с отчаянием во взорах, – должно быть, что-нибудь есть в этом роде... Право, ты уж лучше не спрашивай, а то я совру что-нибудь...

– Хорошо! Так, по-вашему, я так ничтожен, что даже не стою ответа, – вы это хотели сказать? Ну, пусть будет так; пусть я буду ничто.

– Да нет же, Фома, Бог с тобой! Ну когда я это хотел сказать?

– Нет, вы именно это хотели сказать.

– Да клянусь же, что нет!

– Хорошо! пусть буду я лгун! пусть я, по вашему обвинению, нарочно изыскиваю предлога к ссоре; пусть ко всем оскорблениям присоединится и это – я всё перенесу...

– Mais, mon fils...[2] – вскрикивает испуганная генеральша.

– Фома Фомич! маменька! – восклицает дядя в отчаянии, – ей-Богу же, я не виноват! так разве, нечаянно, с языка сорвалось!.. Ты не смотри на меня, Фома: я ведь глуп – сам чувствую, что глуп; сам слышу в себе, что нескладно... Знаю, Фома, всё знаю! ты уж и не говори! – продолжает он, махая рукой. – Сорок лет прожил и до сих пор, до самой той поры, как тебя узнал, всё думал про себя, что человек... ну и всё там, как следует. А ведь и не замечал до сих пор, что грешен как козел эгоист первой руки и наделал зла такую кучу, что диво, как еще земля держит!

– Да, вы-таки эгоист! – замечает удовлетворенный Фома Фомич.

– Да уж я и сам понимаю теперь, что эгоист! Нет, шабаш! исправлюсь и буду добрее!

– Дай-то Бог! – заключает Фома Фомич, благочестиво вздыхая и подымаясь с кресла, чтоб отойти к послеобеденному сну. Фома Фомич всегда почивал после обеда.

---

[1] Да отвечайте же (*фр.*).

[2] Но, сын мой (*фр.*).

В заключение этой главы позвольте мне сказать собственно о моих личных отношениях к дяде и объяснить, каким образом я вдруг поставлен был глаз на глаз с Фомой Фомичом и нежданно-негаданно внезапно попал в круговорот самых важнейших происшествий из всех, случавшихся когда-нибудь в благословенном селе Степанчикове. Таким образом, я намерен заключить мое предисловие и прямо перейти к рассказу.

В детстве моем, когда я осиротел и остался один на свете, дядя заменил мне собою отца, воспитал меня на свой счет и, словом, сделал для меня то, что не всегда сделает и родной отец. С первого же дня, как он взял меня к себе, я привязался к нему всей душой. Мне было тогда лет десять, и помню, что мы очень скоро сошлись и совершенно поняли друг друга. Мы вместе спускали кубарь и украли чепчик у одной презлой старой барыни, приходившейся нам обоим сродни. Чепчик я немедленно привязал к хвосту бумажного змея и запустил под облака. Много лет спустя я ненадолго свиделся с дядей уже в Петербурге, где я кончал тогда курс моего учения на его счет. В этот раз я привязался к нему со всем жаром юности: что-то благородное, кроткое, правдивое, веселое и наивное до последних пределов поразило меня в его характере и влекло к нему всякого. Выйдя из университета, я жил некоторое время в Петербурге, покамест ничем не занятый и, как часто бывает с молокососами, убежденный, что в самом непродолжительном времени наделаю чрезвычайно много чего-нибудь очень замечательного и даже великого. Петербурга мне оставлять не хотелось. С дядей я переписывался довольно редко, и то только когда нуждался в деньгах, в которых он мне никогда не отказывал. Между тем я уж слышал от одного дворового человека дяди, приезжавшего по каким-то делам в Петербург, что у них, в Степанчикове, происходят удивительные вещи. Эти первые слухи меня заинтересовали и удивили. Я стал писать к дяде прилежнее. Он отвечал мне всегда как-то темно и странно и в каждом письме старался только заговаривать со мной о науках, ожидая от меня чрезвычайно много впереди по ученой части и гордясь моими будущими успехами. Вдруг, после довольно долгого молчания, я получил от него удивительное письмо, совершенно не похожее на все его прежние письма. Оно было наполнено такими странными намеками, таким сбродом противоположностей, что я сначала почти ничего и не понял. Видно было только, что писавший был в необыкновенной тре-

воге. Одно в этом письме было ясно: дядя серьезно, убедительно, почти умоляя меня, предлагал мне как можно скорее жениться на прежней его воспитаннице, дочери одного беднейшего провинциального чиновника, по фамилии Ежевикина, получившей прекрасное образование в одном учебном заведении, в Москве, на счет дяди, и бывшей теперь гувернанткой детей его. Он писал, что она несчастна, что я могу составить ее счастье, что я даже сделаю великодушный поступок, обращался к благородству моего сердца и обещал дать за нею приданое. Впрочем, о приданом он говорил как-то таинственно, боязливо и заключал письмо, умоляя меня сохранить всё это в величайшей тайне. Письмо это так поразило меня, что, наконец, у меня голова закружилась. Да и на какого молодого человека, который, как я, только что соскочил со сковороды, не подействовало бы такое предложение, хотя бы, например, романическою своею стороною? К тому же я слышал, что эта молоденькая гувернантка – прехорошенькая. Я, однако ж, не знал, на что решиться, хотя тотчас же написал дяде, что немедленно отправляюсь в Степанчиково. Дядя выслал мне, при том же письме, и денег на дорогу. Несмотря на то, я, в сомнениях и даже в тревоге, промедлил в Петербурге три недели. Вдруг случайно встречаю одного прежнего сослуживца дяди, который, возвращаясь с Кавказа в Петербург, заезжал по дороге в Степанчиково. Это был уже пожилой и рассудительный человек, закоренелый холостяк. С негодованием рассказал он мне про Фому Фомича и тут же сообщил мне одно обстоятельство, о котором я до сих пор еще не имел никакого понятия, именно, что Фома Фомич и генеральша задумали и положили женить дядю на одной престранной девице, перезрелой и почти совсем полоумной, с какой-то необыкновенной биографией и чуть ли не с полумиллионом приданого; что генеральша уже успела уверить эту девицу, что они между собою родня, и вследствие того переманить к себе в дом; что дядя, конечно, в отчаянии, но, кажется, кончится тем, что непременно женится на полумиллионе приданого; что, наконец, обе умные головы, генеральша и Фома Фомич, воздвигли страшное гонение на бедную, беззащитную гувернантку детей дяди, всеми силами выживают ее из дома, вероятно, боясь, чтоб полковник в нее не влюбился, а может, и оттого, что он уже и успел в нее влюбиться. Эти последние слова меня поразили. Впрочем, на все мои расспросы: уж не влюблен ли дядя в самом деле, рассказчик не мог или

не хотел дать мне точного ответа, да и вообще рассказывал скупо, нехотя и заметно уклонялся от подробных объяснений. Я задумался: известие так странно противоречило с письмом дяди и с его предложением!.. Но медлить было нечего. Я решился ехать в Степанчиково, желая не только вразумить и утешить дядю, но даже спасти его по возможности, то есть выгнать Фому, расстроить ненавистную свадьбу с перезрелой девой и, наконец, – так как, по моему окончательному решению, любовь дяди была только придирчивой выдумкой Фомы Фомича, – осчастливить несчастную, но, конечно, интересную девушку предложением руки моей и проч, и проч. Мало-помалу я так вдохновил и настроил себя, что, по молодости лет и от нечего делать, перескочил из сомнений совершенно в другую крайность: я начал гореть желанием как можно скорее наделать разных чудес и подвигов. Мне казалось даже, что я сам выказываю необыкновенное великодушие, благородно жертвуя собою, чтоб осчастливить невинное и прелестное создание, – словом, я помню, что во всю дорогу был очень доволен собой. Был июль; солнце светило ярко; кругом меня развертывался необъятный простор полей с дозревавшим хлебом... А я так долго сидел закупоренный в Петербурге, что, казалось мне, только теперь настоящим образом взглянул на свет Божий!

II. ГОСПОДИН БАХЧЕЕВ

Я уже приближался к цели моего путешествия. Проезжая маленький городок Б., от которого оставалось только десять верст до Степанчикова, я принужден был остановиться у кузницы, близ самой заставы, по случаю лопнувшей шины на переднем колесе моего тарантаса. Закрепить ее кое-как, для десяти верст, можно было довольно скоро, и потому я решился, никуда не заходя, подождать у кузницы, покамест кузнецы справят дело. Выйдя из тарантаса, я увидел одного толстого господина, который, так же как и я, принужден был остановиться для починки своего экипажа. Он стоял уже целый час на нестерпимом зное, кричал, бранился и с брюзгливым нетерпением погонял мастеровых, суетившихся около его прекрасной коляски. С первого же взгляда этот сердитый барин показался мне чрезвычайной брюзгой. Он был лет сорока пяти, среднего роста, очень толст и ряб. Толстота, кадык и пухлые, отвислые его щеки

свидетельствовали о блаженной помещичьей жизни. Что-то бабье было во всей его фигуре и тотчас же бросалось в глаза. Одет он был широко, удобно, опрятно, но отнюдь не по моде.

Не понимаю, почему он и на меня рассердился, тем более что видел меня первый раз в жизни и еще не сказал со мною ни слова. Я заметил это, как только вылез из тарантаса, по необыкновенно сердитым его взглядам. Мне, однако ж, очень хотелось с ним познакомиться. По болтовне его слуг я догадался, что он едет теперь из Степанчикова, от моего дяди, и потому был случай о многом порасспросить. Я было приподнял фуражку и попробовал со всевозможною приятностью заметить, как неприятны иногда бывают задержки в дороге; но толстяк окинул меня как-то нехотя недовольным и брюзгливым взглядом с головы до сапог, что-то проворчал себе под нос и тяжело поворотился ко мне всей поясницей. Эта сторона его особы, хотя и была предметом весьма любопытным для наблюдений, но уж, конечно, от нее нельзя было ожидать разговора приятного.

– Гришка! не ворчать под нос! выпорю!.. – закричал он вдруг на своего камердинера, как будто совершенно не слыхав того, что я сказал о задержках в дороге.

Этот «Гришка» был седой, старинный слуга, одетый в длинополый синий сюртук и носивший пребольшие седые бакенбарды. Судя по некоторым признакам, он тоже был очень сердит и угрюмо ворчал себе под нос. Между барином и слугой немедленно произошло объяснение.

– Выпорешь! ори еще больше! – проворчал Гришка будто про себя, но так громко, что все это слышали, и с негодованием отвернулся что-то приладить в коляске.

– Что? что ты сказал? «Ори еще больше»?., грубиянить вздумал! – закричал толстяк, весь побагровев.

– Да чего вы взъедаться в самом деле изволите? Слова сказать нельзя!

– Чего взъедаться? Слышите? На меня же ворчит, а мне и не взъедаться!

– Да за что я буду ворчать?

– За что ворчать... А то, небось, нет? Я знаю, за что ты будешь ворчать: за то, что я от обеда уехал, – вот за что.

– А мне что! По мне хоть совсем не обедайте. Я не на вас ворчу; кузнецам только слово сказал.

– Кузнецам... А на кузнецов чего ворчать?

– А не на них, так на экипаж ворчу.

– А на экипаж чего ворчать?

– А зачем изломался! Вперед не ломайся, а в целости будь.

– На экипаж... Нет, ты на меня ворчишь, а не на экипаж. Сам виноват, да он же и ругается!

– Да что вы, сударь, в самом деле, пристали? Отстаньте, пожалуйста!

– А чего ты всю дорогу сычом сидел, слова со мной не сказал, – а? Говоришь же в другие разы!

– Муха в рот лезла – оттого и молчал и сидел сычом. Что я вам сказки, что ли, буду рассказывать? Сказочницу Маланью берите с собой, коли сказки любите.

Толстяк раскрыл было рот, чтоб возразить, но, очевидно, не нашелся и замолчал. Слуга же, довольный своей диалектикой и влиянием на барина, выказанным при свидетелях, с удвоенной важностию обратился к рабочим и начал им что-то показывать.

Попытки мои познакомиться оставались тщетными, особенно при моей неловкости; но мне помогло непредвиденное обстоятельство. Одна заспанная, неумытая и непричесанная физиономия внезапно выглянула из окна закрытого, каретного кузова, с незапамятных времен стоявшего без колес у кузницы и ежедневно, но тщетно ожидавшего починки. С появлением этой физиономии раздался между мастеровыми всеобщий смех. Дело в том, что человек, выглянувший из кузова, был в нем накрепко заперт и теперь не мог выйти. Проспавшись в нем хмельной, он тщетно просился теперь на свободу; наконец стал просить кого-то сбегать за его инструментом. Всё это чрезвычайно веселило присутствовавших.

Есть такие натуры, которым в особенную радость и веселье бывают довольно странные вещи. Гримасы пьяного мужика, человек, споткнувшийся и упавший на улице, перебранка двух баб и проч, и проч, на эту тему производят иногда в иных людях самый добродушный восторг, неизвестно почему. Толстяк-помещик принадлежал именно к такого рода натурам. Мало-помалу его физиономия из грозной и угрюмой стала делаться довольной и ласковой и, наконец, совсем прояснилась.

– Да это Васильев? – спросил он с участием. – Да как он туда попал?

– Васильев, сударь, Степан Алексеич, Васильев! – закричали со всех сторон.

– Загулял, сударь, – прибавил один из работников, человек пожилой, высокий и сухощавый, с педантски строгим выражением лица и с поползновением на старшинство между своими, – загулял, сударь, от хозяина третий день как ушел, да у нас и хоронится, навязался к нам! Вот стамеску просит. Ну, на что тебе теперь стамеска, пустая ты голова? Последний струмент закладывать хочет!

– Эх, Архипушка! деньги – голуби: прилетят и опять улетят! Пусти, ради небесного Создателя, – молил Васильев тонким, дребезжащим голосом, высунув из кузова голову.

– Да сиди ты, идол, благо попал! – сурово отвечал Архип. – Глаза-то еще с третьёва дня успел переменить; с улицы сегодня на заре притащили; моли Бога – спрятали, Матвею Ильичу сказали: заболел, «запасные, дескать, колотья у нас проявились».

Смех раздался вторично.

– Да стамеска-то где?

– Да у нашего Зуя! Наладил одно! пьющий человек, как есть, сударь, Степан Алексеич.

– Хе-хе-хе! Ах, мошенник! Так ты вот как в городе работаешь: инструмент закладываешь! – прохрипел толстяк, захлебываясь от смеха, совершенно довольный и пришедший вдруг в наиприятнейшее расположение духа.

– А ведь столяр такой, что и в Москве поискать! Да вот так-то он всегда себя аттестует, мерзавец, – прибавил он, совершенно неожиданно обратившись ко мне. – Выпусти его, Архип: может, ему что и нужно.

Барина послушались. Гвоздь, которым забили каретную дверцу более для того, чтобы позабавиться над Васильевым, когда тот проспится, был вынут, и Васильев показался на свет Божий испачканный, неряшливый и оборванный. Он замигал от солнца, чихнул и покачнулся; потом, сделав рукой над глазами щиток, осмотрелся кругом.

– Народу-то, народу-то! – проговорил он, качая головой, – и всё, чай, тре...звые, – протянул он в каком-то грустном раздумье, как бы в упрек самому себе. – Ну, с добрым утром, братцы, с наступающим днем.

Снова всеобщий хохот.

– С наступающим днем! Да ты смотри, сколько дня-то ушло, человек несообразный!

– Ври, Емеля, – твоя неделя!

– По-нашему, хоть на час, да вскачь!

– Хе-хе-хе! Ишь краснобай! – вскричал толстяк, еще раз закачавшись от смеха и снова взглянув на меня приветливо. – И не стыдно тебе, Васильев?

– С горя, сударь, Степан Алексеич, с горя, – отвечал серьезно Васильев, махнув рукой и очевидно довольный, что представился случай еще раз помянуть про свое горе.

– С какого же горя, дурак?

– Ас такого, что досель и не видывали: Фоме Фомичу нас записывают.

– Кого? когда? – закричал толстяк, весь встрепенувшись.

Я тоже ступил шаг вперед: дело совершенно неожиданно коснулось и до меня.

– Да всех капитоновских. Наш барин, полковник, – дай Бог ему здравия – всю нашу Капитоновку, свою вотчину, Фоме Фомичу пожертвовать хочет; целые семьдесят душ ему выделяет. «На тебе, говорит, Фома! вот теперь у тебя, примерно, нет ничего; помещик ты небольшой; всего-то у тебя два снетка по оброку в Ладожском озере ходят – только и душ ревизских тебе от покойного родителя твоего осталось. Потому родитель твой, – продолжал Васильев с каким-то злобным удовольствием, посыпая перцем свой рассказ во всем, что касалось Фомы Фомича, – потому что родитель твой был столбовой дворянин, неведомо откуда, неведомо кто; тоже, как и ты, по господам проживал, при милости на кухне пробавлялся. А вот теперь, как запишу тебе Капитоновку, будешь и ты помещик, столбовой дворянин, и людей своих собственных иметь будешь, и лежи себе на печи, на дворянской вакансии...»

Но Степан Алексеевич уж не слушал. Эффект, произведенный на него полупьяным рассказом Васильева, был необыкновенный. Толстяк был так раздражен, что даже побагровел; кадык его затрясся, маленькие глазки налились кровью. Я думал, что с ним тотчас же будет удар.

– Этого недоставало! – проговорил он задыхаясь, – ракалья, Фома, приживальщик, в помещики! Тьфу! пропадайте вы совсем! Эй вы, кончай скорее! Домой!

– Позвольте спросить вас, – сказал я, нерешительно выступая вперед, – сейчас вы изволили упомянуть о Фоме Фомиче; кажется, его фамилия, если только не ошибаюсь, Опискин. Вот видите ли, я желал бы... словом, я имею особенные причины интересоваться этим лицом и, с своей стороны, очень бы желал узнать, в какой степени можно верить словам этого доброго человека, что барин его, Егор Ильич Ростанев, хочет подарить одну из своих деревень Фоме Фомичу. Меня это чрезвычайно интересует, и я...

– А позвольте и вас спросить, – прервал толстый господин, – с какой стороны изволите интересоваться этим лицом, как вы изъясняетесь; а по-моему, так этой ракальей анафемской – вот как называть его надо, а не лицом! Какое у него лицо, у паршивика! Один только срам, а не лицо!

Я объяснил, что насчет лица я покамест нахожусь в неизвестности, но что Егор Ильич Ростанев мне приходится дядей, а сам я – Сергей Александрович такой-то.

– Это что, ученый-то человек? Батюшка мой, да там вас ждут не дождутся! – вскричал толстяк, нелицемерно обрадовавшись. – Ведь я теперь сам от них, из Степанчикова; от обеда уехал, из-за пудинга встал: с Фомой усидеть не мог! Со всеми там переругался из-за Фомки проклятого... Вот встреча! Вы, батюшка, меня извините. Я Степан Алексеич Бахчеев и вас вот этаким от полу помню... Ну, кто бы сказал?.. А позвольте вас...

И толстяк полез лобызать меня.

После первых минут некоторого волнения я немедленно приступил к расспросам: случай был превосходный.

– Но кто ж этот Фома? – спросил я, – как это он завоевал там весь дом? Как не выгонят его со двора шелепами? Признаюсь...

– Его-то выгонят? Да вы сдурели аль нет? Да ведь Егор-то Ильич перед ним на цыпочках ходит! Да Фома велел раз быть вместо четверга середе, так они там, все до единого, четверг середой почитали. «Не хочу, чтоб был четверг, а будь середа!» Так две середы на одной неделе и было. Вы думаете, я приврал что-нибудь? Вот настолечко не приврал! Просто, батюшка, штука капитана Кука выходит!

– Я слышал это, но, признаюсь...

– Признаюсь да признаюсь! Ведь наладит же одно человек! Да чего признаваться-то? Нет, вы лучше меня расспросите. Ведь всё рассказать,

так вы не поверите, а спросите: из каких я лесов к вам явился? Матушка Егора-то Ильича, полковника-то, хоть и очень достойная дама и к тому же генеральша, да, по-моему, из ума совсем выжила: не надышит на Фомку треклятого. Всему она и причиной: она-то и завела его в доме. Зачитал он ее, то есть как есть бессловесная женщина сделалась, хоть и превосходительством называется – за генерала Крахоткина пятидесяти лет замуж выпрыгнула! Про сестрицу Егора Ильича, Прасковью Ильиничну, что в девках сорок лет сидит, и говорить не желаю. Ахи да охи, да клокчет как курица – надоела мне совсем – ну ее! Только разве и есть в ней, что дамский пол: так вот и уважай ее ни за что, ни про что, за то только, что она дамский пол! Тьфу! говорить неприлично: тетушкой она вам приходится. Одна только Александра Егоровна, дочка полковничья, хоть и малый ребенок – всего-то шестнадцатый год, да умней их всех, по-моему: не уважает Фоме; даже смотреть было весело. Милая барышня, больше ничего! Да и кому уважать-то? Ведь он, Фомка-то, у покойного генерала Крахоткина в шутах проживал! ведь он ему, для его генеральской потехи, различных зверей из себя представлял! И выходит, что прежде Ваня огороды копал, а нынче Ваня в воеводы попал. А теперь полковник-то, дядюшка-то, отставного шута заместо отца родного почитает, в рамку вставил его, подлеца, в ножки ему кланяется, своему-то приживальщику, – тьфу!

– Впрочем, бедность еще не порок... и... признаюсь вам... позвольте вас спросить, что он, красив, умен?

– Фома-то? писаный красавец! – отвечал Бахчеев с каким-то необыкновенным дрожанием злости в голосе. (Вопросы мои как-то раздражали его, и он уже начал и на меня смотреть подозрительно.) – Писаный красавец! Слышите, добрые люди: красавца нашел! Да он на всех зверей похож, батюшка, если уж всё хотите доподлинно знать. И ведь добро бы остроумие было, хоть бы остроумием, шельмец, обладал, – ну, я бы тогда согласился, пожалуй, скрепя сердце, для остроумия-то, а то ведь и остроумия нет никакого! Просто выпить им дал чего-нибудь всем физик какой-то! Тьфу! язык устал. Только плюнуть надо да замолчать. Расстроили вы меня, батюшка, своим разговором! Эй, вы! готово иль нет?

– Воронка еще перековать надо, – промолвил мрачно Григорий.

– Воронка. Я тебе такого задам Воронка!.. Да, сударь, я вам такое могу рассказать, что вы только рот разинете да так и останетесь до вто-

рого пришествия с разинутым ртом. Ведь я прежде и сам его уважал. Вы что думаете? Каюсь, открыто каюсь: был дураком! Ведь он и меня обморочил. Всезнай! всю подноготную знает, все науки произошел! Капель он мне давал: ведь я, батюшка, человек больной, сырой человек. Вы, может, не верите, а я больной. Ну, так я с его капель-то чуть вверх тормашки не полетел. Вы только молчите да слушайте; сами поедете, всем полюбуетесь. Ведь он там полковника-то до кровавых слез доведет; ведь кровавую слезу прольет от него полковник-то, да уж поздно будет. Ведь уж кругом весь околоток раззнакомился с ними из-за Фомки треклятого. Ведь всякому, кто ни приедет, оскорбления чинит. Чего уж мне: значительного чина не пощадит! Всякому наставления читает; в мораль какую-то бросило его, шельмеца. Мудрец, дескать, я, всех умнее, одного меня и слушай. Я, дескать, ученый. Да что ж, что ученый! Так из-за того, что ученый, уж так непременно и надо заесть неученого?.. И уж как начнет ученым своим языком колотить, так уж та-та-та! та-та-та! то есть такой, я вам скажу, болтливый язык, что отрезать его да выбросить на навозную кучу, так он и там будет болтать, всё будет болтать, пока ворона не склюет. Зазнался, надулся как мышь на крупу! Ведь уж туда теперь лезет, куда и голова его не пролезет. Да чего! Ведь он там дворовых людей по-французски учить выдумал! Хотите, не верьте! Это, дескать, ему полезно, хаму-то, слуге-то! Тьфу! срамец треклятый – больше ничего! А на что холопу знать по-французски, спрошу я вас? Да на что и нашему-то брату знать по-французски, на что? С барышнями в мазурке лимонничать, с чужими женами апельсинничать? разврат – больше ничего! А по-моему, графин водки выпил – вот и заговорил на всех языках. Вот как я его уважаю, французский-то ваш язык! Небось, и вы по-французски: «та-та-та! та-та-та! вышла кошка за кота!» – прибавил Бахчеев, смотря на меня с презрительным негодованием. – Вы, батюшка, человек ученый – а? по ученой части пошли?

– Да... я отчасти интересуюсь...

– Чай, тоже все науки произошли?

– Так-с, то есть нет... Признаюсь вам, я более интересуюсь теперь наблюдением. Я всё сидел в Петербурге и теперь спешу к дядюшке...

– А кто вас тянул к дядюшке? Сидели бы там, где-нибудь у себя, коли было где сесть! Нет, батюшка, тут, я вам скажу, ученостью мало возьмете, да и никакой дядюшка вам не поможет; попадете в аркан! Да я у них

похудел в одни сутки. Ну, верите ли, что я у них похудел? Нет, вы, я вижу, не верите. Что ж, пожалуй, Бог с вами, не верьте.

– Нет-с, помилуйте, я очень верю; только я всё еще не понимаю, – отвечал я, теряясь всё более и более.

– То-то верю, да я-то тебе не верю! Все вы прыгуны, с вашей ученой-то частью. Вам только бы на одной ножке попрыгать да себя показать! Не люблю я, батюшка, ученую часть; вот она у меня где сидит! Приходилось с вашими петербургскими сталкиваться – непотребный народ! Всё фармазоны; неверие распространяют; рюмку водки выпить боится, точно она укусит его – тьфу! Рассердили вы меня, батюшка, и рассказывать тебе ничего не хочу! Ведь не подрядился же я в самом деле тебе сказки рассказывать, да и язык устал. Всех, батюшка, не переругаешь, да и грешно... А только он у дядюшки вашего лакея Видоплясова чуть не в безумие ввел, ученый-то твой! Ума решился Видоплясов-то из-за Фомы Фомича...

– Да я б его, Видоплясова, – ввязался Григорий, который до сих пор чинно и строго наблюдал разговор, – да я б его, Видоплясова, из-под розог не выпустил. Нарвись-ко он на меня, я бы дурь-то немецкую вышиб! задал бы столько, что в два-ста не с кладешь.

– Молчать! – крикнул барин, – держи язык за зубами; не с тобой говорят!

– Видоплясов, – сказал я, совершенно сбившись и уже не зная, что говорить, – Видоплясов... скажите, какая странная фамилия?

– А чем она странная? И вы туда же! Эх вы, ученый, ученый!

Я потерял терпение.

– Извините, – сказал я, – но за что ж вы на меня-то сердитесь? Чем же я виноват? Признаюсь вам, я вот уже полчаса вас слушаю и даже не понимаю, о чем идет дело...

– Да вы, батюшка, чего обижаетесь? – отвечал толстяк, – нечего вам обижаться! Я ведь тебе любя говорю. Вы не глядите на меня, что я такой крикса и вот сейчас на человека моего закричал. Он хоть каналья естественнейшая, Гришка-то мой, да за это-то я его и люблю, подлеца. Чувствительность сердечная погубила меня – откровенно скажу; а во всем этом Фомка один виноват! Погубит он меня, присягну, что погубит! Вот теперь два часа на солнце по его же милости жарюсь. Хотел было к протопопу зайти, покамест эти дураки с починкой копаются. Хороший

человек здешний протопоп. Да уж так он расстроил меня, Фомка-то, что уж и на протопопа смотреть не хочется! Ну их всех! Здесь ведь и трактиришка порядочного нет. Все, я вам скажу, подлецы, все до единого! И ведь добро бы чин на нем был необыкновенный какой-нибудь, – продолжал Бахчеев, снова обращаясь к Фоме Фомичу, от которого он, видимо, не мог отвязаться, – ну тогда хоть по чину простительно; а то ведь и чинишка-то нет; это я доподлинно знаю, что нет. За правду, говорит, где-то там пострадал, в сорок не в нашем году, так вот и кланяйся ему за то в ножки! черт не брат! Чуть что не по нем – вскочит, завизжит: «Обижают, дескать, меня, бедность мою обижают, уважения не питают ко мне!» Без Фомы к столу не смей сесть, а сам не выходит: «Меня, дескать, обидели; я убогий странник, я и черного хлебца поем». Чуть сядут, он тут и явился; опять пошла наша скрипка пилить: «Зачем без меня сели за стол? значит, ни во что меня почитают». Словом, гуляй душа! Я, батюшка, долго молчал. Он думал, что и я перед ним собачонкой на задних лапках буду выплясывать; на-тка, брат, возьми закуси! Нет, брат, ты только за дугу, а я уж в телеге сижу! С Егор-то Ильичом я ведь в одном полку служил. Я-то в отставку юнкером вышел, а он в прошлом году в вотчину приехал в отставке полковником. Говорю ему: «Эй, себя сгубите, не потакайте Фоме! Прольете слезу!» Нет, говорит, превосходнейший он человек (это про Фомку-то!), он мне друг; он меня благонравию учит. Ну, думаю, против благонравия не пойдешь! Уж коли благонравию зачал учить – значит, последнее дело пришло. Что ж бы вы думали, сегодня из-за чего опять поднял историю? Завтра Ильи-пророка (господин Бахчеев перекрестился): Илюша, сынок-то дядюшкин, именинник. Я было думал и день у них провести, и пообедать там, и игрушку столичную выписал: немец на пружинах у своей невесты ручку целует, а та слезу платком вытирает – превосходная вещь! (теперь уж не подарю, морген-фри! Вон у меня в коляске лежит, и нос у немца отбит; назад везу). Егор-то Ильич и сам бы не прочь в такой день погулять и попраздновать, да Фомка претит: «Зачем, дескать, начали заниматься Илюшей? На меня, стало быть, внимания не обращают теперь!» А? каков гусь? восьмилетнему мальчику в тезоименитстве позавидовал! «Так вот нет же, говорит, и я именинник!» Да ведь будет Ильин день, а не Фомин! «Нет, говорит, я тоже в этот день именинник!» Смотрю я, терплю. Что ж бы вы думали?

Ведь они теперь на цыпочках ходят да шепчутся: как быть? За именинника его в Ильин день почитать или нет, поздравлять или нет? Не поздравь – обидеться может, а поздравь – пожалуй, и в насмешку примет. Тьфу ты, пропасть! Сели мы обедать... Да ты, батюшка, слушаешь иль нет?

– Помилуйте, слушаю; с особенным даже удовольствием слушаю; потому что через вас я теперь узнал... и... признаюсь...

– То-то, с особенным удовольствием! Знаю я твое удовольствие... Да уж ты не в пику ли мне про удовольствие-то свое говоришь?

– Помилуйте, в какую же пику? напротив. Притом же вы так... оригинально выражаетесь, что я даже готов записать ваши слова.

– То есть как это, батюшка, записать? – спросил господин Бахчеев с некоторым испугом и смотря на меня подозрительно.

– Впрочем, я, может быть, и не запишу... это я так.-Да ты, верно, как-нибудь обольстить меня хочешь?

– То есть как это обольстить? – спросил я с удивлением.

– Да так. Вот ты теперь меня обольстишь, я тебе всё расскажу, как дурак, а ты возьмешь, после, да и опишешь меня где-нибудь в сочинении.

Я тотчас же поспешил уверить господина Бахчеева, что я не из таких, но он всё еще подозрительно смотрел на меня.

– То-то не из таких! кто тебя знает! может, и лучше еще. Вон и Фома грозился меня описать да в печать послать.

– Позвольте спросить, – прервал я, отчасти желая переменить разговор, – скажите, правда ли, что дядюшка хочет жениться?

– Так что же, что хочет? Это бы еще ничего. Женись, коли уж так тебя покачнуло; не это скверно, а другое скверно... – прибавил господин Бахчеев в задумчивости. – Гм! про это, батюшка, я вам доподлинно не могу дать ответа. Много теперь туда всякого бабья напихалось, как мух у варенья; да ведь не разберешь, которая замуж хочет. А я вам, батюшка, по дружбе скажу: не люблю бабья! Только слава, что человек, а по правде, так один только срам, да и спасению души вредит. А что дядюшка ваш влюблен, как сибирский кот, так в этом я вас заверяю. Про это, батюшка, я теперь промолчу: сами увидите; а только то скверно, что дело тянет. Коли жениться, так и женись; а то Фомке боится сказать, да и старухе своей боится сказать: та тоже завизжит на всё село да брыкаться начнет. За Фомку стоит: дескать, Фома Фомич огорчится, коли супруга в дом войдет, потому что

ему тогда двух часов не прожить в доме-то. Супруга-то собственноручно в шею вытолкает, да еще, не будь дура, другим каким манером такого киселя задаст, что по уезду места потом не отыщет! Так вот он и куролесит теперь, вместе с маменькой и подсовывают ему таковскую... Да ты, батюшка, что ж меня перебил? Я тебе самую главную статью хотел рассказать, а ты меня перебил! Я постарше тебя; перебивать старика не годится...

Я извинился.

– Да ты не извиняйся! Я вам, батюшка, как человеку ученому, на суд представить хотел, как он сегодня разобидел меня. Ну вот рассуди, коли добрый ты человек. Сели мы обедать; так он меня, я тебе скажу, чуть не съел за обедом-то! С самого начала вижу: сидит себе, злится, так что в нем вся душа скрипит. В ложке воды утопить меня рад, ехидна! Такого самолюбия человек, что уж сам в себе поместиться не может! Вот и вздумал он ко мне придираться, благонравию тоже меня вздумал учить. Зачем, скажите ему, я такой толстый? Ну, пристал человек: зачем не тонкий, а толстый? Ну, скажите же, батюшка, что за вопрос? Ну, видно ли тут остроумие? Я с благоразумием ему отвечаю; «Это так уж Бог устроил, Фома Фомич: один толст, а другой тонок; а против всеблагого Провидения смертному восставать невозможно». Благоразумно ведь – как вы думаете? «Нет, говорит, у тебя пятьсот душ, живешь на готовом, а пользы отечеству не приносишь; надо служить, а ты всё дома сидишь да на гармонии играешь». А я и взаправду, когда взгрустнется, на гармонии люблю поиграть. Я опять с благоразумием отвечаю: «А в какую я службу пойду, Фома Фомич? В какой мундир толстоту-то мою затяну? Надену мундир, затянусь, неравно чихну – все пуговицы и отлетят, да еще, пожалуй, при высшем начальстве, да, оборони Бог, за пашквиль сочтут – что тогда?» Ну, скажите же, батюшка, ну что я тут смешного сказал? Так нет же, покатывается на мой счет, хаханьки да хихиньки такие пошли... то есть целомудрия в нем нет никакого, я вам скажу, да еще на французском диалекте поносить меня вздумал: «кошон[1]» говорит. Ну, кошон-то и я понимаю, что значит. «Ах ты, физик проклятый, думаю; полагаешь, я тебе теплоух дался?» Терпел я, терпел, да и не утерпел, встал из-за стола да при всем честном народе и бряк ему: «Согрешил я, говорю,

[1] Свинья (*фр.* – cochon).

перед тобой, Фома Фомич, благодетель; подумал было, что ты благовоспитанный человек, а ты, брат, выходишь такая же свинья, как и мы все», – сказал, да и вышел из-за стола, из-за самого пудинга: пудинг тогда обносили. «Ну вас и с пудингом-то!..»

– Извините меня, – сказал я, прослушав весь рассказ господина Бахчеева, – я, конечно, готов с вами во всем согласиться. Главное, я еще ничего положительного не знаю... Но, видите ли, на этот счет у меня явились теперь свои идеи.

– Какие же это идеи, батюшка, у тебя появились? – недоверчиво спросил господин Бахчеев.

– Видите ли, – начал я, несколько путаясь, – оно, может быть, и некстати теперь, но я, пожалуй, готов сообщить. Вот как я думаю: может быть, мы оба ошибаемся насчет Фомы Фомича; может быть, все эти странности прикрывают натуру особенную, даже даровитую – кто это знает? Может быть, это натура огорченная, разбитая страданиями, так сказать, мстящая всему человечеству. Я слышал, что он прежде был чем-то вроде шута: может быть, это его унизило, оскорбило, сразило?.. Понимаете: человек благородный... сознание... а тут роль шута!.. И вот он стал недоверчив ко всему человечеству и... и, может быть, если примирить его с человечеством... то есть с людьми, то, может быть, из него выйдет натура особенная... может быть, даже очень замечательная, и... и... и ведь есть же что-нибудь в этом человеке? Ведь есть же причина, по которой ему все поклоняются?

Словом, я сам почувствовал, что зарапортовался ужасно. По молодости еще можно было простить. Но господин Бахчеев не простил. Серьезно и строго смотрел он мне в глаза и, наконец, вдруг побагровел, как индейский петух.

– Это Фомка-то такой особенный человек? – спросил он отрывисто.

– Послушайте: я еще сам почти ничему не верю из того, что я теперь говорил. Я это так только, в виде догадки...

– А позвольте, батюшка, полюбопытствовать спросить: обучались вы философии, или нет?

– То есть в каком смысле? – спросил я с недоумением.

– Нет, не в смысле; а вы мне, батюшка, прямо, безо всякого смыслу отвечайте: обучались вы философии или нет?

– Признаюсь, я намерен изучать, но...

– Ну, так и есть! – вскричал господин Бахчеев, дав полную волю своему негодованию. – Я, батюшка, еще прежде, чем вы рот растворили, догадался, что вы философии обучались! Меня не надуешь! морген-фри! За три версты чутьем услышу философа! Поцелуйтесь вы с вашим Фомой Фомичом! Особенного человека нашел! тьфу! прокисай всё на свете! Я было думал, что вы тоже благонамеренный человек, а вы... Подавай! – закричал он кучеру, уж влезавшему на козла исправленного экипажа. – Домой!

Насилу-то я кое-как успокоил его; кое-как наконец он смягчился; но долго еще не мог решиться переменить гнев на милость. Между тем он влез в коляску с помощью Григория и Архипа, того самого, который читал наставления Васильеву.

– Позвольте спросить вас, – сказал я, подойдя к коляске, – вы уж более не приедете к дядюшке?

– К дядюшке-то? А плюньте на того, кто вам это сказал! Вы думаете, я постоянный человек, выдержу? В том-то и горе мое, что я тряпка, а не человек! Недели не пройдет, а я опять туда поплетусь. А зачем? Вот подите: сам не знаю зачем, а поеду; опять буду с Фомой воевать. Это уж, батюшка, горе мое! За грехи мне Господь этого Фомку в наказание послал. Характер у меня бабий, постоянства нет никакого! Трус я, батюшка, первой руки...

Мы, однако ж, расстались по-дружески; он даже пригласил меня к себе обедать.

– Приезжай, батюшка, приезжай, пообедаем. У меня водочка из Киева пешком пришла, а повар в Париже бывал. Такого фенезерфу подаст, такую кулебяку мисаиловну сочинит, что только пальчики оближешь да в ножки поклонишься ему, подлецу. Образованный человек! Я вот только давно не сек его, балуется он у меня... да вот теперь благо напомнили... Приезжай! Я бы вас и сегодня с собою пригласил, да вот как-то весь упал, раскис, совсем без задних ног сделался. Ведь я человек больной, сырой человек. Вы, может быть, и не верите... Ну, прощайте, батюшка! Пора плыть и моему кораблю. Вон и ваш тарантасик готов. А Фомке скажите, чтоб и не встречался со мной; не то я такую чувствительную встречу ему сочиню, что он...

Но последних слов уж не было слышно. Коляска, принятая дружно четверкою сильных коней, исчезла в облаках пыли. Подали и мой тарантас; я сел в него, и мы тотчас же проехали городишко. «Конечно, этот господин привирает, – подумал я, – он слишком сердит и не может быть беспристрастным. Но опять-таки всё, что он говорил о дяде, очень замечательно. Вот уж два голоса согласны в том, что дядя любит эту девицу... Гм! Женюсь я иль нет?» В этот раз я крепко задумался.

III. ДЯДЯ

Признаюсь, я даже немного струсил. Романические мечты мои показались мне вдруг чрезвычайно странными, даже как будто и глупыми, как только я въехал в Степанчиково. Это было часов около пяти пополудни. Дорога шла мимо барского сада. Снова, после долгих лет разлуки, я увидел этот огромный сад, в котором мелькнуло несколько счастливых дней моего детства и который, много раз потом, снился мне во сне, в дортуарах школ, хлопотавших о моем образовании. Я выскочил из повозки и пошел прямо через сад к барскому дому. Мне очень хотелось явиться втихомолку, разузнать, выспросить и прежде всего наговориться с дядей. Так и случилось. Пройдя аллею столетних лип, я ступил на террасу, с которой стеклянною дверью прямо входили во внутренние комнаты. Эта терраса была окружена клумбами цветов и заставлена горшками дорогих растений. Здесь я встретил одного из туземцев, старого Гаврилу, бывшего когда-то моим дядькой, а теперь почетного камердинера дядюшки. Старик был в очках и держал в руке тетрадку, которую читал с необыкновенным вниманием. Мы виделись с ним два года назад, в Петербурге, куда он приезжал вместе с дядей, а потому он тотчас же теперь узнал меня. С радостными слезами бросился он целовать мои руки, причем очки слетели с его носа на пол. Такая привязанность старика меня очень тронула. Но, взволнованный недавним разговором с господином Бахчеевым, я прежде всего обратил внимание на подозрительную тетрадку, бывшую в руках у Гаврилы.

– Что это, Гаврила, неужели и тебя начали учить по-французски? – спросил я старика.

– Учат, батюшка, на старости лет, как скворца, – печально отвечал Гаврила.

– Сам Фома учит?

– Он, батюшка. Умнеющий, должно быть, человек.

– Нечего сказать, умник! По разговорам учит?

– По китрадке, батюшка.

– Это что в руках у тебя? А! французские слова русскими буквами – ухитрился! Такому болвану, дураку набитому, в руки даетесь – не стыдно ли, Гаврила? – вскричал я, в один миг забыв все великодушные мои предположения о Фоме Фомиче, за которые мне еще так недавно досталось от господина Бахчеева.

– Где же, батюшка, – отвечал старик, – где же он дурак, коли уж господами нашими так заправляет?

– Гм! Может быть, ты и прав, Гаврила, – пробормотал я, приостановленный этим замечанием. – Веди же меня к дядюшке!

– Сокол ты мой! да я не могу на глаза показаться, не смею. Я уж и его стал бояться. Вот здесь и сижу, горе мычу, да за клумбы сигаю, когда он проходить изволит.

– Да чего же ты боишься?

– Давеча уроку не знал; Фома Фомич на коленки ставил, а я и не стал. Стар я стал, батюшка, Сергей Александрыч, чтоб надо мной такие шутки шутить! Барин осерчать изволил, зачем Фому Фомича не послушался. «Он, говорит, старый ты хрыч, о твоем же образовании заботится, произношению тебя хочет учить». Вот и хожу, твержу вокабул. Обещал Фома Фомич к вечеру опять екзаментик сделать.

Мне показалось, что тут было что-то неясное. С этим французским языком была какая-нибудь история, подумал я, которую старик не может мне объяснить.

– Один вопрос, Гаврила: каков он собой? видный, высокого роста?

– Фома-то Фомич? Нет, батюшка, плюгавенький такой человечек.

– Гм! Подожди, Гаврила; всё это еще, может быть, уладится; даже непременно, обещаю тебе, уладится! Но... где же дядюшка?

– А за конюшнями мужичков принимает. С Капитоновки старики с поклоном пришли. Прослышали, что их Фоме Фомичу записывают. Отмолиться хотят.

– Да зачем же за конюшнями?

– Опасается, батюшка...

Действительно, я нашел дядю за конюшнями. Там, на площадке, он стоял перед группой крестьян, которые кланялись и о чем-то усердно просили. Дядя что-то с жаром им толковал. Я подошел и окликнул его. Он обернулся, и мы бросились друг другу в объятия.

Он чрезвычайно мне обрадовался; радость его доходила до восторга. Он обнимал меня, сжимал мои руки... Точно ему возвратили его родного сына, избавленного от какой-нибудь смертельной опасности. Точно как будто я своим приездом избавил и его самого от какой-то смертельной опасности и привез с собою разрешение всех его недоразумений, счастье и радость на всю жизнь ему и всем, кого он любит. Дядя не согласился бы быть счастливым один. После первых порывов восторга, он вдруг так захлопотал, что наконец совершенно сбился и спутался. Он закидывал меня расспросами, хотел немедленно вести меня к своему семейству. Мы было и пошли, но дядя воротился, пожелав представить меня сначала капитоновским мужикам. Потом, помню, он вдруг заговорил, неизвестно по какому поводу, о каком-то господине Коровкине, необыкновенном человеке, которого он встретил три дня назад, где-то на большой дороге, и которого ждал теперь к себе в гости с крайним нетерпением. Потом он бросил и Коровкина и заговорил о чем-то другом. Я с наслаждением смотрел на него. Отвечая на торопливые его расспросы, я сказал, что желал бы не вступать в службу, а продолжать заниматься науками. Как только дело дошло до наук, дядя вдруг насупил брови и сделал необыкновенно важное лицо. Узнав, что в последнее время я занимался минералогией, он поднял голову и с гордостью осмотрелся кругом, как будто он сам, один, без всякой посторонней помощи, открыл и написал всю минералогию. Я уже сказал, что перед словом «наука» он благоговел самым бескорыстнейшим образом, тем более бескорыстным, что сам решительно ничего не знал.

– Эх, брат, есть же на свете люди, что всю подноготную знают! – говорил он мне однажды с сверкающими от восторга глазами. – Сидишь между ними, слушаешь и ведь сам знаешь, что ничего не понимаешь, а все как-то сердцу любо. А отчего? А оттого, что тут польза, тут ум, тут всеобщее счастье! Это-то я понимаю. Вот я теперь по чугунке поеду, а Илюшка мой, может, и по воздуху полетит... Ну, да наконец, и торговля, промышленность – эти, так сказать, струи... то есть я хочу сказать, что как ни верти, а полезно... Ведь полезно – не правда ли?

Но обратимся к нашей встрече.

– Вот подожди, друг мой, подожди, – начал он, потирая руки и скороговоркою, – увидишь человека! Человек редкий, я тебе скажу, человек ученый, человек науки; останется в столетии. А ведь хорошо словечко: «Останется в столетии»? Это мне Фома объяснил... Подожди, я тебя познакомлю.

– Это вы про Фому Фомича, дядюшка?

– Нет, нет, друг мой! Это я теперь про Коровкина. То есть и Фома тоже, и он... Но это я про Коровкина теперь говорил, – прибавил он, неизвестно отчего покраснев и как будто смешавшись, как только речь зашла про Фому.

– Какими же он науками занимается, дядюшка?

– Науками, братец, науками, вообще науками! Я вот только не могу сказать, какими именно, а только знаю, что науками. Как про железные дороги говорит! И знаешь, – прибавил дядя полушепотом, многозначительно прищуривая правый глаз, – немного, этак, вольных идей! Я заметил, особенно когда про семейное счастье заговорил... Вот жаль, что я сам мало понял (времени не было), а то бы рассказал тебе всё, как по нитке. И, вдобавок, благороднейших свойств человек! Я его пригласил к себе погостить. С часу на час ожидаю.

Между тем мужики глядели на меня, раскрыв рты и выпуча глаза, как на чудо.

– Послушайте, дядюшка, – прервал я его, – я, кажется, помешал мужичкам. Они, верно, за надобностью. О чем они? Я, признаюсь, подозреваю кой-что и очень бы рад их послушать...

Дядя вдруг захлопотал и заторопился.

– Ах, да! я и забыл! да вот видишь... что с ними делать? Выдумали, – и желал бы я знать, кто первый у них это выдумал, – выдумали, что я отдаю их, всю Капитоновку, – ты помнишь Капитоновку? еще мы туда с покойной Катей все по вечерам гулять ездили, – всю Капитоновку, целых шестьдесят восемь душ, Фоме Фомичу! «Ну, не хотим идти от тебя, да и только!»

– Так это неправда, дядюшка? вы не отдаете ему Капитоновки? – вскричал я, почти в восторге.

– И не думал; в голове не было! А ты от кого слышал? Раз как-то с языка сорвалось, вот и пошло гулять мое слово. И отчего им Фома так не мил? Вот подожди, Сергей, я тебя познакомлю, – прибавил он,

робко взглянув на меня, как будто уже предчувствуя и во мне врага Фоме Фомичу. – Это, брат, такой человек...

– Не хотим, опричь тебя, никого не хотим! – завопили вдруг мужики целым хором. – Вы отцы, а мы ваши дети!

– Послушайте, дядюшка, – отвечал я, – Фому Фомича я еще не видал, но... видите ли... я кое-что слышал. Признаюсь вам, что я встретил сегодня господина Бахчеева. Впрочем, у меня на этот счет, покамест своя идея. Во всяком случае, дядюшка, отпустите-ка вы мужичков, а мы с вами поговорим одни, без свидетелей. Я, признаюсь, затем и приехал...

– Именно, именно, – подхватил дядя, – именно! мужичков отпустим, а потом и поговорим, знаешь, этак, приятельски, дружески, основательно! Ну, – продолжал он скороговоркой, обращаясь к мужикам, – теперь ступайте, друзья мои. И вперед ко мне, всегда ко мне, когда нужно; так-таки прямо ко мне и иди во всякое время.

– Батюшка ты наш! Вы отцы, мы ваши дети! Не давай в обиду Фоме Фомичу! Вся бедность просит! – закричали еще раз мужики.

– Вот дураки-то! да не отдам я вас, говорят!

– А то заучит он нас совсем, батюшка! Здешних, слышь, совсем заучил.

– Так неужели он и вас по-французски учит? – вскричал я, почти в испуге.

– Нет, батюшка, покамест еще миловал Бог! – отвечал один из мужиков, вероятно большой говорун, рыжий, с огромной плешью на затылке и с длинной, жиденькой клинообразной бородкой, которая так и ходила вся, когда он говорил, точно она была живая сама по себе. – Нет, сударь, покамест еще миловал Бог.

– Да чему ж он вас учит?

– А учит он, ваша милость, так, что по-нашему выходит золотой ящик купи да медный грош положи.

– То есть как это медный грош?

– Сережа! ты в заблуждении; это клевета! – вскричал дядя, покраснев и ужасно сконфузившись. – Это они, дураки, не поняли, что он им говорил! Он только так... какой тут медный грош!.. А тебе нечего про всё поминать, горло драть, – продолжал дядя, с укоризною обращаясь к мужику, – тебе же, дураку, добра пожелали, а ты не понимаешь да и кричишь!

– Помилуйте, дядюшка, а французский-то язык?

– Это он для произношения, Сережа, единственно для произношения, – проговорил дядя каким-то просительным голосом. – Он это сам говорил, что для произношения... Притом же тут случилась одна особенная история – ты ее не знаешь, а потому и не можешь судить. Надо, братец, прежде вникнуть, а уж потом обвинять... Обвинять-то легко!

– Да вы-то чего! – закричал я, в запальчивости снова обращаясь к мужикам. – Вы бы ему так всё прямо и высказали. Дескать, этак нельзя, Фома Фомич, а вот оно как! Ведь есть же у вас язык?

– Где та мышь, чтоб коту звонок привесила, батюшка? «Я, говорит, тебя, мужика сиволапого, чистоте и порядку учу. Отчего у тебя рубаха нечиста?» Да в поту живет, оттого и нечистая! Не каждый день переменять. С чистоты не воскреснешь, с погани не треснешь.

– А вот анамедни на гумно пришел, – заговорил другой мужик, с виду рослый и сухощавый, весь в заплатах, в самых худеньких лаптишках, и, по-видимому, один из тех, которые вечно чем-нибудь недовольны и всегда держат в запасе какое-нибудь ядовитое, отравленное слово. До сих пор он хоронился за спинами других мужиков, слушал в мрачном безмолвии и всё время не сгонял с лица какой-то двусмысленной, горьколукавой усмешки. – На гумно пришел: «Знаете ли вы, говорит, сколько до солнца верст?» А кто его знает? Наука эта не нашинская, а барская. «Нет, говорит, ты дурак, пехтерь, пользы своей не знаешь; а я, говорит, астролом! Я все Божии планиды узнал».

– Ну, а сказал тебе, сколько до солнца верст? – вмешался дядя, вдруг оживляясь и весело мне подмигивая, как бы говоря: «Вот посмотри-ка, что будет!»

– Да, сказал сколько-то много, – нехотя отвечал мужик, не ожидавший такого вопроса.

– Ну, а сколько сказал, сколько именно?

– Да вашей милости лучше известно, а мы люди темные.

– Да я-то, брат, знаю, а ты помнишь ли?

– Да сколько-то сот али тысяч, говорил, будет. Что-то много сказал. На трех возах не вывезешь.

– То-то, помни, братец! А ты думал, небось, с версту будет, рукой достать? Нет, брат, земля – это, видишь, как шар круглый, – понимаешь?.. – продолжал дядя, очертив руками в воздухе подобие шара.

Мужик горько улыбнулся.

– Да, как шар! Она так на воздухе и держится сама собой и кругом солнца ходит. А солнце-то на месте стоит; тебе только кажется, что оно ходит. Вот она штука какая! А открыл это всё капитан Кук, мореход... А черт его знает кто и открыл, – прибавил он полушепотом, обращаясь ко мне. – Сам-то я, брат, ничего не знаю... А ты знаешь, сколько до солнца-то?

– Знаю, дядюшка, – отвечал я, с удивлением смотря на всю эту сцену, – только вот что я думаю: конечно, необразованность есть то же неряшество; но, с другой стороны... учить крестьян астрономии...

– Именно, именно, именно неряшество! – подхватил дядя в восторге от моего выражения, которое показалось ему чрезвычайно удачным. – Благородная мысль! Именно неряшество! Я это всегда говорил... то есть я этого никогда не говорил, но я чувствовал. Слышите, – закричал он мужикам, – необразованность это то же неряшество, такая же грязь! Вот оттого вас Фома и хотел научить. Он вас добру хотел научить – это ничего. Это, брат, уж всё равно, тоже служба, всякого чина стоит. Вот оно дело какое, наука-то! Ну, хорошо, хорошо, друзья мои! Ступайте с Богом, а я рад, рад... будьте покойны, я вас не оставлю.

– Защити, отец родной!

– Вели свет видеть, батюшка!

И мужики повалились в ноги.

– Ну, ну, это вздор! Богу да царю кланяйтесь, а не мне... Ну, ступайте, ведите себя хорошо, заслужите ласку... ну и там всё... Знаешь, – сказал он, вдруг обращаясь ко мне, только что ушли мужики, и как-то сияя от радости, – любит мужичок доброе слово, да и подарочек не повредит. Подарю-ка я им что-нибудь, – а? как ты думаешь? Для твоего приезда... Подарить или нет?

– Да вы, дядюшка, какой-то Фрол Силин, благодетельный человек, как я погляжу.

– Ну, нельзя же, братец, нельзя: это ничего. Я им давно хотел подарить, – прибавил он, как бы извиняясь. – А что тебе смешно, что я мужиков наукам учил? Нет, брат, это я так, это я от радости, что тебя увидел, Сережа. Просто-запросто хотел, чтоб и он, мужик, узнал, сколько до солнца, да рот разинул. Весело, брат, смотреть, когда он рот разинет... как-то этак радуешься за него. Только знаешь, друг мой, не говори там

в гостиной, что я с мужиками здесь объяснялся. Я нарочно их за конюшнями принял, чтоб не видно было. Оно, брат, как-то нельзя было там: щекотливое дело; да и сами они потихоньку пришли. Я ведь это для них больше и сделал...

– Ну вот, дядюшка, я и приехал! – начал я, переменяя разговор и желая добраться поскорее до главного дела. – Признаюсь вам, письмо ваше меня так удивило, что я...

– Друг мой, ни слова об этом! – перебил дядя, как будто в испуге и даже понизив голос: – после, после это всё объяснится. Я, может быть, и виноват перед тобою и даже, может быть, очень виноват, но...

– Передо мной виноваты, дядюшка?

– После, после, мой друг, после! всё это объяснится. Да какой же ты стал молодец! Милый ты мой! А как же я тебя ждал! Хотел излить, так сказать... ты ученый, ты один у меня... ты и Коровкин. Надобно заметить тебе, что на тебя здесь все сердятся. Смотри же, будь осторожнее, не оплошай!

– На меня? – спросил я, в удивлении смотря на дядю, не понимая, чем я мог рассердить людей, тогда еще мне совсем незнакомых. – На меня?

– На тебя, братец. Что ж делать! Фома Фомич немножко... ну уж и маменька, вслед за ним. Вообще будь осторожен, почтителен, не противоречь, а главное, почтителен...

– Это перед Фомой-то Фомичом, дядюшка?

– Что ж делать, друг мой! ведь я его не защищаю. Действительно он, может быть, человек с недостатками, и даже теперь, в эту самую минуту... Ах, брат Сережа, как это всё меня беспокоит! И как бы это всё могло уладиться, как бы мы все могли быть довольны и счастливы!.. Но, впрочем, кто ж без недостатков? Ведь не золотые ж и мы?

– Помилуйте, дядюшка! рассмотрите, что он делает...

– Эх, брат! всё это только дрязги и больше ничего! вот, например, я тебе расскажу: теперь он сердится на меня, и за что, как ты думаешь?.. Впрочем, может быть, я и сам виноват. Лучше я тебе потом расскажу...

– Впрочем, знаете, дядюшка, у меня на этот счет выработалась своя особая идея, – перебил я, торопясь высказать мою идею. Да мы и оба как-то торопились. – Во-первых, он был шутом: это его огорчило, сразило, оскорбило его идеал; и вот вышла натура озлобленная, болезненная,

мстящая, так сказать, всему человечеству... Но если примирить его с человеком, если возвратить его самому себе...

– Именно, именно! – вскричал дядя в восторге, – именно так! Благороднейшая мысль! И даже стыдно, неблагородно было бы нам осуждать его! Именно!.. Ах, друг мой, ты меня понимаешь; ты мне отраду привез! Только бы там-то уладилось! Знаешь, я туда теперь и явиться боюсь. Вот ты приехал, и мне непременно достанется!

– Дядюшка, если так... – начал было я, смутясь от такого признания.

– Ни-ни-ни! ни за что в свете! – закричал он, схватив меня за руки. – Ты мой гость, и я так хочу!

Всё это чрезвычайно меня удивляло.

– Дядюшка, скажите мне сейчас же, – начал я настойчиво, – для чего вы меня звали? чего от меня надеетесь и, главное, в чем передо мной виноваты?

– Друг мой, и не спрашивай! после, после! всё это после объяснится! Я, может быть, и во многом виноват, но я хотел поступить как честный человек и... и... и ты на ней женишься! Ты женишься, если только есть в тебе хоть капля благородства! – прибавил он, весь покраснев от какого-то внезапного чувства, восторженно и крепко сжимая мою руку. – Но довольно, ни слова больше! Всё сам скоро узнаешь. От тебя же будет зависеть... Главное, чтоб ты теперь там понравился, произвел впечатление. Главное, не сконфузься.

– Но послушайте, дядюшка, кто ж у вас там? Я, признаюсь, так мало бывал в обществе, что...

– Что, немножко трусишь? – прервал дядя с улыбкою. – Э, ничего! все свои, ободрись! главное, ободрись, не бойся! Я всё как-то боюсь за тебя. Кто там у нас, спрашиваешь? Да кто ж у нас... Во-первых, мамаша, – начал он торопливо. – Ты помнишь мамашу, или не помнишь? Добрейшая, благороднейшая старушка; без претензий – это можно сказать; старого покроя немножко, да это и лучше. Ну, знаешь, иногда такие фантазии, скажет этак как-то; на меня теперь сердится, да я сам виноват... знаю, что виноват! Ну, наконец, она ведь что называется grande dame, генеральша... превосходнейший человек был ее муж: во-первых, генерал, человек образованнейший, состояния не оставил, но зато весь был изранен; словом – стяжал уважение! Потом девица Перепелицына. Ну

эта... не знаю... в последнее время она как-то того... характер такой... А, впрочем, нельзя же всех и осуждать... Ну, да Бог с ней... Ты не думай, что она приживалка какая-нибудь. Она, брат, сама подполковничья дочь. Наперсница маменьки, друг! Потом, брат, сестрица Прасковья Ильинична. Ну, про эту нечего много говорить: простая, добрая; хлопотунья немного, но зато сердце какое! – ты, главное, на сердце смотри – пожилая девушка, но, знаешь, этот чудак Бахчеев, кажется, куры строит, хочет присвататься. Ты, однако, молчи; чур: секрет! Ну, кто же еще из наших? про детей не говорю: сам увидишь. Илюшка завтра именинник... Да бишь! чуть не забыл: гостит у нас, видишь ли, уже целый месяц, Иван Иваныч Мизинчиков, тебе будет троюродный брат, кажется; да, именно троюродный! он недавно в отставку вышел из гусаров, поручиком; человек еще молодой. Благороднейшая душа! но, знаешь, так промотался, что уж я и не знаю, где он успел так промотаться. Впрочем, у него ничего почти и не было; но все-таки промотался, наделал долгов... Теперь гостит у меня. Я его до этих пор и не знал совсем; сам приехал, отрекомендовался. Милый, добрый, смирный, почтительный. Слыхал ли от него здесь кто и слово? всё молчит. Фома, в насмешку, прозвал его «молчаливый незнакомец» – ничего, не сердится. Фома доволен; говорит про Ивана, что он недалек. Впрочем, Иван ему ни в чем не противоречит и во всем поддакивает. Гм! Забитый он такой... Ну, да Бог с ним! сам увидишь. Есть городские гости: Павел Семеныч Обноскин с матерью; молодой человек, но высочайшего ума человек; что-то зрелое, знаешь, незыблемое... Я вот только не умею выразиться; и, вдобавок, превосходной нравственности; строгая мораль! Ну, и наконец, гостит у нас, видишь ли, одна Татьяна Ивановна, пожалуй, еще будет нам дальняя родственница – ты ее не знаешь, – девица, немолодая – в этом можно признаться, но... с приятностями девица; богата, братец, так, что два Степанчикова купит; недавно получила, а до тех пор горе мыкала. Ты, брат Сережа, пожалуйста, остерегись: она такая болезненная... знаешь, что-то фантасмагорическое в характере. Ну, ты благороден, поймешь, испытала, знаешь, несчастья. Вдвое надо быть осторожнее с человеком, испытавшим несчастья! Ты, впрочем, не подумай чего-нибудь. Конечно, есть слабости: так иногда заторопится, скоро скажет, не то слово скажет, которое нужно, то есть не лжет, ты не думай... всё это, брат, так сказать, от чистого, от благородного сердца выходит,

то есть если даже и солжет что-нибудь, то единственно, так сказать, чрез излишнее благородство души – понимаешь?

Мне показалось, что дядя ужасно сконфузился.

– Послушайте, дядюшка, – сказал я, – я вас так люблю... простите откровенный вопрос: женитесь вы на ком-нибудь здесь или нет?

– Да ты от кого слышал? – отвечал он, покраснев, как ребенок. – Вот видишь, друг мой, я тебе всё расскажу: во-первых, я не женюсь. Маменька, отчасти сестрица и, главное, Фома Фомич, которого маменька обожает, – и за дело, за дело: он много для нее сделал, – все они хотят, чтоб я женился на этой самой Татьяне Ивановне, из благоразумия, то есть для всего семейства. Конечно, мне же добра желают – я ведь это понимаю; но я ни за что не женюсь – я уж дал себе такое слово. Несмотря на то, я как-то не умел отвечать: ни да, ни нет не сказал. Это уж, брат, со мной всегда так случается. Они и подумали, что я соглашаюсь, и непременно хотят, чтоб завтра, для семейного праздника, я объяснился... и потому завтра такие хлопоты, что я даже не знаю, что предпринять! К тому же Фома Фомич, неизвестно почему, на меня рассердился; маменька тоже. Я, брат, признаюсь тебе, только ждал тебя да Коровкина... хотел излить, так сказать...

– Да чем же тут поможет Коровкин, дядюшка?

– Поможет, друг мой, поможет, – это, брат, уж такой человек; одно слово: человек науки! Я на него как на каменную гору надеюсь: побеждающий человек! Про семейное счастье как говорит! Я, признаюсь, и на тебя тоже надеялся; думал: ты их урезонишь. Сам рассуди: ну, положим, я виноват, действительно виноват – я понимаю всё это; я не бесчувственный. Ну да всё же меня можно простить когда-нибудь! Тогда бы мы вот как зажили!.. Эх, брат, как выросла моя Сашурка, хоть сейчас к венцу! Илюшка мой какой стал! завтра именинник. За Сашурку-то я боюсь – вот что!..

– Дядюшка! где мой чемодан? Я переоденусь и мигом явлюсь, а там...

– В мезонине, друг мой, в мезонине. Я уж так заране велел, чтоб тебя, как приедешь, прямо вели в мезонин, чтоб никто не видал. Именно, именно переоденься! Это хорошо, прекрасно, прекрасно! А я покамест там всех понемногу приготовлю. Ну, и с Богом! Знаешь, брат, надо хитрить. Поневоле Талейраном сделаешься. Ну, да ничего! Там теперь они чай пьют. У нас рано чай пьют. Фома Фомич любит нить сейчас как

проснется; оно, знаешь, и лучше... Ну, так я пойду, а ты уж поскорей за мной, не оставляй меня одного: неловко, брат, как-то мне одному-то... Да! постой! вот еще к тебе просьба: не кричи на меня там, как давеча здесь кричал, – а? разве уж потом, если захочешь, что заметить, так, наедине, здесь и заметишь; а до тех пор как-нибудь скрепись, подожди! Я, видишь ли, там уж и так накутал. Они сердятся...

– Послушайте, дядюшка, из всего, что я слышал и видел, мне кажется, что вы...

– Тюфяк, что ли? да уж ты договаривай! – перебил он меня совсем неожиданно. – Что ж, брат, делать! Я уж и сам это знаю. Ну, так ты придешь? Как можно скорее приходи, пожалуйста!

Взойдя наверх, я поспешно открыл чемодан, помня приказание дяди сойти вниз как можно скорее. Одеваясь, я заметал, что еще почти ничего не узнал из того, что хотел узнать, хотя и говорил с дядей целый час. Это меня поразило. Одно только было для меня несколько ясно: дядя всё еще настойчиво хотел, чтоб я женился; следовательно, все противоположные слухи, именно: что дядя влюблен в ту же особу сам, – неуместны. Помню, что я был в большой тревоге. Между прочим, мне пришло на мысль, что я приездом моим и молчанием перед дядей, почти произнес обещание, дал слово, связал себя навеки. «Нетрудно, – думал я, – нетрудно сказать слово, которое свяжет потом навеки по рукам и по ногам. А я еще не видал и невесты!» И опять-таки: с чего эта вражда против меня целого семейства? Почему именно все они должны смотреть на мой приезд, как уверяет дядя, враждебно? И что за странную роль играет сам дядя здесь, в своем собственном доме? Отчего происходит его таинственность? отчего все эти испуги и муки? Признаюсь, что всё это представилось мне вдруг чем-то совершенно бессмысленным; а романические и героические мечты мои совсем вылетели из головы при первом столкновении с действительностью. Теперь только, после разговора с дядей, мне вдруг представилась вся нескладность, вся эксцентричность его предложения, и я понял, что подобное предложение, и в таких обстоятельствах, способен был сделать один только дядя. Понял я также, что и сам я, прискакав сюда сломя голову, по первому его слову, в восторге от его предложения, очень походил на дурака. Я одевался поспешно, занятый тревожными моими сомнениями, так что и не заметил сначала прислуживавшего мне слугу.

– Аделаидина цвета изволите галстух надеть или этот, с мелкими клетками? – спросил вдруг слуга, обращаясь ко мне с какою-то необыкновенною, приторною учтивостью.

Я взглянул на него, и оказалось, что он тоже достоин был любопытства. Это был еще молодой человек, для лакея одетый прекрасно, не хуже иного губернского франта. Коричневый фрак, белые брюки, палевый жилет, лакированные полусапожки и розовый галстучек подобраны были, очевидно, не без цели. Всё это тотчас же должно было обратить внимание на деликатный вкус молодого щеголя. Цепочка к часам была выставлена напоказ непременно с тою же целью. Лицом он был бледен и даже зеленоват; нос имел большой, с горбинкой, тонкий, необыкновенно белый, как будто фарфоровый. Улыбка на тонких губах его выражала какую-то грусть и, однако ж, деликатную грусть. Глаза, большие, выпученные и как будто стеклянные, смотрели необыкновенно тупо, и, однако ж, все-таки просвечивалась в них деликатность. Тонкие, мягкие ушки были заложены, из деликатности, ватой. Длинные, белобрысые и жидкие волосы его были завиты в кудри и напомажены. Ручки его были беленькие, чистенькие, вымытые чуть ли не в розовой воде; пальцы оканчивались щеголеватыми, длиннейшими розовыми ногтями. Всё это показывало баловня, франта и белоручку. Он шепелявил и премодно не выговаривал букву р, подымал и опускал глаза, вздыхал и нежничал до невероятности. От него пахло духами. Роста он был небольшого, дряблый и хилый, и на ходу как-то особенно приседал, вероятно, находя в этом самую высшую деликатность, – словом, он весь был пропитан деликатностью, субтильностью и необыкновенным чувством собственного достоинства. Последнее обстоятельство, неизвестно почему, мне, сгоряча, не понравилось.

– Так этот галстух аделаидина цвета? – спросил я, строго посмотрев на молодого лакея.

– Аделаидина-с, – отвечал он с невозмутимою деликатностью.

– А аграфенина цвета нет?

– Нет-с. Такого и быть не может-с.

– Это почему?

– Неприличное имя Аграфена-с.

– Как неприличное? почему?

– Известно-с: Аделаида, по крайней мере, иностранное имя, облагороженное-с; а Аграфеной могут называть всякую последнюю бабу-с.

– Да ты с ума сошел или нет?

– Никак нет-с, я при своем уме-с. Всё – конечно, воля ваша обзывать меня всяческими словами; но разговором моим многие генералы и даже некоторые столичные графы оставались довольны-с.

– Да тебя как зовут?

– Видоплясов.

– А! так это ты Видоплясов?

– Точно так-с.

– Ну, подожди же, брат, я и с тобой познакомлюсь. «Однако здесь что-то похоже на Бедлам», – подумал я про себя, сходя вниз.

IV. ЗА ЧАЕМ

Чайная была та самая комната, из которой был выход на террасу, где я давеча встретил Гаврилу. Таинственные предвещания дяди насчет приема, меня ожидавшего, очень меня беспокоили. Молодость иногда не в меру самолюбива, а молодое самолюбие почти всегда трусливо. Вот почему мне чрезвычайно неприятно было, когда я, только что войдя в дверь и увидя за чайным столом всё общество, вдруг запнулся за ковер, пошатнулся и, спасая равновесие, неожиданно вылетел на средину комнаты. Сконфузившись так, как будто я разом погубил свою карьеру, честь и доброе имя, стоял я без движения, покраснев как рак и бессмысленно смотря на присутствовавших. Упоминаю об этом происшествии, совершенно по себе ничтожном, единственно потому, что оно имело чрезвычайное влияние на мое расположение духа почти во весь тот день, а следственно, и на отношения мои к некоторым из действующих лиц моего рассказа. Я попробовал было поклониться, не докончил, покраснел еще более, бросился к дяде и схватил его за руку.

– Здравствуйте, дядюшка, – проговорил я, задыхаясь, желая сказать что-то совсем другое, гораздо остроумнее, но, совсем неожиданно, сказав только: «здравствуйте».

– Здравствуй, здравствуй, братец, – отвечал страдавший за меня дядя, – ведь мы уж здоровались. Да не конфузься, пожалуйста, – при-

– Так этот галстух аделаидина цвета? – спросил я, строго посмотрев на молодого лакея.

бавил он шепотом, – это, брат, со всеми случается, да еще как! Бывало, хоть провалиться в ту ж пору!.. Ну, а теперь, маменька, позвольте вам рекомендовать: вот наш молодой человек; он немного сконфузился, но вы его верно полюбите. Племянник мой, Сергей Александрович, – добавил он, обращаясь ко всем вообще.

Но прежде чем буду продолжать рассказ, позвольте, любезный читатель, представить вам поименно всё общество, в котором я вдруг очутился. Это даже необходимо для порядка рассказа.

Вся компания состояла из нескольких дам и только двух мужчин, не считая меня и дяди. Фомы Фомича, – которого я так желал видеть и который, я уже тогда же чувствовал это, был полновластным владыкою всего дома, – не было: он блистал своим отсутствием и как будто унес с собой свет из комнаты. Все были мрачны и озабочены. Этого нельзя было не заметить с первого взгляда: как ни был я сам в ту минуту смущен и расстроен, однако я видел, что дядя, например, расстроен чуть ли не так же, как я, хотя он и употреблял все усилия, чтоб скрыть свою заботу под видимою непринужденностью. Что-то тяжелым камнем лежало у него на сердце. Один из двух мужчин, бывших в комнате, был еще очень молодой человек, лет двадцати пяти, тот самый Обноскин, о котором давеча упоминал дядя, восхваляя его ум и мораль. Этот господин мне чрезвычайно не понравился: всё в нем сбивалось на какой-то шик дурного тона; костюм его, несмотря на шик, был как-то потерт и скуден; в лице его было что-то как будто тоже потертое. Белобрысые, тонкие, тараканьи усы и неудавшаяся клочковатая бороденка, очевидно, предназначены были предъявлять человека независимого и, может быть, вольнодумца. Он беспрестанно прищуривался, улыбался с какою-то выделанною язвительностью, кобенился на своем стуле и поминутно смотрел на меня в лорнет; но когда я к нему поворачивался, он немедленно опускал свое стеклышко и как будто трусил. Другой господин, тоже еще человек молодой, лет двадцати восьми, был мой троюродный братец, Мизинчиков. Действительно, он был чрезвычайно молчалив. За чаем во всё время он не сказал ни слова, не смеялся, когда все смеялись; но я вовсе не заметил в нем никакой «забитости», которую видел в нем дядя; напротив, взгляд его светло-карих глаз выражал решимость и какую-то определенность характера. Мизинчиков был смугл, черноволос и довольно красив; одет очень

прилично – на дядин счет, как узнал я после. Из дам я заметил прежде всех девицу Перепелицыну, по ее необыкновенно злому, бескровному лицу. Она сидела возле генеральши, – о которой будет особая речь впоследствии, – но не рядом, а несколько сзади, из почтительности; поминутно нагибалась и шептала что-то на ухо своей покровительнице. Две-три пожилые приживалки, совершенно без речей, сидели рядком у окна и почтительно ожидали чаю, вытаращив глаза на матушку-генеральшу. Заинтересовала меня тоже одна толстая, совершенно расплывшаяся барыня, лет пятидесяти, одетая очень безвкусно и ярко, кажется, нарумяненная и почти без зубов, вместо которых торчали какие-то почерневшие и обломанные кусочки; это, однако ж, не мешало ей пищать, прищуриваться, модничать и чуть ли не делать глазки. Она была увешана какими-то цепочками и беспрерывно наводила на меня лорнетку, как мсье Обноскин. Это была его маменька. Смиренная Прасковья Ильинична, моя тетушка, разливала чай. Ей, видимо, хотелось обнять меня после долгой разлуки и, разумеется, тут же расплакаться, но она не смела. Всё здесь, казалось, было под каким-то запретом. Возле нее сидела прехорошенькая, черноглазая, пятнадцатилетняя девочка, глядевшая на меня пристально, с детским любопытством, – моя кузина Саша. Наконец и, может быть, всех более, выдавалась на вид одна престранная дама, одетая пышно и чрезвычайно юношественно, хотя она была далеко не молодая, по крайней мере лет тридцати пяти. Лицо у ней было очень худое, бледное и высохшее, но чрезвычайно одушевленное. Яркая краска поминутно появлялась на ее бледных щеках, почти при каждом ее движении, при каждом волнении. Волновалась же она беспрерывно, вертелась на стуле и как будто не в состоянии была и минутки просидеть в покое. Она всматривалась в меня с каким-то жадным любопытством, беспрестанно наклонялась пошептать что-то на ухо Сашеньке или другой соседке и тотчас же принималась смеяться самым простодушным, самым детски-веселым смехом. Но все ее эксцентричности, к удивлению моему, как будто не обращали на себя ничьего внимания, точно наперед все в этом условились. Я догадался, что это была Татьяна Ивановна, та самая, в которой, по выражению дяди, было нечто фантасмагорическое, которую навязывали ему в невесты и за которой почти все в доме ухаживали за ее богатство. Мне, впрочем, понравились ее глаза, голубые и кроткие; и хотя около этих

глаз уже виднелись морщинки, но взгляд их был так простодушен, так весел и добр, что как-то особенно приятно было встречаться с ним. Об этой Татьяне Ивановне, одной из настоящих «героинь» моего рассказа, я скажу после подробнее: биография ее примечательна. Минут пять после моего появления в чайной вбежал из сада прехорошенький мальчик, мой кузен Илюша, завтрашний именинник, у которого теперь оба кармана были набиты бабками, а в руках был кубарь. За ним вошла молодая, стройная девушка, немного бледная и как будто усталая, но очень хорошенькая. Она окинула всех пытливым, недоверчивым и даже робким взглядом, пристально посмотрела на меня и села возле Татьяны Ивановны. Помню, что у меня невольно стукнуло сердце: я догадался, что это была та самая гувернантка... Помню тоже, что дядя при ее появлении вдруг бросил на меня быстрый взгляд и весь покраснел, потом нагнулся, схватил на руки Илюшу и поднес его мне поцеловать. Заметил я еще, что мадам Обноскина сперва пристально посмотрела на дядю, а потом с саркастической улыбкой навела свой лорнет на гувернантку. Дядя очень смутился и, не зная, что делать, вызвал было Сашеньку, чтоб познакомить ее со мной, но та только привстала и молча, с серьезною важностью, мне присела. Это, впрочем, мне понравилось, потому что к ней шло. В ту же минуту добрая тетушка, Прасковья Ильинична, не вытерпела, бросила разливать чай и кинулась было ко мне лобызать меня; но я еще не успел ей сказать двух слов, как тотчас же раздался визгливый голос девицы Перепелицыной, пропищавшей, что «видно, Прасковья Ильинична забыли-с маменьку-с (генеральшу), что маменька-с требовали чаю-с, а вы и не наливаете-с, а они ждут-с», и Прасковья Ильинична, оставив меня, со всех ног бросилась к своим обязанностям.

Эта генеральша, самое важное лицо во всем этом кружке и перед которой все ходили по струнке, была тощая и злая старуха, вся одетая в траур, – злая, впрочем, больше от старости и от потери последних (и прежде еще небогатых) умственных способностей; прежде же она была вздорная. Генеральство сделало ее еще глупее и надменнее. Когда она злилась, весь дом походил на ад. У ней были две манеры злиться. Первая манера была молчаливая, когда старуха по целым дням не разжимала губ своих и упорно молчала, толкая, а иногда даже кидая на пол всё, что перед ней ни поставили. Другая манера была совершенно противоположная:

красноречивая. Начиналось обыкновенно тем, что бабушка – она ведь была мне бабушка – погружалась в необыкновенное уныние, ждала разрушения мира и всего своего хозяйства, предчувствовала впереди нищету и всевозможное горе, вдохновлялась сама своими предчувствиями, начинала по пальцам исчислять будущие бедствия, и даже приходила при этом счете в какой-то восторг, в какой-то азарт. Разумеется, открывалось, что она всё давно уж заранее предвидела и только потому молчала, что принуждена силою молчать в «этом доме». «Но если б только были к ней почтительны, если б только захотели ее заранее послушаться, то» и т. д. и т. д.; всё это немедленно поддакивалось стаей приживалок, девицей Перепелицыной и, наконец, торжественно скреплялось Фомой Фомичом. В ту минуту, как я представлялся ей, она ужасно гневалась, и, кажется, по первому способу, молчаливому, самому страшному. Все смотрели на нее с боязнью. Одна только Татьяна Ивановна, которой спускалось решительно всё, была в превосходнейшем расположении духа. Дядя нарочно, даже с некоторым торжеством, подвел меня к бабушке; но та, сделав кислую гримасу, со злостью оттолкнула от себя свою чашку.

– Это тот вол-ти-жёр? – проговорила она сквозь зубы и нараспев, обращаясь к Перепелицыной.

Этот глупый вопрос окончательно сбил меня с толку. Не понимаю, отчего она назвала меня вольтижёром? Но такие вопросы ей были еще нипочем. Перепелицына нагнулась и пошептала ей что-то на ухо; но старуха злобно махнула рукой. Я стоял с разинутым ртом и вопросительно смотрел на дядю. Все переглянулись, а Обноскин даже оскалил зубы, что ужасно мне не понравилось.

– Она, брат, иногда заговаривается, – шепнул мне дядя, тоже отчасти потерявшийся, – но это ничего, она это так; это от доброго сердца. Ты, главное, на сердце смотри.

– Да, сердце! сердце! – раздался внезапно звонкий голос Татьяны Ивановны, которая всё время не сводила с меня своих глаз и отчего-то не могла спокойно усидеть на месте: вероятно, слово «сердце», сказанное шепотом, долетело до ее слуха.

Но она не договорила, хотя ей, очевидно, хотелось что-то высказать. Сконфузилась ли она, или что другое, только она вдруг замолчала, покраснела ужасно, быстро нагнулась к гувернантке, пошептала ей что-то на

ухо, и вдруг, закрыв рот платком и откинувшись на спинку кресла, захохотала, как будто в истерике. Я оглядывал всех с крайним недоумением; но, к удивлению моему, все были очень серьезны и смотрели так, как будто ничего не случилось особенного. Я, конечно, понял, кто была Татьяна Ивановна. Наконец мне подали чаю, и я несколько оправился. Не знаю почему, но мне вдруг показалось, что я обязан завести самый любезный разговор с дамами.

– Вы правду сказали, дядюшка, – начал я, – предостерегая меня давеча, что можно сконфузиться. Я откровенно признаюсь – к чему скрывать? – продолжал я, обращаясь с заискивающей улыбкой к мадам Обноскиной, – что до сих пор совсем почти не знал дамского общества, и теперь, когда мне случилось так неудачно войти, мне показалось, что моя поза среди комнаты была очень смешна и отзывалась несколько тюфяком, – не правда ли? Вы читали «Тюфяка»? – заключил я, теряясь всё более и более, краснея за свою заискивающую откровенность и грозно смотря на мсье Обноскина, который, скаля зубы, всё еще оглядывал меня с головы до ног.

– Именно, именно, именно! – вскричал вдруг дядя с чрезвычайным одушевлением, искренно обрадовавшись, что разговор кое-как завязался и я поправляюсь. – Это, брат, еще ничего, что ты вот говоришь, что можно сконфузиться. Ну, сконфузился, да и концы в воду! А я, брат, для первого моего дебюта даже соврал – веришь иль нет? Нет, ей-Богу, Анфиса Петровна, это, я вам скажу, интересно прослушать. Только что поступил в юнкера, приезжаю в Москву, отправляюсь к одной важной барыне с рекомендательным письмом – то есть надменнейшая женщина была, но, в сущности, право, предобрая, что б ни говорили. Вхожу – принимают. Гостиная полна народу, преимущественно тузы. Раскланялся, сел. Со второго слова она мне: «А есть ли, батюшка, деревеньки?» То есть ни курицы не было, – что отвечать? Сконфузился в прах. Все на меня смотрят (ну, что, юнкеришка!). Ну, почему бы не сказать: нет ничего; и благородно бы вышло, потому что правду бы сказал. Не выдержал! «Есть, говорю, сто семнадцать душ». И к чему я тут эти семнадцать приплел? уж коли врать, так и врал бы круглым числом, – не правда ли? Чрез минуту, по рекомендательному же моему письму, оказалось, что я гол как сокол и, вдобавок, соврал! Ну, что было делать?

Удрал во все лопатки и с тех пор ни ногой. Ведь у меня тогда еще ничего не было. Это всё, что теперь: триста душ от дядюшки Афанасья Матвеича да двести душ, с Капитоновкой, еще прежде, от бабушки Акулины Панфиловны, итого пятьсот с лишком. Это хорошо! Только я с тех пор закаялся врать и не вру.

– Ну, я бы на вашем месте не закаивался. Бог знает, что может случиться, – заметил Обноскин, насмешливо улыбаясь.

– Ну, да, это правда, правда! Бог знает, что может случиться, – простодушно поддакнул дядя.

Обноскин громко захохотал, опрокинувшись на спинку кресла; его маменька улыбнулась; как-то особенно гадко захихикала и девица Перепелицына; захохотала и Татьяна Ивановна, не зная чему, и даже забила в ладоши, – словом, я видел ясно, что дядю в его же доме считали ровно ни во что. Сашенька, злобно сверкая глазками, пристально смотрела на Обноскина. Гувернантка покраснела и потупилась. Дядя удивился.

– А что? что случилось? – повторил он, с недоумением озирая всех нас.

Во всё это время братец мой, Мизинчиков, сидел поодаль, молча, и даже не улыбнулся, когда все засмеялись. Он усердно пил чай, философически смотрел на всю публику и несколько раз, как будто в припадке невыносимой скуки, порывался засвистать, вероятно, по старой привычке, но вовремя останавливался.

Обноскин, задиравший дядю и покушавшийся на меня, как будто не смел и взглянуть на Мизинчикова: я это заметил. Заметил я тоже, что молчаливый братец мой часто посматривал на меня, и даже с видимым любопытством, как будто желая в точности определить, что я за человек.

– Я уверена, – защебетала вдруг мадам Обноскина, – я совершенно уверена, monsieur Serge, – ведь так, кажется? – что вы, в вашем Петербурге, были небольшим обожателем дам. Я знаю, там много, очень много развелось теперь молодых людей, которые совершенно чуждаются дамского общества. Но, по-моему, это всё вольнодумцы. Я не иначе соглашаюсь на это смотреть, как на непростительное вольнодумство. И, признаюсь вам, меня это удивляет, удивляет, молодой человек, просто удивляет!..

– Совершенно не был в обществе, – отвечал я, с необыкновенным одушевлением. – Но это... я по крайней мере думаю, ничего-с... Я жил,

то есть я вообще нанимал квартиру... но это ничего, уверяю вас. Я буду знаком; а до сих пор я всё сидел дома...

– Занимался науками, – заметил, приосанившись, дядя.

– Ах, дядюшка, вы всё с своими науками!.. Вообразите, – продолжал я, с необыкновенною развязностью, любезно осклабляясь и обращаясь снова к Обноскиной, – мой дорогой дядюшка до такой степени предан наукам, что откопал где-то на большой дороге какого-то чудодейственного, практического философа, господина Коровкина; и первое слово сегодня ко мне, после стольких лет разлуки, было, что он ждет этого феноменального чудодея с каким-то судорожным, можно сказать, нетерпением... из любви к науке, разумеется...

И я захихикал, надеясь вызвать всеобщий смех в похвалу моему остроумию.

– Кто такой? про кого он? – резко проговорила генеральша, обращаясь к Перепелицыной.

– Гостей-с Егор Ильич наприглашали-с, ученых-с; по большим дорогам ездят, их собирают-с, – с наслаждением пропищала девица.

Дядя совсем растерялся.

– Ах, да! я и забыл! – вскричал он, бросив на меня взгляд, в котором выражался укор, – жду Коровкина. Человек науки, человек останется в столетии...

Он осекся и замолчал. Генеральша махнула рукой и в этот раз так удачно, что задела за чашку, которая слетела со стола и разбилась. Произошло всеобщее волнение.

– Это она всегда, как рассердится, возьмет да и бросит что-нибудь на пол, – шептал мне сконфуженный дядя. – Но это только – когда рассердится... Ты, брат, не смотри, не замечай, гляди в сторону... Зачем ты об Коровкине-то заговорил?..

Но я и без того смотрел в сторону: в эту минуту я встретил взгляд гувернантки, и мне показалось, что в этом взгляде на меня был какой-то упрек, что-то даже презрительное; румянец негодования ярко запылал на ее бледных щеках. Я понял ее взгляд и догадался, что малодушным и гадким желанием моим сделать дядю смешным, чтоб хоть немного снять смешного с себя, я не очень выиграл в расположении этой девицы. Не могу выразить, как мне стало стыдно!

– А я с вами всё о Петербурге, – залилась опять Анфиса Петровна, когда волнение, произведенное разбитой чашкой, утихло. – Яс таким, можно сказать, нас-лаж-дением вспоминаю нашу жизнь в этой очаровательной столице... Мы были очень близко знакомы тогда с одним домом – помнишь, Поль? генерал Половицын... Ах, какое очаровательное, о-чаро-вательное существо была генеральша! Ну, знаете, этот аристократизм, beau monde!..[1] Скажите: вы, вероятно, встречались... Я, признаюсь, с нетерпением ждала вас сюда: я надеялась от вас многое, многое узнать о петербургских друзьях наших...

– Мне очень жаль, что я не могу... извините... Я уже сказал, что очень редко был в обществе, и совершенно не знаю генерала Половицына; даже не слыхивал, – отвечал я с нетерпением, внезапно сменив мою любезность на чрезвычайно досадливое и раздраженное состояние духа.

– Занимался минералогией! – с гордостью подхватил неисправимый дядя. – Это, брат, что камушки там разные рассматривает, минералогия-то?

– Да, дядюшка, камни...

– Гм... Много есть наук, и всё полезных! А я ведь, брат, по правде, и не знал, что такое минералогия! Слышу только, что звонят где-то на чужой колокольне. В чем другом – еще так и сяк, а в науках глуп – откровенно каюсь!

– Откровенно каетесь? – подхватил, ухмыляясь, Обноскин.

– Папочка! – вскрикнула Саша, с укоризной смотря на отца.

– Что, душка? Ах, Боже мой, я ведь всё прерываю вас, Анфиса Петровна, – спохватился дядя, не поняв восклицания Сашеньки. – Извините, ради Христа!

– О, не беспокойтесь! – отвечала с кисленькою улыбочкой Анфиса Петровна. – Впрочем, я уже всё сказала вашему племяннику и заключу разве тем, monsieur Serge, – так, кажется? – что вам решительно надо исправиться. Я верю, что науки, искусства... ваяние, например... ну, словом, все эти высокие идеи имеют, так сказать, свою о-ба-я-тельную сторону, но они не заменят дам!.. Женщины, женщины, молодой человек,

[1] Высший свет (*фр.*).

формируют вас, и потому без них невозможно, невозможно, молодой человек, не-воз-можно!

– Невозможно, невозможно! – раздался снова несколько крикливый голос Татьяны Ивановны. – Послушайте, – начала она, как-то детски спеша и, разумеется, вся покраснев, – послушайте, я хочу вас спросить...

– Что прикажете-с? – отвечал я, внимательно в нее вглядываясь.

– Я хотела вас спросить: надолго вы приехали или нет?

– Ей-Богу, не знаю-с; как дела...

– Дела! Какие у него могут быть дела?.. О, безумец!..

И Татьяна Ивановна, краснея донельзя и закрываясь веером, нагнулась к гувернантке и тотчас же начала ей что-то шептать. Потом вдруг засмеялась и захлопала в ладоши.

– Постойте! постойте! – вскричала она, отрываясь от своей конфидантки и снова торопливо обращаясь ко мне, как будто боясь, чтоб я не ушел, – послушайте, знаете ли, что я вам скажу? вы ужасно, ужасно похожи на одного молодого человека, о-ча-ро-ва-тельного молодого человека!.. Сашенька, Настенька, помните? Он ужасно похож на того безумца – помнишь, Сашенька! еще мы катались и встретили... верхом и в белом жилете... еще он навел на меня свой лорнет, бесстыдник! Помните, я еще закрылась вуалью, но не утерпела, высунулась из коляски и закричала ему: «бесстыдник!», а потом бросила на дорогу мой букет... Помнишь, Настенька?

И полупомешанная на амурах девица, вся в волнении, закрыла лицо руками; потом вдруг вскочила с своего места, порхнула к окну, сорвала с горшка розу, бросила ее близ меня на пол и убежала из комнаты. Только ее и видели! В этот раз произошло даже некоторое замешательство, хотя генеральша, как и в первый раз, была совершенно спокойна. Анфиса Петровна, например, была не удивлена, но как будто чем-то вдруг озабочена, и с тоскою посмотрела на своего сына; барышни покраснели, а Поль Обноскин, с какою-то непонятною тогда для меня досадою, встал со стула и подошел к окну. Дядя начал было делать мне знаки, но в эту минуту новое лицо вошло в комнату и привлекло на себя всеобщее внимание.

– А! вот и Евграф Ларионыч! легок на помине! – закричал дядя, нелицемерно обрадовавшись. – Что, брат, из города?

«Ну, чудаки! их как будто нарочно собирали сюда!» – подумал я про себя, не понимая еще хорошенько всего, что происходило перед моими глазами, не подозревая и того, что и сам я, кажется, только увеличил коллекцию этих чудаков, явясь между ними.

V. ЕЖЕВИКИН

В комнату вошла или, лучше сказать, как-то протеснилась (хотя двери были очень широкие), фигурка, которая еще в дверях сгибалась, кланялась и скалила зубы, с чрезвычайным любопытством оглядывая всех присутствовавших. Это был маленький старичок, рябой, с быстрыми и вороватыми глазками, с плешью и с лысиной и с какой-то неопределенной, тонкой усмешкой на довольно толстых губах. Он был во фраке, очень изношенном и, кажется, с чужого плеча. Одна пуговица висела на ниточке; двух или трех совсем не было. Дырявые сапоги, засаленная фуражка гармонировали с его жалкой одеждой. В руках его был бумажный клетчатый платок, весь засморканный, которым он обтирал пот со лба и висков. Я заметил, что гувернантка немного покраснела и быстро взглянула на меня. Мне показалось даже, что в этом взгляде было что-то гордое и вызывающее.

– Прямо из города, благодетель! прямо оттуда, отец родной! всё расскажу, только позвольте сначала честь заявить, – проговорил вошедший старичок и направился прямо к генеральше, но остановился на полдороге и снова обратился к дяде.

– Вы уж изволите знать мою главную черту, благодетель: подлец, настоящий подлец! Ведь я как вхожу, так уж тотчас же главную особу в доме ищу, к ней первой и стопы направляю, чтоб таким образом, с первого шагу милости и протекцию приобрести. Подлец, батюшка, подлец, благодетель! Позвольте, матушка, барыня, ваше превосходительство, платьице ваше поцеловать, а то я губами-то ручку вашу, золотую, генеральскую, замараю.

Генеральша подала ему руку, к удивлению моему, довольно благосклонно.

– И вам, раскрасавица наша, поклон, – продолжал он, обращаясь к девице Перепелицыной. – Что делать, сударыня-барыня: подлец! еще

в тысяча восемьсот сорок первом году было решено, что подлец, когда из службы меня исключили, именно тогда, как Валентин Игнатьич Тихонцов в высокоблагородные попал; асессора дали; его в асессоры, а меня в подлецы. А уж я так откровенно создан, что во всем признаюсь. Что делать! пробовал честно жить, пробовал, теперь надо попробовать иначе. Александра Егоровна, яблочко наше наливное, – продолжал он, обходя стол и пробираясь к Сашеньке, – позвольте ваше платьице поцеловать; от вас, барышня, яблочком пахнет и всякими деликатностями. Именинник наше почтение; лук и стрелу вам, батюшка, привез, сам целое утро делал; ребятишки мои помогали; вот ужо и будем спускать. А подрастете, в офицеры поступите, турке голову срубите. Татьяна Ивановна... ах, да их нет, благодетельницы! а то б и у них платьице поцеловал. Прасковья Ильинична, матушка наша родная, протесниться-то только к вам не могу, а то б не только ручку, даже и ножку бы вашу поцеловал – вот как-с! Анфиса Петровна, мое вам всяческое уважение свидетельствую. Еще сегодня за вас Бога молил, благодетельница, на коленках, со слезами, Бога молил и за сыночка вашего тоже, чтоб ниспослал ему всяких чинов и талантов: особенно талантов! Кстати уж и Ивану Ивановичу Мизинчикову наше всенижайшее. Пошли вам Господь всё, что сами себе желаете. Потому что и не разберешь, сударь, чего сами-то вы себе желаете: молчаливенькие такие-с... Здравствуй, Настя; вся моя мелюзга тебе кланяется; каждый день о тебе поминают. А вот теперь и хозяину большой поклон. Из города, ваше высокородие, прямехонько из города. А это, верно, племянничек ваш, что в ученом факультете воспитывался? Почтение наше всенижайшее, сударь; пожалуйте ручку.

Раздался смех. Понятно было, что старик играл роль какого-то добровольного шута. Приход его развеселил общество. Многие и не поняли его сарказмов, а он почти всех обошел. Одна гувернантка, которую он, к удивлению моему, назвал просто Настей, краснела и хмурилась. Я было отдернул руку: того только, кажется, и ждал старикашка.

– Да ведь я только пожать ее у вас просил, батюшка, если только позволите, а не поцеловать. А вы уж думали, что поцеловать? Нет, отец родной, покамест еще только пожать. Вы, благодетель, верно меня за барского шута принимаете? – проговорил он, смотря на меня с насмешкою.

– Н... нет, помилуйте, я...

– То-то, батюшка! Коли я шут, так и другой кто-нибудь тут! А вы меня уважайте: я еще не такой подлец, как вы думаете. Оно, впрочем, пожалуй, и шут. Я – раб, моя жена – рабыня, к тому же, польсти, польсти! вот оно что: все-таки что-нибудь выиграешь, хоть ребятишкам на молочишко. Сахару, сахару-то побольше во всё подсыпайте, так оно и здоровее будет. Это я вам, батюшка, по секрету говорю; может, и вам понадобится. Фортуна заела, благодетель, оттого я и шут.

– Хи-хи-хи! Ах, проказник этот старичок! вечно-то он рассмешит! – пропищала Анфиса Петровна.

– Матушка моя, благодетельница, ведь дурачком-то лучше на свете проживешь! Знал бы, так с раннего молоду в дураки б записался, авось теперь был бы умный. А то как рано захотел быть умником, так вот и вышел теперь старый дурак.

– Скажите, пожалуйста, – ввязался Обноскин (которому, верно, не понравилось замечание про *таланты*), как-то особенно независимо развалясь в кресле и рассматривая старика в свое стеклышко, как какую-нибудь козявку, – скажите, пожалуйста... всё я забываю вашу фамилью... как бишь вас?..

– Ах, батюшка! да фамилья-то моя, пожалуй что и Ежевикин, да что в том толку? Вот уж девятый год без места сижу – так и живу себе, по законам природы. А детей-то, детей-то у меня, просто семейство Холмских! Точно как по пословице: у богатого – телята, а у бедного – ребята...

– Ну, да... телята... это, впрочем, в сторону. Ну, послушайте, я давно хотел вас спросить: зачем вы, когда входите, тотчас назад оглядываетесь? Это очень смешно.

– Зачем оглядываюсь? А всё мне кажется, батюшка, что меня сзади кто-нибудь хочет ладошкой прихлопнуть, как муху, оттого и оглядываюсь. Мономан я стал, батюшка.

Опять засмеялись. Гувернантка привстала с места, хотела было идти и снова опустилась в кресло. В лице ее было что-то больное, страдающее, несмотря на краску, заливавшую ее щеки.

– Это, брат, знаешь кто? – шепнул мне дядя, – ведь это *ее* отец!

Я смотрел на дядю во все глаза. Фамилия Ежевикин совершенно вылетела у меня из головы. Я геройствовал, всю дорогу мечтал о своей пред-

полагаемой суженой, строил для нее великодушные планы и совершенно позабыл ее фамилию или, лучше сказать, не обратил на это никакого внимания с самого начала.

– Как отец? – отвечал я тоже шепотом. – Да ведь, я думал, она сирота?

– Отец, братец, отец. И знаешь, пречестнейший, преблагороднейший человек, и даже не пьет, а только так из себя шута строит. Бедность, брат, страшная, восемь человек детей! Настенькиным жалованьем и живут. Из службы за язычок исключили. Каждую неделю сюда ездит. Гордый какой – ни за что не возьмет. Давал, много раз давал, – не берет! Озлобленный человек!

– Ну что, брат, Евграф Ларионыч, что там, у вас, нового? – спросил дядя и крепко ударил его по плечу, заметив, что мнительный старик уже подслушивал наш разговор.

– А что нового, благодетель? Валентин Игнатьич вчера объяснение подавали-с по Тришина делу. У того в бунтах недовес муки оказался. Это, барыня, тот самый Тришин, что смотрит на вас, а сам точно самовар раздувает. Может, изволите помнить? Вот Валентин-то Игнатьич и пишет про Тришина: «Уж если, – говорит он, – часто поминаемый Тришин чести своей родной племянницы не мог уберечь, – а та с офицером прошлого года сбежала, – так где же, говорит, было ему уберечь казенные вещи?» Это он в бумаге своей так и поместил – ей-Богу, не вру-с.

– Фи! Какие вы истории рассказываете! – закричала Анфиса Петровна.

– Именно, именно, именно! Зарапортовался ты, брат Евграф, – поддакнул дядя. – Эй, пропадешь за язык! Человек ты прямой, благородный, благонравный – могу заявить, да язык-то у тебя ядовитый! И удивляюсь я, как ты там с ними ужиться не можешь! Люди они, кажется, добрые, простые...

– Отец и благодетель! да простого-то человека я и боюсь! – вскричал старик с каким-то особенным одушевлением.

Ответ мне понравился. Я быстро подошел к Ежевикину и крепко пожал ему руку. По правде, мне хотелось хоть чем-нибудь протестовать против всеобщего мнения, показав открыто старику мое сочувствие. А может быть, кто знает! может быть, мне хотелось поднять себя в мнении Настасьи Евграфовны. Но из движения моего ровно ничего не вышло путного.

– Позвольте спросить вас, – сказал я, по обычаю моему покраснев и заторопившись, – слыхали вы про иезуитов?

– Нет, отец родной, не слыхал; так разве что-нибудь... да где нам! А что-с?

– Так... я было, кстати, хотел рассказать... Впрочем, напомните мне при случае. А теперь, будьте уверены, что я вас понимаю и... умею ценить...

И, совершенно смешавшись, я еще раз схватил его за руку.

– Непременно, батюшка, напомню, непременно напомню! Золотыми литерами запишу. Вот, позвольте, и узелок завяжу, для памяти.

И он действительно завязал узелок, отыскав сухой кончик на своем грязном, табачном платке.

– Евграф Ларионыч, берите чаю, – сказала Прасковья Ильинична.

– Тотчас, раскрасавица-барыня, тотчас, то есть принцесса, а не барыня! Это вам за чаек. Степана Алексеича Бахчеева встретил дорогой, сударыня. Такой развеселый, что на тебе! Я уж подумал, не жениться ли собираются? Польсти, польсти! – проговорил он полушепотом, пронося мимо меня чашку, подмигивая мне и прищуриваясь. – А что же благодетеля-то главного не видать, Фомы Фомича-с? разве не прибудут к чаю?

Дядя вздрогнул, как будто его ужалили, и робко взглянул на генеральшу.

– Уж я, право, не знаю, – отвечал он нерешительно, с каким-то странным смущением. – Звали его, да он... Не знаю, право, может быть, не в расположении духа. Я уже посылал Видоплясова и... разве, впрочем, мне самому сходить?

– Заходил я к ним сейчас, – таинственно проговорил Ежевикин.

– Может ли быть? – вскрикнул дядя в испуге. – Ну, что ж?

– Наперед всего заходил-с, почтение свидетельствовал. Сказали, что они в уединении чаю напьются, а потом прибавили, что они и сухой хлебной корочкой могут быть сыты, да-с.

Слова эти, казалось, поразили дядю настоящим ужасом.

– Да ты б объяснил ему, Евграф Ларионыч, ты б рассказал, – проговорил наконец дядя, смотря на старика с тоской и упреком.

– Говорил-с, говорил-с.

– Ну?

– Долго не изволили мне отвечать-с. За математической задачей какой-то сидели, определяли что-то; видно, головоломная задача была.

Пифагоровы штаны при мне начертили – сам видел. Три раза повторял; уж на четвертый только подняли головку и как будто впервые меня увидали. «Не пойду, говорят, там теперь *ученый* приехал, так уж где нам быть подле такого светила». Так и изволили выразиться, что подле светила.

И старикашка искоса, с насмешкою, взглянул на меня.

– Ну, так я и ждал! – вскричал дядя, всплеснув руками, – так я и думал! Ведь это он про тебя, Сергей, говорит, что «ученый». Ну, что теперь делать?

– Признаюсь, дядюшка, – отвечал я, с достоинством пожимая плечами, – по-моему, это такой смешной отказ, что не стоит обращать и внимания, и я, право, удивляюсь вашему смущению.

– Ох, братец, не знаешь ты ничего! – вскрикнул он, энергически махнув рукой.

– Да уж теперь нечего горевать-с, – ввязалась вдруг девица Перепелицына, – коли все причины злые от вас самих спервоначалу произошли-с, Егор Ильич-с. Снявши голову, по волосам не плачут-с. Послушали бы маменьку-с, так теперь бы и не плакали-с.

– Да чем же, Анна Ниловна, я-то виноват? побойтесь Бога! – проговорил дядя умоляющим голосом, как будто напрашиваясь на объяснение.

– Я Бога боюсь, Егор Ильич; а происходит всё оттого, что вы эгоисты-с и родительницу не любите-с, – с достоинством отвечала девица Перепелицына. – Отчего вам было, спервоначалу, воли их не уважить-с? Они вам мать-с. А я вам неправды не стану говорить-с. Я сама подполковничья дочь, а не какая-нибудь-с.

Мне показалось, что Перепелицына ввязалась в разговор единственно с тою целию, чтоб объявить всем нам, и особенно мне, новоприбывшему, что она сама подполковничья дочь, а не какая-ни будь-с.

– Оттого, что он оскорбляет мать свою, – грозно проговорила наконец сама генеральша.

– Маменька, помилосердуйте! где же я вас оскорбляю?

– Оттого, что ты мрачный эгоист, Егорушка, – продолжала генеральша, всё более и более одушевляясь.

– Маменька, маменька! где же я мрачный эгоист? – вскричал дядя почти в отчаянии, – пять дней, целых пять дней вы сердитесь на меня и не хотите со мной говорить! А за что? за что? Пусть же судят меня,

пусть целый свет меня судит! Пусть, наконец, услышат и мое оправдание. Я долго молчал, маменька; вы не хотели слушать меня: пусть же теперь люди меня услышат. Анфиса Петровна! Павел Семеныч, благороднейший Павел Семеныч! Сергей, друг мой! ты человек посторонний, ты, так сказать, зритель, ты беспристрастно можешь судить...

– Успокойтесь, Егор Ильич, успокойтесь, – вскрикнула Анфиса Петровна, – не убивайте маменьку!

– Я не убью маменьку, Анфиса Петровна; но вот грудь моя – разите! – продолжал дядя, разгоряченный до последней степени, что бывает иногда с людьми слабохарактерными, когда их выведут из последнего терпения, хотя вся горячка их походит на огонь от зажженной соломы, – я хочу сказать, Анфиса Петровна, что я никого не оскорблю. Я и начну с того, что Фома Фомич благороднейший, честнейший человек и, вдобавок, человек высших качеств, но... но он был несправедлив ко мне в этом случае.

– Гм! – промычал Обноскин, как будто желая поддразнить еще более дядю.

– Павел Семеныч, благороднейший Павел Семеныч! неужели ж вы в самом деле думаете, что я, так сказать, бесчувственный столб? Ведь я вижу, ведь я понимаю, со слезами сердца, можно сказать, понимаю, что все эти недоразумения от излишней любви *его* ко мне происходят. Но, воля ваша, он, ей-Богу, несправедлив в этом случае. Я всё расскажу. Я хочу рассказать теперь эту историю, Анфиса Петровна, во всей ее ясности и подробности, чтоб видели, с чего дело вышло и справедливо ли на меня сердится маменька, что я не угодил Фоме Фомичу. Выслушай и ты меня, Сережа, – прибавил он, обращаясь ко мне, что делал и во всё продолжение рассказа, как будто бы боясь других слушателей и сомневаясь в их сочувствии, – выслушай и ты меня, и реши: прав я или нет. Вот видишь, вот с чего началась вся история: неделю назад – да, именно не больше недели, – проезжает через наш город бывший начальник мой, генерал Русапетов, с супругою и свояченицею. Останавливаются на время. Я поражен. Спешу воспользоваться случаем, лечу, представляюсь и приглашаю к себе на обед. Обещал, если можно будет. То есть благороднейший человек, я тебе скажу; блестит добродетелями и, вдобавок, вельможа! Свояченицу свою облагодетельствовал; одну сироту замуж выдал за дивного молодого человека (теперь стряпчим в Малинове; еще молодой человек, но с каким-то,

можно сказать, универсальным образованием!) – словом, из генералов генерал! Ну, у нас, конечно, возня, трескотня, повара, фрикасеи; музыку выписываю. Я, разумеется, рад и смотрю именинником! Не понравилось Фоме Фомичу, что я рад и смотрю именинником! Сидел за столом – помню еще, подавали его любимый киселек со сливками, – молчал-молчал да как вскочит: «Обижают меня, обижают!» – «Да чем же, говорю, тебя, Фома Фомич, обижают?» – «Вы теперь, говорит, мною пренебрегаете; вы генералами теперь занимаетесь; вам теперь генералы дороже меня!» Ну, разумеется, я теперь всё это вкратце тебе передаю; так сказать, одну только сущность; но если бы ты знал, что он еще говорил... словом, потряс всю мою душу! Что ты будешь делать? Я, разумеется, падаю духом; фрапировало меня это, можно сказать; хожу как мокрый петух. Наступает торжественный день. Генерал присылает сказать, что не может: извиняется – значит, не будет. Я к Фоме: «Ну, Фома, успокойся! Не будет!» Что ж бы ты думал? Не прощает, да и только! «Обидели, говорит, меня, да и только!» Я и так и сяк. «Нет, говорит, ступайте к своим генералам; вам генералы дороже меня; вы узы дружества, говорит, разорвали». Друг ты мой! ведь я понимаю, за что он сердится. Я не столб, не баран, не тунеядец какой-нибудь! Ведь это он из излишней любви ко мне, так сказать, из ревности делает – он это сам говорит, – он ревнует меня к генералу, расположение мое боится потерять, испытывает меня, хочет узнать, чем я для него могу пожертвовать. «Нет, говорит, я сам для вас всё равно, что генерал, я сам для вас ваше превосходительство! Тогда помирюсь с вами, когда вы мне свое уважение докажете». – «Чем же я тебе докажу мое уважение, Фома Фомич?» – «А называйте, говорит, меня целый день: ваше превосходительство; тогда и докажете уважение». Упадаю с облаков! Можешь представить себе мое удивление! «Да послужит это, говорит, вам уроком, чтоб вы не восхищались вперед генералами, когда и другие люди, может, еще почище ваших всех генералов!» Ну, тут уж и я не вытерпел, каюсь! открыто каюсь! «Фома Фомич, говорю, разве это возможное дело? Ну, могу ли я решиться на это? Разве я могу, разве я вправе произвести тебя в генералы? Подумай, кто производит в генералы? Ну, как я скажу тебе: ваше превосходительство? Да ведь это, так сказать, посягновение на величие судеб! Да ведь генерал служит украшением отечеству: генерал воевал, он свою кровь на поле чести пролил!

Как же я тебе-то скажу: ваше превосходительство?» Не унимается, да и только! «Что хочешь, говорю, Фома, всё для тебя сделаю. Вот ты велел мне сбрить бакенбарды, потому что в них мало патриотизма, – я сбрил, поморщился, а сбрил. Мало того, сделаю всё, что тебе будет угодно, только откажись от генеральского сана!» – «Нет, говорит, не помирюсь до тех пор, пока не скажут: ваше превосходительство! Это, говорит, для нравственности вашей будет полезно: это смирит ваш дух, говорит!» И вот теперь уж неделю, целую неделю говорить не хочет со мной; на всех, кто ни приедет, сердится. Про тебя услыхал, что ученый, – это я виноват: погорячился, разболтал! – так сказал, что нога его в доме не будет, если ты в дом войдешь. «Значит, говорит, уж я теперь для вас не ученый». Вот беда будет, как узнает теперь про Коровкина! Ну помилуй, ну посуди, ну чем же я тут виноват? Ну неужели ж решиться сказать ему: «ваше превосходительство»? Ну можно ли жить в таком положении? Ну за что он сегодня бедняка Бахчеева из-за стола прогнал? Ну, положим, Бахчеев не сочинил астрономии; да ведь и я не сочинил астрономии, да ведь и ты не сочинил астрономии... Ну за что, за что?

– А за то, что ты завистлив, Егорушка, – промямлила опять генеральша.

– Маменька! – вскричал дядя в совершенном отчаянии: – вы сведете меня с ума!.. Вы не свои, вы чужие речи переговариваете, маменька! Я, наконец, столбом, тумбой, фонарем делаюсь, а не вашим сыном!

– Я слышал, дядюшка, – перебил я, изумленный до последней степени рассказом: – я слышал от Бахчеева – не знаю, впрочем, справедливо иль нет, – что Фома Фомич позавидовал именинам Илюши и утверждает, что и сам он завтра именинник. Признаюсь, эта характеристическая черта так меня изумила, что я...

– Рожденье, братец, рожденье, не именины, а рожденье! – скороговоркою перебил меня дядя. – Он не так только выразился, а он прав: завтра его рожденье. Правда, брат, прежде всего...

– Совсем не рожденье! – крикнула Сашенька.

– Как не рожденье? – крикнул дядя, оторопев.

– Вовсе не рожденье, папочка! Это вы просто неправду говорите, чтоб самого себя обмануть да Фоме Фомичу угодить. А рожденье его в марте было, – еще, помните, мы перед этим на богомолье в монастырь

ездили, а он сидеть никому не дал покойно в карете: всё кричал, что ему бок *раздавила* подушка, да щипался; тетушку, со злости, два раза ущипнул! А потом, когда в рожденье мы пришли поздравлять, рассердился, зачем не было камелий в нашем букете. «Я, говорит, люблю камелии, потому что у меня вкус высшего общества, а вы для меня пожалели в оранжерее нарвать». И целый день киснул да куксился, с нами говорить не хотел...

Я думаю, если б бомба упала среди комнаты, то это не так бы изумило и испугало всех, как это открытое восстание – и кого же? – девочки, которой даже и говорить не позволялось громко в бабушкином присутствии. Генеральша, немая от изумления и от бешенства, привстала, выпрямилась и смотрела на дерзкую внучку свою, не веря глазам. Дядя обмер от ужаса.

– Экую волю дают! уморить хотят бабиньку-с! – крикнула Перепелицына.

– Саша, Саша, опомнись! что с тобой, Саша? – кричал дядя, бросаясь то к той, то к другой, то к генеральше, то к Сашеньке, чтоб остановить ее.

– Не хочу молчать, папочка! – закричала Саша, вдруг вскочив со стула, топая ножками и сверкая глазенками, – не хочу молчать! Мы все долго терпели из-за Фомы Фомича, из-за скверного, из-за гадкого вашего Фомы Фомича! Потому что Фома Фомич всех нас погубит, потому что ему то и дело толкуют, что он умница, великодушный, благородный, ученый, смесь всех добродетелей, попурри какое-то, а Фома Фомич, как дурак, всему и поверил! Столько сладких блюд ему нанесли, что другому бы совестно стало, а Фома Фомич скушал всё, что перед ним ни поставили, да и еще просит. Вот вы увидите, всех нас съест, а виноват всему папочка! Гадкий, гадкий Фома Фомич, прямо скажу, никого не боюсь! Он глуп, капризен, замарашка, неблагодарный, жестокосердый, тиран, сплетник, лгунишка... Ах, я бы непременно, непременно, сейчас же прогнала его со двора, а папочка его обожает, а папочка от него без ума!..

– Ах!.. – вскрикнула генеральша и покатилась, в изнеможении, на диван.

– Голубчик мой, Агафья Тимофеевна, ангел мой! – кричала Анфиса Петровна, – возьмите мой флакон! Воды, скорее воды!

– Воды, воды! – кричал дядя, – маменька, маменька, успокойтесь! на коленях умоляю вас успокоиться!..

– На хлеб на воду вас посадить-с, да из темной комнаты не выпускать-с... человекоубийцы вы этакие! – прошипела на Сашеньку дрожавшая от злости Перепелицына.

– И сяду на хлеб на воду, ничего не боюсь! – кричала Сашенька, в свою очередь, пришедшая в какое-то самозабвение. – Я папочку защищаю, потому что он сам себя защитить не умеет. Кто он такой, кто он, ваш Фома Фомич, перед папочкою? У папочки хлеб ест, да папочку же и унижает, неблагодарный! Да я б его разорвала в куски, вашего Фому Фомича! На дуэль бы его вызвала да тут бы и убила из двух пистолетов...

– Саша, Саша! – кричал в отчаянии дядя. – Еще одно слово – и я погиб, безвозвратно погиб!

– Папочка! – вскричала Саша, вдруг стремительно бросаясь к отцу, заливаясь слезами и крепко обвив его своими ручками, – папочка! ну вам ли, доброму, прекрасному, веселому, умному, вам ли, вам ли так себя погубить? Вам ли подчиняться этому скверному, неблагодарному человеку, быть его игрушкой, на смех себя выставлять? Папочка, золотой мой папочка!..

Она зарыдала, закрыла лицо руками и выбежала из комнаты.

Началась страшная суматоха. Генеральша лежала в обмороке. Дядя стоял перед ней на коленях и целовал ее руки. Девица Перепелицына увивалась около них и бросала на нас злобные, но торжествующие взгляды. Анфиса Петровна смачивала виски генеральши водою и возилась с своим флаконом. Прасковья Ильинична трепетала и заливалась слезами; Ежевикин искал уголка, куда бы забиться, а гувернантка стояла бледная, совершенно потерявшись от страха. Один только Мизинчиков оставался совершенно по-прежнему. Он встал, подошел к окну и принялся пристально смотреть в него, решительно не обращая внимания на всю эту сцену.

Вдруг генеральша приподнялась с дивана, выпрямилась и обмерила меня грозным взглядом.

– Вон! – крикнула она, притопнув на меня ногою.

Я должен признаться, что этого совершенно не ожидал.

– Вон! вон из дому; вон! Зачем он приехал? чтоб и духу его не было! вон!

– Маменька! маменька, что вы! да ведь это Сережа, – бормотал дядя, дрожа всем телом от страха. – Ведь он, маменька, к нам в гости приехал.

– Какой Сережа? вздор! не хочу ничего слышать; вон! Это Коровкин. Я уверена, что это Коровкин. Меня предчувствие не обманывает. Он приехал Фому Фомича выживать; его и выписали для этого. Мое сердце предчувствует... Вон, негодяй!

– Дядюшка, если так, – сказал я, захлебываясь от благородного негодования, – если так, то я... извините меня... – И я схватился за шляпу.

– Сергей, Сергей, что ты делаешь?.. Ну, вот теперь этот... Маменька! ведь это Сережа!.. Сергей, помилуй! – кричал он, гоняясь за мной и силясь отнять у меня шляпу, – ты мой гость, ты останешься – я хочу! Ведь это она только так, – прибавил он шепотом, – ведь это она только когда рассердится... Ты только теперь, первое время, спрячься куда-нибудь... побудь где-нибудь – и ничего, всё пройдет. Она тебя простит – уверяю тебя! Она добрая, а только так, заговаривается... Слышишь, она принимает тебя за Коровкина, а потом простит, уверяю тебя... Ты чего? – закричал он дрожавшему от страха Гавриле, вошедшему в комнату.

Гаврила вошел не один; с ним был дворовый парень, мальчик лет шестнадцати, прехорошенький собой, взятый во двор за красоту, как узнал я после. Звали его Фалалеем. Он был одет в какой-то особенный костюм, в красной шелковой рубашке, обшитой по вороту позументом, с золотым галунным поясом, в черных плисовых шароварах и в козловых сапожках, с красными отворотами. Этот костюм был затеей самой генеральши. Мальчик прегорько рыдал, и слезы одна за другой катились из больших, голубых глаз его.

– Это еще что? – вскричал дядя, – что случилось? Да говори же, разбойник!

– Фома Фомич велел быть сюда; сами вослед идут, – отвечал скорбный Гаврила, – мне на екзамент, а он...

– А он?

– Плясал-с, – отвечал Гаврила плачевным голосом.

– Плясал! – вскрикнул, в ужасе, дядя.

– Пля-сал! – проревел Фалалей всхлипывая.

– Комаринского?

– Ко-ма-ринского!

– А Фома Фомич застал?

– Зас-тал!

– Дорезали! – вскрикнул дядя, – пропала моя голова! – и обеими руками схватил себя за голову.

– Фома Фомич! – возвестил Видоплясов, входя в комнату.

Дверь отворилась, и Фома Фомич сам, своею собственною особою, предстал перед озадаченной публикой.

VI. ПРО БЕЛОГО БЫКА И ПРО КОМАРИНСКОГО МУЖИКА

Но прежде, чем я буду иметь честь лично представить читателю вошедшего Фому Фомича, я считаю совершенно необходимым сказать несколько слов о Фалалее и объяснить, что именно было ужасного в том, что он плясал комаринского, а Фома Фомич застал его в этом веселом занятии. Фалалей был дворовый мальчик, сирота с колыбели и крестник покойной жены моего дяди. Дядя его очень любил. Одного этого совершенно достаточно было, чтоб Фома Фомич, переселясь в Степанчиково и покорив себе дядю, возненавидел любимца его, Фалалея. Но мальчик как-то особенно понравился генеральше и, несмотря на гнев Фомы Фомича, остался вверху, при господах: настояла в этом сама генеральша, и Фома уступил, сохраняя в сердце своем обиду – он всё считал за обиду – и отмщая за нее ни в чем не виноватому дяде при каждом удобном случае. Фалалей был удивительно хорош собой. У него было лицо девичье, лицо красавицы деревенской девушки. Генеральша холила и нежила его, дорожила им, как хорошенькой, редкой игрушкой; и еще неизвестно, кого она больше любила: свою ли маленькую, курчавенькую собачку Ами или Фалалея? Мы уже говорили о его костюме, который был ее изобретением. Барышни выдавали ему помаду, а парикмахер Кузьма обязан был завивать ему по праздникам волосы. Этот мальчик был какое-то странное создание. Нельзя было назвать его совершенным идиотом или юродивым, но он был до того наивен, до того правдив и простодушен, что иногда действительно его можно было счесть дурачком. Приснится ли ему сон, он тотчас же идет к господам рассказывать. Он вмешивается в разговор господ, не заботясь о том, что их прерывает. Он рассказывает им такие вещи, которые никак нельзя рассказывать господам. Он заливается самыми искренними слезами, когда барыня падает в обморок или когда уж слишком забранят

его барина. Он сочувствует всякому несчастью. Иногда подходит к генеральше, целует ее руки и просит, чтоб она не сердилась, – и генеральша великодушно прощает ему эти смелости. Он чувствителен до крайности, добр и незлобив, как барашек, весел, как счастливый ребенок. Со стола ему подают подачку.

Он постоянно становится за стулом генеральши и ужасно любит сахар. Когда ему дадут сахарцу, он тут же сгрызает его своими крепкими, белыми, как молоко, зубами, и неописанное удовольствие сверкает в его веселых голубых глазах и на всем его хорошеньком личике.

Долго гневался Фома Фомич; но, рассудив наконец, что гневом не возьмешь, он вдруг решился быть благодетелем Фалалею. Разбранив сперва дядю за то, что ему нет дела до образования дворовых людей, он решил немедленно обучать бедного мальчика нравственности, хорошим манерам и французскому языку. «Как! – говорил он, защищая свою нелепую мысль (мысль, приходившую в голову и не одному Фоме Фомичу, чему свидетелем пишущий эти строки), – как! он всегда вверху при своей госпоже; вдруг она, забыв, что он не понимает по-французски, скажет ему, например, донне́ муа́ мон мушуа́р[1] – он должен и тут найтись, и тут услужить!» Но оказалось, что не только нельзя было Фалалея выучить по-французски, но что повар Ан дрон, его дядя, бескорыстно старавшийся научить его русской грамоте, давно уже махнул рукой и сложил азбуку на полку! Фалалей был до того туп на книжное обучение, что не понимал решительно ничего. Мало того: из этого даже вышла история. Дворовые стали дразнить Фалалея французом, а старик Гаврила, заслуженный камердинер дядюшки, открыто осмелился отрицать пользу изучения французской грамоты. Дошло до Фомы Фомича, и, разгневавшись, он, в наказание, заставил учиться по-французски самого оппонента, Гаврилу. Вот с чего и взялась вся эта история о французском языке, так рассердившая господина Бахчеева. Насчет манер было еще хуже: Фома решительно не мог образовать по-своему Фалалея, который, несмотря на запрещение, приходил по утрам рассказывать ему свои сны, что Фома Фомич, с своей стороны, находил в высшей степени неприличным и фамильярным. Но Фалалей упорно оставался Фалалеем. Разумеется, за всё это прежде всех доставалось дяде.

---

[1] Дайте мне платок (*фр.*: «Donnez-moi mon mouchoir»).

– Знаете ли, знаете ли, что он сегодня сделал? – кричит, бывало, Фома, для большего эффекта выбрав время, когда все в сборе. – Знаете ли, полковник, до чего доходит ваше систематическое баловство? Сегодня он сожрал кусок пирога, который вы ему дали за столом, и знаете ли, что он сказал после этого? Поди сюда, поди сюда, нелепая душа, поди сюда, идиот, румяная ты рожа!..

Фалалей подходит, плача, утирая обеими руками глаза.

– Что ты сказал, когда сожрал свой пирог? повтори при всех!

Фалалей не отвечает и заливается горькими слезами.

– Так я скажу за тебя, коли так. Ты сказал, треснув себя по своему набитому и неприличному брюху: «Натрескался пирога, как Мартын мыла!» Помилуйте, полковник, разве говорят такими фразами в образованном обществе, тем более в высшем? Сказал ты это иль нет? говори!

– Ска-зал!.. – подтверждает Фал алей, всхлипывая.

– Ну, так скажи мне теперь: разве Мартын ест мыло? Где именно ты видел такого Мартына, который ест мыло? Говори же, дай мне понятие об этом феноменальном Мартыне!

Молчание.

– Я тебя спрашиваю, – пристает Фома, – кто именно этот Мартын? Я хочу его видеть, хочу с ним познакомиться. Ну, кто же он? Регистратор, астроном, пошехонец, поэт, каптенармус, дворовый человек – кто-нибудь должен же быть. Отвечай!

– Дво-ро-вый че-ло-век, – отвечает наконец Фалалей, продолжая плакать.

– Чей? чьих господ?

Но Фалалей не умеет сказать, чьих господ. Разумеется, кончается тем, что Фома в сердцах убегает из комнаты и кричит, что его обидели; с генеральшей начинаются припадки, а дядя клянет час своего рождения, просит у всех прощения и всю остальную часть дня ходит на цыпочках, в своих собственных комнатах.

Как нарочно случилось так, что на другой же день после истории с Мартыновым мылом, Фалалей, принеся утром чай Фоме Фомичу и совершенно успев забыть и Мартына и всё вчерашнее горе, сообщил ему, что видел сон про белого быка. Этого еще недоставало! Фома Фомич пришел в неописанное негодование, немедленно призвал дядю и начал распекать его

за неприличие сна, виденного его Фалалеем. В этот раз были приняты строгие меры: Фалалей был наказан; он стоял в углу на коленях. Настрого запретили ему видеть такие грубые, мужицкие сны. «Я за что сержусь, – говорил Фома, – кроме того, что он по-настоящему не должен бы сметь и подумать лезть ко мне с своими снами, тем более с белым быком; кроме этого – согласитесь сами, полковник, – что такое белый бык, как не доказательство грубости, невежества, мужичества вашего неотесанного Фалалея? Каковы мысли, таковы и сны. Разве не говорил я заранее, что из него ничего не выйдет и что не следовало оставлять его вверху, при господах? Никогда, никогда не разовьете вы эту бессмысленную, простонародную душу во что-нибудь возвышенное, поэтическое. Разве ты не можешь, – продолжал он, обращаясь к Фалалею, – разве ты не можешь видеть во сне что-нибудь изящное, нежное, облагороженное, какую-нибудь сцену из хорошего общества, например, хоть господ, играющих в карты, или дам, прогуливающихся в прекрасном саду?» Фалалей обещал непременно увидать в следующую ночь господ или дам, гуляющих в прекрасном саду.

Ложась спать, Фалалей со слезами молил об этом Бога и долго думал, как бы сделать так, чтоб не видеть проклятого белого быка? Но надежды человеческие обманчивы. Проснувшись на другое утро, он с ужасом вспомнил, что опять всю ночь ему снилось про ненавистного белого быка и не приснилось ни одной дамы, гуляющей в прекрасном саду. В этот раз последствия были особенные. Фома Фомич объявил решительно, что не верит возможности подобного случая, возможности подобного повторения сна, а что Фалалей нарочно подучен кем-нибудь из домашних, а может быть, и самим полковником, чтоб сделать в пику Фоме Фомичу. Много было крику, упреков и слез. Генеральша к вечеру захворала; весь дом повесил нос. Оставалась еще слабая надежда, что Фалалей в следующую, то есть в третью ночь, непременно увидит что-нибудь из высшего общества. Каково же было всеобщее негодование, когда целую неделю сряду, каждую Божию ночь, Фалалей постоянно видел белого быка, и одного только белого быка! О высшем обществе нечего было и думать.

Но всего интереснее было то, что Фалалей никак не мог догадаться солгать: просто – сказать, что видел не белого быка, а хоть, например, карету, наполненную дамами и Фомой Фомичом; тем более что солгать, в таком крайнем случае, было даже не так и грешно. Но Фалалей был до

того правдив, что решительно не умел солгать, если б даже и захотел. Об этом даже и не намекали ему. Все знали, что он изменит себе в первое же мгновение и что Фома Фомич тотчас же поймает его во лжи. Что было делать? Положение дяди становилось невыносимым: Фалалей был решительно неисправим. Бедный мальчик даже стал худеть от тоски. Ключница Маланья утверждала, что его испортили, и спрыснула его с уголька водою. В этой полезной операции участвовала и сердобольная Прасковья Ильинична. Но даже и это не помогло. Ничто не помогало!

– Да пусто б его взяло, треклятого! – рассказывал Фалалей, – каждую ночь снится! каждый раз с вечера молюсь: «Сон не снись про белого быка, сон не снись про белого быка!» А он тут как тут, проклятый, стоит передо мной, большой, с рогами, тупогубый такой, у-у-у!

Дядя был в отчаянии. Но, к счастью, Фома Фомич вдруг как будто забыл про белого быка. Конечно, никто не верил, что Фома Фомич может забыть о таком важном обстоятельстве. Все со страхом полагали, что он приберегает белого быка про запас и обнаружит его при первом удобном случае. Впоследствии оказалось, что Фоме Фомичу в это время было не до белого быка: у него случились другие дела, другие заботы; другие замыслы созревали в полезной и многодумной его голове. Вот почему он и дал спокойно вздохнуть Фал алею. Вместе с Фалалеем и все отдохнули. Парень повеселел, даже стал забывать о прошедшем; даже белый бык начал появляться реже и реже, хотя всё еще напоминал иногда о своем фантастическом существовании. Словом, всё бы пошло хорошо, если б не было на свете комаринского.

Надобно заметить, что Фалалей отлично плясал; это была его главная способность, даже нечто вроде призвания; он плясал с энергией, с неистощимой веселостью, но особенно любил он комаринского мужика. Не то чтоб ему уж так очень нравились легкомысленные и, во всяком случае, необъяснимые поступки этого ветреного мужика – нет, ему нравилось плясать комаринского единственно потому, что слушать комаринского и не плясать под эту музыку было для него решительно невозможно. Иногда, по вечерам, два-три лакея, кучера, садовник, игравший на скрипке, и даже несколько дворовых дам собирались в кружок, где-нибудь на самой задней площадке барской усадьбы, подальше от Фомы Фомича; начинались музыка, танцы и под конец торжественно вступал в свои

права и комаринский. Оркестр составляли две балалайки, гитара, скрипка и бубен, с которым отлично управлялся форейтор Митюшка. Надо было посмотреть, что делалось тогда с Фалалеем: он плясал до забвенья самого себя, до истощения последних сил, поощряемый криками и смехом публики; он взвизгивал, кричал, хохотал, хлопал в ладоши; он плясал, как будто увлекаемый постороннею, непостижимою силою, с которой не мог совладать и упрямо силился догнать всё более и более учащаемый темп удалого мотива, выбивая по земле каблуками. Это были минуты истинного его наслаждения; и всё бы это шло хорошо и весело, если б слух о комаринском не достиг наконец Фомы Фомича.

Фома Фомич обмер и тотчас же послал за полковником.

– Я хотел от вас только об одном узнать, полковник, – начал Фома, – совершенно ли вы поклялись погубить этого несчастного идиота или не совершенно? В первом случае я тотчас же отстраняюсь; если же не совершенно, то я...

– Да что такое? что случилось? – вскричал испуганный дядя.

– Как что случилось? Да знаете ли вы, что он пляшет комаринского?

– Ну... ну что ж?

– Как ну что ж? – взвизгнул Фома. – И говорите это вы – вы, их барин и даже, в некотором смысле, отец! Да имеете ли вы после этого здравое понятие о том, что такое комаринский? Знаете ли вы, что эта песня изображает одного отвратительного мужика, покусившегося на самый безнравственный поступок, в пьяном виде? Знаете ли, на что посягнул этот развратный холоп? Он попрал самые драгоценные узы и, так сказать, притоптал их своими мужичьими сапожищами, привыкшими попирать только пол кабака! Да понимаете ли, что вы оскорбили благороднейшие чувства мои своим ответом? Понимаете ли, что вы лично оскорбили меня своим ответом? Понимаете ли вы это иль нет?

– Но, Фома... Да ведь это только песня, Фома...

– Как только песня! И вы не постыдились мне признаться, что знаете эту песню – вы, член благородного общества, отец благонравных и невинных детей и, вдобавок, полковник! Только песня! Но я уверен, что эта песня взята с истинного события! Только песня! Но какой же порядочный человек может, не сгорев от стыда, признаться, что знает эту песню, что слышал хоть когда-нибудь эту песню? какой, какой?

– Ну, да вот ты же знаешь, Фома, коли спрашиваешь, – отвечал в простоте души сконфуженный дядя.

– Как! я знаю? я... я... то есть я!.. Обидели! – вскричал вдруг Фома, срываясь со стула и захлебываясь от злости. Он никак не ожидал такого оглушительного ответа.

Не стану описывать гнев Фомы Фомича. Полковник с бесславием прогнан был с глаз блюстителя нравственности за неприличие и *ненаходчивость* своего ответа. Но с этих пор Фома Фомич дал себе клятву: поймать на месте преступления Фалалея, танцующего комаринского. По вечерам, когда все полагали, что он чем-нибудь занят, он нарочно выходил потихоньку в сад, обходил огороды и забивался в коноплю, откуда издали видна была площадка, на которой происходили танцы. Он сторожил бедного Фалалея, как охотник птичку, с наслаждением представляя себе, какой трезвон задаст он, в случае успеха, всему дому и в особенности полковнику. Наконец неусыпные труды его увенчались успехом: он застал комаринского! Понятно после этого, отчего дядя рвал на себе волосы, когда увидел плачущего Фалалея и услышал, что Видоплясов возвестил Фому Фомича, так неожиданно и в такую хлопотливую минуту представшего перед нами своею собственною особою.

VII. ФОМА ФОМИЧ

Я с напряженным любопытством рассматривал этого господина. Гаврила справедливо назвал его плюгавеньким человечком. Фома был мал ростом, белобрысый и с проседью, с горбатым носом и с мелкими морщинками по всему лицу. На подбородке его была большая бородавка. Лет ему было под пятьдесят. Он вошел тихо, мерными шагами, опустив глаза вниз. Но самая нахальная самоуверенность изображалась в его лице и во всей его педантской фигурке. К удивлению моему, он явился в шлафроке, правда, иностранного покроя, но все-таки шлафроке и, вдобавок, в туфлях. Воротничок его рубашки, не подвязанный галстухом, был отложен à l'enfant;[1] это придавало Фоме Фомичу чрезвычайно глупый вид. Он подошел к незанятому креслу, придвинул его к столу и сел, не сказав

[1] По фасону детских рубашек (*фр.*).

никому ни слова. Мгновенно исчезли вся суматоха, всё волнение, бывшие за минуту назад. Всё притихло так, что можно было расслышать пролетевшую муху. Генеральша присмирела, как агнец. Всё подобострастие этой бедной идиотки перед Фомой Фомичом выступило теперь наружу. Она не нагляделась на свое не́щечко, впилась в него глазами. Девица Перепелицына, осклабляясь, потирала свои ручки, а бедная Прасковья Ильинична заметно дрожала от страха. Дядя немедленно захлопотал.

– Чаю, чаю, сестрица! Послаще только, сестрица; Фома Фомич после сна любит чай послаще. Ведь тебе послаще, Фома?

– Не до чаю мне вашего теперь! – проговорил Фома медленно и с достоинством, с озабоченным видом махнув рукой. – Вам бы всё, что послаще!

Эти слова и смешной донельзя, по своей педантской важности, вход Фомы чрезвычайно заинтересовали меня. Мне любопытно было узнать, до чего, до какого забвения приличий дойдет наконец наглость этого зазнавшегося господчика.

– Фома! – крикнул дядя, – рекомендую: племянник мой, Сергей Александрыч! сейчас приехал.

Фома Фомич обмерил его с ног до головы.

– Удивляюсь я, что вы всегда как-то систематически любите перебивать меня, полковник, – проговорил он после значительного молчания, не обратив на меня ни малейшего внимания. – Вам о деле говорят, а вы – Бог знает о чем... *трактуете*... Видели вы Фалалея?

– Видел, Фома...

– А, видели! Ну, так я вам его опять покажу, коли видели. Можете полюбоваться на ваше произведение... в нравственном смысле. Поди сюда, идиот! поди сюда, голландская ты рожа! Ну же, иди, иди! Не бойся!

Фалалей подошел, всхлипывая, раскрыв рот и глотая слезы. Фома Фомич смотрел на него с наслаждением.

– С намерением назвал я его голландской рожей, Павел Семеныч, – заметил он, развалясь в кресле и слегка поворотясь к сидевшему рядом Обноскину, – да и вообще, знаете, не нахожу нужным смягчать свои выражения ни в каком случае. Правда должна быть правдой. А чем ни прикрывайте грязь, она все-таки останется грязью. Что ж и трудиться, смягчать? себя и людей обманывать! Только в глупой светской башке могла зародиться потребность таких бессмысленных приличий. Ска-

Фалалей подошел, всхлипывая, раскрыв рот и глотая слезы. Фома Фомич смотрел на него с наслаждением.

жите – беру вас судьей, – находите вы в этой роже прекрасное? Я разумею высокое, прекрасное, возвышенное, а не какую-нибудь красную харю?

Фома Фомич говорил тихо, мерно и с каким-то величавым равнодушием.

– В нем прекрасное? – отвечал Обноскин с какою-то нахальною небрежностью. – Мне кажется, это просто порядочный кусок ростбифа – и ничего больше...

– Подхожу сегодня к зеркалу и смотрюсь в него, – продолжал Фома, торжественно пропуская местоимение *я*. – Далеко не считаю себя красавцем, но поневоле пришел к заключению, что есть же что-нибудь в этом сером глазе, что отличает меня от какого-нибудь Фалалея. Это мысль, это жизнь, это ум в этом глазе! Не хвалюсь именно собой. Говорю вообще о нашем сословии. Теперь, как вы думаете: может ли быть хоть какой-нибудь клочок, хоть какой-нибудь отрывок души в этом живом бифстексе? Нет, в самом деле, заметьте, Павел Семеныч, как у этих людей, совершенно лишенных мысли и идеала и едящих одну говядину, как у них всегда отвратительно свеж цвет лица, грубо и глупо свеж! Угодно вам узнать степень его мышления? Эй, ты, статья! подойди же поближе, дай на себя полюбоваться! Что ты рот разинул? кита, что ли, проглотить хочешь? Ты прекрасен? Отвечай: ты прекрасен?

– Прек-ра-сен! – отвечал Фалалей, с заглушёнными рыданиями.

Обноскин покатился со смеху. Я чувствовал, что начинаю дрожать от злости.

– Вы слышали? – продолжал Фома, с торжеством обращаясь к Обноскину. – То ли еще услышите! Я пришел ему сделать экзамен. Есть, видите ли, Павел Семеныч, люди, которым желательно развратить и погубить этого жалкого идиота. Может быть, я строго сужу, ошибаюсь; но я говорю из любви к человечеству. Он плясал сейчас самый неприличный из танцев. Никому здесь до этого нет и дела. Но вот сами послушайте. Отвечай: что ты делал сейчас? отвечай же, отвечай немедленно – слышишь?

– Пля-сал... – проговорил Фалалей, усиливая рыдания.

– Что же ты плясал? какой танец? говори же!

– Комаринского...

– Комаринского! А кто этот комаринский? Что такое комаринский? Разве я могу понять что-нибудь из этого ответа? Ну же, дай нам понятие: кто такой твой комаринский?

– Му-жик...

– Мужик! только мужик? Удивляюсь! Значит, замечательный мужик! значит, это какой-нибудь знаменитый мужик, если о нем уже сочиняются поэмы и танцы? Ну, отвечай же!

Тянуть жилы была потребность Фомы. Он заигрывал с своей жертвой, как кошка с мышкой; но Фалалей молчит, хнычет и не понимает вопроса.

– Отвечай же! – настаивает Фома, – тебя спрашивают: какой это мужик? говори же!., господский ли, казенный ли, вольный, обязанный, экономический? Много есть мужиков...

– Э-ко-но-ми-ческий...

– А, экономический! Слышите, Павел Семеныч? новый исторический факт: комаринский мужик – экономический. Гм!.. Ну, что же сделал этот экономический мужик? за какие подвиги его так воспевают и... выплясывают?

Вопрос был щекотливый, а так как относился к Фалалею, то и опасный.

– Ну... вы... однако ж... – заметил было Обноскин, взглянув на свою маменьку, которая начинала как-то особенно повертываться на диване. Но что было делать? капризы Фомы Фомича считались законами.

– Помилуйте, дядюшка, если вы не уймете этого дурака, ведь он... Слышите, до чего он добирается? Фалалей что-нибудь соврет, уверяю вас... – шепнул я дяде, который потерялся и не знал, на что решиться.

– Ты бы, однако ж, Фома... – начал он, – вот я рекомендую тебе, Фома, мой племянник, молодой человек, занимался минералогией...

– Я вас прошу, полковник, не перебивайте меня с вашей минералогией, в которой вы, сколько мне известно, ничего не знаете, а может быть, и *другие* тоже. Я не ребенок. Он ответит мне, что этот мужик, вместо того чтобы трудиться для блага своего семейства, напился пьян, пропил в кабаке полушубок и пьяный побежал по улице. В этом, как известно, и состоит содержание всей этой поэмы, восхваляющей пьянство. Не беспокойтесь, он *теперь* знает, что ему отвечать. Ну, отвечай же: что сделал этот мужик? ведь я тебе подсказал, в рот положил. Я именно от самого

тебя хочу слышать, что он сделал, чем прославился, чем заслужил такую бессмертную славу, что его уже воспевают трубадуры? Ну?

Несчастный Фалалей, в тоске, озирался кругом и, в недоумении, что сказать, открывал и закрывал рот, как карась, вытащенный из воды на песок.

– Стыдно ска-зать! – промычал он наконец в совершенном отчаянии.

– А! стыдно сказать! – подхватил Фома, торжествуя. – Вот этого-то ответа я и добивался, полковник! Стыдно сказать, а не стыдно делать? Вот нравственность, которую вы посеяли, которая взошла и которую вы теперь... поливаете. Но нечего терять слова! Ступай теперь на кухню, Фалалей. Теперь я тебе ничего не скажу, из уважения к публике; но сегодня же, сегодня же, ты будешь жестоко и больно наказан. Если же нет, если и в этот раз меня на тебя променяют, то ты оставайся здесь и утешай своих господ комаринским, а я сегодня же выйду из этого дома! Довольно! Я сказал. Ступай!

– Ну, уж вы, кажется, строго... – промямлил Обноскин.

– Именно, именно, именно! – крикнул было дядя, но оборвался и замолчал. Фома мрачно на него покосился.

– Удивляюсь я, Павел Семеныч, – продолжал он, – что ж делают после этого все эти современные литераторы, поэты, ученые, мыслители? Как не обратят они внимания на то, какие песни поет русский народ и под какие песни пляшет русский народ? Что ж делали до сих пор все эти Пушкины, Лермонтовы, Бороздны? Удивляюсь! Народ пляшет комаринского, эту апофеозу пьянства, а они воспевают какие-то незабудочки! Зачем же не напишут они более благонравных песен для народного употребления и не бросят свои незабудочки? Это социальный вопрос! Пусть изобразят они мне мужика, но мужика облагороженного, так сказать, селянина, а не мужика. Пусть изобразят этого сельского мудреца в простоте своей, пожалуй, хоть даже в лаптях – я и на это согласен, – но преисполненного добродетелями, которым – я это смело говорю – может позавидовать даже какой-нибудь слишком прославленный Александр Македонский. Я знаю Русь, и Русь меня знает: потому и говорю это. Пусть изобразят этого мужика, пожалуй, обремененного семейством и сединою, в душной избе, пожалуй, еще голодного, но довольного, не ропщущего, но благословляющего свою бедность и равнодушного к золоту богача. Пусть сам

богач, в умилении души, принесет ему наконец свое золото; пусть даже при этом случае произойдет соединение добродетели мужика с добродетелями его барина и, пожалуй, еще вельможи. Селянин и вельможа, столь разъединенные на ступенях общества, соединяются наконец в добродетелях – это высокая мысль! А то, что мы видим? С одной стороны, незабудочки, а с другой – выскочил из кабака и бежит по улице в растерзанном виде! Ну, что ж, скажите, тут поэтического? чем любоваться? где ум? где грация? где нравственность? Недоумеваю!

– Сто рублей я тебе должен, Фома Фомич, за такие слова! – проговорил Ежевикин с восхищенным видом.

– А ведь черта лысого с меня и получит, – прошептал он мне потихоньку. – Польсти, польсти!

– Ну, да... это вы хорошо изобразили, – промямлил Обноскин.

– Именно, именно, именно! – вскрикнул дядя, слушавший с глубочайшим вниманием и глядевший на меня с торжеством.

– Тэма-то какая завязалась! – шепнул он, потирая руки. – Многосторонний разговор, черт возьми! Фома Фомич, вот мой племянник, – прибавил он от избытка чувств. – Он тоже занимался литературой, – рекомендую.

Фома Фомич, как и прежде, не обратил ни малейшего внимания на рекомендацию дяди.

– Ради Бога, не рекомендуйте меня более! я вас серьезно прошу, – шепнул я дяде с решительным видом.

– Иван Иваныч! – начал вдруг Фома, обращаясь к Мизинчикову и пристально смотря на него, – вот мы теперь говорили: какого вы мнения?

– Я? вы меня спрашиваете? – с удивлением отозвался Мизинчиков, с таким видом, как будто его только что разбудили.

– Да, вы-с. Спрашиваю вас потому, что дорожу мнением истинно умных людей, а не каких-нибудь проблематических умников, которые умны потому только, что их *беспрестанно рекомендуют* за умников, за *ученых,* а иной раз и нарочно выписывают, чтоб показывать их в балагане или вроде того.

Камень был пущен прямо в мой огород. И, однако ж, не было сомнения, что Фома Фомич, не обращавший на меня никакого внимания, завел весь этот разговор о литературе единственно для меня, чтоб осле-

пить, уничтожить, раздавить с первого шага петербургского ученого, умника. Я, по крайней мере, не сомневался в этом.

– Если вы хотите знать мое мнение, то я... я с вашим мнением согласен, – отвечал Мизинчиков вяло и нехотя.

– Вы всё со мной согласны! даже тошно становится, – заметил Фома. – Скажу вам откровенно, Павел Семеныч, – продолжал он после некоторого молчания, снова обращаясь к Обноскину, – если я и уважаю за что бессмертного Карамзина, то это не за историю, не за «Марфу Посадницу», не за «старую и новую Россию», а именно за то, что он написал «Фрола Силина»: это высокий эпос! это произведение чисто народное и не умрет во веки веков! Высочайший эпос!

– Именно, именно, именно! высокая эпоха! Фрол Силин, благодетельный человек! Помню, читал; *еще* выкупил двух девок, а потом смотрел на небо и плакал. Возвышенная черта, – поддакнул дядя, сияя от удовольствия.

Бедный дядя! Он никак не мог удержаться, чтоб не ввязаться в *ученый* разговор. Фома злобно улыбнулся, но промолчал.

– Впрочем, и теперь пишут занимательно, – осторожно вмешалась Анфиса Петровна. – Вот, например, «Брюссельские тайны».

– Не скажу-с, – заметил Фома, как бы с сожалением. – Читал я недавно одну из поэм... Ну, что! «Незабудочки»! А если хотите, из новейших мне более всех нравится «Переписчик» – легкое перо!

– «Переписчик»! – вскрикнула Анфиса Петровна, – это тот, который пишет в журнал письма? Ах, как это восхитительно! какая игра слов!

– Именно, игра слов. Он, так сказать, играет пером. Необыкновенная легкость пера!

– Да; но он педант, – небрежно заметил Обноскин.

– Педант, педант – не спорю; но милый педант, но грациозный педант! Конечно, ни одна из идей его не выдержит основательной критики; но увлекаешься легкостью! Пустослов – согласен; но милый пустослов, но грациозный пустослов! Помните, например, он объявляет в литературной статье, что у него есть свои поместья?

– Поместья? – подхватил дядя, – это хорошо! Которой губернии?

Фома остановился, пристально посмотрел на дядю и продолжал тем же тоном:

– Ну, скажите ради здравого смысла: для чего мне, читателю, знать, что у него есть поместья? Есть – так поздравляю вас с этим! Но как мило, как это шутливо описано! Он блещет остроумием, он брызжет остроумием, он кипит! Это какой-то нарзан остроумия! Да, вот как надо писать! Мне кажется, я бы именно так писал, если б согласился писать в журналах...

– Может, и лучше еще-с, – почтительно заметил Ежевикин.

– Даже что-то мелодическое в слоге! – поддакнул дядя.

Фома Фомич наконец не вытерпел.

– Полковник, – сказал он, – нельзя ли вас попросить – конечно, со всевозможною деликатностью – не мешать нам и позволить нам в покое докончить наш разговор. Вы не можете судить в нашем разговоре, не можете! Не расстроивайте же нашей приятной литературной беседы. Занимайтесь хозяйством, пейте чай, но... оставьте литературу в покое. Она от этого не проиграет, уверяю вас!

Это уже превышало верх всякой дерзости! Я не знал, что подумать.

– Да ведь ты же сам, Фома, говорил, что мелодическое, – с тоскою произнес сконфуженный дядя.

– Так-с. Но я говорил с знанием дела, я говорил кстати; а вы?

– Да-с, мы-то с умом говорили-с, – подхватил Ежевикин, увиваясь около Фомы Фомича. – Ума-то у нас так немножко-с, занимать приходится, разве-разве что на два министерства хватит, а нет, так мы и с третьим управимся, – вот как у нас!

– Ну, значит, опять соврал! – заключил дядя и улыбнулся своей добродушной улыбкою.

– По крайней мере, сознаетесь, – заметил Фома.

– Ничего, ничего, Фома, я не сержусь. Я знаю, что ты, как друг, меня останавливаешь, как родной, как брат. Это я сам позволил тебе, даже просил об этом! Это дельно, дельно! Это для моей же пользы! Благодарю и воспользуюсь!

Терпение мое истощалось. Всё, что я до сих пор по слухам знал о Фоме Фомиче, казалось мне несколько преувеличенным. Теперь же, когда я увидел всё сам, на деле, изумлению моему не было пределов. Я не верил себе; я понять не мог такой дерзости, такого нахального самовластия, с одной стороны, и такого добровольного рабства, такого легковерного

добродушия – с другой. Впрочем, даже и дядя был смущен такою дерзостью. Это было видно... Я горел желанием как-нибудь связаться с Фомой, сразиться с ним, как-нибудь нагрубить ему, поазартнее, – а там что бы ни было! Эта мысль одушевила меня. Я искал случая и, в ожидании, совершенно обломал поля моей шляпы. Но случай не представлялся: Фома решительно не хотел замечать меня.

– Правду, правду ты говоришь, Фома, – продолжал дядя, всеми силами стараясь понравиться и хоть чем-нибудь замять неприятность предыдущего разговора. – Это ты правду режешь, Фома. Благодарю. Надо знать дело, а потом уж и рассуждать о нем. Каюсь! Я уже не раз бывал в таком положении. Представь себе, Сергей, я один раз даже экзаменовал... Вы смеетесь! Ну вот, подите! Ей-Богу, экзаменовал, да и только. Пригласили меня в одно заведение на экзамен, да и посадили вместе с экзаменаторами, так, для почету, лишнее место было. Так я, признаюсь тебе, даже струсил, страх какой-то напал: решительно ни одной науки не знаю! Что делать! Вот-вот, думаю, самого к доске потянут! Ну, а потом – ничего, обошлось; даже сам вопросы задавал, спросил: кто был Ной? Вообще, превосходно отвечали; потом завтракали и за процветание пили шампанское. Отличное заведение!

Фома Фомич и Обноскин покатились со смеху.

– Да я и сам потом смеялся, – крикнул дядя, смеясь добродушнейшим образом и радуясь, что все развеселились. – Нет, Фома, уж куда ни шло! распотешу я вас всех, расскажу, как я один раз срезался... Вообрази, Сергей, стояли мы в Красногорске...

– Позвольте вас спросить, полковник: долго вы будете рассказывать вашу историю? – перебил Фома.

– Ах, Фома! да ведь это чудеснейшая история; просто лопнуть со смеху можно. Ты только послушай: это хорошо, ей-Богу хорошо. Я расскажу, как я срезался.

– Я всегда с удовольствием слушаю ваши истории, когда они в этом роде, – проговорил Обноскин, зевая.

– Нечего делать, приходится слушать, – решил Фома.

– Да ведь, ей-Богу же, будет хорошо, Фома. Я хочу рассказать, как я один раз срезался, Анфиса Петровна. Послушай и ты, Сергей: это поучительно даже. Стояли мы в Красногорске (начал дядя, сияя от удоволь-

ствия, скороговоркой и торопясь, с бесчисленными вводными предложениями, что было с ним всегда, когда он начинал что-нибудь рассказывать для удовольствия публики). Только что пришли, в тот же вечер отправляюсь в спектакль. Превосходнейшая актриса была Куропаткина; потом еще с штаб-ротмистром Зверковым бежала и пьесы не доиграла: так занавес и опустили... То есть бестия был этот Зверков, и попить и в картины заняться, и не то чтобы пьяница, а так, готов с товарищами разделить минуту. Но как запьет настоящим образом, так уж тут всё забыл: где живет, в каком государстве, как самого зовут? – словом, решительно всё; но в сущности превосходнейший малый... Ну-с, сижу я в театре. В антракте встаю и сталкиваюсь с прежним товарищем, Корноуховым... Я вам скажу, единственный малый. Лет, правда, шесть мы уж не видались. Ну, был в кампании, увешан крестами; теперь, слышал недавно, – уже действительный статский; в статскую службу перешел, до больших чинов дослужился... Ну, разумеется, обрадовались. То да се. А рядом с нами в ложе сидят три дамы; та, которая слева, рожа, каких свет не производил... После узнал, превосходнейшая женщина, мать семейства, осчастливила мужа... Ну-с, вот я, как дурак, и бряк Корноухову: «Скажи, брат, не знаешь ли, что это за чучело выехала?» – «Которая это?» – «Да эта». – «Да это моя двоюродная сестра». Тьфу, черт! Судите о моем положении! Я, чтоб поправиться: «Да нет, говорю, не эта. Эк у тебя глаза! Вот та, которая оттуда сидит: кто эта?» – «Это моя сестра». Тьфу ты пропасть! А сестра его, как нарочно, розанчик-розанчиком, премилушка; так разодета: брошки, перчаточки, браслетики, – словом сказать, сидит херувимчиком; после вышла замуж за превосходнейшего человека, Пыхтина; она с ним бежала, обвенчались без спросу; ну, а теперь всё это как следует: и богато живут; отцы не нарадуются!.. Ну-с, вот. «Да нет! – кричу, а сам не знаю, куда провалиться, – не эта!» – «Вот в середине-то которая?» – «Да, в середине». – «Ну, брат, это жена моя»... Между нами: объедение, а не дамочка! то есть так бы и проглотил ее всю целиком от удовольствия... «Ну, говорю, видал ты когда-нибудь дурака? Так вот он перед тобой, и голова его тут же: руби, не жалей!» Смеется. После спектакля меня познакомил и, должно быть, рассказал, проказник. Что-то очень смеялись! И, признаюсь, никогда еще так весело не проводил время. Так вот как иногда, брат Фома, можно срезаться! Ха-ха-ха-ха!

Но напрасно смеялся бедный дядя; тщетно обводил он кругом свой веселый и добрый взгляд: мертвое молчание было ответом на его веселую историю. Фома Фомич сидел в мрачном безмолвии, а за ним и все; только Обноскин слегка улыбался, предвидя гонку, которую зададут дяде. Дядя сконфузился и покраснел. Того-то и желалось Фоме.

– Кончили ль вы? – спросил он наконец с важностью, обращаясь к сконфуженному рассказчику.

– Кончил, Фома.

– И рады?

– То есть как это рад, Фома? – с тоскою отвечал бедный дядя.

– Легче ли вам теперь? Довольны ли вы, что расстроили приятную литературную беседу друзей, прервав их и тем удовлетворив мелкое свое самолюбие?

– Да полно же, Фома! Я вас же всех хотел развеселить, а ты...

– Развеселить? – вскричал Фома, вдруг необыкновенно разгорячась, – но вы способны навести уныние, а не развеселить. Развеселить! Но знаете ли, что ваша история была почти безнравственна? Я уже не говорю: неприлична, – это само собой... Вы объявили сейчас, с редкою грубостью чувств, что смеялись над невинностью, над благородной дворянкой, оттого только, что она не имела чести вам понравиться. И нас же, нас хотели вы заставить смеяться, то есть поддакивать вам, поддакивать грубому и неприличному поступку, и всё потому только, что вы хозяин этого дома! Воля ваша, полковник, вы можете сыскать себе прихлебателей, лизоблюдов, партнеров, можете даже их выписывать из дальних стран и тем усиливать свою свиту, в ущерб прямодушию и откровенному благородству души; но никогда Фома Опискин не будет ни льстецом, ни лизоблюдом, ни прихлебателем вашим! В чем другом, а уж в этом я вас заверяю!..

– Эх, Фома! не понял ты меня, Фома!

– Нет, полковник, я вас давно раскусил, я вас насквозь понимаю! Вас гложет самое неограниченное самолюбие; вы с претензиями на недосягаемую остроту ума и забываете, что острота тупится о претензию. Вы...

– Да полно же, Фома, ради Бога! Постыдись хоть людей!..

– Да ведь грустно же видеть всё это, полковник, а видя, – невозможно молчать. Я беден, я *проживаю* у вашей родительницы. Пожалуй, еще подумают, что я льщу вам моим молчанием; а я не хочу, чтоб какой-нибудь

молокосос мог принять меня за вашего прихлебателя! Может быть, я, входя сюда давеча, даже нарочно усилил мою правдивую откровенность, нарочно принужден был дойти даже до грубости, именно потому, что вы сами ставите меня в такое положение. Вы слишком надменны со мной, полковник. Меня могут счесть за вашего раба, за приживальщика. Ваше удовольствие унижать меня перед *незнакомыми*, тогда как я вам равен, слышите ли? равен во всех отношениях. Может быть, даже *я* вам делаю одолжение тем, что живу у вас, а не *вы* мне. Меня унижают; следственно, я сам должен себя хвалить – это естественно! Я не могу не говорить, я должен говорить, должен немедленно протестовать, и потому прямо и просто объявляю вам, что вы феноменально завистливы! Вы видите, например, что человек в простом, дружеском разговоре невольно выказал свои познания, начитанность, вкус: так вот уж вам и досадно, вам и неймется: «Дай же и я свои познания и вкус выкажу!» А какой у вас вкус, с позволения сказать? Вы в изящном смыслите столько – извините меня, полковник, – сколько смыслит, например, хоть бык в говядине! Это резко, грубо – сознаюсь, по крайней мере, прямодушно и справедливо. Этого не услышите вы от ваших льстецов, полковник.

– Эх, Фома!..

– То-то: «эх, Фома»! Видно, правда не пуховик. Ну, хорошо; мы еще потом поговорим об этом, а теперь позвольте и мне немного повеселить публику. Не всё же вам одним отличаться. Павел Семенович! видели вы это чудо морское в человеческом образе? Я уж давно его наблюдаю. Вглядитесь в него: ведь он съесть меня хочет, так-таки живьем, целиком!

Дело шло о Гавриле. Старый слуга стоял у дверей и действительно с прискорбием смотрел, как распекали его барина.

– Хочу и я вас потешить спектаклем, Павел Семеныч. – Эй ты, ворона, пошел сюда! Да удостойте подвинуться поближе, Гаврила Игнатьич! – Это, вот видите ли, Павел Семеныч, Гаврила; за грубость и в наказание изучает французский диалект. Я, как Орфей, смягчаю здешние нравы, только не песнями, а французским диалектом. – Ну, француз, мусью шематон, – терпеть не может, когда говорят ему: мусью шематон, – знаешь урок?

– Вытвердил, – отвечал, повесив голову, Гаврила.

– А парле-ву-франсе?

– Вуй, мусье, же-ле-парль-эн-пе...[1]

Не знаю, грустная ли фигура Гаврилы, при произношении французской фразы, была причиною, или предугадывалось всеми желание Фомы, чтоб все засмеялись, но только все так и покатились со смеху, лишь только Гаврила пошевелил языком. Даже генеральша изволила засмеяться. Анфиса Петровна, упав на спинку дивана, взвизгивала, закрываясь веером. Смешнее всего показалось то, что Гаврила, видя, во что превратился экзамен, не выдержал, плюнул и с укоризною произнес: «Вот до какого сраму дожил на старости лет!»

Фома Фомич встрепенулся.

– Что? что ты сказал? Грубиянить вздумал?

– Нет, Фома Фомич, – с достоинством отвечал Гаврила, – не грубиянство слова мои, и не след мне, холопу, перед тобой, природным господином, грубиянить. Но всяк человек образ Божий на себе носит, образ его и подобие. Мне уже шестьдесят третий год от роду. Отец мой Пугачева-изверга помнит, а деда моего вместе с барином, Матвеем Никитичем, – дай Бог им царство небесное – Пугач на одной осине повесил, за что родитель мой от покойного барина, Афанасья Матвеича, не в пример другим был почтен: камардином служил и дворецким свою жизнь скончал. Я же, сударь, Фома Фомич, хотя и господский холоп, а такого сраму, как теперь, отродясь над собой не видывал!

И с последним словом Гаврила развел руками и склонил голову. Дядя следил за ним с беспокойством.

– Ну, полно, полно, Гаврила! – вскричал он, – нечего распространяться; полно!

– Ничего, ничего, – проговорил Фома, слегка побледнев и улыбаясь с натуги. – Пусть поговорит; это ведь всё ваши плоды...

– Всё расскажу, – продолжал Гаврила с необыкновенным одушевлением, – ничего не потаю! Руки свяжут, язык не завяжут! Уж на что я, Фома Фомич, гнусный перед тобою выхожу человек, одно слово: раб, а и мне в обиду! Услугой и подобострастьем я перед тобой завсегда обязан, для того, что рабски рожден и всякую обязанность во страхе

[1] Говорите ли вы по-французски? – Да, сударь, немного говорю (*фр.*: «Parlez-vous français? – Oui, monsieur, je le parle un peu»).

и трепете происходить должен. Книжку сочинять сядешь, я докучного обязан к тебе не допускать, для того – это настоящая должность моя выходит. Прислужить, что понадобится, – с моим полным удовольствием сделаю. А то, что на старости лет по-заморски лаять да перед людьми сраму набираться! Да я в людскую теперь не могу сойти: «француз ты, говорят, француз!» Нет, сударь, Фома Фомич, не один я, дурак, а уж и добрые люди начали говорить в один голос, что вы как есть злющий человек теперь стали, а что барин наш перед вами всё одно, что малый ребенок; что вы хоть породой и енаральский сын, и сами, может, немного до енарала не дослужили, но такой злющий, как, то есть, должен быть настоящий фурий.

Гаврила кончил. Я был вне себя от восторга. Фома Фомич сидел бледный от ярости среди всеобщего замешательства и как будто не мог еще опомниться от неожиданного нападения Гаврилы; как будто он в эту минуту еще соображал: в какой степени должно ему рассердиться? Наконец воспоследовал взрыв.

– Как! он смел обругать меня, – меня! да это бунт! – завизжал Фома и вскочил со стула.

За ним вскочила генеральша и всплеснула руками. Началась суматоха. Дядя бросился выталкивать преступного Гаврилу.

– В кандалы его, в кандалы! – кричала генеральша. – Сейчас же его в город и в солдаты отдай, Егорушка! Не то не будет тебе моего благословения. Сейчас же на него колодку набей и в солдаты отдай!

– Как, – кричал Фома, – раб! халдей! хамлет! осмелился обругать меня! он, он, обтирка моего сапога! он осмелился назвать меня фурией!

Я выступил вперед, с необыкновенною решимостью.

– Признаюсь, что я в этом случае совершенно согласен с мнением Гаврилы, – сказал я, смотря Фоме Фомичу прямо в глаза и дрожа от волнения.

Он был так поражен этой выходкой, что в первую минуту, кажется, не верил ушам своим.

– Это еще что? – вскрикнул он, наконец, накидываясь на меня в исступлении и впиваясь в меня своими маленькими, налитыми кровью глазами. – Да ты кто такой?

– Фома Фомич... – заговорил было совершенно потерявшийся дядя, – это Сережа, мой племянник...

– Ученый! – завопил Фома, – так это он-то ученый? Либерте́? – эгалите́? – фратерните́?![1] Журналь де деба́! Нет, брат, врешь! в Саксонии не была! Здесь не Петербург, не надуешь! Да плевать мне на твой де деба́! У тебя де деба́, а по-нашему выходит: «Нет, брат, слаба!» Ученый! Да ты сколько знаешь, я всемеро столько забыл! вот какой ты ученый!

Если б не удержали его, он, мне кажется, бросился бы на меня с кулаками.

– Да он пьян, – проговорил я, с недоумением озираясь кругом.

– Кто? Я? – прикрикнул Фома, не своим голосом.

– Да, вы!

– Пьян?

– Пьян.

Этого Фома не мог вынести. Он взвизгнул, как будто его начали резать, и бросился вон из комнаты. Генеральша хотела, кажется, упасть в обморок, но рассудила лучше бежать за Фомой Фомичом. За ней побежали и все, а за всеми дядя. Когда я опомнился и огляделся, то увидел в комнате одного Ежевикина. Он улыбался и потирал себе руки.

– Про иезуитика-то давеча обещались, – проговорил он вкрадчивым голосом.

– Что? – спросил я, не понимая, в чем дело.

– Про иезуитика давеча рассказать обещались... анекдотец-с...

Я выбежал на террасу, а оттуда в сад. Голова моя шла кругом...

VIII. ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ

С четверть часа бродил я по саду, раздраженный и крайне недовольный собой, обдумывая: что мне теперь делать? Солнце садилось. Вдруг, на повороте в одну темную аллею, я встретился лицом к лицу с Настенькой. В глазах ее были слезы, в руках платок, которым она утирала их.

– Я вас искала, – сказала она.

– А я вас, – отвечал я ей. – Скажите: я в сумасшедшем доме или нет?

– Вовсе не в сумасшедшем доме, – проговорила она обидчиво, пристально взглянув на меня.

---

[1] Свобода, равенство, братство (*фр.*: liberté, égalité, fraternité).

– Но если так, так что ж это делается? Ради самого Христа, подайте мне какой-нибудь совет! Куда теперь ушел дядя? Можно мне туда идти? Я очень рад, что вас встретил: может быть, вы меня в чем-нибудь и наставите.

– Нет, лучше не ходите. Я сама ушла от них.

– Да где они?

– А кто знает? Может быть, опять в огород побежали, – проговорила она раздражительно.

– В какой огород?

– Это Фома Фомич на прошлой неделе закричал, что не хочет оставаться в доме, и вдруг побежал в огород, достал в шалаше заступ и начал гряды копать. Мы все удивились: не с ума ли сошел? «Вот, говорит, чтоб не попрекнули меня потом, что я даром хлеб ел, буду землю копать и свой хлеб, что здесь ел, заработаю, а потом и уйду. Вот до чего меня довели!» А тут-то все плачут и перед ним чуть не на коленях стоят, заступ у него отнимают; а он-то копает; всю репу только перекопал. Сделали раз поблажку – вот он, может быть, и теперь повторяет. От него станется.

– И вы... и вы рассказываете это так хладнокровно! – вскричал я в сильнейшем негодовании.

Она взглянула на меня сверкавшими глазами.

– Простите мне; я уж и не знаю, что говорю! Послушайте, вам известно, зачем я сюда приехал?

– Н...нет, – отвечала она, закрасневшись, и какое-то тягостное ощущение отразилось в ее милом лице.

– Вы извините меня, – продолжал я, – я теперь расстроен, я чувствую, что не так бы следовало мне начать говорить об этом... особенно с вами... Но всё равно! По-моему, откровенность в таких делах лучше всего. Признаюсь... то есть я хотел сказать... вы знаете намерение дядюшки? Он приказал мне искать вашей руки...

– О, какой вздор! Не говорите этого, пожалуйста! – сказала она, поспешно перебивая меня и вся вспыхнув.

Я был озадачен.

– Как вздор? Но он ведь писал ко мне.

– Так оп-таки вам писал? – спросила она с живостью. – Ах, какой! Как же он обещался, что не будет писать! Какой вздор! Господи, какой это вздор!

– Простите меня, – пробормотал я, не зная, что говорить, – может быть, я поступил неосторожно, грубо... но ведь такая минута! Сообразите: мы окружены Бог знает чем...

– Ох, ради Бога, не извиняйтесь! Поверьте, что мне и без того тяжело это слушать, а между тем судите: я и сама хотела заговорить с вами, чтоб узнать что-нибудь... Ах, какая досада! так он-таки вам написал! Вот этого-то я пуще всего боялась! Боже мой, какой это человек! А вы и поверили и прискакали сюда сломя голову? Вот, надо было!

Она не скрывала своей досады. Положение мое было непривлекательно.

– Признаюсь, я не ожидал, – проговорил я в самом полном смущении, – такой оборот... я, напротив, думал...

– А, так вы думали? – произнесла она с легкой иронией, слегка закусывая губу. – А знаете, вы мне покажите это письмо, которое он вам писал.

– Хорошо-с.

– Да вы не сердитесь, пожалуйста, на меня, не обижайтесь; и без того много горя! – сказала она просящим голосом, а между тем насмешливая улыбка слегка мелькнула на ее хорошеньких губках.

– Ох! пожалуйста, не принимайте меня за дурака! – вскричал я с горячностью. – Но, может быть, вы предубеждены против меня? может быть, вам кто-нибудь на меня насказал? может быть, вы потому, что я там теперь срезался? Но это ничего – уверяю вас. Я сам понимаю, каким я теперь дураком стою перед вами. Не смейтесь, пожалуйста, надо мной! Я не знаю, что говорю... А всё это оттого, что мне эти проклятые двадцать два года!

– О Боже мой! Так что ж?

– Как так что ж? Да ведь кому двадцать два года, у того это и на лбу написано, как у меня, например, когда я, давеча, на средину комнаты выскочил или как теперь перед вами... Распроклятый возраст!

– Ох, нет, нет! – отвечала Настенька, едва удерживаясь от смеха. – Я уверена, что вы и добрый, и милый, и умный, и, право, я искренно говорю это! Но... вы только очень самолюбивы. От этого еще можно исправиться.

– Мне кажется, я самолюбив сколько нужно.

– Ну, нет. А давеча, когда вы сконфузились – и отчего ж? оттого, что споткнулись при входе!.. Какое право вы имели выставлять на смех вашего

доброго, вашего великодушного дядю, который вам сделал столько добра? Зачем вы хотели свалить на него смешное, когда сами были смешны? Это было дурно, стыдно! Это не делает вам чести, и, признаюсь вам, вы были мне очень противны в ту минуту – вот вам!

– Это правда! Я был болван! Даже больше: я сделал подлость! Вы приметили ее – и я уже наказан! Браните меня, смейтесь надо мной, но послушайте: может быть, вы перемените наконец ваше мнение, – прибавил я, увлекаемый каким-то странным чувством, – вы меня еще так мало знаете, что потом, когда узнаете больше, тогда... может быть...

– Ради Бога, оставим этот разговор! – вскричала Настенька с видимым нетерпением.

– Хорошо, хорошо, оставимте! Но... где я могу вас видеть?

– Как, где видеть?

– Но ведь не может же быть, чтоб мы с вами сказали последнее слово, Настасья Евграфовна! Ради Бога, назначьте мне свиданье, хоть сегодня же. Впрочем, теперь уж смеркается. Ну так, если только можно, завтра утром, пораньше; я нарочно велю себя разбудить пораньше. Знаете, там, у пруда, есть беседка. Я ведь помню; я знаю дорогу. Я ведь здесь жил маленький.

– Свидание! Но зачем это? Ведь мы и без того теперь говорим.

– Но я теперь еще ничего не знаю, Настасья Евграфовна. Я сперва всё узнаю от дядюшки. Ведь должен же он наконец мне всё рассказать, и тогда я, может быть, скажу вам что-нибудь очень важное...

– Нет, нет! не надо, не надо! – вскричала Настенька, – кончимте всё разом теперь, так чтоб потом и помину не было. А в ту беседку и не ходите напрасно: уверяю вас, я не приду, и выкиньте, пожалуйста, из головы весь этот вздор – я серьезно прошу вас...

– Так, значит, дядя поступил со мною, как сумасшедший! – вскричал я в припадке нестерпимой досады. – Зачем же он вызывал меня после этого?.. Но слышите, что это за шум?

Мы были близко от дома. Из растворенных окон раздавались визг и какие-то необыкновенные крики.

– Боже мой! – сказала она побледнев, – опять! Я так и предчувствовала!

– Вы предчувствовали? Настасья Евграфовна, еще один вопрос. Я, конечно, не имею ни малейшего права, но решаюсь предложить вам этот

последний вопрос для общего блага. Скажите – и это умрет во мне – скажите откровенно: дядя влюблен в вас или нет?

– Ах! выкиньте, пожалуйста, этот вздор из головы раз навсегда! – вскричала она, вспыхнув от гнева. – И вы тоже! Кабы был влюблен, не хотел бы выдать меня за вас, – прибавила она с горькою улыбкою. – Ис чего, с чего это взяли? Неужели вы не понимаете, о чем идет дело? Слышите эти крики?

– Но... это Фома Фомич...

– Да, конечно, Фома Фомич; но теперь из-за меня идет дело, потому что они то же говорят, что и вы, ту же бессмыслицу; тоже подозревают, что он влюблен в меня. А так как я бедная, ничтожная, а так как замарать меня ничего не стоит, а они хотят женить его на другой, так вот и требуют, чтоб он меня выгнал домой, к отцу, для безопасности. А ему когда скажут про это, то он тотчас же из себя выходит; даже Фому Фомича разорвать готов. Вон они теперь и кричат об этом; уж я предчувствую, что об этом.

– Так это всё правда! Так, значит, он непременно женится на этой Татьяне?

– На какой Татьяне?

– Ну, да на этой дуре.

– Вовсе не дуре! Она добрая. Не имеете вы права так говорить! У нее благородное сердце, благороднее, чем у многих других. Она не виновата тем, что несчастная.

– Простите. Положим, вы в этом совершенно правы; но не ошибаетесь ли вы в главном? Как же, скажите, я заметил, что они хорошо принимают вашего отца? Ведь если б они до такой уж степени сердились на вас, как вы говорите, и вас выгоняли, так и на него бы сердились и его бы худо принимали.

– А разве вы не видите, что делает для меня мой отец! Он шутом перед ними вертится! Его принимают именно потому, что он успел подольститься к Фоме Фомичу. А так как Фома Фомич сам был шутом, так вот ему и лестно, что и у него теперь есть шуты. Как вы думаете: для кого это отец делает? Он для меня это делает, для меня одной. Ему не надо; он для себя никому не поклонится. Он, может, и очень смешон на чьи-нибудь глаза, но он благородный, благороднейший человек! Он думает, Бог знает почему – и вовсе не потому, что я здесь жалованье

хорошее получаю – уверяю вас; он думает, что мне лучше оставаться здесь, в этом доме. Но теперь я совсем его разуверила. Я ему написала решительно. Он и приехал, чтоб взять меня, и, если крайность до того дойдет, так хоть завтра же, потому что уж дело почти до всего дошло: они меня съесть хотят, и я знаю наверно, что они там теперь кричат обо мне. Они растерзают *его* из-за меня, они погубят его! А *он* мне всё равно, что отец, – слышите, даже больше, чем мой родной отец! Я не хочу дожидаться. Я знаю больше, чем другие. Завтра же, завтра же уеду! Кто знает: может, чрез это они отложат хоть на время и свадьбу *его* с Татьяной Ивановной... Вот я вам всё теперь рассказала. Расскажите же это и ему, потому что я теперь и говорить-то с ним не могу: за нами следят, и особенно эта Перепелицына. Скажите, чтоб *он* не беспокоился обо мне, что я лучше хочу есть черный хлеб и жить в избе у отца, чем быть причиною *его* здешних мучений. Я бедная и должна жить как бедная. Но, Боже мой, какой шум! какой крик! Что там еще делается? Нет, во что бы ни стало сейчас пойду туда! Я выскажу им всем всё это прямо в глаза, сама, что бы ни случилось! Я должна это сделать. Прощайте!

Она убежала. Я стоял на одном месте, вполне сознавая всё смешное в той роли, которую мне пришлось сейчас разыграть, и совершенно недоумевая, чем всё это теперь разрешится. Мне было жаль бедную девушку, и я боялся за дядю. Вдруг подле меня очутился Гаврила. Он всё еще держал свою тетрадку в руке.

– Пожалуйте к дяденьке! – проговорил он унылым голосом. Я очнулся.

– К дяде? А где он? Что с ним теперь делается?

– В чайной. Там же, где чай изволили давеча кушать.

– Кто с ним?

– Одни. Дожидаются.

– Кого? меня?

– За Фомой Фомичом послали. Прошли наши красные деньки! – прибавил он, глубоко вздыхая.

– За Фомой Фомичом? Гм! А где другие? где барыня?

– На своей половине. В омрак упали, а теперь лежат в бесчувствии и плачут.

Рассуждая таким образом, мы дошли до террасы. На дворе было уже почти совсем темно. Дядя действительно был один, в той же комнате,

где произошло мое побоище с Фомой Фомичом, и ходил по ней большими шагами. На столах горели свечи. Увидя меня, он бросился ко мне и крепко сжал мои руки. Он был бледен и тяжело переводил дух; руки его тряслись, и нервическая дрожь пробегала, временем, по всему его телу.

IX. ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО

– Друг мой! всё кончено, всё решено! – проговорил он каким-то трагическим полушепотом.

– Дядюшка, – сказал я, – я слышал какие-то крики.

– Крики, братец, крики; всякие были крики! Маменька в обмороке, и всё это теперь вверх ногами. Но я решился и настою на своем. Я теперь уж никого не боюсь, Сережа. Я хочу показать им, что и у меня есть характер, – и покажу! И вот нарочно послал за тобой, чтоб ты помог мне им показать... Сердце мое разбито, Сережа... но я должен, я обязан поступить со всею строгостью. Справедливость неумолима!

– Но что же такое случилось, дядюшка?

– Я расстаюсь с Фомой, – произнес дядя решительным голосом.

– Дядюшка! – закричал я в восторге, – ничего лучше вы не могли выдумать! И если я хоть сколько-нибудь могу способствовать вашему решению, то... располагайте мною во веки веков.

– Благодарю тебя, братец, благодарю! Но теперь уж всё решено. Жду Фому; я уже послал за ним. Или он, или я! Мы должны разлучиться. Или же завтра Фома выйдет из этого дома, или, клянусь, бросаю всё и поступаю опять в гусары! Примут; дадут дивизион. Прочь всю эту систему! Теперь всё по-новому! На что это у тебя французская тетрадка? – с яростию закричал он, обращаясь к Гавриле. – Прочь ее! Сожги, растопчи, разорви! *Я* твой господин, и я приказываю тебе не учиться французскому языку. Ты не можешь, ты не смеешь меня не слушаться, потому что я твой господин, а не Фома Фомич!..

– Слава те Господи! – пробормотал про себя Гаврила. Дело очевидно шло не на шутку.

– Друг мой! – продолжал дядя с глубоким чувством, – они требуют от меня невозможного! Ты будешь судить меня; ты теперь станешь между ним и мною, как беспристрастный судья. Ты не знаешь, ты не знаешь, чего

они от меня требовали, и, наконец, формально потребовали, всё высказали! Но это противно человеколюбию, благородству, чести... Я всё расскажу тебе, но сперва...

– Я уж всё знаю, дядюшка! – вскричал я, перебивая его, – я угадываю... Я сейчас разговаривал с Настасьей Евграфовной.

– Друг мой, теперь ни слова, ни слова об этом! – торопливо прервал он меня, как будто испугавшись. – Потом я всё сам расскажу тебе, но покамест... Что ж? – закричал он вошедшему Видоплясову, – где же Фома Фомич?

Видоплясов явился с известием, что Фома Фомич «не желают прийти и находят требование явиться до несовместности грубым-с, так что Фома Фомич очень изволили этим обидеться-с».

– Веди его! тащи его! сюда его! силою притащи его! – закричал дядя, топая ногами.

Видоплясов, никогда не видавший своего барина в таком гневе, ретировался в испуге. Я удивился.

«Надо же быть чему-нибудь слишком важному, – подумал я, – если человек с таким характером способен дойти до такого гнева и до таких решений».

Несколько минут дядя молча ходил по комнате, как будто в борьбе сам с собою.

– Ты, впрочем, не рви тетрадку, – сказал он наконец Гавриле. – Подожди и сам будь здесь: ты, может быть, еще понадобишься. – Друг мой! – прибавил он, обращаясь ко мне, – я, кажется, уж слишком сейчас закричал. Всякое дело надо делать с достоинством, с мужеством, но без криков, без обид. Именно так. Знаешь что, Сережа: не лучше ли будет, если б ты ушел отсюда? Тебе всё равно. Я тебе потом всё сам расскажу – а? как ты думаешь? Сделай это для меня, пожалуйста.

– Вы боитесь, дядюшка? вы раскаиваетесь? – сказал я, пристально смотря на него.

– Нет, нет, друг мой, не раскаиваюсь! – вскричал он с удвоенным одушевлением. – Я уж теперь ничего больше не боюсь. Я принял решительные меры, самые решительные! Ты не знаешь, ты не можешь себе вообразить, чего они от меня потребовали! Неужели ж я должен был согласиться? Нет, я докажу! Я восстал и докажу! Когда-нибудь я должен

же был доказать! Но знаешь, мой друг, я раскаиваюсь, что тебя позвал: Фоме, может быть, будет очень тяжело, когда и ты будешь здесь, так сказать, свидетелем его унижения. Видишь, я хочу ему отказать от дома благородным образом, без всякого унижения. Но ведь это я так только говорю, что без унижения. Дело-то оно, брат, такое, что хоть медовые речи точи, а все-таки будет обидно. Я же груб, без воспитания; пожалуй, еще такое тяпну, сдуру-то, что и сам потом не рад буду. Всё же он для меня много сделал... Уйди, мой друг... Но вот уже его ведут, ведут! Сережа, прошу тебя, выйди! Я тебе всё потом расскажу. Выйди, ради Христа!

И дядя вывел меня на террасу в то самое мгновение, когда Фома входил в комнату. Но каюсь: я не ушел; я решился остаться на террасе, где было очень темно и, следственно, меня трудно было увидеть из комнаты. Я решился подслушивать!

Не оправдываю ничем своего поступка, но смело скажу, что, выстояв эти полчаса на террасе и не потеряв терпения, я считаю, что совершил подвиг великомученичества. С моего места я не только мог хорошо слышать, но даже мог хорошо и видеть: двери были стеклянные. Теперь прошу вообразить Фому Фомича, которому *приказали* явиться, угрожая силою, в случае отказа.

– Мои ли уши слышали такую угрозу, полковник? – возопил Фома, входя в комнату. – Так ли мне передано?

– Твои, твои, Фома, успокойся, – храбро отвечал дядя. – Сядь; поговорим серьезно, дружески, братски. Садись же, Фома.

Фома Фомич торжественно сел на кресло. Дядя быстрыми и неровными шагами ходил по комнате, очевидно, затрудняясь, с чего начать речь.

– Именно братски, – повторил он. – Ты поймешь меня, Фома, ты не маленький; я тоже не маленький – словом, мы оба в летах... Гм! Видишь, Фома, мы не сходимся в некоторых пунктах... да, именно в некоторых пунктах, и потому, Фома, не лучше ли, брат, расстаться? Я уверен, что ты благороден, что ты мне желаешь добра, и потому... Но что долго толковать! Фома, я твой друг во веки веков и клянусь в том всеми святыми! Вот пятнадцать тысяч рублей серебром: это всё, брат, что есть за душой, последние крохи наскреб, своих обобрал. Смело бери! Я должен, я обязан тебя обеспечить! Тут всё почти ломбардными и очень немного наличными. Смело бери! Ты же мне ничего не должен, потому что я никогда

не буду в силах заплатить тебе за всё, что ты для меня сделал. Да, да, именно, я это чувствую, хотя теперь, в главнейшем-то пункте, мы расходимся. Завтра или послезавтра... или когда тебе угодно... разъедемся. Поезжай-ка в наш городишко, Фома, всего десять верст; там есть домик, за церковью, в первом переулке, с зелеными ставнями, премиленький домик вдовы-попадьи; как будто для тебя его и построили. Она продаст. Я тебе куплю его сверх этих денег. Поселись-ка там, подле нас. Занимайся литературой, науками: приобретешь славу... Чиновники там, все до одного, благородные, радушные, бескорыстные; протопоп ученый. К нам будешь приезжать гостить по праздникам – и мы заживем, как в раю! Желаешь иль нет?

«Так вот на каких условиях изгоняли Фому! – подумал я, – дядя скрыл от меня о деньгах».

Долгое время царствовало глубокое молчание. Фома сидел в креслах, как будто ошеломленный, и неподвижно смотрел на дядю, которому, видимо, становилось неловко от этого молчания и от этого взгляда.

– Деньги! – проговорил наконец Фома, каким-то выделанно-слабым голосом, – где же они, где эти деньги? Давайте их, давайте сюда скорее!

– Вот они, Фома: последние крохи, ровно пятнадцать, всё, что было. Тут и кредитными и ломбардными – сам увидишь... вот!

– Гаврила! возьми себе эти деньги, – кротко проговорил Фома, – они, старик, могут тебе пригодиться. – Но нет! – вскричал он вдруг, с прибавкою какого-то необыкновенного визга и вскакивая с кресла, – нет! дай мне их сперва, эти деньги, Гаврила! дай мне их! дай мне их! дай мне эти миллионы, чтоб я притоптал их моими ногами, дай, чтоб я разорвал их, оплевал их, разбросал их, осквернил их, обесчестил их!.. Мне, мне предлагают деньги! подкупают меня, чтоб я вышел из этого дома! Я ли это слышал? я ли дожил до этого последнего бесчестия? Вот, вот, они, ваши миллионы! Смотрите: вот, вот, вот и вот! Вот как поступает Фома Опискин, если вы до сих пор этого не знали, полковник!

И Фома разбросал всю пачку денег по комнате. Замечательно, что он не разорвал и не оплевал ни одного билета, как похвалялся сделать; он только немного помял их, но и то довольно осторожно. Гаврила бросился собирать деньги с полу и потом, по уходе Фомы, бережно передал своему барину.

Поступок Фомы произвел на дядю настоящий столбняк. В свою очередь, он стоял теперь перед ним неподвижно, бессмысленно, с разинутым ртом. Фома между тем поместился опять в кресло и пыхтел, как будто от невыразимого волнения.

– Ты возвышенный человек, Фома! – вскричал наконец дядя, очнувшись, – ты благороднейший из людей!

– Это я знаю, – отвечал Фома слабым голосом, но с невыразимым достоинством.

– Фома, прости меня! Я подлец перед тобой, Фома!

– Да, передо мной, – поддакнул Фома.

– Фома! не твоему благородству я удивляюсь, – продолжал дядя, в восторге, – но тому, как мог я быть до такой степени груб, слеп и подл, чтобы предложить тебе деньги при таких условиях? Но, Фома, ты в одном ошибся: я вовсе не подкупал тебя, не платил тебе, чтоб ты вышел из дома, а просто-запросто я хотел, чтоб и у тебя были деньги, чтоб ты не нуждался, когда от меня выйдешь. Клянусь в этом тебе! На коленях, на коленях готов просить у тебя прощения, Фома, и если хочешь, стану сейчас перед тобой на колени... если только хочешь...

– Не надо мне ваших колен, полковник!..

– Но, Боже мой! Фома, посуди: ведь я был разгорячен, фрапирован, я был вне себя... Но назови же, скажи, чем могу, чем в состоянии я загладить эту обиду? Научи, изреки...

– Ничем, ничем, полковник! И будьте уверены, что завтра же я отрясу прах с моих сапогов на пороге этого дома.

И Фома начал подыматься с кресла. Дядя, в ужасе, бросился его снова усаживать.

– Нет, Фома, ты не уйдешь, уверяю тебя! – кричал дядя. – Нечего говорить про прах и про сапоги, Фома! Ты не уйдешь, или я пойду за тобой на край света, и всё буду идти за тобой до тех пор, покамест ты не простишь меня... Клянусь, Фома, я так сделаю!

– Вас простить? вы виноваты? – сказал Фома. – Но понимаете ли вы еще вину-то свою передо мною? Понимаете ли, что вы стали виноваты теперь передо мной даже тем, что давали мне здесь кусок хлеба? Понимаете ли вы, что теперь одной минутой вы отравили ядом все те прошедшие куски, которые я употребил в вашем доме? Вы попрекнули меня сейчас

этими кусками, каждым глотком этого хлеба, уже съеденного мною; вы мне доказали теперь, что я жил как раб в вашем доме, как лакей, как обтирка ваших лакированных сапогов! А между тем я, в чистоте моего сердца, думал до сих пор, что обитаю в вашем доме как друг и как брат! Не сами ль, не сами ль вы змеиными речами вашими тысячу раз уверяли меня в этой дружбе, в этом братстве? Зачем же вы таинственно сплетали мне эти сети, в которые я попал, как дурак? Зачем же во мраке копали вы мне эту волчью яму, в которую теперь вы сами втолкнули меня? Зачем не поразили вы меня разом, еще прежде, одним ударом этой дубины? Зачем в самом начале не свернули вы мне головы, как какому-нибудь петуху, за то... ну, хоть, например, только за то, что он не несет яиц? Да, именно так! Я стою за это сравнение, полковник, хотя оно и взято из провинциального быта и напоминает собою тривиальный тон современной литературы; потому стою за него, что в нем видна вся бессмыслица обвинений ваших; ибо я столько же виноват перед вами, как и этот предполагаемый петух, не угодивший своему легкомысленному владельцу неснесеньем яиц! Помилуйте, полковник! разве платят другу иль брату деньгами – и за что же? главное, за что же? «На, дескать, возлюбленный брат мой, я обязан тебе: ты даже спасал мне жизнь: на тебе несколько иудиных сребреников, но только убирайся от меня с глаз долой!» Как наивно! как грубо вы поступили со мною! Вы думали, что я жажду вашего золота, тогда как я питал одни райские чувства составить ваше благополучие. О, как разбили вы мое сердце! Благороднейшими чувствами моими вы играли, как какой-нибудь мальчишка в какую-нибудь свайку! Давно-давно, полковник, я уже предвидел всё это, – вот почему я уже давным-давно задыхаюсь от вашего хлеба, давлюсь этим хлебом! вот почему меня давили ваши перины, давили, а не лелеяли! вот почему ваш сахар, ваши конфекты были для меня кайеннским перцем, а не конфектами! Нет, полковник! живите один, благоденствуйте один и оставьте Фому идти своею скорбною дорогою, с мешком на спине. Так и будет, полковник!

– Нет, Фома, нет! так не будет, так не может быть! – простонал совершенно уничтоженный дядя.

– Да, полковник, да! именно так будет, потому что так должно быть. Завтра же ухожу от вас. Рассыпьте ваши миллионы, устелите весь путь мой, всю большую дорогу вплоть до Москвы кредитными билетами – и я гордо, презрительно пройду по вашим билетам; эта самая нога, пол-

ковник, растопчет, загрязнит, раздавит эти билеты, и Фома Опискин будет сыт одним благородством своей души! Я сказал и доказал! Прощайте, полковник. Про-щай-те, полковник!..

И Фома начал вновь подыматься с кресла.

– Прости, прости, Фома! забудь!.. – повторял дядя умоляющим голосом.

– «Прости»! Но к чему вам мое прощение? Ну, хорошо, положим, что я вас и прощу: я христианин; я не могу не простить; я и теперь уже почти вас простил. Но решите же сами: сообразно ли будет хоть сколько-нибудь с здравым смыслом и благородством души, если я хоть на одну минуту останусь теперь в вашем доме? Ведь вы выгоняли меня!

– Сообразно, сообразно, Фома! уверяю тебя, что сообразно!

– Сообразно? Но равны ли мы теперь между собою? Неужели вы не понимаете, что я, так сказать, раздавил вас своим благородством, а вы раздавили сами себя своим унизительным поступком? Вы раздавлены, а я вознесен. Где же равенство? А разве можно быть друзьями без такого равенства? Говорю это, испуская сердечный вопль, а не торжествуя, не возносясь над вами, как вы, может быть, думаете.

– Но я и сам испускаю сердечный вопль, Фома, уверяю тебя...

– И это тот самый человек, – продолжал Фома, переменяя суровый тон на блаженный, – тот самый человек, для которого я столько раз не спал по ночам! Сколько раз, бывало, в бессонные ночи мои, я вставал с постели, зажигал свечу и говорил себе: «Теперь он спит спокойно, надеясь на тебя. Не спи же ты, Фома, бодрствуй за него; авось выдумаешь еще что-нибудь для благополучия этого человека». Вот как думал Фома в свои бессонные ночи, полковник! и вот как заплатил ему этот полковник! Но довольно, довольно!..

– Но я заслужу, Фома, я заслужу опять твою дружбу – клянусь тебе!

– Заслужите? а где же гарантия? Как христианин, я прощу и даже буду любить вас; но как человек, и человек благородный, я поневоле буду вас презирать. Я должен, я обязан вас презирать; я обязан во имя нравственности, потому что – повторяю вам это – вы опозорили себя, а я сделал благороднейший из поступков. Ну, кто *из ваших* сделает подобный поступок? Кто из них откажется от такого несметного числа денег, от которых отказался, однако ж, нищий, презираемый всеми

Фома, из любви к величию? Нет, полковник, чтоб сравниться со мной, вы должны совершить теперь целый ряд подвигов. А на какой подвиг способны вы, когда не можете даже сказать мне вы, как своему ровне, а говорите ты, как слуге?

– Фома, но ведь я по дружбе говорил тебе ты! – возопил дядя. – Я не знал, что тебе неприятно... Боже мой! но если б я только знал...

– Вы, – продолжал Фома, – вы, который не могли или, лучше сказать, не хотели исполнить самую пустейшую, самую ничтожнейшую из просьб, когда я вас просил сказать мне, как генералу, «ваше превосходительство»...

– Но, Фома, ведь это уже было, так сказать, высшее посягновение, Фома.

– Высшее посягновение! Затвердили какую-то книжную фразу, да и повторяете ее, как попугай! Но знаете ли вы, что вы осрамили, обесчестили меня отказом сказать мне «ваше превосходительство», обесчестили тем, что, не поняв причин моих, выставили меня капризным дураком, достойным желтого дома! Ну неужели я не понимаю, что я бы сам был смешон, если б захотел именоваться превосходительством, я, который презираю все эти чины и земные величия, ничтожные сами по себе, если они не освящаются добродетелью? За миллион не возьму генеральского чина без добродетели! А между тем вы считали меня за безумного! Для вашей же пользы я пожертвовал моим самолюбием и допустил, что вы, вы могли считать меня за безумного, вы и ваши ученые! Единственно для того, чтоб просветить ваш ум, развить вашу нравственность и облить вас лучами новых идей, решился я требовать от вас генеральского титула. Я именно хотел, чтоб вы не почитали впредь генералов самыми высшими светилами на всем земном шаре; хотел доказать вам, что чин – ничто без великодушия и что нечего радоваться приезду вашего генерала, когда, может быть, и возле вас стоят люди, озаренные добродетелью! Но вы так постоянно чванились передо мною своим чином полковника, что вам уже трудно было сказать мне «ваше превосходительство». Вот где причина! вот, где искать ее, а не в посягновении каких-то судеб! Вся причина в том, что вы полковник, а я просто Фома...

– Нет, Фома, нет! уверяю тебя, что это не так. Ты ученый, ты не просто Фома... я почитаю...

– Почитаете! хорошо! Так скажите же мне, если почитаете, как по вашему мнению: достоин я или нет генеральского сана? Отвечайте решительно и немедленно: достоин иль нет? Я хочу посмотреть ваш ум, ваше развитие.

– За честность, за бескорыстие, за ум, за высочайшее благородство души – достоин! – с гордостью проговорил дядя.

– А если достоин, так для чего же вы не скажете мне «ваше превосходительство»?

– Фома, я, пожалуй, скажу...

– А я требую! А я теперь требую, полковник, настаиваю и требую! Я вижу, как вам тяжело это, потому-то и требую. Эта жертва с вашей стороны будет первым шагом вашего подвига, потому что – не забудьте это – вы должны сделать целый ряд подвигов, чтоб сравняться со мною; вы должны пересилить самого себя, и тогда только я уверую в вашу искренность...

– Завтра же скажу тебе, Фома, «ваше превосходительство»!

– Нет, не завтра, полковник, завтра само собой. Я требую, чтоб вы теперь, сейчас же, сказали мне «ваше превосходительство».

– Изволь, Фома, я готов... Только как же это так, сейчас, Фома?..

– Почему же не сейчас? или вам стыдно? В таком случае мне обидно, если вам стыдно.

– Ну, да пожалуй, Фома, я готов... я даже горжусь... Только как же это, Фома, ни с того ни с сего: «здравствуйте, ваше превосходительство»? Ведь это нельзя...

– Нет, не «здравствуйте, ваше превосходительство», это уже обидный тон; это похоже на шутку, на фарс. Я не позволю с собой таких шуток. Опомнитесь, немедленно опомнитесь, полковник! перемените ваш тон!

– Да ты не шутишь, Фома?

– Во-первых, я не *ты,* Егор Ильич, а *вы* – не забудьте это; и не Фома, а Фома Фомич.

– Да ей-Богу же, Фома Фомич, я рад! Я всеми силами рад... Только что ж я скажу!

– Вы затрудняетесь, что прибавить к слову «ваше превосходительство» – это понятно. Давно бы вы объяснились! Это даже извинительно, особенно если человек *не сочинитель,* если выразиться поучтивее. Ну,

я вам помогу, если вы не сочинитель. Говорите за мной: «ваше превосходительство!..»

– Ну, «ваше превосходительство».

– Нет, не: *«ну,* ваше превосходительство», а просто: «ваше превосходительство»! Я вам говорю, полковник, перемените ваш тон! Надеюсь также, что вы не оскорбитесь, если я предложу вам слегка поклониться и вместе с тем склонить вперед корпус. С генералом говорят, склоняя вперед корпус, выражая таким образом почтительность и готовность, так сказать, лететь по его поручениям. Я сам бывал в генеральских обществах и всё это знаю... Ну-с: «ваше превосходительство».

– Ваше превосходительство...

– Как я несказанно обрадован, что имею наконец случай просить у вас извинения в том, что с первого раза не узнал души вашего превосходительства. Смею уверить, что впредь не пощажу слабых сил моих на пользу общую... Ну, довольно с вас!

Бедный дядя! Он должен был повторить всю эту галиматью, фразу за фразой, слово за словом! Я стоял и краснел, как виноватый. Злость душила меня.

– Ну, не чувствуете ли вы теперь, – проговорил истязатель, – что у вас вдруг стало легче на сердце, как будто в душу к вам слетел какой-то ангел?.. Чувствуете ли вы присутствие этого ангела? отвечайте мне!

– Да, Фома, действительно, как-то легче сделалось, – отвечал дядя.

– Как будто сердце ваше после того, как вы победили себя, так сказать, окунулось в каком-то елее?

– Да, Фома, действительно, как будто по маслу пошло.

– Как будто по маслу? Гм... Я, впрочем, не про масло вам говорил... Ну, да всё равно! Вот что значит, полковник, исполненный долг! Побеждайте же себя. Вы самолюбивы, необъятно самолюбивы!

– Самолюбив, Фома, вижу, вижу, – со вздохом отвечал дядя.

– Вы эгоист и даже мрачный эгоист...

– Эгоист-то я эгоист, правда, Фома, и это вижу; с тех пор, как тебя узнал, так и это узнал.

– Я сам говорю теперь, как отец, как нежная мать... вы отбиваете всех от себя и забываете, что ласковый теленок две матки сосет.

– Правда и это, Фома!

– Вы грубы. Вы так грубо толкаетесь в человеческое сердце, так самолюбиво напрашиваетесь на внимание, что порядочный человек от вас за тридевять земель убежать готов!

Дядя еще раз глубоко вздохнул.

– Будьте же нежнее, внимательнее, любовнее к другим; забудьте себя для других, тогда вспомнят и о вас. Живи и жить давай другим – вот мое правило! Терпи, трудись, молись и надейся – вот истины, которые бы я желал внушить разом всему человечеству! Подражайте же им, и тогда я первый раскрою вам мое сердце, буду плакать на груди вашей... если понадобится... А то я, да я, да милость моя! Да ведь надоест же наконец ваша милость, с позволения сказать.

– Сладкогласный человек! – проговорил в благоговении Гаврила.

– Это правда, Фома; я всё это чувствую, – поддакнул растроганный дядя. – Но не во всем же и я виноват, Фома: так уж меня воспитали; с солдатами жил. А клянусь тебе, Фома, и я умел чувствовать. Прощался с полком, так все гусары, весь мой дивизион, просто плакали, говорили, что такого, как я, не нажить!.. Я и подумал тогда, что и я, может быть, еще не совсем человек погибший.

– Опять эгоистическая черта! опять я ловлю вас на самолюбии! Вы хвалитесь и, мимоходом, попрекнули меня слезами гусар. Что ж я не хвалюсь ничьими слезами? А было бы чем; а было бы, может быть, чем.

– Это так с языка сорвалось, Фома, не утерпел, вспомнил старое хорошее время.

– Хорошее время не с неба падает, а мы его делаем; оно заключается в сердце нашем, Егор Ильич. Отчего же я всегда счастлив и, несмотря на страдания, доволен, спокоен духом и никому не надоедаю, разве одним дуракам, верхоплясам, *ученым*, которых не щажу и не хочу щадить. Не люблю дураков! И что такое эти ученые? «Человек науки!» – да наука-то выходит у него надувательная штука, а не наука. Ну что *он* давеча говорил? Давайте его сюда! давайте сюда всех ученых! Всё могу опровергнуть; все положения их могу опровергнуть! Я уж не говорю о благородстве души...

– Конечно, Фома, конечно. Кто ж сомневается?

– Давеча, например, я выказал ум, талант, колоссальную начитанность, знание сердца человеческого, знание современных литератур;

я показал и блестящим образом развернул, как из какого-нибудь комаринского может вдруг составиться высокая тема для разговора у человека талантливого. Что ж? Оценил ли кто-нибудь из них меня по достоинству? Нет, отворотились! Я ведь уверен, что он уже говорил вам, что я ничего не знаю. А тут, может быть, сам Макиавель или какой-нибудь Меркаданте перед ними сидел, и только тем виноват, что беден и находится в неизвестности... Нет, это им не пройдет!.. Слышу еще про Коровкина. Это что за гусь?

– Это, Фома, человек умный, человек науки... Я его жду. Это верно уж будет хороший, Фома!

– Гм! сомневаюсь. Вероятно, какой-нибудь современный осел, навьюченный книгами. Души в них нет, полковник, сердца в них нет! А что и ученость без добродетели?

– Нет, Фома, нет! Как о семейном счастии говорил! так сердце и вникает само собою, Фома!

– Гм! Посмотрим; проэкзаменуем и Коровкина. Но довольно, – заключил Фома, подымаясь с кресла. – Я не могу еще вас совершенно простить, полковник: обида была кровавая; но я помолюсь, и, может быть, Бог ниспошлет мир оскорбленному сердцу. Мы поговорим еще завтра об этом, а теперь позвольте уж мне уйти. Я устал и ослаб...

– Ах, Фома! – захлопотал дядя, – ведь ты в самом деле устал! Знаешь что? не хочешь ли подкрепиться, закусить чего-нибудь? Я сейчас прикажу.

– Закусить! Ха-ха-ха! Закусить! – отвечал Фома, с презрительным хохотом. – Сперва напоят тебя ядом, а потом спрашивают, не хочешь ли закусить? Сердечные раны хотят залечить какими-нибудь отварными грибками или моченными яблочками! Какой вы жалкий материалист, полковник!

– Эх, Фома, я ведь, ей-Богу, от чистого сердца...

– Ну, хорошо. Довольно об этом. Я ухожу, а вы немедленно идите к вашей родительнице: падите на колени, рыдайте, плачьте, но вымолите у нее прощение, – это ваш долг, ваша обязанность!

– Ах, Фома, я всё время об этом только и думал; даже теперь, с тобой говоря, об этом же думал. Я готов хоть до рассвета простоять перед ней на коленях. Но подумай, Фома, чего же от меня и требуют? Ведь это несправедливо, ведь это жестоко, Фома! Будь великодушен вполне, осчастливь меня совершенно, подумай, реши – и тогда... тогда... клянусь!..

– Нет, Егор Ильич, нет, это не мое дело, – отвечал Фома. – Вы знаете, что я во всё это нимало не вмешиваюсь, то есть вы, положим, и убеждены, что я всему причиною, но, уверяю вас, с самого начала этого дела я устранил себя совершенно. Тут одна только воля вашей родительницы, а она, разумеется, вам желает добра... Ступайте же, спешите, летите и поправьте обстоятельства своим послушанием. Да не зайдет солнце во гневе вашем! а я... а я буду всю ночь молиться за вас. Я давно уже не знаю, что такое сон, Егор Ильич. Прощайте! Прощаю и тебя, старик, – прибавил он, обращаясь к Гавриле. – Знаю, что ты не своим умом действовал. Прости же и ты мне, если я обидел тебя... Прощайте, прощайте, прощайте все, и благослови вас Господь!..

Фома вышел. Я тотчас же бросился в комнату.

– Ты подслушивал? – вскричал дядя.

– Да, дядюшка, я подслушивал! И вы, и вы могли сказать ему «ваше превосходительство»!..

– Что ж делать, братец? Я даже горжусь... Это ничего для высокого подвига; но какой благородный, какой бескорыстный, какой великий человек! Сергей – ты ведь слышал... И как мог я тут соваться с этими деньгами, то есть просто не понимаю! Друг мой! я был увлечен; я был в ярости; я не понимал его; я его подозревал, обвинял... но нет! он не мог быть моим противником – это я теперь вижу... А помнишь, какое у него было благородное выражение в лице, когда он отказался от денег?

– Хорошо, дядюшка, гордитесь же сколько угодно, а я еду: терпения нет больше! Последний раз говорю, скажите: чего вы от меня требуете? зачем вызвали и чего ожидаете? И если всё кончено и я бесполезен вам, то я еду. Я не могу выносить таких зрелищ! Сегодня же еду!

– Друг мой... – засуетился по обыкновению своему дядя, – подожди только две минуты: я, брат, иду теперь к маменьке... там надо кончить... важное, великое, громадное дело!.. А ты покамест уйди к себе. Вот Гаврила тебя и отведет в летний флигель. Знаешь летний флигель? это в самом саду. Я уж распорядился, и чемодан твой туда перенесли. А я буду там, вымолю прощение, решусь на одно дело – я теперь уж знаю, как сделать, – и тогда мигом к тебе, и тогда всё, всё, всё до последней черты тебе расскажу, всю душу выложу пред тобою. И... и... и настанут же когда-нибудь и для нас счастливые дни! Две минуты, только две минутки, Сергей!

Он пожал мне руку и поспешно вышел. Нечего было делать, пришлось опять отправляться с Гаврилой.

X. МИЗИНЧИКОВ

Флигель, в который привел меня Гаврила, назывался «новым флигелем» только по старой памяти, но выстроен был уже давно, прежними помещиками. Это был хорошенький, деревянный домик, стоявший в нескольких шагах от старого дома, в самом саду. С трех сторон его обступали высокие старые липы, касавшиеся своими ветвями кровли. Все четыре комнаты этого домика были недурно меблированы и предназначались к приезду гостей. Войдя в отведенную мне комнату, в которую уже перенесли мой чемодан, я увидел на столике, перед кроватью, лист почтовой бумаги, великолепно исписанный разными шрифтами, отделанный гирляндами, парафами и росчерками. Заглавные буквы и гирлянды разрисованы были разными красками. Всё вместе составляло премиленькую каллиграфскую работу. С первых слов, прочитанных мною, я понял, что это было просительное письмо, адресованное ко мне, и в котором я именовался «просвещенным благодетелем». В заглавии стояло: «Вопли Видоплясова». Сколько я ни напрягал внимания, стараясь хоть что-нибудь понять из написанного, – все труды мои остались тщетными: это был самый напыщенный вздор, писанный высоким лакейским слогом. Догадался я только, что Видоплясов находится в каком-то бедственном положении, просит моего содействия, в чем-то очень на меня надеется, «по причине моего просвещения», и, в заключение, просит похлопотать в его пользу у дядюшки и подействовать на него «моею машиною», как буквально изображено было в конце этого послания. Я еще читал его, как отворилась дверь и вошел Мизинчиков.

– Надеюсь, что вы позволите мне с вами познакомиться, – сказал он развязно, но чрезвычайно вежливо и подавая мне руку. – Давеча я не мог вам сказать двух слов, а между тем с первого взгляда почувствовал желание узнать вас короче.

Я тотчас же отвечал, что и сам рад и прочее, хотя и находился в самом отвратительном расположении духа. Мы сели.

– Что это у вас? – сказал он, взглянув на лист, который я держал еще в руке. – Уж не вопли ли Видоплясова? Так и есть! Я уверен был, что Видоплясов и вас атакует. Он и мне подавал такой же точно лист, с теми же воплями; а вас он уже давно ожидает и, вероятно, заранее приготовлялся. Вы не удивляйтесь: здесь много странного, и, право, есть над чем посмеяться.

– Только посмеяться?

– Ну да, неужели же плакать? Если хотите, я вам расскажу биографию Видоплясова, и уверен, что вы посмеетесь.

– Признаюсь, теперь мне не до Видоплясова, – отвечал я с досадою.

Мне очевидно было, что и знакомство господина Мизинчикова и любезный его разговор – всё это предпринято им с какою-то целью и что господин Мизинчиков просто во мне нуждается. Давеча он сидел нахмуренный и серьезный; теперь же был веселый, улыбающийся и готовый рассказывать длинные истории. Видно было с первого взгляда, что этот человек отлично владел собой и, кажется, знал людей.

– Проклятый Фома! – сказал я, со злостью стукнув кулаком по столу. – Я уверен, что он источник всякого здешнего зла и во всем замешан! Проклятая тварь!

– Вы, кажется, уж слишком на него рассердились, – заметил Мизинчиков.

– Слишком рассердился! – вскрикнул я, мгновенно разгорячившись. – Конечно, я давеча слишком увлекся и, таким образом, дал право всякому осуждать меня. Я очень хорошо понимаю, что я выскочил и срезался на всех пунктах, и, я думаю, нечего было это мне объяснять!.. Понимаю тоже, что так не делается в порядочном обществе; но, сообразите, была ли какая возможность не увлечься? Ведь это сумасшедший дом, если хотите знать! и... и... наконец... я просто уеду отсюда – вот что!

– Вы курите? – спокойно спросил Мизинчиков.

– Да.

– Так, вероятно, позволите и мне закурить. Там не позволяют, и я почти стосковался. Я согласен, – продолжал он, закурив папироску, что всё это похоже на сумасшедший дом, но будьте уверены, что я не позволю себе осуждать вас, именно потому, что на вашем месте я, может, втрое более бы разгорячился и вышел из себя, чем вы.

– А почему же вы не вышли из себя, если действительно были тоже раздосадованы? Я, напротив, припоминаю вас очень хладнокровным, и, признаюсь, мне даже странно было, что вы не заступились за бедного дядю, который готов благодетельствовать... всем и каждому!

– Ваша правда: он многим благодетельствовал; но заступаться за него я считаю совершенно бесполезным: во-первых, это и для него бесполезно и даже унизительно как-то; а во-вторых, меня бы завтра же выгнали. А я вам откровенно скажу, мои обстоятельства такого рода, что я должен дорожить здешним гостеприимством.

– Ноя нисколько не претендую на вашу откровенность насчет обстоятельств... Мне бы, впрочем, хотелось спросить, так как вы здесь уже месяц живете...

– Сделайте одолжение, спрашивайте: я к вашим услугам, – торопливо отвечал Мизинчиков, придвигая стул.

– Да вот, например, объясните: сейчас Фома Фомич отказался от пятнадцати тысяч серебром, которые уже были в его руках, – я видел это собственными глазами.

– Как это? Неужели? – вскрикнул Мизинчиков. – Расскажите, пожалуйста!

Я рассказал, умолчав о «вашем превосходительстве». Мизинчиков слушал с жадным любопытством; он даже как-то преобразился в лице, когда дошло до пятнадцати тысяч.

– Ловко! – сказал он, выслушав рассказ. – Я даже не ожидал от Фомы.

– Однако ж, отказался от денег! Чем это объяснить? Неужели благородством души?

– Отказался от пятнадцати тысяч, чтоб взять потом тридцать. Впрочем, знаете что? – прибавил он, подумав, – я сомневаюсь, чтоб у Фомы был какой-нибудь расчет. Это человек непрактический; это тоже в своем роде какой-то поэт. Пятнадцать тысяч... гм! Видите ли: он и взял бы деньги, да не устоял перед соблазном погримасничать, порисоваться. Это, я вам скажу, такая кислятина, такая слезливая размазня, и всё это при самом неограниченном самолюбии!

Мизинчиков даже рассердился. Видно было, что ему очень досадно, даже как будто завидно. Я с любопытством вглядывался в него.

– Гм! Надо ожидать больших перемен, – прибавил он, задумываясь. – Теперь Егор Ильич готов молиться Фоме. Чего доброго, пожалуй, и женится, из умиления души, – прибавил он сквозь зубы.

– Так вы думаете, что непременно состоится – этот гнусный, противоестественный брак с этой помешанной дурой?

Мизинчиков пытливо взглянул на меня.

– Подлецы! – вскричал я запальчиво.

– Впрочем, у них идея довольно основательная: они утверждают, что он должен же что-нибудь сделать для семейства.

– Мало он для них сделал! – вскричал я, в негодовании. – И вы, и вы можете говорить, что это основательная мысль – жениться на пошлой дуре!

– Конечно, и я согласен с вами, что она дура... Гм! Это хорошо, что вы так любите дядюшку; я сам сочувствую... хотя на ее деньги можно бы славно округлить имение! Впрочем, у них и другие резоны: они боятся, чтоб Егор Ильич не женился на той гувернантке... помните, еще такая интересная девушка?

– А разве... разве это вероятно? – спросил я в волнении. – Мне кажется, это клевета. Скажите, ради Бога, меня это крайне интересует...

– О, влюблен по уши! Только, разумеется, скрывает.

– Скрывает! Вы думаете, он скрывает? Ну, а она? Она его любит?

– Очень может быть, что и она. Впрочем, ведь ей все выгоды за него выйти: она очень бедна.

– Но какие данные вы имеете для вашей догадки, что они любят друг друга?

– Да ведь этого нельзя не заметить; притом же они, кажется, имеют тайные свидания. Утверждали даже, что она с ним в непозволительной связи. Вы только, пожалуйста, не рассказывайте. Я вам говорю под секретом.

– Возможно ли этому поверить? – вскричал я, – и вы, и вы признаетесь, что этому верите?

– Разумеется, я не верю вполне, я там не был. Впрочем, очень может и быть.

– Как, может быть! Вспомните благородство, честь дяди!

– Согласен; но можно и увлечься, с тем чтоб непременно потом завершить законным браком. Так часто увлекаются. Впрочем, повторяю,

я нисколько не стою за совершенную достоверность этих известий, тем более что ее здесь очень уж размарали; говорили даже, что она была в связи с Видоплясовым.

– Ну, вот видите! – вскричал я, – с Видоплясовым! Ну, возможно ли это? Ну, не отвратительно ль даже слышать это? Неужели ж вы и этому верите?

– Я ведь вам говорю, что я этому не совсем верю, – спокойно отвечал Мизинчиков, – а, впрочем, могло и случиться. На свете все может случиться. Я же там не был, и притом я считаю, что это не мое дело. Но так как, я вижу, вы берете во всем этом большое участие, то считаю себя обязанным прибавить, что действительно мало вероятия насчет этой связи с Видоплясовым. Это всё проделки Анны Ниловны, вот этой Перепелицыной; это она распустила здесь эти слухи, из зависти, потому что сама прежде мечтала выйти замуж за Егора Ильича – ей-Богу! – на том основании, что она подполковничья дочь. Теперь она разочаровалась и ужасно бесится. Впрочем, я, кажется, уж всё рассказал вам об этих делах и, признаюсь, ужасно не люблю сплетен, тем более что мы только теряем драгоценное время. Я, видите ли, пришел к вам с небольшой просьбой.

– С просьбой? Помилуйте, всё, чем могу быть полезен...

– Понимаю и даже надеюсь вас несколько заинтересовать, потому что, вижу, вы любите вашего дядюшку и принимаете большое участие в его судьбе насчет брака. Но, перед этой просьбой, я имею к вам еще другую просьбу, предварительную.

– Какую же?

– А вот какую: может быть, вы и согласитесь исполнить мою главную просьбу, может быть и нет, но во всяком случае прежде изложения я бы попросил вас покорнейше сделать мне величайшее одолжение, дать мне честное и благородное слово дворянина и порядочного человека, что всё, услышанное вами от меня, останется между нами в глубочайшей тайне и что вы ни в каком случае, ни для какого лица не измените этой тайне и не воспользуетесь для себя той идеей, которую я теперь нахожу необходимым вам сообщить. Согласны иль нет?

Предисловие было торжественное. Я дал согласие.

– Ну-с?.. – сказал я.

– Дело в сущности очень простое, – начал Мизинчиков. – Я, видите ли, хочу увезти Татьяну Ивановну и жениться на ней; словом, будет нечто похожее на Гретна-Грин, – понимаете?

Я посмотрел господину Мизинчикову прямо в глаза и некоторое время не мог выговорить слова.

– Признаюсь вам, ничего не понимаю, – проговорил я наконец, – и кроме того, – продолжал я, – ожидая, что имею дело с человеком благоразумным, я, с своей стороны, никак не ожидал...

– Ожидая не ожидали, – перебил Мизинчиков, – в переводе это будет, что я и намерение мое глупы, – не правда ли?

– Вовсе нет-с... но...

– О, пожалуйста, не стесняйтесь в ваших выражениях! Не беспокойтесь; вы мне даже сделаете этим большое удовольствие, потому что этак ближе к цели. Я, впрочем, согласен, что всё это с первого взгляда может показаться даже несколько странным. Но смею уверить вас, что мое намерение не только не глупо, но даже в высшей степени благоразумно; и если вы будете так добры, выслушаете все обстоятельства...

– О, помилуйте! я с жадностью слушаю.

– Впрочем, рассказывать почти нечего. Видите ли: я теперь в долгах и без копейки. У меня есть, кроме того, сестра, девица лет девятнадцати, сирота круглая, живет в людях и без всяких, знаете, средств. В этом виноват отчасти и я. Получили мы в наследство сорок душ. Нужно же, чтоб меня именно в это время произвели в корнеты. Ну сначала, разумеется, заложил, а потом прокутил и остальным образом. Жил глупо, задавал тону, корчил Бурцова, играл, пил – словом, глупо, даже и вспоминать стыдно. Теперь я одумался и хочу совершенно изменить образ жизни. Но для этого мне совершенно необходимо иметь сто тысяч ассигнациями. А так как я не достану ничего службой, сам же по себе ни на что не способен и не имею почти никакого образования, то, разумеется, остается только два средства: или украсть, или жениться на богатой. Пришел я сюда почти без сапог, пришел, а не приехал. Сестра дала мне свои последние три целковых, когда я отправился из Москвы. Здесь я увидел эту Татьяну Ивановну, и тотчас же у меня родилась мысль. Я немедленно решился пожертвовать собой и жениться. Согласитесь, что всё это не что иное, как благоразумие. К тому же я делаю это более для сестры... ну, конечно, и для себя...

– Но, позвольте, вы хотите сделать формальное предложение Татьяне Ивановне?

– Боже меня сохрани! Меня отсюда тотчас бы выгнали, да и она сама не пойдет; а если предложить ей увоз, побег, то она тотчас пойдет. В том-то и дело: только чтоб было что-нибудь романическое и эффектное. Разумеется, всё это немедленно завершится между нами законным браком. Только бы выманить-то ее отсюда!

– Да почему ж вы так уверены, что она непременно с вами убежит?

– О, не беспокойтесь! в этом я совершенно уверен. В том-то и состоит основная мысль, что Татьяна Ивановна способна завести амурное дело решительно со всяким встречным, словом, со всяким, кому только придет в голову ей отвечать. Вот почему я и взял с вас предварительно честное слово, чтоб вы тоже не воспользовались этой идеей. Вы же, конечно, поймете, что мне бы даже грешно было не воспользоваться таким случаем, особенно при моих обстоятельствах.

– Так, стало быть, она совсем сумасшедшая... ах! извините, – прибавил я, спохватившись. – Так как вы теперь имеете на нее виды, то...

– Пожалуйста, не стесняйтесь, я уже просил вас. Вы спрашиваете, совсем ли она сумасшедшая? Как вам ответить? Разумеется, не сумасшедшая, потому что еще не сидит в сумасшедшем доме; притом же в этой мании к амурным делам я, право, не вижу особенного сумасшествия. Она же, несмотря ни на что, девушка честная. Видите ли: она до прошлого года была в ужасной бедности, с самого рождения жила под гнетом у благодетельниц. Сердце у ней необыкновенно чувствительное; замуж ее никто не просил – ну, понимаете: мечты, желания, надежды, пыл сердца, который надо было всегда укрощать, вечные муки от благодетельниц – всё это, разумеется, могло довести до расстройства чувствительный характер. И вдруг она получает богатство: согласитесь сами, это хоть кого перевернет. Ну, разумеется, теперь в ней ищут, за ней волочатся, и все надежды ее воскресли. Давеча она рассказала про франта в белом жилете: это факт, случившийся буквально так, как она говорила. По этому факту можете судить и об остальном. На вздохи, на записочки, на стишки вы ее тотчас приманите; а если ко всему этому намекнете на шелковую лестницу, на испанские серенады и на всякий этот вздор, то вы можете сделать с ней всё, что угодно. Я уж сделал пробу и тотчас же добился тайного свидания.

Впрочем, теперь я покамест приостановился до благоприятного времени. Но дня через четыре надо ее увезти, непременно. Накануне я начну подпускать лясы, вздыхать; я недурно играю на гитаре и пою. Ночью свиданье в беседке, а к рассвету коляска будет готова; я ее выманю, сядем и уедем. Вы понимаете, что тут никакого риску: она совершеннолетняя, и, кроме того, во всем ее добрая воля. А уж если она раз бежала со мной, то уж, конечно, значит, вошла со мной в обязательства... Привезу я ее в благородный, но бедный дом – здесь есть, в сорока верстах, – где до свадьбы ее будут держать в руках и никого до нее не допустят; а между тем я времени терять не буду: свадьбу уладим в три дня – это можно. Разумеется, прежде нужны деньги; но я рассчитал, нужно не более пятисот серебром на всю интермедию, и в этом я надеюсь на Егора Ильича: он даст, конечно, не зная, в чем дело. Теперь поняли?

– Понимаю, – сказал я, поняв наконец всё в совершенстве. – Но, скажите, в чем же я-то вам могу быть полезен?

– Ах, в очень многом, помилуйте! Иначе я бы и не просил. Я уже сказал вам, что имею в виду одно почтенное, но бедное семейство. Вы же мне можете помочь и здесь, и там, и, наконец, как свидетель. Признаюсь, без вашей помощи я буду как без рук.

– Еще вопрос: почему вы удостоили выбрать меня для вашей доверенности, меня, которого вы еще не знаете, потому что я всего несколько часов как приехал?

– Вопрос ваш, – отвечал Мизинчиков с самою любезною улыбкою, – вопрос ваш, признаюсь откровенно, доставляет мне много удовольствия, потому что представляет мне случай высказать мое особое к вам уважение.

– О, много чести!

– Нет, видите ли, я вас давеча несколько изучал. Вы, положим, и пылки и... и... ну, и молоды; но вот в чем я совершенно уверен: если уж вы дали мне слово, что никому не расскажете, то уж, наверно, его сдержите. Вы не Обноскин – это первое. Во-вторых, вы честны и не воспользуетесь моей идеей для себя, разумеется, кроме того случая, если захотите вступить со мной в дружелюбную сделку. В таком случае я, может быть, и согласен буду уступить вам мою идею, то есть Татьяну Ивановну, и готов ревностно помогать в похищении, но с условием через месяц после свадьбы получить от вас пятьдесят тысяч ассигнациями, в чем, ра-

зумеется, вы мне заранее дали бы обеспечение в виде заемного письма, без процентов.

– Как? – вскричал я, – так вы ее уж и мне предлагаете?

– Натурально, я могу уступить, если надумаетесь, захотите. Я, конечно, теряю, но... идея принадлежит мне, а ведь за идеи берут же деньги. В-третьих, наконец, я потому вас пригласил, что не из кого и выбирать. А долго медлить, взяв в соображение здешние обстоятельства, невозможно. К тому же скоро Успенский пост, и венчать не станут. Надеюсь, вы теперь вполне меня понимаете?

– Совершенно, и еще раз обязуюсь сохранить вашу тайну в полной неприкосновенности; но товарищем вашим в этом деле я быть не могу, о чем и считаю долгом объявить вам немедленно.

– Почему ж?

– Как почему ж? – вскричал я, давая наконец волю накопившимся во мне чувствам. – Да неужели вы не понимаете, что такой поступок даже неблагороден? Положим, вы рассчитываете совершенно верно, основываясь на слабоумии и на несчастной мании этой девицы; но ведь уж это одно и должно было бы удержать вас, как благородного человека! Сами же вы говорите, что она достойна уважения, несмотря на то что смешна. И вдруг вы пользуетесь ее несчастьем, чтоб вытянуть от нее сто тысяч! Вы, конечно, не будете ее настоящим мужем, исполняющим свои обязанности: вы непременно ее покинете... Это так неблагородно, что, извините меня, я даже не понимаю, как вы решились просить меня в ваши сотрудники!

– Фу ты, Боже мой, какой романтизм! – вскричал Мизинчиков, глядя на меня с неподдельным удивлением. – Впрочем, тут даже и не романтизм, а вы просто, кажется, не понимаете, в чем дело. Вы говорите, что это неблагородно, а между тем все выгоды не на моей, а на ее стороне... Рассудите только!

– Конечно, если смотреть с вашей точки зрения, то, пожалуй, выйдет, что вы сделаете самое великодушное дело, женясь на Татьяне Ивановне, – отвечал я с саркастическою улыбкою.

– А то как же? именно так, именно самое великодушное дело! – вскричал Мизинчиков, разгорячаясь в свою очередь. – Рассудите только: во-первых, я жертвую собой и соглашаюсь быть ее мужем, – ведь это же

стоит чего-нибудь? Во-вторых, несмотря на то что у ней есть верных тысяч сто серебром, несмотря на это, я беру только сто тысяч ассигнациями и уже дал себе слово не брать у ней ни копейки больше во всю мою жизнь, хотя бы и мог, – это опять чего-нибудь стоит! Наконец, вникните: ну, может ли она прожить свою жизнь спокойно? Чтоб ей спокойно прожить, нужно отобрать у ней деньги и посадить ее в сумасшедший дом, потому что каждую минуту надо ожидать, что к ней подвернется какой-нибудь бездельник, прощелыга, спекулянт, с эспаньолкой и с усиками, с гитарой и с серенадами, вроде Обноскина, который сманит ее, женится на ней, оберет ее дочиста и потом бросит где-нибудь на большой дороге. Вот здесь, например, и честнейший дом, а ведь и держат ее только потому, что спекулируют на ее денежки. От этих шансов ее нужно избавить, спасти. Ну, а понимаете, как только она выйдет за меня – все эти шансы исчезли. Уж я обязуюсь в том, что никакое несчастье до нее не коснется. Во-первых, я ее тотчас же помещаю в Москве, в одно благородное, но бедное семейство – это не то, о котором я говорил: это другое семейство; при ней будет постоянно находиться моя сестра; за ней будут смотреть в оба глаза. Денег у ней останется тысяч двести пятьдесят, а может, и триста ассигнациями: на это можно, знаете, как прожить! Все удовольствия ей будут доставлены, все развлечения, балы, маскарады, концерты. Она может даже мечтать об амурах; только, разумеется, я себя на этот счет обеспечу: мечтай сколько хочешь, а на деле ни-ни! Теперь, например, каждый может ее обидеть, а тогда никто: она жена моя, она Мизинчикова, а я свое имя на поруганье не отдам-с! Это одно чего стоит? Натурально, я с нею не буду жить вместе. Она в Москве, а я где-нибудь в Петербурге. В этом я сознаюсь, потому что с вами веду дело начистоту. Но что ж до этого, что мы будем жить врозь? Сообразите, приглядитесь к ее характеру: ну способна ли она быть женой и жить вместе с мужем? Разве возможно с ней постоянство? Ведь это легкомысленнейшее создание в свете! Ей необходима беспрерывная перемена; она способна на другой же день забыть, что вчера вышла замуж и сделалась законной женой. Да я сделаю ее несчастною вконец, если буду жить вместе с ней и буду требовать от нее строгого исполнения обязанностей. Натурально, я буду к ней приезжать раз в год, или чаще, и не за деньгами – уверяю вас. Я сказал, что более ста тысяч ассигнациями у ней не возьму, и не возьму! В денежном отношении я поступаю с ней

в высшей степени благородным образом. Приезжая дня на два, на три, я буду доставлять даже удовольствие, а не скуку: я буду с ней хохотать, буду рассказывать ей анекдоты, повезу на бал, буду с ней амурничать, дарить сувенирчики, петь романсы, подарю собачку, расстанусь с ней романически и буду вести с ней потом любовную переписку. Да она в восторге будет от такого романического, влюбленного и веселого мужа! По-моему, это рационально: так бы и всем мужьям поступать. Мужья тогда только и драгоценны женам, когда в отсутствии, и, следуя моей системе, я займу сердце Татьяны Ивановны сладчайшим образом на всю ее жизнь. Чего ж ей больше желать? скажите! Да ведь это рай, а не жизнь!

Я слушал молча и с удивлением. Я понял, что оспаривать господина Мизинчикова невозможно. Он фанатически уверен был в правоте и даже в величии своего проекта и говорил о нем с восторгом изобретателя. Но оставалось одно щекотливейшее обстоятельство, и разъяснить его было необходимо.

– Вспомнили ли вы, – сказал я, – что она почти уже невеста дяди? Похитив ее, вы сделаете ему большую обиду; вы увезете ее почти накануне свадьбы и, сверх того, у него же возьмете взаймы для совершения этого подвига!

– А вот тут-то я вас и ловлю! – с жаром вскричал Мизинчиков. – Не беспокойтесь, я предвидел ваше возражение. Но, во-первых и главное: дядя еще предложения не делал; следственно, я могу и не знать, что ее готовят ему в невесты; притом же, прошу заметить, что я, еще три недели назад, замыслил это предприятие, когда еще ничего не знал о здешних намерениях; а потому я совершенно прав перед ним в моральном отношении, и даже, если строго судить, не я у него, а он у меня отбивает невесту, с которой – заметьте это – я уж имел тайное ночное свидание в беседке. Наконец, позвольте: не вы ли сами сейчас были в исступлении, что дядюшку вашего заставляют жениться на Татьяне Ивановне, а теперь вдруг заступаетесь за этот брак, говорите о какой-то фамильной обиде, о чести! Да я, напротив, делаю вашему дядюшке величайшее одолжение: спасаю его – вы должны это понять! Он с отвращением смотрит на эту женитьбу и к тому же любит другую девицу! Ну, какая ему жена Татьяна Ивановна? да и она с ним будет несчастна, потому что, как хотите, а ведь ее нужно же будет тогда ограничить, чтоб она не бросала роза-

нами в молодых людей. А ведь когда я увезу ее ночью, так уж тут никакая генеральша, никакой Фома Фомич ничего не сделают. Возвратить такую невесту, которая бежала из-под венца, будет уж слишком зазорно. Разве это не одолжение, не благодеяние Егору Ильичу?

Признаюсь, это последнее рассуждение на меня сильно подействовало.

– А что если он завтра сделает предложение? – сказал я, – ведь уж тогда будет несколько поздно: она будет формальная невеста его.

– Натурально, поздно! Но тут-то и надо работать, чтоб этого не было. Для чего ж я и прошу вашего содействия? Одному мне трудно, а вдвоем мы уладим дело и настоим, чтоб Егор Ильич не делал предложения. Надобно помешать всеми силами, пожалуй, в крайнем случае, поколотить Фому Фомича и тем отвлечь всеобщее внимание, так что им будет не до свадьбы. Разумеется, это только в крайнем случае; я говорю для примера. В этом-то я на вас и надеюсь.

– Еще один, последний вопрос: вы никому, кроме меня, не открывали вашего предприятия?

Мизинчиков почесал в затылке и скорчил самую кислую гримасу.

– Признаюсь вам, – отвечал он, – этот вопрос для меня хуже самой горькой пилюли. В том-то и штука, что я уже открыл мою мысль... словом, свалял ужаснейшего дурака! И как бы вы думали, кому? Обноскину! так что я даже сам не верю себе. Не понимаю, как и случилось! Он всё здесь вертелся; я еще его хорошо не знал, и когда осенило меня вдохновение, я, разумеется, был как будто в горячке; а так как я тогда же понял, что мне нужен помощник, то и обратился к Обноскину... Непростительно, непростительно!

– Ну, что ж Обноскин?

– С восторгом согласился, а на другой же день, рано утром, исчез. Дня через три является опять, с своей маменькой. Со мной ни слова, и даже избегает, как будто боится. Я тотчас же понял, в чем штука. А маменька его такая прощелыга, просто через все медные трубы прошла. Я ее прежде знавал. Конечно, он ей всё рассказал. Я молчу и жду; они шпионят, и дело находится немного в натянутом положении... Оттого-то я и тороплюсь.

– Чего ж именно вы от них опасаетесь?

– Многого, конечно, не сделают, а что напакостят – так это наверно. Потребуют денег за молчание и за помощь: я того и жду... Только я много не могу им дать, и не дам – я уж решился: больше трех тысяч ассигнациями невозможно. Рассудите сами: три тысячи сюда, пятьсот серебром свадьба, потому что дяде всё сполна нужно отдать; потом старые долги; ну, сестре хоть что-нибудь, так, хоть что-нибудь. Много ль из ста-то тысяч останется? Ведь это разоренье!.. Обноскины, впрочем, уехали.

– Уехали? – спросил я с любопытством.

– Сейчас после чаю; да и черт с ними! а завтра увидите, опять явятся. Ну, так как же, согласны?

– Признаюсь, – отвечал я, съеживаясь, – не знаю, как и сказать. Дело щекотливое... Конечно, я сохраню всё в тайне; я не Обноскин; но... кажется, вам на меня надеяться нечего.

– Я вижу, – сказал Мизинчиков, вставая со стула, – что вам еще не надоели Фома Фомич и бабушка и что вы, хоть и любите вашего доброго, благородного дядю, но еще недостаточно вникли, как его мучат. Вы же человек новый... Но терпение! Побудете завтра, посмотрите и к вечеру согласитесь. Ведь иначе ваш дядюшка пропал – понимаете? Его непременно заставят жениться. Не забудьте, что, может быть, завтра он сделает предложение. Поздно будет; надо бы сегодня решиться!

– Право, я желаю вам всякого успеха, но помогать... не знаю как-то...

– Знаем! Ну, подождем до завтра, – решил Мизинчиков, улыбаясь насмешливо. – La nuit porte conseil[1]. До свидания. Я приду к вам пораньше утром, а вы подумайте...

Он повернулся и вышел, что-то насвистывая.

Я вышел почти вслед за ним освежиться. Месяц еще не всходил; ночь была темная, воздух теплый и удушливый. Листья на деревьях не шевелились. Несмотря на страшную усталость, я хотел было походить, рассеяться, собраться с мыслями, но не прошел и десяти шагов, как вдруг услышал голос дяди. Он с кем-то всходил на крыльцо флигеля и говорил с чрезвычайным одушевлением. Я тотчас же воротился и окликнул его. Дядя был с Видоплясовым.

[1] Утро вечера мудреней (*фр.*).

XI. КРАЙНЕЕ НЕДОУМЕНИЕ

– Дядюшка! – сказал я, – наконец-то я вас дождался.

– Друг мой, я и сам-то рвался к тебе. Вот только кончу с Видоплясовым, и тогда наговоримся досыта. Много надо тебе рассказать.

– Как, еще с Видоплясовым! Да бросьте вы его, дядюшка.

– Еще только каких-нибудь пять или десять минут, Сергей, и я совершенно твой. Видишь: дело.

– Да он, верно, с глупостями, – проговорил я с досадою.

– Да что сказать тебе, друг мой? Ведь найдет же человек, когда лезть с своими пустяками! Точно ты, брат Григорий, не мог уж и времени другого найти для своих жалоб? Ну, что я для тебя сделаю? Пожалей хоть ты меня, братец. Ведь я, так сказать, изнурен вами, съеден живьем, целиком! Мочи моей нет с ними, Сергей!

И дядя махнул обеими руками с глубочайшей тоски.

– Да что за важное такое дело, что и оставить нельзя? А мне бы так нужно, дядюшка...

– Эх, брат, уж и так кричат, что я о нравственности моих людей не забочусь! Пожалуй, еще завтра пожалуется на меня, что я не выслушал, и тогда...

И дядя опять махнул рукой.

– Ну, так кончайте же с ним поскорее! Пожалуй, и я помогу. Взойдемте наверх. Что он такое? чего ему? – сказал я, когда мы вошли в комнаты.

– Да вот, видишь, друг мой, не нравится ему своя собственная фамилия, переменить просит. Каково тебе это покажется?

– Фамилия! Как так?.. Ну, дядюшка, прежде чем я услышу, что он сам скажет, позвольте вам сказать, что только у вас в доме могут совершаться такие чудеса, – проговорил я, расставив руки от изумления.

– Эх, брат! эдак-то и я расставить руки умею, да толку-то мало! – с досадою проговорил дядя. – Поди-ка, поговори-ка с ним сам, попробуй. Уж он два месяца пристает ко мне...

– Неосновательная фамилия-с! – отозвался Видоплясов.

– Да почему ж неосновательная? – спросил я его с удивлением.

– Так-с. Изображает собою всякую гнусность-с.

– Да почему же гнусность? Да и как ее переменить? Кто переменяет фамилии?

– Помилуйте, бывают ли у кого такие фамилии-с?

– Я согласен, что фамилия твоя отчасти странная, – продолжал я в совершенном недоумении, – но ведь что ж теперь делать? Ведь и у отца твоего была такая ж фамилия?

– Это подлинно-с, что через родителя моего я таким образом пошел навеки страдать-с, так как суждено мне моим именем многие насмешки принять и многие горести произойти-с, – отвечал Видоплясов.

– Бьюсь об заклад, дядюшка, что тут не без Фомы Фомича! – вскричал я с досадою.

– Ну, нет, братец, ну, нет; ты ошибся. Действительно, Фома ему благодетельствует. Он взял его к себе в секретари; в этом и вся его должность. Ну, разумеется, он его развил, наполнил благородством души, так что он даже, в некотором отношении, прозрел... Вот видишь, я тебе всё расскажу...

– Это точно-с, – перебил Видоплясов, – что Фома Фомич мои истинные благодетели-с, и, бымши истинные мне благодетели, они меня вразумили моему ничтожеству, каков я есмь червяк на земле, так что чрез них я в первый раз свою судьбу предузнал-с.

– Вот видишь, Сережа, вот видишь, в чем всё дело, – продолжал дядя, заторопившись по своему обыкновению. – Жил он сначала в Москве, с самых почти детских лет, у одного учителя чистописания в услужении. Посмотрел бы ты, как он у него научился писать: и красками, и золотом, и кругом, знаешь, купидонов наставит, – словом, артист! Илюша у него учится; полтора целковых за урок плачу. Фома сам определил полтора целковых. К окрестным помещикам в три дома ездит; тоже платят. Видишь, как одевается! К тому же, пишет стихи.

– Стихи! Этого еще недоставало!

– Стихи, братец, стихи, и ты не думай, что я шучу, настоящие стихи, так сказать, версификация, и так, знаешь, складно, на все предметы, тотчас же всякий предмет стихами опишет. Настоящий талант! Маменьке к именинам такую рацею соорудил, что мы только рты разинули: и из мифологии там у него, и музы летают, так что даже, знаешь, видна эта... как бишь ее? округленность форм, – словом, совершенно в рифму выходит.

Фома поправлял. Ну я, конечно, ничего и даже рад, с моей стороны. Пусть себе сочиняет, только б не накуролесил чего-нибудь. Я, брат Григорий, тебе ведь, как отец, говорю. Проведал об этом Фома, просмотрел стихи, поощрил и определил к себе чтецом и переписчиком, – словом, образовал. Это он правду говорит, что облагодетельствовал. Ну, этак, знаешь, у него и благородный романтизм в голове появился и чувство независимости, – мне всё это Фома объяснял, да я уж, правда, и позабыл; только я, признаюсь, хотел и без Фомы его на волю отпустить. Стыдно, знаешь, как-то!.. Да Фома против этого; говорит, что он ему нужен, полюбил он его; да сверх того говорит: «Мне же, барину, больше чести, что у меня между собственными людьми стихотворцы; что так какие-то бароны где-то жили и что это en grand»[1]. Ну, en grand, так en grand! Я, братец, уж стал его уважать – понимаешь?.. Только Бог знает, как он повел себя. Всего хуже, что он до того перед всей дворней после стихов нос задрал, что уж и говорить с ними не хочет. Ты не обижайся, Григорий, я тебе, как отец, говорю. Обещался он еще прошлой зимой жениться: есть тут одна дворовая девушка, Матрена, и премилая, знаешь, девушка, честная, работящая, веселая. Так вот нет же теперь: не хочу, да и только; отказался. Возмечтал ли он о себе, или рассудил сначала прославиться, а потом уж в другом месте искать руки...

– Более по совету Фомы Фомича-с, – заметил Видоплясов, – так как они истинные мои доброжелатели-с...

– Ну, да уж как можно без Фомы Фомича! – вскричал я невольно.

– Эх, братец, не в том дело! – поспешно прервал меня дядя, – только видишь: ему теперь и проходу нет. Та девка бойкая, задорная, всех против него подняла: дразнят, уськают, даже мальчишки дворовые его вместо шута почитают...

– Более через Матрену-с, – заметил Видоплясов, – потому что Матрена истинная дура-с и, бымши истинная дура-с, притом же невоздержная характером женщина, через нее я таким манером-с пошел жизнию моею претерпевать-с.

– Эх, брат Григорий, говорил я тебе, – продолжал дядя, с укоризною посмотрев на Видоплясова, – сложили они, видишь, Сергей, какую-то

[1] На широкую ногу (*фр.*).

пакость в рифму на его фамилию. Он ко мне, жалуется, просит, нельзя ли как-нибудь переменить его фамилию, и что он давно уж страдал от неблагозвучия...

– Необлагороженная фамилия-с, – ввернул Видоплясов.

– Ну, да уж ты молчи, Григорий! Фома тоже одобрил... то есть не то чтоб одобрил, а видишь, какое соображение: что если, на случай, придется стихи печатать, так как Фома прожектирует, то такая фамилия, пожалуй, и повредит, – не правда ли?

– Так он стихи напечатать хочет, дядюшка?

– Печатать, братец. Это уж решено – на мой счет, и будет выставлено на заглавном листе: крепостной человек такого-то, а в предисловии Фоме от автора благодарность за образование. Посвящено Фоме. Фома сам предисловие пишет. Ну, так представь себе, если на заглавном-то листе будет написано: «Сочинения Видоплясова»...

– «Вопли Видоплясова-с», – поправил Видоплясов.

– Ну, вот видишь, еще и вопли! Ну, что за фамилия Видоплясов? Даже деликатность чувств возмущает; так и Фома говорил. А все эти критики, говорят, такие задорные, насмешники; Брамбеус, например... Им ведь всё нипочем! Просмеют за одну только фамилию; так, пожалуй, отчешут бока, что только почесывайся, – не правда ли? Вот я и говорю: по мне, пожалуй, какую хочешь поставь фамилию на стихах – псевдоним, что ли, называется – уж не помню: какой-то *ним.* Да нет, говорит, прикажите по всей дворне, чтоб меня уж и здесь навеки новым именем звали, так, чтоб у меня, сообразно таланту, и фамилия была облагороженная...

– Бьюсь об заклад, что вы согласились, дядюшка.

– Я, брат Сережа, чтоб уж только с ними не спорить: пускай себе! Знаешь, тогда между нами недоразумение такое было с Фомой. Вот у нас и пошло с тех пор, что неделя, то фамилия, и всё такие нежные выбирает: Олеандров, Тюльпанов... Подумай, Григорий, сначала ты просил, чтоб тебя называли «Верный» – «Григорий Верный»; потом тебе же самому не понравилось, потому что какой-то балбес прибрал на это рифму «скверный». Ты жаловался; балбеса наказали. Ты две недели придумывал новую фамилию – сколько ты их перебрал, – наконец надумался, пришел просить, чтоб тебя звали «Уланов». Ну, скажи мне, братец, ну что может быть глупее Уланова? Я и на это согласился: вторичное прика-

зание отдал о перемене твоей фамилии в Уланова. Так только, братец, – прибавил дядя, обращаясь ко мне, – чтоб уж только отвязаться. Три дня ходил ты «Уланов». Ты все стены, все подоконники в беседке перепортил, расчеркиваясь карандашом: «Уланов». Ведь ее потом перекрашивали. Ты целую десть голландской бумаги извел на подписи: «Уланов, проба пера; Уланов, проба пера». Наконец и тут неудача: прибрали тебе рифму: «болванов». Не хочу болванова – опять перемена фамилии! Какую ты там еще прибрал, я уж и позабыл?

– Танцев-с, – отвечал Видоплясов. – Если уж мне суждено через фамилию мою плясуна собою изображать-с, так уж пусть было бы облагорожено по-иностранному: Танцев-с.

– Ну да, Танцев; согласился я, брат Сергей, и на это. Только уж тут они такую ему подыскали рифму, что и сказать нельзя! Сегодня опять приходит, опять выдумал что-то новое. Бьюсь об заклад, что у него есть наготове новая фамилия. Есть иль нет, Григорий, признавайся!

– Я действительно давно уж хотел повергнуть к вашим стопам новое имя-с, облагороженное-с.

– Какое?

– Эссбукетов.

– И не стыдно, и не стыдно тебе, Григорий? фамилия с помадной банки! А еще умный человек называешься! Думал-то, должно быть, сколько над ней! Ведь это на духах написано.

– Помилуйте, дядюшка, – сказал я полушепотом, – да ведь это просто дурак, набитый дурак!

– Что ж делать, братец? – отвечал тоже шепотом дядя, – уверяют кругом, что умен и что это всё в нем благородные свойства играют...

– Да развяжитесь вы с ним, ради Бога!

– Послушай, Григорий! ведь мне, братец, некогда, помилуй! – начал дядя каким-то просительным голосом, как будто боялся даже и Видоплясова. – Ну, рассуди, ну, где мне жалобами твоими теперь заниматься! Ты говоришь, что тебя опять они чем-то обидели? Ну, хорошо: вот тебе честное слово даю, что завтра всё разберу, а теперь ступай с Богом... Постой! что Фома Фомич?

– Почивать ложились-с. Сказали, что если будет кто об них спрашивать, так отвечать, что они на молитве сию ночь долго стоять намерены-с.

– Гм! Ну, ступай, братец, ступай! Видишь, Сережа, ведь он всегда при Фоме, так, что даже его я боюсь. Да и дворня-то его потому и не любит, что он всё о них Фоме переносит. Вот теперь ушел, а, пожалуй, завтра и нафискалит о чем-нибудь! А уж я, братец, там всё так уладил, даже спокоен теперь... К тебе спешил. Наконец-то я опять с тобой! – проговорил он с чувством, пожимая мне руку. – А ведь я думал, брат, что ты совсем рассердился и непременно улизнешь. Стеречь тебя посылал. Ну, слава Богу, теперь! А давеча-то, Гаврила-то каково? да и Фалалей, и ты – всё одно к одному! Ну, слава Богу, слава Богу! наконец-то наговорюсь с тобой досыта. Сердце открою тебе. Ты, Сережа, не уезжай: ты один у меня, ты и Коровкин...

– Но, позвольте, что ж вы там такое уладили, дядюшка, и чего мне тут ждать после того, что случилось? Признаюсь, ведь у меня просто голова трещит!

– А у меня цела, что ли? Она, брат, у меня уж полгода теперь вальсирует, голова-то моя! Но, слава Богу! теперь всё уладилось. Во-первых, меня простили, совершенно простили, с разными условиями, конечно; но уж я теперь почти совсем ничего не боюсь. Сашурку тоже простили. Саша-то, Саша-то, давеча-то... горячее сердечко! увлеклась немного, но золотое сердечко! Я горжусь этой девочкой, Сережа! Да будет над нею всегдашнее благословение Божие. Тебя тоже простили, и даже, знаешь как? Можешь делать всё, что тебе угодно, ходить по всем комнатам и в саду, и даже при гостях, – словом, всё, что угодно; но только под одним условием, что ты ничего не будешь завтра сам говорить при маменьке и при Фоме Фомиче, – это непременное условие, то есть решительно ни полслова, – я уж обещался за тебя, – а только будешь слушать, что старшие... то есть я хотел сказать, что другие будут говорить. Они сказали, что ты молод. Ты, Сергей, не обижайся; ведь ты и в самом деле еще молод... Так и Анна Ниловна говорит...

Конечно, я был очень молод и тотчас же доказал это, закипев негодованием при таких обидных условиях.

– Послушайте, дядюшка, – вскричал я, чуть не задыхаясь, – скажите мне только одно и успокойте меня: я в настоящем сумасшедшем доме или нет?

– Ну вот, братец, уж ты сейчас и в критику! Уж и не можешь никак утерпеть, – отвечал опечаленный дядя. – Вовсе не в сумасшедшем, а так

только, погорячились с обеих сторон. Но ведь согласись и ты, братец, как ты-то сам вел себя? Помнишь, что ты ему отмочил, – человеку, так сказать, почтенных лет?

– Такие люди не имеют почтенных лет, дядюшка.

– Ну уж это ты, брат, перескакнул! это уж вольнодумство! Я, брат, и сам от рассудительного вольнодумства не прочь, но уж это, брат, из мерки выскочило, то есть удивил ты меня, Сергей.

– Не сердитесь, дядюшка, я виноват, но виноват перед вами. Что же касается до вашего Фомы Фомича...

– Ну, вот уж и *вашего*! Эх, брат Сергей, не суди его строго; мизантропический человек – и больше ничего, болезненный! С него нельзя строго спрашивать. Но зато какой благородный, то есть просто благороднейший из людей! Да, ведь ты сам давеча был свидетелем, просто сиял. А что фокусы-то эти иногда отмачивает, так на это нечего смотреть. Ну, с кем этого не случается?

– Помилуйте, дядюшка, напротив, с кем же это случается?

– Эх, наладил одно! Добродушия в тебе мало, Сережа; простить не умеешь!..

– Ну, хорошо, дядюшка, хорошо! Оставим это. Скажите, видели вы Настасью Евграфовну?

– Эх, брат, о ней-то всё дело шло. Вот что, Сережа, и, во-первых, самое важное: мы все решили его завтра непременно поздравить с днем рождения, Фому-то, потому что завтра действительно его рождение. Сашурка добрая девочка, но она ошибается; так-таки и пойдем всем кагалом, еще перед обедней, пораньше. Илюша ему стихи произнесет, так что ему как будто маслом по сердцу-то, – словом, польстит. Ах, кабы и ты его, Сережа, вместе с нами, тут же поздравил! Он, может быть, совершенно простил бы тебя. Как бы хорошо было, если б вы помирились! Забудь, брат, обиду, Сережа, ведь ты и сам его обидел... Наидостойнейший человек!

– Дядюшка! дядюшка! – вскричал я, теряя последнее терпение, – я с вами о деле хочу говорить, а вы... Да знаете ли вы, повторяю опять, знаете ли вы, что делается с Настасьей Евграфовной?

– Как же, братец, что ты! чего ты кричишь? Из-за нее-то и поднялась давеча вся эта история. Она, впрочем, и не давеча поднялась, она давно поднялась. Я тебе только не хотел говорить об этом заранее, чтоб тебя

не пугать, потому что они ее просто выгнать хотели, ну и от меня требовали, чтоб я ее отослал. Можешь представить себе мое положение... Ну, да слава Богу! теперь всё это уладилось. Они, видишь ли, – уж признаюсь тебе во всем, – думали, что я сам в нее влюблен и жениться хочу; словом, стремлюсь к погибели, потому что действительно это было бы стремлением к погибели: они это мне там объяснили... так вот, чтоб спасти меня, и решились было ее изгнать. Всё это маменька, а пуще всех Анна Ниловна. Фома покамест молчит. Но теперь я их всех разуверил и, признаюсь тебе, уже объявил, что ты формальный жених Настеньки, что затем и приехал. Ну, это их отчасти успокоило, и теперь она остается, хоть не совсем, так, еще только для пробы, но все-таки остается. Даже и ты поднялся в общем мнении, когда я объявил, что сватаешься. По крайней мере, маменька как будто успокоилась. Анна Ниловна одна всё еще ворчит! Уж и не знаю, что выдумать, чтоб ей угодить. И чего это ей хочется, право, этой Анне Ниловне?

– Дядюшка, в каком вы заблуждении, дядюшка! Да знаете ли, что Настасья Евграфовна завтра же едет отсюда, если уж теперь не уехала? Знаете ли, что отец нарочно и приехал сегодня с тем, чтоб ее увезти? что уж это совсем решено, что она сама лично объявила мне сегодня об этом и в заключение велела вам кланяться, – знаете ли вы это иль нет?

Дядя, как был, так и остался передо мной с разинутым ртом. Мне показалось, что он вздрогнул, и стон вырвался из груди его.

Не теряя ни минуты, я поспешил рассказать ему весь мой разговор с Настенькой, мое сватовство, ее решительный отказ, ее гнев на дядю за то, что он смел меня вызывать письмом; объяснил, что она надеется его спасти своим отъездом от брака с Татьяной Ивановной, – словом, не скрыл ничего; даже нарочно преувеличил всё, что было неприятного в этих известиях. Я хотел поразить дядю, чтоб допытаться от него решительных мер, – и действительно поразил. Он вскрикнул и схватил себя за голову.

– Где она, не знаешь ли? где она теперь? – проговорил он наконец, побледнев от испуга. – А я-то, дурак, шел сюда совсем уж спокойный, думал, что всё уж уладилось, – прибавил он в отчаянии.

– Не знаю, где теперь, только давеча, как начались эти крики, она пошла к вам: она хотела всё это выразить вслух, при всех. Вероятно, ее не допустили.

– Еще бы допустили! что б она там наделала! Ах, горячая, гордая головка! И куда она пойдет, куда? куда? А ты-то, ты-то хорош! Да почему ж она тебе отказала? Вздор! Ты должен был понравиться. Почему ж ты ей не понравился? Да отвечай же, ради Бога, чего ж ты стоишь?

– Помилосердуйте, дядюшка! да разве можно задавать такие вопросы?

– Но ведь невозможно ж и это! Ты должен, должен на ней жениться. Зачем же я тебя и тревожил из Петербурга? Ты должен составить ее счастье! Теперь ее гонят отсюда, а тогда она твоя жена, моя родная племянница, – не прогонят. А то куда она пойдет? что с ней будет? В гувернантки? Но ведь это только бессмысленный вздор, в гувернантки-то! Ведь пока место найдет, чем дома жить? У старика их девятеро на плечах; сами голодом сидят. Ведь она ни гроша не возьмет от меня, если выйдет через эти пакостные наговоры, и она, и отец. Да и каково таким образом выйти – ужас! Здесь уж будет скандал – я знаю. А жалованье ее уж давно вперед забрано на семейные нужды: ведь она их питает. Ну, положим, я рекомендую ее в гувернантки, найду такую честную и благородную фамилью... да ведь черта с два! где их возьмешь, благородных-то, настоящих-то благородных людей? Ну, положим, и есть, положим, и много даже, что Бога гневить! но, друг мой, ведь опасно: можно ли положиться на людей? К тому же бедный человек подозрителен; ему так и кажется, что его заставляют платить за хлеб и за ласку унижениями! Они оскорбят ее; она гордая, и тогда... да уж что тогда? А что если ко всему этому какой-нибудь мерзавец-обольститель подвернется?.. Она плюнет на него, – я знаю, что плюнет, – но ведь он ее все-таки оскорбит, мерзавец! все-таки на нее может пасть бесславие, тень, подозрение, и тогда... Голова трещит на плечах! Ах ты, Боже мой!

– Дядюшка! простите меня за один вопрос, – сказал я торжественно, – не сердитесь на меня, поймите, что ответ на этот вопрос может многое разрешить; я даже отчасти вправе требовать от вас ответа, дядюшка!

– Что, что такое? Какой вопрос?

– Скажите, как перед Богом, откровенно и прямо: не чувствуете ли вы, что вы сами немного влюблены в Настасью Евграфовну и желали бы на ней жениться? Подумайте: ведь из-за этого-то ее здесь и гонят.

Дядя сделал самый энергический жест самого судорожного нетерпения.

– Я? влюблен? в нее? Да они все белены объелись или сговорились против меня. Да для чего ж я тебя-то выписывал, как не для того, чтоб доказать им всем, что они белены объелись? Да для чего же я тебя-то к ней сватаю? Я? влюблен? в нее? Рехнулись они все, да и только!

– А если так, дядюшка, то позвольте уж мне всё высказать. Объявляю вам торжественно, что я решительно ничего не нахожу дурного в этом предположении. Напротив, вы бы ей счастье сделали, если уж так ее любите, и – и дай Бог этого! дай вам Бог любовь и совет!

– Но, помилуй, что ты говоришь! – вскричал дядя почти с ужасом. – Удивляюсь, как ты можешь это говорить хладнокровно... и... вообще ты, брат, всё куда-то торопишься, – я замечаю в тебе эту черту! Ну, не бессмысленно ли, что ты сказал? Как, скажи, я женюсь на ней, когда я смотрю на нее как на дочь, а не иначе? Да мне даже стыдно было бы на нее смотреть иначе, даже грешно! Я старик, а она – цветочек! Даже Фома это мне объяснил именно в таких выражениях. У меня отеческой любовью к ней сердце горит, а ты тут с супружеством! Она, пожалуй, из благодарности, и не отказала бы, да ведь она презирать меня потом будет за то, что ее благодарностью воспользовался. Я загублю ее, привязанность ее потеряю! Да я бы душу мою ей отдал, деточка она моя! Всё равно как Сашу люблю, даже больше, признаюсь тебе. Саша мне дочь по праву, по закону; а эту я любовью моею себе дочерью сделал. Я ее из бедности взял, воспитал. Ее Катя, мой ангел покойный, любила; она мне ее как дочь завещала. Я образование ей дал: и по-французски говорить, и на фортепьяно, и книги, и всё... Улыбочка какая у ней! заметил ты, Сережа? как будто смеется над тобой, а меж тем вовсе не смеется, а, напротив, любит... Я вот и думал, что ты приедешь, сделаешь предложение; они и уверятся, что я не имею видов на нее; и перестанут все эти пакости распускать. Она и осталась бы тогда с нами в тишине, в покое, и как бы мы тогда были счастливы! Вы оба дети мои, почти оба сиротки, оба на моем попечении выросли... я бы вас так любил, так любил! жизнь бы вам отдал, не расстался бы с вами; всюду за вами! Ах, как бы мы могли быть счастливы! И зачем это люди всё злятся, всё сердятся, ненавидят друг друга? Так бы, так бы взял да и растолковал бы им всё! Так бы и выложил перед ними всю сердечную правду! Ах ты, Боже мой!

– Да, дядюшка, да, это всё так, а только она вот и отказала мне...

– Отказала! Гм!.. А знаешь, я как будто предчувствовал, что она откажет тебе, – сказал он в задумчивости. – Но нет! – вскрикнул он, – я не верю! это невозможно! Но ведь в таком случае всё расстроится! Да ты, верно, как-нибудь неосторожно с ней начал, оскорбил еще, может быть; пожалуй, еще комплименты пустился отмачивать... Расскажи мне еще раз, как это было, Сергей!

Я повторил еще раз всё в совершенной подробности. Когда дошло до того, что Настенька удалением своим надеялась спасти дядю от Татьяны Ивановны, тот горько улыбнулся.

– Спасти! – сказал он, – спасти до завтрашнего утра!

– Но вы не хотите сказать, дядюшка, что женитесь на Татьяне Ивановне? – вскричал я в испуге.

– А чем же я и купил, чтоб Настю не выгнали завтра? Завтра же делаю предложение; формально обещался.

– И вы решились, дядюшка?

– Что ж делать, братец, что ж делать! Это раздирает мне сердце, но я решился. Завтра предложение; свадьбу положили сыграть тихо, по-домашнему; оно, брат, и лучше по-домашнему-то. Ты, пожалуй, шафером. Я уж намекнул о тебе, так они до времени никак тебя не прогонят. Что ж делать, братец? Они говорят: «для детей богатство!» Конечно, для детей чего не сделаешь? Вверх ногами вертеться пойдешь, тем более что в сущности оно, пожалуй, и справедливо. Ведь должен же я хоть что-нибудь сделать для семейства. Не всё же тунеядцем сидеть!

– Но, дядюшка, ведь она сумасшедшая! – вскричал я, забывшись, и сердце мое болезненно сжалось.

– Ну, уж и сумасшедшая! Вовсе не сумасшедшая, а так, испытала, знаешь, несчастия... Что ж делать, братец, и рад бы с умом... А впрочем, и с умом-то какие бывают! А какая она добрая, если б ты знал, благородная какая!

– Но, Боже мой! он уж и мирится с этою мыслью! – сказал я в отчаянии.

– А что ж и делать-то, как не так? Ведь для моего же блага стараются, да и, наконец, уже я предчувствовал, что, рано ли, поздно ли, а не отвертишься: заставят жениться. Так уж лучше теперь, чем еще ссору из-за этого затевать. Я тебе, брат, Сережа, всё откровенно скажу: я даже отчасти и рад.

Решился, так уж решился, по крайней мере, с плеч долой, – спокойнее как-то. Я вот и шел сюда почти совсем уж спокойный. Такова уж, видно, звезда моя! А главное, в выигрыше то, что Настя при нас остается. Я ведь и согласился с этим условием. А тут *она* сама бежать хочет! Да не будет же этого! – вскрикнул дядя, топнув ногою. – Послушай, Сергей, – прибавил он с решительным видом, – подожди меня здесь, никуда не ходи; я мигом к тебе ворочусь.

– Куда вы, дядюшка?

– Может быть, я ее увижу, Сергей: всё объяснится, поверь, что всё объяснится, и... и... и женишься же ты на ней – даю тебе честное слово!

Дядя быстро вышел из комнаты и поворотил в сад, а не к дому. Я следил за ним из окна.

XII. КАТАСТРОФА

Я остался один. Положение мое было нестерпимое: мне отказали, а дядя хотел женить меня чуть не насильно. Я сбивался и путался в мыслях. Мизинчиков и его предложение не выходили у меня из головы. Во что бы ни стало дядю надо было спасти! Я даже думал пойти сыскать Мизинчикова и рассказать ему всё. Но куда, однако ж, пошел дядя? Он сам сказал, что идет отыскивать Настеньку, а между тем поворотил в сад. Мысль о тайных свиданиях промелькнула в моей голове, и пренеприятное чувство ущемило мое сердце. Я вспомнил слова Мизинчикова про тайную связь... Подумав с минуту, я с негодованием отбросил все мои подозрения. Дядя не мог обманывать: это очевидно. Беспокойство мое возрастало каждую минуту. Бессознательно вышел я на крыльцо и пошел в глубину сада, по той самой аллее, в которой исчез дядя. Месяц начинал всходить. Я знал этот сад вдоль и поперек и не боялся заблудиться. Дойдя до старой беседки, уединенно стоявшей на берегу одряхлевшего, покрытого тиной пруда, я вдруг остановился как вкопанный: мне послышались в беседке голоса. Не могу выразить, какое странное чувство досады овладело мною! Я был уверен, что это дядя и Настенька, и продолжал подходить, успокоивая на всякий случай свою совесть тем, что иду прежним шагом и не стараюсь подкрадываться. Вдруг раздался ясно звук поцелуя, потом звуки каких-то одушевленных слов, и тотчас же вслед за этим – пронзительный

женский крик. В то же мгновение женщина, в белом платье, выбежала из беседки и промелькнула мимо меня, как ласточка. Мне показалось даже, что она закрывала руками лицо, чтоб не быть узнанной: вероятно, меня заметили из беседки. Но каково же было мое изумление, когда, в вышедшем вслед за испуганной дамой кавалере, я узнал Обноскина, – Обноскина, который, по словам Мизинчикова, давно уж уехал! С своей стороны, и Обноскин, увидав меня, чрезвычайно смутился: всё нахальство его исчезло.

– Извините меня, но... я никак не ожидал с вами встретиться, – проговорил он, улыбаясь и заикаясь.

– А я с вами, – отвечал я насмешливо, – тем более что я слышал, вы уж уехали.

– Нет-с... это так... я проводил только недалеко маменьку. Но могу ли я обратиться к вам, как к благороднейшему человеку в мире?

– С чем это?

– Есть случаи, – и вы сами согласитесь с этим, – когда истинно благородный человек принужден обратиться ко всему благородству чувств другого, истинно благородного человека... Надеюсь, вы понимаете меня...

– Не надейтесь: ничего решительно не понимаю.

– Вы видели даму, которая находилась вместе со мной в беседке?

– Видел, но не узнал.

– А, не узнали!.. Эту даму я назову скоро моею женою.

– Поздравляю вас. Но чем же я могу быть вам полезен?

– Только одним: сохранив глубочайшую тайну о том, что вы меня видели с этой дамой.

«Кто ж бы это? – подумал я, – уж не...»

– Право, не знаю-с, – отвечал я Обноскину. – Надеюсь, вы извините, что не могу дать вам слова...

– Нет, ради Бога, пожалуйста, – умолял Обноскин. – Поймите мое положение: это секрет. Вы тоже можете быть женихом, тогда и я, с своей стороны...

– Тс! кто-то идет!

– Где?

Действительно, шагах в тридцати от нас, чуть приметно, промелькнула тень проходившего человека.

– Это... это, верно, Фома Фомич! – прошептал Обноскин, трепеща всем телом. – Я узнаю его по походке. Боже мой! и еще шаги, с другой стороны! Слышите... Прощайте! благодарю вас и... умоляю вас...

Обноскин скрылся. Чрез минуту передо мной очутился дядя, как будто вырос из-под земли.

– Это ты? – окрикнул он меня. – Всё пропало, Сережа! всё пропало!

Я заметил, что он тоже дрожал всем телом.

– Что пропало, дядюшка?

– Пойдем! – сказал он, задыхаясь, и, крепко схватив меня за руку, потащил за собою. Но всю дорогу, до флигеля, он не сказал ни слова, не давал и мне говорить. Я ожидал чего-нибудь сверхъестественного и почти не обманулся. Когда мы вошли в комнату, с ним сделалось дурно; он был бледен, как мертвый. Я немедленно спрыснул его водою. «Вероятно, случилось что-нибудь очень ужасное, – думал я, – когда с таким человеком делается обморок».

– Дядюшка, что с вами? – спросил я его наконец.

– Всё пропало, Сережа! Фома застал меня в саду вместе с Настенькой в ту самую минуту, когда я поцеловал ее!

– Поцеловали! в саду! – вскричал я, смотря в изумлении на дядю.

– В саду, братец. Бог попутал! Пошел я, чтоб непременно ее увидать. Хотел ей всё высказать, урезонить ее, насчет тебя то есть. А она меня уж целый час дожидалась, там, у сломанной скамейки, за прудом... Она туда часто приходит, когда надо поговорить со мной.

– Часто, дядюшка?

– Часто, братец! Последнее время почти каждую ночь сряду сходились. Только они нас, верно, и выследили, – уж знаю, что выследили, и знаю, что тут Анна Ниловна всё работала. Мы на время и прервали; дня четыре уж ничего не было; а вот сегодня опять понадобилось. Сам ты видел, какая нужда была: без этого как же бы я ей сказал? Прихожу, в надежде застать, а она уж там целый час сидит, меня дожидается: тоже надо было кое-что сообщить...

– Боже мой, какая неосторожность! ведь вы знали, что за вами следят?

– Да ведь критический случай, Сережа; многое надо было взаимно сказать. Днем-то я и смотреть на нее не смею: она в один угол, а я в другой

нарочно смотрю, как будто и не замечаю, что она есть на свете. А ночью сойдемся, да и наговоримся...

– Ну, что ж, дядюшка?

– Не успел я двух слов сказать, знаешь, сердце у меня заколотилось, из глаз слезы выступили; стал я ее уговаривать, чтоб за тебя вышла; а она мне: «Верно, вы меня не любите, верно, вы ничего не видите», и вдруг как бросится мне на шею, обвила меня руками, заплакала, зарыдала! «Я, говорит, одного вас люблю и ни за кого не выйду. Я вас уж давно люблю, только и за вас не выйду, а завтра же уеду и в монастырь пойду».

– Боже мой! неужели она так и сказала? Ну, что ж дальше, дальше, дядюшка?

– Смотрю, а перед нами Фома! и откуда он взялся? Неужели за кустом сидел да этого греха выжидал?

– Подлец!

– Я обмер, Настенька бежать, а Фома Фомич, молча, прошел мимо нас, да пальцем мне и погрозил, – понимаешь, Сергей, какой трезвон завтра будет?

– Ну, да уж как не понять!

– Понимаешь ли ты, – вскричал он в отчаянии, вскакивая со стула, – понимаешь ли ты, что они хотят ее погубить, осрамить, обесчестить; ищут предлога, чтоб бесчестие на нее всклепать и за это выгнать ее; а вот теперь и нашелся предлог! Ведь они говорили, что она со мной гнусные связи имеет! ведь они, подлецы, говорили, что она с Видоплясовым имеет! Это всё Анна Ниловна говорила. Что теперь будет? что завтра будет? Неужели расскажет Фома?

– Непременно расскажет, дядюшка.

– А если расскажет, если только расскажет... – проговорил он, закусывая губу и сжимая кулаки, – но нет, не верю! он не расскажет, он поймет... это человек высочайшего благородства! Он пощадит ее...

– Пощадит иль не пощадит, – отвечал я решительно, – но во всяком случае ваша обязанность завтра же сделать предложение Настасье Евграфовне.

Дядя смотрел на меня неподвижно.

– Понимаете ли вы, дядюшка, что обесчестите девушку, если разнесется эта история? Понимаете ли вы, что вам надо предупредить беду как

можно скорее; что вам надо смело и гордо посмотреть всем в глаза, гласно сделать предложение, плюнуть на их резоны и стереть Фому в порошок, если он заикнется против нее?

– Друг мой! – вскричал дядя, – я об этом думал, идя сюда!

– И как же решили?

– Неизменно! Я уж решился, прежде чем начал тебе рассказывать!

– Браво, дядюшка!

И я бросился обнимать его.

Долго мы говорили. Я выставил перед ним все резоны, всю неумолимую необходимость жениться на Настеньке, что, впрочем, он сам понимал еще лучше меня. Но красноречие мое было возбуждено. Я радовался за дядю. Долг подстрекал его, иначе бы он никогда не поднялся. Перед долгом же, перед обязанностью он благоговел. Но, несмотря на то, я решительно не понимал, как устроится это дело. Я знал и слепо верил, что дядя ни за что не отступит от того, что раз признал своею обязанностью; но мне как-то не верилось, чтоб у него достало силы восстать против своих домашних. И потому я старался как можно более подстрекнуть и направить его и работал со всею юношескою горячностью.

– Тем более, тем более, – говорил я, – что теперь уже всё решено и последние сомнения ваши исчезли! Случилось то, чего вы не ожидали, хотя в сущности все это видели и все прежде вас заметили: Настасья Евграфовна вас любит! Неужели же вы попустите, – кричал я, – чтоб эта чистая любовь обратилась для нее в стыд и позор?

– Никогда! Но, друг мой, неужели ж я буду наконец так счастлив? – вскричал дядя, бросаясь ко мне на шею. – И как это она полюбила меня, и за что? за что? Кажется, во мне нет ничего такого... Я старик перед нею: вот уж не ожидал-то! ангел мой, ангел!.. Слушай, Сережа, давеча ты спрашивал, не влюблен ли я в нее: имел ты какую-нибудь идею?

– Я видел только, дядюшка, что вы ее любите так, как больше любить нельзя: любите и между тем сами про это не знаете. Помилуйте! выписываете меня, хотите женить меня на ней, единственно для того, чтоб она вам стала племянницей и чтоб иметь ее всегда при себе...

– А ты... а ты прощаешь меня, Сергей?

– Э, дядюшка!..

И он снова обнял меня.

– Смотрите же, дядюшка, все против вас: надо восстать и пойти против всех, и не далее, как завтра.

– Да... да, завтра! – повторил он несколько задумчиво, – и, знаешь, примемся за дело с мужеством, с истинным благородством души, с силой характера... именно с силой характера!

– Не сробейте, дядюшка!

– Не сробею, Сережа! Одно: не знаю, как начать, как приступить!

– Не думайте об этом, дядюшка. Завтрашний день всё решит. Успокойтесь сегодня. Чем больше думать, тем хуже. А если Фома заговорит – немедленно его выгнать из дому и стереть его в порошок.

– А нельзя ли не выгонять? Я, брат, так решил: завтра же пойду к нему рано, чем свет, всё расскажу, вот как с тобой говорил: не может быть, чтоб он не понял меня; он благороден, он благороднейший из людей! Но вот что меня беспокоит: что если маменька предуведомила сегодня Татьяну Ивановну о завтрашнем предложении? Ведь это уж худо!

– Не беспокойтесь о Татьяне Ивановне, дядюшка.

И я рассказал ему сцену в беседке с Обноскиным. Дядя был в чрезвычайном удивлении. Я ни слова не упомянул о Мизинчикове.

– Фантасмагорическое лицо! истинно фантасмагорическое лицо! – вскричал он. – Бедная! Они подъезжают к ней, хотят воспользоваться ее простотою! Неужели Обноскин? Да ведь он же уехал... Странно, ужасно странно! Я поражен, Сережа... Это завтра же надо исследовать и принять меры... Но уверен ли ты совершенно, что это была Татьяна Ивановна?

Я отвечал, что хотя и не видал в лицо, но по некоторым причинам совершенно уверен, что это Татьяна Ивановна.

– Гм! Не интрижка ли с кем-нибудь из дворовых, а тебе показалось, что Татьяна Ивановна? Не Даша ли, садовника дочь? пролазливая девочка! Замечена, потому и говорю, что замечена. Анна Ниловна ее выследила... Да нет же, однако! Ведь он говорил, что жениться хочет. Странно! Странно!

Наконец мы расстались. Я обнял и благословил дядю. «Завтра, завтра, – повторял он, – всё решится, – прежде чем ты встанешь, решится. Пойду к Фоме и поступлю с ним по-рыцарски, открою ему всё, как родному брату, все изгибы сердца, всю внутренность. Прощай, Сережа. Ложись, ты устал; а я уж верно во всю ночь глаз не сомкну».

Он ушел. Я тотчас же лег, усталый и измученный донельзя. День был трудный. Нервы мои были расстроены, и, прежде чем заснул, я несколько раз вздрагивал и просыпался. Но, как ни странны были мои впечатления при отходе ко сну, все-таки странность их почти ничего не значила перед оригинальностью моего пробуждения на другое утро.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

I. ПОГОНЯ

Я спал крепко, без снов. Вдруг я почувствовал, что на мои ноги налегла десятипудовая тяжесть. Я вскрикнул и проснулся. Был уже день; в окна ярко заглядывало солнце. На кровати моей, или, лучше сказать, на моих ногах, сидел господин Бахчеев.

Сомневаться было невозможно: это был он. Высвободив кое-как ноги, я приподнялся на постели и смотрел на него с тупым недоумением едва проснувшегося человека.

– Он еще и смотрит! – вскричал толстяк. – Да ты что на меня уставился? Вставай, батюшка, вставай! полчаса бужу; продирай глаза-то!

– Да что случилось? Который час?

– Час, батюшка, еще ранний, а Февронья-то наша и свету не дождалась, улепетнула. Вставай, в погоню едем!

– Какая Февронья?

– Да наша-то, блаженная-то! улепетнула! еще до свету улепетнула! Я к вам, батюшка, на минутку, только вас разбудить, да вот и возись с тобой два часа! Вставайте, батюшка, вас и дядюшка ждет. Дождались праздника! – прибавил он с каким-то злорадным раздражением в голосе.

– Да про кого и про что вы говорите? – сказал я с нетерпением, начиная, впрочем, догадываться. – Уж не Татьяна ль Ивановна?

– А как же? она и есть! Я говорил, предрекал – не хотели слушать! Вот она тебя и поздравила теперь с праздником! На амуре помешана, а амур-то у нее крепко в голове засел! Тьфу! А тот-то, тот-то каков? с бороденкой-то?

– Неужели с Мизинчиковым?

– Тьфу ты пропасть! Да ты, батюшка, протри глаза-то, отрезвись хоть маленько, хоть для великого Божьего праздника! Знать, тебя еще за ужином вчера укачало, коли теперь еще бродит! С каким Мизинчиковым? С Обноскиным, а не с Мизинчиковым. А Иван Иваныч Мизинчиков человек благонравный и теперь с нами же в погоню сбирается.

– Что вы говорите? – вскричал я, даже привскакнув на постели, – неужели с Обноскиным?

– Тьфу ты, досадный человек! – отвечал толстяк, вскакивая с места, – як нему, как к образованному человеку, пришел оказию сообщить, а он еще сомневается! Ну, батюшка, если хочешь с нами, так вставай, напяливай свои штанишки, а мне нечего с тобой языком стучать: и без того золотое время с тобой потерял!

И он вышел в чрезвычайном негодовании.

Пораженный известием, я вскочил с кровати, поспешно оделся и сбежал вниз. Думая отыскать дядю в доме, где, казалось, все еще спали и ничего не знали о происшедшем, я осторожно поднялся на парадное крыльцо и в сенях встретил Настеньку. Одета она была наскоро, в каком-то утреннем пеньюаре иль шлафроке. Волосы ее были в беспорядке: видно было, что она только что вскочила с постели и как будто поджидала кого-то в сенях.

– Скажите, правда ли, что Татьяна Ивановна уехала с Обноскиным? – торопливо спросила она прерывавшимся голосом, бледная и испуганная.

– Говорят, что правда. Я ищу дядюшку; мы хотим в погоню.

– О! привезите, привезите ее скорее! Она погибнет, если вы ее не воротите.

– Но где же дядюшка?

– Верно, там, у конюшен; там коляску закладывают. Я его здесь поджидала. Послушайте, скажите ему от меня, что я непременно хочу ехать

сегодня же; я совсем решилась. Отец возьмет меня; я еду сейчас, если можно будет. Всё погибло теперь! всё потеряно!

Говоря это, она сама глядела на меня как потерянная и вдруг залилась слезами. С ней, кажется, начиналась истерика.

– Успокойтесь! – умолял я ее, – ведь это всё к лучшему – вы увидите... Что с вами, Настасья Евграфовна?

– Я... я не знаю... что со мною, – говорила она, задыхаясь и бессознательно сжимая мои руки. – Скажите ему...

В эту минуту за дверью направо раздался какой-то шум.

Она бросила мою руку и, испуганная, не договорив, убежала вверх по лестнице.

Я нашел всю компанию, то есть дядю, Бахчеева и Мизинчикова, на заднем дворе, у конюшен. В коляску Бахчеева впрягали свежих лошадей. Всё было готово к отъезду: ждали только меня.

– Вот и он! – закричал дядя при моем появлении. – Слышал, брат? – прибавил он с каким-то странным выражением в лице.

Испуг, растерянность и вместе с тем как будто надежда выражались в его взглядах, голосе и движениях. Он сознавал, что в судьбе его совершился капитальный переворот.

Тотчас же посвятили меня во все подробности. Господин Бахчеев, проведя самую скверную ночь, на рассвете выехал из своего дома, чтоб поспеть к ранней обедне в монастырь, находящийся верстах в пяти от его деревни. На самом повороте с большой дороги в обитель, он вдруг увидел тарантас, мчавшийся во всю прыть, а в тарантасе Татьяну Ивановну и Обноскина. Татьяна Ивановна, заплаканная и как будто испуганная, вскрикнула и протянула к господину Бахчееву руки, как бы умоляя его о защите, – так по крайней мере выходило из его рассказа: «А тот-то, подлец, с бороденкой-то, – прибавлял он, – ни жив ни мертв сидит, спрятался; да только врешь, брат, не спрячешься!» Долго не думая, Степан Алексеевич поворотил опять на дорогу и прискакал в Степанчиково, разбудил дядю, Мизинчикова, наконец, и меня. Решили тотчас же пуститься в погоню.

– Обноскин-то, Обноскин-то... – говорил дядя, пристально смотря на меня, как будто желая сказать мне вместе с тем и что-то другое, – кто бы мог ожидать!

– От этого низкого человека всегда можно было ожидать всякой пакости! – вскричал Мизинчиков с самым энергическим негодованием и тотчас же отвернулся, избегая моего взгляда.

– Что ж мы, едем иль нет? Али до ночи будем стоять да сказки рассказывать? – прервал господин Бахчеев, влезая в коляску.

– Едем, едем! – подхватил дядя.

– Всё к лучшему, дядюшка, – шепнул я ему. – Видите, как всё это теперь отлично уладилось?

– Полно, брат, не греши... Ах, друг мой! они теперь просто выгонят ее, в наказанье, что не удалось, – понимаешь? Ужас, сколько я предчувствую!

– Да что ж, Егор Ильич, шептаться аль ехать? – вскричал в другой раз господин Бахчеев. – Аль уж отложить лошадок да закуску подать, – как вы думаете: не выпить ли водочки?

Слова эти были произнесены с таким яростным сарказмом, что не было никакой возможности не удовлетворить тотчас же господина Бахчеева. Все немедленно сели в коляску, и лошади поскакали.

Некоторое время мы все молчали. Дядя значительно посматривал на меня, но говорить со мной при всех не хотел. Он часто задумывался; потом, как будто пробуждаясь, вздрагивал и, в волнении, осматривался кругом. Мизинчиков был, по-видимому, спокоен, курил сигару и смотрел с достоинством несправедливо обиженного человека. Зато Бахчеев горячился за всех. Он ворчал себе под нос, глядел на всех и на всё с решительным негодованием, краснел, пыхтел, беспрерывно плевал на сторону и никак не мог успокоиться.

– Уверены ли вы, Степан Алексеич, что они поехали в Мишино? – спросил вдруг дядя. – Это, брат, двадцать верст отсюда, – прибавил он, обращаясь ко мне, – маленькая деревенька, в тридцать душ; недавно приобретена от прежних владельцев одним бывшим губернским чиновником. Сутяга, каких свет не производил! Так, по крайней мере, о нем говорят; может быть, и ошибочно. Степан Алексеич уверяет, что Обноскин именно туда ехал и что этот чиновник теперь ему помогает.

– А то как же? – вскричал Бахчеев, встрепенувшись. – Уж я говорю, что в Мишино. Только теперь его, в Мишине-то, может, уж Митькой звали, Обноскина-то! Еще бы три часа на дворе попусту прокалякали!

– Не беспокойтесь, – заметил Мизинчиков, – застанем.

– Да, застанем! Небось он тебя дожидаться будет. Шкатулка-то в руках; был – да сплыл!

– Успокойся, Степан Алексеич, успокойся, догоним, – сказал дядя. – Они еще ничего не успели сделать, – увидишь, что так.

– Не успели сделать! – злобно переговорил господин Бахчеев. – Чего она не успеет наделать, даром что тихонькая! «Тихонькая, говорят, тихонькая!» – прибавил он тоненьким голоском, как будто кого-то передразнивая. – «Испытала несчастья». Вот она нам теперь пятки и показала, несчастная-то! Вот и гоняйся за ней по большим дорогам, высуня язык ни свет ни заря! Помолиться человеку не дадут для Божьего праздника. Тьфу!

– Да ведь она, однако ж, не малолетняя, – заметил я, – под опекой не состоит. Воротить ее нельзя, если сама не захочет. Как же мы будем?

– Разумеется, – отвечал дядя, – но она захочет – уверяю тебя. Это она теперь только так... Только увидит нас, тотчас воротится, – отвечаю. Нельзя же, брат, оставить ее так, на произвол судьбы, в жертву; это, так сказать, долг...

– Под опекой не состоит! – вскрикнул Бахчеев, немедленно на меня накидываясь. – Дура она, батюшка, набитая дура, – а не то, что под опекой не состоит. Я тебе о ней и говорить не хотел вчера, а намедни ошибкой зашел в ее комнату: смотрю, а она одна перед зеркалом руки в боки, экосез выплясывает! Да ведь как разодета: журнал, просто журнал! Плюнул да и отошел. Тогда же всё предузнал, как по-писаному!

– К чему ж так обвинять? – заметил я с некоторою робостью. – Известно, что Татьяна Ивановна... не в полном своем здоровье... или, лучше сказать, у ней такая мания... Мне кажется, виноват один Обноскин, а не она.

– Не в полном своем здоровье! ну вот подите вы с ним! – подхватил толстяк, весь побагровев от злости. – Ведь поклялся же бесить человека! Со вчерашнего дня клятву такую дал! Дура она, отец мой, повторяю тебе, капитальная дура, а не то, что не в полном своем здоровье; сызмалетства на купидоне помешана! Вот и довел ее теперь купидон до последней точки. А про того, с бороденкой-то, и поминать нечего! Небось задувает теперь по всем по трем с денежками, динь-динь-динь, да посмеивается.

– Так неужели же вы в самом деле думаете, что он тотчас и бросит ее?

– А то как же? Небось таскать с собой станет такое сокровище? Да на что она ему? оберет ее да и посадит где-нибудь под куст, на дороге – и был таков, а она и сиди себе под кустом да нюхай цветочки!

– Ну, уж это ты увлекся, Степан, не так это будет! – вскричал дядя. – Впрочем, чего ж ты так сердишься? Дивлюсь я на тебя, Степан, тебе-то чего?

– Да ведь я человек али нет? Ведь зло берет; вчуже берет. Ведь, я, может, ее же любя, говорю... Эх, прокисай всё на свете! Ну зачем я приехал сюда? ну зачем я сворачивал? мне-то какое дело? мне-то какое дело?

Так сетовал господин Бахчеев; но я уже не слушал его и задумался о той, которую мы теперь догоняли, – о Татьяне Ивановне. Вот краткая ее биография, собранная мною впоследствии, по самым вернейшим источникам, и которая необходима для пояснения ее приключений. Бедный ребенок-сиротка, выросший в чужом, негостеприимном доме, потом бедная девушка, потом бедная дева и наконец бедная перезрелая дева, Татьяна Ивановна, во всю свою бедную жизнь испила полную до краев чашу горя, сиротства, унижений, попреков и вполне изведала всю горечь чужого хлеба. От природы характера веселого, восприимчивого в высшей степени и легкомысленного, она вначале кое-как еще переносила свою горькую участь и даже могла подчас и смеяться самым веселым, беззаботным смехом; но с годами судьба взяла наконец свое. Мало-помалу Татьяна Ивановна стала желтеть и худеть, сделалась раздражительна, болезненно-восприимчива и впала в самую неограниченную, беспредельную мечтательность, часто прерываемую истерическими слезами, судорожными рыданиями. Чем менее благ земных оставляла ей на долю действительность, тем более она обольщала и утешала себя воображением. Чем вернее, чем безвозвратнее гибли и наконец погибли совсем последние существенные надежды ее, тем упоительнее становились ее мечты, никогда не осуществимые. Богатства неслыханные, красота неувядаемая, женихи изящные, богатые, знатные, всё князья и генеральские дети, сохранившие для нее свои сердца в девственной чистоте и умирающие у ног ее от беспредельной любви, и, наконец, *он* – он, идеал красоты, совмещающий в себе всевозможные совершенства, страстный и любящий, художник, поэт, генеральский сын – всё вместе или поочередно, всё это начинало ей представляться не только во сне, но даже почти и наяву. Рас-

судок ее уже начинал слабеть и не выдерживать приемов этого опиума таинственных, беспрерывных мечтаний... И вдруг судьба подшутила над ней окончательно. В самой последней степени унижения, среди самой грустной, подавляющей сердце действительности, в компаньонках у одной старой, беззубой и брюзгливейшей барыни в мире, виноватая во всем, упрекаемая за каждый кусок хлеба, за каждую тряпку изношенную, обиженная первым желающим, не защищенная никем, измученная горемычным житьем своим и, про себя, утопающая в неге самых безумных и распаленных фантазий, – она вдруг получила известие о смерти одного своего дальнего родственника, у которого давно уже (о чем она, по легкомыслию своему, никогда не справлялась) перемерли все его близкие родные, человека странного, жившего затворником, где-то за тридевять земель, в захолустье, одиноко, угрюмо, неслышно, и занимавшегося черепословием и ростовщичеством. И вот, огромное богатство вдруг, как бы чудом, упало с неба и рассыпалось золотой россыпью у ног Татьяны Ивановны: она оказалась единственной законной наследницей умершего родственника. Сто тысяч рублей серебром досталось ей разом. Эта насмешка судьбы доконала ее совершенно. Как же, в самом деле, и без того уже ослабевшему рассудку не поверить мечтам, когда они в самом деле начинали сбываться? И вот бедняжка окончательно распростилась с оставшейся у ней последней капелькой здравого смысла. Замирая от счастья, она безвозвратно унеслась в свой очаровательный мир невозможных фантазий и соблазнительных призраков. Прочь все соображения, все сомнения, все преграды действительности, все неизбежные и ясные, как дважды-два, законы ее! Тридцать пять лет и мечта об ослепляющей красоте, осенний грустный холод и вся роскошь бесконечного блаженства любви, даже не споря между собою, ужились в ее существе. Мечты уже осуществились раз в жизни: отчего же и всему не сбыться? отчего же и *ему* не явиться? Татьяна Ивановна не рассуждала, а верила. Но в ожидании его, идеала – женихи и кавалеры разных орденов и простые кавалеры, военные и статские, армейские и кавалергарды, вельможи и просто поэты, бывшие в Париже и бывшие только в Москве, с бородками и без бородок, с эспаньолками и без эспаньолок, испанцы и неиспанцы (но преимущественно испанцы), начали представляться ей день и ночь в количестве, ужасающем и возбуждавшем в наблюдателях серьезные опасения; оставался только шаг до желтого дома. Блестящею, упоенною любовью вереницей,

толпились около нее все эти прекрасные призраки. Наяву, в настоящей жизни, дело шло тем же самым фантастическим порядком: на кого она ни взглянет – тот и влюбился; кто бы ни прошел мимо – тот и испанец; кто умер – непременно от любви к ней. Всё это как нарочно подтверждалось в ее глазах еще и тем, что за ней в самом деле начали бегать такие, например, люди, как Обноскин, Мизинчиков и десятки других, с теми же целями. Ей вдруг стали все угождать, стали баловать ее, стали ей льстить. Бедная Татьяна Ивановна и подозревать не хотела, что всё это из-за денег. Она совершенно была уверена, что, по чьему-то мановению, все люди вдруг исправились и стали, все до одного, веселые, милые, ласковые, добрые. *Он* не являлся еще налицо; но хотя и сомнения не было в том, что *он* явится, теперешняя жизнь и без того была так недурна, так заманчива, так полна всяких развлечений и угощений, что можно было и подождать. Татьяна Ивановна кушала конфекты, срывала цветы удовольствия, читала романы. Романы еще более распаляли ее воображение и бросались обыкновенно на второй странице. Она не выносила далее чтенья, увлекаемая в мечты самыми первыми строчками, самым ничтожным намеком на любовь, иногда просто описанием местности, комнаты, туалета. Беспрерывно привозились новые наряды, кружева, шляпки, наколки, ленты, образчики, выкройки, узоры, конфекты, цветы, собачонки. Три девушки в девичьей проводили целые дни за шитьем, а барышня с утра до ночи, и даже ночью, примеряла свои лифы, оборки и вертелась перед зеркалом. Она даже как-то помолодела и похорошела после наследства. До сих пор не знаю, каким образом она приходилась сродни покойному генералу Крахоткину. Я всегда был уверен, что это родство – выдумка генеральши, желавшей овладеть Татьяной Ивановной и во что бы ни стало женить дядю на ее деньгах. Господин Бахчеев был прав, говоря о купидоне, доведшем Татьяну Ивановну до последней точки; а мысль дяди, после известия о ее побеге с Обноскиным, бежать за ней и воротить ее, хоть насильно, была самая рациональная. Бедняжка неспособна была жить без опеки и тотчас же погибла бы, если б попалась к недобрым людям.

Был час десятый, когда мы приехали в Мишино. Это была бедная, маленькая деревенька, верстах в трех от большой дороги и стоявшая в какой-то яме. Шесть или семь крестьянских изб, закоптелых, покривившихся набок и едва прикрытых почерневшею соломою, как-то грустно

и неприветливо смотрели на проезжего. Ни садика, ни кустика не было кругом на четверть версты. Только одна старая ракита свесилась и дремала над зеленоватой лужей, называвшейся прудом. Такое новоселье, вероятно, не могло произвесть отрадного впечатления на Татьяну Ивановну. Барская усадьба состояла из нового, длинного и узкого сруба, с шестью окнами в ряд и крытого, на скорую руку, соломой. Чиновник-помещик только что начинал хозяйничать. Даже двор еще не был огорожен забором, и только с одной стороны начинался новый плетень, с которого еще не успели осыпаться высохшие ореховые листья. У плетня стоял тарантас Обноскина. Мы упали на виноватых как снег на голову. Из раскрытого окна слышались крики и плач.

Встретившийся нам в сенях босоногий мальчик ударился от нас бежать, сломя голову. В первой же комнате, на ситцевом, длинном «турецком» диване, без спинки, восседала заплаканная Татьяна Ивановна. Увидев нас, она взвизгнула и закрылась ручками. Возле нее стоял Обноскин, испуганный и сконфуженный до жалости. Он до того потерялся, что бросился пожимать нам руки, как будто обрадовавшись нашему приезду. Из-за приотворенной в другую комнату двери выглядывало чье-то дамское платье: кто-то подслушивал и подглядывал в незаметную для нас щелочку. Хозяева не являлись: казалось, их и в доме не было; все куда-то попрятались.

– Вот она, путешественница! еще и ручками закрывается! – вскричал господин Бахчеев, вваливаясь за нами в комнату.

– Остановите ваш восторг, Степан Алексеич! Это наконец неприлично. Имеет право теперь говорить один только Егор Ильич, а мы здесь совершенно посторонние, – резко заметил Мизинчиков.

Дядя, бросив строгий взгляд на господина Бахчеева и как будто совсем не замечая Обноскина, бросившегося к нему с рукопожатиями, подошел к Татьяне Ивановне, всё еще закрывавшейся ручками, и самым мягким голосом, с самым непритворным участием сказал ей:

– Татьяна Ивановна! мы все так любим и уважаем вас, что сами приехали узнать о ваших намерениях. Угодно вам будет ехать с нами в Степанчиково? Илюша именинник. Маменька вас ждет с нетерпением, а Сашурка с Настей уж, верно, проплакали о вас целое утро...

Татьяна Ивановна робко приподняла голову, посмотрела на него сквозь пальцы и вдруг, залившись слезами, бросилась к нему на шею.

– Ах, увезите, увезите меня отсюда скорее! – говорила она рыдая, – скорее, как можно скорее!

– Расскакалась да и сбрендила! – прошипел Бахчеев, подталкивая меня рукою.

– Значит, всё кончено, – сказал дядя, сухо обращаясь к Обноскину и почти не глядя на него. – Татьяна Ивановна, пожалуйте вашу руку. Едем!

За дверьми послышался шорох; дверь скрипнула и приотворилась еще более.

– Однако ж, если судить с другой точки зрения, – заметил Обноскин с беспокойством, поглядывая на приотворенную дверь, – то посудите сами, Егор Ильич... ваш поступок в моем доме... и, наконец, я вам кланяюсь, а вы даже не хотели мне и поклониться, Егор Ильич...

– Ваш поступок в *моем* доме, сударь, был скверный поступок, – отвечал дядя, строго взглянув на Обноскина, – а это и дом-то не ваш. Вы слышали: Татьяна Ивановна не хочет оставаться здесь ни минуты. Чего же вам более? Ни слова – слышите, ни слова больше, прошу вас! Я чрезвычайно желаю избежать дальнейших объяснений, да и вам это будет выгоднее.

Но тут Обноскин до того упал духом, что наговорил самой неожиданной дряни.

– Не презирайте меня, Егор Ильич, – начал он полушепотом, чуть не плача от стыда и поминутно оглядываясь на дверь, вероятно из боязни, чтоб там не услышали, – это всё не я, а маменька. Я не из интереса это сделал, Егор Ильич; я только так это сделал; я, конечно, и для интереса это сделал, Егор Ильич... но я с благородной целью это сделал, Егор Ильич: я бы употребил с пользою капитал-с... я бы помогал бедным. Я хотел тоже способствовать движению современного просвещения и мечтал даже учредить стипендию в университете... Вот какой оборот я хотел дать моему богатству, Егор Ильич; а не то, чтоб что-нибудь, Егор Ильич...

Всем нам вдруг сделалось чрезвычайно совестно. Даже Мизинчиков покраснел и отвернулся, а дядя так сконфузился, что уж не знал, что и сказать.

– Ну, ну, полно, полно! – проговорил он наконец. – Успокойся, Павел Семеныч. Что ж делать! Со всяким случается... Если хочешь, приезжай, брат, обедать... а я рад, рад...

Но не так поступил господин Бахчеев.

– Стипендию учредить! – заревел он с яростью, – таковский чтоб учредил! Небось, сам рад сорвать со всякого встречного... Штанишек нет, а туда же, в стипендию какую-то лезет! Ах ты лоскутник, лоскутник! Вот тебе и покорил нежное сердце! А где ж она, родительница-то? али спряталась? Не я буду, если не сидит где-нибудь там, за ширмами, али под кровать со страха залезла...

– Степан, Степан!.. – закричал дядя.

Обноскин вспыхнул и готовился было протестовать; но прежде чем он успел раскрыть рот, дверь отворилась и сама Анфиса Петровна, раздраженная, с сверкавшими глазами, покрасневшая от злости, влетела в комнату.

– Это что? – закричала она, – что это здесь происходит? Вы, Егор Ильич, врываетесь в благородный дом с своей ватагой, пугаете дам, распоряжаетесь!.. Да на что это похоже? Я еще не выжила из ума, слава Богу, Егор Ильич! А ты, пентюх! – продолжала она вопить, набрасываясь на сына, – ты уж и нюни распустил перед ними! Твоей матери делают оскорбление в ее же доме, а ты рот разинул! Какой ты порядочный молодой человек после этого? Ты тряпка, а не молодой человек после этого!

Ни вчерашнего нежничанья, ни модничанья, ни даже лорнетки – ничего этого не было теперь у Анфисы Петровны. Это была настоящая фурия, фурия без маски.

Дядя, едва только увидел ее, поспешил схватить под руку Татьяну Ивановну и бросился было из комнаты; но Анфиса Петровна тотчас же перегородила ему дорогу.

– Вы так не выйдете, Егор Ильич! – затрещала она снова. – По какому праву вы уводите силой Татьяну Ивановну? Вам досадно, что она избежала ваших гнусных сетей, которыми вы опутали ее вместе с вашей маменькой и с дураком Фомою Фомичом! Вам хотелось бы самому жениться из гнусного интереса. Извините-с, здесь благороднее думают! Татьяна Ивановна, видя, что против нее у вас замышляют, что ее губят, сама вверилась Павлуше. Она сама просила его, так сказать, спасти ее от ваших сетей; она принуждена была бежать от вас ночью – вот как-с! вот вы до чего ее довели! Так ли, Татьяна Ивановна? А если так, то как смеете вы врываться, целой шайкой, в благородный дворянский дом и силою увозить благородную девицу, несмотря на ее крики и слезы? Я не позволю!

не позволю! Я не сошла с ума!.. Татьяна Ивановна останется, потому что так хочет! Пойдемте, Татьяна Ивановна, нечего их слушать: это враги ваши, а не друзья! Не робейте, пойдемте! Я их тотчас же выпровожу!..

– Нет, нет! – закричала испуганная Татьяна Ивановна, – я не хочу, не хочу! Какой он муж? Я не хочу выходить замуж за вашего сына! Какой он мне муж?

– Не хотите? – взвизгнула Анфиса Петровна, задыхаясь от злости, – не хотите? Приехали, да и не хотите? В таком случае, как же вы смели обманывать нас? В таком случае, как же вы смели обещать ему, бежали с ним ночью, сами навязывались, ввели нас в недоумение, в расходы? Мой сын, может быть, благородную партию потерял из-за вас!.. Он, может быть, десятки тысяч приданого потерял из-за вас!.. Нет-с! Вы заплатите, вы должны теперь заплатить; мы доказательства имеем: вы ночью бежали...

Но мы не дослушали этой тирады. Все разом, сгруппировавшись около дяди, мы двинулись вперед, прямо на Анфису Петровну, и вышли на крыльцо. Тотчас же подали коляску.

– Так делают одни только бесчестные люди, одни подлецы! – кричала Анфиса Петровна с крыльца в совершенном исступлении. – Я бумагу подам! вы заплатите... вы едете в бесчестный дом, Татьяна Ивановна! вы не можете выйти замуж за Егора Ильича; он под носом у вас держит свою гувернантку на содержании!..

Дядя задрожал, побледнел, закусил губу и бросился усаживать Татьяну Ивановну. Я зашел с другой стороны коляски и ждал своей очереди садиться, как вдруг очутился подле меня Обноскин и схватил меня за руку.

– По крайней мере позвольте мне искать вашей дружбы! – сказал он, крепко сжимая мою руку и с каким-то отчаянным выражением в лице.

– Как это, дружбы? – сказал я, занося ногу на подножку коляски.

– Так-с! Я еще вчера отличил в вас образованнейшего человека. Не судите меня... Меня собственно обольстила маменька, а я тут совсем в стороне. Я более имею наклонности к литературе – уверяю вас; а это всё маменька...

– Верю, верю, – сказал я, – прощайте!

Мы уселись, и лошади поскакали. Крики и проклятия Анфисы Петровны еще долго звучали нам вслед; а из всех окон дома вдруг высунулись чьи-то неизвестные лица и смотрели на нас с диким любопытством.

В коляске помещалось теперь нас пятеро; но Мизинчиков пересел на козлы, уступив свое прежнее место господину Бахчееву, которому пришлось теперь сидеть прямо против Татьяны Ивановны. Татьяна Ивановна была очень довольна, что мы ее увезли, но всё еще плакала. Дядя, как мог, утешал ее. Сам же он был грустен и задумчив: видно было, что бешеные слова Анфисы Петровны о Настеньке тяжело и больно отозвались в его сердце. Впрочем, обратный путь наш кончился бы без всякой тревоги, если б только не было с нами господина Бахчеева.

Усевшись напротив Татьяны Ивановны, он стал точно сам не свой; он не мог смотреть равнодушно; ворочался на своем месте, краснел как рак и страшно вращал глазами; особенно когда дядя начинал утешать Татьяну Ивановну, толстяк решительно выходил из себя и ворчал, как бульдог, которого дразнят. Дядя с опасением на него поглядывал. Наконец Татьяна Ивановна, заметив необыкновенное состояние души своего визави, стала пристально в него всматриваться; потом посмотрела на нас, улыбнулась и вдруг, схватив свою омбрельку, грациозно ударила ею слегка господина Бахчеева по плечу.

– Безумец! – проговорила она с самой очаровательной игривостью и тотчас же закрылась веером.

Эта выходка была каплей, переполнившей сосуд.

– Что-о-о? – заревел толстяк, – что такое, мадам? Так ты уж и до меня добираешься!

– Безумец! безумец! – повторяла Татьяна Ивановна и вдруг захохотала и захлопала в ладоши.

– Стой! – закричал Бахчеев кучеру, – стой!

Остановились. Бахчеев отворил дверцу и поспешно начал вылезать из коляски.

– Да что с тобой, Степан Алексеич? куда ты? – вскричал изумленный дядя.

– Нет, уж довольно с меня! – отвечал толстяк, дрожа от негодования, – прокисай всё на свете! Устарел я, мадам, чтоб ко мне с амурами подъезжать. Я, матушка, лучше уж на большой дороге помру! Прощай, мадам, коман-ву-порте-ву![1]

[1] Как поживаете? (*фр.*: «Comment vous portez-vous?»)

И он в самом деле пошел пешком. Коляска поехала за ним шагом.

– Степан Алексеевич! – кричал дядя, выходя наконец из терпения, – не дурачься, полно, садись! ведь домой пора!

– И – ну вас! – проговорил Степан Алексеевич, задыхаясь от ходьбы, потому что, по толстоте своей, совсем разучился ходить.

– Пошел во весь опор! – закричал Мизинчиков кучеру.

– Что ты, что ты, постой!.. – вскричал было дядя, но коляска уже помчалась. Мизинчиков не ошибся: немедленно получились желаемые плоды.

– Стой! стой! – раздался позади нас отчаянный вопль, – стой, разбойник! стой, душегубец ты этакой!..

Толстяк наконец явился, усталый, полузадохшийся, с каплями пота на лбу, развязав галстух и сняв картуз. Молча и мрачно влез он в коляску, и в этот раз я уступил ему свое место; по крайней мере, он не сидел напротив Татьяны Ивановны, которая в продолжение всей этой сцены покатывалась со смеху, била в ладоши и во весь остальной путь не могла смотреть равнодушно на Степана Алексеевича. Он же, с своей стороны, до самого дома, не промолвил ни единого слова и упорно смотрел, как вертелось заднее колесо коляски.

Был уже полдень, когда мы воротились в Степанчиково. Я прямо пошел в свой флигель, куда тотчас же явился Гаврила с чаем. Я бросился было расспрашивать старика, но, почти вслед за ним, вошел дядя и тотчас же выслал его.

II. НОВОСТИ

– Я, брат, к тебе на минутку, – начал он торопливо, – спешил сообщить... Я уже всё разузнал. Никто из них сегодня даже у обедни не был, кроме Илюши, Саши да Настеньки. Маменька, говорят, была в судорогах. Оттирали; насилу оттерли. Теперь положено собираться к Фоме, и меня зовут. Не знаю только, поздравлять или нет Фому с именинами-то, – важный пункт! И, наконец, как-то они примут весь этот пассаж? Ужас, Сережа, я уж предчувствую...

– Напротив, дядюшка, – заспешил я в свою очередь, – всё превосходно устроивается. Ведь уж теперь вам никак нельзя жениться на Татьяне Ивановне – это одно чего стоит! Я вам еще дорогою это хотел объяснить.

– Так, так, друг мой. Но всё это не то; во всем этом, конечно, перст Божий, как ты говоришь; но я не про то... Бедная Татьяна Ивановна! какие, однако ж, с ней пассажи случаются!.. Подлец, подлец Обноскин! А впрочем, что ж я говорю «подлец»? я разве не то же бы самое сделал, женясь на ней?.. Но, впрочем, я всё не про то... Слышал ты, что кричала давеча эта негодяйка, Анфиса, про Настю?

– Слышал, дядюшка. Догадались ли вы теперь, что надо спешить?

– Непременно, и во что бы ни стало! – отвечал дядя. – Торжественная минута наступила. Только мы, брат, об одном вчера с тобой не подумали, а я после всю ночь продумал: пойдет ли она-то за меня, – вот что?

– Помилосердуйте, дядюшка! Когда сама сказала, что любит...

– Друг ты мой, да ведь тут же прибавила, что «ни за что не выйду за вас».

– Эх, дядюшка! это так только говорится; к тому же и обстоятельства сегодня не те.

– Ты думаешь? Нет, брат Сергей, это дело деликатное, ужасно деликатное! Гм!.. А знаешь, хоть и тосковал я, а как-то всю ночь сердце сосало от какого-то счастия!.. Ну, прощай, лечу. Ждут; я уж и так опоздал. Только так забежал, слово с тобой перебросить. Ах, Боже мой! – вскричал он, возвращаясь, – главное-то я и забыл! Знаешь что: ведь я ему писал, Фоме-то!

– Когда?

– Ночью; а утром, чем свет, и письмо отослал с Видоплясовым. Я, братец, всё изобразил, на двух листах, всё рассказал, правдиво и откровенно, – словом, что я должен, то есть непременно должен, – понимаешь? – сделать предложение Настеньке. Я умолял его не разглашать о свидании в саду и обращался ко всему благородству его души, чтоб помочь мне у маменьки. Я, брат, конечно, худо написал, но я написал от всего моего сердца и, так сказать, облил моими слезами...

– И что ж? Никакого ответа?

– Покамест еще нет; только давеча, когда мы собирались в погоню, встретил его в сенях, по-ночному, в туфлях и в колпаке, – он спит в колпаке, – куда-нибудь выходил. Ни слова не сказал, даже не взглянул. Я заглянул ему в лицо, этак снизу, – ничего!

– Дядюшка, не надейтесь на него: нагадит он вам.

– Нет, нет, братец, не говори! – вскричал дядя, махая руками, – я уверен. К тому же ведь это уж последняя надежда моя. Он поймет; он оценит. Он брюзглив, капризен – не спорю; но когда дело дойдет до высшего благородства, тут-то он и засияет, как перл... именно, как перл. Это ты всё оттого, Сергей, что ты еще не видал его в самом высшем благородстве... Но, Боже мой! если он в самом деле разгласит вчерашнюю тайну, то... я уж и не знаю, что тогда будет, Сергей! Чему же останется и верить на свете? Но нет, он не может быть таким подлецом. Я подметки его не стою! Не качай головой, братец: это правда – не стою!

– Егор Ильич! маменька об вас беспокоются-с, – раздался снизу неприятный голос девицы Перепелицыной, которая, вероятно, успела подслушать в открытое окно весь наш разговор. – Вас по всему дому ищут-с и не могут найти-с.

– Боже мой, опоздал! Беда! – всполошился дядя. – Друг мой, ради Христа, одевайся и приходи туда! Я ведь за этим и забежал к тебе, чтоб вместе пойти... Бегу, бегу, Анна Ниловна, бегу!

Оставшись один, я вспомнил о моей встрече давеча с Настенькой и был рад, что не рассказал о ней дяде: я бы расстроил его еще более. Предвидел я большую грозу и не мог понять, каким образом дядя устроит свои дела и сделает предложение Настеньке. Повторяю: несмотря на всю веру в его благородство, я поневоле сомневался в успехе.

Однако ж надо было спешить. Я считал себя обязанным помогать ему и тотчас же начал одеваться; но, как ни спешил, желая одеться получше, замешкался. Вошел Мизинчиков.

– Я за вами, – сказал он, – Егор Ильич вас просит немедленно.

– Идем!

Я был уже совсем готов. Мы пошли.

– Что там нового? – спросил я дорогою.

– Все у Фомы, в сборе, – отвечал Мизинчиков, – Фома не капризничает, что-то задумчив и мало говорит, сквозь зубы цедит. Даже поцеловал Илюшу, что, разумеется, привело в восторг Егора Ильича. Еще давеча через Перепелицыну объявил, чтоб не поздравляли его с именинами и что он только хотел испытать... Старуха хоть и нюхает спирт, но успокоилась, потому что Фома покоен. О нашей истории никто ни полслова, как будто ее и не было; молчат, потому что Фома молчит. Он всё утро не пускал к

себе никого, хотя старуха давеча без нас всеми святыми молила, чтоб он к ней пришел для совещаний, да и сама ломилась к нему в дверь; но он заперся и отвечал, что молится за род человеческий или что-то в этом роде. Он что-то затевает: по лицу видно. Но так как Егор Ильич ничего не в состоянии узнать по лицу, то и находится теперь в полном восторге от кротости Фомы Фомича: настоящий ребенок! Илюша какие-то стихи приготовил, и меня послали за вами.

– А Татьяна Ивановна?

– Что Татьяна Ивановна?

– Она там же? с ними?

– Нет; она в своей комнате, – сухо отвечал Мизинчиков. – Отдыхает и плачет. Может быть, и стыдится. У ней, кажется, теперь эта... гувернантка. Что это? гроза никак собирается. Смотрите, на небе-то!

– Кажется, гроза, – отвечал я, взглянув на черневшую на краю неба тучу.

В это время мы всходили на террасу.

– А признайтесь, каков Обноскин-то, – а? – продолжал я, не могши утерпеть, чтоб не попытать на этом пункте Мизинчикова.

– Не говорите мне о нем! Не поминайте мне об этом подлеце! – вскричал он, вдруг останавливаясь, покраснев и топнув ногою. – Дурак! дурак! Погубить такое превосходное дело, такую светлую мысль! Послушайте: я, конечно, осел, что просмотрел его плутни, – я в этом торжественно сознаюсь, и, может быть, вы именно хотели этого сознания. Но, клянусь вам, если б он сумел всё это обделать как следует, я бы, может быть, и простил его! Дурак, дурак! И как держат, как терпят таких людей в обществе! Как не ссылают их в Сибирь, на поселение, на каторгу! Но врут! им меня не перехитрить! Теперь у меня, по крайней мере, есть опыт, и мы еще потягаемся. Я обдумываю теперь одну новую мысль... Согласитесь сами: неужели ж терять свое потому только, что какой-то посторонний дурак украл вашу мысль и не умел взяться за дело? Ведь это несправедливо! И наконец, этой Татьяне непременно надо выйти замуж – это ее назначение. И если ее до сих пор еще никто не посадил в дом сумасшедших, так это именно потому, что на ней еще можно было жениться. Я вам сообщу мою новую мысль...

– Но, вероятно, после, – прервал я его, – потому что мы вот и пришли.

– Хорошо, хорошо, после! – отвечал Мизинчиков, искривив свой рот судорожной улыбкой. – А теперь... Но куда ж вы? Говорю вам: прямо к Фоме Фомичу! Идите за мной; вы там еще не были. Увидите другую комедию... Так как уж дело пошло на комедии...

III. ИЛЮША ИМЕНИННИК

Фома занимал две большие и прекрасные комнаты; они были даже и отделаны лучше, чем все другие комнаты в доме. Полный комфорт окружал великого человека. Свежие, красивые обои на стенах, шелковые пестрые занавесы у окон, ковры, трюмо, камин, мягкая, щегольская мебель – всё свидетельствовало о нежной внимательности хозяев к Фоме Фомичу. Горшки с цветами стояли на окнах и на мраморных круглых столиках перед окнами. Посреди кабинета находился большой стол, покрытый красным сукном, весь заложенный книгами и рукописями. Прекрасная бронзовая чернильница и куча перьев, которыми заведовал Видоплясов, – всё это вместе должно было свидетельствовать о тугих умственных работах Фомы Фомича. Скажу здесь кстати, что Фома, просидев здесь почти восемь лет, ровно ничего не сочинил путного. Впоследствии, когда он отошел в лучшую жизнь, мы разбирали оставшиеся после него рукописи; все они оказались необыкновенною дрянью. Нашли, например, начало исторического романа, происходившего в Новгороде, в VII столетии; потом чудовищную поэму: «Анахорет на кладбище», писанную белыми стихами; потом бессмысленное рассуждение о значении и свойстве русского мужика и о том, как надо с ним обращаться, и, наконец, повесть «Графиня Влонская», из великосветской жизни, тоже неоконченную. Больше ничего не осталось. А между тем Фома Фомич заставлял дядю тратить ежегодно большие деньги на выписку книг и журналов. Но многие из них оставались даже неразрезанными. Я же, впоследствии, не один раз заставал Фому за Поль де Коком, которого он прятал при людях куда-нибудь подальше. В задней стене кабинета находилась стеклянная дверь, которая вела во двор дома.

Нас дожидались. Фома Фомич сидел в покойном кресле, в каком-то длинном, до пят, сюртуке, но все-таки без галстуха. Был он действительно молчалив и задумчив. Когда мы вошли, он слегка поднял брови и пыт-

ливо взглянул на меня. Я поклонился; он отвечал мне легким поклоном, впрочем довольно вежливым. Бабушка, видя, что Фома Фомич обошелся со мной благосклонно, с улыбкою закивала мне головою. Бедная, и не ожидала поутру, что ее нещечко так покойно примет известие о «пассаже» с Татьяной Ивановной, и потому теперь чрезвычайно развеселилась, хотя утром с ней действительно происходили корчи и обмороки. За стулом ее, по обыкновению, стояла девица Перепелицына, сложив губы в ниточку, кисло и злобно улыбаясь и потирая свои костлявые руки одну о другую. Возле генеральши помещались две постоянно безмолвные старухи-приживалки, из благородных. Была еще какая-то забредшая утром монашенка и одна соседка-помещица, пожилая и тоже без речей, заехавшая от обедни поздравить матушку-генеральшу с праздником. Тетушка Прасковья Ильинична уничтожалась где-то в уголку, с беспокойством смотря на Фому Фомича и на маменьку. Дядя сидел в кресле, и необыкновенная радость сияла в глазах его. Перед ним стоял Илюша в праздничной красной рубашечке, с завитыми кудряшками, хорошенький, как ангельчик. Саша и Настенька тихонько от всех выучили его каким-то стихам, чтоб обрадовать отца в такой день успехами в науках. Дядя чуть не плакал от удовольствия: неожиданная кротость Фомы, веселость генеральши, именины Илюши, стихи – всё это привело его в настоящий восторг, и он торжественно просил послать за мной, чтоб и я тоже поскорее разделил всеобщее счастье и прослушал стихи. Саша и Настенька, вошедшая почти вслед за нами, стояли около Илюши. Саша поминутно смеялась и в эту минуту была счастлива как дитя. Настенька, глядя на нее, тоже начала улыбаться, хоть и вошла, за минуту назад, бледная и унылая. Она одна встретила и успокоила Татьяну Ивановну, воротившуюся из путешествия, и до сих пор просидела у ней наверху. Резвый Илюша как будто тоже не мог удержаться от смеха, смотря на своих учительниц. Казалось, они все трое приготовили какую-то пресмешную шутку, которую теперь и хотели разыграть... Я и забыл про Бахчеева. Он сидел поодаль, на стуле, всё еще сердитый и красный, молчал, дулся, сморкался и вообще играл довольно мрачную роль на семейном празднике. Возле него семенил Ежевикин; впрочем, он семенил и везде, целовал ручки у генеральши и у приезжей гостьи, нашептывал что-то девице Перепелицыной, ухаживал за Фомой Фомичом, – словом, поспевал везде. Он тоже с великим сочувствием

ожидал Илюшиных стихов и при входе моем бросился ко мне с поклонами, в знак величайшего уважения и преданности. Вовсе не видно было, что он приехал сюда защитить дочь и взять ее совсем из Степанчикова.

– Вот и он! – радостно вскричал дядя, увидев меня. – Илюша, брат, стихи приготовил – вот неожиданность, настоящий сюрприз! Я, брат, поражен и нарочно за тобой послал, и стихи остановил до прихода... Садись-ка возле! Послушаем. Фома Фомич, да ты уж признайся, братец, ведь уж, верно, ты их всех надоумил, чтоб меня, старика, обрадовать? Присягну, что так!

Если уж дядя говорил в комнате Фомы таким тоном и голосом, то, казалось бы, всё обстояло благополучно. Но в том-то и беда, что дядя неспособен был ничего угадать по лицу, как выразился Мизинчиков; а взглянув на Фому, я как-то невольно согласился, что Мизинчиков прав и что надо было чего-нибудь ожидать...

– Не беспокойтесь обо мне, полковник, – отвечал Фома слабым голосом, голосом человека, прощающего врагам своим. – Сюрприз я, конечно, хвалю: это изображает чувствительность и благонравие ваших детей. Стихи тоже полезны, даже для произношения... Но я не стихами был занят это утро, Егор Ильич: я молился... вы это знаете... Впрочем, готов выслушать и стихи.

Между тем я поздравил Илюшу и поцеловал его.

– Именно, Фома, извини! Я забыл... хоть и уверен в твоей дружбе, Фома! Да поцелуй его еще раз, Сережа! Смотри, какой мальчуган! Ну, начинай, Илюшка! Про что это? Верно, какая-нибудь ода торжественная, из Ломоносова что-нибудь?

И дядя приосанился. Он едва сидел на месте от нетерпения и радости.

– Нет, папочка, не из Ломоносова, – сказала Сашенька, едва подавляя свой смех, – а так как вы были военный и воевали с неприятелями, то Илюша и выучил стихи про военное... Осаду Памбы, папочка.

– Осада Памбы? а! не помню... Что это за Памба, ты знаешь, Сережа? Верно, что-нибудь героическое.

И дядя приосанился в другой раз.

– Говори, Илюша! – скомандовала Сашенька.

Девять лет, как Педро Го́мец... –

начал Илюша маленьким, ровным и ясным голосом, без запятых и без точек, как обыкновенно сказывают маленькие дети заученные стихи, –

Девять лет, как Педро Го́мец
Осаждает замок Памбу,
Молоком одним питаясь,
И всё войско дона Педра,
Девять тысяч кастильянцев,
Все по данному обету
Ниже́ хлеба не снедают,
Пьют одно лишь молоко.

– Как! что? Что это за молоко? – вскричал дядя, смотря на меня в изумлении.

– Читай дальше, Илюша, – вскричала Сашенька.

Всякий день дон Педро Го́мец
О своем бессилье плачет,
Закрываясь епанчою.
Настает уж год десятый;
Злые мавры торжествуют;
А от войска дона Педра
Всего-навсего осталось
Девятнадцать человек...

– Да это галиматья! – вскричал дядя с беспокойством, – ведь это невозможное ж дело! Девятнадцать человек от всего войска осталось, когда прежде был, даже и весьма значительный, корпус! Что ж это, братец, такое?

Но тут Саша не выдержала и залилась самым откровенным и детским смехом; и хоть смешного было вовсе немного, но не было возможности, глядя на нее, тоже не засмеяться.

– Это, папочка, шуточные стихи, – вскричала она, ужасно радуясь своей детской затее, – это уж нарочно так, сам сочинитель сочинил, чтоб всем смешно было, папочка.

– А! шуточные! – вскричал дядя с просиявшим лицом, – комические то есть! То-то я смотрю... Именно, именно, шуточные! И пресмешно, чрезвычайно смешно: на молоке всю армию поморил, по обету какому-то!

Очень надо было давать такие обеты! Очень остроумно – не правда ль, Фома? Это, видите, маменька, такие комические стихи, которые иногда пишут сочинители, – не правда ли, Сергей, ведь пишут? Чрезвычайно смешно! Ну, ну, Илюша, что ж дальше?

Девятнадцать человек!
Их собрал дон Педро Го́мец
И сказал им: «Девятнадцать!
Разовьем свои знамена,
В трубы громкие взыграем
И, ударивши в литавры,
Прочь от Памбы мы отступим!
Хоть мы крепости не взяли,
Но поклясться можем смело
Перед совестью и честью,
Не нарушили ни разу
Нами данного обета:
Целых девять лет не ели,
Ничего не ели ровно,
Кроме только молока!»

– Экой фофан! чем утешается, – прервал опять дядя, – что девять лет молоко пил!.. Да какая ж тут добродетель? Лучше бы по целому барану ел, да людей не морил! Прекрасно, превосходно! Вижу, вижу теперь: это сатира, или... как это там называется, аллегория, что ль? и, может быть, даже на какого-нибудь иностранного полководца, – прибавил дядя, обращаясь ко мне, значительно сдвинув брови и прищуриваясь, – а? как ты думаешь? Но только, разумеется, невинная, благородная сатира, никого не обижающая! Прекрасно! прекрасно! и, главное, благородно! Ну, Илюша, продолжай! Ах вы, шалуньи, шалуньи! – прибавил он, с чувством смотря на Сашу и украдкой на Настеньку, которая краснела и улыбалась.

Ободренные сей речью,
Девятнадцать кастильянцев,
Все, качаяся на седлах,
В голос слабо закричали:
«Санкто Яго Компостелло!
Честь и слава дону Педру!

Честь и слава Льву Кастильи!»
А каплан его, Диего,
Так сказал себе сквозь зубы:
«Если б я был полководцем,
Я б обет дал есть лишь мясо,
Запивая сантуринским!»

– Ну вот! Не то же ли я говорил? – вскричал дядя, чрезвычайно обрадовавшись. – Один только человек во всей армии благоразумный нашелся, да и тот какой-то каплан! Это кто ж такой, Сергей: капитан ихний, что ли?

– Монах, духовная особа, дядюшка.

– А, да, да! Каплан, капеллан? Знаю, помню! еще в романах Радклиф читал. Там ведь у них разные ордена, что ли?.. Бенедиктинцы, кажется... Есть бенедиктинцы-то?..

– Есть, дядюшка.

– Гм!.. Я так и думал. Ну, Илюша, что ж дальше? Прекрасно, превосходно!

И, услышав то, дон Педро
Произнес со громким смехом:
«Подарить ему барана;
Он изрядно подшутил!..»

– Нашел время хохотать! Вот дурак-то! Самому наконец смешно стало! Барана! Стало быть, были же бараны; чего ж он сам-то не ел? Ну, Илюша, дальше! Прекрасно, превосходно! Необыкновенно колко!

– Да уж кончено, папочка!

– А! кончено! В самом деле, чего ж больше оставалось и делать, – не правда ль, Сергей? Превосходно, Илюша! Чудо как хорошо! Поцелуй меня, голубчик! Ах ты, мой милый! Да кто именно его надоумил: ты, Саша?

– Нет, это Настенька. Намедни мы читали. Она прочла, да и говорит: «Какие смешные стихи! Вот будет Илюша именинник: заставим его выучить да рассказать. То-то смеху будет!»

– Так это Настенька? Ну, благодарю, благодарю, – пробормотал дядя, вдруг весь покраснев как ребенок. – Поцелуй меня еще раз, Илюша! Поцелуй меня и ты, шалунья, – сказал он, обнимая Сашеньку и с чувством смотря ей в глаза.

– Вот подожди, Сашурка, и ты будешь именинница, – прибавил он, как будто не зная, что и сказать больше от удовольствия.

Я обратился к Настеньке и спросил ее: чьи стихи?

– Да, да! чьи стихи? – всполошился дядя. – Должно быть, умный поэт написал, – не правда ль, Фома?

– Гм!.. – промычал Фома под нос.

Во всё время чтения стихов едкая, насмешливая улыбка не покидала губ его.

– Я, право, забыла, – отвечала Настенька, робко взглядывая на Фому Фомича.

– Это господин Кузьма Прутков написал, папочка, в «Современнике» напечатано, – выскочила Сашенька.

– Кузьма Прутков! не знаю, – проговорил дядя. – Вот Пушкина так знаю!.. Впрочем, видно, что поэт с достоинствами, – не правда ль, Сергей? И, сверх того, благороднейших свойств человек – это ясно, как два пальца! Даже, может быть, из офицеров... Хвалю! А превосходный журнал «Современник»! Непременно надо подписываться, коли всё такие поэты участвуют... Люблю поэтов! славные ребята! всё в стихах изображают! Помнишь, Сергей, я видел у тебя, в Петербурге, одного литератора. Еще какой-то у него нос особенный... право!.. Что ты сказал, Фома?

Фома Фомич, которого разбирало всё более и более, громко захихикал.

– Нет, я так... ничего-с... – проговорил он, как бы с трудом удерживаясь от смеха. – Продолжайте, Егор Ильич, продолжайте! Я после мое слово скажу... Вот и Степан Алексеич с удовольствием слушает про знакомства ваши с петербургскими литераторами...

Степан Алексеевич, всё время сидевший поодаль, в задумчивости, вдруг поднял голову, покраснел и ожесточенно повернулся в кресле.

– Ты, Фома, меня не задирай, а в покое оставь! – сказал он, гневно смотря на Фому своими маленькими, налитыми кровью глазами. – Мне что твоя литература? Дай только Бог мне здоровья, – пробормотал он себе под нос, – а там хоть бы всех... и с сочинителями-то... волтерьянцы, только и есть!

– Сочинители волтерьянцы-с? – проговорил Ежевикин, немедленно очутившись подле господина Бахчеева. – Совершенную правду изволили изложить, Степан Алексеич. Так и Валентин Игнатьич отзываться

намедни изволили. Меня самого волтерьянцем обозвали – ей-Богу-с; а ведь я, всем известно, так еще мало написал-с... то есть крынка молока у бабы скиснет – всё господин Вольтер виноват! Всё у нас так-с.

– Ну, нет! – заметил дядя с важностью, – это ведь заблуждение! Во́льтер был только острый писатель; смеялся над предубеждениями; а волтерьянцем никогда не бывал! Это всё про него враги распустили. За что ж, в самом деле, всё на него, бедняка?..

Снова раздалось ядовитое хихиканье Фомы Фомича. Дядя с беспокойством посмотрел на него и приметно сконфузился.

– Нет, я, видишь, Фома, всё про журналы, – проговорил он с смущением, желая как-нибудь поправиться. – Ты, брат Фома, совершенно был прав, когда, намедни, внушал, что надо подписываться. Я и сам думаю, что надо! Гм... что ж, в самом деле, просвещение распространяют! Не то, какой же будешь сын отечества, если уж на это не подписаться? не правда ль, Сергей? Гм!., да!., вот хоть «Современник»... Но знаешь, Сережа, самые сильные науки, по-моему, это в том толстом журнале, как бишь его? еще в желтой обертке...

– «Отечественные записки», папочка.

– Ну, да, «Отечественные записки», и превосходное название, Сергей, – не правда ли? так сказать, всё отечество сидит да записывает... Благороднейшая цель! преполезный журнал! и какой толстый! Поди-ка, издай такой дилижанс! А науки такие, что глаза изо лба чуть не выскочат... Намедни прихожу – лежит книга; взял, из любопытства, развернул да три страницы разом и отмахал. Просто, брат, рот разинул! И знаешь, обо всем толкование: что, например, значит метла, лопата, чумичка, ухват? По-моему, метла так метла и есть; ухват так и есть ухват! Нет, брат, подожди! Ухват-то выходит, по-ученому, не ухват, а эмблема или мифология, что ли, какая-то, уж не помню что, а только что-то такое вышло... Вот оно как! До всего дошли!

Не знаю, что именно приготовлялся сделать Фома после этой новой выходки дяди, но в эту минуту появился Гаврила и, понурив голову, стал у порога.

Фома Фомич значительно взглянул на него.

– Готово, Гаврила? – спросил он слабым, но решительным голосом.

– Готово-с, – грустно отвечал Гаврила и вздохнул.

– И узелок мой положил на телегу?

– Положил-с.

– Ну, так и я готов! – сказал Фома и медленно приподнялся с кресла. Дядя в изумлении смотрел на него. Генеральша вскочила с места и с беспокойством озиралась кругом.

– Позвольте мне теперь, полковник, – с достоинством начал Фома, – просить вас оставить на время интересную тему о литературных ухватах; вы можете продолжать ее без меня. Я же, *прощаясь с вами навеки,* хотел бы вам сказать несколько последних слов...

Испуг и изумление оковали всех слушателей.

– Фома! Фома! да что это с тобою? Куда ты сбираешься? – вскричал наконец дядя.

– Я сбираюсь покинуть ваш дом, полковник, – проговорил Фома самым спокойным голосом. – Я решился идти куда глаза глядят и потому нанял на свои деньги простую, мужичью телегу. На ней теперь лежит мой узелок; он не велик: несколько любимых книг, две перемены белья – и только! Я беден, Егор Ильич, но ни за что на свете не возьму теперь вашего золота, от которого я еще и вчера отказался!..

– Но, ради Бога, Фома? что ж это значит? – вскричал дядя, побледнев как платок.

Генеральша взвизгнула и в отчаянии смотрела на Фому Фомича, протянув к нему руки. Девица Перепелицына бросилась ее поддерживать. Приживалки окаменели на своих местах. Господин Бахчеев тяжело поднялся со стула.

– Ну, началась история! – прошептал подле меня Мизинчиков.

В эту минуту послышались отдаленные раскаты грома: начиналась гроза.

IV. ИЗГНАНИЕ

– Вы, кажется, спрашиваете, полковник: «что это значит?» – торжественно проговорил Фома, как бы наслаждаясь всеобщим смущением. – Удивляюсь вопросу! Разъясните же мне, с своей стороны, каким образом *вы* в состоянии смотреть теперь мне прямо в глаза? разъясните мне эту последнюю психологическую задачу из человеческого бесстыдства, и тогда

я уйду, по крайней мере обогащенный новым познанием об испорченности человеческого рода.

Но дядя не в состоянии был отвечать: он смотрел на Фому испуганный и уничтоженный, раскрыв рот, с выкатившимися глазами.

– Господи! какие страсти-с! – простонала девица Перепелицына.

– Понимаете ли, полковник, – продолжал Фома, – что вы должны отпустить меня теперь, просто и без расспросов? В вашем доме даже я, человек пожилой и мыслящий, начинаю уже серьезно опасаться за чистоту моей нравственности. Поверьте, что ни к чему не поведут расспросы, кроме вашего же посрамления.

– Фома! Фома!.. – вскричал дядя, и холодный пот показался на лбу его.

– И потому позвольте без объяснений сказать вам только несколько прощальных и напутственных слов, последних слов моих в вашем, Егор Ильич, доме. Дело сделано, и его не воротишь! Я надеюсь, что вы понимаете, про какое дело я говорю. Но, умоляю вас на коленях: если в сердце вашем осталась хотя искра нравственности, обуздайте стремление страстей своих! И если тлетворный яд еще не охватил всего здания, то, по возможности, потушите пожар!..

– Фома! уверяю тебя, что ты в заблуждении! – вскричал дядя, малопомалу приходя в себя и с ужасом предчувствуя развязку.

– Умерьте страсти свои, – продолжал Фома тем же торжественным тоном, как будто и не слыхав восклицания дяди, – побеждайте себя. «Если хочешь победить весь мир – победи себя!» Вот мое всегдашнее правило. Вы помещик; вы должны бы сиять, как бриллиант, в своих поместьях, и какой же гнусный пример необузданности подаете вы здесь своим низшим! Я молился за вас целые ночи и трепетал, стараясь отыскать ваше счастье. Я не нашел его, ибо счастье заключается в добродетели...

– Но это невозможно же, Фома! – снова прервал его дядя, – ты не так понял и не то совсем говоришь...

– Итак, вспомните, что вы помещик, – продолжал Фома, опять не слыхав восклицания дяди. – Не думайте, чтоб отдых и сладострастие были предназначением помещичьего звания. Пагубная мысль! Не отдых, а забота, и забота перед Богом, царем и отечеством! Трудиться, трудиться обязан помещик, и трудиться, как последний из крестьян его!

– Что ж, я пахать за мужика, что ли, стану? – проворчал Бахчеев, – ведь и я помещик...

– К вам теперь обращаюсь, домашние, – продолжал Фома, обращаясь к Гавриле и Фалалею, появившемуся у дверей, – любите господ ваших и исполняйте волю их подобострастно и с кротостью. За это возлюбят вас и господа ваши. А вы, полковник, будьте к ним справедливы и сострадательны. Тот же человек – образ Божий, так сказать, малолетный, врученный вам, как дитя, царем и отечеством. Велик долг, но велика и заслуга ваша!

– Фома Фомич! голубчик! что ты это задумал? – в отчаянии прокричала генеральша, готовая упасть в обморок от ужаса.

– Ну, довольно, кажется? – закричал Фома, не обращая внимания даже и на генеральшу. – Теперь о подробностях; положим, они мелки, но необходимы, Егор Ильич! В Харинской пустоши у вас до сих пор сено не скошено. Не опоздайте: скосите и скосите скорей. Таков совет мой...

– Но, Фома...

– Вы хотели, – я знаю это, рубить зыряновский участок лесу; – не рубите – другой совет мой. Сохраните леса: ибо леса сохраняют влажность на поверхности земли... Жаль, что вы слишком поздно посеяли яровое; удивительно, как поздно сеяли вы яровое!..

– Но, Фома...

– Но, однако ж, довольно! Всего не передашь, да и не время! Я пришлю к вам наставление письменное, в особой тетрадке. Ну, прощайте, прощайте все. Бог с вами, и да благословит вас Господь! Благословляю и тебя, дитя мое, – продолжал он, обращаясь к Илюше, – и да сохранит тебя Бог от тлетворного яда будущих страстей твоих! Благословляю и тебя, Фалалей; забудь комаринского!.. И вас, и всех... Помните Фому... Ну, пойдем, Гаврила! Подсади меня, старичок.

И Фома направился к дверям. Генеральша взвизгнула и бросилась за ним.

– Нет, Фома! я не пущу тебя так! – вскричал дядя и, догнав его, схватил его за руку.

– Значит, вы хотите действовать насилием? – надменно спросил Фома.

– Да, Фома... и насилием! – отвечал дядя, дрожа от волнения. – Ты слишком много сказал и должен разъяснить! Ты не так прочел мое письмо, Фома!..

– Ваше письмо! – взвизгнул Фома, мгновенно воспламенясь, как будто именно ждал этой минуты для взрыва, – ваше письмо! Вот оно, ваше письмо! вот оно! Я рву это письмо, я плюю на это письмо! я топчу ногами своими ваше письмо и исполняю тем священнейший долг человечества! Вот что я делаю, если вы силой принуждаете меня к объяснениям! Видите! видите! видите!..

И клочки бумаги разлетелись по комнате.

– Повторяю, Фома, ты не понял! – кричал дядя, бледнея всё более и более, – я предлагаю руку, Фома, я ищу своего счастья...

– Руку! Вы обольстили эту девицу и надуваете меня, предлагая ей руку; ибо я видел вас вчера с ней ночью, в саду, под кустами!

Генеральша вскрикнула и, в изнеможении, упала в кресло. Поднялась ужасная суматоха. Бедная Настенька сидела бледная, точно мертвая. Испуганная Сашенька, обхватив Илюшу, дрожала как в лихорадке.

– Фома! – вскричал дядя в исступлении. – Если ты распространишь эту тайну, то ты сделаешь самый подлейший поступок в мире!

– Я распространю эту тайну, – визжал Фома, – и сделаю наиблагороднейший из поступков! Я на то послан самим Богом, чтоб изобличить весь мир в его пакостях! Я готов взобраться на мужичью соломенную крышу и кричать оттуда о вашем гнусном поступке всем окрестным помещикам и всем проезжающим!.. Да, знайте все, все, что вчера, ночью, я застал его с этой девицей, имеющей наиневиннейший вид, в саду, под кустами!..

– Ах, какой срам-с! – пропищала девица Перепелицына.

– Фома! не губи себя! – кричал дядя, сжимая кулаки и сверкая глазами.

– ...А он, – визжал Фома, – он, испугавшись, что я его увидел, осмелился завлекать меня лживым письмом, меня, честного и прямодушного, в потворство своему преступлению – да, преступлению!., ибо из наиневиннейшей доселе девицы вы сделали...

– Еще одно оскорбительное для нее слово, и – я убью тебя, Фома, клянусь тебе в этом!..

– Я говорю это слово, ибо из наиневиннейшей доселе девицы вы успели сделать развратнейшую из девиц!

Едва только произнес Фома последнее слово, как дядя схватил его за плечи, перевернул, как соломинку, и с силою бросил его на стеклянную

дверь, ведшую из кабинета во двор дома. Удар был так силен, что притворенные двери растворились настежь, и Фома, слетев кубарем по семи каменным ступенькам, растянулся на дворе. Разбитые стекла с дребезгом разлетелись по ступеням крыльца.

– Гаврила, подбери его! – вскричал дядя, бледный как мертвец, – посади его на телегу, и чтоб через две минуты духу его не было в Степанчикове!

Что бы ни замышлял Фома Фомич, но уж, верно, не ожидал подобной развязки.

Не берусь описывать то, что было в первые минуты после такого пассажа. Раздирающий душу вопль генеральши, покатившейся в кресле; столбняк девицы Перепелицыной перед неожиданным поступком до сих пор всегда покорного дяди; ахи и охи приживалок; испуганная до обморока Настенька, около которой увивался отец; обезумевшая от страха Сашенька; дядя, в невыразимом волнении шагавший по комнате и дожидавшийся, когда очнется мать; наконец, громкий плач Фалалея, оплакивавшего господ своих, – всё это составляло картину неизобразимую. Прибавлю еще, что в эту минуту разразилась сильная гроза; удары грома слышались чаще и чаще, и крупный дождь застучал в окна.

– Вот-те и праздничек! – пробормотал господин Бахчеев, нагнув голову и растопырив руки.

– Дело худо! – шепнул я ему, тоже вне себя от волнения, – но, по крайней мере, прогнали Фомича и уж не воротят.

– Маменька! опомнились ли вы? легче ли вам? можете ли вы наконец меня выслушать? – спросил дядя, остановясь перед креслом старухи.

Та подняла голову, сложила руки и с умоляющим видом смотрела на сына, которого еще никогда в жизни не видала в таком гневе.

– Маменька! – продолжал он, – чаша переполнена, вы сами видели. Не так хотел я изложить это дело, но час пробил, и откладывать нечего! Вы слышали клевету, выслушайте же и оправдание. Маменька, я люблю эту благороднейшую и возвышеннейшую девицу, люблю давно и не разлюблю никогда. Она осчастливит детей моих и будет для вас самой почтительной дочерью, и потому теперь, при вас, в присутствии родных и друзей моих, я торжественно повергаю мою просьбу к стопам ее и умоляю ее сделать мне бесконечную честь, согласившись быть моею женою!

Настенька вздрогнула, потом вся вспыхнула и вскочила с кресла. Генеральша некоторое время смотрела на сына, как будто не понимая, что такое он ей говорит, и вдруг с пронзительным воплем бросилась перед ним на колени.

– Егорушка, голубчик ты мой, вороти Фому Фомича! – закричала она, – сейчас вороти! не то я к вечеру же помру без него!

Дядя остолбенел, видя старуху мать, своевольную и капризную, перед собой на коленях. Болезненное ощущение отразилось в лице его; наконец опомнившись, бросился он подымать ее и усаживать опять в кресло.

– Вороти Фому Фомича, Егорушка! – продолжала вопить старуха, – вороти его, голубчика! Жить без него не могу!

– Маменька! – горестно вскричал дядя, – или вы ничего не слышали из того, что я вам сейчас говорил? Я не могу воротить Фому – поймите это! не могу и не вправе, после его низкой и подлейшей клеветы на этого ангела чести в добродетели. Понимаете ли вы, маменька, что я обязан, что честь моя повелевает мне теперь восстановить добродетель! Вы слышали: я ищу руки этой девицы и умоляю вас, чтоб вы благословили союз наш.

Генеральша опять сорвалась с своего места и бросилась на колени перед Настенькой.

– Матушка моя! родная ты моя! – завизжала она, – не выходи за него замуж! не выходи за него, а упроси его, матушка, чтоб воротил Фому Фомича! Голубушка ты моя, Настасья Евграфовна! всё тебе отдам, всем тебе пожертвую, коли за него не выйдешь. Я еще не всё, старуха, прожила, у меня еще остались крохи после моего покойничка. Всё твое, матушка, всем тебя одарю, да и Егорушка тебя одарит, только не клади меня живую во гроб, упроси Фому Фомича воротить!..

И долго бы еще выла и завиралась старуха, если б Перепелицына и все приживалки с визгами и стенаниями не бросились ее подымать, негодуя, что она на коленях перед нанятой гувернанткой. Настенька едва устояла на месте от испуга, а Перепелицына даже заплакала от злости.

– Смертью уморите вы маменьку-с, – кричала она дяде, – смертью уморят-с! А вам, Настасья Евграфовна, не следовало бы ссорить маменьку-с с ихним сыном-с; это и Господь Бог запрещает-с...

– Анна Ниловна, удержите язык! – вскричал дядя. – Я довольно терпел!..

– Да и я довольно от вас натерпелась-с. Что вы сиротством моим меня попрекаете-с? Долго ли обидеть сироту? Я еще не ваша раба-с! Я сама подполковничья дочь-с! Ноги моей не будет-с в вашем доме, не будет-с... сегодня же-с!..

Но дядя не слушал: он подошел к Настеньке и с благоговением взял ее за руку.

– Настасья Евграфовна! вы слышали мое предложение? – проговорил он, смотря на нее с тоскою, почти с отчаянием.

– Нет, Егор Ильич, нет! уж оставим лучше, – отвечала Настенька, в свою очередь совершенно упав духом. – Это всё пустое, – продолжала она, сжимая его руки и заливаясь слезами. – Это вы после вчерашнего так... но не может этого быть, вы сами видите. Мы ошиблись, Егор Ильич... А я о вас всегда буду помнить, как о моем благодетеле и... и вечно, вечно буду молиться за вас!..

Тут слезы прервали ее голос. Бедный дядя, очевидно, предчувствовал этот ответ; он даже и не думал возражать, настаивать... Он слушал, наклонясь к ней, всё еще держа ее за руку, безмолвный и убитый. Слезы показались в глазах его.

– Я еще вчера сказала вам, – продолжала Настя, – что не могу быть вашей женою. Вы видите: меня не хотят у вас... а я всё это давно, уж заранее предчувствовала; маменька ваша не даст нам благословения... *другие* тоже. Вы сами, хоть и не раскаетесь потом, потому что вы великодушнейший человек, но все-таки будете несчастны из-за меня... с вашим добрым характером...

– Именно с *добрым характером-с!* именно *добренькие-с!* так, Настенька, так! – поддакнул старик отец, стоявший по другую сторону кресла, – именно, вот это-то вот словечко и надо было упомянуть-с.

– Я не хочу через себя раздор поселять в вашем доме, – продолжала Настенька. – А обо мне не беспокойтесь, Егор Ильич: меня никто не тронет, никто не обидит... я пойду к папеньке... сегодня же... Лучше уж простимся, Егор Ильич...

И бедная Настенька опять залилась слезами.

– Настасья Евграфовна! неужели это последнее ваше слово? – проговорил дядя, смотря на нее с невыразимым отчаянием. – Скажите одно только слово – и я жертвую вам всем!..

– Последнее, последнее, Егор Ильич-с, – подхватил опять Ежевикин, – и она вам так хорошо это всё объяснила, что я даже, признаться, и не ожидал-с. Наидобрейший вы человек, Егор Ильич, именно наидобрейший-с, и чести нам много изволили оказать-с! много чести, много чести-с!.. А все-таки мы вам не пара, Егор Ильич. Вам нужно такую невесту, Егор Ильич-с, чтоб была и богатая, и знатная-с, и раскрасавица-с, и с голосом тоже была бы-с, и чтоб вся в брильянтах да в страусовых перьях по комнатам вашим ходила-с... Тогда и Фома Фомич, может, уступочку сделают-с... и благословят-с! А Фому-то Фомича вы воротите-с. Напрасно, напрасно изволили его так изобидеть-с! он ведь из добродетели, от излишнего жару-с так наговорил-с... Сами будете потом говорить-с, что из добродетели, – увидите-с! Наидостойнейший человек-с. А вот теперь перемокнет-с... Уж лучше бы теперь воротить-с... потому что ведь придется же воротить-с...

– Вороти! вороти его! – закричала генеральша, – он, голубчик мой, правду тебе говорит!..

– Да-с, – продолжал Ежевикин, – вот и родительница ваша убиваться изволят – понапрасну-с... Воротите-ка-с! А мы уж с Настей тем временем и в поход-с...

– Подожди, Евграф Ларионыч! – вскричал дядя, – умоляю! Еще одно слово будет, Евграф, одно только слово...

Сказав это, он отошел, сел в углу, в кресло, склонил голову и закрыл руками глаза, как будто что-то обдумывая.

В эту минуту страшный удар грома разразился чуть не над самым домом. Всё здание потряслось. Генеральша закричала, Перепелицына тоже, приживалки крестились, оглупев от страха, а вместе с ними и господин Бахчеев.

– Батюшка, Илья-пророк! – прошептали пять или шесть голосов, все вместе, разом.

Вслед за громом полился такой страшный ливень, что, казалось, целое озеро опрокинулось вдруг над Степанчиковым.

– А Фома-то Фомич, что с ним теперь в поле-то будет-с? – пропищала девица Перепелицына.

– Егорушка, вороти его! – вскричала отчаянным голосом генеральша и, как безумная, бросилась к дверям. Ее удержали приживалки; они окружили ее, утешали, хныкали, визжали. Содом был ужаснейший!

– В одном сюртуке пошли-с: хоть бы шинельку-то взяли с собой-с! – продолжала Перепелицына. – Зонтика тоже не взяли-с. Убьет их теперь молоньёй-то-с!..

– Непременно убьет! – подхватил Бахчеев, – да еще и дождем потом смочит.

– Хоть бы вы-то молчали! – прошептал я ему.

– Да ведь он человек али нет? – гневно отвечал мне Бахчеев. – Ведь не собака. Небось сам-то не выйдешь на улицу. Ну-тка, поди, покупайся, для плезиру.

Предчувствуя развязку и опасаясь за нее, я подошел к дяде, который как будто оцепенел в своем кресле.

– Дядюшка, – сказал я, наклоняясь к его уху, – неужели вы согласитесь воротить Фому Фомича? Поймите, что это будет верх неприличия, по крайней мере, покамест здесь Настасья Евграфовна.

– Друг мой, – отвечал дядя, подняв голову и с решительным видом смотря мне в глаза, – я судил себя в эту минуту и теперь знаю, что должен делать! Не беспокойся, обиды Насте не будет – я так устрою...

Он встал со стула и подошел к матери.

– Маменька! – сказал он, – успокойтесь: я ворочу Фому Фомича, я догоню его: он не мог еще далеко отъехать. Но клянусь, он воротится только на единственном условии: здесь, публично, в кругу всех свидетелей оскорбления, он должен будет сознаться в вине своей и торжественно просить прощения у этой благороднейшей девицы. Я достигну этого! Я его заставлю!.. Иначе он не перейдет через порог этого дома! Клянусь вам тоже, маменька, торжественно: если он согласится на это сам, добровольно, то я готов буду броситься к ногам его и отдам ему всё, всё, что могу отдать, не обижая детей моих! Сам же я, с сего же дня, от всего отстраняюсь. Закатилась звезда моего счастья! Я оставляю Степанчиково. Живите здесь все покойно и счастливо. Я же еду в полк – ив бурях брани, на поле битвы, проведу отчаянную судьбу мою... Довольно! еду!

В эту минуту отворилась дверь, и Гаврила, весь измокший, весь в грязи, до невозможности, предстал перед смятенною публикой.

– Что с тобой? откуда? Где Фома? – вскричал дядя, бросаясь к Гавриле.

За ним бросились все и с жадным любопытством окружили старика, с которого грязная вода буквально стекала ручьями. Визги, ахи, крики сопровождали каждое слово Гаврилы.

– У березника оставил, версты полторы отсюдова, – начал он плачевным голосом. – Лошадь молоньи испужалась и в канаву бросилась.

– Ну... – вскричал дядя.

– Телега перевалилась...

– Ну... а Фома?

– В канаву упали-с.

– Да ну же, досказывай, истязатель!

– Бок отшибли-с и заплакали-с. Я лошадь выпряг, да верхом и прибыл сюда доложить-с.

– А Фома там остался?

– Встал и пошел себе дальше с палочкой, – заключил Гаврила, потом вздохнул и понурил голову.

Слезы и рыдания дамского пола были неизобразимы.

– Полкана! – закричал дядя и бросился вон из комнаты. Полкана подали; дядя вскочил на него, неоседланного, и чрез минуту топот лошадиных копыт возвестил нам о начавшейся погоне за Фомой Фомичом. Дядя ускакал даже без фуражки.

Дамы побросались к окнам. Среди ахов и стонов слышались и советы. Толковали о немедленной теплой ванне, об растирании Фомы Фомича спиртом, о грудном чае, о том, что Фома Фомич крошечки хлебца-с «с утра в рот не брали-с и что они теперь натощак-с». Девица Перепелицына нашла забытые им очки, в футляре, и находка произвела необыкновенный эффект: генеральша бросилась на них с воплями и слезами и, не выпуская их из рук, снова припала к окну смотреть на дорогу. Ожидание дошло наконец до самой последней степени напряжения... В другом углу Сашенька утешала Настю: они обнялись и плакали. Настенька держала за руку Илюшу и поминутно целовала его, прощаясь с своим учеником. Илюша плакал навзрыд, еще сам не зная чему. Ежевикин и Мизинчиков толковали о чем-то в стороне. Мне показалось, что Бахчеев, смотря на девиц, как будто тоже приготовлялся захныкать. Я подошел к нему.

– Нет, батюшка, – сказал он мне, – Фома-то Фомич, пожалуй бы, и удалился отсюда, да время еще тому не пришло: золоторогих быков еще

под экипаж ему не достали! Не беспокойтесь, батюшка, хозяев из дому выживет и сам останется!

Гроза прошла, и господин Бахчеев, видимо, изменил свои убеждения.

Вдруг раздалось: «Ведут! ведут!» – и дамы с визгом побросались к дверям. Не прошло еще десяти минут после отъезда дяди: казалось, невозможно бы так скоро привести Фому Фомича; но загадка объяснилась потом очень просто: Фома Фомич, отпустив Гаврилу, действительно «пошел себе с палочкой»; но, почувствовав себя в совершенном уединении, среди бури, грома и ливня, препостыдно струсил, повоpотил в Степанчиково и побежал вслед за Гаврилой. Дядя захватил его уже на селе. Тотчас же остановили одну проезжавшую мимо телегу; сбежались мужики и посадили в нее присмиревшего Фому Фомича. Так и доставили его прямо в отверстые объятия генеральши, которая чуть не обезумела от ужаса, увидя, в каком он положении. Он был еще грязнее и мокрее Гаврилы. Суета поднялась ужаснейшая: хотели тотчас же тащить его наверх, чтоб переменить белье; кричали о бузине и о других крепительных средствах, метались во все стороны без всякого толку; говорили все зараз... Но Фома как будто не замечал никого и ничего. Его ввели под руки. Добравшись до своего кресла, он тяжело опустился в него и закрыл глаза. Кто-то закричал, что он умирает: поднялся ужаснейший вой; но более всех ревел Фалалей, стараясь пробиться сквозь толпу барынь к Фоме Фомичу, чтобы немедленно поцеловать у него ручку...

V. ФОМА ФОМИЧ СОЗИДАЕТ ВСЕОБЩЕЕ СЧАСТЬЕ

– Куда это меня привели? – проговорил наконец Фома голосом умирающего за правду человека.

– Проклятая размазня! – прошептал подле меня Мизинчиков, – точно не видит, куда его привели. Вот ломаться-то теперь будет!

– Ты у нас, Фома, ты в кругу своих! – вскричал дядя. – Ободрись, успокойся! И, право, переменил бы ты теперь костюм, Фома, а то заболеешь... Да не хочешь ли подкрепиться – а? так, этак... рюмочку маленькую чего-нибудь, чтоб согреться...

– Малаги бы я выпил теперь, – простонал Фома, снова закрывая глаза.

– Малаги? навряд ли у нас и есть! – сказал дядя, с беспокойством смотря на Прасковью Ильиничну.

– Как не быть! – подхватила Прасковья Ильинична, – целые четыре бутылки остались, – и тотчас же, гремя ключами, побежала за малагой, напутствуемая криками всех дам, облепивших Фому, как мухи варенье. Зато господин Бахчеев был в самой последней степени негодования.

– Малаги захотел! – проворчал он чуть не вслух. – И вина-то такого спросил, что никто не пьет! Ну, кто теперь пьет малагу, кроме такого же, как он, подлеца? Тьфу, вы, проклятые! Ну, я-то чего тут стою? чего я-то тут жду?

– Фома! – начал дядя, сбиваясь на каждом слове, – вот теперь... когда ты отдохнул и опять вместе с нами... то есть, я хотел сказать, Фома, что понимаю, как давеча, обвинив, так сказать, невиннейшее создание...

– Где, где она, моя невинность? – подхватил Фома, как будто был в жару и в бреду, – где золотые дни мои? где ты, мое золотое детство, когда я, невинный и прекрасный, бегал по полям за весенней бабочкой? где, где это время? Воротите мне мою невинность, воротите ее!..

И Фома, растопырив руки, обращался ко всем поочередно, как будто невинность его была у кого-нибудь из нас в кармане. Бахчеев готов был лопнуть от гнева.

– Эк чего захотел! – проворчал он с яростью. – Подайте ему его невинность! Целоваться, что ли, он с ней хочет? Может, и мальчишкой-то был уж таким же разбойником, как и теперь! присягну, что был.

– Фома!.. – начал было опять дядя.

– Где, где они, те дни, когда я еще веровал в любовь и любил человека? – кричал Фома, – когда я обнимался с человеком и плакал на груди его? а теперь – где я? где я?

– Ты у нас, Фома, успокойся! – крикнул дядя, – а я вот что хотел тебе сказать, Фома...

– Хоть бы вы-то уж теперь помолчали-с, – прошипела Перепелицына, злобно сверкнув своими змеиными глазками.

– Где я? – продолжал Фома, – кто кругом меня? Это буйволы и быки, устремившие на меня рога свои. Жизнь, что же ты такое? Живи, живи, будь обесчещен, опозорен, умален, избит, и когда засыплют песком твою могилу, тогда только опомнятся люди, и бедные кости твои раздавят монументом!

– Батюшки, о монументах заговорил! – прошептал Ежевикин, сплеснув руками.

– О, не ставьте мне монумента! – кричал Фома, – не ставьте мне его! Не надо мне монументов! В сердцах своих воздвигните мне монумент, а более ничего не надо, не надо, не надо!

– Фома! – прервал дядя, – полно! успокойся! нечего говорить о монументах. Ты только выслушай... Видишь, Фома, я понимаю, что ты, может быть, так сказать, горел благородным огнем, упрекая меня давеча; но ты увлекся, Фома, за черту добродетели – уверяю тебя, ты ошибся, Фома...

– Да перестанете ли вы-с? – запищала опять Перепелицына, – убить, что ли, вы несчастного человека хотите-с, потому что они в ваших руках-с?..

Вслед за Перепелицыной встрепенулась и генеральша, а за ней и вся ее свита; все замахали на дядю руками, чтоб он остановился.

– Анна Ниловна, молчите вы сами, а я знаю, что говорю! – с твердостью отвечал дядя. – Это дело святое! дело чести и справедливости. Фома! ты рассудителен, ты должен сей же час испросить прощение у благороднейшей девицы, которую ты оскорбил.

– У какой девицы? какую девицу я оскорбил? – проговорил Фома, в недоумении обводя всех глазами, как будто совершенно забыв всё происшедшее и не понимая, о чем идет дело.

– Да, Фома, и если ты теперь сам, своей волей, благородно сознаешься в вине своей, то, клянусь тебе, Фома, я паду к ногам твоим, и тогда...

– Кого же это я оскорбил? – вопил Фома, – какую девицу? Где она? где эта девица? Напомните мне хоть что-нибудь об этой девице!..

В эту минуту Настенька, смущенная и испуганная, подошла к Егору Ильичу и дернула его за рукав.

– Нет, Егор Ильич, оставьте его, не надо извинений! к чему это всё? – говорила она умоляющим голосом. – Бросьте это!..

– А! теперь я припоминаю! – вскричал Фома. – Боже! я припоминаю! О, помогите, помогите мне припоминать! – просил он, по-видимому, в ужасном волнении. – Скажите: правда ли, что меня изгнали отсюда, как шелудивейшую из собак? Правда ли, что молния поразила меня? Правда ли, что меня вышвырнули отсюда с крыльца? Правда ли? правда ли это?

Плач и вопли дамского пола были красноречивейшим ответом Фоме Фомичу.

– Так, так! – твердил он, – я припоминаю... я припоминаю теперь, что после молнии и падения моего я бежал сюда, преследуемый громом, чтоб исполнить свой долг и исчезнуть навеки! Приподымите меня! Как ни слаб я теперь, но должен исполнить свою обязанность.

Его тотчас приподняли с кресла. Фома стал в положение оратора и протянул свою руку.

– Полковник! – вскричал он, – теперь я очнулся совсем; гром еще не убил во мне умственных способностей; осталась, правда, глухота в правом ухе, происшедшая, может быть, не столько от грома, сколько от падения с крыльца... Но что до этого! И какое кому дело до правого уха Фомы!

Последним словам своим Фома придал столько печальной иронии и сопровождал их такою жалобною улыбкою, что стоны тронутых дам раздались снова. Все они с укором, а иные с яростью смотрели на дядю, уже начинавшего понемногу уничтожаться перед таким согласным выражением всеобщего мнения. Мизинчиков плюнул и отошел к окну. Бахчеев всё сильнее и сильнее подталкивал меня локтем; он едва стоял на месте...

– Теперь слушайте же все мою исповедь! – возопил Фома, обводя всех гордым и решительным взглядом, – а вместе с тем и решите судьбу несчастного Опискина. Егор Ильич! давно уже я наблюдал за вами, наблюдал с замиранием моего сердца и видел всё, всё, тогда как вы еще и не подозревали, что я наблюдаю за вами. Полковник! я, может быть, ошибался, но я знал ваш эгоизм, ваше неограниченное самолюбие, ваше феноменальное сластолюбие, и кто обвинит меня, что я поневоле затрепетал о чести наиневиннейшей из особ?

– Фома, Фома!., ты, впрочем, не очень распространяйся, Фома! – вскричал дядя, с беспокойством смотря на страдальческое выражение в лице Настеньки.

– Не столько невинность и доверчивость этой особы, сколько ее неопытность смущала меня, – продолжал Фома, как будто и не слыхав предостережения дяди. – Я видел, что нежное чувство расцветает в ее сердце, как вешняя роза, и невольно припоминал Петрарку, сказавшего, что «невинность так часто бывает на волосок от погибели». Я вздыхал, стонал, и хотя за эту девицу, чистую, как жемчужина, я готов был отдать всю кровь мою на поруки, но кто мог мне поручиться за вас, Егор Ильич?

Зная необузданное стремление страстей ваших, зная, что вы всем готовы пожертвовать для минутного их удовлетворения, я вдруг погрузился в бездну ужаса и опасений насчет судьбы наиблагороднейшей из девиц...

– Фома! неужели ты мог это подумать? – вскричал дядя.

– С замиранием моего сердца я следил за вами. Если хотите узнать о том, как я страдал, спросите у Шекспира: он расскажет вам в своем «Гамлете» о состоянии души моей. Я сделался мнителен и ужасен. В беспокойстве моем, в негодовании моем, я видел всё в черном цвете, и это был не тот «черный цвет», о котором поется в известном романсе, – будьте уверены! Оттого-то и видели вы мое тогдашнее желание удалить *ее* из этого дома: я хотел спасти ее; оттого-то и видели вы меня во всё последнее время раздражительным и злобствующим на весь род человеческий. О! кто примирит меня теперь с человечеством? Чувствую, что я, может быть, был взыскателен и несправедлив к гостям вашим, к племяннику вашему, к господину Бахчееву, требуя от него астрономии; но кто обвинит меня за тогдашнее состояние души моей? Ссылаясь опять на Шекспира, скажу, что будущность представлялась мне как мрачный омут неведомой глубины, на дне которого лежал крокодил. Я чувствовал, что моя обязанность предупредить несчастие, что я поставлен, что я произведен для этого, – и что же? вы не поняли наиблагороднейших побуждений души моей и платили мне во всё это время злобой, неблагодарностью, насмешками, унижениями...

– Фома! если так... конечно, я чувствую... – вскричал дядя в чрезвычайном волнении.

– Если вы действительно чувствуете, полковник, то благоволите дослушать, а не прерывать меня. Продолжаю: вся вина моя, следственно, состояла в том, что я слишком убивался о судьбе и счастье этого дитяти; ибо она еще дитя перед вами. Высочайшая любовь к человечеству сделала меня в это время каким-то бесом гнева и мнительности. Я готов был кидаться на людей и терзать их. И знаете ли, Егор Ильич, что все поступки ваши, как нарочно, поминутно подтверждали мою мнительность и удостоверяли меня во всех подозрениях моих? Знаете ли, что вчера, когда вы осыпали меня своим золотом, чтоб удалить меня от себя, я подумал: «Он удаляет от себя, в лице моем, свою совесть, чтоб удобнее совершить преступление...»

– Фома, Фома! неужели ты это думал вчера? – с ужасом вскричал дядя. – Господи Боже, а я-то ничего и не подозревал!

– Само небо внушило мне эти подозрения, – продолжал Фома. – И решите сами, что мог я подумать, когда слепой случай привел меня в тот же вечер к той роковой скамейке в саду? Что почувствовал я в эту минуту – о Боже! – увидев наконец собственными своими глазами, что все подозрения мои оправдались вдруг самым блистательным образом? Но мне еще оставалась одна надежда, слабая, конечно, но всё же надежда – и что же? Сегодня утром вы разрушаете ее сами в прах и в обломки! Вы присылаете мне письмо ваше; вы выставляете намерение жениться; умоляете не разглашать... «Но почему же, – подумал я, – почему же он написал именно теперь, когда уже я застал его, а не прежде? Почему же прежде он не прибежал ко мне, счастливый и прекрасный – ибо любовь украшает лицо, – почему не бросился он тогда в мои объятия, не заплакал на груди моей слезами беспредельного счастья и не поведал мне всего, всего?» Или я крокодил, который бы только сожрал вас, а не дал бы вам полезного совета? Или я какой-нибудь отвратительный жук, который бы только укусил вас, а не способствовал вашему счастью? «Друг ли я его или самое гнуснейшее из насекомых?» – вот вопрос, который я задал себе нынче утром! «Для чего, наконец, – думал я, – для чего же выписывал он из столицы своего племянника и сватал его к этой девице, как не для того, чтоб обмануть и нас, и *легкомысленного* племянника, а между тем втайне продолжать преступнейшее из намерений?» Нет, полковник, если кто утвердил во мне мысль, что взаимная любовь ваша преступна, то это вы сами, и одни только вы! Мало того, вы преступник и перед этой девицей, ибо ее, чистую и благонравную, через вашу же неловкость и эгоистическую недоверчивость вы подвергли клевете и тяжким подозрениям!

Дядя молчал, склонив голову: красноречие Фомы, видимо, одержало верх над всеми его возражениями, и он уже сознавал себя полным преступником. Генеральша и ее общество молча и с благоговением слушали Фому, а Перепелицына с злобным торжеством смотрела на бедную Настеньку.

– Пораженный, раздраженный, убитый, – продолжал Фома, – я заперся сегодня на ключ и молился, да внушит мне Бог правые мысли! Наконец положил я: в последний раз и публично испытать вас. Я, может быть, слишком горячо принялся, может быть, слишком предался моему

негодованию; но за благороднейшие побуждения мои вы вышвырнули меня из окошка! Падая из окошка, я думал про себя: «Вот так-то всегда на свете вознаграждается добродетель!» Тут я ударился оземь и затем едва помню, что со мною дальше случилось!

Визги и стоны прервали Фому Фомича при этом трагическом воспоминании. Генеральша бросилась было к нему, с бутылкой малаги в руках, которую она только что перед этим вырвала из рук воротившейся Прасковьи Ильиничны, но Фома величественно отвел рукой и малагу, и генеральшу.

– Остановитесь! – вскричал он, – мне надо кончить. Что случилось после моего падения – не знаю. Знаю только одно, что теперь, мокрый и готовый схватить лихорадку, я стою здесь, чтоб составить ваше обоюдное счастье. Полковник! по многим признакам, которых я не хочу теперь объяснять, я уверился наконец, что любовь ваша была чиста и даже возвышенна, хотя вместе с тем и преступно недоверчива. Избитый, униженный, подозреваемый в оскорблении девицы, за честь которой я, как рыцарь средних веков, готов был пролить до капли всю кровь мою, – я решаюсь теперь показать вам, как мстит за свои обиды Фома Опискин. Протяните мне вашу руку, полковник!

– С удовольствием, Фома! – вскричал дядя, – и так как ты вполне объяснился теперь о чести благороднейшей особы, то... разумеется... вот тебе рука моя, Фома, вместе с моим раскаянием...

И дядя с жаром подал ему руку, не подозревая еще, что из этого выйдет.

– Дайте и вы мне вашу руку, – продолжал Фома, слабым голосом, раздвигая дамскую сбившуюся около него толпу, и обращаясь к Настеньке.

Настенька смутилась, смешалась и робко смотрела на Фому.

– Подойдите, подойдите, милое мое дитя! Это необходимо для вашего счастья, – ласково прибавил Фома, всё еще продолжая держать руку дяди в своих руках.

– Что это он затевает? – проговорил Мизинчиков.

Настя, испуганная и дрожащая, медленно подошла к Фоме и робко протянула ему свою ручку.

Фома взял эту ручку и положил ее в руку дяди.

– Соединяю и благословляю вас, – произнес он самым торжественным голосом, – и если благословение убитого горем страдальца может

послужить вам в пользу, то будьте счастливы. Вот как мстит Фома Опискин! Урра!

Всеобщее изумление было беспредельно. Развязка была так неожиданна, что на всех нашел какой-то столбняк. Генеральша как была, так и осталась с разинутым ртом и с бутылкой малаги в руках. Перепелицына побледнела и затряслась от ярости. Приживалки всплеснули руками и окаменели на своих местах. Дядя задрожал и хотел что-то проговорить, но не мог. Настя побледнела, как мертвая, и робко проговорила, что «это нельзя»... – но уже было поздно. Бахчеев первый – надо отдать ему справедливость – подхватил «ура» Фомы Фомича, за ним я, за мною, во весь свой звонкий голосок, Сашенька, тут же бросившаяся обнимать отца; потом Илюша, потом Ежевикин; после всех уж Мизинчиков.

– Ура! – крикнул другой раз Фома, – урра! И на колени, дети моего сердца, на колени перед нежнейшею из матерей! Просите ее благословения, и, если надо, я сам преклоню перед нею колени, вместе с вами...

Дядя и Настя, еще не взглянув друг на друга, испуганные и, кажется, не понимавшие, что с ними делается, упали на колени перед генеральшей; все столпились около них; но старуха стояла как будто ошеломленная, совершенно не понимая, как ей поступить. Фома помог и этому обстоятельству: он сам повергся перед своей покровительницей. Это разом уничтожило все ее недоумения. Заливаясь слезами, она проговорила наконец, что согласна. Дядя вскочил и стиснул Фому в объятиях.

– Фома, Фома!.. – проговорил он, но голос его осекся, и он не мог продолжать.

– Шампанского! – заревел Степан Алексеевич. – Урра!

– Нет-с, не шампанского-с, – подхватила Перепелицына, которая уже успела опомниться и сообразить все обстоятельства, а вместе с тем и последствия, – а свечку Богу зажечь-с, образу помолиться, да образом и благословить-с, как всеми набожными людьми исполняется-с...

Тотчас же все бросились исполнять благоразумный совет; поднялась ужасная суетня. Надо было засветить свечу. Степан Алексеевич подставил стул и полез приставлять свечу к образу, но тотчас же подломил стул и тяжело соскочил на пол, удержавшись, впрочем, на ногах. Нисколько не рассердившись, он тут же с почтением уступил место Перепелицыной. Тоненькая Перепелицына мигом обделала дело: свеча зажглась. Мона-

шенка и приживалки начали креститься и класть земные поклоны. Сняли образ Спасителя и поднесли генеральше. Дядя и Настя снова стали на колени, и церемония совершилась при набожных наставлениях Перепелицыной, поминутно приговаривавшей: «В ножки-то поклонитесь, к образу-то приложитесь, ручку-то у мамаши поцелуйте-с!» После жениха и невесты к образу почел себя обязанным приложиться и господин Бахчеев, причем тоже поцеловал у матушки-генеральши ручку. Он был в восторге неописанном.

– Урра! – закричал он снова. – Вот теперь так уж выпьем шампанского!

Впрочем, и все были в восторге. Генеральша плакала, но теперь уж слезами радости: союз, благословленный Фомою, тотчас же сделался в глазах ее и приличным и священным, – а главное, она чувствовала, что Фома Фомич отличился и что теперь уж останется с нею на веки веков. Все приживалки, по крайней мере с виду, разделяли всеобщий восторг. Дядя то становился перед матерью на колени и целовал ее руки, то бросался обнимать меня, Бахчеева, Мизинчикова и Ежевикина. Илюшу он чуть было не задушил в своих объятиях. Саша бросилась обнимать и целовать Настеньку, Прасковья Ильинична обливалась слезами. Господин Бахчеев, заметив это, подошел к ней – к ручке. Старикашка Ежевикин расчувствовался и плакал в углу, обтирая глаза своим клетчатым, вчерашним платком. В другом углу хныкал Гаврила и с благоговением смотрел на Фому Фомича, а Фалалей рыдал во весь голос, подходил ко всем и тоже целовал у всех руки. Все были подавлены чувством. Никто еще не начинал говорить, никто не объяснялся; казалось, всё уже было сказано; раздавались только радостные восклицания. Никто не понимал еще, как это всё вдруг, так скоро и просто устроилось. Знали только одно, что всё это сделал Фома Фомич и что это факт насущный и непреложный.

Но еще и пяти минут не прошло после всеобщего счастья, как вдруг между нами явилась Татьяна Ивановна. Каким образом, каким чутьем могла она так скоро, сидя у себя наверху, узнать про любовь и про свадьбу? Она впорхнула с сияющим лицом, со слезами радости на глазах, в обольстительно изящном туалете (наверху она-таки успела переодеться) и прямо, с громкими криками, бросилась обнимать Настеньку.

– Настенька, Настенька! ты любила его, а я и не знала, – вскричала она. – Боже! они любили друг друга, они страдали в тишине, втайне! их преследовали! Какой роман! Настя, голубчик мой, скажи мне всю правду: неужели ты в самом деле любишь этого безумца?

Вместо ответа Настя обняла ее и поцеловала.

– Боже, какой очаровательный роман! – и Татьяна Ивановна захлопала от восторга в ладоши. – Слушай, Настя, слушай, ангел мой: все эти мужчины, все до единого – неблагодарные, изверги и не стоят нашей любви. Но, может быть, он лучший из них. Подойди ко мне, безумец! – вскричала она, обращаясь к дяде и хватая его за руку, – неужели ты влюблен? неужели ты способен любить? Смотри на меня: я хочу посмотреть тебе в глаза; я хочу видеть, лгут ли эти глаза или нет? Нет, нет, они не лгут: в них сияет любовь. О, как я счастлива! Настенька, друг мой, послушай, ты не богата: я подарю тебе тридцать тысяч. Возьми, ради Бога! Мне не надо, не надо; мне еще много останется. Нет, нет, нет, нет! – закричала она и замахала руками, увидя, что Настя хочет отказываться. – Молчите и вы, Егор Ильич, это не ваше дело. Нет, Настя, я уж так положила – тебе подарить; я давно хотела тебе подарить и только дожидалась первой любви твоей... Я буду смотреть на ваше счастье. Ты обидишь меня, если не возьмешь; я буду плакать, Настя... Нет, нет, нет и нет!

Татьяна Ивановна была в таком восторге, что в эту минуту, по крайней мере, невозможно, даже жаль было ей возражать. На это и не решились, а отложили до другого времени. Она бросилась целовать генеральшу, Перепелицыну – всех нас. Бахчеев почтительнейшим образом протеснился к ней и попросил и у ней ручку.

– Матушка ты моя! голубушка ты моя! прости ты меня, дурака, за давешнее: не знал я твоего золотого сердечка!

– Безумец! я давно тебя знаю, – с восторженною игривостью пролепетала Татьяна Ивановна, ударила Степана Алексеевича по носу перчаткой и порхнула от него, как зефир, задев его своим пышным платьем. Толстяк почтительно посторонился.

– Достойнейшая девица! – проговорил он с умилением. – А нос-то немцу ведь подклеили! – шепнул он мне конфиденциально, радостно смотря мне в глаза.

– Какой нос? какому немцу? – спросил я в удивлении.

– А вот выписному-то, что ручку-то у своей немки целует, а та слезу платком вытирает. Евдоким у меня починил вчера еще; а давеча, как воротились с погони, я и послал верхового... Скоро привезут. Превосходная вещь!

– Фома! – вскричал дядя, в исступленном восторге, – ты виновник нашего счастья! Чем могу я воздать тебе?

– Ничем, полковник, – отвечал Фома с постной миной. – *Продолжайте не обращать на меня внимания* и будьте счастливы без Фомы.

Он был, очевидно, пикирован: среди всеобщих излияний о нем как будто и забыли.

– Это всё от восторга, Фома! – вскричал дядя. – Я, брат, уж и не помню, где и стою. Слушай, Фома: я обидел тебя. Всей жизни моей, всей крови моей недостанет, чтоб удовлетворить твою обиду, и потому я молчу, даже не извиняюсь. Но если когда-нибудь тебе понадобится моя голова, моя жизнь, если надо будет броситься за тебя в разверстую бездну, то повелевай и увидишь... Я больше ничего не скажу, Фома.

И дядя махнул рукой, вполне сознавая невозможность прибавить что-нибудь еще, что б сильнее могло выразить его мысль. Он только глядел на Фому благодарными, полными слез глазами.

– Вот они какие ангелы-с! – пропищала, в свою очередь, в похвалу Фоме, девица Перепелицына.

– Да, да! – подхватила Сашенька, – я и не знала, что вы такой хороший человек, Фома Фомич, и была к вам непочтительна. А вы простите меня, Фома Фомич, и уж будьте уверены, что я буду вас всем сердцем любить. Если б вы знали, как я теперь вас почитаю!

– Да, Фома! – подхватил Бахчеев, – прости и ты меня, дурака! не знал я тебя, не знал! Ты, Фома Фомич, не только ученый, но и – просто герой! Весь дом мой к твоим услугам. А лучше всего приезжай-ка, брат, ко мне послезавтра, да уж и с матушкой-генеральшей, да уж и с женихом и невестой, – да чего тут! всем домом ко мне! то есть вот как пообедаем, – заранее не похвалюсь, а одно скажу: только птичьего молока для вас не достану! Великое слово даю!

Среди этих излияний подошла к Фоме Фомичу и Настенька и, без дальних слов, крепко обняла его и поцеловала.

– Фома Фомич! – сказала она, – вы наш благодетель; вы столько для нас сделали, что я и не знаю, чем вам заплатить за всё это, а только знаю, что буду для вас самой нежной, самой почтительной сестрой...

Она не могла договорить: слезы заглушили слова ее. Фома поцеловал ее в голову и сам прослезился.

– Дети мои, дети моего сердца! – сказал он. – Живите, цветите и, в минуты счастья, вспоминайте когда-нибудь про бедного изгнанника! Про себя же скажу, что несчастье есть, может быть, мать добродетели. Это сказал, кажется, Гоголь, писатель легкомысленный, но у которого бывают иногда зернистые мысли. Изгнание есть несчастье! Скитальцем пойду я теперь по земле с моим посохом, и кто знает? может быть, через несчастья мои я стану еще добродетельнее! Эта мысль – единственное оставшееся мне утешение!

– Но... куда же ты уйдешь, Фома? – в испуге вскричал дядя.

Все вздрогнули и устремились к Фоме.

– Но разве я могу оставаться в вашем доме после давешнего вашего поступка, полковник? – спросил Фома с необыкновенным достоинством.

Но ему не дали говорить: общие крики заглушили слова его. Его усадили в кресло; его упрашивали, его оплакивали, и уж не знаю, что еще с ним делали. Конечно, и в мыслях его не было выйти из «этого дома», так же, как и давеча не было, как не было и вчера, как не было и тогда, когда он копал в огороде. Он знал, что теперь его набожно остановят, уцепятся за него, особенно когда он всех осчастливил, когда все в него снова уверовали, когда все готовы были носить его на руках и почитать это за честь и за счастье. Но, вероятно, давешнее, малодушное его возвращение, когда он испугался грозы, несколько щекотало его амбицию и подстрекало его еще как-нибудь погеройствовать; а главное – предстоял такой соблазн поломаться; можно было так хорошо поговорить, расписать, размазать, расхвалить самого себя, что не было никакой возможности противиться искушению. Он и не противился; он вырывался от непускавших его; он требовал своего посоха, молил, чтоб отдали ему его свободу, чтоб отпустили его на все четыре стороны; что он в «этом доме» был обесчещен, избит; что он воротился для того, чтоб составить всеобщее счастье; что может ли он, наконец, оставаться в «доме неблагодарности и есть щи,

хотя и сытные, но приправленные побоями»? Наконец он перестал вырываться. Его снова усадили в кресло; но красноречие его не прерывалось.

– Разве не обижали меня здесь? – кричал он, – разве не дразнили меня здесь языком? разве вы, вы сами, полковник, подобно невежественным детям мещан на городских улицах, не показывали мне ежечасно шиши и кукиши? Да, полковник! я стою за это сравнение, потому что, если вы и не показывали мне их физически, то, всё равно, это были нравственные кукиши; а нравственные кукиши, в иных случаях, даже обиднее физических. Я уже не говорю о побоях...

– Фома, Фома! – вскричал дядя, – не убивай меня этим воспоминанием! Я уж говорил тебе, что всей крови моей недостаточно, чтоб омыть эту обиду. Будь же великодушен! забудь, прости и останься созерцать наше счастье! Твои плоды, Фома!..

– ...Я хочу любить, любить человека, – кричал Фома, – а мне не дают человека, запрещают любить, отнимают у меня человека! Дайте, дайте мне человека, чтоб я мог любить его! Где этот человек? куда спрятался этот человек? Как Диоген с фонарем, ищу я его всю жизнь и не могу найти, и не могу никого любить, доколе не найду этого человека. Горе тому, кто сделал меня человеконенавистником! Я кричу: дайте мне человека, чтоб я мог любить его, а мне суют Фалалея! Фалалея ли я полюблю? Захочу ли я полюбить Фалалея? Могу ли я, наконец, любить Фалалея, если б даже хотел? Нет; почему нет? Потому что он Фалалей. Почему я не люблю человечества? Потому что всё, что ни есть на свете, – Фалалей или похоже на Фалалея! Я не хочу Фалалея, я ненавижу Фалалея, я плюю на Фалалея, я раздавлю Фалалея, и, если б надо было выбирать, то я полюблю скорее Асмодея, чем Фалалея! Поди, поди сюда, мой всегдашний истязатель, поди сюда! – закричал он, вдруг обратившись к Фалалею, самым невиннейшим образом выглядывавшему на цыпочках из-за толпы, окружавшей Фому Фомича, – поди сюда! Я докажу вам, полковник, – кричал Фома, притягивая к себе рукой Фалалея, обеспамятевшего от страха, – я докажу вам справедливость слов моих о всегдашних насмешках и кукишах! Скажи, Фалалей, и скажи правду; что видел ты во сне сегодняшнюю ночь? Вот увидите, полковник, увидите ваши плоды! Ну, Фалалей, говори!

Бедный мальчик, дрожавший от страха, обводил кругом отчаянный взгляд, ища хоть в ком-нибудь своего спасения; но все только трепетали и с ужасом ждали его ответа.

– Ну же, Фалалей, я жду!

Вместо ответа Фалалей сморщил лицо, растянул свой рот и заревел, как теленок.

– Полковник! видите ли это упорство? Неужели оно натуральное? В последний раз обращаюсь к тебе, Фалалей, скажи: какой сон ты видел сегодня?

– Про...

– Скажи, что меня видел, – подсказывал Бахчеев.

– Про ваши добродетели-с! – подсказал на другое ухо Ежевикин.

Фалалей только оглядывался.

– Про... про ваши доб... про белого бы-ка! – промычал он наконец и залился горючими слезами.

Все ахнули. Но Фома Фомич был в припадке необыкновенного великодушия.

– По крайней мере, я вижу твою искренность, Фалалей, – сказал он, – искренность, которой не замечаю в других. Бог с тобою! Если ты нарочно дразнишь меня этим сном, по навету других, то Бог воздаст и тебе и другим. Если же нет, то уважаю твою искренность, ибо даже в последнем из созданий, как ты, я привык различать образ и подобие Божие... Я прощаю тебя, Фалалей! Дети мои, обнимите меня, я остаюсь!..

«Остается!» – вскричали все с восторгом.

– Остаюсь и прощаю. Полковник, наградите Фал алея сахаром: пусть не плачет он в такой день всеобщего счастья.

Разумеется, такое великодушие нашли изумительным. *Так* заботиться, в *такую* минуту и, о ком же? о Фалалее! Дядя бросился исполнять приказание о сахаре. Тотчас же, Бог знает откуда, в руках Прасковьи Ильиничны явилась серебряная сахарница. Дядя вынул было дрожавшею рукою два куска, потом три, потом уронил их наконец, видя, что ничего не в состоянии сделать от волнения:

– Э! – вскричал он, – уж для такого дня! Держи, Фалалей! – и высыпал ему за пазуху всю сахарницу.

– Это тебе за искренность, – прибавил он, в виде нравоучения.

– Господин Коровкин, – доложил вдруг появившийся в дверях Видоплясов.

Произошла маленькая суета. Посещение Коровкина было, очевидно, некстати. Все вопросительно посмотрели на дядю.

– Коровкин! – вскричал дядя в некотором замешательстве. – Конечно, я рад... – прибавил он, робко взглядывая на Фому, – но уж, право, не знаю, просить ли его теперь – в такую минуту. Как ты думаешь, Фома?

– Ничего, ничего! – благосклонно проговорил Фома, – пригласите и Коровкина; пусть и он участвует во всеобщем счастье.

Словом, Фома Фомич был в ангельском расположении духа.

– Почтительнейше осмелюсь доложить-с, – заметил Видоплясов, – что Коровкин изволят находиться не в своем виде-с.

– Не в своем виде? как? Что ты врешь? – вскричал дядя.

– Точно так-с: не в трезвом состоянии души-с...

Но прежде чем дядя успел раскрыть рот, покраснеть, испугаться и сконфузиться до последней степени, последовало и разрешение загадки. В дверях появился сам Коровкин, отвел рукой Видоплясова и предстал пред изумленною публикой. Это был невысокий, но плотный господин лет сорока, с темными волосами и с проседью, выстриженный под гребенку, с багровым, круглым лицом, с маленькими, налитыми кровью глазами, в высоком волосяном галстухе, застегнутом сзади пряжкой, во фраке необыкновенно истасканном, в пуху и в сене, и сильно лопнувшем под мышкой, в pantalon impossible[1] и при фуражке, засаленной до невероятности, которую он держал на отлете. Этот господин был совершенно пьян. Выйдя на средину комнаты, он остановился, покачиваясь и тюкая вперед носом, в пьяном раздумье; потом медленно во весь рот улыбнулся.

– Извините, господа, – проговорил он, – я... того... (тут он щелкнул по воротнику) получил!

Генеральша немедленно приняла вид оскорбленного достоинства. Фома, сидя в кресле, иронически обмеривал взглядом эксцентрического гостя. Бахчеев смотрел на него с недоумением, сквозь которое проглядывало, однако, некоторое сочувствие. Смущение же дяди было невероятное; он всею душою страдал за Коровкина.

---

[1] Здесь: немыслимые панталоны (*фр.*).

– Коровкин! – начал было он, – послушайте!

– Атанде-с, – прервал Коровкин. – Рекомендуюсь: дитя природы... Но что я вижу? Здесь дамы... А зачем же ты не сказал мне, подлец, что у тебя здесь дамы? – прибавил он, с плутовскою улыбкою смотря на дядю, – ничего? не робей!., представимся и прекрасному полу... Прелестные дамы! – начал он, с трудом ворочая язык и завязая на каждом слове, – вы видите несчастного, который... ну, да уж и так далее... Остальное не договаривается... Музыканты! польку!

– А не хотите ли заснуть? – спросил Мизинчиков, спокойно подходя к Коровкину.

– Заснуть? Да вы с оскорблением говорите?

– Нисколько. Знаете, с дороги полезно...

– Никогда! – с негодованием отвечал Коровкин. – Ты думаешь, я пьян? – нимало... А впрочем, где у вас спят?

– Пойдемте, я вас сейчас проведу.

– Куда? в сарай? Нет, брат, не надуешь! Я уж там ночевал... А впрочем, веди... С хорошим человеком отчего не пойти?.. Подушки не надо; военному человеку не надо подушки. А ты мне, брат, диванчик, диванчик сочини... Да, слушай, – прибавил он останавливаясь, – ты, я вижу, малый теплый; сочини-ка ты мне того... понимаешь? ромео, так только, чтоб муху задавить... единственно, чтоб муху задавить, одну то есть рюмочку.

– Хорошо, хорошо! – отвечал Мизинчиков.

– Хорошо... Да ты постой, ведь надо ж проститься... Adieu, mesdames и mesdemoiselles!..[1] Вы, так сказать, пронзили... Ну, да уж нечего! после объяснимся... а только разбудите меня, как начнется... или даже за пять минут до начала... а без меня не начинать! слышите? не начинать!..

И веселый господин скрылся за Мизинчиковым.

Все молчали. Недоумение еще продолжалось. Наконец Фома начал понемногу, молча и неслышно, хихикать; смех его разрастался всё более и более в хохот. Видя это, повеселела и генеральша, хотя всё еще выражение оскорбленного достоинства сохранялось в лице ее. Невольный смех начинал подыматься со всех сторон. Дядя стоял как ошеломленный, краснея до слез и некоторое время не в состоянии вымолвить слова.

[1] Прощайте, дамы (и) барышни! (*фр.*)

– Господи Боже! – проговорил он наконец, – кто ж это знал? Но ведь... ведь это со всяким же может случиться. Фома, уверяю тебя, что это честнейший, благороднейший и даже чрезвычайно начитанный человек. Фома... вот ты увидишь!..

– Вижу-с, вижу-с, – отвечал Фома, задыхаясь от смеха, – необыкновенно начитанный, именно начитанный!

– Про железные дороги как говорит-с! – заметил вполголоса Ежевикин.

– Фома!.. – вскричал было дядя, но всеобщий хохот покрыл слова его. Фома Фомич так и заливался. Видя это, рассмеялся и дядя.

– Ну, да что тут! – сказал он с увлечением. – Ты великодушен, Фома, у тебя великое сердце: ты составил мое счастье... ты же простишь и Коровкину.

Не смеялась одна только Настенька. Полными любовью глазами смотрела она на жениха своего и как будто хотела вымолвить: «Какой ты, однако ж, прекрасный, какой добрый, какой благороднейший человек, и как я люблю тебя!»

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Торжество Фомы было полное и непоколебимое. Действительно, без него ничего бы не устроилось, и совершившийся факт подавлял все сомнения и возражения. Благодарность осчастливленных была безгранична. Дядя и Настенька так и замахали на меня руками, когда я попробовал было слегка намекнуть, каким процессом получилось согласие Фомы на их свадьбу. Сашенька кричала: «Добрый, добрый Фома Фомич; я ему подушку гарусом вышью!» – и даже пристыдила меня за мое жестокосердие. Новообращенный Степан Алексеич, кажется, задушил бы меня, если б мне вздумалось сказать при нем что-нибудь непочтительное про Фому Фомича. Он теперь ходил за Фомой, как собачка, смотрел на него с благоговением и к каждому слову его прибавлял: «Благороднейший ты человек, Фома! ученый ты человек, Фома!» Что ж касается Ежевикина, то он был в самой последней степени восторга. Старикашка давным-давно видел, что Настенька вскружила голову Егору Ильичу, и с тех пор наяву и во сне только и грезил о том, как бы выдать за него свою дочку. Он тянул

дело до последней невозможности и отказался уже тогда, когда невозможно было не отказаться. Фома перестроил дело. Разумеется, старик, несмотря на свой восторг, понимал Фому Фомича насквозь; словом, было ясно, что Фома Фомич воцарился в этом доме навеки и что тиранству его теперь уже не будет конца. Известно, что самые неприятнейшие, самые капризнейшие люди хоть на время, да укрощаются, когда удовлетворят их желаниям. Фома Фомич, совершенно напротив, как-то еще больше глупел при удачах и задирал нос всё выше и выше. Перед самым обедом, переменив белье и переодевшись, он уселся в кресле, позвал дядю и, в присутствии всего семейства, стал читать ему новую проповедь.

– Полковник! – начал он, – вы вступаете в законный брак. Понимаете ли вы ту обязанность...

И так далее и так далее; представьте себе десять страниц формата «Journal des Débats», самой мелкой печати, наполненных самым диким вздором, в котором не было ровно ничего об обязанностях, а были только самые бесстыдные похвалы уму, кротости, великодушию, мужеству и бескорыстию его самого, Фомы Фомича. Все были голодны; всем хотелось обедать; но, несмотря на то, никто не смел противоречить и все с благоговением дослушали всю дичь до конца; даже Бахчеев, при всем своем мучительном аппетите, просидел, не шелохнувшись, в самой полной почтительности. Удовлетворившись собственным красноречием, Фома Фомич наконец развеселился и даже довольно сильно подпил за обедом, провозглашая самые необыкновенные тосты. Он принялся острить и подшучивать, разумеется, насчет молодых. Все хохотали и аплодировали. Но некоторые из шуток были до такой степени сальны и недвусмысленны, что даже Бахчеев сконфузился. Наконец Настенька вскочила из-за стола и убежала. Это привело Фому Фомича в неописанный восторг; но он тотчас же нашелся: в кратких, но сильных словах изобразил он достоинства Настеньки и провозгласил тост за здоровье отсутствующей. Дядя, за минуту сконфуженный и страдавший, готов был теперь обнимать Фому Фомича. Вообще жених и невеста как будто стыдились друг друга и своего счастья, – и я заметил: с самого благословения еще они не сказали меж собою ни слова, даже как будто избегали глядеть друг на друга. Когда встали из-за стола, дядя вдруг исчез неизвестно куда. Отыскивая его, я забрел на террасу. Там, сидя в кресле, за кофеем, ораторствовал Фома,

сильно подкураженный. Около него были только Ежевикин, Бахчеев и Мизинчиков. Я остановился послушать.

– Почему, – кричал Фома, – почему я готов сейчас же идти на костер за мои убеждения? А почему из вас никто не в состоянии пойти на костер? Почему, почему?

– Да ведь это уж и лишнее будет, Фома Фомич, на костер-то-с! – трунил Ежевикин. – Ну, что толку? Во-первых, и больно-с, а во-вторых, сожгут – что останется?

– Что останется? Благородный пепел останется. Но где тебе понять, где тебе оценить меня! Для вас не существует великих людей, кроме каких-то там Цезарей да Александров Македонских! А что сделали твои Цезари? кого осчастливили? Что сделал твой хваленый Александр Македонский? Всю землю-то завоевал? Да ты дай мне такую же фалангу, так и я завоюю, и ты завоюешь, и он завоюет... Зато он убил добродетельного Клита, а я не убивал добродетельного Клита... Мальчишка! прохвост! розог бы дать ему, а не прославлять во всемирной истории... да уж вместе и Цезарю!

– Цезаря-то хоть пощадите, Фома Фомич!

– Не пощажу дурака! – кричал Фома.

– И не щади! – с жаром подхватил Степан Алексеевич, тоже подвыпивший, – нечего их щадить; все они прыгуны, все только бы на одной ножке повертеться! колбасники! Вон один давеча стипендию какую-то хотел учредить. А что такое стипендия? Черт ее и знает, что она значит! Об заклад побьюсь, какая-нибудь новая пакость. А тот, другой, давеча-то в благородном обществе, вензеля пишет да рому просит! По-моему, отчего не выпить? Да ты пей, пей, да и перегородку сделай, а потом, пожалуй, и опять пей... Нечего их щадить! все мошенники! Один только ты ученый, Фома!

Бахчеев, если отдавался кому, то отдавался весь, безусловно и безо всякой критики.

Я отыскал дядю в саду, у пруда, в самом уединенном месте. Он был с Настенькой. Увидя меня, Настенька стрельнула в кусты, как будто виноватая. Дядя пошел ко мне навстречу с сиявшим лицом; в глазах его стояли слезы восторга. Он взял меня за обе руки и крепко сжал их.

– Друг мой! – сказал он, – я до сих пор как будто не верю моему счастью... Настя тоже. Мы только дивимся и прославляем Всевышнего.

Сейчас она плакала. Поверишь ли, до сих пор я как-то не опомнился, как-то растерялся весь: и верю и не верю! И за что это мне? за что? что я сделал? чем я заслужил?

– Если кто заслужил, дядюшка, то это вы, – сказал я с увлечением. – Я еще не видал такого честного, такого прекрасного, такого добрейшего человека, как вы...

– Нет, Сережа, нет, это слишком, – отвечал он, как бы с сожалением. – То-то и худо, что мы добры (то есть я про себя одного говорю), когда нам хорошо; а когда худо, так и не подступайся близко! Вот мы только сейчас толковали об этом с Настей. Сколько ни сиял передо мною Фома, а, поверишь ли? я, может быть, до самого сегодня не совсем в него верил, хотя и сам уверял тебя в его совершенстве; даже вчера не уверовал, когда он отказался от такого подарка! К стыду моему говорю! Сердце трепещет после давешнего воспоминания! Но я не владел собой... Когда он сказал давеча про Настю, то меня как будто в самое сердце что-то укусило. Я не понял и поступил, как тигр...

– Что ж, дядюшка, может, это было даже естественно.

Дядя замахал руками.

– Нет, нет, брат, и не говори! А просто-запросто всё это от испорченности моей природы, оттого, что я мрачный и сластолюбивый эгоист и без удержу отдаюсь страстям моим. Так и Фома говорит. (Что было отвечать на это?) Не знаешь ты, Сережа, – продолжал он с глубоким чувством, – сколько раз я бывал раздражителен, безжалостен, несправедлив, высокомерен, да и не к одному Фоме! Вот теперь это всё вдруг пришло на память, и мне как-то стыдно, что я до сих пор ничего еще не сделал, чтоб быть достойным такого счастья. Настя то же сейчас говорила, хотя, право, не знаю, какие на ней-то грехи, потому что она ангел, а не человек! Она сказала мне, что мы в страшном долгу у Бога, что надо теперь стараться быть добрее, делать всё добрые дела... И если б ты слышал, как она горячо, как прекрасно всё это говорила! Боже мой, что за девушка!

Он остановился в волнении. Через минуту он продолжал:

– Мы положили, брат, особенно лелеять Фому, маменьку и Татьяну Ивановну. А Татьяна-то Ивановна! какое благороднейшее существо! О, как я виноват пред всеми! Я и перед тобой виноват... Но если кто осме-

лится теперь обидеть Татьяну Ивановну, о! тогда... Ну, да уж нечего!., для Мизинчикова тоже надо что-нибудь сделать.

– Да, дядюшка, я теперь переменил мое мнение о Татьяне Ивановне. Ее нельзя не уважать и не сострадать ей.

– Именно, именно! – подхватил с жаром дядя, – нельзя не уважать! Ведь, вот, например, Коровкин, ведь ты уж, наверно, смеешься над ним, – прибавил он, с робостью заглядывая мне в лицо, – и все мы давеча смеялись над ним. А ведь это, может быть, непростительно... ведь это, может быть, превосходнейший, добрейший человек, но судьба... испытал несчастья... Ты не веришь, а это, может быть, истинно так.

– Нет, дядюшка; почему же не верить?

И я с жаром начал говорить о том, что в самом падшем создании могут еще сохраниться высочайшие человеческие чувства; что неисследима глубина души человеческой; что нельзя презирать падших, а, напротив, должно отыскивать и восстановлять; что неверна общепринятая мерка добра и нравственности и проч, и проч., – словом, я воспламенился и рассказал даже о натуральной школе; в заключение же прочел стихи:

Когда из мрака заблужденья...

Дядя пришел в необыкновенный восторг.

– Друг мой, друг мой! – сказал он, растроганный, – ты совершенно понимаешь меня и еще лучше меня рассказал всё, что я сам хотел было выразить. Так, так! Господи! почему это зол человек? почему я так часто бываю зол, когда так хорошо, так прекрасно быть добрым? Вот и Настя то же самое сейчас говорила... Но посмотри, однако ж, какое здесь славное место, – прибавил он, оглядываясь вокруг себя, – какая природа! какая картина! Экое дерево! посмотри: в обхват человеческий! Какой сок, какие листья! какое солнце! как после грозы-то всё вокруг повеселело, обмылось!.. Ведь подумаешь, что и деревья понимают тоже что-нибудь про себя, чувствуют и наслаждаются жизнью... Неужели ж нет – а? как ты думаешь?

– Очень может быть, дядюшка. По-своему, разумеется...

– Ну да, разумеется, по-своему... Дивный, дивный Творец!.. А ведь ты должен хорошо помнить весь этот сад, Сережа: как ты тут играл и бегал, когда был маленький! Я ведь помню, когда ты был маленький, – прибавил он, смотря на меня с неизъяснимым выражением любви и счастья. –

Тебе только к пруду не позволяли ходить одному. А помнишь, один раз, вечером, Катя-покойница подозвала тебя и стала тебя ласкать... Ты всё бегал в саду перед этим и весь разрумянился; волоски у тебя тогда были такие светленькие, в кудряшках... Она ими играла-играла, да и сказала: «Это хорошо, что ты его, сиротку, к нам взял». Помнишь иль нет?

– Чуть-чуть, дядюшка.

– Тогда еще вечер был, и солнце на вас обоих так светило, а я сидел в углу и трубку курил, да на вас смотрел... Я, Сережа, каждый месяц к ней на могилу, в город, езжу, – прибавил он пониженным голосом, в котором слышались дрожание и подавляемые слезы. – Я об этом сейчас Насте говорил: она сказала, что мы оба вместе будем к ней ездить...

Дядя замолчал, стараясь подавить свое волнение.

В эту минуту к нам подошел Видоплясов.

– Видоплясов! – вскричал дядя встрепенувшись, – ты от Фомы Фомича?

– Нет-с, я более по своей надобности-с.

– А, ну и славно! вот и узнаем про Коровкина. А я ведь еще давеча хотел спросить... Я ему, Сережа, велел там наблюдать, Коровкина-то. – В чем дело, Видоплясов?

– Осмелюсь доложить, – сказал Видоплясов, – что вчера вы изволили упомянуть-с насчет моей просьбы-с и обещать мне ваше высокое заступление от ежедневных обид-с.

– Неужели ты опять про фамилию? – вскричал дядя в испуге.

– Что ж делать-с? Ежечасные обиды-с...

– Ах, Видоплясов, Видоплясов! что мне с тобой делать? – сказал с сокрушением дядя. – Ну, какие тебе могут быть обиды? Ведь ты просто с ума сойдешь, в желтом доме жизнь кончишь!

– Кажется, я умом моим-с... – начал было Видоплясов.

– Ну то-то, то-то, – перебил дядя, – я, братец, это так говорю, не в обиду тебе, а в пользу. Ну какие там у тебя обиды? Бьюсь об заклад, какая-нибудь дрянь?

– Проходу нет-с.

– От кого?

– От всех-с и преимущественно через Матрену-с. Через нее я моею жизнию страдать пошел-с. Известно-с, что все отличительные люди-с,

кто сызмалетства еще меня видел, говорили, что я совсем на иностранца похож, преимущественно чертами лица-с. Что же, сударь? Из-за этого мне теперь и проходу нет-с. Как только я мимо иду-с, все мне следом кричат всякие дурные слова-с; даже ребятишки маленькие-с, которых надо прежде всего розгами высечь-с, и те кричат-с... Вот и теперь, когда я сюда шел, кричали-с... Мочи нет-с. Защитите, сударь, вашим покровом-с!

– Ах, Видоплясов!.. Ну да что ж они такое кричат? Верно, глупость какую-нибудь, на которую не надо и внимания обращать.

– Неприлично будет сказать-с.

– Да что именно?

– Омерзительно выговорить-с.

– Да уж говори!

– Гришка-голанец съел померанец-с.

– Фу, какой человек! Я думал и Бог знает что! А ты плюнь да мимо и пройди.

– Плевал-с: еще больше кричат-с.

– Да послушайте, дядюшка, – сказал я, – ведь он жалуется на то, что ему житья нет в здешнем доме. Отправьте его, хоть на время, в Москву, к тому каллиграфу. Ведь он, вы говорили, у каллиграфа какого-то жил.

– Ну, брат, тот тоже кончил трагически!

– А что?

– Они-с, – отвечал Видоплясов, – имели несчастье присвоить себе чужую собственность-с, за что, несмотря на весь их талант, были посажены в острог-с, где безвозвратно погибли-с.

– Хорошо, хорошо, Видоплясов: ты теперь успокойся, а я всё это разберу и улажу, – сказал дядя, – обещаю тебе! Ну что Коровкин? спит?

– Никак нет-с, они сейчас изволили отъехать-с. Я с тем и шел доложить-с.

– Как отъехать? Что ты? Да как же ты выпустил? – вскричал дядя.

– По добродушию сердца-с: жалостно было смотреть-с. Как проснулись и вспомнили весь процесс, так тотчас же ударили себя по голове и закричали благим матом-с...

– Благим матом!..

– Почтительнее будет выразиться: многоразличные вопли испускали-с. Кричали: как они представятся теперь прекрасному полу-с?

а потом прибавили: «Я не достоин рода человеческого!» – и всё так жалостно говорили-с, в отборных словах-с.

– Деликатнейший человек! Я говорил тебе, Сергей... Да как же ты, Видоплясов, пустил, когда именно тебе велел стеречь? Ах, Боже мой, Боже мой!

– Более через сердечную жалость-с. Просили не говорить-с. Их же извозчик лошадей выкормил и запрег-с. А за врученную, три дни назад, сумму-с велели почтительнейше благо дарить-с и сказать, что вышлют долг с одною из первых почт-с.

– Какую это сумму, дядюшка?

– Они называли двадцать пять рублей серебром-с, – сказал Видоплясов.

– Это я, брат, ему тогда дал взаймы, на станции: у него недостало. Разумеется, он вышлет с первой же почтой... Ах, Боже мой, как мне жаль! Не послать ли в погоню, Сережа?

– Нет, дядюшка, лучше не посылайте.

– Я сам то же думаю. Видишь, Сережа, я, конечно, не философ, но я думаю, что во всяком человеке гораздо более добра, чем снаружи кажется. Так и Коровкин: он не вынес стыда... Но пойдем, однако ж, к Фоме! Мы замешкались; может оскорбиться неблагодарностью, невниманием... Идем же! Ах, Коровкин, Коровкин!

Роман кончен. Любовники соединились, и гений добра безусловно воцарился в доме, в лице Фомы Фомича. Тут можно бы сделать очень много приличных объяснений; но, в сущности, все эти объяснения теперь совершенно лишние. Таково, по крайней мере, мое мнение. Взамен всяких объяснений скажу лишь несколько слов о дальнейшей судьбе всех героев моего рассказа: без этого, как известно, не кончается ни один роман, и это даже предписано правилами.

Свадьба «осчастливленных» произошла спустя шесть недель после описанных мною происшествий. Сделали всё тихо, семейно, без особенной пышности и без лишних гостей. Я был шафером Настеньки, Мизинчиков – со стороны дяди. Впрочем, были и гости. Но самым первым, самым главным человеком был, разумеется, Фома Фомич. За ним ухаживали; его носили на руках. Но как-то случилось, что его один раз обнесли шампанским. Немедленно произошла история, сопровожда-

емая упреками, воплями, криками. Фома убежал в свою комнату, заперся на ключ, кричал, что презирают его, что теперь уж «новые люди» вошли в семейство, и потому он ничто, не более как щепка, которую надо выбросить. Дядя был в отчаянии; Настенька плакала; с генеральшей, по обыкновению, сделались судороги... Свадебный пир походил на похороны. И ровно семь лет такого сожительства с благодетелем, Фомой Фомичом, достались в удел моему бедному дяде и бедненькой Настеньке. До самой смерти своей (Фома Фомич умер в прошлом году) он киснул, куксился, ломался, сердился, бранился, но благоговение к нему «осчастливленных» не только не уменьшалось, но даже каждодневно возрастало, пропорционально его капризам. Егор Ильич и Настенька до того были счастливы друг с другом, что даже боялись за свое счастье, считали, что это уж слишком послал им Господь; что не стоят они такой милости, и предполагали, что, может быть, впоследствии им назначено искупить свое счастье крестом и страданиями.

Понятно, что Фома Фомич мог делать в этом смиренном доме всё, что ему вздумается. И чего-чего он не наделал в эти семь лет! Даже нельзя себе представить, до каких необузданных фантазии доходила иногда его пресыщенная, праздная душа в изобретении самых утонченных, нравственно-лукулловских капризов. Три года спустя после дядюшкиной свадьбы скончалась бабушка. Осиротевший Фома был поражен отчаянием. Даже и теперь в доме дяди с ужасом рассказывают о тогдашнем его положении. Когда засыпали могилу, он рвался в нее и кричал, чтоб и его вместе засыпали. Целый месяц не давали ему ни ножей, ни вилок; а один раз силою, вчетвером, раскрыли ему рот и вынули оттуда булавку, которую он хотел проглотить. Кто-то из посторонних свидетелей борьбы заметил, что Фома Фомич тысячу раз мог проглотить эту булавку во время борьбы и, однако ж, не проглотил. Но эту догадку выслушали все с решительным негодованием и тут же уличили догадчика в жестокосердии и неприличии. Только одна Настенька хранила молчание и чуть-чуть улыбнулась; причем дядя взглянул на нее с некоторым беспокойством. Вообще нужно заметить, что Фома хоть и куражился, хоть и капризничал в доме дяди по-прежнему, но прежних, деспотических и наглых распеканций, какие он позволял себе с дядей, уже не было. Фома жаловался, плакал, укорял, попрекал, стыдил, но уже не бранился по-прежнему, – не было

таких сцен, как «ваше превосходительство», и это, кажется, сделала Настенька. Она почти неприметно заставила Фому кой-что уступить и кой в чем покориться. Она не хотела видеть унижения мужа и настояла на своем желании. Фома ясно видел, что она его почти понимает. Я говорю *почти,* потому что Настенька тоже лелеяла Фому и даже каждый раз поддерживала мужа, когда он восторженно восхвалял своего мудреца. Она хотела заставить других уважать всё в своем муже, а потому гласно оправдывала и его привязанность к Фоме Фомичу. Но я уверен, что золотое сердечко Настеньки забыло все прежние обиды: она всё простила Фоме, когда он соединил ее с дядей, и, кроме того, кажется, серьезно, всем сердцем вошла в идею дяди, что со «страдальца» и прежнего шута нельзя много спрашивать, а что надо, напротив, уврачевать сердце его. Бедная Настенька сама была из *униженных,* сама страдала и помнила это. Чрез месяц Фома утих, сделался даже ласков и кроток, но зато начались другие, самые неожиданные припадки: он начал впадать в какой-то магнетический сон, устрашавший всех до последней степени. Вдруг, например, страдалец что-нибудь говорит, даже смеется, и в одно мгновение окаменеет, и окаменеет именно в том самом положении, в котором находился в последнее мгновение перед припадком; если, например, он смеялся, то так и оставался с улыбкою на устах; если же держал что-нибудь, хоть вилку, то вилка так и остается в поднятой руке, на воздухе. Потом, разумеется, рука опустится, но Фома Фомич уже ничего не чувствует и не помнит, как она опустилась. Он сидит, смотрит, даже моргает глазами, но не говорит ничего, ничего не слышит и не понимает. Так продолжалось иногда по целому часу. Разумеется, все в доме чуть не умирают от страха, сдерживают дыхание, ходят на цыпочках, плачут. Наконец Фома проснется, чувствуя страшное изнеможение, и уверяет, что ровно ничего не слыхал и не видал во всё это время. Нужно же, чтоб до такой степени ломался, рисовался человек, выдерживал целые часы добровольной муки – и единственно для того, чтоб сказать потом: «Смотрите на меня, я и чувствую-то краше, чем вы!» Наконец Фома Фомич проклял дядю «за ежечасные обиды и непочтительность» и переехал жить к господину Бахчееву. Степан Алексеевич, который после дядиной свадьбы еще много раз ссорился с Фомой Фомичом, но всегда кончал тем, что сам же просил у него прощенья, в этот раз принялся за дело с необыкновенным жаром:

он встретил Фому с энтузиазмом, накормил на убой и тут же положил формально рассориться с дядей и даже подать на него просьбу. У них был где-то спорный клочок земли, о котором, впрочем, никогда и не спорили, потому что дядя вполне уступал его, без всяких споров, Степану Алексеевичу. Не говоря ни слова, господин Бахчеев велел заложить коляску, поскакал в город, настрочил там просьбу и подал, прося суд присудить ему формальным образом землю, с вознаграждениями проторей и убытков, и таким образом казнить самоуправство и хищничество. Между тем Фома, на другой же день, соскучившись у господина Бахчеева, простил дядю, приехавшего с повинною, и отправился обратно в Степанчиково. Гнев господина Бахчеева, возвратившегося из города и не заставшего Фомы, был ужасен; но через три дня он явился в Степанчиково с повинною, со слезами просил прощенья у дяди и уничтожил свою просьбу. Дядя в тот же день помирил его с Фомой Фомичом, и Степан Алексеевич опять ходил за Фомой, как собачка, и по-прежнему приговаривал к каждому слову: «Умный ты человек, Фома! ученый ты человек, Фома!»

Фома Фомич лежит теперь в могиле, подле генеральши; над ним стоит драгоценный памятник из белого мрамора, весь испещренный плачевными цитатами и хвалебными надписями. Иногда Егор Ильич и Настенька благоговейно заходят, с прогулки, в церковную ограду поклониться Фоме. Они и теперь не могут говорить о нем без особого чувства; припоминают каждое его слово, что он ел, что любил. Вещи его сберегаются, как драгоценность. Почувствовав себя совершенно осиротевшими, дядя и Настя еще более привязались друг к другу. Детей им Бог не дал; они очень горюют об этом, но роптать не смеют. Сашенька давно уже вышла замуж за одного прекрасного молодого человека. Илюша учится в Москве. Таким образом, дядя и Настя живут одни и не надышатся друг на друга. Забота их друг о друге дошла до какой-то болезненности. Настя беспрерывно молится. Если кто из них первый умрет, то другой, я думаю, не проживет и недели. Но дай Бог им долго жить! Принимают они всех с полным радушием и готовы разделить со всяким несчастным всё, что у них имеется. Настенька любит читать жития святых и с сокрушением говорит, что обыкновенных добрых дел еще мало, а что надо бы раздать всё нищим и быть счастливыми в бедности. Если б не забота об Илюше и Сашеньке, дядя бы давно так и сделал, потому что он во всем вполне

согласен с женою. С ними живет Прасковья Ильинична и угождает им во всем с наслаждением; она же ведет и хозяйство. Господин Бахчеев сделал ей предложение еще вскоре после дядюшкиной свадьбы, но она наотрез ему отказала. Заключили из этого, что она пойдет в монастырь; но и этого не случилось. В натуре Прасковьи Ильиничны есть одно замечательное свойство: совершенно уничтожаться перед теми, кого она полюбила, ежечасно исчезать перед ними, смотреть им в глаза, подчиняться всевозможным их капризам, ходить за ними и служить им. Теперь, по смерти генеральши, своей матери, она считает своею обязанностью не разлучаться с братом и угождать во всем Настеньке. Старикашка Ежевикин еще жив и в последнее время всё чаще и чаще стал посещать свою дочь. Вначале он приводил дядю в отчаяние тем, что почти совершенно отстранил себя и свою мелюзгу (так называл он детей своих) от Степанчикова. Все зазывы дяди не действовали на него: он был не столько горд, сколько щекотлив и мнителен. Самолюбивая мнительность его доходила иногда до болезни. Мысль, что его, бедняка, будут принимать в богатом доме из милости, сочтут назойливым и навязчивым, убивала его; он даже отказывался иногда от Настенькиной помощи и принимал только самое необходимое. От дяди же он ничего решительно не хотел принять. Настенька чрезвычайно ошиблась, говоря мне тогда, в саду, об отце, что он представляет из себя шута *для нее*. Правда, ему ужасно хотелось тогда выдать Настеньку замуж; но корчил он из себя шута просто из внутренней потребности, чтоб дать выход накопившейся злости. Потребность насмешки и *язычка* была у него в крови. Он карикатурил, например, из себя самого подлого, самого низкопоклонного льстеца; но в то же время ясно выказывал, что делает это только для виду; и чем унизительнее была его лесть, тем язвительнее и откровеннее проглядывала в ней насмешка. Такая уж была его манера. Всех детей его удалось разместить в лучших учебных заведениях, в Москве и Петербурге, и то только, когда Настенька ясно доказала ему, что всё это сделается на ее собственный счет, то есть в счет ее собственных тридцати тысяч, подаренных ей Татьяной Ивановной. Эти тридцать тысяч, по правде, никогда и не брали у Татьяны Ивановны; а ее, чтоб она не горевала и не обижалась, умилостивили, обещая ей при первых неожиданных семейных нуждах обратиться к ее помощи. Так и сделали: для виду были произведены у ней, в разное время, два

довольно значительные займа. Но Татьяна Ивановна умерла три года назад, и Настя все-таки получила свои тридцать тысяч. Смерть бедной Татьяны Ивановны была скоропостижная. Всё семейство собиралось на бал к одному из соседних помещиков, и только что успела она нарядиться в свое бальное платье, а на голову надеть очаровательный венок из белых роз, как вдруг почувствовала дурноту, села в кресло и умерла. В этом венке ее и похоронили. Настя была в отчаянии. Татьяну Ивановну лелеяли в доме и ходили за ней, как за ребенком. Она удивила всех здравомыслием своего завещания: кроме Настенькиных тридцати тысяч, всё остальное, до трехсот тысяч ассигнациями, назначалось для воспитания бедных сироток-девочек и для награждения их деньгами по выходе из учебных заведений. В год ее смерти вышла замуж и девица Перепелицына, которая, по смерти генеральши, осталась у дяди в надежде подлизаться к Татьяне Ивановне. Между тем овдовел чиновник-помещик, владетель Мишина, той самой маленькой деревушки, в которой у нас происходила сцена с Обноскиным и его маменькой за Татьяну Ивановну. Чиновник этот был страшный сутяга и имел от первой жены шесть человек детей. Подозревая у Перепелицыной деньги, он начал к ней подсылать с предложениями, и та немедленно согласилась. Но Перепелицына была бедна, как курица: у ней всего-то было триста рублей серебром, да и то подаренные ей Настенькой на свадьбу. Теперь муж и жена грызутся с утра до вечера. Она теребит за волосы его детей и отсчитывает им колотушки; ему же (по крайней мере так говорят) царапает лицо и поминутно корит его подполковничьим своим происхождением. Мизинчиков тоже пристроился. Он благоразумно бросил все свои надежды на Татьяну Ивановну и начал понемногу учиться сельскому хозяйству. Дядя рекомендовал его одному богатому графу, помещику, у которого было три тысячи душ, в восьмидесяти верстах от Степанчикова, и который изредка наезжал в свои поместья. Заметив в Мизинчикове способности и взяв во внимание рекомендацию, граф предложил ему место управляющего в своих поместьях, прогнав своего прежнего управителя немца, который, несмотря на прославленную немецкую честность, обчищал своего графа как липку. Через пять лет имения узнать нельзя было: крестьяне разбогатели; завелись статьи по хозяйству, прежде невозможные; доходы чуть ли не удвоились, – словом, новый управитель отличился и прогремел

на всю губернию хозяйственными своими способностями. Каково же было изумление и горе графа, когда Мизинчиков, ровно чрез пять лет, несмотря ни на какие просьбы, ни на какие надбавки, решительно отказался от службы и вышел в отставку! Граф думал, что его сманили соседи-помещики, или даже в другую губернию. И как же все удивились, когда вдруг, два месяца по выходе в отставку, у Ивана Ивановича Мизинчикова явилось превосходнейшее имение, во сто душ, ровно в сорока верстах от графского, купленное им у какого-то промотавшегося гусара, прежнего его приятеля! Эти сто душ он тотчас же заложил, и через год у него явилось еще шестьдесят душ в окрестностях. Теперь он сам помещик, и хозяйство у него бесподобное. Все дивятся: где он вдруг достал денег? Другие же только покачивают головами. Но Иван Иванович совершенно спокоен и чувствует себя вполне в своем праве. Он выписал из Москвы свою сестру, ту самую, которая дала ему свои последние три целковых на сапоги, когда он отправлялся в Степанчиково, – премилую девушку, уже не первой молодости, кроткую, любящую, образованную, но чрезвычайно запуганную. Она всё время скиталась где-то в Москве, в компаньонках, у какой-то благодетельницы; теперь же благоговеет перед братом, хозяйничает в его доме, считает его волю законом, а себя вполне счастливою. Братец не балует ее и держит несколько в черном теле; но она этого не замечает. В Степанчикове ее ужасно как полюбили, и, говорят, господин Бахчеев к ней неравнодушен. Он и сделал бы предложение, да боится отказа. Впрочем, о господине Бахчееве мы надеемся поговорить в другой раз, в другом рассказе, подробнее.

Вот, кажется, и все лица... Да! забыл: Гаврила очень постарел и совершенно разучился говорить по-французски. Из Фалалея вышел очень порядочный кучер, а бедный Видоплясов давным-давно в желтом доме и, кажется, там и умер... На днях поеду в Степанчиково и непременно справлюсь о нем у дяди.

Е. П. САМОКИШ-СУДКОВСКАЯ

Иллюстрации к произведениям,
не вошедшим в сборник

Наташа воротилась скоро, веселая и счастливая, и, проходя мимо, потихоньку ущипнула меня. Старик принялся было опять «серьезно» оценивать мою повесть, но от радости не выдержал характера и увлекся:

– Ну, брат Ваня, хорошо, хорошо! Утешил! Так утешил, что я даже и не ожидал. Не высокое, не великое, это видно... Вон у меня там «Освобождение Москвы» лежит, в Москве же и сочинили, – ну так оно с первой строки, братец, видно, что, так сказать, орлом воспарил человек... Но знаешь ли, Ваня, у тебя оно как-то проще, понятнее. Вот именно за то и люблю, что понятнее! Роднее как-то оно; как будто со мной самим всё это случилось. А то что высокое-то? И сам бы не понимал. Слог бы я выправил: я ведь хвалю, а что ни говори, все-таки мало возвышенного... Ну да уж теперь поздно: напечатано. Разве во втором издании? А что, брат, ведь и второе издание, чай, будет? Тогда опять деньги... Гм!

– И неужели вы столько денег получили, Иван Петрович? – заметила Анна Андреевна. – Гляжу на вас, и всё как-то не верится. Ах ты, господи, вот ведь за что теперь деньги стали давать!

– Знаешь, Ваня? – продолжал старик, увлекаясь всё более и более, – это хоть не служба, зато все-таки карьера. Прочтут и высокие лица. Вот ты говорил, Гоголь вспоможение ежегодное получает и за границу послан. А что если бы и ты? А? Или еще рано? Надо еще что-нибудь сочинить? Так сочиняй, брат, сочиняй поскорее! Не засыпай на лаврах. Чего глядеть-то!

И он говорил это с таким убежденным видом, с таким добродушием, что недоставало решимости остановить и расхолодить его фантазию.

– Или вот, например, табакерку дадут... Что ж? На милость ведь нет образца. Поощрить захотят. А кто знает, может, и ко двору попадешь, – прибавил он полушепотом и с значительным видом, прищурив свой левый глаз, – или нет? Или еще рано ко двору-то?

– Ну, уж и ко двору! – сказала Анна Андреевна, как будто обидевшись.

Ф. М. Достоевский.
Униженные и оскорбленные.
Часть первая. Глава VI

— Е. Самокишъ-Судковская

Дама взвизгнула и жалостно осматривалась, ожидая избавления. Ей и стыдно-то было, и боялась-то она, а к довершению всего офицер сорвался со стула и, завопив, ринулся было на купчика, но поскользнулся и шлепнулся назад на стул. Хохот кругом усиливался, а помочь никто и не думал; но помог Вельчанинов: он вдруг схватил купчика за шиворот и, повернув, оттолкнул его шагов на пять от испуганной женщины. Тем скандал и кончился; купчик был сильно опешен и толчком и внушительной фигурой Вельчанинова; его тотчас же увели товарищи. Осанистая физиономия изящно одетого барина возымела внушительное влияние и на насмешников: смех прекратился. Дама, краснея и чуть не со слезами, начала изливаться в уверениях о своей благодарности. Улан бормотал: «балдарю, балдарю!» – и хотел было протянуть Вельчанинову руку, но вместо того вдруг вздумал улечься на стульях и протянулся на них с ногами.

. . . . . .

...дама горячо рассказывала и жаловалась на своего мужа, который «вдруг из вагона куда-то скрылся, и от этого все и произошло, потому что он вечно, когда надо тут быть, куда-то и скроется...»

– По надобности... – пробормотал улан.

– Ах, Митенька! – всплеснула опять она руками.

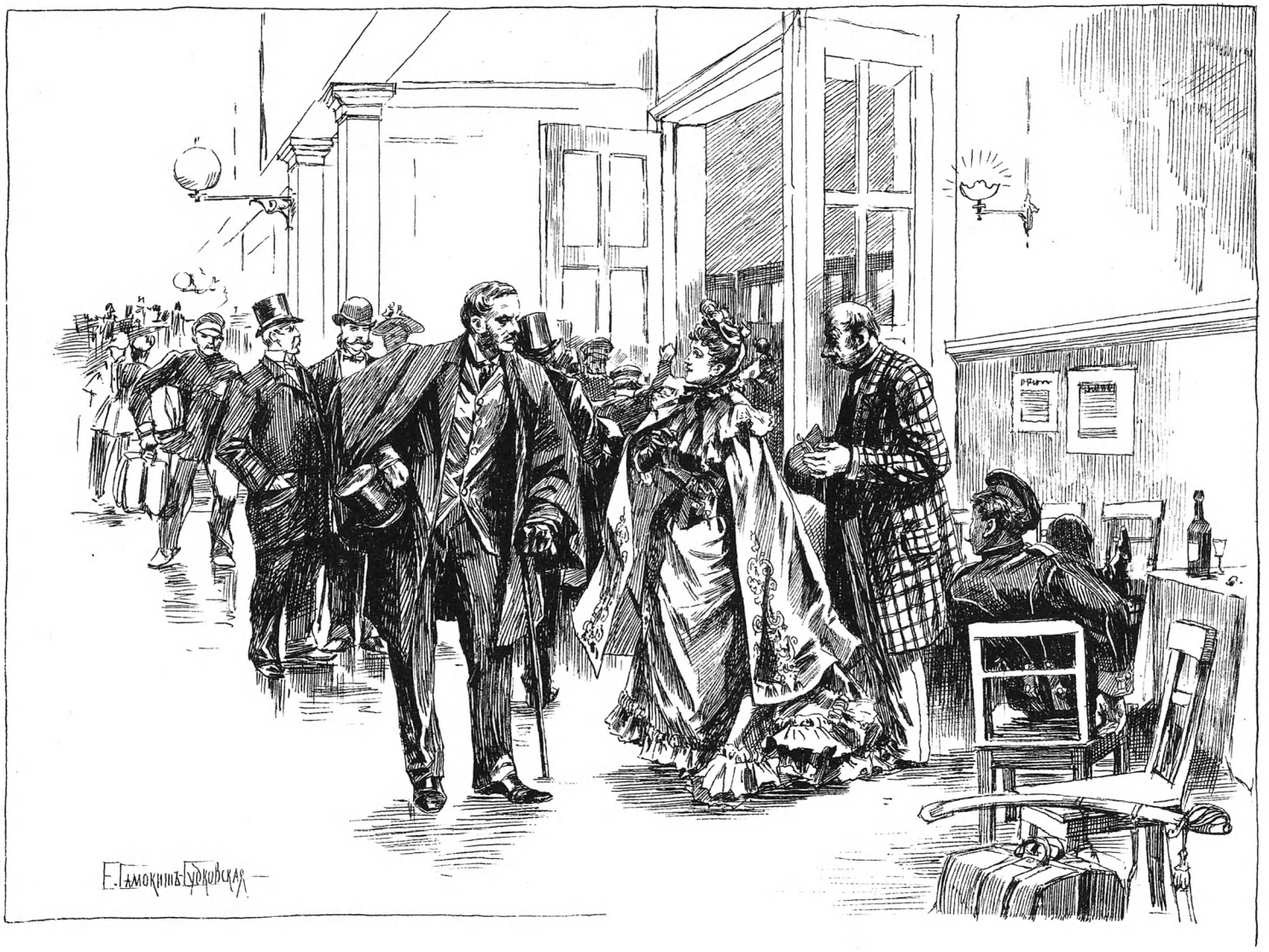
«Ну достанется же мужу!» – подумал Вельчанинов.

– Как его зовут? я пойду и отыщу его, – предложил он.

– Пал Палыч, – отозвался улан.

– Вашего супруга зовут Павлом Павловичем? – с любопытством спросил Вельчанинов...

Ф. М. Достоевский.
Вечный муж.
Глава XVII


Е. Самокишъ-Буковская

– Позвольте, молодой человек, случалось вам... гм... ну хоть испрашивать денег взаймы безнадежно?

– Случалось... то есть как безнадежно?

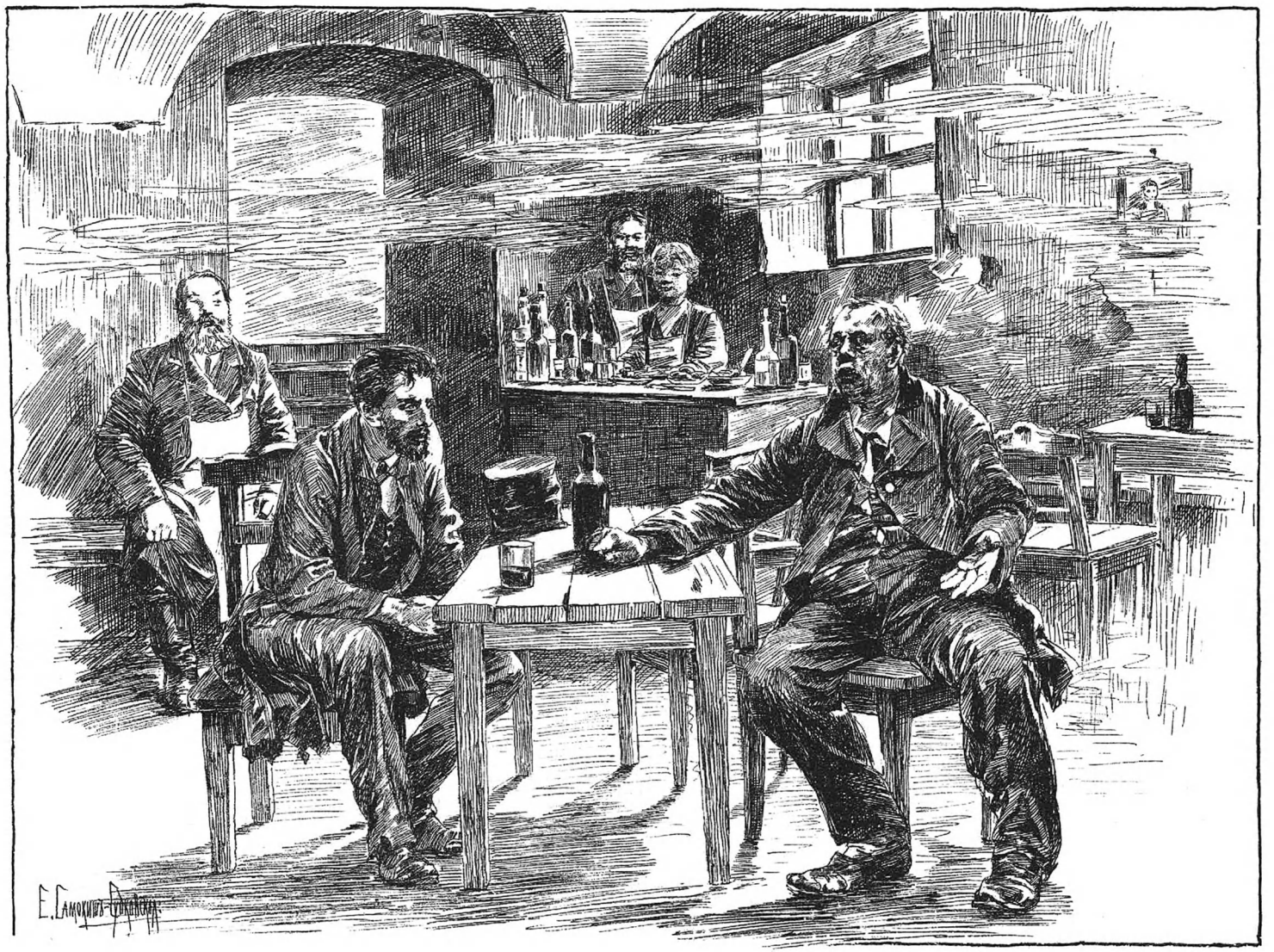
– То есть безнадежно вполне-с, заранее зная, что из сего ничего не выйдет. Вот вы знаете, например, заранее и досконально, что сей человек, сей благонамереннейший и наиполезнейший гражданин, ни за что вам денег не даст, ибо зачем, спрошу я, он даст? Ведь он знает же, что я не отдам. Из сострадания? Но господин Лебезятников, следящий за новыми мыслями, объяснял намедни, что сострадание в наше время даже наукой воспрещено и что так уже делается в Англии, где политическая экономия. Зачем же, спрошу я, он даст? И вот, зная вперед, что не даст, вы все-таки отправляетесь в путь и...

– Для чего же ходить? – прибавил Раскольников.

– А коли не к кому, коли идти больше некуда! Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти! Когда единородна дочь моя в первый раз по желтому билету пошла, и я тоже тогда пошел... (ибо дочь моя по желтому билету живет-с...) – прибавил он в скобках, с некоторым беспокойством смотря на молодого человека. – Ничего, милостивый государь, ничего! – поспешил он тотчас же, и по-видимому спокойно, заявить, когда фыркнули оба мальчишки за стойкой и улыбнулся сам хозяин. – Ничего-с! Сим покиванием глав не смущаюсь, ибо уже всем все известно и все тайное становится явным; и не с презрением, а со смирением к сему отношусь. Пусть! пусть! «Се человек!» Позвольте, молодой человек: можете ли вы... Но нет, изъяснить сильнее и изобразительнее: не можете ли вы, а осмелитесь ли вы, взирая в сей час на меня, сказать утвердительно, что я не свинья?

Молодой человек не отвечал ни слова.

Ф. М. Достоевский.
Преступление и наказание.
Часть первая. Глава II


Е. Самокишъ-Судковская.

– Ну-с, приступим теперь к сапогам – каковы? Ведь видно, что поношенные, а ведь месяца на два удовлетворят, потому что заграничная работа и товар заграничный: секретарь английского посольства прошлую неделю на Толкучем спустил; всего шесть дней и носил, да деньги очень понадобились. Цена один рубль пятьдесят копеек. Удачно?

– Да може, не впору! – заметила Настасья.

– Не впору! А это что? – и он вытащил из кармана старый, закорузлый, весь облепленный засохшею грязью, дырявый сапог Раскольникова, – я с запасом ходил, мне и восстановили по этому чудищу настоящий размер. Все это дело сердечно велось. А насчет белья с хозяйкой столковались. Вот, во-первых, три рубашки холстинные, но с модным верхом... Ну-с, итак: восемь гривен картуз, два рубля двадцать пять прочее одеяние, итого три рубля пять копеек; рубль пятьдесят сапоги – потому что уж очень хорошие – итого четыре рубля пятьдесят пять копеек, да пять рублей все белье – оптом сторговались, – итого ровно девять рублей пятьдесят пять копеек. Сорок пять копеек сдачи, медными пятаками, вот-с, извольте принять, – и таким образом, Родя, ты теперь во всем костюме восстановлен, потому что, по моему мнению, твое пальто не только еще может служить, но даже имеет в себе вид особенного благородства: что значит у Шармера-то заказывать! Насчет носков и прочего остального предоставляю тебе самому; денег остается нам двадцать пять рубликов, а о Пашеньке и об уплате за квартиру не беспокойся; я говорил: кредит безграничнейший. А теперь, брат, позволь тебе белье переменить, а то, пожалуй, болезнь в рубашке-то только теперь и сидит...

Ф. М. Достоевский.
Преступление и наказание.
Часть вторая. Глава III

Е. Самокиш-Судковская.

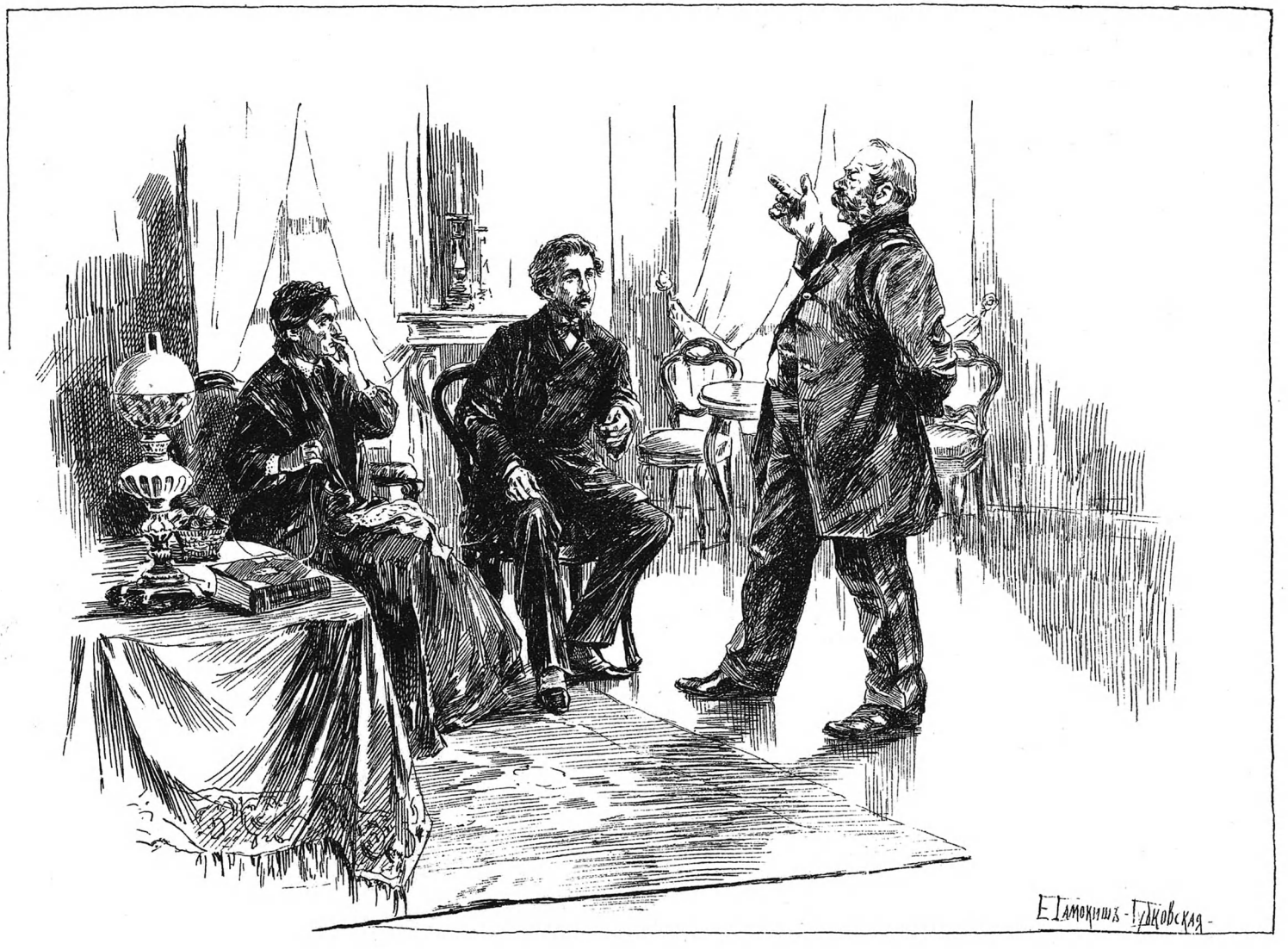
– Отец мой ведь умер под судом, – заметил князь снова, – хоть я и никогда не мог узнать, за что именно; он умер в госпитале.

– О, это по делу о рядовом Колпакове, и, без сомнения, князь был бы оправдан.

– Так? Вы наверно знаете? – спросил князь с особенным любопытством.

– Еще бы! – вскричал генерал. – Суд разошелся, ничего не решив. Дело невозможное! Дело даже, можно сказать, таинственное: умирает штабс-капитан Ларионов, ротный командир; князь на время назначается исправляющим должность; хорошо. Рядовой Колпаков совершает кражу, – сапожный товар у товарища, – и пропивает его; хорошо. Князь, – и заметьте себе, это было в присутствии фельдфебеля и капрального, – распекает Колпакова и грозит ему розгами. Очень хорошо. Колпаков идет в казармы, ложится на нары и через четверть часа умирает. Прекрасно, но случай неожиданный, почти невозможный. Так или этак, а Колпакова хоронят; князь рапортует, и затем Колпакова исключают из списков. Кажется, чего бы лучше? Но ровно через полгода, на бригадном смотру, рядовой Колпаков, как ни в чем ни бывало, оказывается в третьей роте второго батальона Новоземлянского пехотного полка, той же бригады и той же дивизии!

Ф. М. Достоевский.
Идиот.
Часть первая. Глава VIII

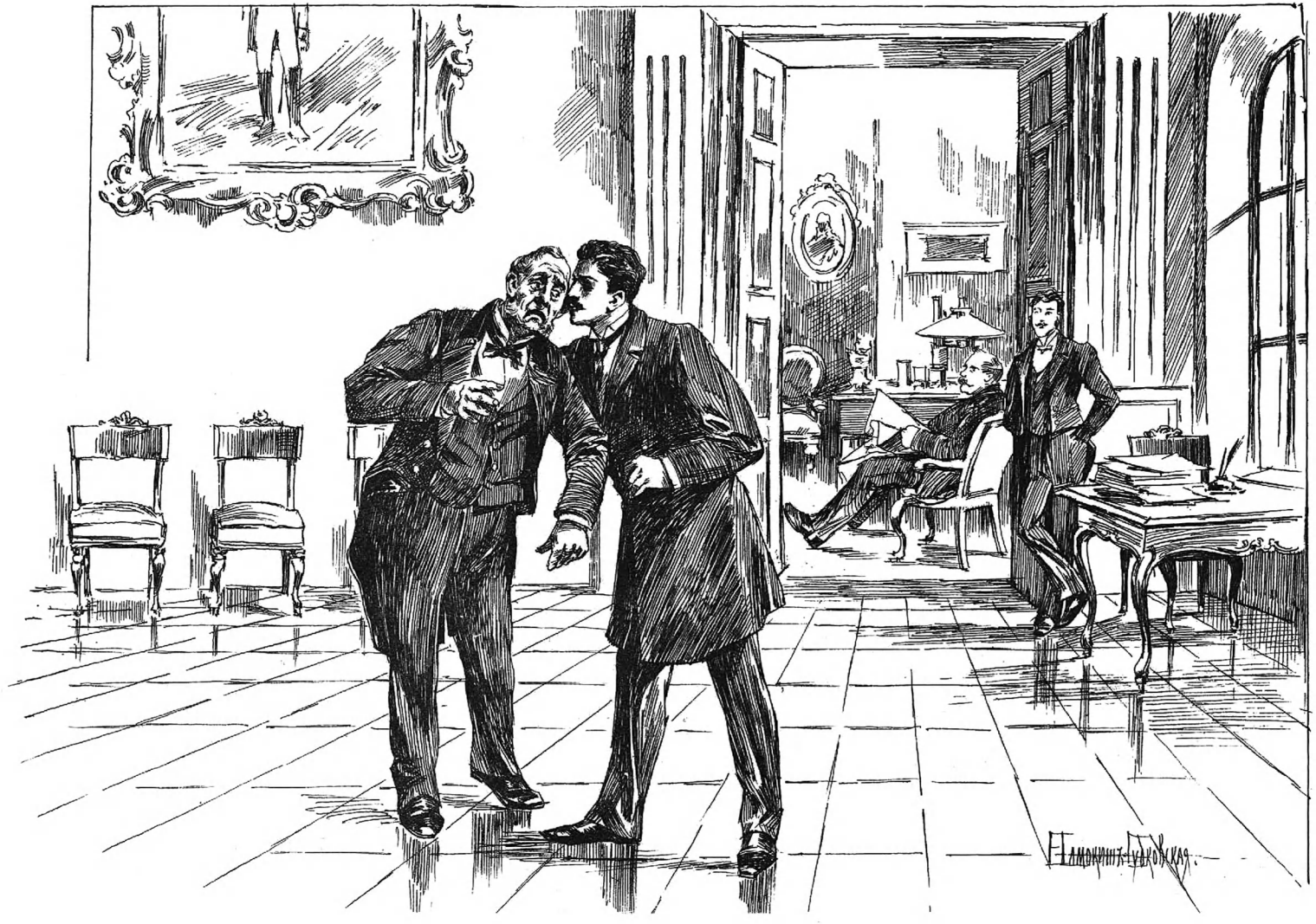

Е. Самокиш-Судковская.

— Сердце у вас доброе, Nicolas, и благородное, — включил, между прочим, старичок, — человек вы образованнейший, вращались в кругу высшем, да и здесь доселе держали себя образцом и тем успокоили сердце дорогой нам всем матушки вашей... И вот теперь всё опять является в таком загадочном и опасном для всех колорите! Говорю как друг вашего дома, как искренно любящий вас пожилой и вам родной человек, от которого нельзя обижаться... Скажите, что побуждает вас к таким необузданным поступкам, вне всяких принятых условий и мер? Что могут означать такие выходки, подобно как в бреду?

Nicolas слушал с досадой и с нетерпением. Вдруг как бы что-то хитрое и насмешливое промелькнуло в его взгляде.

— Я вам, пожалуй, скажу, что побуждает, — угрюмо проговорил он и, оглядевшись, наклонился к уху Ивана Осиповича. Воспитанный Алеша Телятников отдалился еще шага на три к окну, а полковник кашлянул за «Голосом». Бедный Иван Осипович поспешно и доверчиво протянул свое ухо; он до крайности был любопытен. И вот тут-то и произошло нечто совершенно невозможное, а с другой стороны, и слишком ясное в одном отношении. Старичок вдруг почувствовал, что Nicolas, вместо того чтобы прошептать ему какой-нибудь интересный секрет, вдруг прихватил зубами и довольно крепко стиснул в них верхнюю часть его уха. Он задрожал, и дух его прервался.

Ф. М. Достоевский.
Бесы.
Часть первая. Глава II



Степан Трофимович всё шел, а его всё еще не сажали. Гениальная догадка мелькнула в его голове:

– Вы, может быть, думаете, что я... Со мной паспорт и я – профессор, то есть, если хотите, учитель... но главный. Я главный учитель. Oui, c'est comme ça qu'on peut traduire[1]. Я бы очень хотел сесть, и я вам куплю... я вам за это куплю полштофа вина.

– Полтинник с вас, сударь, дорога тяжелая.

– А то нам уж оченно обидно будет, – вставила бабенка.

– Полтинник? Ну хорошо, полтинник. C'est encore mieux, j'ai en tout quarante roubles, mais...[2]

Мужик остановил, и Степана Трофимовича общими усилиями втащили и усадили в телегу, рядом с бабой, на мешок. Вихрь мыслей не покидал его. Порой он сам ощущал про себя, что как-то ужасно рассеян и думает совсем не о том, о чем надо, и дивился тому. Это сознание в болезненной слабости ума мгновениями становилось ему очень тяжело и даже обидно.

– Это... это как же сзади корова? – спросил он вдруг сам бабенку.

– Чтой-то вы, господин, точно не видывали, – рассмеялась баба.

– В городе купили, – ввязался мужик, – своя скотина, поди ты, еще с весны передохла; мор. У нас кругом все попадали, все, половины не осталось, хошь взвой.

И он опять стегнул завязшую в колее лошаденку.

Ф. М. Достоевский.
Бесы.
Часть третья. Глава VII

---

[1] Да, это именно так можно перевести (*фр.*).

[2] C'est encore mieux, j'ai en tout quarante roubles, mais... – Это еще лучше, у меня всего сорок рублей, но... (*фр.*)

– Подожди, я еще одну и еще одну, а там и покончу. Нет, постой, ты меня перебил. В Мокром я проездом спрашиваю старика, а он мне: «Мы оченно, говорит, любим пуще всего девок по приговору пороть, и пороть даем всё парням. После эту же, которую ноне порол, завтра парень в невесты берет, так что оно самим девкам, говорит, у нас повадно». Каковы маркизы де Сады, а? А как хочешь, оно остроумно. Съездить бы и нам поглядеть, а? Алешка, ты покраснел? Не стыдись, детка. Жаль, что давеча я у игумена за обед не сел да монахам про Мокрых девок не рассказал. Алешка, не сердись, что я твоего игумена давеча разобидел. Меня, брат, зло берет. Ведь коли бог есть, существует, – ну, конечно, я тогда виноват и отвечу, а коли нет его вовсе-то, так ли их еще надо, твоих отцов-то? Ведь с них мало тогда головы срезать, потому что они развитие задерживают. Веришь ты, Иван, что это меня в моих чувствах терзает. Нет, ты не веришь, потому я вижу по твоим глазам. Ты веришь людям, что я всего только шут. Алеша, веришь, что я не всего только шут?

Ф. М. Достоевский.
Братья Карамазовы.
Книга третья. Глава VIII

Е. Гамокинъ-Гудковская

– Николай Ильич Снегирев-с, русской пехоты бывший штабс-капитан-с, хоть и посрамленный своими пороками, но всё же штабс-капитан. Скорее бы надо сказать: штабс-капитан Словоерсов, а не Снегирев, ибо лишь со второй половины жизни стал говорить словоерсами. Словоерс приобретается в унижении.

– Это так точно, – усмехнулся Алеша, – только невольно приобретается или нарочно?

– Видит бог, невольно. Всё не говорил, целую жизнь не говорил словоерсами, вдруг упал и встал с словоерсами. Это делается высшею силой. Вижу, что интересуетесь современными вопросами. Чем, однако, мог возбудить столь любопытства, ибо живу в обстановке, невозможной для гостеприимства.

– Я пришел... по тому самому делу...

– По тому самому делу? – нетерпеливо прервал штабс-капитан.

– По поводу той встречи вашей с братом моим Дмитрием Федоровичем, – неловко отрезал Алеша.

– Какой же это встречи-с? Это уж не той ли самой-с? Значит, насчет мочалки, банной мочалки? – надвинулся он вдруг так, что в этот раз положительно стукнулся коленками в Алешу. Губы его как-то особенно сжались в ниточку.

– Какая это мочалка? – пробормотал Алеша.

– Это он на меня тебе, папа, жаловаться пришел! – крикнул знакомый уже Алеше голосок давешнего мальчика из-за занавески в углу. – Это я ему давеча палец укусил!

Ф. М. Достоевский.
Братья Карамазовы.
Книга четвертая. Глава VI

Е. Гамокишъ-Губковская

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА САМОКИШ-СУДКОВСКАЯ

Фамилия этой замечательной художницы хранит память о двух мужчинах, двух соратниках по живописному цеху, с которыми свела ее судьба. Елена появилась на свет в феврале 1862 года в семье потомственного военного инженера Петра Петровича Бенарда. Его дед-гугенот переехал в Россию из Франции, спасаясь от религиозных преследований, еще во времена царствования Елизаветы Петровны. Дед Елены Петровны Пьер-Жан родился уже в Петербурге, и его вскоре стали называть Петром Ивановичем. Он получил ордена святой Анны и святого Владимира за строительство укреплений Кронштадта, а в конце жизни был директором Первой гимназии Санкт-Петербурга. Ее здание, возведенное по проекту Н. Л. Бенуа, сохранилось до наших дней. Теперь это школа 321 на улице Правды.

Будущая художница бегала на Знаменскую улицу учиться в знаменитом Павловском женском институте и по велению сердца брала частные уроки рисования у прославленного живописца Василия Петровича Верещагина. Он начинал как потомственный иконописец, а потом поступил в Санкт-Петербургскую Академию Художеств, получив за время обучения в ее стенах все возможные академические медали. Потом была долгая стажировка в Риме...

Увлечение живописью свело Елену Петровну с ее будущим мужем. Руфим Гаврилович Судковский родился в Очакове. Вначале хотел пойти по стопам своего деда и стать священником, однако с раннего детства его манила красота Черного моря. Она и привела его в рисовальные классы

Одесского общества любителей искусства. Там у Руфима проявился явный талант живописца. Разглядывая его рисунки, преподаватели одобрительно кивали головами и советовали Руфиму ехать в Петербург – поступать в Академию Художеств. Бросив учебу в Одесской духовной семинарии, он устремился на север. В Академии он проучился всего три года. Бесконечное рисование натурщиков и копирования старой классики на античные темы тяготило его, усвоенных навыков и приемов владения кистью казалось достаточно, а теплое море по-прежнему звало к себе. Руфим вернулся в родной Очаков и начал писать морские пейзажи. Работал он много и самозабвенно. Когда художнику исполнилось 27 лет, он показал несколько своих полотен на академической выставке в Петербурге, и они были по достоинству оценены. Два года спустя он получил звание классного художника 1-й степени. К середине 80-х годов XIX века за Судковским прочно закрепилась слава талантливого мариниста. На своих полотнах он мастерски передавал и прозрачность морской воды в штиль, и ее грозные валы во время шторма.

Когда Елена Петровна стала его супругой, Судковский был уже академиком. Юной художнице было тогда двадцать лет. Брак оказался счастливым, но трагически коротким – через два года после свадьбы Руфима Гавриловича свел в могилу тиф. Ему было всего тридцать пять лет. Елена Петровна горевала страшно. Устроив несколько посмертных выставок работ мужа, она затем уехала, чтобы отвлечься, в Париж. В Петербург Судковская вернулась лишь через несколько лет, и тут судьба свела ее со вторым будущим мужем – Николаем Семеновичем Самокишем.

Он был на два года старше Елены Петровны и, как и ее первый супруг, стал академическим живописцем. Будущий художник появился на свет в семье простого почтового служащего Нежинского уезда Черниговской губернии. Первые навыки владения карандашом и красками ему дал учитель рисования Нежинской гимназии Р. К. Музыченко-Цыбульский. Разглядев у юноши явный талант, он посоветовал ему попробовать поступить в Академию. Первая попытка стать ее учеником не удалась, однако Николай в качестве вольнослушателя стал посещать занятия в мастерской Богдана Павловича Виллевальде. Профессор заслуженно слыл мастером батальной живописи, и его уроки во многом определили направление развития Самокиша как живописца. Уже через год он стал студентом

Академии, в стенах которой проучился долгих шесть лет. Уже на третьем курсе Николай Семенович получил золотую медаль за картину «Возвращение войск на родину». Всего же за годы обучения в Академии он получил семь медалей – пять серебряных и две золотые.

В начале XX века Самокиш-Судковская увлекалась модерном, писала жанровые полотна и портреты, в том числе членов императорской фамилии. Занималась Елена Петровна и иллюстрированием. Многим памятны ее рисунки к «Евгению Онегину». Широко стали известны и ее иллюстрации к «Коньку-Горбунку». Над рисунками к «Мертвым душам» супруги работали вместе.

Революция 1917 года развела их по разные стороны баррикад. Николай Семенович создал в Симферополе собственную художественную студию. В этом городе его застала Великая Отечественная война. Некролог о кончине художника был напечатан в 1944 году на страницах коллаборационистской газеты «Голос Крыма». А Елена Петровна, спасаясь от хаоса и житейских неурядиц, уехала в Выборг. Оттуда она вскоре перебралась в милый ее сердцу Париж, затерявшись среди множества других русских эмигрантов. Своеобразной памятью о творческом союзе Елены Судковской с Николаем Самокишем стали несколько их совместных работ, рассказывавших об истории Царскосельской железной дороги. Они украсили Картинный зал Витебского вокзала. Вы можете полюбоваться на эти рисунки; они сохранились.

СОДЕРЖАНИЕ

Двойник **5**
Петербургская поэма
Глава I 5
Глава II 12
Глава III 22
Глава IV 30
Глава V 42
Глава VI 50
Глава VII 61
Глава VIII 69
Глава IX 82
Глава X 100
Глава XI 120
Глава XII 130
Глава XIII 142

Господин Прохарчин **157**

Ползунков **187**

Чужая жена и муж под кроватью **202**
Происшествие необыкновенное
I 202
II 218

Маленький герой **244**
Из неизвестных мемуаров

Дядюшкин сон **279**
(Из мордасовских летописей)

Глава I 279
Глава II 283
Глава III 287
Глава IV 296
Глава V 307
Глава VI 319
Глава VII 328
Глава VIII 335
Глава IX 344
Глава X 354
Глава XI 363
Глава XII 371
Глава XIII 378
Глава XIV 390
Глава XV 396

Крокодил **408**
Необыкновенное событие, или пассаж в пассаже

I 408
II 418
III 425
IV 435

Село Степанчиково и его обитатели 443
из записок неизвестного

Часть первая

I. Вступление 443
II. Господин Бахчеев 461
III. Дядя 475
IV. За чаем 488
V. Ежевикин 499
VI. Про белого быка и про комаринского мужика 511
VII. Фома Фомич 517
VIII. Объяснение в любви 532
IX. Ваше превосходительство 538
X. Мизинчиков 551
XI. Крайнее недоумение 564
XII. Катастрофа 575

Часть вторая и последняя

I. Погоня 582
II. Новости 595
III. Илюша именинник 599
IV. Изгнание 607
V. Фома Фомич созидает всеобщее счастье 617
VI. Заключение 633

Е. П. Самокиш-Судковская 647
Иллюстрации к произведениям, не вошедшим в сборник

Елена Петровна Самокиш-Судковская 666

Федор Михайлович Достоевский

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Том 170

На основании п. 2.3 статьи 1 Федерального закона № 436-ФЗ от 29.12.2010 не требуется знак информационной продукции, так как данное издание классического произведения имеет значительную историческую, художественную и культурную ценность для общества

Компьютерная верстка,
обработка иллюстраций
Е. Гезенцвея

Дизайн обложки, подготовка к печати
А. Яскевича

Сдано в печать 03.05.2023
Объем 42 печ. листа
Тираж 3000 экз.
Заказ № 4124

Бумага офсетная книжная кремовая пухлая 60 г/м^2

ООО «СЗКЭО»
Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 365-40-44
E-mail: knigi@szko.ru
Интернет-магазин: www.сзкэо.рф

Санкт-Петербургский филиал
ФГБУ «Издательство «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия В.О., дом 12/28

Включенные в сборник повести и рассказы были написаны Достоевским в период с 1846 по 1864 г. В них Федор Михайлович развивает тему «маленьких людей», столь важную для своего творчества. Стесненные жизненные обстоятельства порой фатально влияют на психику его героев, часто подталкивая их к почти девиантному поведению. Опасаясь непредсказуемого будущего, полунищий чиновник Прохарчин копит деньги в матрасе, на котором он и заканчивает свои дни. Сознание героя повести «Двойник» раздваивается, создавая собственную фантомную личность. В повести «Село Степанчиково и его обитатели» деспот Фома Фомич компенсирует свою ущербность, терроризируя окружающих. В «Чужой жене...» анекдотичная ситуация превращается в трагикомедию. Социальное унижение порой толкает героев Достоевского примерять личины шутов; эти маски позволяют им скрыть собственные слезы и душевную боль. Юмор у Достоевского — это часто юмор трагедии, в которой смех борется со слезами на фоне горькой иронии и сарказма.

Произведения сборника украшены рисунками Елены Петровны Самокиш-Судковской. Эти и другие ее иллюстрации к произведениям писателя были опубликованы в 1895 г. отдельным альбомом «Юмор Ф. М. Достоевского». Этот альбом служил бесплатным приложением к журналу «Осколки». Будущая художница появилась на свет в феврале 1862 г. в семье потомственного военного инженера. Она училась в знаменитом Павловском женском институте и в Гельсингфорсской художественной школе у прославленного живописца Василия Петровича Верещагина. С 1882 по 1890 г. Елена Петровна жила в Париже, занимаясь в ателье Жюля Бастьен-Лепажа. Увлечение живописью свело ее с будущим мужем — талантливым маринистом Руфимом Гавриловичем Судковским. К сожалению, всего через два года после свадьбы Руфима Гавриловича свел в могилу тиф. Елена Петровна горевала страшно. Через несколько лет в Петербурге она познакомилась со вторым своим будущим мужем — мастером батальной живописи, академиком Николаем Семеновичем Самокишем. В это время Елена Петровна увлекалась модерном. Широкую известность она обрела как иллюстратор детских книг и произведений классиков. Многим памятны ее рисунки к «Евгению Онегину». Широко стали известны и ее иллюстрации к «Коньку-Горбунку». Над рисунками к «Мертвым душам» супруги работали вместе. Революция 1917 г. развела их по разные стороны баррикад. Николай Семенович создал в Симферополе собственную художественную студию, а его супруга перебралась в милый ее сердцу Париж, затерявшись среди множества других русских эмигрантов.